

Библиотека
этической
мысли

Дж. Леопарди

НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
ДНЕВНИК РАЗМЫШЛЕНИЙ
МЫСЛИ

Москва
Издательство «Республика»
2000

Перевод с итальянского
*С. А. Ошерова, Н. М. Соколова,
Н. А. Ставровской*

Стихотворения Дж. Леопарди в переводе
*А. Ахматовой,
М. Визеля, А. Орлова*

Общая редакция,
составление и вступительная статья
Е. Ю. Сапрыкиной

Примечания
С. А. Ошерова и Е. Ю. Сапрыкиной

Леопарди Дж.

Л47 Нравственные очерки. Дневник размышлений. Мысли / Общ. ред., сост. и вступ. ст. Е. Ю. Сапрыкиной. — Пер. с итал. — М.: Республика, 2000. — 448 с. — (Б-ка этической мысли).
ISBN 5—250—01784—3

В книге собраны лучшие этико-философские сочинения замечательного итальянского поэта и мыслителя Джакомо Леопарди (1798—1837), а также образцы его философской лирики. Размышления Леопарди о человеке, о драматичности его судьбы, о его стремлении к истине и предрассудках, отмеченные героикой и пессимизмом романтического сознания того времени, оборачиваются новыми гранями для каждого поколения читателей. Значительная часть произведений, входящих в это издание, впервые переведена на русский язык.

Для широкого круга читателей.

ББК 87.7

ПАРАДОКСЫ ЛЕОПАРДИ ОБ ИСТИНАХ И ХИМЕРАХ

Ни званием философа, ни любым другим ему подобным не следует гордиться даже про себя. Единственное подобающее человеку звание, коим может он гордиться, — звание человека. Чтоб быть достойным его, нужно быть настоящим человеком, то есть соответствующим замыслу природы. В таком случае гордиться этим званием и в самом деле можно, ибо человек есть главное творение земной природы, природы всей нашей планеты и т. д.

*Джакомо Леопарди. Дневник размышлений.
24 июня, день Иоанна Крестителя, 1822 г.*

Две истины, в которые люди большей частью поверить не способны: что они не знают ничего и что они ничтожества. Добавь сюда и третью, тесно связанную со второй: что им не на что надеяться после смерти.

*Джакомо Леопарди. Дневник размышлений.
16 сентября 1832 г.*

В России имя Джакомо Леопарди известно уже полтора века. Стихи и проза Леопарди многократно переводились и получали живой отклик в журнальной критике. В работах русских ученых Леопарди всегда рассматривался как один из лирических гениев Европы¹. Его небольшой стихотворный сборник "Песни" по силе и разнообразию лирической интонации занимает в европейской поэзии XIX века место рядом с произведениями Байрона, Гейне, Лермонтова, Тютчева, а в итальянской лирике это самое значительное явление после "Книги песен" великого Петрарки.

Поэтическое дарование сочеталось у Леопарди с оригинальным философским складом ума. Это придало ярко выраженную философско-полемическую устремленность всем его сочинениям. Poleмичность происходила из романтической по своей глубинной сути установки его творчества. Что бы ни писал Леопарди — лирику, заметки о морали, философские диалоги в духе Лукиана или героико-комический эпос по

¹ См.: *Потанова З. М.* Леопарди в России. Переводы и критические работы // Творчество Джакомо Леопарди. Материалы советско-итальянского colloquiuma в Москве. Июнь 1982. М., 1983. С. 20—34; *Муредду Д. Д.* Судьба Леопарди в России. М., 1999. С. 1—88.

примеру Гомера, — все становилось у него "историей собственной души". Во всем проступает сложная парабола его мироощущения, проходящая через сомнения, самоиронию, всплески безнадежного ожесточения и тотальной разочарованности, через смягчающие сердце воспоминания и порывы к идеальному и героическому. Во всех произведениях Леопарди мысль художника то взмывает в просторы беспредельности, то ищет себе опору в повседневных впечатлениях или в памяти собственного сердца. Позднее, на исходе XIX века Оскар Уайльд в своем диалоге-парадоксе "Критик как художник" отметит, что окружающий мир есть продолжение творческого лица художника¹. Поэзия и проза Леопарди, пожалуй, лучшее подтверждение этой парадоксальной истины. Жар лирического чувства пульсирует в канцонах поэта, его изменчивый тонус придает динамичность и неповторимо личный характер философским раздумьям Леопарди об уделе человека на земле и его мыслям о парадоксах общественных нравов и морали².

* * *

Джакомо Леопарди, родившийся 29 июня 1798 г., был старшим из пяти детей графа Мональдо Леопарди, владевшего небогатой усадьбой в захолустном городке Реканати, расположенном в Папской области. Отец, человек образованный и склонный к сочинительству, но болезненно самолюбивый и к тому же реакционер по убеждениям, оказал сильное и неоднозначное влияние на жизнь, наклонности и на самую личность первенца³. Власть отца, который всегда очень гордился выдающимися литературными способностями Леопарди, но неумолимо пресекал (отчасти из-за аристократических предрассудков, а отчасти из соображений экономии) попытки сына жить самостоятельно вне родительского крова, и великолепная домашняя библиотека, в которой Леопарди с детского возраста сутками просиживал над чтением древних авторов и переводами из них, — вот два фактора, сыгравших драматическую роль в судьбе будущего поэта. Свою жизнь в родительском доме он с юных лет привык считать беспрерывным страданием, жалким прозябанием в неволе под властью отца-тирана. Занятия же в отцовской библиотеке весьма серьезно подорвали хрупкий организм юноши, навсегда превратив его в хилого горбуна, почти лишив зрения и возможности вести нормальный образ жизни. До 1822 г. Леопарди ни разу не покинул Реканати, несмотря на несколько предпринятых им, но неудачных попыток бежать из отчего дома.

Первые поэтические опыты Леопарди относятся к 1809 г. (то есть к одиннадцатилетнему возрасту); но вплоть до 1818 г., когда рождаются

¹ См.: Уайльд О. Критик как художник // Избр. произв.: В 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 269.

² Galimberti C. A proposito di pensiero e poesia in Leopardi // Leopardi e noi. La vertigine cosmica. Roma, 1990. P. 189—200.

³ Foschi F. Postfazione // Leopardi M. Autobiografia. Bologna, 1993. P. 152, 155 ss.

первые канцоны ("К Италии" и "На памятник Данте") и "Элегия", он занимается в основном переводами различных древних авторов. В 1816 г. юный граф Леопарди пытается вмешаться (правда, безуспешно) в начавшуюся тогда в итальянских журналах эстетическую полемику вокруг проблемы переводов иностранной поэзии; на этой почве позже возникла полемика о сути романтизма, на которую Леопарди откликнулся в 1818 г., написав "Рассуждение одного итальянца о романтической поэзии" (однако это любопытное сочинение, представляющее собой одновременно и манифест романтизма, и критику на него, оставалось неизданным вплоть до 1906 г.). В Реканати же в 1817 г. Леопарди начал вести "Дневник размышлений" ("Zibaldone di pensieri"), куда он вносил разнообразные выписки из книг и свои рассуждения о прочитанном, собственные философские мысли и эстетические заметки вплоть до 1832 г.

20-е годы в Италии — это время мощного всплеска национально-освободительной борьбы за возрождение независимой Италии и за объединение раздробленной страны в единое государство. Представители передовой итальянской культуры, вдохновляясь патриотическими задачами, пересматривают арсенал эстетических и этических ценностей, ища пути к широкому отечественному читателю, к его национальному самосознанию. Это время кардинальных перемен и в поэтической судьбе Леопарди. В 1824 г. в Болонье выходит его первый поэтический сборник "Песни" ("Canzoni"), состоящий из десяти канцон с авторскими "аннотациями" к ним. В этом же году Леопарди пишет большинство прозаических диалогов и очерков ("некие сатирические вещицы, что-то вроде моей мести миру, а пожалуй, и добродетели"), получивших затем общее заглавие "Нравственные очерки" ("Operette morali", изданные в Милане в 1827 г. и во Флоренции в 1834 г., а в окончательном виде — во Флоренции в 1845 г.). В 1823 г. Леопарди впервые совершает поездку в Рим, в 1825 г. — в Болонью и Милан, где издатель Стелла заключает с ним договор на подготовку собрания сочинений Цицерона, на составление комментария к сочинениям Петрарки (1827) и на выпуск двухтомной "Итальянской хрестоматии" (1827 и 1828). В том же 1827 г. Леопарди переезжает во Флоренцию, где завязывает знакомство с идеологами либерального движения — просветителем Вьессе, историком Каппони, Монтани, поэтом-патриотом Поэрио, публицистом и писателем Томмазео и др. Они приглашают автора "Нравственных очерков" сотрудничать в прогрессивном журнале "Антолоджиа", продолжившем программу закрытого миланскими властями еще в 1819 г. романтического журнала "Кончилиаторе".

Перспектива журналистской работы на некоторое время увлекла Леопарди, который на рубеже 20—30-х годов неоднократно бывал во Флоренции, Пизе, Риме, Неаполе. В 1826 г. вышел уже второй сборник стихов Леопарди, озаглавленный "Стихи" ("Versi"), а в 1831 во Флоренции третий — "Песни" ("Canti"). Леопарди становится известным в кругах литераторов и филологов, он знаком с Мандзони и Стендалем, его дружбой дорожат немецкий историк Б. Г. Нибур, филолог К. фон

Бунзен, приглашавший Леопарди преподавать в Боннском университете, швейцарский филолог Л. де Зиннер, историк Г. Шульц и поэт А. фон Платен, итальянский философ В. Джоберти, лингвист и критик П. Джордани, неаполитанский писатель-демократ А. Раньери. В доме последнего Леопарди поселится в 1830 г. и проведет оставшиеся годы своей жизни. Это время активной и разнообразной творческой работы. "Нравственные очерки" представлены на премию, объявленную Академией Круска в 1830 г. (правда, премию он не получает). Леопарди много пишет. В 1830 г. сильное любовное увлечение вдохновляет его на лирический "цикл Аспазии", напечатанный позже, в 1835 г., в Неаполе. В 1831 г. начата героико-комическая поэма "Паралипомены войны мышей и лягушек" — продолжение древнегреческого комического эпоса "Война мышей и лягушек". В 1832 г. у него возникает замысел юмористического литературного журнала "Флорентийский обозреватель", он приступает к составлению сборника философско-нравственных сентенций, озаглавленного "Мысли" (сборник выйдет посмертно, при посредничестве А. Раньери). В 1835 г. Леопарди готовит к изданию шеститомное собрание своих сочинений в Неаполе у издателя С. Старита, и в этом же году печатается первый том (расширенный состав сборника "Песни"), который вместе со вторым (первой частью "Нравственных очерков") изымается из продажи правительственным указом. В 1836 г., живя на вилле семейства Раньери у подножия Везувия, Леопарди сочиняет свои последние канцоны "Заход луны" и "Дрок", которые увидят свет только в 1845 г.

Внезапно обострившаяся болезнь обрывает жизнь тридцативосьмилетнего поэта 14 июня 1837 г. Через сто лет, в 1939 г., его останки были перенесены с маленького церковного кладбища в окрестностях Неаполя к предполагаемому месту захоронения Вергилия; надгробная надпись, составленная другом Леопарди П. Джордани, гласит, что граф Джакомо Леопарди из Реканати был "филологом, почитаемым за пределами Италии, и непревзойденным автором философских сочинений и стихов, с которыми могли бы соперничать только греки"¹.

* * *

Подчеркнуто негативное отношение поэта к современной ему действительности только отчасти можно объяснить, как это подчас делалось в работах о его творчестве, изнуравшими его дух физическими недугами и сложностями домашней обстановки. В представлениях Леопарди сложно пересеклись близкие романтикам бунтарские настроения и мечты о героическом и счастливом времени с пессимистическими взглядами на природу и человеческую историю. Разочарование же в идеях просветительской философии переросло в неприятие социальных и нравственных теорий новых идеологов буржуазного прогресса. Эти грани миро-

¹ Leopardi: meditazione e canto. Cronologia essenziale // Leopardi G. Poesie e prose. Vol. 1. Milano, 1987. P. LXXXIII—XC.

ощущения воплотились во всем, что было создано Леопарди за недолгую жизнь, придав его творчеству вместе с тем впечатляющую цельность. Философские рассуждения, которые Леопарди ведет на страницах своего дневника, имеют форму лирического фрагмента, они как бы подпитываются личным переживанием и вырастают из настроения, увлечения прочитанной книгой, чувства антипатии или пристрастия. Лирический образ, как и нередкая у Леопарди сатира, зачастую продолжает эти философские раздумья, срastaется с ними, дополняет их или уточняет. Лирика, философия и сатира существуют в его творчестве в органичном сплаве, обуславливая удивительную полифоничность его произведений и их дотоле невиданную в Италии жанровую раскованность.

Возражение поэта-романтика идеалам "века прогресса" — XIX века, который своевольно упростил, переименовал на свой прагматичный лад многие философские озарения предшествующих эпох, отчетливо прочитывается в стихах и прозе Леопарди. Он спорит со своим веком на философском, моральном и эстетическом "фронтах", и в этой полемике под его пером рождаются новые для итальянской лирики формы и жанры, новый для прозы Италии XIX века образный строй философского парадокса, в котором неразделимы горечь и смех, эрудиция и авторская субъективность. В философском плане эта полемика нацелена на пересмотр представлений прошлых эпох о возможностях отдельного человека, который — как это очевидно для Леопарди — зажат в тисках микро- и макросоциума, исторического, природного универсума и собственного личностно-неповторимого опыта. Мало сказать, что Леопарди-мыслитель прекрасно ориентировался в европейской и отечественной философской классике и чутко реагировал на современные ему философские этико-эстетические пристрастия. Он еще и опережал свое время: присутствуя при уже начавшемся крушении традиционных философских систем, он отбирал из классического арсенала и наполнял актуальным смыслом емкие и продуктивные тематические и образные константы, которые и в наши дни много говорят скептическому, не доверяющему умозрительности, невзрастеничному мышлению современного человека с его перевернутым ценностным миром, с его манией скрывать эрудицию под парадоксами, гротеском и мифами. Таков у Леопарди образ поэтичной, героической и мудрой античной древности — навсегда утраченного "золотого века" человеческой культуры. Таковы и образы фантастического, загробного мира, насмехающегося над ничтожеством живых людей, и сама тема смерти как избавления от страданий, тема извечного несовпадения мыслимого и реального, завораживающей и жуткой бездны бесконечности, равнодушной к людям природы, да и многие другие дорогие для Леопарди темы.

Значительная часть записей в "Дневнике размышлений", многие фрагменты "Нравственных очерков" и, наконец, все сто одиннадцать опубликованных посмертно "Мыслей" непосредственно посвящены вопросам этики. Значит ли это, однако, что Леопарди можно назвать моралистом? К тому же поэт, являющийся моралистом, — не парадокс

ли это, и не принижает ли такой симбиоз поэзию, ее неповторимо-свободный полет? С. Роич¹ подмечает, что сам Leopardi в "Дневнике" не раз противопоставлял поэзию философии и утверждал, что совместить их под силу только редчайшим гениям (хотя, в полном соответствии со своим пристрастием к парадоксам, говорил о себе, что склонность к философии в нем пробудили сочинения французской писательницы г-жи де Сталь²). В Leopardi поэт и философ-моралист едины, и в этом парадоксальном единении скрыта тайна его неповторимости, благодаря которой его творчество не устаревает вот уже почти два века.

Все моралисты, вплоть до Канта и Фихте, разрабатывали целостные этические системы с ярко выраженной социальной направленностью. Стремление отдельной личности к счастью и благополучию неизменно ставилось в этих системах в зависимость от ее подчинения принципам и законам морали, которые, в свою очередь, опирались на понятие добродетели как социально целесообразной нормы нравственности. Такая нормативность этики, отчетливо проявившаяся у моралистов XVII века и в еще большей степени у просветителей XVIII века, никак не согласуется с романтическим противопоставлением индивида социуму и с принципиальной для романтиков антинормативностью³.

А между тем все написанное Leopardi в прозе свидетельствует о стремлении итальянского поэта и философа примкнуть к богатой европейской традиции сочинений морально-дидактического плана, представленной такими именами, как Монтень, Паскаль, Лабрюйер, Ларошфуко, Шефтсбери. В "Дневнике" он нередко упоминает свою особую "систему", неоднократно принимается последовательно излагать, объяснять ее. На каких же основаниях она выстроена? И не правильнее ли назвать ее моральной антисистемой?

Что касается традиции нормативной общественной морали, опирающейся на рациональные принципы добродетели и целесообразности законопослушного поведения человека, то она присутствует в нравственной системе Leopardi как объект для полемики или материал для гротескного выворачивания наизнанку. В отличие от традиционных моральных систем, где человек прочно впаян в иерархию коллективных (государственных, политических, социальных, религиозных) ценностей, в соотношении с которыми его личные стремления и моральные принципы только и обретают исторически-позитивное содержание, у Leopardi индивид выпадает из социально-позитивной ценностной иерархии и вписан в негативный, враждебный ему фон. Устройство вселенной и мира людей исключает даже самую возможность счастья. Природа создала человека смертным, телесно и духовно уязвимым, прочно вписала его существование в вечный круговорот возникновений и уничтоже-

¹ Roic S. Pensiero, forma letteraria, espressione: Leopardi e Vico // *Studia romanica et anglica zagabiensia* XLI, 19—28 (1996). P. 26.

² Leopardi G. *Zibaldone di pensieri*. Vol. 1—3. Milano, 1991. Vol. 1. P. 1012.

³ См.: Гусейнов А., Скрипник А. Пессимистический гуманизм Артура Шопенгауэра // Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. М., 1992. С. 17.

ний; суровая и непредсказуемая, она в любой момент может прервать бытие индивида и вовсе не озабочена благополучием своих созданий. Развитие общества, религия, культура лишь создали покровы для этой безрадостной истины. Они более или менее искусно скрывают ее от человека и опутывают его сознание фальшивыми целями, химерическими догмами и идеалами, которые мешают ему адекватно судить о своем месте в естественном порядке вещей. Негативно судит Леопарди и о человеческом стремлении к счастью, которое его предшественникам-просветителям представлялось главным стимулом для совершенствования личности и общества. Преследуя свои личные цели, стремясь к пользе и удовольствию для себя, человек лишь усиливает негативное поле вокруг себя, так как в погоне за подобным счастьем он не может не стать эгоистом и не возбудить зависть и ненависть во всех окружающих. Нравственную программу для такого индивида, помещенного во враждебный ему миропорядок, Леопарди выводит не из потребностей социума, а непосредственно из потребности самого человека правильно понять и сохранить свою сущность в негативном пространстве бытия.

Из моралистов прошлого Леопарди ближе всего автор скептических размышлений—"максим" Ф. де Ларошфуко и Блез Паскаль, чьи "Мысли" (1669) сфокусированы на "вечных" проблемах человеческого существования, на общих представлениях людей о конечном и бесконечном, о добре, зле, истине, о месте человека в мире, о жизни, смерти и счастье¹. "Экзистенциальный" Паскаль, завоженный "бездной" бесконечного универсума и именно с нею соотносящий круг понятий "мыслящего тростника" — человека, несомненно, заложил немало "камней" в фундамент специфической нравственной системы Леопарди. Ведь она тоже рождается из совмещения противоположностей — бесконечности природы и конечности человеческих возможностей, вечности и бренности, блага и зла, она тоже строится на признании диалектической связи между ними. И для доказательства этого вечного онтологического единства Леопарди, как и Паскаль, выбирает прием шокирующего парадокса, в котором сходятся полюса иронии и сочувствия, а насмешка над узостью норм и предписаний любого рода лишь акцентирует вечную трагедию смертного бытия.

Этика Леопарди подчеркнута полемична по отношению к просветительскому оптимизму, верящему в неуклонное движение общества к прогрессу, в возможность счастья и разумного нравственного совершенствования личности. Споры с этими основами классической нормативной этики посвящены многие фрагменты "Дневника". И ведется этот спор не ради того, чтобы научить людей разумным и добродетельным поведением усовершенствовать свое социальное бытие, а ради определения параметров природного бытия человека, уяснения границ индивидуальной свободы и возможностей отдельного индивида перед лицом его со-

¹ Iengo F. Pascal in Leopardi // Momenti di critica alla modernità da Leopardi a Nietzsche. Roma, 1992. P. 51—75.

зательницы-природы. Этическая система Леопарди, таким образом, остается гуманистичной, но имеет подчеркнута антропологический и экзистенциальный, а не социально-утилитарный смысл¹.

Что же касается рациональной организации социальных аспектов бытия людей, то мысль Леопарди в этом отношении беспощадно пессимистична. Леопарди объясняет свой пессимизм "ужасной загадкой всего сущего и жизни мира". Эта загадка, как записано в "Дневнике", состоит в противоречии между фактическим положением человека в мире и его положением как социального индивида. С одной стороны — "фактическое бытие и неотъемлемая от жизни неспособность быть каким-либо образом счастливым, даже просто невозможность не быть несчастным", с другой — исторически сложившиеся и идеологически закреплённые убеждения людей в том, что их жизненная задача состоит в достижении "совершенства" и обретении "только счастья"².

Из противоречия между реальным и мыслимым Леопарди делает парадоксальные выводы в "Нравственных очерках". В открывающем их эссе-фантазии "История рода человеческого" вечная духовная неудовлетворенность человека своим бытием расценивается одновременно как неизлечимый нравственный изъян человечества, как свидетельство несовершенного изначального замысла всемогущего Зевса и как результат мести раздраженного бога его созданиям — людям. Исландец, вопрошавший Природу о смысле и пользе жизни во вселенной, на собственном опыте убеждается, что иного ответа, кроме "вечного круговорота рождения и уничтожения", у Природы нет. Да и устройство вселенной вовсе не похоже на то, каким оно представляется людям: Коперник, посетив Солнце, узнает, что оно испокон веков вращалось вокруг Земли, пока ему не надоело двигаться вокруг столь малозначительного центра... Человечество не выдерживает сравнения ни с хитроумными машинами-автоматами, ни с кастрюлей-скороваркой, ни с птицами — последние гораздо совершеннее и счастливее людей. В песне дикого петела звучит восторженный гимн освобождающей сущности смерти. Ожившие мумии убеждают естествоиспытателя, будто жизнь и смерть мало отличимы друг от друга, зато наслаждение смертью долговечнее и сильнее, чем весьма сомнительное наслаждение жизнью — этой вечной юдолью страданий и бед.

Ничтожество и невежество людей проявляются, в частности, в том, что они верят в химеру о прогрессе разума и общества, которое человек якобы в состоянии рационально усовершенствовать. В одном из фрагментов "Нравственных очерков" рассказано, как Прометей, считавший людей лучшим творением и потому всемерно помогавший им развивать науки и ремесла и вообще совершенствовать свою жизнь, был посрамлен зрелищем дикости нравов, в особенности же уродствами современной Леопарди цивилизации: она давно избавила человека от голода и нужды,

¹ Galeazzi G. Filosofia e antifilosofia in Giacomo Leopardi // Leopardi e noi. La vertigine cosmica. P. 209.

² Leopardi G. Zibaldone di pensieri. P. 61, 103; Vol. 2. P. 1372.

но убила его душу и сделала пресыщенным эгоистом и циником. "По натуре человек — самое антиобщественное из всех живых существ" — читаем мы в дневниковой записи от 25—30 октября 1823 г.¹ В отличие от пчел, муравьев, бобров, журавлей, чья сплоченность определена природой, люди никогда не могли и не смогут научиться содействовать общему благу, и потому "совершенное человеческое общество и даже просто подлинное общество невозможно". Мало того, "в обществе человек утрачивает, насколько только можно, печать природы"; оно "усугубляет естественное неравенство своих субъектов и притом настолько, что лишает их совсем способности быть членами общества". Общество делает из людей себялюбцев, и в умении причинять другим зло они оказываются совершеннее всех земных созданий. К тому же себялюбец вынужден подавлять свои человеческие побуждения, чувства и фантазии и, таким образом, мучиться от конфликта с самим собой².

Итак, сама природа, чуждая совершенству, систематичности и рациональности, предопределила круг экзистенциальных интересов и возможностей человека. Ее законодательная воля отражается в людском физическом и нравственном несовершенстве, в душевной уязвимости, в неизбежности страданий и смерти, в ограниченности знаний и неумении людей оставаться самими собой. Эта законодательная воля природы вступает в вопиющее противоречие как с философскими теориями, которые опираются на понятия пользы и целесообразности, так и с общественными механизмами, которые создали люди. Нацеленные на неуклонное совершенствование нравов, благосостояния и уровня жизни, на прогресс в технике и торговле, общественные установления не в состоянии исправить искаженные понятия людей и избавить их от химерических нравственных ориентиров. Об этом противоречии с горькой иронией говорит Леопарди в стихотворении "Палинодия"³:

*Вовеки добрым людям будет плохо,
А негодяям — хорошо; и будет
Мир ополчаться против благородных
Людей; вовеки клевета и зависть
Тиранить будут истинную честь.
И будет сильный слабым питаться,
Голодный нищий будет у богатых
Слугою и работником; в любой
Общественной формации, везде —
Где полюс или экватор — вечно будет
Так до поры, пока земли приюта
И света солнца люди не лишатся.*

Перевод А. Ахматовой

¹ Leopardi G. Zibaldone di pensieri. Vol. 2. P. 1993 (наст. изд. С. 317).

² Ibid. Vol. 1. P. 160—161, 396—401.

³ Наст. изд. С. 397.

Результаты же такого противоречия особенно пагубно проявились, по убеждению Леопарди, в его время, которое извратило "порядок вещей". В стихотворении "Палинодия", построенном как мнимое отречение поэта от своего социального пессимизма под натиском якобы убедившей его либеральной прессы, Леопарди клеймит с особенным сарказмом газетные восторги и пророчества, либеральные прожекты и технические новинки. В "Разговоре Тристана и его друга" (последнем по времени написания фрагменте "Нравственных очерков") печальные раздумья героя о вечной враждебности миропорядка надеждам человека прерывает издевательский панегирик XIX веку. Вопреки очевидному закону бытия он якобы оказывается эпохой счастья и прогресса, то есть извращает весь миропорядок: "Нет, жизнь счастлива, и это открытие есть одно из величайших открытий девятнадцатого столетия. Я... стойко верую в человеческий род, идущий от завоевания к завоеванию... Да здравствует и еще раз да здравствует девятнадцатый век!"¹. В "Дневнике" неприятие своей эпохи Леопарди мотивирует тем, что признанная современниками как время торжества разума, науки и технического гения, эта эпоха на деле лишь усугубила отчуждение людей, потворствовала их духовному варварству, невежеству, погоне за идеологическими химерами. Одной из таких химер — моде на благочестие и веру в Божий промысел, породившей в Италии эпохи Реставрации толпы "новых верующих", посвящена стихотворная сатира Леопарди "Новые верующие".

Нравственно-философская концепция Леопарди противостоит притязаниям разума на исключительное право давать человеку установки в познании бытия, в сфере поведения и нравственности. Для итальянского поэта приоритет разума есть одна из химер искаженного самосознания его эпохи. Отказ от этического интеллектуализма сближает Леопарди, с одной стороны, с тем же Паскалем, а с другой — с романтиками и прежде всего с этикой А. Шопенгауэра. Надо заметить, Леопарди часто называли "итальянским Шопенгауэром" (еще Ф. Де Санктис в 1858 г. сравнивал этих двух философов), хотя не подлежит сомнению, что в отличие от автора труда "Мир как воля и представление" Леопарди в своей "системе" избежал той гипертрофии иррационального, индивидуалистически-волевого начала, которая, в свою очередь, объединяет Шопенгауэра с Ницше².

Рационалистическим представлениям о том, что стремление к счастью движет человеческим прогрессом, Леопарди противопоставил свою пессимистическую теорию *infelicità* (несчастья — *итал.*). Это утверждение безысходности, всеобщего несчастья; страдание выступает единственным законом жизни. Пессимизм Леопарди, однако, не рассудочный, это пессимизм страдающего сердца. Он не считал, что скорбь и страдание — привилегия отдельных избранных, и поэтому для него другие

¹ Наст. изд. С. 163, 164, 166.

² Гусейнов А., Скрипник А. Пессимистический гуманизм Артура Шопенгауэра // Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. С. 5—18.

люди были товарищами по несчастью. "Этот человек, — писал о нем его друг А. Раньери, — был достоин жить в лучший век. Справедливый, гуманный, великодушный и глубоко честный, он и остальных людей считал такими же, но, убедившись в противном, впал в другую крайность".

Последовательность и целостность философской системы автора "Дневника" — явление совершенно особого рода. Это внутренне разомкнутая, "открытая" система возможных выходов, "тропинок" к самым разным концепциям гносеологического и этического плана: в ней можно обнаружить как бы дремлющие в свернутом состоянии идейные посылки к различным философским системам: пессимистов, позитивистов, экзистенциалистов. Типичная для философского рассуждения логика доказательства "системы" корректируется в "Дневнике" в соответствии с парадигмой, характерной для лирики Leopardi: дневниковые записи, как и "Песни", передают внутреннее напряжение между свободно текущей мыслью и воспоминанием, ассоциацией, мечтой, сомнением... К тому же нравственно-философская "система" Leopardi предстает в своем целостном виде не в "Мыслях" и даже не в "Дневнике", где отдельные ее части нередко опровергают друг друга, а во всей совокупности прозаического и стихотворного наследия поэта-мыслителя. Как и "Нравственные очерки", лирические канцоны "Палинодия", "Ночная песнь пастуха", "К себе самому", "Дрок" развивают и дополняют дневниковые записи философских раздумий, а нередко и корректируют их. Заметим, что об антинормативном характере "системы" Leopardi говорит и такой факт: в "Дневнике" и в "Мыслях" парадоксально сочетаются тенденция к сжатости, афористичности моральной сентенции, сближающая автора с классиками жанра Лабрюйером и Ларошфуко, и подчеркнутое стремление придать высказыванию оттенок спонтанно возникшего впечатления, субъективного наблюдения, незавершенного раздумья. Суждения Leopardi о нравах и причудах людского поведения поражают резкими оценками, которые, однако, нередко соседствуют со словами "почти всегда", "обыкновенно", "почти все", смягчающими категоричность утверждения.

"Дневник размышлений" написан мыслителем и поэтом, и потому одним из оснований "системы" его автора является признание роли художественного воображения в познании глубинных законов мироздания. Поэтическое знание в глазах Leopardi имеет то преимущество, что "одушевляющие" возможности воображения и художественного вымысла могут высветить в картине мира те ее стороны, которые не в силах уловить и объяснить аналитические возможности разума. В первую очередь речь идет о постижении вселенной как бесконечного целого, в которое человек органично вписан¹. "Воображение иллюзии" и "оду-

¹ *Brioschi F.* Leopardi filosofo: dallo "Zibaldone" ai "Pensieri" // *Manuale di letteratura italiana. Storia per generi e problemi.* Torino, 1995. Vol. 3. P. 709—735; *Luporini C.* Assiologia e ontologia nel nichilismo di Leopardi // *Leopardi e il pensiero moderno.* Milano, 1989. P. 239—240.

шевление" суть основания мудрого согласия человека с миром ("они замыслены природой, и не будь их, наша жизнь стала бы чудовищно убогой и примитивной"). Без них невозможны ни плохо согласующееся с разумом душевное величие, ни героизм, ни достоинство, ни различие добра и зла. "Разум — враг величия, разум — враг природы: природа велика, а разум мал, — читаем мы в одной из первых записей "Дневника". — Посему замечу: человеку тем труднее быть великим, чем более он подвластен разуму, ибо немногие способны достигать величия (в искусствах и в поэзии, может быть, и никто), не находясь во власти тех или иных иллюзий. Отсюда то, что именуем мы великим, — например, деяния, — обычно есть нарушение правил и являет собою некую неправильность, которую разум осуждает. Пример тому — деяния Александра, жившие на иллюзиях"¹.

Разум ориентирует человека не на "великое", а на практические цели, связывая их достижение исключительно с необходимостью совершенствования ума, морали, чувств и т. д. Но, по убеждению Леопарди, "совершенный человек великим не бывает. Великий не бывает совершенным. Героизм и совершенство несовместимы. Любой герой несовершенен. Такими были античные герои (среди наших же современников героев нет), такими их описывают древние поэты".

Но если природа — "мачеха" и не предназначала человека для счастья, а прогресс разума, общества и цивилизации в целом неспособны ничего изменить в природном круговороте рождений и уничтожений, то существует ли вообще проблема нравственного поведения? Если не дано понять, зачем и кому на пользу жизнь и страдания людей в бесконечной вселенной, то как определить, каким надо быть отдельному человеку? И поможет ли ему что-нибудь в его отчаянии? Фактически вся лирика и вся проза Леопарди — это поиск ответа на эти вопросы, причем поиск ведется в постоянном споре и в парадоксальном самоопровержении возникающих по ходу спора суждений и контраргументов. В "Дневнике размышлений", в диалоге "Разговор Тимандра и Элеандра" автор может противопоставить духовному варварству современности только "величие" героев античности, но никак не нравственное совершенство современного поэту человека. Это совершенство и невозможно, потому что "пристрастие к холодной и жалкой истине" (философии, манящей людей химерой счастья, но не способной к нему реально их привести) не может породить ничего, кроме лени и низости современных душ, извращенности принципов и нравов. "Мысли" представляют собой свод еще более скептических наблюдений Леопарди над многочисленными несоответствиями реального поведения людей тому, что признано ими же нравственной нормой.

А между тем еще в 1822 г. он записал в "Дневнике", что следует гордиться званием человека — причем предметом гордости должно быть именно соответствие этого звания замыслу природы². В "Нравст-

¹ *Leopardi G. Zibaldone di pensieri. Vol. 1. P. 17—18.*

² См. наст. изд. С. 275.

венных очерках" проблема понимания человеком своей природной сути и является центральной. При этом ответ автора неоднозначен: параметры соответствия замыслу природы изменчивы, нередко размыты волной пессимистических или горько-ироничных возражений поэта. Первое издание "Нравственных очерков" (1827) завершал диалог "Разговор Тимандра и Элеандра", в котором Элеандр (то есть "сострадающий людям") сначала отстаивает свое право смеяться над общими бедами людей и над их химерической верой в то, что через эти беды они движутся к совершенству, а затем противопоставляет этой вере органичную для древних, но давно утраченную современным человечеством способность создавать для себя высокие идеалы и жить ими: "я превозношу и восхваляю те мнения, пусть они даже ложны, которые побуждают к деяниям и мыслям благородным, доблестным, великодушным, добродетельным и полезным как для общего блага, так и для блага самого человека; те прекрасные и счастливые, хотя и пустые мечтания, которые придают цену жизни; естественные самообольщения души; и наконец, заблуждения древних, столь отличные от варварских заблуждений, которые единственно и должны были бы пасть благодаря современному просвещению и философии"¹. В 1827 г. написан диалог "Разговор Плотина и Порфирия" — спор "голоса разума" и "голоса природы" относительно права человека самовольно покончить с жизнью. "Разумному" заключению философа Порфирия о том, что если жизнь означает страдание и движение к смерти, то принимать жизнь значит совершать ошибку, философ Плотин возражает, апеллируя именно к природе, которая дала людям не только разум, но и чувства: "Она, хоть и не являет себя такой уж любящей и делает нас несчастными, все же была менее враждебна нам и не принесла столько вреда, сколько мы сами нашими талантами, нашим неотступным и непомерным любопытством, нашими мудрствованиями, рассуждениями, снами, мнениями и жалкими ученьями..." Пусть решение убить себя разумно и говорит о твердости духа, но оно есть лишь свидетельство "самого неблагородного себялюбия", поиска "собственной выгоды" и говорит об отсутствии любви и сострадания к близким людям. "Будем жить, милый мой Порфирий, и поддерживать друг друга; не будем отказываться от нашей доли той бедственной ноши, которую судьба возложила на плечи рода человеческого. Постараемся держаться вместе, будем ободрять друг друга и протягивать друг другу руку помощи — так мы лучше выполним трудный урок жизни"².

Два поздних сочинения Лепарди — завершивший издание "Нравственных очерков" 1834 г. диалог "Разговор Тристана и его друга" и написанная незадолго до смерти поэма "Дрок" (1836) вносят весьма важные акценты в этику "согласия с замыслом природы". В этих "завещаниях" — прозаическом и стихотворном — Лепарди говорит о нравственной роли знания. Человек должен не бежать, подобно печальному Тристану, в мир утешительных обманов от знания безрадостной истины о том, что

¹ Наст. изд. С. 141.

² Наст. изд. С. 160.

жизнь несчастна и смерть неизбежна, а, наоборот, находить в том знании источник для "мужества и стойкости духа": "Я не покоряюсь своим несчастьям, не склоняю головы перед судьбой, не иду ей на уступки, как другие"...¹ Твердое знание о том, каков действительный удел человека, помогает спокойно и трезво смотреть в лицо безрадостной судьбе, которая едина для всех людей и сплачивает их перед лицом мачехи-природы. Честность, величие и благородство состоят в этом понимании своего родства со всеми. Такой идеальный человек видится лирическому герою последней канцоны Леопарди "Дрок, или Цветок пустыни"²:

*В лицо судьбы вперив бестрепетное око,
И презирая ложь, он правды не таит:
Открыто признает он смысл ее жестокий,
О мире зла свободно говорит.
В страданье тверд, взаимною враждою
С людьми не множит он своих скорбей;
Он не винит людей
В страданиях своих, как братьев по страданью,
Но верный своему высокому призванью
И полн любви, на помощь к ним идет
В борьбе за бытие, в борьбе с природой дикой...
Когда же ты придешь, воистину великий?*

Перевод А. Орлова

* * *

Казалось бы, времена моды на байроническое разочарование и романтическую "мировую скорбь" давно прошли, но вот еще один парадокс. Леопарди принадлежит к числу тех великих творцов, в произведениях которых каждое новое поколение открывает для себя образы и мысли, близкие именно его душевному складу и созвучные именно его представлениям о мире.

Так было и в России во времена Герцена и Добролюбова, когда из всего разнообразия поэтических мотивов Леопарди выделялась его патристическая лирика, его порыв к освобождению униженной родины, к подвигу героя, вдохновленного великими примерами древних.

Так было и в конце XIX века, когда в тургеневских рассказах "Призраки", "Довольно", в его стихотворениях в прозе "Senilia" ("Старческое") возникает леопардианская проблематика "мировой скорби", указывающая на испытанное Тургеневым влияние "Нравственных очерков"³. Впрочем, в данном случае, думается, предпочтительнее говорить

¹Наст. изд. С. 168.

²Наст. изд. С. 403.

³Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1982. Т. 10. С. 470—474.

не столько о прямом влиянии на Тургенева пессимистической концепции Леопарди или его жанра нравственно-философской миниатюры, сколько об общности поисков полифонического художественного решения проблемы, что есть человеческая жизнь и как жить в согласии с жестоким законом природы. Именно в великом единении мыслящих существ персонажи "Нравственных очерков", лирическое "Я" "Дневника" и канцон Леопарди видели средство, которое способно, помочь отдельному человеку, говоря словами мудрого Платона, "выполнить трудный урок жизни"¹. В поздних произведениях Тургенева (особенно в его стихотворениях в прозе) "трудный урок жизни" составляет не одно лишь горькое познание неизбежного всеобщего зла, но и благодатная, богатая живыми красками память человека о собственном многогранном личном опыте, который прочно соединяет его с остальным миром: это воспоминания о любви, мечты и надежды, сочувствие, память о прожитом, сожаления... Знаменательно, что именно привязанность к этому живому эмоциональному опыту сблизила духовные открытия героев одного из оригинальнейших европейских поэтов и мыслителей XIX века и лирического героя тургеневских "Senilia", в которых ярко запечатлен характер русской философии.

На рубеже XIX—XX веков Россия эпохи Л. Андреева и И. Бунина, А. Блока и А. Белого вчитывается в горькие философские парадоксы "Нравственных очерков" и "Мыслей" итальянского поэта, в его поэтические размышления о трагическом одиночестве человека перед лицом равнодушной вселенной, о вечности его страданий и бесплезности его стремлений. Сложный строй лирического раздумья Леопарди, в котором образный и философский планы развиваются в неповторимо личном ритме, а не по традиционным канонам и схемам поэтического высказывания, лучше всего передан в переводах Анны Ахматовой, чья лирика также изначально глубоко трагична.

Сейчас пришло время "Дневника" Леопарди; и не случайно именно "Дневнику размышлений" был посвящен юбилейный симпозиум, прошедший на родине поэта летом 1998 г. Может быть, именно сейчас, как никогда раньше, мы можем оценить нетерпимость Леопарди-философа к любого рода запретам, догмам, умозрительным схемам, которые Леопарди называет химерами, и с симпатией и интересом принять его идеал человека, доверяющего только своему трезвому критическому опыту, сомнениям и знаниям о тех испытаниях, которые неизбежны для человека на земле. Именно нашему времени особенно понятен тип интеллектуала, сознательно обрывающего свои временные корни, так как ему открылась катастрофичность всей современной цивилизации, где прогресс оплачен перекройкой человеческого сознания, отторжением его от "великого", от "иллюзий" и "одушевления" во имя химерических в своей рациональности систем и теорий.

¹Наст. изд. С. 160.

Мало кто из европейских мыслителей прошлого был столь же проныцателен, как Леопарди, в своих насмешках над иллюзиями прогресса и столь же встревожен ограниченностью и одновременно непомерными претензиями буржуазного духа, который начал терять великие гуманистические ориентиры после всеевропейского революционного катаклизма конца XVIII века.

Пережив трагический опыт XX столетия, мы можем более глубоко оценить идеи Леопарди о трагичности бытия, о возможностях "одушевляющего" поэтического познания, о значении сострадания, "великой" и героической "иллюзии". Стихи и проза Леопарди привлекают нас неожиданностью его парадоксов о человеке, природе и обществе, о прогрессе культуры и нравственности, умением поэта соединять в размышлениях эрудицию и поэтичность, горечь и смех.

Е. Ю. Сапрыкина

ИСТОРИЯ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

Рассказывают, будто все люди, от начала дней населявшие землю, сотворены были повсеместно в одно время, и все были младенцами, а вскармливали их пчелы, козы и горлицы, — подобно как, согласно басням поэтов, взращен был Зевес*. И земля будто бы не была столь велика, как теперь, и почти что по всем странам простирались равнины, и в небе не блистали звезды, и море не было еще сотворено, и мир являл не столько разнообразия и великолепия, сколько являет ныне. Однако же люди, неустанно наслаждаясь его зрелищем и созерцанием неба и земли, дивясь сверх меры тому и другому, а также почитая их прекраснейшими и не только обширными, но и бесконечными в их огромности, величии и стройности, сверх того питая отрадные надежды и из каждого чувствования своей жизни извлекая небывалые радости, вырастали в превеликом довольстве и полагали себя чуть ли не счастливыми. Так в приятности проведя младенчество и первое отрочество и достигнув возраста более возмужалого, стали они ощущать в себе некое изменение. Ибо надежды, которые они до сего времени отлагали со дня на день, так и не видя их исполнения, показались людям заслуживающими малого доверия; а довольствоваться насущными благами, не обещая себе ни малейшего их прибавления, казалось им невыносимо, особенно же потому, что вид природы и все мелочи повседневной жизни в силу ли привычки либо по причине убывания в их душе первоначальной живости давно не казались им столь отрадными и приятными, как вначале. Они странствовали по земле, посещая отдаленнейшие области, ибо могли делать это без труда, поскольку поверхность ее была ровной и разные страны не были ни разделены морями, ни ограждены иными препонами. Так по прошествии немногих лет большинство людей обнаружило, что земля хоть и велика, но имеет пределы, и не столь обширные, чтобы не объять их умом, и что все страны на земле и все люди, если не считать самых малых различий, схожи между собою.

По этой причине их недовольство все росло и возросло до того, что еще прежде, чем они выходили из юношеского возраста, их одолевало явное отвращение к жизни. И так постепенно,

в зрелом возрасте, но более всего на склоне лет, когда пресыщение оборачивается ненавистью, доходили иные из них до отчаяния* и, не в силах долее сносить жизнь, прежде столь желанную, по доброй воле разными способами лишали себя дыхания и света.

Ужасом преисполнились боги, увидев, что живые твари предпочитают смерть жизни и что для иных живущих сама жизнь, а не необходимость либо стечение многих обстоятельств становится причиной к самоуничтожению. И несказанно подивились они тому, сколь ничтожными и мерзостными почитаются их дары, от которых иные всей силою стараются избавиться, а ведь богам казалось, будто так много доброты и прелести вложили они в мир, так устроили его и урядили, что это обиталище должны были бы не только терпеть, а весьма даже любить все одушевленные твари, и прежде всех люди, чей род они создали с особым тщанием и дивным совершенством. И помимо того, что сердца их наполнила немалая жалость к столь великой людской горести, явствовавшей из ее последствий, они опасались, как бы с умножением и повторением прискорбных примеров племя людей спустя недолгое время не истребилось бы вопреки воле судеб и не лишилась бы природа — своего завершения, которым и был для нее наш род, а они сами — воздаваемых им людьми почестей.

Посему Зевес, увидав, что это требуется непременно, порешил улучшить людское состояние и направить человека к счастью более щедрою своею помощью. Бог слышал жалобы смертных, сетовавших всего больше на то, что мир не беспределен** по величине своей и не бесконечны его красота, совершенство и разнообразие, как думали они раньше, но, напротив, все в нем стеснено, все несовершенно и почти что одинаково; слышал и горячие мольбы о том, чтобы, коль скоро не только преклонный возраст, но и зрелый, и даже юношеский горек им и коль скоро они так тоскуют по отрадам своих первых лет, Зевес вернул им младенчество и дозволил пребывать в нем всю жизнь. Однако бог не властен был удовлетворить их желание как противное всеобщим законам природы и не согласное ни с тем долгом, который, по божественному замыслу и установлению, следовало выполнить людям, ни с тою пользой, которую надлежало им принести. Не мог он также поделиться своей бесконечностью со смертными тварями или сделать бесконечной материю и бесконечными — совершенство и счастье мира и людей. Потому он счел за лучшее раздвинуть пределы творения и украсить его вящим разнообразием; и, раз замыслив это, Зевес расширил землю по всему кругу, разлил по ней море, дабы оно, оказавшись между населенными местами, придало миру вид разнообразия и воспрепятствовало людям с чрезмерной легкостью познавать различные его области, прервав дороги, а также явив взорам живое подобие безбрежности. В это время и залили новые воды землю Атлантиды, и не только ее, но вместе и другие бесчисленные

и весьма протяженные области, хотя лишь об Атлантиде осталось воспоминание*, пережившее века. Многие места Зевес вдавил, многие поднял, воздвигнув горы и холмы, испещрил ночь звездами, сделал тоньше и чище природу воздуха, а день яснее и светлее; где усилил, а где умерил краски неба и полей, придав им большее, нежели прежде, разнообразие, смешал поколения людей, чтобы старость одних приходилась на то же время, что юность и отрочество других, а еще, — порешив умножить видимость той бесконечности, которой люди жаждали больше всего (ибо подлинно угодить им он не мог), и стремясь помочь и дать пищу их воображению, через которое, как он разумел, и получали они столь великое блаженство в дни младенчества, — создал он в числе многих пущенных им в дело ухищрений (таких, к примеру, как появление морей) и эхо, сокрыв его в долинах и пещерах, и даровал лесам глубокий и глухой гул с широким колыханием вершин деревьев. С подобной же целью сотворил Зевес и племя снов и поручил им обманывать во множестве обличей людскую мысль, являть человеку подобие той полноты непостижимого для ума счастья, которое на деле бог не видел способа дать, а также смутные и неясные картины, образец которых в мире доподлинно он не мог произвести, как бы ни хотел и как бы горячо ни воздыхали о том люди.

Таковыми заботами и стараниями Зевеса человеческий дух был вновь укреплен и ободрен, и в каждом из людей возрождены любовь к жизни и приверженность ей вместе с верой в красоту и беспредельность земного мира, с изумлением пред ними и способностью ими наслаждаться. И блаженное это состояние длилось дольше, чем первое, более всего благодаря введенной Зевесом разнице во времени рождений, — ибо души охладевшие и утомленные опытом были ободряемы видом пылких надежд, питаемых юностью. Но по прошествии времени опять возник недостаток в новизне, вновь родились и укрепились отвращение к жизни и пренебрежение ею, и до такого уныния дошли люди, что тогда, как полагают, и возник обычай, сохраняемый и соблюдаемый, по рассказам историков**, еще у некоторых из народов древности: когда кто-нибудь рождался на свет, родичи и друзья собирались, чтобы оплакать его, а когда умирал, день этот праздновался пирами и беседами и все поздравляли друг друга с покойником. Под конец все смертные обратились к нечестию, потому ли, что возомнили, будто Зевес их не слышит, потому ли, что несчастья по природе своей жесточают и развращают даже самые благородные души, убивая в них любовь к честности и справедливости. Посему всячески заблуждаются те, кто полагает, будто несчастье людей впервые родилось через их несправедливость и преступления против богов***, напротив того, злокозненность людей возникла не иначе как по причине их невзгод.

А когда боги покарали Девкалионовым потоком**** дерзость смертных, отомстив им за все оскорбления, и лишь двое из всего нашего рода, Девкалион и Пирра, спаслись от всемирного

крушения, то оба они, сидя на вершине скалы, соглашались между собой, что для рода человеческого нет ничего отраднее, как быть истреблёну до конца, и в сильнейшей жажде смерти призывали на себя гибель, ничуть не страшась общей участи и не оплакивая ее. Когда же Зевес призвал их помочь земле в ее опустелости, они, лишившись мужества и тяготясь жизнью, не в силах были взять на себя дело продолжения рода; вот и пришлось им по наущению богов брать камни со склона горы и, бросая их себе за спину, возродить человеческую породу. Но из всего происшедшего Зевес понял, каковы по природе своей люди, и что им не довольно, как другим живым существам, жить и быть свободными от всякой боли и телесных тягот; напротив того, всегда и во всяком состоянии они страстно жаждут невозможного, а из-за этой жажды им тем более невмочь сносить самих себя, чем менее удручены они иными бедами. Потому бог рассудил, что для сохранения этого несчастного рода потребны новые хитрости, и прежде прочего прибегнул к двум. Одна состояла в том, что он подмешал в их жизнь истинные беды, другая — в том, что опутал их тысячей дел и трудов, имея целью занять людей и отвлечь их как можно более от собеседования с собственной душой или, по крайности, от тоски по неведомому и тщетному счастью.

Итак, прежде всего распространил он меж них множество разных болезней и неисчислимое племя иных бедствий, отчасти стремясь разнообразием обстоятельств и уделов смертной жизни воспрепятствовать пресыщению и возвысить цену благ через противопоставление их бедствиям, отчасти дабы и недостаток наслаждений представлялся человеческому духу, привыкшему к худшему, более переносимым, нежели то было прежде, отчасти же с намереньем сломить и укротить людскую свирепость, приручить людей и приучить их склонять шею, заставить их легче мириться со своей участью и притупить в душах, — столь же ослабевших от телесных немощей, сколь и от собственных мук, — острый бодец необузданного желания. И кроме того, он знал, что угнетенные недугами и превратностями люди уже не с такой легкостью, как прежде, станут налагать на себя руки, и так должно быть непременно, ибо от постоянных несчастий они сделаются трусливыми и сокрушенными сердцем. А несчастия по обычаю своему даже крепче привязывают души к жизни, оставляя место надеждам на лучшее; ибо незыблема вера всех несчастных в то, что они станут счастливейшими, едва оправившись от своих бед, а что так непременно должно случиться, человек не перестает уповать, ибо такова его природа. Ради этого и сотворил Зевес ураганы и грозы, вооружился громом и молнией, вручил Нептуну трезубец, пустил по небу кометы и устроил затмения; всем этим, а также иными знаменьями и страшными явлениями он установил пугать время от времени смертных, зная, что страх и близкие опасности хоть на короткий миг примирят с жизнью не только несчастных, но и тех, кому она особенно постыла и кто больше всех склонен был бы уйти из нее.

А чтобы не осталось места прежней праздности, он внушил людскому роду нужду и охоту к новым яствам и новым напиткам, которые возможно было добыть лишь ценою многих и тяжких трудов, — между тем как вплоть до потопа люди, утоляя жажду чистою водою, насыщались травами и плодами, которые земля и деревья приносили им по своей воле, и другою простой и легко изыскиваемой пищей, какой и поныне поддерживают себя некоторые народы, особенно те, что живут в Калифорнии*. Разным местам Зевес сообщил разные свойства климата, и то же сделал он с временами года, — а вплоть до той поры весь год по всей земле был мягок и приятен настолько, что людям неизвестно было употребление одежд; впредь же человек должен был запасать себе и их тоже и много труда и уменья тратить на защиту от перемен и суровости погоды. Меркурию Зевес поручил основать первые города и разделить род людской на народы, племена и языки, посеяв меж ними раздор и несогласие, а также обучить людей пению и иным искусствам, которые и ради природы своей и также ради происхождения были названы и доныне зовутся божественными. Сам Зевес дал новым племенам законы, государство и гражданские порядки и напоследок, желая облагодетельствовать эти сообщества несравненным даром, послал в их среду некие призраки, наделив их нечеловечески прекрасным обличем и отдав им в руки весьма большую долю власти и господства над названными племенами: наречены они были Правосудием, Доблестью, Славой, Любовью к отчизне и иными подобными именами. Среди этих призраков был один, названный Любовью, который в эту пору впервые, подобно всем другим, явился на землю, — прежде же, до того, как узнали употребление одежд, не любовь, но сила вожделения, не отличавшегося у живших тогда людей от присущего во все времена диким зверям, толкала один пол к другому так же точно, как нас влечет пища и другие подобные вещи, которых не любят, но желают.

Можно было лишь подивиться, как много плодов принесло для жизни человеческой это божественное промышление и насколько новые ее обстоятельства, несмотря на труды, страхи и страдания, раньше неизвестные, превзошли своей сообразностью и приятностью те, что были до потопа. И получилось так в немалой мере благодаря тем величавым призракам, которых люди почитали то демонами**, то божествами, и поклонялись им с неизмеримым жаром, и стремились за ними с огромными и небывалыми трудами на протяжении долгих лет. На то с бесконечной силой воспаляли их своим пением поэты и благородные художники, так что огромное множество смертных не поколебались бы отдать в жертву одному или другому призраку свою кровь и жизнь. И это не только не было неуютно Зевесу, но и пришлось ему по душе сверх всякой меры, по многим причинам и еще потому, что он полагал, что люди с тем меньшей легкостью будут по доброй воле бросаться собственной жизнью, чем

охотнее станут отдавать ее ради дела прекрасного и славного. Эти добрые порядки долгим сроком своего существования превзошли все бывшие прежде них, потому что хотя много столетий спустя они и пришли в явный упадок, но и в нисхождении своем и потом в стремительном крушении сохранили еще столько силы, что вплоть до времени, ненамного предшествующего настоящему, человеческая жизнь, бывшая благодаря этим порядкам — особенно в некую пору — почти что отрадною, их же благодеянием осталась вполне переносимой и не такой уж тяжелой.

Причиною и орудием порчи стали хитрые способы легко и быстро удовлетворять свои потребности, во множестве изобретенные людьми, несоразмерный рост неравенства условий жизни и обязанностей, самим Зевесом установленное между людьми при создании и устройении первых государств, праздность и суетность, которые по названным причинам вновь завладели после долгого изгнания жизнью людей, а также и то, что в силу и самой сути вещей, и свойств людского мнения все меньше радости в этой жизни приносило ее разнообразие, как всегда бывает после долгой привычки; были тут повинны и другие обстоятельства, более важные, но так как они уже многими описаны и изъяснены, то и нет надобности перечислять их здесь. Одно ясно: в людях вновь родилось то же отвращение к своему уделу, какое мучило их до потопа, и укрепилась горькая жажда неведомого и чуждого природе вселенной счастья.

Но полный переворот их судьбы и прекращение того состояния, которое мы по обыкновению называем древним, произошли главным образом по иной, нежели названные, причине. Вот в чем она состояла: среди призраков, столь высоко ценимых древними, был один, на нашем языке именуемый Мудростью; повсеместно чтимый, подобно всем своим сотоварищам, а для многих смертных ставший и главным предметом стремлений, он наравне с остальными призраками, со своей стороны, способствовал счастью минувших веков. Мудрость много-много раз, чуть ли не ежедневно, клятвенно обещала своим поклонникам явить им Истину, которая есть-де величайший из демонов, повелевающий самою Мудростью, но никогда на землю не спускавшийся, а восседающий среди богов на небесах. Его-то и обещала она собственной властью и милостью низвести оттуда на землю и принудить некоторое время пострадать среди людей; а завязав с ним близкие сношения, род человеческий непременно достигнет такой высоты, что обширностью познаний, совершенством установлений и обычаяв и блаженною жизнью почти что сравнится с родом бессмертных. Но как могла бесплотная тень, пустая видимость исполнить свои обещания и тем более низвести на землю Истину? И посему люди — заметив тщетность этих обещаний, после того как долгое время верили им и возлагали на них надежды, но вместе с тем изголодавшись по новшествам, более всего по причине праздности, в которой они жили, и подстрекаемые отчасти честолюбивым желанием сравняться с богами, отчасти жаждой того блаженства, которого ожидали

достигнуть через собеседование с Истиной, как то утверждал призрак, — стали воссылать Зевесу настойчивые и дерзкие мольбы, в которых просили хоть на короткое время отпустить на землю этого благороднейшего демона, а также упрекали бога в том, что он из зависти нарочно лишает своих тварей той бесконечной пользы, какую они извлекли бы из присутствия Истины; при этом они еще сетовали на людскую участь, возобновив прежние докучные жалобы на малость и бедность своего удела. А поскольку прекраснейшие призраки, податели стольких благ в прошедшие века, ныне большею частью смертных почти уже и не чтились — и не потому, что те познали наконец их истинную природу, но потому, что из-за низости мысли и лености нравов никто теперь за ними не стремился, — постольку люди, кощунственно понося величайший дар, который предвечные ниспослали и могли ниспослать смертным, стали кричать, что земля-де была удостоена лишь меньших демонов, а демонам величайшим, преклоняться перед которыми больше пристало человеческому роду, стыдно и не дозволено показаться в нашей области вселенной, самой низменной из всех.

Давно уже многие причины вновь отвратили от людей волю Зевеса, и среди прочих — небывалые пороки и злодейства, и числом и тяжестью своей намного оставившие позади преступления, наказанные потопом. Совсем уже омерзела ему человеческая природа, после того как он много раз убеждался на опыте, сколь она беспокойна, ненасытна и неумеренна; для того чтобы привести ее не то что к счастью, а хотя бы к спокойствию, — теперь он видел это ясно, — нет ни действительных средств, ни благоприятного состояния, ни достаточного простора; и пусть бы он даже счел за благо тысячекратно увеличить земные пространства, земные наслаждения и весь вещественный мир, все равно и то и другое спустя короткое время стало бы людям, равно не способным на бесконечное и жадным до него, казаться тесным и лишенным приятности и цены. Но под конец эти глупые и надменные просьбы до того распалили гнев бога, что он решил, отложив всякую жалость, покарать вечною казнью человеческую породу, осудив ее терпеть во все будущие времена нужду горшую, нежели в прошедшие. Для этой казни Зевес рассудил не только послать на некоторое время Истину в среду людей, согласно их просьбам, но и дать ей меж ними вечное местопребывание, чтобы она, изгнав те смутные призраки, которые он поместил в дольном мире ранее, стала навсегда усмирительницей и владыкой рода человеческого.

Прочие боги удивились такому замыслу Зевеса: многим из них казалось, что послужит он к чрезмерному возвышению человеческого состояния и нанесет ущерб их собственному превосходству, однако Зевес отвратил их от этой мысли, доказавши им, что не все демоны, даже великие, по свойствам своим благодетельны, и тем более не такова природа Истины, чтобы она непременно оказала то же действие на людей, что и на богов. Потому что

если бессмертным она показывала воочию их блаженство, то людям она открыла бы и навсегда поместила бы у них пред глазами их несчастную участь, представив ее, кроме того, не как дело одной лишь фортуны, но как нечто неизбежное, непоправимое и неизбывное во всей их жизни. И коль скоро по природе своей человеческие бедствия суть бедствия в той мере, в какой претерпевающий считает их таковыми, и тяжки они настолько, насколько он мнит их тяжкими, то можно судить, какой великий вред будет людям от присутствия среди них этого демона. Ничто не будет казаться им более истинным, нежели ложность всех смертных благ, и более прочным, нежели преходящее всего, кроме их собственных страданий. По этим причинам они лишатся даже надежды, которая от века и донныне поддерживала их жизнь более, чем всякое иное наслаждение или утешение.

"А ни на что не надеясь и не видя никакой достойной цели своих предприятий и трудов, они станут до того пренебрегать и гнушаться прилежной работой, не говоря уже о подвигах великодушия, что общий обычай живых мало чем будет отличаться от обычая теней за гробом. Но и в этом отчаянии, в этом бездействии не избавятся они от врожденной жажды безмерного счастья, которая пуще прежнего будет терзать их и мучить им душу тем сильнее, чем меньше они будут заняты и отвлечены разнообразием забот и непрерывностью дел. И в то же время они обнаружат, что их покинул природный дар воображения, которое одно могло хоть отчасти удовлетворить и дать пресловутое счастье, недостижимое и непостижимое ни для меня, ни для них, воздыхающих о нем. Тут все те призраки бесконечного, которые я с такой заботой поместил в мире, чтобы они обманывали смертных и питали их в соответствии с их склонностью помыслами широкими и смутными, окажутся бессильны перед знаниями и привычками, приобретенными через наставничество Истины. И выйдет так, что земля и прочие части вселенной, и раньше казавшиеся людям маленькими, отныне покажутся совсем уж ничтожными из-за того, что всем будут открыты и растолкованы тайны природы, а они, вопреки нынешним людским ожиданиям, представляются тем мельче, чем больше знаний о них приобретает каждый. В конце концов, когда исчезнут с земли все ее призраки, а люди через поучения Истины до конца постигнут их призрачность, в жизни не будет ни доблести, ни честности в делах и мыслях, повсюду угаснут сами имена народа и отчизны, а не то что забота о них и любовь к ним; все люди сольются — такие слова привыкнут они тогда говорить — в единый народ с единой отчизной и будут исповедовать всеобщую любовь ко всей человеческой породе; на самом же деле их племя рассыплется на столько народов, сколько есть людей. Ибо, не имея перед глазами ни родины, которую он обязан любить больше всего, ни чужеземцев, дабы их ненавидеть, каждый возненавидит всех прочих, возлюбив из всего людского рода лишь самого себя. Слишком долго было бы рассказывать, как

много великих бедствий возникнет по этой причине. Но и среди таких отчаянных горестей смертные не отважатся по своей воле покинуть свет дня, потому что владычество этого демона делает их не менее трусливыми, чем несчастными: сверх меры отравив горечью их жизнь, он лишит их мужества от нее отказаться”.

После таких Зевесовых слов подумали боги, что людская участь будет слишком уж жестока и сурова, и божественному милосердию не пристало на то соглашаться. Но Зевес продолжал: “Все же будет у них слабое утешенье от того призрака, которого они именуют Любовью, ибо его я располагаю, по удалении всех прочих, оставить в человеческом сообществе. И не дано будет Истине, пусть и могущественной и непрестанно с ним воинствующей, ни покончить с ним и изгнать с земли, ни даже победить, кроме разве редких случаев. Так что жизнь человеческая, в равной мере занятая служением и призраку и демону, будет разделена надвое, и оба они получают в душах смертных общую власть. Все прочие стремления, за немногими и ничтожными исключениями, для большинства людей не будут существовать. А в преклонном возрасте недостаток утешений, приносимых Любовью, возместится благодаря природному свойству людей быть довольными одной только жизнью, как то бывает и у других животных, и прилежно заботиться об ее поддержании ради нее самой, а не ради тех наслаждений и удовольствий, которые можно из нее извлечь”.

И вот, удалив с земли все блаженные призраки, кроме Любви, наименее благородной из всех, Зевес послал к людям Истину, дав ей среди них вечное местопребывание и господство, из чего и произошли все те прискорбные последствия, которые он провидел. Но приключилась и одна вещь весьма удивительная: если до своего сошествия сей демон, не имевший среди людей ни могущества, ни прав, был почтен от них великим множеством храмов и жертвоприношений, то теперь, нисшед на землю с княжескою властью и будучи познан вблизи, он, не в пример всем другим бессмертным, которые, чем зримее являют свое присутствие, тем более достойными преклонения кажутся, удручил души людей и наполнил их таким страхом, что они, хотя и вынужденные повиноваться, отказали ему в поклонении. И если те призраки тем горячее бывали чтимы и любимы, чем больше овладевала душой их сила, то демон стяжал самые суровые проклятья и самую тяжкую ненависть как раз от тех, над кем обрел наибольшую власть. И так, не в силах ни уйти от его’ тирании, ни восстать против нее, люди стали жить в том крайнем несчастье, какое терпят они до сих пор и всегда будут терпеть.

Однако милосердие, никогда не угасавшее в душах небожителей, спустя некоторое время подвигло волю Зевеса сжалиться над столь горькой их участью, и больше всего над участью некоторых людей, — ради остроты их ума, соединенной с благородством нравов и непорочностью жизни, ибо он видел, что они-то бывают обыкновенно больше всех прочих угнетены и уд-

ручены могуществом и суровым господством названного демона. В старые времена, когда людскими делами правили Справедливость, Доблесть и другие призраки, у богов был обычай посещать порой свои творения и спускаться то одному, то другому на землю, разными способами давая знать о своем присутствии, которое всегда было величайшим благодеянием или для всех смертных, или для кого-нибудь одного особо. Но когда жизнь снова развратилась и погрязла во всяческом злодействе, они долгое время гнушались людской беседой. Теперь же Зевес, сострадая нашим великим несчастьям, предложил бессмертным, если у кого в душе родится такое желание, посетить, как они посещали встарь, и утешить в горестях свое порождение, и особенно тех, кто явил себя не заслуживающим всеобщих страданий. В ответ на это при молчании остальных Любовь, дитя Афродиты Небесной*, соименная называемому так же призраку, но ничуть не похожая на него ни природой, ни свойствами, ни делами, вызвалась (ибо среди всех божеств особенным было ее милосердие) исполнить то, что предложено было Зевесом, и спуститься с небес, которые никогда не покидала прежде, будучи столь несказанно дорога бессмертным, что сонм их не допускал ее даже на краткое время удалиться из среды богов. Хотя порою многие люди в старину, обманутые преображениями и разными кознями соименного призрака, полагали, что видят несомненные знаки присутствия величайшего божества, оно стало посещать смертных не прежде, чем они подчинены были власти Истины. Но и с той поры оно если и нисходит к ним, то лишь редко, и пребывает недолго, как оттого, что род людской вообще этого недостойн, так и оттого, что боги с трудом переносят его отсутствие. Когда же оно приходит на землю, то выбирает самые нежные и кроткие сердца людей благороднейших и великодушнейших и в них остается на короткий срок, проливая в них неведомую и столь дивную отраду, наполняя их столь высокими чувствами и столь великой доблестью и отвагой, что они тут испытывают нечто небывалое для рода человеческого — истинное блаженство, а не его подобие. Совсем уж редко сочетает оно два сердца, заключая оба одновременно в свои объятия и в оба вливая взаимный жар и влечение; хотя об этом с великой настойчивостью молят все те, кем оно овладевает, но Зевес позволяет ему удовлетворять лишь немногих, потому что блаженство, порождаемое таким благодеянием, не намного превзойдено блаженством бессмертных. Однако и тот, кто преисполнился его божественной силы, тот посрамил самое великое счастье, достававшееся человеку в лучшие времена. В ком Любовь нашла себе место, вокруг того собираются невидимо для других великолепные призраки, изгнанные из среды людей, но вновь низводимые на землю силою великого божества, ибо это дозволено ему Зевесом и не может быть запрещено Истиною, как ни враждебна она названным призракам и ни оскорблена в душе их возвратом; но природе демонов не дано противоборствовать богам. И так

как Любовь наделена от Судеб даром вечно оставаться младенцем, то в соответствии с этой своей природой она некоторым образом исполняет первую мольбу людей, мольбу о том, чтобы им вернуться в пору младенчества. Потому в душах, которые Любовь избирает себе обиталищем, она пробуждает и обновляет на все время своего пребывания бесконечные надежды и прекрасные и дорогие мечтания нежного возраста. Многие смертные, не изведавшие ее наслаждений и на них не способные, гонят ее от себя прочь и язвят непрестанно и когда она далеко, и когда посетит их; но божество не слышит этих поношений, а даже если бы и услышало, то не стало бы за них карать, столь оно по природе своей великодушно и кротко. Да и вообще боги, довольствуясь тем, что отомстили всей человеческой породе, покарав ее безысходными бедствиями, не заботятся об оскорблениях, наносимых кем-нибудь из людей, и для людей коварных, беззаконных и презирающих богов нет у бессмертных особой казни, кроме той, что нечестивцы уже через нечестивость свою лишены их милости*.

РАЗГОВОР ГЕРКУЛЕСА И АТЛАНТА

Геркулес. Отец Атлант!** Зевес прислал меня передать тебе привет и велел мне в том случае, если ты совсем изнемог от этой тяжести, самому взвалить ее на плечи часа на два или на три, как я сделал однажды***, уже не помню, сколько веков назад, и дать тебе перевести дыхание и немного отдохнуть.

А т л а н т. Спасибо, милый мой Геркулесик, и премного обязан его величеству Зевесу. Но мир стал таким легким, что этот плащ, которым я прикрываюсь от снега, давит мне на плечи больше; и если бы воля Зевеса не принуждала меня стоять не сходя с места и держать на спине этот шар, я бы взял его под мышку, или засунул в карман, или привязал к волоску бороды — пусть себе болтается, — а сам бы отправился по своим делам.

Геркулес. Как это могло случиться, чтобы он стал таким легким? Я заметил, что он изменил форму**** и стал, наподобие каравай хлеба, уже не таким круглым, как в те времена, когда я изучал космографию перед тем, как пуститься в дальнее плавание с аргонавтами. Но все-таки я не пойму, с чего бы ему весить меньше прежнего.

А т л а н т. С чего, я сам не знаю. А вот в том, какой он легкий, ты хоть сейчас можешь удостовериться, если минутку поддержишь его на ладони и попробуешь на вес.

Геркулес. Клянусь Геркулесом, ни за что бы не поверил, если бы сам не попробовал! А это еще что за новости? Вот открытие! В прошлый раз, как я тащил его на себе, он у меня на спине бился, будто сердце у животного, и еще как-то непрерывно гудел, точно осиное гнездо. А сейчас он если и бьется, то не иначе как часовой механизм со сломанной пружиной, а что до гудения, то я ни звука не слышу.

Атлант. На этот счет тоже ничего тебе не скажу, знаю только, что мир давным-давно перестал шевелиться или шуметь так, чтоб было слышно. Я уж совсем было заподозрил, что он умер, и ждал со дня на день, что он тут у меня провоняет; я даже обдумывал, где бы мне его похоронить и какую эпитафию написать. А потом я увидел, что он не тлеет, и решил, что он из животного, каким был раньше, превратился в растение, подобно Дафне и еще многим другим; потому-то он больше не шевелится и не дышит; я даже опасаясь, как бы он не пустил корни мне в плечи.

Геркулес. А мне больше сдается, что он спит, на манер Эпименида*, который не просыпается полвека, или Гермоти-ма**, о котором рассказывают, будто у него душа выходила из тела, как только он захочет, и оставалась снаружи по многу лет, разгуливая из страны в страну, а потом возвращалась, пока друзья, желая положить конец этой песенке, не сожгли тела; и вот дух, воротившись, чтобы в него войти, нашел дом разрушенным, так что ему, если бы захотелось иметь крышу над головой, пришлось бы найти другой дом, сдаваемый внаем, или отправиться на заезжий двор. Но нельзя же, чтобы мир так и спал вечно, а то как бы кто из друзей и благодетелей, подумавши, что он умер, не сжег его! Давай-ка попробуем как-нибудь его разбудить.

Атлант. Ладно, да только как?

Геркулес. А я ему дам хорошую затрещину вот этой дубинкой. Впрочем, нет, боюсь, как бы мне его совсем не расплющить в лепешку; или вдруг его кора — ведь недаром он сделался так легок! — окажется такой тонкой, что он от удара разобьется, как яйцо. И еще я не уверен, что люди, которые в мое время бились врукопашную со львами, а теперь воюют разве что с блохами, не упадут от толчка все разом в обморок. Лучше всего будет, если я отложу мою дубинку, а ты — свой балахон, и мы поиграем этим шариком в мяч. Жаль только, я не принес перчаток*** или ракеток, которыми мы с Меркурием играем в доме Зевеса или на огороде. Ладно, обойдемся и руками!

Атлант. Ну что ж! Только как бы твоему отцу, ежели он увидит наши игры, не пришла охота поиграть с нами третьим и своим огненным мячиком низвергнуть нас неведомо куда, как Фазтона в По****.

Геркулес. Так бы и случилось, будь я, как Фазтон, сыном какого-то там поэта, а не его собственным; и еще не будь я таков, что мне хватает духу, подобно тому как поэты звуками лиры заселяли города, опустошить землю и небо стуком моей дубинки. А его мячик я так пну ногой, что он у меня подскочит отсюда до самых эмпиреев, рассыпаясь на лету. Да не бойся, ведь если бы мне пришла блажь сдернуть с неба пять-шесть звезд, чтобы поиграть в камешки, или бросить в цель комету, раскрутив ее, как пращу, или метнуть само солнце вместо диска, отец сделает вид, будто ничего не заметил. К тому же игру мы затеваем

с самыми лучшими намерениями, чтобы помочь миру, — не то что Фазтон, который только хотел показать свою ловкость Орам*, когда поднимался в колесницу, а они держали под уздцы упряжку, и прослыть умелым кучером у Андромеды, Каллисто** и прочих звездных красавиц, которым, есть слух, он на ходу бросал букетики лучей и скатанные из света шарики***, и вообще он хотел покрасоваться и показать себя небесным богам, которые в тот день все вышли на прогулку, потому что был праздник. Одним словом, пусть тебя не беспокоит гнев моего отца, потому что в случае чего я обязуюсь возместить тебе убытки. Не мешкай же, снимай свой халат и подай мне мяч.

А т л а н т. Волей или неволей, а придется делать по-твоему: ты парень дюжий и вооружен, а я безоружен и дряхл. Но гляди, чтобы он у тебя не упал, а то как бы на нем не вскочили новые шишки или не появились где-нибудь вмятины, или как бы он опять не дал трещину, как тогда, когда от Италии откололась Сицилия, а от Испании — Африка****, или вдруг от него отлетит осколок — провинция там либо целое царство — и начнется из-за него война.

Геркулес. За меня не беспокойся.

А т л а н т. Вот тебе мяч! Гляди, как он спотыкается — это оттого, что форма у него испортилась.

Геркулес. Ну-ка, подавай сильнее, а то твои мячи не долетают.

А т л а н т. Тут не в ударе дело, просто дует ветерок с востока и сносит мяч, потому что он слишком легок.

Геркулес. Ну, это его старый грех — гоняться за ветром.

А т л а н т. По правде говоря, неплохо бы нам его надуть, а то он отскакивает от руки ничуть не лучше, чем какая-нибудь дыня.

Геркулес. А вот это уже новый порок: прежде-то этот шарик прыгал и скакал, как козочка.

А т л а н т. Беги скорее туда! Беги, говорю! Ой, гляди, падает, клянусь богом, падает! Будь проклят тот час, когда ты сюда пришел.

Геркулес. Да ты послал его так криво и низко, что я никак не мог подоспеть, — хоть бы даже сломал себе шею. Ох, бедняжка, как ты себя чувствуешь? Тебе нигде не больно? Не слышать, чтобы хоть кто-то дышал, и не видно, чтобы кто-нибудь пошевелился. Сдается, все спят, как раньше.

А т л а н т. Оставь уж его, ради всех русл Стикса*****, и дай мне взгромоздить его снова на плечи, а ты отправляйся немедленно на небо, чтобы оправдать меня перед Зевесом — ведь неприятность-то вышла из-за тебя.

Геркулес. Ладно, так и сделаю. Вот уже много веков в отцовском доме живет некий стихотворец по имени Гораций, его приняли к нам на должность придворного поэта по ходатайству Августа*****, обожествленного Зевесом с тем расчетом, что это будет способствовать могуществу римлян. Этот поэт все время распекает какие-то свои песенки, и в одной, между прочим, говорится, что человек справедливый не шевельнется, даже если

мир упадет*. Можно подумать, что теперь все люди стали справедливы: ведь мир упал, а никто не пошевелился.

А т л а н т. А кто сомневается в людской справедливости? Но нечего тебе стоять, время тратить, беги скорей и обели меня перед твоим отцом, а то я с минуты на минуту жду, что молния превратит меня из Атланта в Этну**.

РАЗГОВОР МОДЫ И СМЕРТИ

М о д а. Госпожа Смерть, а госпожа Смерть!

С м е р т ь. Подожди немного, я еще приду к тебе в свой час, и без твоего зова.

М о д а. Госпожа Смерть!

С м е р т ь. Убирайся к чертям! Я приду, когда тебе не захочется.

М о д а. Можно подумать, будто я не бессмертна!

С м е р т ь. Бессмертна?

*Уж больше тысячи минуло лет***,
с тех пор как кончились времена бессмертных.*

М о д а. А вы, сударыня, тоже не обходитесь без Петрарки, точно итальянский лирик в пятнадцатом или девятнадцатом веке.

С м е р т ь. Мне стихи Петрарки по душе оттого, что в них я нахожу свой триумф****, и оттого, что в них почти повсюду говорится обо мне. Ну да ладно, поди-ка ты прочь от меня.

М о д а. Эй, ради твоей любви ко всем семи смертным грехам, остановись и погляди на меня.

С м е р т ь. Гляжу.

М о д а. Разве ты меня не узнаёшь?

С м е р т ь. Надо бы тебе знать, что я слаба зрением, а очками пользоваться не могу, потому что подходящих для меня даже англичане не делают, а если бы и сделали, мне их не на что было бы водрузить.

М о д а. Я мода, твоя сестра.

С м е р т ь. Моя сестра?

М о д а. Конечно! Разве ты не помнишь, что мы обе рождены Бренностью?

С м е р т ь. Как я могу помнить, если у Памяти нет врага злее меня?

М о д а. Но я-то хорошо об этом помню, и еще я знаю, что у нас одна цель: переделать и изменить все, чтобы не было ничего постоянного в этом дольном мире; только ты идешь к этому своим путем, а я своим.

С м е р т ь. В том случае, если ты беседуешь не со своими собственными мыслями и не с кем-нибудь у себя в глотке, говори громче и старайся отчеканивать каждое слово. А ты цедишь сквозь зубы, и голосок у тебя тонкий, как паутинка, — этак я тебя

раньше чем завтра не услышу, потому что слух у меня, да будет тебе известно, не лучше зрения*.

М о д а. Хотя это и не по правилам хорошего тона и хотя во Франции вообще не принято говорить затем, чтоб тебя слушали, но уж ладно, коль скоро мы сестры и можем обойтись между собой без лишних церемоний, скажу, как ты хочешь. Я говорю, что у нас одна природа и один обычай — непрестанно обновлять мир, но ты с самого начала занялась людьми и кровью, а я по большей части довольствуюсь бородами, волосами, нарядами, мебелью, дворцами и прочими подобными вещами. Правда, и я никогда не упускала и не упускаю случая сыграть шутку не хуже твоих: например, я дырявлю когда уши, а когда и губы и ноздри, и терзаю их, вдевая в дыры безделушки, или заставляю людей жечь собственную плоть, запечатлевая в ней для красоты следы раскаленных клеем; либо принуждаю их уродовать голову младенца** повязками и другими ухищрениями, вводя в обычай, чтобы люди по всей стране имели головы одинаковой формы, как я сделала в Америке и в Азии; или же велю им увечить себя узкими башмаками***, стеснять себе дыхание корсетом, стянутым так, что у них глаза на лоб лезут; и еще многое другое в том же роде. Одним словом, я вынуждаю или убеждаю всех людей благородного звания ежедневно терпеть тысячи трудов и тягот, а иногда и болей и мук, а кое-кого и умереть со славой, и все во имя любви ко мне. Не говорю уже о головных болях, о простудах, о воспалениях всякого рода, о лихорадках ежедневных, трехдневных и четырехдневных, которые люди зарабатывают себе, соглашаясь из послушания моей воле дрожать от холода или задыхаться от жары, защищать себе спину шерстяной тканью, а грудь — легким полотном, короче, делать все по-моему, даже себе во вред.

С м е р т ь. Коли так, я тебе верю, что ты моя сестра, — если хочешь, я без всякой выписки из церковной книги так же твердо в этом уверена, как в том, что все умрут. Но знаешь, я прямо в обморок падаю, когда так долго стою на месте. Однако, если тебе придет охота побежать рядом со мной, смотри не лопни, потому что мчусь я изрядно. На бегу ты мне сможешь сказать, чего тебе надобно. А нет, так я обещаю, ради нашего родства, отказать тебе по смерти все мои пожитки — и счастливо оставаться.

М о д а. Если бы нам пришлось состязаться в беге ради награды, я не знаю, кто победил бы: ты бежишь, я несусь галопом. И если ты, долго стоя на месте, падаешь в обморок, то я от этого просто таю, как свечка. Так что бежим дальше, а на бегу, как ты говорила, обсудим наши дела.

С м е р т ь. Бежим, в добрый час. Так вот, если и ты вышла из лона моей матери, то следовало бы тебе хоть как-то помочь мне в моих трудах.

М о д а. Но я ведь и прежде это делала, причем больше, чем ты думаешь. Во-первых, я, хоть и отменяю и переворачиваю

непрестанно все обычаи, никогда не допускала, чтобы люди вдруг перестали умирать, и потому обычай этот, ты сама видишь, повсеместно пребывает неизменным от начала веков и доныне.

Смерть. Велико ли диво не делать того, что не в твоих силах.

Мода. Как не в моих силах? Вот ты и показала, что не знаешь, каково могущество моды.

Смерть. Ладно, об этом мы успеем побеседовать, когда появится обычай не умирать. А куда я бы хотела, чтобы ты, как положено доброй сестрице, помогала мне добиваться обратного легче и быстрее, чем до сих пор.

Мода. Я уже рассказала об иных из моих дел, которые и тебе приносят прибыль. Но это пустяки в сравнении с тем, что я хочу тебе сказать. Понемногу, а в последнее время особенно, я в угоду тебе заставила всех забросить и забыть труды и упражнения, способствующие телесному здоровью, а на их место ввела и возвысила во всеобщем мнении бесчисленное множество других, тысячами способов разрушающих тело и укорачивающих жизнь. Помимо этого я ввела в мире такие порядки и такие нравы, что жизнь и тела и душ скорее можно назвать мертвой, чем живой; поэтому про нынешний век можно воистину сказать, что это век смерти. И если в старину у тебя не было других земельных угодий, кроме ям и пещер, где ты сеяла в темноте кости и прах, — а посев этот не дает плодов, — то теперь у тебя есть владенья на солнце; и люди, которые ходят и бродят вокруг на двух ногах, предоставлены, можно сказать, твоему благому усмотрению, хотя бы ты и не скосила их, едва они родились. Более того, везде, где прежде тебя ненавидели и поносили, нынче моими трудами все дошло до такого предела, что всякий, в ком есть разум, восхваляет тебя и прославляет, предпочитая жизни, и так ты ему мила, что он все время тебя призывает и обращает к тебе взоры как к величайшей своей надежде. И наконец, еще вот что: я видела многих, кто похвалялся, что желает стать бессмертным и умрет не весь*, ибо большая его часть не попадет к тебе в руки; я, конечно, знала, что все это пустая болтовня, и если иногда он сам или кто другой оставался в памяти людей, то жил он, так сказать, в шутку и наслаждался своей славой не больше, чем страдал от могильной сырости; но все же, понимая, что эта история с бессмертием тебе неприятна, потому что из-за нее, кажется, страдают твоя честь и репутация, я отменила обычай стремиться к бессмертию или награждать им, если кто его заслужил. Так что теперь, когда кто-нибудь умирает, то уж от него, будь уверена, не останется ни единой живой частицы, и он непременно отправится под землю весь целиком, как рыбешка, которую заглатывают сразу, с головой и костями. Вот какие услуги, немалые и в немалом числе, оказала я тебе до нынешнего дня ради моей любви и в желании возвысить тебя на земле, что мне и удалось. Ради этой цели я готова каждый день делать столько же и еще больше,

и с таким намерением я отправилась тебя разыскивать. Мне кажется, что отныне и впредь мы не будем друг с другом разлучаться, потому что, будучи всегда вместе, мы сможем советоваться по каждому случаю и не только выбрать наилучший план, но и лучше его осуществить.

Смерть. Твоя правда. Я согласна, так мы и сделаем.

НАГРАДЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ АКАДЕМИЕЙ СИЛЛОГРАФОВ

Академия силлографов*, в соответствии с основами своего устава непрестанно ревнуя о том, чтобы каждым усилием своим способствовать общественной пользе, и полагая, что более всего отвечают этому намерению старанья споспешествовать движению и содействовать устремлениям

*Тех лет счастливых, в кои мы живем**,*

как говорит прославленный стихотворец, взяла на себя труд тщательно изучить свойства и характер нашего времени и по долгом и зрелом размышлении решила, что можно назвать его веком машин, и не только потому, что люди сегодня действуют и живут более механически, нежели во все прежние времена, но и приняв во внимание великое множество машин, недавно изобретенных и приспособленных, а также ежедневно изобретаемых и приспособляемых для многих и разных нужд, почему отныне и возможно говорить, что не люди, а машины занимаются всеми делами человеческими и потребными для жизни работами. Как-то обстоятельству названная Академия весьма радуется не столько по причине многих удобств, проистекающих отсюда, сколько в силу двух соображений, которые она почитает важнейшими, хотя и не снискавшими еще общего внимания. Во-первых, Академия уверена, что по истечении недолгого времени в круг обязанностей, выполняемых машинами, войдут не только дела материальные, но и духовные; по этой причине, подобно тому как мы с помощью машин освободились и защитили себя от вреда, наносимого молнией и градом или иными подобными бедствиями и ужасами, так постепенно имеют быть изобретенными по примеру существующих некие завистеотводы (да простят нам новизну слов), некие клеветоотводы, кознеотводы и противоковы либо некие нити спасения или другие устройства, которые избавят мир от себялюбия, от засилья посредственности, от преуспевания безрассудных, бесчестных и подлых, от всеобщего пренебрежения и нужды, в которых живут разумные, честные и благородные, и от прочих бедствий, отвратить которые в последние несколько столетий оказалось менее возможным, нежели отвратить молнию и град. Второе же, и главное, соображение

состоит в том, что коль скоро бóльшая часть философов отчаялась в возможности излечить пороки рода человеческого, которые, как полагают, числом и силой превосходят добродетели, и коль скоро признано бесспорным, что легче наново его перечеканить или чем-либо заменить, чем исправить, то Академия силлографов считает наиболее уместным, чтобы люди, насколько возможно, устранились от всех потребных для жизни занятий и постепенно уступили место, каковое на смену им займут машины. И порешив всеми силами способствовать скорейшему установлению этого нового порядка вещей, Академия предлагает ныне три награды тем, кто изобретет три нижеописанные машины.

Назначение первой — заменить собою друга и выполнять все его обязанности, но при этом не ругать и не вышучивать друга за глаза*, не оставлять друга без защиты, услышав, как его бранят или осмеивают, не ценить репутации колкого остроумца выше дружбы и не смешить людей за счет оной, не разбалтывать с любою целью, а паче ради того, чтобы иметь о чем поговорить и чем покрасоваться, доверенных другом секретов, не использовать его расположение и откровенность, чтобы легче обмануть его и взять над ним верх, не завидовать его преимуществам, заботиться о его достоянии, стараясь, чтобы он не терпел убытков, или возмещая их, и не только на словах быть готовым откликнуться на его просьбу и помочь ему в нужде. Что до остального, к чему следует стремиться при построении этого автомата, — смотри в трактатах Цицерона и маркизы де Ламбер о дружбе**. Академия считает, что изобретение устроенной таким образом машины следует признать не только возможным, но и не чересчур трудным, если вспомнить, что помимо автоматов Реджомонтано, Вокансона*** и других, а также лондонского автомата, который рисовал портреты и фигуры и писал под чью угодно диктовку, мы видели несколько машин, самостоятельно игравших в шахматы. Теперь, по мнению многих мудрецов, человеческая жизнь есть игра, а по утверждению некоторых из них, она легчевеснее игры, ибо среди всех прочих форма шахматной игры больше отвечает разуму, а все случаи в ней более упорядочены, чем в жизни. Кроме того, если жизнь, по словам Пиндара****, столь же бесплотна, как сон или тень, то вполне способен к ней и неусыпно трудящийся автомат. Что же до преданий, то не может быть подвергнута сомнению молва о людях, якобы способных вкладывать жизнь в созданные ими машины, как это известно из многих примеров. В частности, из того, что мы читаем о статуе Мемнона, о построенной Альбертом Великим***** голове, столь словоохотливой, что святой Фома Аквинский возненавидел ее за это и разрушил. И если неверский попугай*****, хоть и был всего только животным, умел отвечать и говорить кстати, то с бóльшим основанием можно верить, что то же самое в состоянии будет делать машина, изобретенная разумом человека и построенная его руками; при-

том она не должна быть столь болтлива, как попугай из Невера и подобные ему пернатые, которых целый день и видно и слышно, или как голова, сделанная Альбертом Великим, ибо машине не подобает докучать другу, тревожить его и не давать ему покоя. Изобретатель этой машины получит в награду золотую медаль весом в четыреста цехинов, на одной ее стороне изображены будут Пилад и Орест*, на другой отчеканено имя награжденного и надпись: "Тому, кто первым подтвердил древние басни".

Что до второй машины, то это должен быть искусственный человек, движимый паром и предназначенный для совершения доблестных и благородных поступков. Академия полагает, что пар, за отсутствием иных средств к этому, окажется полезен для подогревания пыла самодвижущейся машины и направления ее на путь доблести и славы. О великих делах, которые должна предпринять названная машина, смотри в поэмах и романах, которыми и следует руководствоваться в отношении свойств и действий, требуемых от автомата. Наградой будет золотая медаль в четыреста пятьдесят цехинов весом, на лицевой ее стороне будет выбито символическое изображение золотого века, а на оборотной — имя изобретателя машины и надпись, почерпнутая из Четвертой эклоги Вергилия:

*Quod ferrea primum
Desinet ac toto surget gens aurea mundo*¹.

Третья машина должна быть устроена так, чтобы выполнять обязанности женщины, во всем подобной той, какую вообразили отчасти граф Бальдассар Кастильоне**, описавший ее идею в книге "Придворный", отчасти другие, рассуждавшие о том же в различных трудах, которые легко будет разыскать и с которыми следует непрестанно сверяться, как равно и с трактатом графа. Изобретение и этой машины не должно казаться невозможным в наш век, если мы вспомним о Пигмалионе***, еще в древнейшие времена, чуждые наук, сумевшем собственноручно изготовить себе супругу, про которую идет молва, что она была лучшей из женщин, когда-либо существовавших вплоть до наших дней. Творцу этой машины предназначена золотая медаль в пятьсот цехинов весом, на одной стороне которой будет изображен арабийский феникс Метастазии**** на дереве одной из тех пород, что растут в Европе, а на другой написано будет имя награжденного и слова: "Изобретателю верных жен и супружеского счастья".

Академия постановляет: все расходы на перечисленные награды покрыть за счет того, что было найдено в мошне Диогена, бывшего секретаря названной Академии, а также употребить на них одного из трех Золотых ослов*****, принадлежавших трем

¹ Когда железное сгинет
И золотое по всей земле поколение восстанет (лат.).

членам Академии силлографов, а именно Апулею, Фиренцуоле и Макиавелли; каковые ценности перешли к силлографам по завещаниям выше поименованных членов, как мы о том читаем в истории Академии.

РАЗГОВОР СИЛЬФА И ГНОМА

Сильф. Ба, да это ты, сын Сабазия!* Куда путь держишь?

Гном. Отец послал меня разведать, что там затевают эти чертовы мошенники люди; он сам на этот счет в большом сомнении, потому что они уже давненько нам не докучают, и во всем отцовском царстве ни одного человека не видно. Он подозревает, что ему готовят большую пакость, если только не вошла снова в обычай купля-продажа в обмен на скот, а не на золото и серебро, или если просвещенные народы не довольствуются теперь бумажками вместо звонкой монеты, как это бывало не раз, или стеклянными бусами, как дикари, и если не введены опять законы Ликурга**, что кажется ему самым невероятным.

Сильф.

Вы их напрасно ждете: все погибли, —

как сказано в финале одной трагедии***, где помирали один за другим все действующие лица.

Гном. Ты что хочешь сказать?

Сильф. Хочу сказать, что люди все вымерли и сама порода их погибла.

Гном. Но о таком событии должны были сообщить в газетах. А покуда не видно было, чтобы они об этом судили да рядили.

Сильф. Дурачок, неужели ты не понимаешь, что после того, как люди умерли, газет больше не печатают?

Гном. И то правда. А как же мы теперь узнаем, что нового в мире?

Сильф. Что нового может быть нынче? Что солнце взошло или село, что погода теплая или холодная, что там или тут прошел дождь, или снег, или подул ветер? Ведь когда не стало людей, Фортуна сорвала с глаз повязку, надела на нос очки, повесила колесо на крюк, уселась сложа руки и глядит на все, что творится в мире, ни во что не вмешиваясь. Теперь не найти держав и царств, которые раздуваются, а потом лопаются, как пузыри, — все они исчезли, не воюют друг с другом, и год похож на год, как две капли воды.

Гном. Теперь нельзя даже будет узнать, какой нынче месяц и какое число, потому что и календарей больше не станут печатать.

Сильф. Беда ли, если мы не будем знать, какой месяц, — ведь месяц на небе от этого не сообразится с пути.

Гном. И дни недели никак не будут называться.

Сильф. Как, неужели ты боишься, что день не наступит, если ты не назовешь его по имени? Или, по-твоему, можно, когда они миновали, окликнуть их и воротить?

Гном. И потеряется счет годам.

Сильф. Ну что ж, будем выдавать себя за молодых, даже когда срок пройдет. К тому же, если мы не будем исчислять, сколько лет жизни у нас позади, то меньше нам будет мучений, а когда совсем состаримся, — не будем ждать смерти со дня на день.

Гном. Но как эти козявки сумели сжить свой род со свету?

Сильф. Частью — воюя друг с другом, частью — плавая в море, частью — друг друга поедая; многие наложили на себя руки, многие сгнили от праздности, иные сломали себе голову над книгами, иные погибли от разгула и тысячи разных бесчинств; словом, они испробовали все пути, чтобы пойти против собственной природы и попасть в беду.

Гном. Нет, я никак не могу взять в толк твои слова: как это вдруг живые существа одной породы погибли все до единого?

Сильф. Уж тебе-то, знатоку геологии, следовало бы помнить, что это не первый случай, что в древние времена встречалось много разновидностей животных, от которых теперь встретишь разве что окаменевшие скелеты. А эти бедные твари наверняка не знали всех тех ухищрений, которыми, как я тебе говорил, люди истребили самих себя.

Гном. Пусть будет по-твоему. Но вот любо-дорого было бы, если б двое или трое из этого сброда воскресли! Хотел бы я знать, что они подумали бы, увидав, что и после исчезновения рода человеческого все продолжается и идет по-прежнему, хоть они и были уверены, что весь мир создан и существует только ради них.

Сильф. И не хотели понять, что он создан и существует ради сильфов.

Гном. Ну, если ты не шутишь, ты и вправду легкомыслен, как сильф.

Сильф. Почему? Я ведь говорю не шутя.

Гном. Поди ты, забавник! Кому же не известно, что мир создан ради гномов?

Сильф. Ради гномов, что всегда живут под землей? Право, ничего занятнее не слыхивал! А для чего гномам солнце, луна, море, воздух, поля?

Гном. Для чего сильфам золотые и серебряные жилы и все тело земли, кроме ее кожи?

Сильф. Ну ладно, как бы там ни было, оставим этот спор. Я, например, уверен, что даже ящерики и мошки думают, будто мир создан на потребу именно их породе. Но пусть каждый остается при своем мнении, все равно никто у нас его из головы не выбьет. Скажу о себе: я был бы в отчаянии, не родись я сильфом, — вот и все.

Гном. И я тоже, не родился я гномом. Но хотел бы я знать, что люди сказали бы теперь о своей самонадеянности, с какой они то с одним, то с другим проделывали и то и се, и среди прочего зарывались на тысячу локтей под землю и силой похищали наше добро, утверждая, что оно принадлежит роду человеческому и что природа спрятала его от людей и погребла под землей шутки ради, желая испытать их и посмотреть, найдут ли они спрятанное и сумеют ли извлечь наружу.

Сильф. Что же тут удивительного? Они не просто были убеждены, что все на свете не имеет иного назначения, как только служить им, — они даже считали, будто по сравнению с родом человеческим все остальное пустяки. Потому свои собственные перипетии они называли мировыми переворотами, а истории своих племен — мировой историей. Между тем, наверно, можно насчитать, даже не выходя за пределы земли, столько же видов — даже не скажу живых тварей, но одних только животных, — сколько было людей, и все эти животные, созданные им на потребу, ни разу и не заметили, что мир перевернулся.

Гном. Что же, комары и блохи тоже были созданы людям на благо?

Сильф. Конечно, — чтобы люди могли упражняться в терпении, по их собственным словам.

Гном. Вот уж воистину, если бы не блохи, у них не было бы случая упражнять свое терпение!

Сильф. Но ведь и свиньи, согласно Хрисиппу*, были только кусками мяса, заготовленными природой для людских кухонь и кладовых, а чтобы они не протухли, в них вместо соли была заложена живая душа.

Гном. А я думаю, наоборот: если бы у этого Хрисиппа в голове было хоть немного соли, а не только душа, он бы не придумывал таких несообразностей.

Сильф. Или вот тебе еще одна несообразность, не менее забавная. Весьма многие виды животных так никогда и не были ни замечены, ни узнаны людьми — своими хозяевами, потому ли, что жили в местах, куда не ступала людская нога, потому ли, что люди никоим образом не могли их обнаружить из-за их малых размеров. А множество других видов были замечены ими только в самое последнее время. То же самое можно сказать и о растительных и о многих других родах. Равным образом с помощью своих подзорных труб люди открывали то звезду, то планету и, хотя до этого они тысячи и тысячи лет даже не подозревали, что эти светила существуют, сразу же записывали их в реестры своего имущества; они воображали, будто звезды и планеты — это, так сказать, огарки, выставленные там, наверну, затем, чтобы освещать дорогу их милостям, когда у них бывало много дел по ночам.

Гном. А летом, увидев падающие огоньки, что ночами летят по небу, они, верно, говорили: это какой-нибудь дух, прислуживая людям, снимает со звезд нагар.

Сильф. Теперь, когда они исчезли, земля даже не почувствовала, что на ней чего-то не хватает, и реки не устали струиться, и не видно, чтобы море высыхало, хотя ему нет больше нужды служить мореплаванию и торговле.

Гном. И звезды и планеты не перестали восходить и заходить и не облеклись в траур.

Сильф. И лик солнца не окрасился алым, как это с ним было, по словам Вергилия*, по случаю смерти Цезаря — хотя, по моему разумению, солнце было огорчено этой смертью не больше, чем огорчена была статуя Помпея**.

РАЗГОВОР МАЛАМБРУНО И ФАРФАРЕЛЛО

Маламбруно. Эй, духи бездны, Фарфарелло, Чириатто, Баконеро, Астарот, Аликин и как вас там еще зовут! Заклинаю вас именем Вельзевула, приказываю вам властью моего искусства, которое может сорвать луну с неба и пригвоздить к его своду солнце, — пусть один из вас явится, получив от вашего князя свободные полномочия и право использовать все силы ада у меня на службе.

Фарфарелло. Вот я.

Маламбруно. Кто ты?

Фарфарелло. Я Фарфарелло. Распоряжайся мною.

Маламбруно. Ты принес письменные полномочия от Вельзевула?

Фарфарелло. Да, вот они. У тебя на службе я могу делать все, на что способен был бы сам царь, а значит, больше того, на что способны были бы все прочие твари, вместе взятые.

Маламбруно. Очень хорошо. Ты должен исполнить одно мое желание.

Фарфарелло. Будет сделано. Чего ты хочешь? Стать знатнее Атридов?***

Маламбруно. Нет.

Фарфарелло. Хочешь иметь больше богатств, чем найдут в городе Маноа****, когда он будет открыт?

Маламбруно. Нет.

Фарфарелло. Хочешь державу больше той, что однажды ночью, как рассказывают, приснилась Карлу Пятому?

Маламбруно. Нет.

Фарфарелло. Доставить тебе женщину неприступнее Пенелопы, чтобы она угождала твоим желаниям?

Маламбруно. Нет. По-твоему, для этого нам надобен дьявол?

Фарфарелло. Хочешь, оставаясь мошенником, иметь и почести и удачу?

Маламбруно. Дьявол скорее понадобился бы мне, чтоб их не иметь.

Фарфарелло. Так что же ты мне приказываешь, в конце концов?

Маламбруно. Сделай меня счастливым на одно мгновение.

Фарфарелло. Не могу.

Маламбруно. Как не можешь?

Фарфарелло. Клянусь тебе своею совестью, что не могу.

Маламбруно. Совестью порядочного беса!

Фарфарелло. Конечно. Знай, что бывают порядочные дьяволы, как и порядочные люди.

Маламбруно. А ты знай, что я тебя подвешу за хвост к одной из этих балок, если ты сейчас же не перестанешь прекословить и не послушаешься меня!

Фарфарелло. Хоть убей меня, — не могу исполнить твою просьбу.

Маламбруно. Тогда проваливай ко всем чертям, пусть явится сам Вельзевул.

Фарфарелло. И сам Вельзевул, приди он хоть со всей Джудеккой и Злыми Щелями* в придачу, не больше меня сможет сделать счастливым тебя или любого другого из твоей породы.

Маламбруно. Ни на мгновение?

Фарфарелло. Так же невозможно сделать это на мгновение, или на полмгновения, или на тысячную долю мгновения, как и на всю жизнь.

Маламбруно. Но если ты ни за что не можешь сделать меня счастливее, не хватит ли у тебя сил хотя бы сделать так, чтобы я не был несчастен?

Фарфарелло. Если ты можешь не любить себя превыше всех.

Маламбруно. Ну, для этого надо сперва умереть!

Фарфарелло. При жизни это не под силу ни одному живому существу, потому что сама ваша природа может стерпеть что угодно, только не это.

Маламбруно. Так оно и есть.

Фарфарелло. Значит, если ты непременно любишь себя самой сильной любовью, на какую способен, то непременно желаешь себе самого большого счастья, какого только можно пожелать; это твое желание никогда не может быть удовлетворено, до того оно сильное. Выходит, ты всегда будешь несчастен и никаким способом не избавишься от несчастья.

Маламбруно. Даже тогда, когда я буду чем-нибудь наслаждаться! Потому что никакое наслаждение не сделает меня ни счастливым, ни довольным.

Фарфарелло. Да, никакое.

Маламбруно. И не будет подлинного наслаждения, потому что ни одно из них не равно той врожденной жажде счастья, которая неизменно живет у меня в душе. Даже в то время, пока длится наслаждение, я не перестану быть несчастным.

Фарфарелло. Не перестанешь, потому что и людей и других живущих отсутствие счастья, хотя бы в это время вы не терпели ни страданий, ни бедствий и даже получали то, что называется у вас удовольствием, делает попросту несчастными.

Маламбруно. Так что от рождения вплоть до смерти мы не перестаем чувствовать себя несчастными даже на самый краткий миг.

Фарфарелло. Нет, перестаете, — всякий раз, когда спите без снов, или падаете в обморок, или по иной причине лишаетесь чувств.

Маламбруно. Но не тогда, когда чувствуем, что живем.

Фарфарелло. Не тогда.

Маламбруно. Так выходит, что, в сущности говоря, лучше не жить, чем жить.

Фарфарелло. Да, если лучше не быть несчастным, чем быть.

Маламбруно. Так что же?

Фарфарелло. Так что если тебе угодно вручить мне твою душу до срока, я готов унести ее.

РАЗГОВОР ПРИРОДЫ И ДУШИ

Природа. Ступай, возлюбленная моя дочь! Ведь ею будешь ты слыть и называться долгие века. Живи и будь великой и несчастной*.

Душа. Но в чем я провинилась, еще не начав жить? За что ты приговорила меня к такой каре?

Природа. Какой каре, дочь моя?

Душа. Разве ты сама не предназначала мне быть несчастной?

Природа. Я хочу, чтобы ты была великой, а одно без другого невозможно. И кроме того, ты предназначена животворить тело человека, а люди все неизбежно рождаются и живут несчастными.

Душа. Но ведь справедливее было бы тебе позаботиться о том, чтобы они, напротив того, неизбежно становились счастливыми, а если это не в твоих силах, то и не производить их на свет.

Природа. Ни то ни другое не в моей власти, ибо сама я должна повиноваться року, а он распорядился иначе, какова бы ни была причина этому, непостижимая ни для тебя, ни для меня. И никакая сила, ни моя и ничья, не может избавить тебя, сотворенную так, чтобы через тебя обрело свой образ человеческое существо, от несчастной участи, общей всем людям. Но и кроме нее тебя ожидает твоя собственная участь, намного более тяжкая и сужденная тебе ради того превосходства, которым я тебя наделила.

Душа. Я ничего еще не успела узнать, ибо только сей миг начала жить, и, верно, по этой причине я не понимаю тебя. Скажи мне, превосходство и особенно несчастная участь — это по сущности своей одно и то же? А если это вещи разные, не можешь ли ты отделить одно от другого?

Природа. В душах людей, а в соответственной мере и в душах всех видов животных эти вещи, можно сказать, почти тождественны, ибо превосходство одной души над прочими ведет к тому, что она живет более напряженной жизнью и оттого сильнее чувствует, как несчастна ее доля, а сильнее чувствовать свое несчастье — это и значит быть несчастным. Подобным же образом более напряженная жизнь души заключает в себе и сильнейшее самолюбие, на что бы оно ни было направлено и под какой бы личиной ни являлось, сильнейшее же самолюбие влечет и более сильную жажду блаженства, а потому сильнее становятся и муки неудовлетворенности, причиняемые его отсутствием. Все это изначально и навеки заложено в самом порядке сотворенного мира, и мне не дано изменить его. Кроме того, острота твоего ума и живость воображения сделают неподвластной тебе большую часть тебя самой. Дикие животные легко используют ради тех целей, что они себе ставят, все свои силы и возможности. Но люди лишь очень редко делают все, что им под силу, ибо обыкновенно им препятствуют в этом мысль и воображение, порождающие тысячи сомнений при обдумывании и тысячи помех при исполнении. Кто меньше всех привык все взвешивать, в ком нет потребности размышлять наедине с собой, тот особенно скор на решения и трудится с наибольшей пользой. Но те, кто подобен тебе, непрестанно занятые собою и как бы побеждаемые величиим собственных возможностей, а потому и не властные над собой, подвержены почти все время нерешительности как в мыслях своих, так и в делах, а она ведь из числа величайших мук, угнетающих жизнь человеческую. Прибавь к этому, что благодаря твоим превосходным задаткам ты легко и в короткий срок обгонишь в знании важнейших предметов и в труднейших науках почти всех из твоей породы, и в то же время тебе покажется невозможным или весьма тягостным обучаться множеству мелочей и применять их, как бы ни были они необходимы в общении с другими людьми; между тем ты увидишь, как ими наилучшим образом пользуются и без труда постигают их тысячи людей, не только уступающие тебе дарованием, но и заслуживающие всяческого презрения. Эти трудности и беды вместе с бесчисленным множеством других обступают великие души и завладевают ими. Но зато их щедро вознаграждают слава, хвала и почести, стяжаемые ими благодаря их величию, и неизгладимость памяти, которую оставляют они по себе потомкам.

Душа. Но эти хвалы и почести, о которых ты говоришь, — от кого я их получу: от небес, от тебя или еще от кого?

Природа. От людей: только люди могут воздать их.

Душа. Вот видишь, а я думала, будто, не умея делать самого, по твоим словам, необходимого для общения с людьми и столь доступного даже самым обделенным дарованиями, я останусь в пренебрежении и в безвестности, и эти самые люди не только не превознесут, но и будут избегать меня, непригодную для их сообщества.

Природа. Мне не дано предвидеть будущее, а значит, и предречь тебе с неопровержимостью, что сделают тебе люди и что о тебе станут думать, покуда ты будешь на земле. Правда, как я заключаю из прошлого моего опыта, вероятнее, что они должны преследовать тебя завистью, а это одно из тех обычных зол, с которыми сталкиваются в жизни высокие души; или же тебя будут угнетать презрением, не желая знать о тебе. Кроме этого, даже удача и случай — и те бывают враждебны к таким, как ты. Но сразу же после твоей смерти, как то было с человеком по имени Камознс, или самое большее спустя несколько лет после нее, как то было с другим, прозывавшимся Мильтоном, тебя прославят и превознесут до небес не скажу все, но уж по крайней мере люди, наделенные здравым суждением. И быть может, прах того, в ком ты найдешь обиталище, будет покоиться в пышной гробнице, его внешние черты, разными способами воспроизведенные, будут распространяться среди людей, и обстоятельства его жизни будут многими описаны, а другими прилежно заучиваемы, пока наконец весь просвещенный мир не будет полон его именем. Но все это лишь в том случае, если злоба Фортуны и сам преизбыток твоих дарований не будут непрестанно препятствовать тебе должным образом показать всем людям, чего ты стоишь; а в таких примерах поистине не было недостатка, хотя знаем о них только я да рок.

Душа. О мать моя, пусть я лишена еще всех знаний, но я чувствую, что сильнейшее, даже единственное желание, которое ты в меня вложила, — это желание счастья. Предположим, однако, что я даже способна испытывать желание славы, — все равно я могу стремиться к этому, сама не знаю, благу или злу, лишь как к счастью или как к орудию его приобретения. И вот, по твоим словам, превосходные свойства, которыми ты меня наделила, могут быть потребны или полезны для достижения славы, но ведут они не к блаженству, а к вящим несчастьям. Невероятно также, чтобы и к самой славе они привели меня еще при жизни, а когда придет смерть, что пользы и что радости будет мне от величайших благ в мире? Наконец, легко может случиться и так, как ты говоришь: упрямая слава, добываемая ценой стольких несчастий, не достанется мне совсем — даже после моей смерти. Так что из твоих собственных слов я заключаю, что ты не только не любишь меня превыше всех, как утверждала вначале, но, скорее, желаешь мне зла и ненавидишь меня больше, чем возненавидят люди и Фортуна, когда я буду в мире, ибо ты не поколебалась наградить меня столь пагубным даром, как это превосходство, которое ты так мне выхваляешь. Ведь оно и будет одним из главных препятствий, которые мешают мне достигнуть единственной моей цели — счастья.

Природа. Дочь моя, все людские души обречены в жертву несчастью, и моей вины в этом нет. Но среди всеобщей бедственности человеческого состояния, среди тщетности всех человеческих наслаждений и выгод лучшей частью человечества слава

сочтена наибольшим из благ, отпущенных на долю смертным, и достойнейшей целью их забот и деяний. Потому не из ненависти, но ради истинной и особенно сильной любви, что я к тебе питаю, я рассудила дать тебе в помощь для ее достижения все, что было в моих силах.

Душа. Скажи мне, среди упомянутых тобою диких животных нет ли случайно такого, чтобы оно было наделено меньшей, нежели у человека, жизненной силой и остротою чувств?

Природа. Начиная с тех, что еще сродни растениям, все уступают в этом человеку. Одни больше, другие меньше. У человека запас жизненных сил и острота чувств выше, чем у любого другого живого существа, потому что он совершеннее всех живущих.

Душа. Так помести меня, если ты меня любишь, в самое несовершенное из них, а если этого ты не можешь, тогда сделай меня, лишив всех пагубных и возвышающих даров, подобной самому глупому и безумному человеческому духу, когда-либо тобою созданному.

Природа. Эту последнюю услугу я могу тебе оказать и готова сделать это, коль скоро ты сама отказываешься от бессмертия, для которого я тебя предназначала.

Душа. А взамен бессмертия я прошу тебя ускорить мою смерть, насколько ты можешь.

Природа. Об этом я посоветуюсь с судьбой.

РАЗГОВОР ЗЕМЛИ И ЛУНЫ

Земля. Луна, милая моя, я знаю, что ты можешь разговаривать и отвечать, ведь ты — живое существо, судя по тому, что я не раз слыхала от поэтов; да и все дети у нас тут говорят, будто у тебя есть глаза, и нос, и рот, как у них самих, и видели они это собственными глазами, благо зрение в этом возрасте и впрямь должно быть весьма острым. И тебе тоже наверняка известно, что и я — живое существо, как ты, и в молодые годы даже произвела на свет немало сыновей*, так что ты не удивишься моему разговору. Так вот, моя красавица, если я живу по соседству с тобой уже столько столетий, что и сама им счет потеряла, но до сего дня ни разу даже словом с тобой не перемолвилась, то лишь потому, что была уж очень занята своими делами и времени на болтовню у меня не оставалось. Зато теперь дел у меня мало, да и те, что есть, идут, можно сказать, своим ходом, а я не знаю, чем бы мне заняться, и просто лопаюсь от скуки. Вот я и порешила в будущем почаще с тобою беседовать и подумать о твоих делах, если, конечно, тебе это не в тягость.

Луна. Об этом не тревожься. Быть бы мне уверенной, что за весь век судьба не пошлет мне большей доуки, чем твой разговор. Если тебе угодно со мною беседовать, — беседуй на здоровье, а я, хоть и дружна с молчанием**, как ты, верно,

знаешь, все же охотно тебя выслушаю и отвечу, чтобы тебя уважить.

Земля. Слышишь ты сладостный звук, производимый движением небесных тел?

Луна. По правде говоря, я ничего не слышу.

Земля. И я ничего не слышу, кроме шума ветра, который летает от моих полюсов к экватору и от экватора к полюсам и, судя по всему, знать не знает про музыку. Но Пифагор утверждал*, что небесные сферы издают такой сладостный звук, что просто диво, и у тебя есть в этой мелодии свой голос, ибо ты — восьмая струна вселенской лиры; а я, дескать, оглушена своим собственным звуком и поэтому его не слышу.

Луна. И я тоже, без сомнения, оглушена, потому что ничего не слышу и даже понятия не имею о том, что я струна.

Земля. Так поговорим о другом. Скажи-ка, вправду ли ты населена, как утверждают под клятвой бесчисленные мудрецы, и древние, и новые, от Орфея вплоть до Делаланда?*** Я же нипочем не могу заметить на тебе ни единого жителя, сколько ни вытягиваю рога, которые у людей именуются горными вершинами, или пиками, и кончиками которых я, на манер улитки, все рассматриваю. Но, правда, я слыхала, будто некий Давид Фабриций, который видел лучше Линкея***, заметил однажды нескольких лунных обитателей, расстилавших холсты на солнце.

Луна. Что сказать о твоих рогах, я не знаю. Но я-то, во всяком случае, населена.

Земля. А какого цвета на тебе люди?

Луна. Какие люди?

Земля. Эти, которых ты держишь. Ведь ты сама сказала, что ты населена.

Луна. Ну и что с того?

Земля. Но ведь не одни же звери тебя населяют?

Луна. Не люди и не звери. Я даже не знаю, что за твари и те и другие и какой они породы. И вообще из того, на что ты мне намекала по поводу, сдается мне, этих самых людей, я многого не возьму в толк.

Земля. А какие же там у тебя живут народы?

Луна. Много разных народов, но только ты о них знаешь не больше, чем я о твоих.

Земля. Все это для меня так странно! Услыхала бы я это не от тебя самой, ни за что на свете не поверила бы... И никто из твоих жителей никогда тебя не захватывал?

Луна. Нет, насколько я знаю. А как? И зачем?

Земля. Из честолюбия или позарившись на чужое, политическими уловками или силой оружия.

Луна. Я не ведаю, что значит "оружие", "честолюбие", "политические уловки" и все прочее, о чем ты говоришь.

Земля. Даже если ты не знаешь, что такое оружие, то что такое война, ты, уж конечно, знаешь. Ведь недавно один здешний физик через свои подозрительные трубы — это такое приспособление,

чтобы видеть очень далеко, — открыл там, на тебе, отличнейшую крепость* с отвесными бастионами, а это значит, что по крайней мере осады и штурмы стен твоим народам хорошо знакомы.

Луна. Прости, государыня Земля, если я отвечу тебе чуть более свободно, чем, может быть, подобает твоей подданной и служанке. Но, говоря откровенно, ты, по-моему, совсем ополумела, если думаешь, что во всех частях мира все такое же, как у тебя, словно природа только о том и думала, как бы до точки воспроизвести повсюду то, что есть на тебе. Я говорю, что я населена, а ты из моих слов заключаешь, что жители мои не иначе как люди. Я тебе объясняю, что они не люди, ты соглашаешься — и все-таки уверена, что у них те же свойства и те же обстоятельства жизни, что у твоих народов. При этом ты ссылаешься на какого-то неведомого физика с его подозрными трубами. Да если эти твои подозрные трубы и все прочее так хорошо видят, то я скажу, что зрение у них — как у тех твоих малых детей, которые разглядели на мне нос, рот и глаза, хоть я и сама не знаю, где они у меня могут быть.

Земля. Значит, неправда и то, что по твоим провинциям проходят широкие, ясно прочерченные дороги и что ты возделана, — а ведь все это со стороны Германии отчетливо видно в подозрную трубу.

Луна. Даже если я возделана, мне это незаметно, и о своих дорогах я ничего не знаю.

Земля. Милая моя Луна, да будет тебе известно, что я не слишком отесана и мозги у меня тупые, так что не удивляйся, что людям нетрудно меня одурачить. Но могу сказать тебе вот что: если твои жители и не думают о том, как бы тебя захватить, то ты все-таки не совсем избавлена от опасности, потому что многие люди здесь, внизу, в разные времена замыслили завоевать тебя и даже прилежно к этому готовились. Да только они, хотя и взошли на самые высокие места и встали на цыпочки, не могли до тебя дотянуться. И помимо этого я уже много лет замечаю, что за тобою следят, высматривая все твои фазы, снимают карты всех твоих местностей, измеряют высоты гор и даже проводили их названия. Обо всем этом в силу моего к тебе благорасположения я сочла нужным тебя предупредить, чтобы ты не преминула на всякий случай принять меры. А теперь я хочу спросить тебя о другом. Сильно ли докучают тебе собаки, когда лают на тебя? Что ты думаешь о тех, кто показывает тебя другим в колодце? Какого ты пола — мужского или женского? Ведь в старину об этом думали по-разному. Правда или нет, что аркадцы появились на свет раньше, чем ты?** И что женщины, или как мне их там назвать, которые живут на тебе, кладут яйца, и одно из них падает сюда, вниз, вот только не знаю когда? Что ты просверлена насквозь на манер зерен четок, как полагает один современный естествоиспытатель?*** Что ты сделана, как уверяют некие англичане, из свежего сыра?**** Что в один прекрасный день, а может быть и ночь, Магомет разрезал тебя пополам, как

арбуз, и при этом большой ломоть соскользнул ему в рукав? Приятно ли тебе сидеть на верхушках минаретов? И что ты думаешь о празднике Байрам?

Луна. Говори, говори дальше! Покуда ты не перестанешь, мне нет нужды отвечать тебе и нарушать мое привычное молчание. Если тебе нравится приставать ко мне с разговорами и других предметов для них ты не находишь, то уж лучше не обращай ко мне, потому что я тебя все равно не могу понять, а вместо этого вели людям сделать другую планету, чтобы она вращалась вокруг тебя и была устроена и населена точно, как ты. Ты ведь ни о чем не умеешь говорить, кроме как о людях да собаках, а я о них знаю столько же, сколько ты — о великом солнце, вокруг которого, как слышно, вращается наше солнце.

Земля. И правда, чем больше я стараюсь не касаться в разговоре моих собственных дел, тем меньше у меня это получается. Ладно, вперед буду повнимательней. Но скажи: ведь это ты забавы ради тащишь вверх мою морскую воду, а потом отпускаешь ее?

Луна. Может, и так. Но даже если я на тебя действую так или этак, сама я этого не замечаю; да и ты то же самое, я думаю: тебе невдомек, какое ты тут у меня производишь действие, хотя оно, конечно, настолько же сильнее моего, насколько ты сама превосходишь меня и размерами, и мощью.

Земля. И верно, о том, как я на тебя действую, мне известно только одно — что иногда я у тебя отнимаю солнечный свет, а у себя — твой*; и еще, когда у тебя ночь, я свечу тебе весьма ярко, так что иногда мне самой это отчасти видно**. Но я позабыла о самом главном. Хотелось бы мне знать, правда ли то, что пишет Ариосто***: будто все то, что каждый человек понемногу теряет, — например, молодость, красоту, здоровье, труды и средства, затраченные с благим намерением заслужить уважение от людей, направить малолетних на путь добронравия, учредить нечто полезное или способствовать его учреждению — все это поднимается вверх и накапливается там у тебя, так что найти на тебе можно все человеческое, кроме безумия, которое с людьми не расстаётся. Если это правда, то, по моим расчетам, ты должна быть так всем набита, что и свободного местечка не остается, особенно если вспомнить, что в последнее время люди много чего потеряли (к примеру, любовь к отчизне, доблесть, великодушные, честность), и не только отчасти и некоторые из людей, как бывало прежде, а все до единого — всё до конца. А если этих свойств и на тебе нет, то вряд ли они отыщутся где-нибудь еще. Но я хочу, чтобы мы заключили с тобою соглашение: ты с сего часа и впредь будешь возвращать мне и понемногу вернешь все, потому что, я думаю, тебе самой хотелось бы избавиться от такого груза, и особенно от разума, который, как я понимаю, занимает на тебе больше всего места; а я заставлю людей выплачивать тебе ежегодно кругленькую сумму денег.

Луна. Опять ты твердишь о людях! И при том, что безумие, как ты сама утверждаешь, не покидает твои пределы, ты хочешь и меня во что бы то ни стало свести с ума и лишити здравого смысла под видом поисков утраченного людьми рассудка, — хоть я знать не знаю, куда он делся и обретается ли вообще где-нибудь в мире. Знаю только, что здесь нет ни его, ни прочего, о чем ты спрашиваешь.

Земля. А не скажешь ли ты мне хотя бы, есть ли там на тебе пороки, злодеяния, несчастья, страдания, старость, — одним словом, зло? Ты понимаешь эти слова?

Луна. Да, их-то я понимаю; и не только слова, но и то, что они означают, отлично известно мне, потому что этим я полна, а не тем, что ты думала.

Земля. Что же преобладает у твоих обитателей — достоинства или недостатки?

Луна. Недостатки, конечно, и преобладают намного.

Земля. Чего на тебе больше — благ или зол?

Луна. Зол несравненно больше.

Земля. А вообще твои жители счастливы или нет?

Луна. Настолько несчастны, что я не желала бы поменяться местами с самым счастливым из них.

Земля. И здесь то же самое. Удивительно даже, как ты, во всем остальном ничуть на меня не похожая, в этом ничуть от меня не отличаешься.

Луна. Я не отличаюсь от тебя и формой, и тем, что вращаюсь, и тем, что меня освещает солнце; и то наше сходство ничуть не более удивительно, чем это, потому что зло так же присуще всем планетам вселенной или по крайней мере нашей солнечной системы, как круглая форма и остальное, о чем я говорила. И если бы ты могла возвысить голос настолько, чтобы его услышали на Уране, или на Сатурне, или на другой планете нашего мира, и спросила бы, есть ли на них несчастье и преобладает ли на них благо над злом или наоборот, все ответили бы тебе не иначе, чем я. Я так говорю потому, что сама спрашивала об этом же у Венеры и Меркурия, к которым мне случается подходить ближе, чем тебе; спрашивала я об этом и у нескольких комет, пролетавших со мною рядом, и все отвечали мне одно и то же. И, я полагаю, ни солнце, ни любая звезда ничего другого бы не сказали.

Земля. Все же вопреки этому я надеюсь на лучшее, особенно теперь, когда люди сулят мне самое счастливое будущее.

Луна. Надейся, если угодно, а я тебе обещаю, что надеяться ты будешь вечно.

Земля. Знаешь что, здесь люди и звери подняли шум, потому что в этой части, которой я с тобою говорю, сейчас ночь, как ты сама видишь или, вернее, не видишь. Все спали, а наши разговоры их разбудили, вот они и вскакивают в испуге.

Луна. А у меня на этой стороне — день, как ты видишь.

Земля. Сейчас мне неохота, чтобы по моей вине весь народ всполошился, и совестно нарушать их сон, потому что он — величайшее благо, которое у них есть. Мы еще как-нибудь побеседуем. Прощай, добрый день.

Луна. Прощай, доброй ночи.

ПРОМЕТЕЕВ СПОР

В году восемьсот тридцать три тысячи двести семьдесят пятом от воцарения Зевеса коллегия Муз отпечатала и развесила во всех публичных местах города Заоблачье* и его пригородов афиши, в коих всем богам, старшим и младшим, а равно и прочим обывателям города, сумевшим в давние времена или недавно изобрести что-либо достохвальное, предлагалось представить свое изобретение в натуре либо в виде чертежа или описания судьям, избранным от вышеуказанной коллегии. Далее Музы просили прощения за то, что по причине своей всем известной бедности не могут быть так щедры, как им бы хотелось, и предлагали в награду тому, чье изобретение будет сочтено наилучшим и полезнейшим, лавровый венок с привилегией носить его на голове днем и ночью, дома и в публичных местах, в городе и за его пределами, а также с правом быть представленным на картине, изваянным, награвированным, вычеканенным и изображенным любым способом на любом материале, имея на голове указанный венок.

Немалое число небожителей пришло потягаться за эту награду, но лишь ради препровождения времени, ибо это столь же необходимо жителям Заоблачья, сколь и других городов; до самого венка никому не было дела, ибо по цене своей он не стоил даже поярковой шляпы; что же касается славы, коль скоро люди, сделавшись философами, стали ее презирать, то нетрудно догадаться, в каком почете она у богов, настолько превосходящих людей мудростью и даже единственно мудрых, согласно Пифагору и Платону**. Однако — случай неповторимый и неслыханный с тех пор, как стали предлагаться награды, предназначенные самым достойным, — на присуждение не подействовали ни ходатайства, ни пристрастия, ни тайные посулы, ни хитрые происки. Предпочтение было отдано троем: Бахусу — за изобретение вина, Минерве — за изобретение оливкового масла, необходимо-го небожителям для ежедневных умщений после купания, и Вулкану — за то, что он придумал медную кастрюлю, именуемую экономической, в которой можно сварить что угодно на малом огне, и весьма быстро. Поскольку награду надлежало разделить на троих, то на долю каждого пришлось по маленькой веточке лавра; однако все трое отказались как от своей части, так и от целой награды. Вулкан сослался на то, что почти все время проводит в кузне у огня, трудясь и обливаясь потом, и венок на голове будет ему только помехой, не говоря уж о том, что он сам

рискует обгореть и получить ожоги, если случайно в сухие листья попадет искра и воспламенит их. Минерва сказала, что и так принуждена носить на голове шлем, "ста бы градов ратоборцев покрывший", как пишет Гомер*, и ей нет нужды еще более отягощать себя. Бахус не желал сбрасывать свою митру и менять виноградный венок на лавровый; правда, он охотно принял бы награду, если бы ему дозволено было устроить из нее вывеску при входе в его трактир, но Музы не согласились вручить ему венок для такого употребления, и он остался в их общей казне.

Никто из соискателей награды не завидовал стяжавшим ее богам, не сетовал на судей и не поносил приговора, — никто, за исключением одного только Прометея, для участия в состязании приславшего судьям земляную опоку, которую он применял при сотворении первых людей, и присовокупившего описание, в котором изъяснены были свойства и назначение рода человеческого, им изобретенного. Немалое удивление вызывает досада Прометея по такому случаю, которую все, и победители и побежденные, принимали не иначе как в шутку; однако по исследовании причин стало известно, что титан в самом деле желал, и весьма сильно, не столько почетного венка, сколько привилегии, которую он получил бы, одержав победу. Одни полагают, что он намеревался лаврами защищать голову от грозы, на манер того, что рассказывают о Тиберии**, который будто бы всякий раз, заслышав гром, возлагал на себя венок, веря, что молния не ударяет в лавры. Но в городе Заоблачье не бывает ни молнии, ни грома.

Другие с большим вероятием утверждают, что у Прометея, как то свойственно преклонным годам, стали падать волосы, и он, принимая эту неприятность, подобно многим, весьма близко к сердцу, а также не прочитав "Похвалу плечи", сочиненную Синезием***, или не будучи ею убежден, что более вероятно, хотел, подобно диктатору Цезарю****, венком прикрыть лысину.

Но воротимся к нашему рассказу. В один прекрасный день, беседуя с Момом*****, Прометей горько жаловался на то, что вино, масло и кастрюли были оценены выше, чем род человеческий — наилучшее, по его словам, создание бессмертных, когда-либо появлявшееся на свет, а потом, увидав, что ему не удастся вполне убедить Мома, приводившего какие-то доводы в возражение, титан предложил немедленно спуститься вместе с ним на землю, остановиться в первом попавшемся месте каждой из пяти частей света, где они только обнаружат людское обиталище, а перед тем побиться об заклад, что во всех этих пяти местах, или в большей их части, они отыщут очевидные доказательства того, что человек есть самое совершенное творение в мире. Мом согласился, и, договорившись о цене залога, оба не мешкая стали спускаться на землю, прежде всего направившись в Новый Свет, который самым своим именем, а также тем, что туда ни разу не ступала нога небожителя, больше всего возбуждал их любопытство. Свой полет они остановили в стране Попайан*****, на севере ее, недалеко от реки Каука, в месте, где видны были многие призна-

ки обитания человека: следы вспашки на полях, тропы, во многих местах прерывающиеся и сплошь заваленные, срубленные деревья, простертые на земле, особенно же нечто напоминавшее гробницы, а кое-где и человечески кости. Но, несмотря на это, оба божества, как ни напрягали слух, как ни вглядывались в даль и ни озирались вокруг, не могли уловить человеческого голоса или заметить хотя бы тень живого человека. Так прошли они, то пешком, то летя по воздуху, расстояние во много миль, пересекая горы и реки и повсюду находя те же следы и то же безлюдье.

— "Почему так пустынно теперь эти края, — говорил Мом, — ведь ясно видно, что прежде они были населены?" Прометей вспоминал о морях, заливающих сушу, о землетрясениях, о бурях, о проливных дождях, обычных, как он знал, в жарких странах; и в самом деле, в это же самое время они слышали из всех окрестных рощ, как ветви деревьев, колеблемые ветром, непрестанно роняют капли воды. И все же Мом не в силах был постигнуть, как может этот край быть подвержен разливам моря, если оно так далеко отсюда, что его и не видно; еще меньше мог он понять, по какому приговору судьбы землетрясения, бури и дожди истребили всех людей, но пощадили ягуаров, обезьян, муравьедов, кенгуру, орлов, попугаев и сотни других пород, наземных и пернатых, — ибо местность эта кишела животными. Наконец, спустившись в обширную долину, они обнаружили, как бы это сказать, кучку домов или бревенчатых хижин, покрытых пальмовыми листьями и окруженных, каждая в отдельности, забором наподобие частокола. Перед одной из хижин было множество людей, они стояли и сидели вокруг глиняного горшка, кипевшего на большом огне. Небожители, приняв человеческий облик, приблизились, и Прометей, учтиво всем поклонившись, обратился к тому, кто, судя по повадкам, был здесь главным, и спросил, что они делают.

Дикарь. Обедаем, как видишь.

Прометей. А что за яства у вас?

Дикарь. Да вот, немного мяса.

Прометей. Домашний скот или дичь?

Дикарь. Домашний, конечно: мой собственный сын.

Прометей. Что же, у тебя был сын-теленок, как у Пасифаи?*

Дикарь. Не теленок, а такой же человек, как у всех.

Прометей. Да ты в уме ли? Неужто ты поедаетшь свою плоть?

Дикарь. Не мою, а его. Затем я его и на свет родил и выкормил.

Прометей. Чтобы самому его съесть?

Дикарь. Что ж тут удивительного? Я и его мать располагаю съесть в самом скором времени, потому что она, верно, не годна уже на то, чтобы рожать.

Мом. Ну да, ведь сперва съедают яйца, а потом и курицу.

Дикарь. И остальных женщин, которых я держу, едва только они станут непригодны для деторождения, я съем. А вот этих моих рабов видите? Стал бы я их держать, если бы не получал от них время от времени приплод на убой? А чуть они состарятся, я их тоже съем, если сам дотяну до этих пор.

Прометей. Скажи мне, а эти рабы — твоего племени или иноплеменные?

Дикарь. Иноплеменные.

Прометей. А далеко отсюда они жили?

Дикарь. Очень далеко: между их и нашими домами протекал ручей.

И, указав на какой-то холмик, он добавил: "Вон то место, где они стояли, да только наши их разорили". Тут Прометею показалось, будто многие дикари смотрят на него любовно, как кошка на мышь, и потому, не желая быть съеденным своими собственными твореньями, он не мешкая поднялся с земли и улетел прочь, а с ним и Мом; при этом страх у обоих был так велик, что, улетая, они осквернили яства варваров теми же нечистотами, какие изливались из чрева алчных гарпий* на столы троянцев. Но дикари, более голодные и менее брезгливые, нежели спутники Энея, не прервали трапезы. Прометей же, весьма недовольный Новым Светом, без промедления направил путь в самую старую часть Старого Света, в Азию, и, чуть ли не в единый миг покрыв расстояние, которое отделяет Вост-Индию от Ост-Индии, оба божества спустились на равнину неподалеку от Агры**, где бесчисленные толпы народа теснились вокруг ямы, доверху заполненной дровами. На краю ее с одной стороны можно было увидеть несколько человек, держащих факелы и готовых поджечь костер, а с другой стороны, на помосте, — молодую женщину в роскошных одеждах, убранную всякого рода варварскими украшениями, которая плясками и воплями изъясляла свою великую радость. Прометей при виде ее вообразил, будто пред ним новая Лукреция или новая Виргиния либо некая соперница дочери Эрехтея, Ифигении, Кодра, Менекея или же Курцийев и Децийев, во исполнение какого-то прорицания добровольно приносящая себя в жертву ради отчизны. Потом, услышав, что причиною жертвоприношения была смерть ее мужа, он подумал, будто она, не хуже Альцесты***, желает ценою собственной жизни выкупить у смерти своего супруга. Однако, узнав, что она согласилась на самосожжение, лишь следуя обычаю, принятому у женщин ее секты, что мужа она всегда ненавидела, что сейчас ее напоили допьяна и что покойник не только не воскреснет, но и будет сожжен на том же костре, титан тотчас повернулся спиной к этому зрелищу и направил путь в Европу, и, пока они туда летели, между спутниками шла такая беседа.

Мом. Мог ли ты подумать, когда с великой опасностью крал для людей огонь с неба, что одни из них будут им пользоваться для того, чтобы варить своих ближних в горшках, другие — чтобы сжигаться по доброй воле?

Прометей. Нет, конечно. Но не забывай, друг Мом, что видели мы покамест варваров, а по варварам не должно судить о человеческой природе, — судить о ней надо лишь по людям цивилизованным, к которым мы ныне и направляемся, и у них, я уверен, мы увидим и услышим такое, что покажется тебе достойным не только похвалы, но и величайшего удивления.

Мом. Но я все-таки не понимаю, почему люди, коль скоро их род — самый совершенный во всей вселенной, должны быть просвещенными, чтобы не сжигаться и не есть собственных детей; ведь прочие животные — все до единого варвары, но, несмотря на это, никто не сжигает себя преднамеренно, кроме феникса, которого и нет нигде, лишь редкие из них едят себе подобных, еще реже поедают они своих детенышей, да и то в исключительных случаях, а не потому, что для этого и произвели их на свет. Прими к тому же во внимание, что из пяти частей света лишь единственная, и к тому же не сравнимая по величине ни с одной из остальных четырех, обладает, да и то не вся целиком, столь восхваляемой тобою цивилизацией, — всего одна, да еще во второй — немногие и ничтожные частицы. И ты сам не станешь утверждать, будто цивилизация созрела окончательно, так что люди в Париже или в Филадельфии все достигли полноты совершенства, доступного их роду. А сколько лет пришлось этим народам тяжко трудиться, чтобы добраться до нынешнего состояния несовершенной еще цивилизации? Столько, сколько протекло от сотворения человека до весьма недавней поры. И почти все изобретения, либо необходимые, либо особенно полезные для достижения цивилизованного состояния, обязаны своим появлением на свет не расчету, а непредвиденному случаю, так что человеческая цивилизация создана скорее судьбой, нежели природой, а где ничего такого не было, там, как мы видели, народы доньше пребывают в варварстве, хоть от роду им не меньше лет, чем цивилизованным народам. Вот я и говорю: если человек-варвар на много голов ниже любого животного, если просвещение, то есть нечто противоположное варварству, и в наши дни дано в удел лишь малой части человеческого рода, если, кроме этого, указанная часть не могла достигнуть нынешнего цивилизованного состояния иначе как по прошествии бесчисленных столетий и по большей части лишь благодеянием случая, а не благодаря какой-либо иной причине, наконец, если сама цивилизация еще далека от совершенства, то подумай немного сам, не окажется ли твое суждение о роде людском более истинным в таком исправленном виде: он и в самом деле превосходит все роды животных, но превосходит их не своим совершенством, а, напротив, несовершенством, — хотя люди в своих речах и мыслях непрестанно путают одно с другим, исходя из тех предвзятых мнений, которые они себе составили и почитают за очевидные истины. Нет сомнения, что все прочие твари были с самого начала совершенны, каждая в своем роде; но даже если бы не было ясно, что человек — варвар по сравнению с прочими

живыми существами, что он хуже всех, я никак не мог бы убедить себя в том, что существо, от природы самое несовершенное в своем роде, — а человек, сдается мне, именно таков, — следует чтить как самое совершенное из всех. Прибавь еще вот что: человеческая цивилизация, достижимая с таким трудом и, наверно, не имеющая шансов достичь совершенства, вместе с тем не настолько еще окрепла, чтобы стало невозможно ее падение, как это и происходило не раз и у многих народов, овладевших ею в немалой доле. Одним словом, я из этого заключаю, что брат твой Эпиметей, если бы он представил судьям те опои, в которых он создал первого осла и первую лягушку, стяжал бы не доставшуюся тебе награду, но, во всяком случае, я охотно соглашусь с тобой и признаю, что человек есть существо самое совершенное, если ты решишься сказать, что совершенство его схоже с тем, которое Плотин приписывает миру: ведь он, по словам Плотина, весьма хорош и абсолютно совершенен, но как раз в силу его совершенства ему и подобает заключать в себе среди прочего и все возможное зло; и в самом деле, зла в нем столько, сколько он лишь способен вместить. Если взглянуть на все так, то я готов согласиться и с Лейбницем, что наш мир есть лучший из миров.

Не приходится сомневаться, что у Прометея был в запасе ясный, точный и сообразный с правилами диалектики ответ на все доводы Мома; но столь же несомненно, что он такого ответа не дал, ибо в этот самый миг они очутились над городом Лондоном; спустившись и заметив, что народ во множестве сбегается к подъезду частного дома, они замешались в толпу и вошли внутрь. Там они обнаружили лежащего навзничь на постели человека с пистолетом в правой руке, мертвого и с простреленной грудью; рядом с ним лежали двое детишек, также мертвых. В комнате находились кое-кто из домочадцев и несколько судейских, которые их допрашивали, пока писарь вел протокол.

Прометей. Кто эти несчастные?

Слуга. Мой хозяин со своими детьми.

Прометей. А кто их убил?

Слуга. Хозяин и убил всех троих.

Прометей. Ты хочешь сказать, и детей, и себя самого?

Слуга. Так и есть.

Прометей. Слыхано ли это? Какое великое несчастье, верно, приключилось с ними!

Слуга. Ничего не приключилось, сколько я знаю.

Прометей. Но, быть может, он был беден и всеми презираем или неудачлив в любви либо при дворе?

Слуга. Наоборот, весьма богат и всеми уважаем; до любви ему дела не было, а при дворе он был в большой милости.

Прометей. Отчего же он впал в такое отчаяние?

Слуга. Судя по записке, которую он оставил, от пресыщения жизнью.

Прометей. А что делают эти судейские?

Слуга. Хотят установить, был ли хозяин в уме или нет; если он был в уме, его имущество по закону переходит казне; и впрямь ничего нельзя сделать, чтобы избежать этого.

Прометей. Но скажи мне, неужели у него не было друга или родственника, кому бы он мог поручить этих детей, вместо того чтобы убивать их?

Слуга. Были, и среди них один ближе всех прочих. Ему-то он и поручил свою собаку*.

Мом собрался было поздравить Прометея с тем, какие добрые плоды приносит просвещение и сколь большое удовлетворение оно, как видно, приносит нам в жизни; хотел он также напомнить титану, что ни одно живое существо не убивает по доброй воле само себя и не губит, отчаявшись в жизни, своих детенышей; но Прометей опередил его и, не вспомнив о том, что остается посетить еще две части света, выплатил Мому заклад.

РАЗГОВОР ФИЗИКА И МЕТАФИЗИКА

Физик. Эврика, эврика!

Метафизик. Что? Что ты нашел?

Физик. Искусство продлевать жизнь.

Метафизик. А что за книгу ты несешь?

Физик. Здесь у меня все изложено. И если люди благодаря моему изобретению будут жить долго, я буду жить по меньшей мере вечно, то есть я хочу сказать, что стяжаю бессмертную славу.

Метафизик. Сделай-ка то, что я тебе скажу. Отыщи свинцовый ящик, замкни в нем книгу, зарой его в землю, а перед смертью не забудь открыть кому-нибудь это место, чтобы можно было пойти туда и выкопать книгу, когда придумают искусство жить счастливо.

Физик. А до тех пор?

Метафизик. А до тех пор она и не нужна. Я больше ценил бы ее, если бы в ней изъяснено было искусство сокращать жизнь.

Физик. Ну, это искусство известно давно, и придумать его было не так уж трудно.

Метафизик. Во всяком случае, я ценю его выше, чем твое.

Физик. Почему?

Метафизик. Потому что до тех пор, пока жизнь не станет счастливой, — а доньше она счастливой не бывала, — для нас лучше, чтобы она была короче.

Физик. Нет, это не так: ведь жизнь сама по себе есть благо, и каждый жаждет ее и любит ее, потому что это естественно для человека.

Метафизик. Да, так думают люди, но они обманываются, подобно тому как простолюдины обманываются, полагая, что цвет есть свойство предметов, тогда как это свойство не предметов, но света. Я имею в виду вот что: человек жаждет и любит

только свое счастье. А жизнь он любит лишь постольку, поскольку мыслит ее орудием достижения этого счастья или же его субъектом. Так что в конечном счете человек любит счастье, а не жизнь, хоть и часто относит к жизни свою любовь к счастью. Верно лишь то, что такое заблуждение столь же естественно, как и заблуждение касательно цвета. А любовь к жизни не есть свойство, естественно и неизбежно присущее людям; ты убедишься в этом, если вспомнишь, что в древности многие и многие избирали смерть, хотя могли жить, и что в наши дни многие желают смерти в самых разных обстоятельствах, а некоторые даже накладывают на себя руки. Все это не могло бы иметь место, если бы любовь к жизни сама по себе была в природе человека. Зато любовь к собственному счастью — в природе каждого живого существа, и мир обрушится прежде, чем оно перестанет любить свое счастье и на свой лад его добиваться. Теперь я жду от тебя физических, метафизических или почерпнутых из любой другой науки доказательств того, что жизнь сама по себе есть благо. По-моему, счастливая жизнь есть благо, без сомнения, но лишь в качестве счастливой жизни, а не просто жизни. Жизнь несчастливая, постольку она несчастлива, есть зло; и, приняв во внимание, что природа, по крайней мере человеческая, ведет к тому, что жизнь и несчастье нераздельны, ты сам рассуди, что из этого следует.

Физик. Прошу тебя, оставим этот предмет, слишком уже все печально. Ответь-ка мне попросту, не вдаваясь в такие тонкости: если бы человек жил и мог жить вечно, — то есть не умирая, а не после смерти, — приятно это было бы ему или нет?

Метафизик. На твое баснословное предположение я и отвечаю тебе какой-нибудь басней. Тем более что сам я не жил вечно и не могу ничего сказать по собственному опыту, да и беседовать ни с кем из бессмертных мне не приходилось и, кроме как из басен, мне неоткуда почерпнуть сведения о них. Если бы с нами был Калиостро*, он бы сумел пролить некоторый свет на это дело, потому что сам прожил несколько столетий, хотя, судя по тому, что он умер не хуже всех прочих, и он, видно, не был бессмертен. Скажу тебе только, что мудрому Хирону, хоть он и был богом, по прошествии времени жизнь до того наскучила, что он выхлопотал себе у Зевеса разрешение умереть, — и умер. Подумай сам, если бессмертие и богам в тягость, то каково пришлось бы людям. Гипербореи**, народ никому не ведомый, но прославленный, к которому нельзя добраться ни по воде, ни по суше, богатый всяческим добром и особенно прекрасными ослими, коих там имеют обыкновенные приносить в жертву, — гипербореи, которые могут, если я не заблуждаюсь, быть бессмертными, потому что у них нет ни болезней, ни изнурительных трудов, ни войн, ни раздоров, ни голода, ни пороков, ни преступлений; несмотря на это, все умирают, ибо в конце тысячелетней или около того жизни, пресытившись всем, что есть на земле, они по доброй воле бросаются с некой скалы в море и там погибают.

Можно привести и еще одну басню. Братья Битон и Клеобис* в праздничный день, из-за того что не было под рукой мулов, сами впряглись в колесницу своей матери, жрицы Юноны, и отвезли ее в капище; она же взмолилась Юноне, чтобы та вознаградила сыновнее благочестие величайшим из благ, какие могут выпасть на долю людям. И Юнона, вместо того чтобы сделать их бессмертными, как она могла бы и как это было тогда в обычае, устроила так, что оба они в тот же час потихоньку умерли. То же самое случилось с Агамедом и Трофонием**. Завершив постройку храма в Дельфах, они потребовали, чтобы Аполлон заплатил им, и бог отвечал, что удовлетворит их через семь дней, а до тех пор пусть попируют на свои деньги. На седьмую ночь он наслал на них сладкий сон, от которого они еще могли бы пробудиться; однако они, вкусив его, уже не пожелали другой платы. Но коль скоро мы уж занялись баснями, вот тебе еще одна, и по ее поводу я задам тебе вопрос. Сколько я знаю, подобные тебе полагают ныне за бесспорное, что жизнь человека, где бы и в каком климате он ни обитал, естественно длится, за изъятием небольших различий, примерно одинаковое время, если рассматривать каждый народ в целом. Но один древний*** сообщает, что люди в некоторых областях Индии и Эфиопии не заживаются дольше сорока лет, и кто умирает в этом возрасте, умирает глубоким стариком, а девочки семи лет считаются достигшими брачного возраста. Что до последнего, то нам известно, что почти такое же явление имеет место в Гвинее, на Деканском полуострове и в других краях, близких к жаркому поясу. Итак, если мы примем за истину то, что существует один или несколько народов, в которых люди живут не более сорока лет, и происходит это по естественным причинам, а не по каким-либо иным, как полагали относительно готтентотов, — то спрашивается, будут ли, по твоему мнению, названные народы вследствие этого счастливее или несчастнее, чем все прочие?

Физик. Без сомнения, несчастнее: ведь смерть приходит к ним раньше.

Метафизик. А я думаю, что они, напротив, как раз по этой причине счастливее нас. Но главное состоит в другом. Поразмысли внимательней. Я отрицал, что жизнь сама по себе, то есть простое ощущение собственного существования, приятна и желанна нам по самой нашей природе. Но то, что также именуется жизнью и, быть может, более достойно этого имени, то есть напряженность и изобилие ощущений, действительно приятно и желанно всем людям по их природе, потому что все совершаемое и испытываемое нами с большей живостью и силой, если только оно не вызывает ни досады, ни боли, кажется нам приятным благодаря одной лишь своей живости и силе, хотя бы в нем не было других дающих наслаждение свойств. Значит, у тех, чья жизнь естественным образом завершается в сорокалетний срок, вдвое более краткий, чем тот, что отпущен природой остальным людям, она в каждой своей части оказалась бы вдвое более

живой по сравнению с нашей: ведь они непременно возрастали бы и достигали совершенства, а равно и увядали бы, успевали одряхлеть за половину нашего срока. Следовательно, все жизненные отправления их природы, соразмерно такой скорости, были бы в каждый миг в два раза быстрее, нежели у других, да и произвольные действия таких людей, их внешняя подвижность и живость соответствовали бы этой большей напряженности, — если только им отпущен тот же запас жизни, что и нам, но на более краткий срок. И потому этого запаса, распределенного на меньшее число лет, хватило бы, чтобы их заполнить, оставив разве что самые малые пустоты, тогда как на вдвое более долгий срок его не хватает; а деяний и ощущений благодаря их большей силе и сосредоточению на меньшем пространстве было бы довольно, чтобы занять и оживить весь их век, тогда как на нашем веку, более долгом, нередко бывают весьма большие промежутки праздности и отсутствия живых чувств. И поскольку не просто существование, но лишь счастливое существование желанно нам и не числом дней измеряется, жалок чей-либо удел или нет, — я делаю заключение, что жизнь этих народов, чем она короче, тем богаче наслаждениями или всем, что так называется, а потому и заслуживает предпочтения перед нашей жизнью и даже жизнью древних царей Ассирии, Египта, Китая и Индии, которые — вернемся к басням — жили по тысяче лет. Поэтому мне не только безразлично бессмертие и я охотно уступаю его рыбам, которых наделяет этим свойством Левенгук*, — в том, разумеется, случае, если их не съедят ни люди, ни киты, — но и, вместо того чтобы замедлять или на время прерывать возрастание нашего тела, дабы продлить жизнь, как предлагает Мопертюи**, я предпочту найти способ сократить ее и сделать равной жизни некоторых насекомых, называемых однодневками, про которых рассказывают, будто век самых старых из них — не дольше одного дня, и при этом они умирают прадедами и прапрадедами. В этом случае, я полагаю, нам не оставалось бы времени для скуки. Что ты думаешь об этом рассуждении?

Физик. Я думаю, что оно для меня не убедительно и что если ты любишь метафизику, то я привержен моей физике, то есть я хочу сказать, что ты все разбираешь до тонкости, а я все прикидываю грубо и тем довольствуюсь. Однако, и не беря в руки микроскоп, я считаю, что жизнь лучше смерти, и отдаю ей яблоко, хоть и вижу их обеих в одеждах.

Метафизик. Я тоже так считаю. Но когда мне приходит на ум один обычный варваров, которые, отмечая каждый несчастный день своей жизни, бросали в колчан черный камешек, а счастливый отмечали белым, я поневоле думаю, как мало белых камней обнаруживали, верно, в этих тулах по смерти владельца и как много черных! Как бы мне хотелось увидеть перед собою камешки всех тех дней, что мне остается прожить, и чтобы мне было дано право, разобрав их, выбросить все черные, вычтя эти дни из моей жизни и оставив себе только белые; взял бы я это право,

даже зная, что набралась бы не слишком большая кучка белых камешков и цвет их не был бы белоснежным.

Физик. А многие, наоборот, даже если бы все камешки оказались чернее черного, хотели бы подсыпать их побольше, хотя бы и того же цвета, потому что, по их суждению, ни один камешек не будет так черен, как последний. И те, кто так думает, и я сам в их числе, все мы сможем на самом деле прибавить много камешков к своей жизни, пользуясь искусством, изъясненным в этой книге.

Метафизик. Пусть каждый судит и поступает, как ему свойственно; но и смерть не преминет поступать по-своему. А если ты хочешь, продлив жизнь, принести людям подлинную пользу, то найди искусство, благодаря которому умножились бы и стали сильнее их чувства и дела. Таким способом ты воистину продлишь человеческую жизнь, и, заполнив нескончаемые промежутки времени, когда наше существование есть скорей прозябание, нежели жизнь, ты получишь право похвалиться, что продлил ее. И сделаешь ты это, не ища невозможного и не подвергая природу насилию, даже направленному ей в помощь. Разве тебе не кажется, что древние жили дольше нас, хотя по причине тяжких опасностей, которым они непрерывно подвергались, умирали скорее? Ты окажешь великое благодеяние людям, чья жизнь была — не скажу счастливой, но менее несчастной — всегда, когда в ней было больше сильных волнений, не сопряженных с болью и досадой, и меньше праздности, а когда она полна безделья и пресыщения и становится, так сказать, пустопорожней, то можно поверить, что истинно изречение Пиррона*, будто между жизнью и смертью нет различия. Впрочем, если бы я в это верил, то, клянусь тебе, смерть не пугала бы меня так. Но, в конце концов, жизнь должна быть живой, должна быть настоящей жизнью, — а иначе смерть намного ценнее, чем жизнь.

РАЗГОВОР ТОРКВАТО ТАССО И ЕГО ДЕМОНА

Демон. Как дела, Торквато?

Тассо. Сам знаешь, как идут дела в тюрьме, когда бед по горло.

Демон. Оставь, после обеда жаловаться не время... Прибодришь, и посмеемся вместе.

Тассо. Смеяться у меня нет ни малейшей охоты. Но твое присутствие и твои речи всегда меня утешают. Сядь рядом со мной.

Демон. Как же я сяду? Духу это не так легко сделать. Ну ладно, считай, что я сижу.

Тассо. О, если бы мне вновь повидаться с моей Леонорой!** Всякий раз, когда мысль о ней приходит мне на ум, я чувствую трепет радости, он пронизывает меня от макушки до пят, каждый нерв, каждая жилка во мне трепещет. А порой, когда я думаю

о ней, в душе моей оживают некие образы и чувства. Так что на короткий срок мне кажется, будто я по-прежнему тот Тассо, каким был, не сведя знакомства с бедствиями и с людьми, тот, кого я столько раз оплакивал как умершего. Воистину я сказал бы, что опыт жизни среди людей и знакомство со страданиями в каждом подавляют и усыпляют того человека, каким он был прежде; время от времени этот прежний человек просыпается в нас на короткий миг, но тем реже, чем больше проходит лет; затем он мало-помалу прячется в нашей душе все глубже и впадает во все более беспробудный сон, а потом умирает еще прежде, чем оборвется наша жизнь. Я удивляюсь, как мысль о женщине может быть так сильна, чтобы, так сказать, обновить мне душу и заставить меня забыть о несчастьях. И если бы я не утратил совсем надежду вновь ее увидеть, я бы поверил, что не потерял еще способности быть счастливым.

Демон. А что, по-твоему, отраднее: видеть любимую женщину или думать о ней?

Тассо. Не знаю. Одно только верно: рядом со мною она казалась мне женщиной, а вдали казалась и кажется богиней.

Демон. Эти богини столь благосклонны, что, когда к ним кто-нибудь приближается, они вмиг совлекают с себя божественность, снимают окружающий их чело ореол и прячут его в карман, чтобы не ослепить осмелевшего смертного.

Тассо. К сожалению, ты прав. Но, по-твоему, разве это не великий изъян всех женщин — то, что они оказываются на деле совсем иными, нежели в нашем воображении?

Демон. Не пойму, чем они виноваты, если состоят из плоти и крови, а не из амброзии и нектара? Что в мире обладает хотя бы тенью или тысячной долей того совершенства, которое вы воображаете в женщинах? И вот что еще мне кажется странным: если вы ничуть не удивляетесь тому, что люди — это люди, то есть существа, не слишком достойные похвалы и любви, то почему вы становитесь в тупик, увидев, что и женщины на деле не ангелы?

Тассо. И, несмотря на это, мне до смерти хочется повидаться с нею и поговорить.

Демон. Ладно, нынче ночью во сне я ее к тебе приведу, красивую, как сама юность, и такую любезную, что ты отважишься говорить с нею откровенней и свободнее, чем когда-либо раньше, и под конец пожмешь ей руку, а она пристально на тебя поглядит и прольет тебе в душу такую отраду, что ты будешь совсем покорен и весь завтрашний день, едва вспомнишь о своем сновидении, сразу почувствуешь, как сердце у тебя в груди прыгает от нежности.

Тассо. Великое утешение — сон вместо истины!

Демон. Что есть истина?

Тассо. Я знаю об этом ничуть не больше, чем Пилат.

Демон. Хорошо, я отвечу за тебя. Знай, что между истиной и сном только одно различие: то, что мы видим во сне, может

быть иногда прекрасным и отрадным, каким ничто истинное не бывает.

Т а с с о. Значит, приснившееся наслаждение стоит истинного?

Д е м о н. Разумеется. И мне известен даже один человек, который в тот день, когда любимая женщина является ему в приятном сновидении, избегает встречи и свидания с нею, зная, что она не выдержит сравнения с тем образом, который сновидение запечатлело в его душе, и что образ подлинный сотрет мнимый образ, лишив нашего сновидца высочайшего наслаждения; потому и не следует порицать древних — куда более усердных, изобретательных и деятельных, чем вы, во всем, что касалось доступных человеческой природе наслаждений, — за то, что они всеми способами стремились добиться приятных и отрадных снов; не стоит упрекать Пифагора за то, что он возбранял есть бобы*, считая, что сны от этого становятся беспокойными и смутными; заслуживают прощения и те суеверные, что на сон грядущий творили молитвы и возлияния Меркурию — вожатаю снов, дабы он привел к ним радостные видения, и ради этого помещали изваянные изображения бога на верхних концах ножек своего ложа. Не находя счастья наяву, они стремились таким способом обрести его во сне, и думаю, что хотя бы отчасти им это удавалось и что Меркурий мог внять им более всех прочих богов.

Т а с с о. Получается вот что: если мы, люди, живем единственно ради наслаждений, душевных или телесных, которые даются только во сне или по большей части во сне, значит, нам следует решиться жить ради сна, а к этому, говоря по правде, я не могу себя принудить.

Д е м о н. Тебя уже к этому принудили и решили за тебя, коль скоро ты живешь и согласен жить. Что есть наслаждение?

Т а с с о. Мой опыт в нем не так богат, откуда же мне знать, что это такое?

Д е м о н. Никто не знает этого на опыте, все — лишь умозрительно. Потому, что наслаждение есть предмет умозрительный, а не подлинно существующий, оно есть желание, но не действительность, чувство, которое человек постигает разумом, но не испытывает, или, вернее, даже не чувство, а понятие. Разве вы сами не замечаете, что в то самое время, когда вы наслаждаетесь чем-либо бесконечно желанным, за чем вы гнались с великими трудами и лишениями, вы неспособны удовлетвориться наслаждением, насущным в этот миг, и все время ожидаете в будущем наслаждения более истинного и сильного — в чем и состоит вообще вся отрада наслаждения, — и непрестанно переносите мыслью к последующим мгновениям испытываемого удовольствия? А оно всегда кончается, не достигнув мгновения, которое бы вас удовлетворило, и не оставляет вам ничего хорошего, кроме слепой надежды насладиться истиннее и полнее в другой раз и утешительной возможности воображать, будто испытали наслаждение, и рассказывать об этом себе, а иногда

и другим не только ради похвалы, но и чтобы лучше убедить в этом самих себя (а этого вам очень хочется). Однако всякий, кто соглашается жить, живет лишь с одной целью — видеть сны, то есть думать, будто он чем-то наслаждался или насладится в будущем; а иного проку, кроме этих пустых фантазий, от жизни нет.

Т а с с о. Неужели люди никак не могут поверить, что наслаждаются в настоящую минуту?

Д е м о н. Стоило бы им в это поверить, — и они испытали бы действительное наслаждение. Но скажи сам, помнишь ли ты, чтобы хоть в один какой-то миг за всю твою жизнь ты сказал с полной искренностью и убежденностью: я наслаждаюсь. Всякий день ты говорил и говоришь вполне искренне: я еще буду наслаждаться; иногда говоришь, но не так искренне: я наслаждался. Так что наслаждение всегда или в прошлом, или в будущем и никогда — в настоящем.

Т а с с о. А это значит, что его не бывает никогда.

Д е м о н. Как видно, это так.

Т а с с о. Даже во сне.

Д е м о н. В подлинном смысле слова — и во сне.

Т а с с о. И все же цель, и не только главная, но единственная, к которой устремлена вся наша жизнь, — это удовольствие, если под удовольствием понимать счастье; а оно, от чего бы ни проистекало, не может быть ничем иным, как подлинным удовольствием.

Д е м о н. Конечно.

Т а с с о. Следовательно, вся наша жизнь, не достигающая никогда своей цели, не бывает совершенной, а потому она по самой своей природе есть состояние мучительное.

Д е м о н. Быть может, и так.

Т а с с о. Не вижу тут никакого "быть может". Но почему мы живем, то есть почему соглашаемся жить?

Д е м о н. Что я знаю об этом? Вы, люди, должны бы знать это лучше.

Т а с с о. Что до меня, то, клянусь тебе, я этого не знаю.

Д е м о н. Спроси тех, кто мудрее тебя, может быть, ты и найдешь кого-нибудь, кто разрешит твое сомненье.

Т а с с о. Так я и сделаю. Но такая жизнь, какую веду я, есть совсем уж мучительное состояние, потому что, даже если оставить в стороне страдания, одна лишь скука меня убивает.

Д е м о н. Что есть скука?

Т а с с о. Тут моего опыта вполне хватит, чтобы удовлетворить твое любопытство. Мне сдается, скука по природе сродни воздуху: воздух заполняет все пространство, разделяющее материальные предметы и пустоты, имеющиеся в каждом из них, и если одно тело покинуло свое место и другое тело это место не заступило, его сейчас же занимает воздух. Так и в человеческой жизни все промежутки между удовольствиями и горестями заполняются скукой. Так значит, подобно тому как в материальном мире, согласно учению перипатетиков, не бывает пустоты, ее

не бывает и в нашей жизни, кроме разве тех мгновений, когда дух по какой-либо причине перестает мыслить. Во все остальное время душа, даже если ее рассматривать самое по себе, как бы отделенной от тела, всегда что-нибудь да испытывает, потому что, если в ней нет никаких приятных или неприятных ощущений, она полна скуки, а скуку тоже испытывают, подобно боли и удовольствию.

Демон. А поскольку все ваши удовольствия сотканы из нитей, подобных паутине, — столь же тонких, редких и прозрачных, — постольку скука, как воздух сквозь паутину, проникает сквозь них со всех сторон и заполняет все. Впрочем, я не думаю, чтобы под скукой нужно было понимать нечто иное, нежели просто желание счастья, не удовлетворяемое наслаждением и не уязвляемое явными горестями. Желание это, как я уже сказал раньше, не бывает удовлетворено, а наслаждение в подлинном смысле слова и вовсе не существует. Так что человеческая жизнь, можно сказать, составлена и сплетена частью из страданий, частью из скуки, и от одной из этих мук можно отдохнуть, только подпав другой из них. Такова судьба не только твоя, но и вообще всех людей.

Тассо. Какое лекарство может помочь против скуки?

Демон. Сон, опиум, страдание. Последнее — самое могущественное из средств, потому что человек, пока он мучится, уж во всяком случае, не скучает.

Тассо. Взамен такого лекарства я рад был бы проскучать всю жизнь. Но ведь и разнообразие действий, занятий и чувств пусть и не освобождает от скуки, потому что не приносит истинного наслаждения, зато облегчает ее и делает менее тягостной. Здесь же, в этой темнице, где я отторгнут от общества людей, где у меня отнята даже возможность писать, где мне приходится для препровождения времени считать удары часов, пересчитывать балки на потолке и все трещины, все дырочки, просверленные древесным червем, разглядывать узоры плит на полу, забавляться бабочками и мошками, которые кружатся по комнате, проводить почти все часы дня одинаково, — я не вижу, что может хоть в малой мере ослабить давящее меня бремя скуки.

Демон. Скажи мне, давно ли ты принужден вести такую жизнь?

Тассо. Несколько недель, как ты знаешь.

Демон. И с первого дня и до нынешнего ты не замечаешь никакой разницы в том, как она угнетает тебя?

Тассо. Конечно, в самом начале мне было тяжелее, а потом мой дух, ничем не занятый и не отвлекаемый, понемногу приучился разговаривать сам с собой все дольше и тем приносить мне большее, нежели прежде, утешение. Теперь он приобрел привычку и способность вести в самом себе беседы и даже заниматься болтовней, так что порой мне начинает казаться, будто в голове у меня целое общество собеседников, и самый ничтожный предмет, который приходит мне на мысль, способен вызвать долгий разговор между мной и мною же.

Демон. Ты увидишь, что привычка эта будет день ото дня укрепляться и расти, так что потом, когда ты вновь получишь возможность встречаться с людьми, тебе покажется, что в их обществе ты более празден, чем в одиночестве. И не думай, что приспособиться к подобному образу жизни под силу только тем, кто, как ты, уже прежде привык размышлять: раньше ли, позже ли, но то же самое происходит с каждым. Более того, быть отлученным от людей и, так сказать, от самой жизни значит получить некую выгоду: ведь человек, даже пресыщенный, отрезвленный и разочаровавшийся во всех человеческих делах по собственному опыту, постепенно вновь привыкает взирать на них издали, откуда они кажутся ему более прекрасными и достойными, нежели вблизи, забывает об их тщете и ничтожестве, вновь представляет себе и чуть ли не творит мир на свой лад, вновь начинает ценить и любить жизнь, желать ее, и если только у него не отнята возможность вернуться в общество людей и вера в это, надежда снова укрепляет и услаждает его, как бывало в юные годы. Одиночество, таким образом, делает почти то же самое, что юность, то есть омолаживает душу, возвращает силу воображению, снова заставляя его работать, и дарует умудренному опытом человеку все блага той первоначальной неопытности, по которой ты вздыхаешь. Я покидаю тебя, потому что, я вижу, к тебе входит сон; а я отправляюсь приготовить тебе то прекрасное сновидение, которое обещал. Так между сновидениями и грезами наяву ты будешь проводить жизнь, не имея от этого иной выгоды, кроме той, что жизнь проходит, но ведь это единственный плод в мире, который можно от нее получить, и единственная цель, которую вы должны ставить себе каждое утро при пробуждении. Нередко вам приходится волочить ее зубами; счастлив тот день, когда вы можете тащить ее за собой руками или взвалить на плечи. Но в конце концов время в твоей тюрьме бежит не медленнее, чем в залах и садах того, кто тебя угнетает. Прощай.

Тассо. Прощай. Нет, послушай! Твои речи так ободряют меня! Не то чтобы моя печаль от них проходила, но большую часть времени она подобна мраку безлунной и беззвездной ночи, а с тобою походит на сумерки, которые нам скорее приятны, нежели тягостны. Чтобы впредь я мог призвать тебя или найти, когда мне будет в тебе нужда, скажи, где ты пребываешь, где твое обычное обиталище?

Демон. Неужто ты еще не понял этого? В некоем благородном напитке!

РАЗГОВОР ПРИРОДЫ С ИСЛАНДЦЕМ

Один Исландец, объездивший почти весь мир и успевший пожить в разных землях, странствовал однажды в глубине Африканского материка, и вот, когда он проходил под самым экватором по местам, куда не проникал ни один человек, с ним

случилось нечто подобное тому, что произошло с проплывавшим мимо мыса Доброй Надежды Васко да Гама*, которому предстал в обличье гиганта сам мыс, страж южных морей, чтобы отвратить его от намерения углубиться в неведомые воды. Наш Исландец заметил издали огромную фигуру, видную по пояс, и на первых порах решил, что она, должно быть, из камня, наподобие тех колоссальных герм, которые он видел много лет назад на острове Пасхи**. Однако, приблизившись, он обнаружил, что перед ним непомерного роста женщина и что она сидит на земле, выпрямившись и опираясь спиной и локтем о горный хребет. И женщина эта была не изваянной, но живой, лицо ее было прекрасно и вместе грозно, глаза и волосы черны, как смоль; она пристально глядела на Исландца, ничего не говоря, и лишь долгое время спустя произнесла наконец:

Природа. Кто ты? Чего ты ищешь в этих местах, где и не видали существ твоей породы?

Исландец. Я — бедный Исландец, убегающий от Природы. Почти всю мою жизнь я убегал от нее, прошел через тысячи стран на земле, и вот теперь мой путь лежит через эту.

Природа. Так белка бежит от гремучей змеи, покуда сама не попадет ей в пасть. Я та, от кого ты бежишь.

Исландец. Ты — Природа?

Природа. Да, я и есть Природа.

Исландец. Вот беда! Право, большей неприятности со мной не могло приключиться.

Природа. Ты отлично мог сообразить, что я особенно часто бываю в этих местах: тебе ведь известно, что здесь моя власть дает себя чувствовать сильнее, чем где бы то ни было. Но что заставляло тебя спастись от меня бегством?

Исландец. Тебе следует узнать, что в самой ранней молодости, едва набравшись опыта, я убедился в тщете жизни и неразумии людей, которые, непрестанно воюя между собой из-за безрадостных наслаждений и бесполезных богатств, претерпевая и причиняя друг другу бесчисленные горести и беды, действительно их мучащие и вредящие им, тем больше удаляются от счастья, чем усерднее его ищут. Побуждаемый этими мыслями и отказавшись от всех желаний, я порешил, никому не докучая, не заботясь о том, чтобы подняться выше, не оспаривая у других никаких благ в мире, жить жизнью безвестной и спокойной. Отчаявшись в наслаждениях, ибо в них отказано нашему роду, я положил единственной моей заботой избегать страданий. Я не имею в виду сказать, что хотел воздержаться от трудов и напряженья телесных сил: ведь ты сама знаешь, в чем разница между трудами и тяготами и между жизнью безмятежной и жизнью праздной. Чуть только начал я делать так, как решил, мне пришлось узнать на опыте, что тщетно было думать, будто можно, живя среди людей и никому не делая зла, не претерпеть зла от других и, добровольно уступая во всем и довольствуясь всегда самым малым, добиться, чтобы тебе оставили хоть какое-то местечко

и не отнимали этой малости. Тогда я легко избавился от людей, бывших мне в тягость, удалившись от их общества и обрекши себя на одиночество, благо на моем родном острове можно осуществить это без всякого труда. Поступив так и не зная в жизни даже тени наслаждения, я не мог, однако, прожить и без страданий, потому что долгая зима, сильная стужа и палящий летний зной, свойственные тем местам, непрестанно мучили меня. А огонь, подле которого мне приходилось проводить почти все время, иссушал мою плоть и разъедал глаза дымом, так что ни дома, ни под открытым небом мне невозможно было уйти от неизбежных тягот. Не мог я сохранить и безмятежности жизни, хотя к этому более всего были направлены мои помыслы, потому что ужасающие бури на море и на суше, угрожающий грохот Геклы*, боязнь пожаров, столь часто случающихся там, где жилища, подобно нашим, построены из дерева, — все это непрестанно тревожило меня. Когда жизнь однообразна и в ней нет ни стремлений, ни надежд, ни даже забот о чем-либо, кроме спокойствия, тогда все эти помехи внушают немалую тревогу и оказываются куда тягостнее, чем представляются тому, чья душа занята больше всего мыслями о жизни в людском обществе и о неприятностях, причиняемых людьми. Убедившись, что, чем больше я стесняю себя и чуть ли не сжимаюсь в комок, стараясь, чтобы мое существование никому и ничему не докучало и не вредило, тем меньше мне удастся избавиться от тревог и мучений, причиняемых окружающими меня предметами, я решил все время менять места и климаты, желая увидеть, можно ли хоть в какой-нибудь стране на земле, не причиняя зла, не терпеть его и, не наслаждаясь, не страдать. На такое решение подвигла меня и некая мысль, что родилась в моем уме: быть может, ты предназначила для рода человеческого на всей земле только один климат (как ты сделала это для остальных родов животных и растений) и определенные местности, а вне их люди не могут процветать и жить без тягот и нужды, и обвинять в этом следует не тебя, а их самих, презревших и преступивших пределы, предназначенные твоим законом для человеческого обитания. Я обыскал почти весь мир и узнал на опыте почти все страны, повсюду следуя своему правилу как можно меньше обременять собою прочих тварей и заботиться лишь о безмятежности жизни. Но меня жег зной в тропиках, вновь леденил холод ближе к полюсам, угнетало в умеренном климате непостоянство погоды, и повсюду мне вредило движение стихий. Я видел множество мест, где дня не проходит без грозы, а это все равно, как если бы ты что ни день шла войной на тамошних жителей, не виновных перед тобой ни в каком преступлении, и давала им бой по всем правилам. В других местах постоянную ясность неба ты возмещаешь частыми землетрясениями, обилием и бешенством вулканов, подземным клочкотанием по всей стране. Неумеренные ветры и вихри господствуют в ту пору и в тех краях, которые избавлены от свирепости других стихий. Мне приходилось слы-

шать, как трещит у меня над головой кровля, обрушиваясь под тяжестью снега, приходилось видеть, как земля, разверзшись от избытка дождей, уходила у меня из-под ног, приходилось бежать что есть мочи от рек, преследовавших меня, будто я чем-нибудь провинился перед ними. Много раз дикие звери, которых я не раздраживал и на которых не нападал, хотели меня сожрать, а змеи — убить своим ядом, во многих местах летающие насекомые чуть ли не съедали меня всего до костей. Я не говорю о повседневных опасностях, всегда грозивших человеку и столь неисчислимым, что один древний мудрец* не нашел лекарства от страха сильнее, чем такое соображение: всего надо бояться. Болезни тоже меня не пощадили, хотя я, не скажу воздержан, но умерен в телесных удовольствиях. Я всегда немало удивлялся, видя, что ты вложила в нас такую неотступную и ненасытную жажду наслаждений, без которых наша жизнь, словно лишенная всего, чего ей естественно желать, неполна и несовершенна, и вместе с тем установила, что самое вредное из всех дел человеческих — предаваться наслаждениям, ибо это пагубно по своим последствиям для сил и телесного здоровья и враждебно долговечности. Но как бы то ни было, почти всегда и почти во всем воздерживаясь от любого удовольствия, я не мог избежать многих и разных недугов, из которых одни угрожали мне смертью, другие — потерей какого-либо из членов моего тела и жизнью еще более жалкой, чем прежняя, и все они на много дней и месяцев угнетали мне тело и душу тысячами лишений и терзаний. И все же, хотя каждый из нас испытывает во время болезней новые и непривычные страдания и чувствует себя несчастнее обычного (как будто бы каждый день человеческой жизни недостаточно полон несчастьями), ты не дала человеку взамен такой поры, когда здоровья у него в избытке, много больше обычного, и по этой причине он испытывает особое, небывалое по силе и приятности наслаждение. В странах, покрытых снегом большую часть года, я чуть было не ослеп, как это часто случается с лапландцами у них на родине. Солнце и воздух, животворные и необходимые нам для жизни, от которых мы не можем бежать, непрестанно оказывают на нас вредное действие: воздух — своей влажностью, или резкостью, или иными свойствами, солнце — своим жаром и даже самым своим светом, так что человек не может без больших или меньших тягот, без большего или меньшего вреда находиться на солнце или на воздухе. И получается, что я не могу вспомнить за всю жизнь ни единого дня, проведенного без страданий, как не могу сосчитать дней, когда я не испытал и тени наслаждения; потому я и замечаю, что нам в равной мере суждено и неизбежно знать страдания и не знать наслаждений, что в той же мере нам невозможно жить спокойно, как и жить, не ведая покоя, но не зная и несчастья. И я осмеливаюсь заключить, что ты — явный враг человека, и всех других живых существ, и всего созданного тобою, что ты то строишь нам козни, то угрожаешь нам, то на нас нападаешь, то язвишь

нас, то терзаешь, то бьешь и всегда либо причиняешь нам зло, либо преследуешь нас, что ты по своему нраву или потому, что так установлено, делаешься палачом своей семьи, своих детей и, так сказать, собственной плоти и крови. И вот я лишился всякой надежды, поняв, что люди перестают преследовать того, кто бежит от них и прячется с искренним желанием убежать и спрятаться. Ты же без всякой причины не перестаешь нас гнать, покуда не изведешь. Я вижу уже, как приближается ко мне печальная и мрачная старость, истинная и явная беда, больше того — соединение всех бед и тяжких несчастий; и приходит она не случайно, а по твоему закону, неизбежная для всех живущих, каждым прозреваемая с малолетства и непрестанно подготавливаемая начинающимся без людской вины после пятого пятилетия жизни угасанием и ослаблением. Выходит, что едва треть человеческой жизни отведена на расцветание, немногие мгновения — на зрелость и совершенство, а все остальное — на увядание и протекающие из него тяготы.

Природа. Уж не вообразил ли ты, будто мир создан ради вас? Знай же, что, творя, устанавливая порядок и вообще что-либо совершая, я почти всегда имела и имею в виду нечто иное, нежели счастье или несчастье людей. Когда я каким-либо образом или действием причиняю вам зло, я этого не замечаю, за редчайшими исключениями; и точно так же, если я порою даю вам наслаждение или благотворю, я обыкновенно даже не знаю об этом; я никогда не делала и не делаю ничего, имея в виду, как вы мните, доставить вам радость и угодить вам. И наконец, если бы даже мне случилось истребить весь ваш род, я бы этого и не заметила.

Исландец. Возьмем такой случай: кто-нибудь без моей просьбы приглашает меня к себе в усадьбу, приглашает весьма настойчиво, я же, чтобы сделать ему приятное, еду туда. Там меня помещают жить в убогой и ветхой клетушке, сырой, зловонной, открытой ветру и дождю, где мне постоянно грозит опасность быть раздавленным. Хозяин, вместо того чтобы позаботиться о приятном для меня препровождении времени и о моих удобствах, едва дает мне необходимое для поддержания жизни и, кроме того, позволяет своим детям и всем домашним говорить со мной грубо, насмехаться надо мной, угрожать мне и даже бить меня. А когда я пожалуюсь ему на такое дурное обращение, он ответит мне: "Уж не думаешь ли ты, что я построил эту усадьбу для тебя? И завел себе детей и всю челядь для того, чтоб они тебе служили? Не о чем мне думать, что ли, кроме как о том, чем бы тебя развлечь и как бы содержать получше?" Но на это я возражу: "Видишь ли, мой друг, если ты построил эту усадьбу не мне на потребу, то ты волен был и не приглашать меня. Но коль ты сам захотел, чтобы я здесь погостил, то разве не твое дело устроить так, чтобы я, сколько это от тебя зависит, жил не мучаясь и не подвергаясь опасностям?" Это я и говорю сейчас. Я знаю, что мир создан тобой не на потребу людям. Мне легче

было бы поверить, что ты его создала и все в нем устроила нарочно для того, чтобы людей мучить. Но тогда я спрашиваю: просил ли я тебя посылать меня сюда, в этот мир? Или, может быть, я вторгся в него силой, вопреки твоему желанию? А если ты по своей воле, без моего ведома и так, что я не мог ни отказаться, ни взбунтоваться, сама, своими руками, поместила меня здесь, то разве не твой долг пусть даже не заботиться о том, чтобы я был весел и доволен в твоих владениях, но хотя бы запретить мучить меня и терзать, чтобы пребывание в них не шло мне во вред? И то, что я говорю о себе, сказано от лица всего рода человеческого, от лица всех животных и всякой твари.

Природа. Мне кажется, ты не обратил должного внимания на то, что жизнь этого мира есть вечный круговорот рождения и уничтожения, связанных между собой так, что одно непрестанно служит другому, и оба вместе — сохранению самого мира, который распался бы, если бы прекратилось или одно, или другое. Потому было бы миру во вред, если бы хоть что-нибудь в нем оказалось свободно от страданий.

Исландец. Те же самые рассуждения я слышу от всех философов. Но коль скоро уничтожаемое страдает, а уничтожающее не испытывает наслаждения и в скором времени также уничтожается, то скажи мне то, чего не может сказать мне ни один философ: кому по душе, кому на пользу эта несчастнейшая жизнь вселенной, поддерживаемая ценой ущерба и смерти всего, что ее составляет?

Покуда они рассуждали таким или подобным образом, к ним приблизились, как рассказывают, два льва, столь истощенные и худые от голода, что им едва хватило сил съесть Исландца; сделав это и немного подкрепившись, они могли прожить еще несколько дней. Но есть и такие, кто это отрицает и утверждает, будто, покуда Исландец говорил, поднялся жесточайший ветер, который простер его на земле, а над ним воздвиг горделивый мавзолей из песка, под коим Исландец, на славу высушенный и превращенный в превосходную мумию, был обнаружен некими путешественниками и помещен в музей в одном из городов Европы.

ПАРИНИ, ИЛИ О СЛАВЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Джузеппе Парини* был на нашей памяти одним из немногих итальянцев, в ком превосходный талант писателя сочетался с глубиной мысли и обширными познаниями в современной философии, в которой он и сам подвизался, — что в наши дни неотъемлемо присуще изящной словесности, ибо она и не была бы воспринята как таковая, если отлучить ее от философии, чему мы видели в Италии множество примеров. Парини, как известно, отличался также крайним простодушием, состраданием к не-

счастливым, любовью к отчизне, верностью друзьям, благородством души и стойкостью в превратностях, посылаемых ему природой и фортуной и мучивших нашего поэта в течение всей его несчастной и смиренной жизни, пока смерть не окутала его мраком. Было у него несколько учеников, которых он обучал прежде всего прочего пониманию людей и их дел, а затем уже тому, как услаждать их красноречием и стихами. Как-то раз, обращаясь к одному из учеников, юноше отменного дарования и великого рвения к наукам, подававшему редкостные надежды, незадолго перед тем поступившему к нему в обучение, Парини произнес речь такого содержания.

— Ты ищешь, сын мой, той единственной славы, которой возможно домогаться ныне людям невысокого происхождения, — славы, которую приносят порой мудрость и усердие в благородных науках и благородной словесности. Тебе изначально известно, что слава эта, хоть и не пренебрегаемая нашими предками, все же почиталась ими не очень высоко в сравнении с иною славой; ты видел сам, во скольких местах своих сочинений и с какой заботой Цицерон, самый пылкий и самый счастливый ее ревнитель, извиняется перед согражданами за то, что тратит ради нее столько времени и труда; порой он оправдывается тем, что занятия словесностью и философией ни в коей мере не препятствуют ему отдавать себя общественным делам, порою же тем, что, принуждаемый неблагоприятными временами воздерживаться от дел более важных, он прилежит к этим занятиям лишь из желания достойным образом провести дни праздности; и всегда он предпочитал славе, добытой писаниями, славу, которую стяжал своим консульством и всем, что он сделал на благо республики. И поистине, если главный предмет словесности — человеческая жизнь, а первое стремление философии — внести порядок в наши поступки, то нет сомнения, что действовать — настолько же достойнее и благороднее, нежели размышлять и писать, насколько цель благороднее средств, а вещи и предметы важнее слов и рассуждений. Ни одно дарование не создано природой для этих занятий, и человек рождается не для того, чтобы писать, но для того, чтобы действовать. Поэтому мы видим, что большинство превосходных писателей, особенно же знаменитых поэтов, даже в нашем веке — возьмем для примера хотя бы Витторио Альфьери* — обладали первоначально чрезвычайной склонностью к великим делам, но, не допущенные к ним нашими временами, а быть может, и собственным происхождением и состоянием, они обратились к словесности, создавая великие творения. Правда, к писанию не были подвигнуты те, кто не имел к этому ни расположения, ни способности. Ты легко можешь увидеть, сколь немногие в Италии, где мы почти все по духу чужды подвигам, стяжали прочную славу своими писаниями. Помоему, древность, особенно греческую и римскую, можно наиболее подобающим образом представить себе по тому, как изваяна была в Аргосе статуя Телесиллы** — поэтессы, воительницы

и спасительницы отчизны. Статуя эта изображала ее со шлемом в руке и со взором, пристально на него устремленным и выражающим удовлетворение тем, что ей предстоит надеть его на голову, между тем как свитки лежат у ее ног, ибо она пренебрегает ими, как ничтожнейшей частью своей славы.

Но среди нас, людей современных, перед которыми закрыты все прочие пути к известности, те, кто направляется по стезе ученых занятий, являют своим выбором наибольшее величие духа, какое возможно явить в наши дни, и им нет нужды извиняться в этом перед отечеством. Посему, если говорить о благородстве души, я хвалю тебя за твое намерение. Но поскольку этим путем, как не отвечающим человеческой природе, невозможно следовать, не нанося ущерба телу и многими способами не обрекая душу быть более несчастной, чем ей положено от природы, постольку я считаю, что мне прежде всего надлежит и должно как по обязанности, так и в силу той великой любви, которой ты заслуживаешь и которую я к тебе питаю, предварить тебя и относительно тех различных трудностей, что встанут перед тобой препонами на пути к желанной славе, и относительно тех плодов, какие она принесет тебе, если ты ее достигнешь, предварить в той мере, в какой я до нынешнего времени сам узнал это на опыте и из бесед с другими, дабы ты мог поразмыслить наедине с собой и взвесить, с одной стороны, так ли важна и ценна твоя цель и так ли велика надежда до нее дойти, а с другой, — каков ущерб, каковы труды и тяготы, сопряженные с ее поисками (о них я расскажу тебе особо, когда представится случай), а затем с полным знанием судить и решать, идти ли тебе этой стезей или избрать другую.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Я мог бы вначале долго распространяться о соперничестве, о зависти, о едкой критике, о клевете и предвзятости, о тайных и явных кознях и происках, направленных в ущерб твоему доброму имени, и о бесчисленном множестве других препятствий, воздвигаемых людскою злобой на пути, на который ты вступил. Из-за этих препятствий, всегда труднопреодолимых, а иногда и вовсе непреодолимых, не один писатель не только при жизни, но и после смерти был лишен заслуженной чести. Потому что, из-за ненависти и зависти людей прожив без славы, он и после смерти остается в неизвестности из-за их забывчивости, ибо вряд ли может приключиться так, чтобы чья-либо слава родилась или вознеслась тогда, когда о ней некому и нечему позаботиться, кроме разве что бумаг, которые сами по себе немые и неподвижны. Но я намерен оставить в стороне те трудности, которые возникают вследствие людской злобы, потому что о них писали многие и много, и ты сам можешь к этим писаниям обратиться. Я также не собираюсь рассказывать тебе о тех преградах, кото-

рые ставят перед писателем его происхождение и состояние или даже простой случай и любая из самых ничтожных причин, в силу которых нередко сочинения, достойные величайшей похвалы, навсегда остаются в неизвестности или же, продержавшись на свете лишь короткий срок, выпадают и исчезают из памяти людей, в то время как другие сочинения, либо менее, либо ничуть не более ценные, оказываются и пребывают в великой чести. Я только хочу изложить тебе, какие трудности и препоны и без вмешательства человеческой злобы упорно мешают стяжать славу, и притом не отдельным людям в особых обстоятельствах, а всегда и почти всем великим писателям.

Ты знаешь, что никто не удостоился этого звания и не завоевал истинной и прочной славы чем-либо, кроме превосходных и совершенных или хотя бы приближающихся к совершенству творений. Теперь тебе следует обратить внимание на неоспоримую истину, высказанную одним нашим писателем-ломбардцем; я имею в виду автора "Придворного"* , который говорит: "Весьма редко случается, чтобы тот, кто не владеет пером сам, сколь бы ни был он образован, мог в совершенстве знать труд и искусство писателя и наслаждаться приятностью и великолепием разных стилей и глубокими мыслями, которые так часто встречаются у древних". Подумай прежде всего, сколь малое число людей обучено владеть пером, — значит, сколь мала та часть человечества, у которой ты можешь надеяться и ныне, и в будущем заслужить высокую хвалу, которую полагал плодом всей твоей жизни. Кроме того, взгляни, как много значит во всех писаниях слог, от достоинств и совершенства которого более всего зависит долговечность произведений, принадлежащих к роду изящной словесности. Часто ты, лишив красот слога прославленное сочинение, о котором ты думал, будто его ценность заключена в высказанных в нем мыслях, можешь тем самым низвести его до такой степени, что оно покажется тебе ничего не стоящим. Далее, язык есть столь важная часть слога и связан с ним столь неразрывно, что лишь с трудом можно рассматривать один отдельно от другого; то и дело оба смешиваются между собой, и не только в речах людей, но и в их уме; лишь путем самого пристального, во всех тонкостях, рассмотрения можно, — а быть может, и вовсе невозможно — различить, к чему из двух относится то или иное свойство из тысячи, те или иные из тысячи достоинств и изъянов, потому что они общи и языку, и слогу и неотделимы от обоих. Но ни один чужестранец не умеет, говоря словами Кастильоне, владеть пером и с изяществом писать на твоём языке. Поэтому слог — составляющий такую большую и важную часть труда писателя, требующий несказанных стараний и усилий как для того, чтобы обучиться глубоко и в совершенстве его искусству, так и для того, чтобы, обучившись, этим искусством пользоваться, — не имеет иных судей, иных достойных почитателей, способных воздать ему хвалу по заслугам, кроме тех сынов одного из народов мира, кто владеет пером. Что до остальной части рода

человеческого, то тут безмерные труды и усилия, затраченные ради этого самого слога, оказываются по большей части тщетными и выброшенными на ветер. Я не говорю уже о нескончаемом разнообразии суждений и склонностей тех, кто причастен к словесности; но и по этой причине число людей, способных оценить похвальные качества той или иной книги, становится еще намного меньше.

Я хочу, однако, чтобы ты убедился еще в одном: для того чтобы в совершенстве узнать достоинства произведения совершенного или близкого к совершенству, мало владеть пером, но нужно писать с тем же совершенством, что и автор, о котором ты должен судить. Посему опыт покажет тебе, что чем глубже ты будешь постигать свойства, из которых слагается писательское совершенство, и неисчислимые трудности, испытываемые в его поисках, тем лучше ты научишься искусству преодолевать вторые и приобретать первые. Так что между постижением всего сказанного и обучением и овладением названным искусством не будет ни промежутка, ни различия, но одно сольется с другим воедино. Вследствие этого человек достигнет умения до конца понимать превосходные качества лучших писателей и наслаждаться ими не прежде, чем сам приобретет способность являть их в собственных сочинениях, потому что полностью познать эти качества и наслаждаться ими можно не иначе как самому занимаясь тем же самым и, так сказать, перенеся их на самого себя. Прежде никто и не в силах уразуметь, что есть на самом деле совершенство в писании. А не понимая этого, нельзя должным образом восхищаться величайшими писателями. Те, кто привержен ученым занятиям, по большей части сами пишут легко и думают, будто пишут хорошо, а потому поистине не сомневаются в том, что писать хорошо не так уж трудно. Теперь ты видишь, до чего сократилось число людей, кому полагалось бы уметь тобой восхищаться и хвалить тебя по заслугам, когда тебе удастся, трудясь в поте лица и ценой невероятных лишений, в конце концов создать превосходное и совершенное произведение. Могу тебе сказать (а ты поверь моим сединам), что сейчас в Италии едва ли найдутся два или три человека, умеющих и обладающих искусством отлично писать. А если тебе это число кажется слишком уж ничтожным, то не думай, что где-нибудь и когда-нибудь оно бывало больше.

Я не раз дивился про себя, как, например, Вергилий, великий образец совершенства для всех писателей, приобрел и сохранил такую необычайную славу. Потому что хотя я не очень высокого мнения о себе и не думаю, что способен всесторонне постичь то, чем он велик и в чем искусен, и насладиться им вполне, однако я уверен, что большая часть его читателей и хвалителей замечает в его поэмах не более одной из десяти или двадцати красот, которые мне удалось открыть после многократного перечитывания и долгих размышлений. Я на деле убеждаюсь, что высокая честь и почтение, которые воздаются великим писателям, проис-

текают обычно даже у тех, кто читает их и занимается ими, из слепо усвоенной привычки, а не из собственного суждения или способности распознать в них особые достоинства.

Я вспоминаю, что во времена моей юности, когда я читал поэмы Вергилия, — с одной стороны, сохраняя свободу суждения и не заботясь о мнении других, что присуще лишь немногим, а с другой, — будучи еще неискушенным, как то свойственно молодости, но ничуть не в большей мере, чем бывает всю жизнь большинство читателей, — я про себя отказывался присоединиться к общему приговору, ибо не мог открыть у Вергилия больших достоинств, чем у любого посредственного поэта. Мне даже сейчас удивительно, как это слава Вергилия могла взять верх над славой Лукана*. Знай, что большинство читателей, и не только в век ложных и превратных суждений, но и в пору здоровой и трезвой словесности, получает больше наслаждения от красот грубых и явных, нежели от тонких и скрытых, более от смелости, нежели от целомудренной сдержанности, чаще от внешнего, нежели от существенного, и всегда больше от посредственного, нежели от превосходного. Читая писания одного государя**, человека поистине редкого дарования, но привыкшего полагать, что самое прекрасное в словесности — это едкость, шутливость, легкость и остроумие, я обнаружил, что он в глубине своих мыслей предпочитал "Генриаду"*** "Энеиде" и если не решался высказать открыто это свое мнение, то лишь из боязни оскорбить слух людей. Я не могу постичь, как в конце концов суждение немногих, пусть даже правильное, могло победить суждение неслетного множества и сделать всеобщей привычкой почтение, столь же слепое, сколь и заслуженное. Так бывает не всегда, но я повторяю, что своей славой даже лучшие писатели обыкновенно обязаны больше случаю, чем собственным заслугам; быть может, ты убедишься в этом, услышав последующие мои рассуждения.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мы убедились уже, как мало найдется таких, кто способен будет оценить тебя, когда ты обретишь высокие достоинства, к которым стремишься. Но имей в виду также и то, что встретится множество помех, которые не позволят и этим немногим составить справедливое суждение о твоей истинной ценности, хотя они и разглядят ее признаки. Спора нет, о любого рода произведениях красноречия и поэзии судят не столько по их качествам, сколько по тому действию, какое они оказывают на душу читающего. Читатель составляет о них мнение, рассматривая их, так сказать, больше в себе самом, чем в них самих. Оттого и получается, что люди с холодным и медлительным от природы сердцем и воображением, хотя и наделенные хорошим слогом, остротой ума и достаточным образованием, бывают

почти что неспособны подобающим образом вынести приговор таким писаниям, ибо не могут даже отчасти отождествить свою душу с душою писателя, и втайне их презируют, ибо, читая их и зная, насколько они до поры знамениты, не постигают, в чем причина этой славы, — и все потому, что чтение нимало не волнует их, не рождает в них никаких образов, а значит, и не доставляет заметного удовольствия. Даже у тех, кто от природы расположен и готов воспринять любой образ и оживить его в своей душе, случаются минуты охлаждения, рассеянности, томности духа, невосприимчивости, и, пока длится такое расположение, люди эти точь-в-точь похожи на только что описанных мною; а случается это по самым разным причинам, внутренним и внешним, духовным и телесным, преходящим или постоянным. В такие минуты ни один, будь он хоть самый лучший писатель, не годится в судьи сочинений, предназначенных волновать сердце и воображение. Я не говорю о пресыщении удовольствиями, испытанными совсем недавно при такого же рода чтении, либо о более или менее сильных страхах, время от времени посещающих душу и занимающих большую ее часть, так что не остается места для волнения, которое при иных обстоятельствах было бы вызвано прочитанным. Так, по тем же самым или сходным причинам мы замечаем, что одни и те же места, одни и те же природные и иные зрелища, музыка и сотни подобных вещей, которые волновали нас в другое время — или были бы способны взволновать, если бы мы их видели и слышали, — будучи увиденными и услышанными теперь, ничуть нас не волнуют и не доставляют нам наслаждения, хотя они и не стали менее прекрасными или менее потрясающими чувства, чем были прежде.

Все же и тогда, когда по одной из названных причин человек не расположен воспринять действие красноречия или поэзии, он не преминет вынести суждение о книгах, относящихся к первому или второму роду, если ему случилось прочесть их в эту пору впервые, и не отсрочит своего приговора. И со мною нередко бывает так, что я беру в руки Гомера, или Цицерона, или Петрарку и не испытываю, читая их, ни малейшего волнения. Однако же, поскольку мне известны все достоинства этих писателей и я в них уверен как по причине их старинной славы, так и потому, что на опыте убедился, сколько радости доставляют они мне в другое время, я не допускаю, чтобы из-за моего нынешнего оупения у меня появились мысли, отрицающие их величие. Но когда дело идет о сочинениях, прочитанных впервые и в силу своей новизны не успевших еще вызвать толки или утвердиться настолько, чтобы сомнению в их ценности не оставалось места, тогда ничто не мешает читателю судить о них по тому действию, какое они оказывают на его душу в сей миг, и в том случае, если душа его не расположена к восприятию чувств и образов, желаемых автором, составить себе низкое мнение и о книге, и о ее создателе, будь они даже превосходными.

И едва ли случится так, что он откажется от этого мнения, заново перечитав ту же самую книгу в более подходящее время: ведь скука, испытанная при первом чтении, отнимет у него желание вернуться к книге, да и вообще кому не известно, как важно первое впечатление и что значит иметь уже составленное суждение, пусть даже ложное?

Иногда бывает, что душа по той или иной причине, напротив, столь податлива, чувствительна и полна сил и настолько всему открыта и ко всему готова, что повинуется малейшему толчку, данному чтением, живо воспринимает легчайшее прикосновение и по поводу читаемого рождает сама из себя тысячи волнений и тысячи фантазий, впадая порой в некий сладостный бред и забывая о себе. И по этой причине легко может случиться, что читатель, помня лишь наслаждение, доставленное ему прочитанным, и спутав следствия собственных свойств и собственного расположения духа со свойствами, действительно присущими книге, сохраняет к ней великую любовь и восхищение, составляет о ней мнение более высокое, нежели она заслуживает, и даже предпочитает ее более достойным, но прочитанным при менее благоприятных обстоятельствах книгам. Вот и гляди, каким колебаниям подвержены истинность и справедливость суждений о чужих книгах и чужих талантах даже у лиц, наиболее к тому способных и вдобавок чуждых злобе или пристрастию. Эти колебания таковы, что человек, впадая в противоречие с самим собой, по-разному судит о равноценных сочинениях или даже об одном и том же сочинении в разные годы своей жизни, в разных случаях и даже в разные часы одного дня.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

А теперь, чтобы ты не предполагал, будто перечисленные трудности, вызываемые неподходящим расположением духа у читателя, встречаются редко и не составляют правила, — вспомни еще вот о чем: нет явления более обыкновенного, нежели постепенная утрата с возрастом естественной способности к восприятию наслаждений, доставляемых красноречием и поэзией, а равно и другими подражательными искусствами и всякой мирской красотой. Этот упадок души, предначертанный нашей жизни самой природой, бывает теперь больше, чем бывал в другие времена, начинается раньше и наступает быстрее, особенно у людей ученых, потому что к собственному опыту каждого присовокупляется бóльшая или меньшая доля знаний, почерпнутых из постоянных занятий всем тем, что было в прошедшие века, и размышлений над ним. Все сказанное, а также и нынешние обстоятельства жизни в обществе имеют следствием то, что из людского воображения с легкостью исчезают призраки, свойственные юности, а с ними — и надежды души, а с надеждами — бóльшая часть желаний, страстей, рвения, живости, способнос-

тей. Так что я больше удивляюсь тому, что люди зрелого возраста, особенно ученые, предающиеся размышлениям обо всем человеческом, бывают еще доступны силе красноречия и поэзии, нежели тому, что этим искусствам порой не удастся оказать на них действие. Не сомневайся, для того, чтобы тебя волновали вымышленные красота и величие, необходимо верить, что в человеческой жизни есть хоть малая толика подлинного величия и красоты и что поэтическое в мире существует не только в баснях. Юноша всегда верит в это, хоть и знает обратное, пока его собственный опыт не придет на помощь знанию, но трудно верить в них, пройдя печальную школу практической жизни, особенно если к опыту присоединяются привычка размышлять и образование. Из этого рассуждения можно было бы заключить, что юноши вообще лучше годятся в судьи произведений, предназначенных пробуждать чувства и образы, нежели люди зрелые или старые. Но, с другой стороны, очевидно, что молодые, не привыкнув к чтению, ищут в нем наслаждения, превосходящего человеческую меру, бесконечного и невозможного, а не находя его, презирают писателей; то же случается по тождественным причинам и с людьми иного возраста, но не книжными. Затем юноши, приверженные словесности, отчасти по малой опытности с легкостью могут как в собственных своих писаниях, так и судя о чужих, чрезмерность предпочесть умеренности, напыщенность или жеманство оборотов речи и украшений — простоте и естественности, обманчивые красоты — подлинным. Поэтому молодые, без всякого сомнения, составляющие часть человечества, по своей правдивости и невинности наиболее расположенную хвалить то, что кажется ей хорошим, редко бывают способны наслаждаться завершенностью и зрелостью произведения словесности. С течением лет растет способность, даруемая нам искусством, и слабеет природная способность. Между тем обе равно необходимы нам.

Затем, если кто живет в большом городе, то, будь он даже награжден самым пылким сердцем и живым воображением, я все равно не пойму, как красоты природы или книги могут пробудить в нем нежное и высокое чувство, гордый и возвышенный образ, — разве что он, подобно тебе, проводит большую часть времени в одиночестве. Ибо ничто так не враждебно состоянию духа, располагающему к названным наслаждениям, как жизнь среди этих людей, шум этих улиц, зрелище суетного великолепия и царящих здесь легкомыслия, непрестанной лжи, жалких забот и еще более жалкой праздности. Что же до толпы пишущих, то, хочу я сказать, те из них, которые живут в больших городах, хуже умеют судить о книгах, нежели живущие в маленьких, потому что в больших городах, где все лживо и суетно, словесность обыкновенно тоже лжива, суетна или поверхностна. И если древние считали занятия словесностью и науками за отдых и развлечение по сравнению с делами важными, то в наши дни большинство тех жителей больших городов, что объявляют себя учеными, счита-

ют свою науку и словесность за развлечение и отдых от других развлечений и действительно так им и предаются.

Я полагаю, что замечательнейшие творения живописи, ваяния и зодчества, будучи распределены по провинциям, по малым и средним городам, доставляли бы больше радости, чем доставляют теперь, собранные в столицах, где жители, частью полные нескончаемых забот, частью занятые тысячами забав, чья душа сроднилась с рассеянием, с распущенностью и суетой или же подчинилась им вопреки собственной воле, лишь очень редко способны предаваться глубоким духовным наслаждениям. Кроме того, само обилие собранных вместе прекрасных творений рассеивает душу — потому ли, что, обращая на каждое из них лишь ничтожную долю внимания, нельзя проникнуться живым чувством, или потому, что это обилие порождает пресыщенность, из-за которой их созерцают с той же внутренней холодностью, как и самые заурядные вещи. То же я скажу и о музыке: ни в каких городах ее не исполняют с таким совершенством и таким огромным числом инструментов и голосов, как в больших, где души менее расположены к дивной растроганности, порождаемой этим искусством, и менее, я бы сказал, музыкальны, чем в любом другом месте. И однако же искусствам необходимо иметь местопребывание в больших городах, чтобы следовать по пути совершенства и достигать его; но, с другой стороны, от этого не становится менее истинным, что они доставляют здесь людям меньше наслаждения, нежели доставляли бы еще где-нибудь. И можно сказать, что художники в молчании и одиночестве, ценой непрестанных трудов, тревог и усердия, готовят наслаждения для людей, которые, привыкнув обращаться среди шумных толп, могут насладиться лишь в самой малой мере плодами стольких усилий. Эту участь всех художников разделяют и писатели.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Но это только мимоходом. А теперь, возвращаясь на прерванный путь, я скажу, что самые близкие к совершенству писания обладают одним свойством: обыкновенно при втором чтении они нравятся больше, чем при первом. Обратное происходит с книгами, написанными без большого искусства и тщания, однако же не лишенными внешней и мнимой ценности: они, будучи перечитаны, падают во мнении того, у кого оно при первом чтении сложилось благоприятно. Но и те, и другие, прочитанные по разу, обманывают порой даже людей ученых и сведущих, так что посредственным отдается предпочтение перед самыми лучшими. А в наши дни, — прими это во внимание, — даже те, для кого ученые занятия — основа жизни, с трудом соглашаются прочитать заново современные книги, особенно того рода, который имеет своей целью доставлять удовольствие. Этого не бы-

вало у древних, если вспомнить, что книг было меньше. Но в наше время, столь богатое писаниями, переданными нам из рук в руки множеством прошедших веков, при том, какое множество просвещенных народов существует сейчас, при чрезмерном обилии книг, ежедневно производимых каждым из них, и непрестанном обмене и торговле между ними, а кроме того, при столь большом количестве и разнообразии имеющих письменность языков, древних и новых, и огромном числе всякого рода наук и учений, к тому же настолько тесно переплетенных и связанных между собою, что ученому необходимо постараться в меру своих возможностей объять их все, — при этом, ты сам видишь, времени не хватает даже на первое, а не то что на второе чтение. Поэтому, какое бы мнение ни составилось однажды о новых книгах, оно навряд ли изменится. Прибавь к этому, что по тем же причинам названные книги, особенно из рода изящной словесности и первый раз, прочитываются без внимания и без усердия, какие нужны для того, чтобы обнаружить в них кропотливое совершенство, глубоко спрятанное искусство, скромные и скрытые красоты. Так что нынче хуже положение совершенных книг, нежели посредственных, прелести и достоинства которых, истинные или мнимые, как бы ни были они малы, выставлены на обозрение таким образом, что бросаются в глаза с первого взгляда. И со всей искренностью можно сказать, что теперь труд ради совершенства написанного почти что не помогает нам достигнуть славы. Но, с другой стороны, книги, сочиненные, как почти все современные писания, наспех и далекие от какого бы то ни было совершенства, как бы их некоторое время ни прославляли, неизбежно погибают очень скоро, что мы и видим всякий раз в действительности. Правда, теперь пишут так много и столь многие, что даже те из писаний, которые достойны остаться в людской памяти и достигли громкой известности, уносятся дальше неиссякаемым потоком новых книг, ежедневно появляющихся на свет, и прежде, чем они успевают, так сказать, укоренить свою славу, гибнут без всякой иной причины, уступив место другим, достойным или недостойным, но также ставшим на короткий срок знаменитыми. Итак, нам дано в наши дни гнаться лишь за одной славой из множества тех, что были доступны древним, да и ее куда труднее настичь, чем это было в древности.

Из этого общего кораблекрушения, которое непрерывно терпят все писатели, и благородные и простолюдины, vyplывают на поверхность лишь книги древних, которые благодаря своей славе, незыблемой и упорченной давностью веков, не только усердно читаются, но и перечитываются и изучаются. К тому же заметить, что современная книга, даже сравнимая по своему совершенству с древними, едва ли может или, вернее, никак не может, не скажу — снискать ту же меру славы, но и доставить столько же удовольствия, сколько получают от чтения древних. И это происходит по двум причинам. Первая из них — та, что новую книгу никто не прочтет с тщанием и пристальностью, обычными при

чтении издавна прославленных сочинений, почти никто не перечтет и никто не станет изучать, потому что книги, если это не ученые книги, никем не изучаются раньше, чем станут древними. Другая причина — та, что долгая и повсеместная слава сочинений, пусть изначально она родилась только благодаря их собственным, присущим им достоинствам, не может, однажды родившись и возросши, не прибавить им ценности, отчего и читать их приятнее, чем раньше, так что порой большая часть испытываемого удовольствия порождается самою славой. По этому поводу мне вспоминаются замечательные предостережения одного французского философа*, который, рассуждая о происхождении человеческих удовольствий, говорит в таком духе: "Немало поводов испытать наслаждение наш ум создает сам для себя, особенно связывая между собой вещи различные. Поэтому нередко случается, что понравившееся нам один раз нравится точно так же и вторично только потому, что однажды оно нам уже понравилось, и нынешний образ связывается для нас с образом прошлым. Например, комедиантка, понравившаяся зрителям на сцене, вероятно, понравится им и у себя дома, потому что и звук ее голоса, и ее игра, и память о рукоплесканиях, которыми эта женщина была награждена в их присутствии, и даже каким-то образом представление о царице, слившееся с подобающим представлением о ней самой, — все это вместе составит смесь многих причин, следствием которых будет только удовольствие. Без сомнения, разум каждого весь день наполнен образами и соображениями, побочными по отношению к основным, но с ними связанными. Отсюда и получается, что женщина, пользующаяся репутацией, но отмеченная каким-нибудь малым изъяном, может устроить так, что изъян этот послужит к ее чести и другие будут считать его одной из ее прелестей. И в самом деле, особая любовь, которую тот питает к этой женщине, а этот — к той, зиждется в большинстве случаев только на благоприятных для нее, но предвзятых мнениях, которые рождаются по причине или благородства ее крови, или ее богатств, или воздающихся ей почестей, или уважения, оказываемого ей некоторыми, а часто и по причине молвы (правдивой или нет — не важно) о ее красоте и прелести, либо даже по причине любви, которую питают или питали к ней другие. И кому не известно, что наши удовольствия порождаются больше нашим воображением, чем свойствами самих доставляющих удовольствие вещей?"

Эти предостережения касаются писаний ничуть не меньше, чем всего остального. Потому можно сказать, что если бы нынче вышла в свет поэма, равная или даже превосходящая своей ценностью "Илиаду", и была прочитана самым совершенным судьей поэтических творений, она показалась бы ему не столь приятной и услаждающей, как та, и не столь высоко была бы им оценена, ибо достоинствам, присущим самой новой поэме, не пришли бы на помощь ни двадцативосьмивековая слава, ни бесчисленные воспоминания, ни бесконечное почтение, которые по-

могают достоинствам "Илиады". Точно так же я говорю, что если бы кто-нибудь внимательно прочитал "Иерусалим" или же "Роланда", совсем не ведая об их славе или зная ее лишь отчасти, чтение доставило бы ему куда меньше удовольствия, чем доставляет другим. Поэтому в конце концов, если говорить вообще, первые читатели каждого замечательного творения и современники его автора, даже если допустить, что оно стяжает славу у потомков, наслаждаются, читая его, меньше всех остальных, из чего получается величайший ущерб для писателей.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Таковы отчасти те трудности, которые помешают тебе снизить славу среди ученых и даже таких, кто сам отличается искусством писать и широтой познаний. Что же до тех, кто хоть и обладает достаточным образованием, без которого теперь, можно сказать, нельзя считаться цивилизованным человеком, однако не становится ни ученым, ни писателем по ремеслу и читает лишь для времяпрепровождения, то ты сам знаешь, как мало способны они наслаждаться хорошою книгой, и это еще по одной причине, о которой мне предстоит сказать. Дело в том, что такие люди ищут в чтении лишь удовольствия на настоящий миг. Но миг этот, естественно, кажется всем людям ничтожным и пресным. Поэтому все даже самое приятное, как говорит Гомер*, — "сон, и счастливая любовь, и сладостное пение, и восхитительные пляски", — скоро и неизбежно прискучивает нам, если с нашим сегодняшним занятием не сопряжена надежда на какое-либо зависящее от него благо в будущем. Поэтому человек неспособен испытывать сколько-нибудь сильное наслаждение, если в него не входит сверх всего еще и надежда, свойство которой таково, что многие занятия, сами по себе лишенные малейшей приятности и даже скучные или трудные, но сулящие надежды на какие-нибудь плоды, представляются веселыми и отрадными, сколько бы они ни продолжались; и наоборот, вещи, которые сами по себе почитаются за приятные, если от них отнять надежду, чуть ли не отвращают нас, едва мы успеем их отведать. И если мы видим, что ученые ненасытны к чтению, нередко весьма сухому, и всегда получают удовольствие от своих занятий, хотя те и длятся большую часть дня, то это лишь потому, что все они, читая или углубляясь в свою науку, постоянно имеют перед глазами будущую цель, надеются продвинуться вперед или достигнуть чего-нибудь приятного; и даже читая порою на досуге ради забавы, они не перестают видеть перед собой кроме насущного удовольствия еще и некую пользу, более или менее определенную. В то же время другие, читая, не имеют никакой иной цели, лежащей, так сказать, за пределами самого чтения, и поэтому с первых страниц книги, даже самой приятной и занимательной, пресыщаются бесплодным наслаждением и, полные отвращения,

мечутся от книги к книге, а в конце концов по большей части приходят в удивление, как это другие могут постоянно наслаждаться, читая так долго. Значит, и из этого ты можешь понять, что любое искусство, усердие и труд пишущего потрачены впустую, когда речь идет о таких людях, а к их числу принадлежит повсеместно большинство читателей. И даже ученые, изменив с течением лет, как это часто бывает, предмет и характер своих занятий, едва выносят чтение книг, которые в другое время доставляли или доставили бы им чрезвычайное наслаждение; и хотя они сохраняют еще разум и опыт, необходимые, чтобы понять ценность книги, но, читая ее, испытывают только скуку, потому что никакой пользы уже не ожидают.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

До сих пор мы говорили о писании вообще, а также немного о том, что касается главным образом изящной словесности, к которой ты, я вижу, склонен более всего. Теперь поговорим особо о философии, не имея, однако, в виду отделять ее от изящной словесности, полностью от нее зависимой. Быть может, ты думаешь так: коль скоро философия имеет источником разум, а разум присущ всем просвещенным людям в большей мере, нежели воображение и чувствительность сердца, то, значит, ценность философских произведений непременно постигается легче и большим числом лиц, нежели стихи и другие писания, имеющие своей целью прекрасное и приятное. Я же, со своей стороны, считаю, что отвечающая предмету способность судить и совершенное понимание первых встречается не чаще, чем понимание вторых. Прежде всего, запомни раз навсегда: для заметных успехов в философии недостаточно остроты ума и склонности к размышлению, но нужна также и немалая сила воображения; ведь и Декарт, и Галилей, и Лейбниц, и Ньютон, и Вико по врожденным свойствам своих дарований могли бы стать великими поэтами, а Гомер, Данте и Шекспир — великими философами. Но так как нам и в малой степени не изъяснить и не развить эту тему без долгих рассуждений, которые увели бы далеко от нашего предмета, я довольствуюсь сказанным и, приступая к дальнейшему, замечу лишь, что одни философы способны понимать ценность философских книг и наслаждаться ими. Я имею в виду — их сущностью, а не какими-либо украшениями, словами, слогом и так далее. Ведь подобно тому как люди по природе своей, можно сказать, непозитические, хотя и понимают в стихах слова и смысл, все же не воспринимают чувств и образов, так нередко и те, кто не привык размышлять и философствовать наедине с собой или неспособен мыслить глубоко, постигают, сколь бы ни были правдивы и точны рассуждения и выводы философа и понятна его манера излагать их, — только слова и то, что он хочет сказать, но не истинность сказанного.

Потому что, не имея способности или привычки ни проникать мыслью в глубь вещей, ни делить и расчленять собственные идеи на их мельчайшие части, ни соединять и близко сопоставлять большое число идей, ни охватывать разумом множество частных сразу, чтобы извлечь некую общую идею, ни следовать неустанно мысленным взором за цепью истин, связанных друг с другом, ни обнаруживать тонкие и скрытые нити, соединяющие одну истину с сотней других, — они не то чтобы с легкостью, но вообще никак не могут воспроизвести и повторить собственным разумом ту работу, которую проделал своим разумом философ, или воспринять воспринятые им впечатления, — а это единственный способ понять и оценить надлежащим образом все причины, которые побудили философа вынести какое-то суждение, то-то утверждать, то-то отрицать, в том-то усомниться. Так что, понимая его основные положения, они не понимают, насколько те истинны или вероятны. Тут происходит почти то же самое, что бывает с людьми по натуре холодными, когда они имеют дело с вымыслами поэтов и с выраженными в стихах чувствами. Ты знаешь сам, что есть общего у поэта с философом: они оба углубляются в человеческую душу и извлекают на свет ее сокровеннейшие свойства, ее отличие от других, ее тайные порывы, движения и потрясения, а также их причины и следствия; и кто неспособен найти в своей душе отклик мыслям поэтов, тот не чувствует и не постигает и мыслей философов.

По названным причинам и возникает то, что мы видим повседневно: многие замечательные сочинения, хотя и равно понятные и ясные для всех, на взгляд одних содержат тьмы неопровержимых истин, на взгляд других — тысячи явных ошибок и поэтому оспариваются, публично и в частных беседах, не только из злобы, или своекорыстия, или из других подобных чувств, но и по тупости разума, по неспособности почувствовать и понять неопровержимость их основ, правильность выводов и заключений и вообще постичь, насколько все в них сказано к месту, неотразимо и правдиво. Нередко самые поразительные творения философов были упрекаемы в том, что смысл их темен, и не по вине их создателей, но, с одной стороны, из-за глубины и новизны их чувств, а с другой — из-за темноты тех, чей разум никоим образом не способен их понять. Так что взгляни, как трудно и в философском роде словесности снискать хвалу, пусть даже самую заслуженную. При чем ты можешь не сомневаться; даже если я не говорю этого вслух, число подлинных и глубоких философов, — а кроме них никто не в силах надлежащим образом оценить такого же философа, — совсем ничтожно даже в наш век, хоть он и предан философии больше, чем все прошедшие. Я не говорю уже о различии партий, или как их там назвать, на которые теперь, как и всегда, разделены те, что провозглашают себя философами; в каждой из них обыкновенно отказывают всем принадлежащим к другой партии в должной хвале и почтении — и не только намеренно, но и потому, что умы поступающих так уже захвачены иными идеями.

Если благодаря обширным познаниям и глубоким размышлениям (ведь нет ничего столь великого, чего бы я не мог ожидать от твоего таланта) ты поднимаешься на такую высоту, что тебе дано будет, подобно немногим избранным умам, открыть какую-либо существеннейшую истину, не только не известную во все прошлые времена, но и никем из людей не чаемую, совершенно не похожую на всеобщие, но разделяемые и мудрецами мнения и даже противоположную им, то и тогда не думай, будто за это открытие ты при жизни пожнешь необычайную хвалу. Более того, тебе не воздадут хвалу даже разумные (кроме, может быть, ничтожного меньшинства их), покуда к этим истинам, повторяемым то одним, то другим, постепенно не привыкнут за долгий срок сперва слух, а потом и умы людей. Ведь ни одна новая и чуждая расхожим суждениям истина, хотя бы даже при первом своем появлении она была доказана с очевидностью и неопровержимостью, словно в геометрии, никогда не могла, если эти доказательства не были осязаемыми, тотчас же войти в мир и утвердиться в нем; это происходило лишь с течением времени, через привычку и пример: люди привыкали верить в нее, как и во все остальное, верили скорее по привычке, а не потому, что восприняли душой неопровержимость доказательств, и в конце концов эта истина, отныне преподаваемая детям, принималась повсеместно, так что с удивлением вспоминали о той поре, когда она была никому не ведома, и высмеивали иные мнения, будь то мнения предков или современников. Все это совершалось тем дольше и тем труднее, чем важнее и существеннее были новые истины, вызывавшие недоверие, и чем больше укоренившихся в людских душах мнений они опровергали. Даже острые и искусенные умы нелегко постигают силу доводов, которыми доказываются эти неслыханные истины, ибо они выходят слишком далеко за пределы знаний и обычных суждений названных умов, особенно когда и доводы и сами истины оспаривают их застарелые верования. В свое время Декарт даже в геометрии, которую он чудесным образом обогатил приспособлением к ней алгебры, а также другими своими открытиями, если и был понят, то лишь весьма немногими. То же произошло и с Ньютоном. Поистине положение тех, кто необычайно возвысился мудростью над своим веком, не многим отличается от положения людей книжных и ученых, которые живут в городах и провинциях, где нет и не было наук: потому что ни вторые от своих сограждан и земляков (об этом я скажу дальше), ни первые от своих современников не получают того почтения, которого заслуживали бы, и нередко бывают даже презираемы как вследствие несходства их мнений и жизни с мнениями и жизнью остальных, так и вследствие общей неспособности постичь величие их дарований и творений.

Нет спора, человеческий род вплоть до нынешних времен с тех самых пор, как возродилось просвещение*, непрестанно

идет вперед в своем знании. Но его поступь медлительна и размеренна, в то время как люди особые, высокие духом, предающиеся созерцанию этой постижимой человеческими чувствами и разумом вселенной, в погоне за истиной идут или, вернее, бегут очень быстро и не соблюдая меры. Поэтому никак невозможно, чтобы мир, видя резвость их хода, ускорил свой шаг настолько, чтобы вместе с ними или ненамного отставши поспеть туда, где они в конце концов остановятся. Он и не меняет своей походки и иногда достигает того или иного предела лишь спустя столетие или несколько столетий после того, как его достиг какой-нибудь высокий дух.

Люди, можно сказать, всегда и повсюду согласны в том, что человеческое знание обязано своим движением вперед больше всего величайшим талантам, которые рождаются время от времени, то один, то другой, подобные чудесам природы. Я же, напротив того, считаю, что больше всего оно обязано умам заурядным и меньше всего — необычайным. Предположим, что один из них, пройдя все пространство, на какое простираются знания его современников, обогнал их, так сказать, на десять шагов. Однако прочие люди не только не расположены следовать за ним, но иногда даже смеются над его успехами, не говоря уже о худшем. Между тем посредственные умы, быть может, отчасти опираясь на открытия и мысли ума великого, но главным образом благодаря собственным стараниям делают все вместе один шаг; но этот шаг по причине краткости расстояния, то есть малой новизне идеи, к тому же созданной не одним, а многими, делают вслед за ними все люди. Так, двигаясь вперед по своей привычке шаг за шагом и благодаря труду и примеру умов таких же, как они, посредственных, люди делают в конце концов и десятый шаг, и идеи того великого признаются за истинные повсеместно и всеми просвещенными народами. Но он, уже давно усопший, не получает и через этот успех даже запоздалой и несвоевременной славы отчасти потому, что уже почти исчезла память о нем или же несправедливое мнение, сложившееся о нем при жизни и укрепленное долгой привычкой, берет верх над всяким иным; отчасти потому, что не его заслугами люди достигли этой ступени познаний; отчасти же потому, что люди не только сравнились с ним в знаниях, но скоро превзойдут его или, может быть, уже сейчас стоят выше него и могут по прошествии долгого времени лучше доказать и объяснить постигнутые его воображением истины, сделать несомненным то, что он лишь предугадывал, придать более совершенные порядок и форму его открытиям и довести их до полной зрелости. И разве что кто-нибудь из ученых, углубляясь в воспоминания прошедших веков, изучив мнения этого великого человека и сравнив их с мнениями потомков, заметит, как и насколько он обогнал род человеческий, и воздаст ему хвалу, которая вызовет негромкий отклик, а потом снова будет забыта.

Даже если рост человеческого знания, подобно падению тяжелых тел, приобретает с каждым мигом большую скорость, то все

равно вряд ли может произойти так, чтобы одно поколение людей изменило взгляды или поняло собственные заблуждения и потому стало сегодня думать иначе, чем думало в прежнее время. Но вместе с тем оно подготавливает для следующего поколения средства познать новое и о многом судить иначе, чем предыдущее. Однако, подобно тому как никто не чувствует движения, несущего нас по кругу вместе с землей, так человечество не замечает, как непрестанно движутся вперед его познания и как то и дело меняются его суждения. Когда мнения меняют, то никто и не думает, что меняет их. Но об этом несомненно нельзя было бы не думать, вдруг усвоив идею, чуждую тем, которых придерживались только что. Поэтому современники того, кто первым познал подобную истину, никогда ей не поверят, если только она сразу не сделается очевидной.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Допустим, что ты, одолев все препятствия доблестью, которой поможет Фортуна, пусть и не станешь знаменит, но действительно приобретешь славу, и не посмертную, а прижизненную. Посмотрим же, какие плоды она тебе принесет.

Во-первых, то, в чем прежде всего заключается выгода от добытой писаниями славы, — всеобщее желание видеть тебя и с тобою познакомиться, пальцы прохожих, устремленные на тебя, почет и уважение, оказываемые тебе на словах и на деле, — всего этого, казалось бы, легче достигнуть в маленьких городах, нежели в больших, где взоры и души рассеяны и отвлечены отчасти богатством, отчасти властью и лишь в последнюю очередь обращены к искусству как развлечению и услаждению бесполезной жизни. Но в маленьких городах по большей части нет того, что служит средством и помогает достигнуть отличия в словесности и науках, а все редкое и ценное стекается в большие города и там накапливается, и потому маленькие города, где редко проживают люди ученые и где обычно никто не предается подобным занятиям, весьма низко ценят не только науки и мудрость, но и славу, добытую ими, так что ни мудрость, ни слава не составляют там предмета зависти. И когда случается человеку замечательному и даже наделенному необычайными дарованиями жить в маленьком местечке, тогда даже то обстоятельство, что он там единственный, не только не возвышает его, но, напротив, в такой мере вредит ему, что нередко, будучи прославлен за пределами своего местечка, он остается в нем по обычаю его жителей самым пренебрегаемым и безвестным из всех. Если бы где-нибудь были неизвестны и не ценились золото и серебро, то человек, который не владел бы другим имуществом, кроме этих металлов, был бы и считался, несмотря на их обилие, не богаче, а беднее всех; точно так же если там, где талант и образование неизвестны и потому не ценятся, и есть кто-нибудь

обладающий тем и другим в изобилии, то он не только не может стать выше остальных, но почитается лицом самым ничтожным, особенно когда не имеет другого достоинства. И настолько невероятно, чтобы он был в подобных местах чтим по заслугам, что часто в нем видят человека более великого, чем он есть на самом деле, а это тоже не способствует уважению к нему. В ту пору, когда я в молодости возвращался иногда в мой маленький Босизио*, чуть только по округе стали известны моя приверженность наукам и занятия словесностью, как я прослыл среди поселян поэтом, философом, физиком, математиком, врачом, законоведом, богословом и знатоком всех языков мира; они задавали мне вопросы о чем угодно, о любой науке и о любом наречии без различия, — словом, обо всем, что им приходило на ум. И хотя они думали обо мне так, но большего уважения ко мне по этой причине не питали; они даже считали, что я уступаю всем ученым людям из других мест. А если я давал им повод заподозрить, что мои познания не так безмерны, как им казалось, я падал в их мнении еще ниже, пока они в конце концов не убеждались, что образование мое ничуть не шире, чем их собственное.

Что до больших городов, то из сказанного раньше ты можешь без труда заключить, сколько препятствий мешает там и приобрести славу, а по приобретении наслаждаться ее плодами. Сейчас я прибавлю только одно: хотя труднее всего заслужить славу превосходного поэта, приятного писателя или философа, к которой ты по преимуществу и стремишься, — она же, несмотря на это, приносит меньше всего плодов тому, кто ее добыл. Тебе известны вечные сетования, известны древние и новые примеры нищеты и злосчастья величайших поэтов. Все, что касается Гомера, — и поэзии, и личности, — неясно и, так сказать, сладостно-смутно; и родина его, и жизнь, и все остальное есть как бы тайна, непроницаемая для людей. И среди всей этой неопределенности и неведения есть одно только устойчивое предание: о том, что Гомер был беден и несчастен, — словно молва и память многих столетий не желала оставить места сомнениям в том, что участь всех лучших поэтов разделил и первенствующий в поэзии. Но если даже оставить в стороне все прочие блага и говорить только о почете, — никакая слава не доставит тебе в повседневной жизни меньше почета и не поможет так мало подняться в общем мнении, нежели та слава, о которой мы только что говорили. То ли оттого, что подобная репутация лишается ценности и не внушает веры по той причине, что множество людей пользуются ею незаслуженно, между тем как заслужить ее бесконечно трудно; то ли, скорее, оттого, что почти все люди хоть мало-мальски образованные думают, будто сами либо обладают такими же знаниями и способностями к изящной словесности и к философии, либо могут с легкостью их приобрести, и поэтому не признают стоящими выше себя тех, кто действительно всем этим отличается; то ли отчасти по одной, отчасти

по другой причине, — но только тот, кто прослыл посредственным математиком, физиком, филологом, знатоком древностей, посредственным живописцем, ваятелем, музыкантом, кто с грехом пополам выучил хотя бы один древний или иностранный язык, наверняка сможет благодаря этому снискать даже в самых лучших городах больше уважения и почета, чем тот, кого самые сведущие судьи знают и прославляют как замечательного философа или поэта или как человека, на редкость искусно владеющего пером. Есть два самых благородных, самых необычайных и блистательных удела, достижимых с наибольшим трудом, две, так сказать, вершины человеческого искусства и науки — поэзия и философия; но мир более всего пренебрегает дарованиями тех, кто ими занимается, а им самим предпочитает те искусства, чьи произведения создаются руками, — среди прочих причин также и по той, что никто не считает себя владеющим одним из них, не обучившись ему, и не думает, что ему можно обучиться без стараний и трудов. Так что в конце концов поэт и философ не получают в жизни многого плода от своего таланта, иной награды за свои занятия, кроме славы среди малого числа людей, славы, лишь ими поддерживаемой. И это также одна из многих сторон, которыми философия сходна с поэзией — такая же нищая, как поет Петрарка*, и нагая, лишенная не только всякого богатства, но и уважения и почета.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Поскольку нет возможности, чтобы твоя слава помогала тебе жить среди людей, постольку наибольшая польза, из нее извлекаемая, заключается в том, что ты постоянно будешь помнить о ней и радоваться ей в тишине своего уединения, побуждаемый и ободряемый ею к новым трудам, и строить на ней новые надежды. Ведь слава писателя оказывается, подобно всем людским благам, более заманчивой издали, нежели вблизи, и стяжавший славу, можно сказать, никогда не чувствует ее присутствия и не находит ее нигде.

Поэтому в конце концов ты обратишься в воображении к последнему убежищу и оплоту великих душ — к потомству. Ведь даже Цицерон, щедро наделенный славой, да не одной и не заурядной, а множественной и небывалой и такой большой, такую подобало снискать у древних римлян величайшему из древних и величайшему из римлян, с тоскою обращается к будущим поколениям и говорит так, хотя и от лица другого человека**: "Неужели ты думаешь, будто я мог бы обречь себя на такие труды и тяготы, претерпеваемые днем и ночью, в городе и в поле, если бы не верил, что слава моя перейдет границы моей жизни? Разве не стоило бы избрать спокойную и праздную жизнь, чуждую трудов и тревог? Но моя душа, сам не знаю как, словно высоко подняв голову, глядела на потомков, будто только по

прошествии этой жизни ей и предстоит жить". Цицерон связывает это с ощущением бессмертия души, заложенным в людские сердца природой. Но истинная причина — другая: ведь все блага мира приобретаются нами, только когда мы уже узнали, что и все они не стоят забот и трудов, потраченных на их добывание, и особенно слава, за которую платят самой дорогой ценой, а владеют без всякого прока. Однако, как говорит Симонид*,

*Надежда светлая нас всех питает
Отрадой грез прекрасных,
И вот среди трудов напрасных
Кто вешних дней, кто лета ожидает,
Кто утренних лучей,
И средь спешащих по земле людей
Любой сулит себе, что по дороге
И Плутос** и другие боги
Его настигнут милостью своей,*

так что, по мере того как человек на опыте убеждается в тщетности славы, надежда, как бы преследуемая и гонимая с места на место, в конце концов не находит себе пристанища на всем пространстве человеческой жизни, но от этого не слабеет, а, перешагнув за порог смерти, останавливается на потомках. Ведь человек всегда склонен и испытывает потребность поддерживать себя мыслью о будущем благе, так же как он никогда не бывает удовлетворен благом насущным. Поэтому жадные до славы, снискав ее при жизни, питают себя больше всего надеждами на славу посмертную, подобно тому как никто не бывает столь счастлив сегодня, чтобы не презирать призрачное насущное счастье и не укреплять себя мыслью о столь же призрачном счастье в будущем.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Но что есть, в сущности, эта наша привычка искать прибежища у потомков? Разумеется, по самой природе нашего воображения мы составляем себе о потомках лучшее мнение, нежели о современниках или даже о живших до нас, — только потому, что о людях, которые еще не существуют, мы не можем ничего знать ни по собственному опыту, ни понаслышке. Но если обратиться к рассудку, а не к воображению, имеем ли мы право верить, что идущие на смену непременно будут лучше тех, кто живет нынче? Я думаю, что все наоборот, и считаю правдивой пословицу, гласящую, что мир, старея, становится хуже. Мне кажется, выдающимся людям было бы лучше, если бы они могли обращаться к жившим до них, ибо их, по словам Цицерона***, числом было не меньше, чем будет потомков, а доблестью они были намного выше. Но, уж конечно, даже самого достойного

в нынешнем столетии человека предки не награждают хвалой. Допустим, что люди будущего, свободные от соперничества, от зависти, от любви и злобы — не друг к другу, конечно, а к нам, — окажутся более справедливыми ценителями сделанного нами, чем наши современники. Но может ли быть, чтобы они и вообще лучше могли судить о нас? А если говорить лишь о науке и словесности, имеем ли мы основания думать, что среди потомков будет больше превосходных поэтов, замечательных писателей, истинных и глубоких философов, которые, как мы видели, одни могут должным образом ценить себе подобных? Или же что суждение таких людей будет иметь большую силу среди тогдашней толпы, нежели оно имеет среди толпы сегодняшней? Есть ли у нас основания верить, что способности сердца, воображения, разума будут у всех людей больше, чем ныне?

Что до изящной словесности, то разве мы не видим, как превратно о ней судили в течение многих веков, как презирали все истинно прекрасное в писаниях, позабыв или осмеяв лучших писателей, и древних и новых, а любили и ценили с упорством лишь ту или иную варварскую манеру, почитая ее за единственно подобающую и естественную, ибо привычное, сколь бы ни было оно дурным и безобразным, весьма трудно отличимо от естественного? И разве не это же бывало в те века и у тех народов, которые во всем прочем отличались благородством и доблестью? Можем ли мы быть уверены, что потомки будут хвалить всегда те же приемы письма, какие хвалим мы, — если, конечно, то, что мы теперь восхваляем, заслуживает похвалы? Ясно, что суждения людей о красотах слога и склонности их непостоянны и меняются в соответствии со временем, с природой мест и племен, с обычаями, с привычками, с характером лиц. И этой изменчивости и непостоянству не может не быть подвержена и слава писателей.

Еще более изменчиво и непрочное положение философии и остальных наук, хотя на первый взгляд оно представляется совсем иным, потому что изящная словесность имеет своей целью прекрасное, а оно во многом зависит от привычек и мнений, тогда как науки имеют целью истину, незыблемую и недоступную переменам. Но поскольку эта истина сокрыта от смертных и только века приоткрывают ее понемногу, постольку, с одной стороны, люди, стараясь узнать ее, строя разные предположения, принимая за нее ту или другую видимость, делятся в зависимости от своих мнений на множество сект, отчего и в науке рождается немалая разногласица. С другой стороны, по мере приобретения новых познаний, с каждым новым проблеском истины науки непрестанно растут; в силу этого, а также в силу различных преобладающих в разные века мнений и слывущих за неоспоримые истины и сами науки лишь недолго пребывают в одном и том же состоянии и время от времени меняют облик и свойства. Я не буду говорить о первом из этих явлений, а именно о разногласице, хотя она, быть может, вредит славе философа среди

потомков не меньше, нежели среди современников. Но подумал ли ты, как должна вредить этой славе среди потомков изменчивость наук и философии? Когда через новые открытия или новые предположения и догадки состояние той или другой науки заметно изменится по сравнению с нашим веком, велико ли будет уважение к писаниям и мыслям тех, кто ныне стяжал наибольшую хвалу в этой науке? Кто теперь читает сочинения Галилея? А в свое время они были, без сомнения, весьма замечательны: ни лучших, ни более достойных высокого ума, ни более полных важными открытиями и возвышенными идеями тогда, быть может, и нельзя было написать о тех предметах, которым они посвящены. И тем не менее всякий посредственный физик и математик в наши дни намного превосходит Галилея в обеих науках. Кто читает сегодня писания канцлера Бэкона? Кому есть дело до сочинений Мальбранша? И даже труды Локка, в том случае если наука, основы которой он заложил, будет двигаться вперед с той быстротой, с какой она, по-видимому, должна это делать, долго ли еще удержатся в руках людей?

Поистине та же сила ума, то же усердие в трудах, благодаря которым ученые добывают себе славу, с течением времени становятся причиной ее угасания или затмения. Потому что вклад, который каждый из них вносит в свою науку, тем самым заставляя говорить о себе, влечет за собою новые вклады, из-за которых их имена и книги постепенно приходят в забвение. В самом деле, большинству людей трудно с восхищением чтить тех, чьи познания в науке намного уступают их собственным. А можно ли сомневаться, что следующий за нашим век обнаружит ложность многих вещей, которые утверждаются сейчас и в которые верят те, кто всех выше своими знаниями, и намного превзойдет наш век в постижении истины?

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Может быть, напоследок ты захочешь узнать мое мнение и мой совет: надлежит ли тебе для твоего блага следовать далее по пути этой славы, если она приносит так мало проку, если ее так трудно приобрести и неизвестно, удастся ли сохранить, если она подобна тени, которую, даже когда она у тебя в руках, ты не можешь ни почувствовать, ни удержать? Я выскажу тебе кратко и ничего не скрывая все, что думаю об этом. Я считаю, что чудесная острота и сила твоего рассудка, благородство и щедрость твоего горячего сердца и воображения среди всех свойств, какими жребий наделяет людские души, принадлежат к числу самых пагубных и приносящих горе тем, кто получает их в дар. Но, раз получив их, трудно избежать их пагубного действия, а с другой стороны, в наше время чуть ли не единственная польза, которую они могут дать, — это та слава, которую можно стяжать, приложив их к словесности или науке. Поэтому мое

мнение таково: подобно тому как бедняки, которых какой-нибудь несчастный случай лишил одного из членов или же изувечил его, ухитряются, насколько возможно, обратить это несчастье к наибольшей своей выгоде, стараясь вызвать в людях сострадание, а через него пробудить их щедрость, так и ты должен во что бы то ни стало извлечь из этих твоих свойств единственное благо, которое они могут дать, как бы оно ни было мало и ненадежно. Обычно эти свойства считают благодеяниями и дарами природы; люди, лишенные их, часто завидуют тем из живших раньше и из современников, кому они достались в удел. Это противоречит здравому смыслу не меньше, чем если бы здоровый человек завидовал телесным увечьям тех бедняг, о которых я говорил, — как будто эту жалкую долю избирают добровольно ради того злосчастного заработка, который она приносит. Одни посвящают себя деятельности, насколько это позволяет нынешнее время, другие ищут удовольствий, насколько они доступны смертным. Великим же писателям — неспособным по природе или по привычке ко многим из человеческих наслаждений, а многих других лишаящим себя добровольно и нередко презиравшим сообществом людей, за исключением немногих преданных тем же занятиям, — суждено провести жизнь подобную смерти и жить, если они этого достигнут, за гробом. Но мы должны идти, сохраняя величие и силу духа, туда, куда нас влечет наш рок; вот что больше всего требуется от твоей доблести и от доблести тех, кто подобен тебе.

РАЗГОВОР ФРЕДЕРИКА РЕЙША И ЕГО МУМИЙ

Хор мумий

*в кабинете Фредерика Рейша**

*Ты, что одна бессмертна в мире, Смерть,
Всю тварь в себе вмещаешь,
Страданья наши прекращаешь
И даришь всем рожденным,
От мук освобожденным,
Не радость, но покой. Глухая ночь
Все мысли погасила
В уме, дремотой побежденном,
И нет ни для надежд, ни для желаний
В иссякших душах силы,
Поэтому ни страха, ни тревоги
В них нет, и не посылала
Нам пустота медлительных веков.
Мы жили. Но как мóрок
Мучительного сна*

*В душе младенца оставляет утром
Лишь смутный след,
Так в нас почти уж нет
Воспоминаний о минувшей жизни
И страха. Кем мы были?
Чем был тот горький миг,
Который жизнью звался?
Теперь он в мыслях предстаёт пред нами
Таким, какой когда-то
Нам представлялась смерть,
И так же, как она страшит живых,
Страшит нас жизни пламя.
Не знаем мы тревог,
Ни радости, ни боли,
А истинно блаженной доли
Ни смертным, ни умершим не дал рок.*

Рейш (из-за порога кабинета заглядывает в дверное окошечко). Черт возьми! Кто научил этих мертвецов музыке, с чего они распелись в полночь, как петухи? По правде говоря, меня холодный пот прошиб, и я чуть было не сделался мертвей их самих. Вот уж не думал, что довольно мне будет предохранить их от тления — и они оживут. А они воскресли — и я дрожу с головы до ног, и никакая философия мне не помогает. Будь проклят тот дьявол, который нашептал мне мысль поместить всю эту братию у себя дома. Не придумаю, что и делать. Если оставить их взаперти, как знать, не выломают ли они двери, не выйдут ли через замочную скважину, чтобы добраться до моей постели? А звать на помощь и кричать, что я боюсь мертвецов, мне не пристало. Ну ладно, надо набраться смелости и попробовать немного припугнуть их.

(Входит.) Эй, детки, что за игры? Позабыли, что ли, что вы мертвецы? Почему весь этот шум? Неужели после царского посещения* вы возгордились и возомнили, что уже не подвластны прежним законам? Но я смею думать, что все это шутки ради, а не всерьез. Если вы воскресли, я счастлив за вас; но я не так богат, чтобы тратить на живых, как тратился на мертвых; поэтому убирайтесь-ка вы прочь из моего дома. Если же то, что рассказывают о вампирах, — правда, и вы из их числа, то поищите себе другой крови; я не расположен дать вам высосать мою кровь, как бы ни был щедр прежде на ту искусственную, которую влил вам в жилы**. Одним словом, если сообразоволите оставаться тихими и молчаливыми, как до сих пор, мы по-прежнему будем добрыми друзьями, и в моем доме вам ни в чем не будет недостатка; а нет, так имеете в виду: я возьму дверную перекладину и всех вас изничтожу.

Один из мертвецов. Не сердись: обещаю, что мы будем мертвы, как прежде, и тебе незачем нас убивать.

Рейш. Так что же за блажь затянуть песню пришла вам в голову?

Мертвец. Только что, ровно в полночь, в первый раз завершился тот математический Великий год*, о котором столько понаписали древние. По этой причине и мертвые впервые заговорили. И не только мы — на каждом кладбище, в каждом склепе, на дне моря, под снегом, в песках, под открытым небом, — все мертвецы, где бы они ни находились, в полночь пропели, как мы, ту песенку, что ты слышал.

Рейш. И долго вы еще будете петь и говорить?

Мертвец. Петь мы уже кончили. А дар речи мы сохраним еще четверть часа, потом замолчим до тех пор, покада не завершится еще один Великий год.

Рейш. Если так, то не думаю, чтобы вы еще раз пробудили меня среди ночи. Что ж, говорите между собою свободно, а я постою в сторонке и любопытства ради с удовольствием вас послушаю, не докучая вам.

Мертвец. Но мы можем говорить, только если отвечаем кому-нибудь из живых. У кого нет живого собеседника, того и песенка спета: сразу умолкает.

Рейш. Право, очень жаль: я думал потешиться на славу, слушая, что вы говорите между собой, — а вы не можете...

Мертвец. Даже если бы могли, слушать было бы нечего: ведь нам не о чем друг с другом беседовать.

Рейш. Мне в голову приходит тысяча вопросов... Но так как времени у нас мало и выбирать некогда, то расскажите мне в коротких словах, что испытывали в миг смерти ваши души и тела?

Мертвец. Самого мига смерти я и не заметил.

Остальные мертвецы. И мы тоже.

Рейш. Как — не заметили?

Мертвец. Так же, как ты, например, сколько бы ни напрягал внимание, не заметишь того мига, когда засыпаешь.

Рейш. Но ведь засыпать — это так естественно!

Мертвец. А умирать, по-твоему, не естественно? Покажи мне хоть одного человека, или животное, или растение, которое не умерло бы.

Рейш. Теперь я не удивляюсь, что вы поете и разговариваете, коль скоро сами не заметили, как умерли.

*Удара не заметив, он летит
Вперед, на битву — а уж сам убит,*

как сказал один итальянский поэт**. Мне казалось, что о таком деле, как смерть, подобные вам должны знать больше, чем живые. Но все-таки, если говорить не шутя, неужели вы не испытывали никакой боли в момент смерти?

Мертвец. Какая же это боль, если тот, кто ее испытывает, сам того не замечает?

Рейш. Но ведь все убеждены, что ощущение смерти весьма болезненно.

Мертвец. Как будто бы смерть есть ощущение, а не что-то ему противоположное!

Рейш. Однако же и те, кто присоединяется к суждению эпикурейцев о природе души*, и те, кто разделяет общее мнение, словом, все или почти все согласны между собою в одном — в том, о чем я говорю; то есть все верят, что смерть по своей природе, даже вне всякого сравнения, есть самая острая боль.

Мертвец. Что же, спроси от нашего имени и тех и других: если человек не в состоянии заметить того мига, когда его жизненные отправления в большей или меньшей мере, но всего только прерываются либо сном, либо летаргией, либо обмороком, либо чем-нибудь еще, то как же ему заметить тот миг, когда названные отправления прекращаются совсем, и не на короткий срок, а навеки? Кроме того, как может живое и острое ощущение возникнуть в миг смерти? Как может, больше того, сама смерть быть живым ощущением? Неужто, по-вашему, когда способность чувствовать не только ослабела и сошла на нет, но и почти совсем иссякла и исчезла, человек способен испытывать сильное чувство? Или, быть может, по-вашему, само это ее угасание должно быть сильным чувством? Но ведь мы видели, что даже умирающие в сильнейших мучениях от самых острых недугов при приближении смерти, незадолго до последнего вздоха, утихают и успокаиваются, и нетрудно понять, что оставшейся в них ничтожной доли жизни слишком мало, чтобы испытывать боль, которая прекращается раньше, нежели сама жизнь. Так и скажи от нашего имени тем, кто думает, что будет умирать от боли в миг своей смерти.

Рейш. Для эпикурейцев, может быть, этих доводов было бы довольно. Но не для тех, кто судит о сущности души иначе, так, как я судил прежде и буду судить впредь с еще большей убежденностью, послушав, как мертвецы поют и разговаривают. Ведь те, кто верит, что смерть есть отделение души от тела, не поймут, как это они, соединенные и слепленные друг с другом столь прочно, что составляют единую человеческую личность, могут быть разделены без величайшего насилия и несказанных мук.

Мертвец. Скажи мне: быть может, дух прикреплен к телу каким-нибудь сухожилием, или какой-нибудь мышцей, или перепонкой, которые непременно должны разорваться, когда дух покидает тело? Или, быть может, он есть один из членов тела, и его нужно насильно оторвать или отрезать? Разве ты не видишь, что душа выходит из тела, едва только что-либо помешает ей пребывать в нем, и для того, чтобы она покинула свое обиталище, нет нужды насильственно вырывать ее с корнем? И еще скажи мне вот что: разве, вселяясь в тело, она чувствует, что кто-то с силой всаживает ее туда и прикрепляет или, как ты говорил, слепляет с ним? Почему же она должна, выходя из тела, ощущать некий разрыв или, скажем так, испытывать очень сильное чувство? Знай и не сомневайся, что и вселение души в тело и ее выход оттуда одинаково спокойны, легки и безболезненны.

Рейш. Но если смерть не есть боль, то что же она такое?

Мертвец. Скорее, удовольствие. Знай, что мы умираем, как и засыпаем, не в один миг, а постепенно. Правда, постепенность эта бывает разной, в зависимости от причин или видов смерти, наступающей быстрее или медленней. В последние мгновения смерть не причиняет боли и не приносит наслаждения, как, впрочем, и сон. Но и в предшествующие мгновения она не может вызвать боль, потому что боль есть нечто живое, а чувства человека в то время, когда умирание уже началось, можно тоже назвать умирающими, до такой степени они уже лишены силы. Зато смерть может доставлять наслаждение, потому что наслаждение не бывает столь живым, — больше того, почти все человеческие удовольствия состоят в некой расслабленности и томности. Поэтому чувства человека способны испытывать наслаждение, почти уже угаснув, ибо нельзя забывать, что сама слабость есть удовольствие, особенно когда она освобождает от страдания: ведь тебе известно, что прекращение боли и всякого неприятного чувства само по себе есть наслаждение. Значит, томление смерти должно быть особенно сладостным, потому что освобождает человека от самого большого страдания. Что до меня, то хоть я в час моей смерти не обращал особого внимания на свои ощущения, потому что врачи запретили мне утомлять мозг, но все же помню, что испытываемое мною чувство не слишком отличалось от того сладкого томления, которым одаряет нас сон перед тем, как мы в него погрузимся.

Другие мертвецы. И мы, помнится, чувствовали то же самое.

Рейш. Пусть будет так, как вы говорите. Однако все, с кем я имел случай порассуждать об этом предмете, судили совсем иначе, — хотя, насколько я помню, никто из них не ссылался на собственный опыт. А теперь отвечайте: когда, умирая, вы испытывали это сладостное чувство, приходило ли вам в голову, что вы умираете и что наслаждением своим обязаны милосердию смерти? Или вы воображали что-нибудь иное?

Мертвец. Пока я не умер, меня не покидала уверенность, что мне удастся избежать этой опасности, или по крайней мере я, пока сохранял способность мыслить, надеялся, что мне еще остается жить часа два-три. Я думаю, это происходит со многими умирающими.

Другие мертвецы. Да, то же самое было и с нами.

Рейш. Это вроде того, что говорил Цицерон*: нет, мол, такого дряхлого старика, который бы не сулил себе прожить еще года два-три. Но как вы в последний миг заметили, что дух покинул тело? Скажите, как вы узнали о том, что уже умерли? Не отвечают. Эй, ребята, не слышите вы меня, что ли? Видно, четверть часа уже истекла. Пощупаем-ка их. Ну вот, они опять мертвы, как положено; можно не опасаться, что они еще раз меня напугают. Пойду снова спать.

ДОСТОПАМЯТНЫЕ РЕЧИ ФИЛИППО ОТТОНЬЕРИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Филиппо Оттоньери, чьи примечательные рассуждения я намереваюсь записать, частью слышав их из его собственных уст, частью же — в передаче других, родился и большую часть жизни прожил в городе Тучча, в провинции Вьетраполле, где и умер недавно и где никто не помнит, чтобы он хоть кого-нибудь оскорбил словом или делом. И все же он был для сограждан предметом общей ненависти, ибо, на их взгляд, находил мало удовольствия в том, что обыкновенно любит и к чему стремится большая часть людей, — хотя Оттоньери и намеком не давал понять, как невысоко ставит он все эти вещи, и никогда не упрекал тех, кто больше других ими наслаждался и гонялся за ними. Можно думать, что он в жизни, а не только в мыслях был тем, чем люди его времени лишь объявляли себя, то есть философом. Поэтому он и казался странным, хоть и не стремился ни в чем отличаться от других и еще менее — выставять это напоказ. По этому поводу он говорил вот что: если нравы, привычки и поступки просвещенного человека, самые странные из всех, какие можно найти в наши дни, сравнить с нравами, привычками и поступками тех, кого считали странными древние, то окажется, что они не только другого рода, но и не настолько уж отличаются от принятых у современников, и посему странность, которая представляется ныне живущим разительной, показалась бы древним ничтожной даже в те времена и у тех народов, что в древности считались наименее просвещенными или наиболее испорченными. И, сопоставляя странности Жана Жака Руссо, который казался нашим дедам совсем уж чудачком, со странностями Демокрита или первых киинических философов, он добавлял, что если бы теперь чья-либо жизнь так отличалась от нашей, как жизнь этих философов от обычной в их времена жизни греков, то такой человек был бы сочтен не только чудачком, но и, так сказать, извергом рода человеческого. И он полагал, что абсолютная мера странности, которую возможно встретить в какой-либо стране в тот иной век, может дать нам понятие о мере цивилизации в этой стране и в этот век.

В жизни — при всей своей чрезмерной воздержанности — он объявлял себя эпикурейцем, быть может, более в шутку, нежели серьезно. Но Эпикура он осуждал, говоря, что в его время и у его народа больше наслаждения можно было получить, стремясь к доблести и к славе, нежели предаваясь праздности и пренебрегая всем, кроме телесных удовольствий, в которых этот мудрец усматривал высшее благо человека. И при этом он утверждал, что учение Эпикура, словно нарочно созданное для нашего времени, было совсем чуждо древности.

В философии ему нравилось именовать себя Сократиком, и нередко он, подобно Сократу, проводил большую часть дня то с одним, то с другим, чаще же всего с кем-нибудь из своих друзей в философических беседах о любом предмете, подсказанном ему случаем. Но, в отличие от Сократа, он не заходил в мастерские сапожников или столяров, в кузни или в другие подобные места, полагая, что у афинских столяров и кузнецов было довольно времени, чтобы тратить его на философские споры, а ремесленники Туччи, если бы стали поступать подобным же образом, перемерли бы с голоду. Да и рассуждал он не так, как Сократ, то есть не задавал непрестанно вопросов и не приводил новых доводов, — потому что, как он говорил, даже среди современных людей, более терпеливых, чем древние, не найдется ни одного столь выносливого, кто в силах был бы ответить на тысячи вопросов и выслушать тысячи доводов. И, по правде, от Сократа была у него только манера порою говорить иронически и обиняками. Доискиваясь до причин знаменитой сократовской иронии, он утверждал вот что: Сократ от рождения был награжден благородством души и сильнейшей склонностью к любви; но, обделенный сверх всякой меры телесной красотой, он, вероятно, с юных лет отчаялся в том, что его могут любить иначе, нежели по-дружески, а этот род любви меньше всего способен удовлетворить сердце мягкое и горячее, зачастую испытывающее куда более нежное чувство. С другой стороны, при том, что он обладал в высокой мере отвагой, источником которой является разум, природной храбрости ему, как видно, не хватало, как и других свойств, необходимых в тот век войн и мятежей, да еще при афинской вольности, для того, чтобы заниматься на родине общественными делами*. К тому же его непривлекательная и смешная наружность наносила ему, наверно, немалый ущерб в глазах народа, у которого даже в языке красивое и доброе почти не различаются**, а кроме того, приверженного злословию. Потому-то в городе свободном и шумном, полном страстей, дел и развлечений, богатств и всяческих благ, бедняк Сократ, лишенный любви, мало способный к общественной деятельности, но при этом наделенный величайшими дарованиями, которые в соединении с названными его качествами должны были сверх меры увеличивать их тягость, от нечего делать пустился в тонкие рассуждения о поступках, обычаях и нравах сограждан, и рассуждал он не без иронии, естественной для человека, которому многое мешало получить, так сказать, свою долю в жизни. Но в силу мягкости и благородства его натуры, а также благодаря известности, которую он заслужил своими рассуждениями и которая должна была хоть отчасти утешать его самолюбие, ирония эта была не презрительной, не едкой, но спокойной и приятной.

Так философия впервые, согласно знаменитому изречению Цицерона***, низведенная с неба на землю, была введена Сократом в города и дома и, отвернувшись от созерцания вещей таинственных, которыми она была занята до той поры, обрати-

лась к наблюдению обычаев и жизни людей и к прениям о добродетелях и пороках, о благом и полезном, о злом и вредном. Но сначала Сократ не имел в виду этих новшеств, не собирался ни чему-либо учить, ни искать звания философа, которое в те времена принадлежало только физикам и метафизикам, так что он и не надеялся заслужить его своими прениями и беседами; он даже провозглашал во всеуслышанье, что ничего не знает, и имел лишь одно намерение: развлечься болтовней о чужих делах, предпочитая это времяпрепровождение и самой философии, и любой другой науке или искусству, потому что, по природе более склонный к деятельности, нежели к умозрению, он занялся своими беседами лишь из-за тех помех, которые не давали ему действовать. Да и беседуя, он охотнее всего имел дело с молодыми и красивыми, обманывая свое вожеление и радуясь уважению тех, кем он предпочел бы быть любимым. И поскольку все философские школы, возникшие после этого в Греции, в какой-то мере ответвились от сократической, заключал Оттоньери, постольку началом всей греческой философии, из которой родилась современная философия, был вздернутый нос и сатировское лицо человека, обладавшего отменным талантом и пылким сердцем. И еще он говорил, что в книгах учеников Сократа* и его личность подобна тем маскам нашей старинной комедии, которые повсюду имеют одно имя, одно платье и один нрав, во всем же остальном различаются в каждой комедии.

Оттоньери не оставил сочинений по философии или о чем-нибудь еще; писал он только для себя. На вопрос, почему он не хочет философствовать письменно, как делает это устно, и изложить свои мысли на бумаге, он отвечал так. Чтение — это беседа с автором написанного. Но как на праздниках и общих забавах тот, кто не принимает участия в зрелище или не думает, что принимает в нем участие, быстро начинает скучать, так и в беседе бывает приятнее говорить, чем слушать. А книга по необходимости похожа на собеседника, который всегда говорит сам и никогда не слушает. Поэтому нужно, чтобы книга говорила много добрых и прекрасных вещей, и говорила их хорошо, — только тогда читатель простит ей словоохотливость. Иначе она станет такой же ненавистой, как всякий ненасытный говорун.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Для него не было различия между делом и забавой, и всегда, сколь бы серьезным ни было занятие, он говорил, что хорошо развлекся. Только порой, пробыв полчаса в праздности, он признавался, что не имел ничего для времяпрепровождения.

Он утверждал, что самые истинные радости в нашей жизни мы черпаем из лживых вымыслов и что дети даже в ничто находят все, а зрелые люди во всем — лишь ничто.

Каждое из наслаждений, обыкновенно называемых подлинными, он сравнивал с артишоком: тот, кто хочет добраться до

сердцевины, должен сперва разжевать и проглотить все листья. К тому же, добавлял он, такие артишоки весьма редки, а в большом количестве попадают другие, снаружи похожие на них, но без сердцевины; ему же трудно заставить себя глотать листья, поэтому он довольствуется чаще всего тем, что воздерживается и от тех и от других.

На вопрос, какой миг в жизни человека самый худший, он ответил: для меня, кроме мгновений боли и страха, нет мига хуже, чем миг наслаждения, потому что надежда на него и воспоминания о нем, занимающие остальное время жизни, куда лучше и слаще, чем само наслаждение. Еще он имел обыкновение уподоблять все человеческие удовольствия запахам, ибо полагал, что из всего ощущаемого нами они, соразмерно с наслаждением, оставляют наибольшую тоску по себе и что меньше всех наших чувств способно удовлетворяться своими наслаждениями обоняние. Запахи он уподоблял также ожиданию благ, говоря, что в тех ароматных вещах, которые приятно съесть или которые могут доставить иное удовольствие, запах обычно берет верх над вкусом, потому что, когда их отведаешь, они нравятся меньше, чем когда их только понюхаешь или чем можно было ждать, судя по аромату. Он рассказывал, что порой ему случалось испытывать нетерпение, если что-нибудь хорошее, что он считал уже достигнутым, не давалось сразу, — и не потому, что он особенно жаден именно до этого, а из боязни испортить всю радость, успев вообразить слишком многое и представить себе удовольствие куда большим, чем оно окажется на самом деле. И все это время он усердно старался отвлечь мысли от ожидаемого блага, как обычно стараются не думать о предстоящих бедах.

Он говорил также, что каждый из нас, чуть лишь появится на свет, уподобляется человеку, который лег на жесткую и неудобную кровать: едва улегшись, он чувствует, что лежать ему неловко, и начинает ворочаться с боку на бок, то и дело менять место и позу, и так всю ночь, не теряя надежды хоть ненадолго заснуть, а иногда даже думая, что сон уже пришел, пока не наступит срок и он не встанет, ничуть не отдохнув.

Наблюдая с несколькими собеседниками пчел, занятых своим делом, он сказал: "Вот счастливицы! Ведь им невдомек, как они несчастны".

Он полагал, что нельзя ни сосчитать человеческие бедствия, ни оплакать достаточно хотя бы одно из них.

На вопрос Горация*, как это происходит, что никто из людей не доволен своим состоянием, он отвечал: причина та, что ни в одном состоянии человек не бывает счастлив. Подданные не меньше, чем властители, бедные не меньше, чем богатые, слабые не меньше, чем могущественные, будь они все счастливы, были бы довольны своей участью и не завидовали бы другим: ведь люди ничуть не более ненасытны, чем любые другие существа, но удовлетвориться они могут только счастьем. Если же они несчастливы, удивительно ли, что они никогда не бывают довольны?

Допустим, замечал он, кто-нибудь окажется в самом счастли-
вом положении на этой земле, но не сможет посулить себе, что
оно хоть как-то и в чем-то станет еще лучше; можно сказать
почти наверное, что это будет самый несчастный из людей. Даже
совсем уж старые питают намерения и надежды каким-нибудь
способом улучшить свое положение. И он вспоминал место
у Ксенофонта*, где тот советует выбирать для покупки такой
участок земли, который хуже возделан: ведь купленное поле, если
не принесет больше плодов, чем сейчас, не доставит тебе и радос-
ти видеть, как оно становится все лучше и лучше; и вообще, те
наши угодья, которые у нас на глазах делаются еще прибыльнее,
дают нам наибольшее удовлетворение.

И наоборот, утверждал он, нет столь жалкого состояния,
которое не могло бы стать еще хуже, и даже самый несчастный
смертный не может ни утешиться, ни похвалиться тем, что
несчастнее, чем сейчас, он уже никак не станет. Надежда не имеет
границ, а человеческие блага ограничены, так что богатый
и бедный, господин и раб, если мы соизмерим их состояние с их
привычками и желаниями, окажутся обладателями приблизительно-
но равного количества благ. Бедствиям же нашим природа не
положила никаких пределов. Воображение не в силах придумать
такое великое несчастье, которое не случилось бы в роде людском
сейчас или раньше или не могло бы случиться, поэтому большин-
ству людей в действительности невозможно надеяться на умноже-
ние наличных благ, в то время как причин для отнюдь не
напрасного страха хватает каждому на протяжении всей его жизни.
И если фортуна очень скоро впадает в ничтожество и теряет
всякую способность благодетельствовать нам, то способности все
снова и снова наносить нам ущерб она не теряет никогда, и ущерб
этот таков, что может одолеть и сломить даже твердость отчаяния.

Он часто насмеялся над философами, возмнившими, будто
человек может ускользнуть из-под власти фортуны, презирая
и считая чужими все блага и бедствия, которых не в состоянии
достичь или избежать, удержать или сбросить с себя, и полагая
свое счастье и несчастье лишь в том, что целиком зависит от него
самого. О таком суждении он помимо всего прочего говорил вот
что: оставим в стороне то, что если даже и был когда-то человек,
живший перед другими людьми как истинный и совершенный
философ, то и он не был истинным философом перед самим
собой; забудем и о том, что так же невозможно не заботиться
о своих делах, словно о чужих, как невозможно заботиться
о чужих делах, словно о своих. Но допустим, что душевные
наклонности, о которых говорят эти философы, не только воз-
можны (а это не так), но и здесь и сейчас присутствуют в одном
из нас; допустим, что они будут более совершенны, чем говорят
эти мудрецы, будут крепки и прочно усвоены благодаря долгому
опыту, испытаны во многих превратностях; но при всем этом
разве счастье или несчастье такого человека не останется в руках
фортуны? Разве не будут ей подвластны те самые душевные

наклонности, которые, по их мнению, должны освободить нас из-под ее власти? Разве человеческий разум не подвергается каждый день множеству опасностей? Разве неисчислимые болезни не влекут за собой слабоумия, бреда, иступления, бешенства, тысячи других видов умопомрачения, длительного или краткого, временного или неизлечимого? Разве нельзя наш разум помутить, ослабить, извратить, погасить? Разве память, хранительница мудрости, от самых юных дней не изнашивается и не слабеет? Сколько людей в старости становятся по разуму детьми! И почти все теряют в этом возрасте прежнюю силу ума. Даже какой-нибудь телесный недуг, не затронувший и пощадивший все способности рассудка и памяти, обыкновенно подтачивает мужество и стойкость когда больше, когда меньше, а нередко и совсем их губит. Одним словом, великая глупость — признавать, что наше тело подвержено многому такому, над чем мы не властны, и при этом отрицать, что наша душа, почти во всем зависящая от тела, подчинена не только нам самим. Человек весь целиком и всегда, заключал он, находится во власти судьбы.

На вопрос, зачем рождаются люди, он шутя отвечал: чтобы знать, насколько лучше было бы не родиться!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

По поводу постигшего его несчастья он сказал: когда тот, кого любишь, погибает от какого-нибудь несчастного случая или короткого и скоротечного недуга, потерять его не так горько, как видеть его понемногу хиреющим (это и случилось у него) от долгой болезни, от которой он угаснет, лишь совсем изменившись душой и телом и превратившись чуть ли не в другого человека. Это самое тяжкое несчастье, потому что в таком случае любимый человек не исчезает у тебя с глаз, оставив взамен свой образ, который ты сохранишь в душе не менее любезным, чем он был прежде; нет, человек этот перед тобой остается, но совсем не такой, каким ты раньше любил его, и все любовные заблуждения жесточайшим образом вырваны у тебя из сердца, а когда потом он покидает тебя навеки, прежний его образ вытесняется из твоих мыслей новым образом. Поэтому ты теряешь любимого человека уже целиком, ибо он не может пережить самого себя даже в твоём воображении, которое тоже вместо утешения дает тебе только лишние поводы для скорби. Наконец, подобные несчастья, причиняя скорбь, не дают возможности спокойно ей предаться.

Когда однажды кто-то сетовал при нем на свое несчастье и говорил: "Если бы я мог избавиться от этой беды, все остальные я бы перенес с легкостью", — он отвечал: "Тогда-то они и были бы для тебя тяжелее, а теперь они легки".

Когда кто-то другой сказал: "Если бы это страдание продлилось дольше, оно было бы совсем непереносимо", — он ответил: "Наоборот, ты бы привык к нему и легче его переносил".

И о многих вещах, касающихся человеческой природы, он придерживался иных мнений, нежели большинство людей, а порой и нежели некоторые мудрецы. Так, например, он не соглашался, что для просьб и ходатайств самое подходящее время — радостные минуты у тех, к которым приходится эти просьбы и ходатайства обращать, и тем паче — если просьба не такова, что ее можно удовлетворить тут же, на месте, и для этого требуется больше, чем простое согласие. По-моему, говорил он, если от человека нужно чего добиться, ликование будет не меньшей помехой и преградой, чем скорбь, потому что оба этих чувства равным образом переполняют его мыслью о самом себе и мыслям о чужих делах уже не остается места. Как в горе наши собственные беды, так в радости наше собственное благоденствие настолько занимают и поглощают душу, что мы становимся неспособны позаботиться о нуждах и желаниях другого. Состраданию чуждо и время радости, и время горя: второе — потому, что человек полон жалости к самому себе, первое — потому, что все людские дела, вся жизнь представляются нам радостными и блаженными, а все бедствия и муки кажутся пустыми измышлениями, и, конечно, наша мысль отвергает их как вещи, несогласные с нашим нынешним расположением духа. Если надо заставить кого-нибудь действовать на пользу другому или решиться на это, то благоприятнее всего время спокойной и умеренной радости, а не чрезвычайного ликования, или же, еще лучше, время такого веселья, которое не лишено живости, но не имеет определенного повода и, рождаясь из неясных мыслей, представляет собою спокойное волнение духа. В этом состоянии люди более всего склонны к состраданию, доступны для просителей и порой с охотой ловят случай оказать милость и претворить это смутное волнение и приятный порыв своих мыслей в похвальное деяние.

Он отрицал также, что несчастный, рассказывая о своих бедах или иным образом обнаруживая их, обыкновенно встречает наибольшее сочувствие и заботу у тех, чьи горести схожи с его собственными. Наоборот, они, выслушивая твои жалобы или иначе узнавая о твоём положении, только того и ждут, как бы счесть собственные беды куда более тяжкими, чем твои, и нередко в тот миг, когда собеседник, по твоему мнению, особенно тронут твоими несчастьями, он прерывает тебя и начинает рассказывать о своей участи, стараясь и тебя убедить в том, что она куда тяжелее твоей. Он говорил, что в таких случаях обыкновенно происходит то, что мы читаем в "Илиаде"* про Ахиллеса: когда Приам с плачем и мольбами простерся у его ног, Ахиллес, едва тот кончил свои горестные жалобы, заплакал сам, но не над бедами старца, а над собственными несчастьями, вспомнив отца и убитого друга. И он добавлял: если мы сами в прошлом испытали те беды, которые видим или о которых слышим, то они иногда способствуют состраданию; но те, что мы терпим в настоящий миг, лишь препятствуют ему.

Он говорил, что небрежность и невниманье бывают причиной многих жестоких и злых поступков и сами могут быть сочтены за жестокость и злобу: так бывает, например, если кто-либо, уехав со двора и задержавшись ради какого-нибудь развлечения, оставляет слуг под открытым небом мокнуть под дождем, и это не из суровости и черствости нрава, а просто не подумавши, не взвесив в уме, насколько им может быть плохо.

По какому-то случаю он сказал: "Для благодетеля менее тяжело встретить полную и явную неблагодарность, чем получить за великое благодеяние ничтожную плату: ведь после нее благодетельствованный либо по грубости ума, либо по злобе считает себя свободным от всяких обязательств, а благодетель, по видимости вознагражденный или из вежливости показывающий, что считает себя таковым, на деле лишается не только простой и не приносящей выгоды душевной благодарности, на которую он, во всяком случае, надеялся, но и возможности сетовать на неблагодарность и слыть тем, что есть, — человеком, получившим не по заслугам малую награду".

Мне передавали как принадлежащую ему еще и такую мысль. Мы имеем склонность и обыкновение предполагать в наших собеседниках остроту ума и проницательность, если они замечают наши истинные или воображаемые совершенства и понимают красоту и прочие достоинства каждого нашего слова и поступка; если же они ценят эти совершенства и достоинства и всегда держат их в уме, мы признаем за ними и глубину мысли, и привычку к размышлению, и памятьливость; но ничто другое не заставит нас обнаружить в них подобные свойства или признаться самим себе, что мы их обнаружили.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Как-то он заметил, что нерешительные люди бывают особенно упорны в исполнении своих намерений, невзирая ни на какие препоны, и таковы они по причине самой своей нерешительности: ведь отказавшись от того, что они уже рассудили сделать, они должны будут еще раз принять решение. Поэтому они с особенной готовностью и усердием принимаются за исполнение задуманного; опасаясь, как бы что не заставило их в любой миг отказаться от первоначального намерения, и боясь воротиться к тем колебаниям и мучительной нерешительности, в которых они пребывали до того, как приняли решение, такие люди спешат его осуществить и вкладывают в это дело все силы, большие подгоняемые беспокойством и неуверенностью во вторичной победе над собою, нежели привлекаемые самим предметом своих стремлений или раззадориваемые преградами, которые им предстоит преодолеть ради него.

Иногда он говорил со смехом, что люди, привыкшие непрестанно делиться своими мыслями и чувствами с другими, даже

наедине с собой издают восклицание, если их укусит муха либо если у них опрокинется или выпадет из рук стакан; и наоборот, те, кто привык жить в одиночестве и все держать про себя, даже если почувствуют, что их хватил удар, не откроют рта хотя бы и в присутствии других.

Он полагал, что большая часть тех, кого и в древности, и в наши дни считали великими или необыкновенными людьми, заслужили такую славу прежде всего благодаря одной из их способностей, преобладавшей над остальными. А тому, чьи духовные свойства уравновешены и соразмерны между собой, трудно сделать что-нибудь достойное имени великого или необыкновенного человека и прослыть таковым у современников и потомков.

В среде нынешних просвещенных народов он различал три разряда людей. К первому принадлежат те, в ком собственная натура, а во многом и то, что по природе свойственно всем людям, изменено и преображено искусством и привычками городской жизни. К этому разряду относятся все лица, способные заниматься своими частными и общественными делами, получать удовольствие от благородного людского общения, производить приятное впечатление друг на друга, когда им случится побыть вместе, заниматься практической деятельностью — одним словом, принаравливаясь к обиходу современной жизни общества. Лишь люди такого рода, вообще говоря, могут заслужить и сохранить всеобщее уважение у названных народов.

Второй разряд — это те, в ком природа мало изменилась по сравнению со своим изначальным состоянием и, не получив как говорится, должной обработки, из-за собственной узости и слабости мало способна воспринимать и сохранять впечатления и влияния искусства, опыта и доброго примера. Этот разряд наиболее многочисленный из трех, но презираемый самим собой не меньше, чем другими, и не заслуживающий внимания; он состоит из тех, кто носит имя черни или заслуживает его, к какому бы сословию или состоянию такие люди ни принадлежали по прихоти фортуны.

Третий же разряд — который числом людей несравнимо уступает двум другим, презираемый почти так же, как второй, а иногда и еще больше, — включает тех, в ком природа из-за избытка сил не поддалась и отвергла искусство жить по нынешним образцам, оставшись ему чуждой или восприняв лишь малую его долю, недостаточную для того, чтобы заниматься делами и вести себя с другими людьми как положено, являясь им приятными собеседниками и заставив себя ценить. Этот разряд подразделяется на две разновидности. В одной из них — сильные и стойкие, презирающие всеобщее презрение и нередко радующиеся ему больше, чем радовались бы всеобщему почету; они отличаются от всех по своей воле и намерению, а не только потому, что их природа не может быть иной; далекие от надежд и удовольствий человеческого сообщества, они одиноки в городе

не только потому, что все их избегают, но и потому, что они сами избегают всех. Природа второй разновидности такова, что к силе присоединяются и примешиваются своего рода слабость и робость, и природа эта пребывает в постоянной войне сама с собой. Людям этой разновидности, — а они отнюдь не избегают общества по своей воле, желая во многих и разных вещах стать такими же, как люди первого рода, или подобными им, они сетуют про себя на неуважение, которое видят повсюду, и на дурное мнение тех, кто неизмеримо ниже их и душой, и дарованием, — так вот этим людям никак не удастся, несмотря на все усилия и старания, приноровиться к обиходу практической жизни и стать в разговоре сносными хоть для самих себя, а не то что для других. Такими бывали в недавние времена и бывают в наши дни кто в большей, кто в меньшей мере многие великие таланты и тонкие умы. Замечательный пример тому — Жан Жак Руссо; другой пример, почерпнутый из древности, — Вергилий, о котором в латинском жизнеописании, носящем имя грамматика Доната*, сообщается со ссылкой на авторитет Мелисса, также грамматика и вольноотпущенника Мецената, что поэт был медлителен в речах и мало чем отличался от невежды. Что это правда и что Вергилий был не очень приспособлен к сношениям с людьми, можно заключить с большой вероятностью из тонкой и тщательной отделки его слога, из самого характера его поэзии, а также из того, что мы читаем в конце второй книги "Георгик"**. Там поэт, вопреки обыкновению древних римлян, особенно наделенных талантом, прямо говорит о своем желании жить в неизвестности и уединении, и по тому, как он говорит, нетрудно понять, что к такой жизни он скорее принуждаем своей природой, нежели склонен сам, и любит ее не как благо, а как прибежище или целительное средство. Если людям и той и другой разновидности и удастся снискать уважение, то лишь немногим и после смерти, а люди из второго разряда и при жизни и тем более по смерти почитаются за ничто или почти за ничто. Потому Оттоньери считал себя вправе утверждать, что в наши времена есть только один способ заставить ценить себя: изменить своей истинной природе и отойти от нее подальше. Кроме того, по нынешним временам в жизнь общества, если можно так сказать, включены лишь люди из первого разряда, по природе своей занимающего срединное место между двумя другими; посему он делал вывод, что на этом, как и на многом другом, можно убедиться, насколько в наши дни все держит в руках, всем орудует и распоряжается посредственность.

Говоря о старости, он различал три ее состояния в зависимости от того, как соотносится она с другими возрастами. На первых порах существования каждого народа, покуда по своим нравам и привычкам все возрасты были праведны и добродетельны, а опыт и знание людей и жизни не обладали свойством отвращать души от всего честного и справедливого, старость была почтенна превыше других возрастов, потому что в ней с честнос-

тью и другими достоинствами, присущими в то время всем людям, соединялись, как этого естественно было бы ожидать, мудрость и предусмотрительность. Наоборот, по прошествии времени, когда нравы испортились и развратились, ни один возраст не был так низок и мерзок, как старость, питающая наисильнейшую сердечную склонность к злу — и потому, что успела больше к нему привыкнуть, и потому, что ей лучше известны на опыте все человеческие дела, и потому, что ей дольше и чаще приходилось испытывать на себе чужую злобу, и, наконец, по причине холодности, свойственной ей от природы, — но в то же время бессильная причинить это зло иначе как с помощью наветов, козней, хитростей, вероломства, притворства, короче говоря, всех тех уловок, которые из всех орудий злодейства наиболее гнусны. Но потом, когда испорченность всех народов перешла всякий предел, когда презрение к честности и добродетели стало опережать в людях опыт и знание мира и горькой истины или когда, можно даже сказать, опыт и знание стали опережать возраст, так что человек уже в отрочестве был опытен, искушен и испорчен, старость сделалась не то что почтенной, ибо с тех пор лишь очень немногие вещи имеют право так именоваться, но более сносной, чем другие возрасты. Ведь горячность души и крепость тела, которые некогда, помогая воображению и благородству помыслов, нередко бывали причиной добронравия, высоких чувств и доблестных деяний, сделались всего лишь двигателями и пособниками злой воли и злых дел, одушевляющими и оживляющими все дурные свойства человека; а на склоне лет они смягчаются и укрощаются холодностью сердца и немощью членов, — хотя, впрочем, и это ведет скорее к пороку, чем к добродетели. К тому же сам долгий опыт и знание человеческих дел, совсем уж неприглядных, мерзостных и подлых, вместо того чтобы, как прежде, свращать добрых на беззаконие, приобрели способность уменьшать, а иногда и гасить любовь к нему в печальных душах. Следовательно, говоря о том, что есть в рассуждении нравов старость по сравнению с другими возрастами, можно сказать, что в самые давние времена она относилась к ним как лучшее к хорошему, во времена развращенности — как наихудшее к дурному, а во времена более поздние и более гнусные — наоборот, как дурное к наихудшему.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Он часто рассуждал о присущем нам себялюбии, которое теперь называется "эгоизмом", — как видно, ему нередко представлялся случай поговорить о нем. Я перескажу некоторые его мысли об этом предмете. Он говорил, что в наши дни, если тебе похвалит кого-нибудь за честность или будет порицать за бесчестность лицо, имевшее или имеющее дела с тем, о ком идет речь, ты о нем так ничего и не узнаешь, кроме одного: остался ли

хвалитель или ругатель доволен им или нет; кто отзывается хорошо, тот, значит, доволен, а кто плохо — недоволен.

Он утверждал, что в нынешние времена никто не может любить без соперника; а на вопрос "Почему?" отвечал: потому что возлюбленный и возлюбленная и будут самыми пылкими соперниками любящего.

Предположим, говорил он, что ты попросишь кого-нибудь об услуге; однако человек этот не может удовлетворить твою просьбу, не навлекая на себя ненависть и злобу третьего лица. Допустим также, что и это третье лицо, и тот, к кому обращена просьба, и ты сам — все вы по своему состоянию и могуществу примерно равны. Я утверждаю, что твоя просьба ни за что не будет выполнена, даже если оказанная услуга чрезвычайно обяжет тебя и внушит тебе к тому, кто ее оказал, расположение более сильное, чем вражда третьего лица. Но в людях гораздо сильнее боязнь гнева и ненависти, чем надежда на любовь и благодарность, и недаром: мы повсюду видим, что первые чаще побуждают действовать, и действовать с успехом, чем противоположные им чувства. Причина тут одна: когда стараются повредить и отомстить ненавистным, действуют ради себя; а когда стремятся принести пользу тем, кого любят, и отплатить за сделанное добро, действуют ради друзей и благодетелей.

Еще он говорил, что вообще знаки внимания и услуги, оказываемые в надежде или в расчете на собственную выгоду, очень редко достигают цели, потому что люди более ученые и рассудительные, чем прежде, легко берут, но с трудом отдают. Одни лишь знаки внимания и услуги, которые многие юнцы оказывают богатым или влиятельным старухам, достигают своей цели не только чаще других, но и почти всегда.

Записанные ниже замечания, касающиеся более всего современных нравов, я слышал, помнится, из его собственных уст. Нынче у людей, знающих свет и опытных, постыдным считается только одно — чего-нибудь стыдиться; и сами такие люди стыдятся только своего стыда, если им когда-нибудь случится его испытать.

Удивительной властью обладает мода; между тем как народы и люди упорно держатся за свои обычаи и упрямо продолжают судить, поступать и действовать, как привыкли, даже вопреки разуму и себе в ущерб, мода, стоит ей только захотеть, заставляет их от одного отказаться, другое изменить, усвоить новые привычки, повадки и мнения, пусть даже покинутое старое было разумным, полезным, красивым и достойным, а радостно принятое новое окажется во всем этом противоположным старому.

Очень редко бывает, чтобы смеялись над тем, что поистине смешно и в нашей общей жизни и в отдельных людях; а если кто-нибудь и попробует засмеяться, то, не заразив своим смехом других, быстро умолкает. Наоборот, над множеством вещей весьма серьезных и вполне достойных смеются каждый день и легко увлекают других посмеяться вместе. Наибольшая часть

вещей, над которыми обыкновенно смеются, на деле вовсе не смешна; а над многими вещами как раз потому и смеются, что они не заслуживают этого ни в малейшей степени.

Мы на каждом шагу говорим и слышим от других: "люди доброго старого времени", "наши славные предки", "человек старого закала" — тогда, когда хотим о ком-нибудь сказать, что он человек порядочный и на него можно положиться. Каждое поколение думает, с одной стороны, что раньше люди были лучше, с другой — что народы, удаляясь от своего изначального состояния, с каждым днем совершенствуются, а вернувшись к нему, они, без сомнения, стали бы хуже.

Истина, конечно, некрасива. Однако и она нередко может доставить некоторое удовольствие, и если в делах человеческих красоту следует предпочитать истине, то там, где красота отсутствует, истину надо ставить превыше всего. Теперь в больших городах ты как нельзя более далек от красоты, которой не осталось места в жизни людей. Но и от истины ты в них далек, потому что в больших городах все либо лживо, либо суетно. Так что в них ты, так сказать, не видишь, не слышишь, не осязаешь, не обоняешь ничего, кроме обмана, да и тот уродлив и непривлекателен. А для чувствительных душ нет, можно сказать, большего несчастья в мире.

Те, что не в силах сами заботиться о своих нуждах и рекомендуют эту заботу другим, обыкновенно или вовсе не могут, или могут лишь с большим трудом и с меньшим, чем все прочие, успехом удовлетворить главную потребность, которая, несмотря ни на что, остается у них. Я имею в виду потребность чем-нибудь занять свою жизнь — потребность более великую, нежели все частные нужды, о которых мы заботимся, заполняя тем самым жизнь, и нежели даже сама потребность жить. Больше того, в вас нет потребности жить, и только, потому что жизнь, не соединенная со счастьем, не есть благо. Коль скоро мы живем, наша первая и главная потребность — провести жизнь как можно менее несчастливо. А жизнь ничем не занятая и пустая есть самая несчастная. Напротив, лучший из всех способов занять жизнь и сделать ее наименее несчастливой — это самому заботиться о своих нуждах.

Он говорил, что обычай покупать и продавать людей полезен роду человеческому, и ссылаясь на то, что прививка оспы в Константинополь, откуда она была перенесена в Лондон и из него — в другие страны Европы, пришла из Черкесии, где природная оспа, нанося урон жизни и красоте малолетних и юных, делала менее прибыльной торговлю женщинами, которой занимаются тамошние народы.

О себе он рассказывал, что, едва выйдя из школы и начав сталкиваться с людьми, дал себе зарок, как юноша неопытный и преданный истине, не хвалить никого и ничего из встреченного в обществе, кроме, на его взгляд, достохвального. Но по прошествии года, в течение которого он держался своего зарoka и ни

разу не имел случая кого-нибудь или что-нибудь похвалить, он, из боязни позабыть за отсутствием упражнения все выученное раньше в риторике относительно энкомиастического, или хвалебного, рода красноречия, нарушил слово, а немного спустя и вовсе от него отказался.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Обыкновенно он велел читать себе вслух то одну, то другую книгу, чаще всего древних авторов; он прерывал чтение, вставляя как бы устные заметки на полях по поводу того или другого места. При чтении составленных Диогеном Лаэртским жизнеописаний философов, услышав, что Хилон* на вопрос о том, чем отличаются образованные от невежд, ответил: "Добрыми надеждами", он сказал: "Теперь всё наоборот, невежды надеются, а люди знающие не надеются ни на что".

Точно так же, когда ему прочитали в названных жизнеописаниях суждение Сократа о том, что в мире есть единственное благо — знание и единственное зло — невежество, он заметил: "Насчет знаний и невежества у древних мне ничего не известно, а в наши дни я бы вывернул это изречение наизнанку".

Когда из той же книги ему вычитали следующий догмат приверженцев Гегесия**: "Мудрец, что бы он ни делал, сделает все себе на благо", он сказал: "Если всякий, кто поступает таким образом, философ, — пусть теперь явится Платон и учредит во всем цивилизованном мире свое государство".

Он весьма одобрял изречение Биона Борисфенита***, переданное тем же Лаэртием: "Больше всего мук достается тем, кто ищет наибольшего счастья". И добавлял, что напротив, блаженнее всех те, кто может и привык насыщаться самыми малыми долями счастья, да еще потом, когда оно минет, способен вызвать его в памяти и снова вкушать в свое удовольствие.

Он относил к разным возрастам цивилизованных народов греческий стих, гласящий: "Юные действуют, пожилые дают советы, старики тоскуют", и говорил, что нашим дням поистине осталась одна тоска.

Услышав отрывок из Плутарха****, который Марчелло Адриани Младший переложил следующими словами: "Еще менее потерпели бы спартанцы наглость и шутовство Стратокла, который убедил народ (это были афиняне) принести жертвы в честь победы, а потом, когда тот узнал правду о поражении и вознегодовал на него, ответил: "Чем я вас оскорбил? Не тем ли, что сумел подарить вам целых три дня праздничного веселья?" — Оттоньери добавил: "Тем, кто жалуется на природу, сетуя, что она существует сама по себе, а значит, держит истину в тайне от всех и скрывает ее множеством прекрасных и отрадных, но пустых видимостей, было бы кстати ответить в том же роде: чем она оскорбила вас? Не тем ли, что подарила три или четыре дня

радости?" По другому случаю он сказал, что ко всему нашему роду вообще, имея в виду естественные заблуждения человека, можно применить слова Тассо* о ребенке, которого обманом заставили выпить лекарство: "Тому обману жизнью он обязан".

Когда в "Парадоксах" Цицерона** ему прочли то место, которое на нашем языке можно было бы передать следующим образом: "Быть может, наслаждения делают нас лучше и достойнее похвалы? Случалось ли кому встречать человека, который кичился бы и щеголял испытанными наслаждениями?" — он сказал: "Милейший Цицерон, я не решусь сказать, что в нынешние времена люди становятся через наслаждения лучше и достойнее похвалы, но что их хвалят больше, это бесспорно. Знай же, что единственный путь стяжать хвалу, который видят перед собой почти все юнцы, — это путь наслаждений. Поэтому, получив их, не только этим хвастают и разбалтывают все друзьям и посторонним, желающим и не желающим слушать, но и жаждут новых наслаждений и гонятся за ними не ради них самих, а ради добываемых таким способом хвалы и славы и еще — чтобы иметь, чем кичиться; многие даже приписывают их себе, не успев ничего достигнуть, или не начав их искать, или вообще все выдумав".

Он отмечал в истории подвигов Александра Великого, написанной Аррианом***, что в день Исса Дарий поставил греческих солдат-наемников в первом ряду своего войска, а Александр своих наемников, тоже греков, — в тылу; и он считал, что по одному этому обстоятельству можно было предугадать исход боя.

Он не упрекал писателей, если они много рассуждают о самих себе, и даже хвалил их за это и любил такие места, потому что в них, говаривал он, почти все и почти всегда бывают красноречивы и пишут, как правило, хорошим и подобающим предмету слогом, даже вопреки обыкновению своего времени, своего народа и своему собственному. И ничего удивительного тут нет: ведь у пишущих о своих делах душа захвачена и заполнена описываемым предметом, и нет недостатка ни в мыслях, ни в чувствах, рожденных самою темой и собственной их душой, а не заемных или почерпнутых из чужого источника, расхожих и избитых; кроме того, они легко воздерживаются от украшений, которые сами по себе пусты или не приходится к стати, от мнимого изящества и таких красот, в которых видимость преобладает над сутью, от всякого жеманства и притворства. И неправда, будто читателю обыкновенно мало дела до того, что писатели говорят о себе самих: во-первых, потому, что все действительно продуманное и прочувствованное самим писателем и изложенное естественным и подобающим образом производит впечатление; затем потому, что никак нельзя изображать чужие дела или рассуждать о них с такою же правдивостью и силой, с какой рассказывают о своих собственных; наконец, следует принять во внимание, что все люди похожи друг на друга и врожденными

и случайными своими качествами и тем, что зависят от судьбы, а также помнить, что дела человеческие, если рассмотреть их на собственном примере, видны лучше и волнуют больше, чем если глядеть на чужие. В подтверждение этих своих мыслей он ссылался среди прочего на речь Демосфена "О венке"*, где оратор, говоря непрестанно о самом себе, сам себя превзошел красноречием, и на Цицерона, с которым в большинстве тех мест, где он касается собственных дел, случается то же самое; это особенно заметно в речи "В защиту Милона"**, которая вся великолепна, но особенно в конце, когда оратор заговаривает о самом себе. Равным же образом из всех мест в речах Боссюэ*** самое прекрасное и красноречивое то, где, заключая похвалы принцу Конде, проповедник упоминает о своей старости и близкой смерти. Из сочинений императора Юлиана, во всех прочих остававшегося софистом, нередко несносным, самое разумное и достойное похвалы — та шутка, что озаглавлена "Мисопогон"****, то есть "против бороды", где он отвечает на насмешки злоязычных антиохийцев. В этом маленьком произведении, не говоря о прочих его достоинствах, автор ненамного уступает Лукиану комическим изяществом и обилием, остротой и живостью шуток, в то время как в "Цезарях", написанных в подражание Лукиану, он неизящен, беден остроумием и помимо бедности вял и почти что скучен. У итальянцев, небогатых красноречивыми сочинениями, примером величественного и во всех отношениях совершенного красноречия может служить апология, которую написал Лоренцино деи Медичи***** себе в оправдание; и еще Торквато Тассо бывает нередко красноречив в своих прозаических сочинениях, где он много говорит о себе, и всегда особенно красноречив в письмах, где он, можно сказать, ни о чем и не рассуждает, кроме своих бедствий.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Вспоминают также некоторые его шутки и остроумные ответы, вроде того, что он дал однажды некоему юноше, прилежному в изучении словесности, но не искушенному в мирских делах и утверждавшему, что умение отыскивать верный путь в жизни общества и практическое знание людей можно постигать по сотне страниц в день. Оттоньери ответил ему: но в книге-то пять миллионов страниц.

Другому юнцу, неразумному и неосторожному, который, желая защититься от упреков в том, что он каждый день попадает впросак и позорится, взял в привычку отвечать, что жизни, мол, не следует придавать больше значения, чем комедии, Оттоньери однажды сказал: и в комедии лучше заслужить рукоплескания, чем быть освишанным, а комедиант, плохо обученный своему искусству либо лишенный должной ловкости, в конце концов умирает с голоду.

Когда приставы поймали грабителя-убийцу, который, совершив преступление, из-за своей хромоты не мог убежать, он сказал: вот видите, друзья, хоть и говорят, что правосудие хромотет*, а все же оно настигает преступника, если он тоже хром.

Во время путешествия по Италии, не знаю где, некий придворный, желая его уязвить, сказал ему: "Если ты мне позволишь, я буду говорить с тобой чистосердечно". На это Оттоньери отвечал: "Мне будет весьма приятно тебя послушать, ведь мы и путешествуем в поисках редкостей".

Однажды был он вынужден, уж не знаю какой необходимостью, попросить денег взаймы у одного человека, а тот, извинившись, что не может дать их, заявил в заключение, что, будь он богат, он бы ни о чем больше не заботился, кроме нужд своих друзей. Тогда Оттоньери сказал: "Мне было бы весьма прискорбно, если бы у тебя из-за нас оказалось столько забот, и я молю бога никогда не посылать тебе богатства".

В юности он сочинил несколько стихотворений и употребил в них старинные речения; когда одна пожилая дама, которой он, по ее просьбе, прочитал свои стихи, сказала, что не понимает их, потому что в ее время эти речения не были в ходу, он ответил: "А я думал, что были; ведь они очень стары".

Про одного очень богатого скупца, у которого украли немного денег, он сказал, что он и с ворами был скуп.

Про некоего расчетливого человека, который, что бы ни увидел, о чем бы ни услышал, сразу принимался делать подсчеты, он сказал: "Все люди что-нибудь делают, а он считает сделанное".

Однажды, когда несколько антиквариев спорили над древней терракотовой статуэткой Юпитера, найденной в триклинии** римского дома, и спросили его мнения, он сказал: "Разве вы не видите сами, что это Юпитер из триглиния?"

Об одном глупце, который полагал, будто умеет превосходно рассуждать, и на каждом слове поминал логику, он сказал: для него мало то определение, которое греки дали человеку, то есть "мыслящее животное", о нем нужно сказать "логически мыслящее животное".

Перед смертью он сам сочинил надпись, которая и была высечена над его могилой:

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ПРАХ
ФИЛИППО ОТТОНЬЕРИ
РОЖДЕННОГО ДЛЯ ВЕЛИКИХ ДЕЛ
И ДЛЯ СЛАВЫ
ПРОЖИВШЕГО ЖИЗНЬ ПРАЗДНО
И БЕЗ ПОЛЬЗЫ
СКОНЧАВШЕГОСЯ В БЕЗВЕСТНОСТИ
НО В ПОЛНОМ СОЗНАНИИ
СВОЕЙ ПРИРОДЫ
И СВОЕЙ УЧАСТИ

РАЗГОВОР ХРИСТОФОРА КОЛУМБА И ПЕДРО ГУТЬЕРЕСА

Колумб. Какая прекрасная ночь!

Гутьерес*. Поистине прекрасная. Но, я думаю, с земли она казалась бы нам еще прекраснее.

Колумб. Ну вот, и ты тоже устал от плавания.

Гутьерес. Нет, только не от плавания; но оно оказалось куда дольше, чем я полагал, и немного наскучило мне. Однако не думай, что я рошщу на тебя, как другие. Будь уверен: на что бы ты ни решился в этом путешествии, я буду поддерживать тебя, как прежде, всеми силами. Но коль скоро уж пришлось к слову, то скажи мне ясно и со всей откровенностью: неужели ты, так же как вначале, убежден, что найдешь в этой части мира землю и, вопреки столь долгому опыту, все еще не усомнился ни в чем?

Колумб. Говоря чистосердечно — как можно говорить с другом, умеющим хранить тайну, — я и сам немного заколебался, тем более что во время путешествия некоторые весьма обнадеживающие признаки оказались обманчивыми: так было с птицами, которые пролетели над нами с запада на восток вскоре после отплытия нашего из Гомеры**, — а я считал, что это указывает на близость суши. И день за днем я убеждался воочию, что действительность не отвечает многим моим предположениям и многим предсказаниям, которые я делал, еще не выйдя в море, по поводу различных вещей, что должны были встретиться нам в пути, как мне казалось. И вот я думаю, что так же, как меня обманули эти мои предположения, на прежний мой взгляд почти бесспорные, может оказаться ложным и главное из них — о том, что по ту сторону Океана мы найдем сушу. Правда, с одной стороны, оно зиждилось на прочных основаниях, и, окажись оно неверным, я подумал бы, что нельзя верить ни единому человеческому суждению, кроме тех, где речь идет о вещах насущных, видимых и осязаемых. Но, с другой стороны, я не упускаю из виду, что практический опыт нередко и даже в большинстве случаев расходится с умозрением, и говорю самому себе: откуда ты знаешь, что каждая часть мира похожа на другие его части и что если Восточное полушарие занято отчасти водой, отчасти сушей, то, следовательно, и Западное полушарие должно быть поделено между сушей и водой? Откуда ты знаешь, что оно не занято одним безбрежным морем? Или что вместо земли либо помимо земли и воды в нем нет еще какой-нибудь стихии? А если в нем есть и суша и море, как в другом полушарии, разве не может случиться, что оно окажется необитаемым? Или непригодным для обитания? Но допустим, оно не менее обитаемо, чем наше полушарие, — кто поручится тебе, что там есть такие же разумные существа, как здесь? Если же они там есть, почему ты уверен, что это люди, а не какие-либо иные животные, наделенные рассудком? Если они люди, то разве не могут они быть

совсем не похожими на известных тебе, — предположим, немно-го более рослыми, более могучими и ловкими или наделенными от природы бóльшими духовными и умственными силами и даже более просвещенными и превзошедшими нас в науках и искус-ствах? Так я думаю про себя. Поистине природа обладает, как мы можем увидеть сами, таким могуществом, и проявления ее столь многочисленны и разнообразны, что не только нельзя составить бесспорное суждение о том, что она создала и создает в самых отдаленных краях, неведомых нашему миру, но даже сомнительно, не обманывается ли человек, исходя из здешних вещей, в своем выводе насчет таких далеких мест: ведь не лишено правдоподобия, если мы вообразим себе все или многое в том неведомом мире удивительным по сравнению с нашим миром.

Вот мы видим собственными глазами, что стрелка в этих морях отклоняется от Полярной звезды на довольно большой угол к западу, а это явление невиданное и неслыханное для любого из мореплавателей, и я, сколько бы ни ломал голову, не могу отыскать ему удовлетворительного объяснения. Этим я не хочу сказать, будто следует прислушиваться к рассказам древ-них о чудесах неведомого мира и этого Океана, например к тем басням о дальних странах, которые рассказывает Ганнон*: что, мол, ночи там были полны огнями, а в море впадали огненные потоки, — более того, мы сами видели, сколь тщетны были до сих пор все страхи наших матросов перед чудесами и невидан-ными ужасами этого путешествия — скажем, тогда, когда огром-ное количество водорослей, почти что превративших море в луг, мешало нам двигаться вперед, и люди вообразили, что нами достигнут крайний предел моря, доступного для кораблей. В от-вет на твой вопрос я скажу вот что: мое предположение ос-новывалось на предпосылках, правдоподобных не только на мой взгляд, но и на взгляд многих превосходных географов, аст-рономов и мореплавателей, с которыми я совещался, как ты знаешь, в Испании, Италии и Португалии; тем не менее может случиться, что оно не оправдается, потому что, повторяю, мно-гие выводы, основанные на самых лучших рассуждениях, не выдерживают проверки опытом; и особенно часто так бывает, если они касаются вещей, на которые почти что не пролито света.

Г у т ь е р е с. Так что из-за тебя, в сущности, и твоя собствен-ная жизнь, и жизнь наших спутников не имеет иной опоры, кроме твоей умозрительной догадки?

К о л у м б. Да, это так, не могу отрицать. Но, не говоря уже о том, что люди каждый день рискуют, строя свою жизнь на куда более слабых опорах, и это ради вещей ничтожных или просто от безмыслия, прими во внимание еще вот что. Если бы и ты, и я, и все наши спутники не были сейчас на этих кораблях, в этом море, среди этой пустыни, в неведении будущего и под такой угрозой, что больше и быть не может, каковы были бы тогда обстоятельства нашей жизни? Чем мы были бы заняты? Как проводили бы эти дни? Неужто в большей радости? А может

быть, в больших муках и большей тревоге? Или они были бы полны скуки? Что значит "состояние, свободное от неизвестности и угроз"? Если это — довольство и счастье, то их следует предпочесть всему, если же это — лишь тоскливое и жалкое прозябание, я не вижу ничего такого, чему бы можно было его предпочесть. Я не хочу упоминать о славе, которую мы стяжаем, и о пользе, которую принесем, если исход предприятия не обманет наших надежд. Даже если это плавание не принесет нам иных плодов, оно, по моему мнению, прибыльно потому уже, что на некоторое время избавляет нас от скуки, делает жизнь дороже для нас, возвращает ценность таким вещам, на которые мы иначе не обращали бы внимания. Древние пишут, — ты сам, верно, читал об этом или слышал, — что несчастные влюбленные, бросаясь со скалы Санта-Маура* (тогда она называлась Левкадской) в море, выходили из него, если им это удавалось, избавленными по милости Аполлона от любовной страсти. Я не знаю, следует ли верить этому, но убежден, что, выйдя из смертельной опасности, они и без милости Аполлона начинали хоть на короткий срок дорого ценить жизнь, которая прежде казалась им постылой, или ценить ее дороже и любить больше, чем до того. Каждое плавание, на мой взгляд, есть прыжок с Левкадской скалы, ибо оно приносит ту же пользу, только на более долгий срок, и тем берет верх над названным прыжком. Принято думать, что моряки и солдаты, на каждом шагу подвергающие опасности свою жизнь, ценят ее меньше всех. А я по той же причине считаю, что не многие люди так любят и ценят жизнь, как мореходы и солдаты. Сколько благ, пренебрегаемых теми, кто ими обладает, сколько таких вещей, которые даже имени благ не имеют, кажутся дорогими и ценными пловцам в море только потому, что они их лишены! У кого считается благом иметь под ногами кусочек суши, который твердо держит тебя? Ни у кого, кроме как у моряков, и особенно у нас, у которых из-за неуверенности в исходе путешествия нет желания сильнее, чем увидеть полоску земли; это — наша первая мысль, она пробуждается прежде нас самих, и с нею мы засыпаем; и если однажды мы все же обнаружим вдалеке вершину горы, или верхушки леса, или что-нибудь подобное, мы будем вне себя от радости; а высадившись на сушу, мы много дней будем считать себя блаженней всех от одной мысли, что мы снова очутились на твердой земле и можем ходить туда и сюда, шагая как нам вздумается.

Г у т ь е р е с. Все это суцая правда, и, если твоя умозрительная догадка окажется столь же истинной, как и твое оправдание в том, что ты в соответствии с нею поступил, мы непременно обретем на несколько дней это блаженство.

К о л у м б. Я же, со своей стороны, если и не осмеливаюсь больше сулить его себе наверняка, тем не менее надеюсь, что мы обретем его в скором времени. Вот уже несколько дней лот, как ты знаешь, касается дна, и свойства того грунта, что он приносит с собою, кажутся мне добрым знаком. К вечеру облака вокруг

солнца являют, сдается мне, иные очертания и иной цвет, чем несколько дней назад. Ветер не дует больше, как раньше, с одинаковой силой, прямой и неизменный, он стал порывистым и меняется так, словно путь его что-то преграждает. Вспомни еще о камышинке, которая плыла по морю и казалась срезанной совсем недавно, и веточке дерева с красными свежими ягодами. И стаи птиц, хоть они один раз уже обманули меня, пролетают теперь так часто и так густо; к тому же их с каждым днем становится больше, и я думаю, под этим кроется некая причина, особенно если вспомнить, что среди них можно видеть птиц, по виду не похожих на морских. Одним словом, все эти признаки, взятые вместе, как ни стараюсь я быть недоверчивым, держат меня в напряженном ожидании добра.

Гутьерес. Дай бог, чтобы на этот раз ожидание не было напрасным!

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ПТИЦАМ

Однажды вешним утром Амелий*, одинокий философ, сидел с книгами в тени своего загородного дома и читал, но вдруг встрепнулся, привлеченный голосами птиц, распевавших по всей округе, потом заслушался их и предался размышлению, отложив в сторону книги, и наконец взял в руки перо и тут же на месте написал следующее.

По природе своей самые веселые из всех существ в мире — птицы. Я говорю не о том, что всякий раз, когда видишь и слышишь их, они веселят тебе душу, я имею в виду их самих и то чувство радости и удовольствия, которое свойственно им больше, чем всем прочим живым тварям. Бросается в глаза, что остальные животные серьезны и степенны, а многие кажутся даже грустными; лишь изредка они выказывают признаки радости, да и те слабы и быстро исчезают, по большей же части, получая удовольствие и наслаждаясь, животные не ликуют бурно и никак не обнаруживают своей радости. Если им и приятны зеленые луга, широкие и прекрасные виды, блистающие солнечные дни, хрустальный и сладостный воздух, они обыкновенно никак не выказывают этого, за исключением разве что зайцев, про которых говорят, что в лунные ночи, особенно в полнолуние, они прыгают и играют все вместе, наслаждаясь светом, согласно Ксенофону**.

Птицы же и движениями своими, и видом обнаруживают великую радость; само их свойство веселить нас возникает не от чего иного, как от их обличья и повадок, в коих естественным образом проявляются способность и склонность к довольству и веселью, и видимость эта не должна казаться нам пустой и обманчивой. Всякое удовольствие, всякое наслаждение заставляет их петь, и, чем больше удовольствие и наслаждение, с тем большим рвением и усердием они поют. Так они распевают

почти все время, из чего можно заключить, что обычно они довольны и пребывают в добром расположении духа. И если замечено, что в пору любви они поют и лучше, и чаще, и дольше, нежели когда-либо еще, то не следует все же думать, будто их не побуждают к пению другие радости и наслаждения, кроме любовных. Ведь можно видеть воочию, что в ясный тихий день они поют больше, чем в сумрачный и ненастный, в грозу молчат, как и при всяком испуге, а когда гроза минует, снова вылетают, заливаясь песнями и играя друг с другом. Подобным же образом можно видеть, что они обыкновенно поют утром, по пробуждении, и заставляет их петь отчасти радость встретить новый день, отчасти общее всем живым существам удовольствие чувствовать себя отдохнувшими и освеженными сном. Чрезвычайно радуют их также пышная зелень, плодородные долины, чистые сверкающие воды, красивые местности. По всему этому можно заметить, что отрадное и прекрасное на наш взгляд кажется таким же и птицам; то же можно понять и по приманкам, какими их завлекают в западни и в сети, на птичеловные тока и в силки. И то же самое можно понять, взглянув на те места за городом, где водится обычно больше всего птиц и где они распевают без устали и с особым пылом. В то же время из остальных животных, кроме разве что прирученных и привыкших жить с людьми, ни одно или только очень немногие судят так же, как мы, о приятности и привлекательности различных мест. И дивиться тут нечему, потому что удовольствие им доставляет лишь все естественное, меж тем как именуемое нами приятным по большей части не только что не естественно, но даже противоестественно: например, возделанные поля, или деревья и другие растения, разводимые людьми, высаженные в правильном порядке, или реки, стесненные в установленных пределах и направленные по установленному руслу, и прочее в этом роде выглядит совсем не так, как выглядело бы, оставаясь естественным. Поэтому облик каждой местности, обитаемой любым сообществом цивилизованных людей, а особенно городов и других поселений, где люди вынуждены жить все вместе, искусствен, ибо она совсем изменила свой природный вид. Некоторые говорят (и здесь будет кстати упомянуть об этом), что голос птиц более красив и сладок, а пение более гармонично в наших краях, нежели в тех, где люди дики и грубы, и из этого делают вывод, что птицы даже на воле воспринимают некоторую долю просвещения от тех людей, к чьим обиталищам привыкают.

Правду ли говорят об этом или нет, но несомненно, что природа проявила великую предусмотрительность, наградив один и тот же род живых существ способностью петь и летать; благодаря этому твари, предназначенные услаждать всех своим голосом, могут находиться почти все время в высоте, откуда их голос разносится окрест на далекое расстояние и достигает большего числа слушателей. Благодаря этому и воздух, стихия, отведенная звукам, получил голосистых и причастных музыке оби-

тателей. Поистине, слушать птичьи песни — великое утешение и удовольствие не только для людей, но и, как мне кажется, для других животных. И я думаю, что главная причина тому не сладость самих звуков, хоть она и есть в них, не их разнообразие и стройность, но выраженная в них радость, присущая по природе всякому пению, и пению птиц в особенности. Ибо оно есть, так сказать, смех, которым птица заливается, когда ей хорошо и от-
радно.

Поэтому в некотором роде можно сказать, что и птицы причастны смеху, составляющему привилегию человека, ибо прочие животные лишены этой способности, из-за чего некоторые даже думали, что человека, определяемого как мыслящее или разумное животное, вполне достаточно будет определить как смеющееся животное, поскольку, на их взгляд, смех есть такая же отличительная особенность человека, как разум. Весьма удивительно, что человек, самая жалкая, самая измученная тварь из всех, обладает способностью смеяться, которой лишены другие животные. Удивительно также и то, как мы применяем эту нашу способность: ведь можно видеть человека в величайшей беде, или погруженного душой в печаль, или почти потерявшего любовь к жизни и уверившегося в тщете всех человеческих благ, неспособного радоваться и лишенного всякой надежды, который все-таки смеется. Более того, чем лучше понимают некоторые люди, сколь тщетны названные блага и несчастна жизнь, чем меньше у них надежд и поводов радоваться, тем сильнее становится в них склонность смеяться. Вообще, природу смеха и его глубочайшие причины и виды в той мере, в какой все это связано с человеческой душой, трудно было бы объяснить и определить, если только не назвать смех кратковременным безумием или же помрачением и бредом. Потому что у людей, никогда ничем не удовлетворенных и ни от чего не получающих истинного наслаждения, не может быть для смеха разумных и законных причин. Было бы также любопытно доискаться, почему и при каких обстоятельствах человек впервые применил эту свою способность и узнал о ней. Ведь нет сомнения в том, что в первобытном и диком состоянии он, подобно другим животным, по большей части был серьезен и даже печален на вид. Поэтому я держусь такого мнения, что смех не только появился в мире позже плача, — против этого ничего нельзя возразить, — но и что его лишь с трудом и спустя немалое время впервые заметили и испробовали. И во все это время ни мать не улыбалась младенцу, ни он не улыбался, узнав ее, как говорит Вергилий*. Зато теперь, по крайней мере там, где люди принуждены жить цивилизованной жизнью, они начинают смеяться вскоре после рождения и делают это более всего по чужому примеру, видя, как смеются другие. И еще я склонен думать, что первым обстоятельством, при котором люди засмеялись, и первой причиной этого было опьянение — другая отличительная особенность человека. Его происхождение намного древнее того времени, когда люди хоть в какой-то

мере просветились: ведь мы не знаем такого дикого народа, который не придумал бы какого-нибудь напитка или другого средства опьянять себя и не пользовался бы им с жадностью. Удивляться этому нет причины: нужно только помнить, что человек несчастнее всех остальных живых существ и поэтому больше их всех рад всякому безболезненному помрачению ума, всякой возможности позабыть самого себя и всякому, так сказать, временному прекращению жизни; поэтому для него великое благодеяние, если он на короткое время перестает чувствовать и сознавать собственные беды или чувствует их не так остро. Что касается смеха, то дикари, в другое время степенные и печальные на вид, напившись допьяна, хохочут, как это видели не раз, а также против своего обыкновения болтают и поют. Но обо всем этом я поведаю более пространно в истории смеха, которую намерен составить; в ней я, исследовав его рождение, от этого времени поведу рассказ о его делах, его злоключениях и судьбах все дальше вплоть до нынешнего дня, когда он оказался в наибольшем почете, ибо занял у просвещенных народов такое место и приобрел такую силу, что принял на себя прежние обязанности добродетели, справедливости, чести, нередко обуздывая людей и удерживая их от злых дел. А теперь, чтобы завершить разговор о птичьем пении, я скажу, что коль скоро чужое веселье, когда мы видим его и узнаём о нем, но не питаем зависти, обыкновенно нас ободряет и радует, то и весьма похвальна забота природы, сделавшей так, чтобы пение птиц — это изъяснение радости, этот необычайный смех — было всенародным, а смех и пение человека из уважения к другим людям — келейными; и еще она устроила очень мудро, рассеяв на земле и в воздухе живых тварей, чьи радостные голоса, звонкие и торжественные, раздаются весь день, как бы рукоплеща мировой жизни и побуждая другие существа порадоваться их непрестанному свидетельству, пусть и ложному, о царящем везде счастье.

Птицы и оказываются, и кажутся самыми веселыми из животных не без веской на то причины. Дело в том, что они, как я заметил вначале, по природе своей лучше приспособлены для наслаждения и счастья. Во-первых, кажется, что они не подвержены скуке. То и дело они меняют место, перелетают как угодно далеко из края в край или из нижних пределов воздуха в самые его выси, и все это за короткое время, с удивительной легкостью, так что за свою жизнь они успевают увидеть и испытать бесконечное множество разнообразнейших вещей. Они непрестанно упражняют свое тело, и внешняя жизнь их чрезвычайно богата. Все остальные существа, удовлетворив свои нужды, предпочитают покой и праздность, ни одно из них, кроме рыб и некоторых летучих насекомых, не будет долго носиться с места на место только ради забавы. Так дикари, если не должны заботиться о своих повседневных нуждах, не требующих от них больших и долгих трудов, и если их не гонит гроза, или дикий зверь, или иная подобная причина, обычно и шагу не сделают, предпочитая

праздность и лень; чуть ли не целыми днями они сидят в молчании и без дела под кровлей кое-как построенной хижины, или под открытым небом, или в расселинах скал и утесов и в пещерах. Птицы же, наоборот, остаются на одном месте очень недолго, улетают и прилетают без всякой нужды, порхают ради забавы и порой, отправившись на прогулку за сотни миль от тех мест, где они проводят жизнь, в тот же день под вечер возвращаются обратно. Даже за то короткое время, что они проводят на одном месте, ты не увидишь, чтобы они сидели неподвижно: то и дело они оборачиваются туда и сюда, вертятся, расправляют и снова складывают крылья, отряхиваются, двигаются и так и сяк, и все это с несказанным проворством, ловкостью и быстротой. Одним словом, птица с того мига, как вылупится из яйца, и до самой смерти, кроме промежутков сна, ни минуты не бывает в покое. На основании таких наблюдений, как видно, можно утверждать, что обычное состояние всех животных, включая человека, — это покой, обычное состояние птиц — движение.

Этим их внешним свойствам и привычкам отвечают внутренние, то есть душевные свойства, благодаря которым они также лучше приспособлены для счастья, нежели другие твари. Обладая столь тонким слухом и столь острым, совершенным зрением, что наша душа с трудом может составить себе о них соразмерное понятие, птицы через эту свою способность наслаждаются весь день разнообразнейшими зрелищами безмерных просторов и с высоты видят в единый миг такое пространство земли и различают взглядом столько разных мест, сколько человек едва ли в силах за один миг охватить хотя бы умом. Отсюда следует, что у птиц должно быть чрезвычайно сильное и живое воображение, которое никогда не остается праздным. Но это не то глубокое, пылкое и бурное воображение, которым наделены были Данте или Тассо, потому что оно есть самый пагубный дар и причина непрестанных и тяжких тревог и мук; нет, это воображение богатое, переменчивое, проворное, непостоянное и ребячливое, оно есть щедрый источник приятных, радостных мыслей, сладостных заблуждений и всяческих удовольствий и утешений, самый лучший и плодотворный из всех даров, какими благосклонная природа наградила живые души. Так что птицы извлекают из этого дара множество благ и великую пользу для своей душевной отрады, оставаясь непричастными к его вредным и мучительным свойствам. И насколько изобильна их внешняя жизнь, настолько же богата и жизнь внутренняя, причем это богатство благотворно для них и служит к их вящему удовольствию, как у детей, а не к ущербу и к усугублению несчастий, как это чаще всего бывает у людей зрелых. Поскольку птица и проворством, и внешней подвижностью явно похожа на ребенка, то разумно предположить, что она схожа с ним и внутри, по своим душевным свойствам. Но если бы блага этого возраста были свойственны и всем остальным, а горести не превосходили бы детских горестей, то, быть может, и человек имел бы основание терпеливо переносить свою жизнь.

На мой взгляд, природа птиц, если посмотреть на нее с определенных сторон, совершеннее природы других животных. Например, если мы вспомним, что птица намного превосходит всех способностью видеть и слышать, — а зрение и слух, согласно естественному порядку, одинаковому для всего рода одушевленных тварей, суть самые первые из чувств, — то и получается, что природа птиц более совершенна, чем природа любого другого одушевленного существа. И еще: коль скоро все прочие животные, как написано выше, от природы склонны к покою, а птицы — к движению, и коль скоро движение есть состояние более живое, чем покой, так как и сама жизнь заключается в движении, птицы же богаче внешним движением, чем любое другое животное; кроме того, коль скоро слух и зрение, которыми они превосходят всех остальных и которые преобладают над прочими их способностями, суть наиболее важные отличительные свойства живого существа и самые живые и подвижные из всех чувств как сами по себе, так и по тем привычкам, которые благодаря им приобретает животное, и по другим своим внешним и внутренним последствиям; наконец, коль скоро и все прочее обстоит так, как мы сказали раньше, — то, значит, птицы обладают бóльшим запасом внешней и внутренней жизни, чем другие животные. Если же и жизнь более совершенна, нежели ее противоположность, по крайней мере для живых тварей, и если поэтому больший запас жизни означает большее совершенство, то и отсюда следует, что природа птиц более совершенна. В этой связи нельзя обойти молчанием еще одно обстоятельство: птицы более приспособлены и к тому, чтобы переносить крайний холод и крайний зной, даже без какого бы то ни было перерыва между тем и другим: ведь нам нередко случается видеть, как они от земли с быстротой почти мгновенной поднимаются в воздух до высочайших его высот, то есть в места безмерно холодные; а многие из них при перелетах меняют в короткое время несколько климатов.

Наконец, подобно тому как Анакреонт желал превратиться в зеркало, чтобы любимая непрестанно гляделась в него, или в юбочку, чтобы прикрывать ей бедра, или в притирание, чтобы она умащалась им, или в воду, чтобы она в ней купалась, или в повязку, которой она бы стягивала себе груди, или в жемчужину, которую она носила бы на шее, или в сандалию, чтобы она хотя бы попирала его ногой, — так и я хотел бы хоть на короткое время превратиться в птицу, чтобы отведать удовольствия и веселья их жизни.

ПЕСНЬ ДИКОГО ПЕТЕЛА

Некоторые из иудейских наставников и писателей утверждают, будто между небом и землей, то есть наполовину в небе, наполовину на земле, живет некий дикий петух: ногами он стоит на земле, а гребнем и клювом касается неба. Этот гигантский

петух, помимо прочих его особенностей, о которых можно прочесть у названных авторов, наделен разумом или по крайней мере, как попугай, неведомо кем обучен произносить человеческие слова. Поэтому на одном старинном пергаменте была найдена песнь, написанная еврейскими буквами на языке, среднем между халдейским, раввинским и языками Таргума, Каббалы* и Талмуда, озаглавленная "Шир детарнегол бара лецафра", что значит "Ночная песнь дикого петела", которую мне с немалым трудом и лишь после того, как я не раз обращался с вопросами к раввинам, каббалистам и иудейским богословам и законникам, удалось понять и переложить на наш народный язык, как это видно будет из того, что следует далее. Я не мог до сей поры выяснить, повторяет ли петух эту Песнь время от времени или же каждое утро, либо он пропел ее однажды, а также и кто ее слышит или услышал, и был ли названный язык родным для петуха, или же его Песнь переведена с другого наречия. Что касается помещенного ниже перевода, то я, желая сделать его возможно более верным (чего я стремился достичь и всеми другими способами), почел за лучшее воспользоваться прозой, а не стихами, хотя сам предмет ее есть предмет поэтический. Неровный, а порой и напыщенный слог не должно ставить мне в вину, ибо он подобен слогу подлинника, а подлинник в этой части отвечает принятому в восточных языках, и больше всего — у поэтов.

Эй, смертные, пробуждайтесь! Рождается новый день, на землю возвращается истина, а пустые призраки покидают ее. Вставайте, чтобы снова взять на плечи бремя жизни, переходите из лживого мира обратно в мир истины.

В этот час каждый вновь находит мысли о своей жизни и обращается к ней душою, вызывает в памяти свои намерения, стремления и дела, видит перед собой наслаждения и муки, которые сулит ему новый день. И каждый в этот час больше, чем всегда, хочет найти в себе отрадные ожидания и приятные мысли. Но только у немногих это желание бывает удовлетворено, и пробуждение оборачивается ущербом для всех. Несчастный просыпается не прежде, чем окажется опять в объятиях своей горькой участи. Сладок тот сон, который навеян или радостью, или надеждой. Вплоть до зари следующего дня они обе сохраняются в неприкосновенности, но в течение дня исчезают или слабеют.

Если бы сон смертных был бесконечен и тождествен с жизнью, если бы и под лучами дневного светила все живое на земле нежилось в глубочайшем покое и нигде не было бы видно ни трудов, ни деяний: не разносилось бы ни мычания стад на лугах, ни крика дикого зверя в лесу, ни пения пернатых в воздухе, ни гудения пчел или иных насекомых по полям, и ни в одной стороне не возникало бы ни звука, ни движения, кроме звука и движения вод, ветров и гроз, — конечно, вселенная была бы тогда бес-

полезна, но разве в ней оказалось бы меньше счастья, чем теперь, или больше, чем теперь, несчастья? Я спрашиваю тебя, солнце, создатель дня и повелитель бодрствования: на протяжении веков, которые ты до сего дня отмерило и увело в прошлое своими восходами и закатами, видело ли ты когда-нибудь хоть одного счастливого среди смертных? Из бесчисленного множества затеваемых смертными дел, которые ты доныне видело, достигло ли, по-твоему, хоть одно своей цели, дало ли удовлетворение, длительное или преходящее, той твари, которая его начала и завершила? Видишь ли ты и видало ли счастье в пределах мира? В каком поле оно обитает, в каком лесу, в каких горах, в каких долинах, в каких населенных или пустынных краях, на какой планете из того множества, которое освещено и согрето твоим пламенем? Быть может, оно прячется от твоего взора и сидит в глубине пещер, в недрах земли или в пучинах моря? Какое одушевленное существо к нему причастно, какое растение, что из всего животворимого тобою, всего, наделенного животными или растительными свойствами либо лишенного их? И ты само, ты, подобное неутомимому исполниту*, быстро бегущее днем и ночью, без сна и покоя, по бесконечному пути, установленному для тебя, — счастливо ли ты или несчастливо?

Смертные, пробуждайтесь! Вы еще не избавлены от жизни. Придет время, и никакая внешняя сила, никакое внутреннее волнение не заставит вас отряхнуть оцепенение сна, в котором вы будете покоиться вечно и ненасытно. А покамест вам не дана смерть: вам дозволено лишь время от времени на короткий срок испытать ее подобие. Ведь жизнь нельзя было бы сохранить, если бы она не прерывалась так часто. Слишком надолго лишиться этого сна, короткого и некрепкого, — это зло смертоносное и причина вечного сна. Жизнь такова, что несущему ее бремя нужно иногда сбросить его с плеч, перевести дыхание и освежить силы, отведав как бы частицу смерти.

Кажется, бытие всего сущего имеет единственную цель — смерть. То, что не существует, не может умереть, и потому из ничего появились все сущие вещи. Последней причиной бытия никак не может быть счастье: ведь ни одна вещь не бывает счастливой. Правда, одушевленные твари, затевая любое дело, ставят себе эту цель, но никогда ее не достигают, и всю свою жизнь, ухищряясь, трудясь и мучась, они страдают и тратят силы поистине лишь ради того, чтобы прийти к единственной конечной цели, поставленной природой, — к смерти.

Но как бы то ни было, раннее время дня смертному обыкновенно легче выносить. Мало кто находит в себе по пробуждении приятные и радостные мысли, но почти у всех они тотчас же появляются и возникают, потому что в этот час души больше всего склонны к отрадным чувствам, даже если для них нет прямого повода, или способны лучше, нежели в другое время, переносить беды. Поэтому и у того, кого сон застиг в миг отчаяния, по пробуждении душа вновь воспримет надежду, хотя

бы это ему ничуть не подобало. Многие неудачи и тяготы, многое внушавшее страх и тревогу в этот час кажется не таким важным, как казалось раньше. Часто тревожнения вчерашнего дня вызывают даже презрение и чуть ли не смех как плоды ошибок и пустых фантазий. Вечер можно сравнить со старостью; наоборот, начало утра напоминает юность, ибо оно умиротворенно и доверчиво, вечер же лишен бодрости, печален и склонен к дурным предчувствиям. Но юность, которую смертные переживают ежеутренне, так же коротка и мимолетна, как юность всей жизни, и день быстро достигает для них преклонного возраста.

Но жалок и цветущий возраст, это самое лучшее время. И притом даже столь скудное благо исчезает в такой короткий срок, что живое существо замечает по многим признакам упадок своего бытия, едва успев испытать его совершенство, не почувствовав и не узнав собственных сил, которые уже уходят. У любого рода смертных тварей большая часть жизни есть увядание. В каждом своем деянии природа имеет целью смерть и к ней устремляется: иначе старость не преобладала бы настолько и так явственно в жизни мира. Каждая часть вселенной неустанно стремится к смерти с удивительной быстротою. Только сама вселенная кажется незатронутой упадком и угасанием: потому что если осенью и зимой она является всем недужной и старой, то с новым временем года всегда молодеет снова. Но, подобно тому как смертные, хоть на первых порах каждого дня и обретают опять некоторую долю юности, а весь остальной день стареют и в конце концов угасают, так и вселенная, хоть поутру года и молодеет, все же непрестанно старится. Придет время, и вселенная, как и вся природа, угаснет. И, подобно тому как от величайших человеческих царств и держав и от всех их удивительных деяний, прославленных в давние века, теперь не остается ни следа, ни слуха, так и от всего мира, от всех превратностей и бед, претерпеваемых творением, не останется и следа, и лишь сплошным молчанием и глубочайшим покоем полно будет безмерное пространство. Так дивная и пугающая тайна существования мира, прежде чем она будет изъяснена и постигнута, расточится и исчезнет.

АПОКРИФИЧЕСКИЙ ФРАГМЕНТ ИЗ СТРАТОНА ЛАМПСАКСКОГО

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Этот фрагмент, который я ради препровождения времени перевел с греческого на наш народный язык, извлечен из рукописного кодекса, который несколько лет назад находился и находится, быть может, поныне в книгохранилище у монахов на горе Афон. Я дал ему название "Апокрифический фрагмент", потому

что, как любой может убедиться воочию, то, что мы читаем в главе "О конце мира", могло быть написано не иначе как совсем недавно, тогда как Стратон из Лампсака, философ-перипатетик, прозванный "естествоиспытателем", жил за триста лет до христианской эры. Правда, глава "О возникновении мира" согласуется с тем немногим, что мы находим у древних писателей относительно мнений этого философа. Поэтому можно думать, что первая глава, а быть может, и начало второй подлинно принадлежат Стратону, остальное же было добавлено каким-нибудь ученым греком не ранее чем в прошлом столетии. Пусть судят об этом просвещенные читатели.

О ВОЗНИКНОВЕНИИ МИРА

Все материальные предметы конечны и обречены гибели, а это значит, что у всех у них было и начало. Сама же материя никакого начала не имела, то есть через собственную свою силу существовала от века. Если мы, видя, как материальные предметы возрастают, уменьшаются и наконец расточаются совсем, заключаем из этого, что они существуют и не сами по себе, и не от века, но имели начало и были созданы, то о том, что не растет, не убывает и никогда не гибнет, следует, наоборот, судить как о не имевшем начала и не происшедшем по какой-либо причине. Без сомнения, никак невозможно доказать, что одно из этих умозаключений истинно, а другое ложно. Коль скоро мы уверены в истинности первого из них, значит, то же самое мы должны допустить и для второго. Мы видим, что материя не прибывает ни на самую малую частицу и что даже ничтожнейшее ее количество не исчезает, так что она не подвержена гибели. Меж тем как различные способы бытия материи, являемые нам в том, что мы называем материальными творениями, обречены гибели и преходящи, в самой материи вообще нельзя обнаружить признаков обреченности гибели и смерти, как и признаков того, что она имела начало и что для ее существования была потребна или потребна ныне какая-либо вне ее лежащая причина или сила. Мир, то есть определенный способ бытия материи, имеет начало и обречен гибели. А теперь мы будем говорить о возникновении мира.

Материя в целом, как растения и одушевленные твари в частности, имеет в себе от природы некую силу или силы, непрестанно возмущающие ее и то так, то иначе ее движущие. Об этих силах мы можем строить догадки и даже определять их на основании производимого ими действия, но ни познать их самих по себе, ни открыть их природу нам не дано. Мы даже не можем знать, подлинно ли те действия, которые мы приписываем одной силе, произведены ею одной или также множеством других, и наоборот, суть ли силы, обозначаемые у нас разными именами, поистине разные силы, или это одна-единственная сила. Ведь

и в человеке мы все время обозначаем разными словами одну и ту же страсть или силу: например, честолюбие, сластолюбие и им подобные страсти, каждая из которых ведет к последствиям иногда просто различным, а иногда и прямо противоположным друг другу, в действительности оказываются одной и тою же страстью, а именно себялюбием, в разных случаях действующим по-разному. Итак, эта сила или, быть может, следует сказать, эти силы материи, приводя ее в движение и непрестанно возмущая ее, образуют из названной материи бесчисленные создания, то есть изменяют ее на разные лады. Эти создания, взятые все вместе и рассматриваемые такими, как они есть, а именно разделенными на роды и виды и связанными между собой в некоем порядке некими отношениями, именуются миром.

Но названная сила никогда не перестает действовать и изменять материю, а потому непрестанно творимые ею создания она же разрушает, творя из их материи новые создания. Покуда, вопреки ее разрушающему отдельные создания действию, их роды и виды сохраняются все или в большинстве своем, а порядок вещей и их естественные отношения не меняются совершенно или по большей части, мы говорим, что этот мир продолжает существовать. Но бесконечное множество миров на бесконечном протяжении вечности, просуществовав более или менее долгое время, в конце концов пропадали, когда непрестанным обращением материи, производимым названной силой, бывали погублены все те роды и виды, из которых состояли эти миры, и уничтожались те порядки и те отношения, которые ими управляли. Материя от этого не убывала ни на малейшую частицу, исчезали только те или другие способы ее бытия, а на смену им тотчас же возникали другие способы, то есть другие миры, и так раз за разом.

О КОНЦЕ МИРА

Про этот нынешний мир, к которому как его часть, то есть как один из составляющих его видов, принадлежат люди, нелегко сказать, сколько он просуществовал доньше, как нельзя знать, сколько он еще просуществует впредь. Порядки, на которых он стоит, кажутся неизменными и таковыми считаются, ибо изменяются они лишь понемногу, в непостижимо долгие сроки, так что изменения в мире оказываются недоступными не только чувствам, но даже познанию человека. Эти сроки, как бы они ни были долги, ничтожны в сравнении с вечным существованием материи. В нашем нынешнем мире ясно видна непрестанная гибель отдельных созданий и непрестанные преобразования одних вещей в другие; но так как разрушение так же непрестанно восполняется возникновением и виды сохраняются, то принято считать, будто в этом мире нет и не будет причины, по которой он должен и может погибнуть, и что он не обнаруживает никаких признаков

непрочности. Однако можно заметить и обратное, и по многим приметам, одна из которых такова.

Мы знаем, что у Земли по причине ее постоянного вращения вокруг своей оси части, близкие к экватору, стремятся прочь от центра, а части, окружающие полюсы, придавливаются к центру, отчего форма ее изменилась и продолжает меняться, а именно, около экватора Земля становится более выпуклой, а у полюсов, наоборот, более плоской. Из-за этого должно произойти так, что спустя некоторое время, продолжительность которого, даже если она сама по себе измерима, людям невозможно познать, Земля по обе стороны экватора сплющится и, потеряв форму шара, превратится в тонкую круглую доску. Она, словно колесо продолжая вращаться вокруг своего центра, будет делаться все тоньше и шире, пока наконец из-за центробежного движения всех ее частей посередине не образуется отверстие. Это отверстие будет увеличиваться по кругу со дня на день, пока Земля, принявшая форму кольца, не разлетится в конце концов на куски, которые, сойдя с нынешней земной орбиты и утратив круговое движение, обрушатся на Солнце, а может быть, и на другие планеты.

В подтверждение этому можно было бы привести в пример кольцо Сатурна, относительно природы которого естествоиспытатели не могут прийти к согласию*. Поэтому, быть может, не будет невероятным такое новое и неслыханное предположение: что, если это кольцо было когда-то одной из меньших планет, предназначенных в спутники Сатурну? По причинам, подобным тем, которые мы называли, говоря о Земле, она стала плоской и кольцевидной, причем в более короткий срок, как состоявшая, может быть, из менее плотной и более податливой материи, а потом упала со своей орбиты на Сатурн и, удержанная им в силу притяжения его массы и его центра, расположилась, как мы видим в действительности, вокруг этого центра. Можно думать также, что это кольцо, продолжая вращаться (как оно и делает) вокруг своего средоточия, которое есть в то же время средоточие Сатурнова шара, непрестанно утончается и расширяется, а расстояние его от названного шара увеличивается, хотя и слишком медленно для того, чтобы люди могли заметить и познать эти перемены, особенно в таком отдалении. Вот все, что можно сказать, серьезно или в шутку, о кольце Сатурна.

Далее, то изменение, которое, как мы знаем, претерпевали и претерпевают очертания Земли, по тем же причинам претерпевают, несомненно, и очертания каждой планеты — пусть даже на других планетах оно и не столь явно для глаза, как на Юпитере. То же самое происходит не только на тех планетах, что, подобно Земле, вращаются вокруг Солнца, но, конечно, и на тех, которые, как есть все основания думать, движутся вокруг каждой звезды. Поэтому все планеты по истечении некоего срока таким образом, какой мы описывали, говоря о Земле, сами собой разлетятся на куски и обрушатся,

одни — на Солнце, другие — на звезды. Очевидно, что в этом пламени погибнут не только некоторые или многие из отдельных созданий, но и вообще будут, так сказать, истреблены до корня все их виды и роды, ныне сохраняющиеся на Земле и на других планетах. Именно это или нечто подобное и подразумевали те греческие, а также и варварские философы*, утверждавшие, что этот нынешний мир должен погибнуть в огне. Но поскольку мы видим, что и Солнце, вращается вокруг своей оси и о звездах, следовательно, нужно думать то же самое, постольку можно заключить, что и Солнце, и звезды со временем должны, как и планеты, разрушиться, а их пламя — рассеяться в пространстве. Таким образом, круговое движение мировых сфер, которое ныне есть важнейшая часть мировых порядков, основа и источник сохранения вселенной, само станет причиной уничтожения этих порядков и этой вселенной.

Когда погибнут планеты, Земля, Солнце и звезды, но не составляющая их материя, из нее образуются новые создания, разделенные на новые роды и виды, и благодаря вечным силам материи возникнут новые порядки вещей и новые миры. Но о свойствах этих порядков и миров, как и о свойствах тех бесчисленных миров, которые уже были и которые будут впредь, мы не можем даже делать предположений.

РАЗГОВОР ТИМАНДРА И ЭЛЕАНДРА

Тимандр. Я хочу — нет, я даже должен сказать вам прямо. И смысл, и цель всего, что вы пишете и говорите, кажутся мне достойными самого сурового осуждения.

Элеандр. Если вам не кажутся такими же и мои поступки, я, право, не очень огорчен: ведь слова и писания мало что значат.

Тимандр. Что до ваших поступков, мне тут не в чем вас упрекнуть. Я знаю, вы не делаете другим добра, потому что не можете, и вижу, что вы не делаете никому зла, потому что не хотите. Но что касается ваших речей и писаний, то тут, я полагаю, вы заслужили упрек; к тому же я не согласен с вами, будто теперь такие вещи мало что значат: наша современная жизнь, можно сказать, только из них и складывается. Однако оставим в стороне слова и поговорим только о ваших писаниях, в которых вы непрестанно осуждаете и высмеиваете человеческий род. Во-первых, это уже вышло из моды.

Элеандр. Мой ум тоже вышел из моды. А что дети бывают похожи на отца — это ведь не ново.

Тимандр. Не ново будет и то, что ваши книги не будут иметь успеха, как все, что идет против общего течения.

Элеандр. Невелика беда. Им из-за этого не придется побираться у чужих дверей.

Тимандр. Лет сорок—пятьдесят назад у философов было принято роптать на весь род людской, а в нашем столетии все совсем наоборот.

Элеандр. А как по-вашему, лет сорок—пятьдесят назад философы, ропща на людей, говорили правду или нет?

Тимандр. Скорее правду, в большинстве случаев.

Элеандр. Что же, по-вашему, за эти сорок—пятьдесят лет людской род так изменился и стал даже полной противоположностью тому, чем был раньше?

Тимандр. Не думаю. Однако это не относится к предмету нашего разговора.

Элеандр. Почему не относится? Может быть, человечество стало могущественней или поднялось в чине, так что нынешним писателям приходится льстить ему или оказывать почтение?

Тимандр. У нас с вами серьезный разговор, а вы все шутите!

Элеандр. Ну что же, если говорить серьезно, то и мне это хорошо известно; люди в наш век, делая себе подобным зло по старой моде, стали говорить о них хорошо, не в пример прошлому веку. Но я не делаю зла ни себе подобным, ни тем, кто не подобен мне, и не считаю себя обязанным против совести хорошо говорить о других.

Тимандр. Но вы, как и все люди, обязаны подумать, как бы принести пользу тому роду, к которому сами принадлежите.

Элеандр. Ну а если род, к которому я принадлежу, думает лишь о том, как бы принести мне вред, а не пользу? Тогда я не вижу на себе обязанности, о которой вы говорите. Но допустим, что такая обязанность на мне лежит. Что я должен делать, если это не в моих силах?

Тимандр. Да, принести пользу делом вы не можете, да и мало кто может. Но вашими писаниями вы и можете, и должны приносить пользу. Однако этого нельзя сделать книгами, в которых вы непрестанно нападаете на человека вообще; больше того, ими можно принести огромный вред.

Элеандр. Я согласен, что пользы они не приносят, однако смею надеяться, что не приносят и вреда. Но неужто вы думаете, что книги полезны человеческому роду?

Тимандр. Не только я, но и все так думают.

Элеандр. Какие же это книги?

Тимандр. Разного рода, но больше всего книги о нравственности.

Элеандр. Так думают не все, потому что помимо прочих я так не думаю, — как ответила Сократу одна женщина*. Если бы какая-нибудь книга о нравственности могла быть полезна, то полезнее всех, я полагаю, были бы книги поэтические; при этом я понимаю слово "поэтические" в широком смысле, имея в виду те книги, которые предназначены волновать воображение, — не важно, в прозе они или в стихах. Я ведь невысоко ставлю ту поэзию, которая, будучи прочитана и обдумана, не оставляет

в душе читателя благородного чувства, способного хоть на полчаса удержать его от низких мыслей и недостойных поступков. Но если читатель спустя час после прочтения книги нарушает слово, данное лучшему другу, я не стану из-за этого презирать поэзию, потому что тогда мне пришлось бы презирать самые прекрасные, самые пламенные, самые возвышенные творения в мире. И еще я исключаю из этого рассуждения тех читателей, которые живут в больших городах: ведь им, даже если они будут читать внимательно, никакой род поэзии не принесет пользы и на полчаса, не усадит их и не взволнует.

Т и м а н д р. Вы говорите, по вашему обыкновению, насмешливо и злобно, чем даете понять, что другие вас всегда плохо принимали и плохо с вами обходились: ведь это по большей части и бывает причиной озлобленности и презрения, которые многие, по собственному признанию, испытывают к себе подобным.

Э л е а н д р. Действительно, я не говорю, что люди так уж хорошо обходились и обходятся со мною, тем более что я выдал бы себя за единственное исключение, начни я это утверждать. Но и большого зла они мне не делали: ведь я, не желая ничего ни получить от них, ни перехватить у них, не так уж часто подставлял себя под удар. Вот что я вам скажу, и прошу мне поверить: я сам знаю и ясно вижу, что не умею делать и малой доли потребного для того, чтобы нравиться людям, и, можно сказать, не гожусь ни для их общества, ни даже просто для жизни — по вине моей натуры или по моей собственной вине, — и поэтому, если бы люди обращались со мной лучше, я бы меньше их уважал.

Т и м а н д р. Тогда вы тем более достойны осуждения: потому что, будь вы незаслуженно обижены, ваша ненависть и желание, так сказать, отомстить людям имели бы хоть какое-то оправдание. Но у вас для ненависти, как вы сами утверждаете, нет особой причины, кроме, может быть, странных и жалких честолюбивых притязаний снискать себе славу мизантропа, наподобие Тимона*, а это желание и само по себе отвратительно и чуждо именно нашему веку, который более всего предан человеколюбию.

Э л е а н д р. Насчет честолюбивых притязаний мне незачем даже отвечать вам: я ведь уже сказал, что ничего не желаю от людей; а если, хоть это и правда, мои слова кажутся невероятными, то вам все же придется признать, что не честолюбие заставляет меня писать вещи, которыми, по вашему собственному утверждению, можно нынче стяжать лишь хулу, а не хвалу. Что же касается ненависти ко всему нашему роду, то я так далек от нее, что и не хочу, и не могу ненавидеть даже тех, кто наносит мне обиды; я и вообще неспособен к ненависти и недоступен для нее. В этом, кстати, одна из главных причин моей непригодности к общению с людьми. Но тут я неисправим, потому что все время думаю так: всякий, кто убедил себя, будто от нанесенной другому обиды или ущерба он сам получит выгоду либо удовольствие, решается на эту обиду не ради того, чтобы сделать зло другому (такой цели не может быть ни у одного поступка, ни у одной

мысли), но чтобы сделать добро себе, а это желание естественно и потому не заслуживает ненависти. Кроме того, увидев чужой изъяз или чужую вину, я всякий раз, прежде чем вознегодовать, принимаюсь изучать самого себя, предполагая, что со мной самим произошло все предшествующее этому случаю и я сам очутился в соответствующих обстоятельствах; и так как я неизменно нахожу себя или запятнанным теми же пороками, или способным на них, мне не хватает мужества вознегодовать. Я всякий раз откладываю свой гнев до того, когда увижу злонаравие, по моей природе для меня невозможное; но до сей поры мне не случилось видеть такого. Наконец, моя душа всегда настолько полна мыслью о тщете всех человеческих дел, что я не решаюсь вступить в бой из-за какого-нибудь одного; негодование и ненависть кажутся мне страстями куда более сильными, чем того заслуживает ничтожность жизни. Вы видите сами, какая разница между душой Тимона и моей. Тимон, ненавидя и избегая всех людей, любил и привечал Алкивиада, видя в нем будущую причину великих бед для их общей родины. Я, хоть и не стал бы его ненавидеть, избегал бы его скорее, чем всех остальных, и предостерег бы сограждан от опасности, посоветовав им заранее принять меры. Некоторые говорят, будто Тимон ненавидел не людей, а зверей в человеческом облике. А я ни людей, ни зверей не могу ненавидеть.

Тимандр. Но вы никого и не любите.

Элеандр. Послушайте, друг мой. Я рожден, чтобы любить, и любил, быть может, с таким пылом, какой только может разгореться в живой душе. Теперь, хоть я, как видите, еще не достиг возраста от природы холодного или хотя бы остылого, но не постыжусь сказать, что не люблю никого, кроме самого себя, и то лишь в силу естественной необходимости, настолько, что меньше и невозможно. Несмотря на это, я привык и всегда готов скорее пострадать сам, чем стать причиной чужого страдания. А в этом, я думаю, вы сами можете быть мне свидетелем, хоть и мало знаете мои обычаи.

Тимандр. Не отрицаю этого.

Элеандр. Я даже неизменно стараюсь, порой забывая о себе самом, доставить и людям то величайшее, больше того, единственное благо, которого мне осталось желать для себя. Я имею в виду возможность не страдать.

Тимандр. Но ведь вы без обиняков признаете, что не любите и нашего рода в целом?

Элеандр. Да, признаюсь без обиняков. Но все же, подобно тому как я, если бы это от меня зависело, наказал бы всех виновных, хотя ни к кому из них не испытываю ненависти, так же я бы сделал, если б мог, что-нибудь великое на благо моего рода, хоть и не люблю его.

Тимандр. Ладно, пусть так. Но в конце концов, что же, если не нанесенные вам обиды, не ненависть, не честолюбие, побуждает вас писать таким образом?

Э л е а н д р. Много разных причин. Во-первых, нетерпимость ко всякому притворству и скрытности, которым я поневоле иногда плачу дань в разговоре, но в писаниях — никогда, потому что говорить мне нередко приходится по необходимости, а писать меня никто не заставляет, и, если бы мне надлежало высказывать не то, что я думаю, невелика была бы радость ломать себе голову над бумагами. Теперь мудрые люди все смеются над теми, кто пишет по-латыни, потому что никто уже не говорит на этом языке и мало кто его понимает. Столь же смешно, на мой взгляд, и упорство, с каким во всех речах и писаниях предполагают в человеке некие свойства, которых, как известно каждому, теперь не найти ни в одном из рожденных, а в мире — некие идеальные или воображаемые сущности, чтимые в давно прошедшие времена, а ныне почитаемые за ничто и теми, кто о них упоминает, и теми, кто это слышит. Если кто наденет маску и перерядится, для того чтобы обмануть других или остаться неузнанным, — это не кажется мне странным; но когда все ходят в масках, и притом совершенно одинаковых, и все переряжаются на один лад, никого не обманывая и отлично зная друг друга, это представляется мне ребячеством. Пусть снимут маски и останутся в своем собственном платье: итог будет тот же, а людям будет меньше мороки. Потому что в конце концов это постоянное, хоть и бесплодное притворство, эта нужда изображать из себя не то, что ты есть, не может не быть в тягость и не прискучить. Если бы люди от первобытного состояния дикости и разобщенности перешли к современной цивилизации одним прыжком, а не постепенно, то неужели они нашли бы в своем языке слова для обозначения названных выше вещей и тем более в своем народе — обыкновение то и дело повторять их и на тысячи ладов рассуждать о них? Поистине это обыкновение кажется мне одной из тех старинных церемоний или обрядов, что чужды современным нравам, но соблюдаются в силу привычки. Я не могу приспособиться к таким церемониям и точно так же не приспосабливаюсь к этому обыкновению и пишу на языке наших дней, а не времен Трои. Во-вторых, я в моих писаниях не столько нападаю на наш род, сколько сетую на судьбу. По-моему, нет ничего более явного и осязаемого, чем несчастье, в котором неизбежно живут все живые. Если это неправда, тогда и все на свете ложь — и оставим и этот, и всякий другой разговор. Если же это правда, то почему мне не дозволено во всеуслышание пожаловаться на наши несчастья и откровенно сказать: я страдаю? Однако если бы я жаловался со слезами (вот и третья побуждающая меня причина), то я бы изрядно наскучил и себе, и другим без всякой пользы. А смеясь над нашими бедами, я получаю некоторое утешение и стараюсь тем же способом принести его другим. И даже если мне это не удастся, я все же не отступлюсь от мысли, что смех над нашими бедами — это единственная выгода, которую можно из них извлечь, и единственное лекарство от них. Поэты говорят, что у отчаяния всегда улыбка на устах. Вам не следует думать, будто я не сострадаю людям в их несчастье. Но, не имея возможности помочь

им никакой силой, никаким умением, никаким усердием, никаким средством, я считаю более достойным человека и более подобающим благородному отчаянию смеяться над нашими общими бедами, нежели вместе со всеми расточать слезы и вздохи или вопить, подстрекая к тому же других. В заключение мне осталось сказать, что я не меньше вашего и не меньше кого угодно желаю добра моему роду в целом, но никоим образом на это не уповаю и не умею улаживать себя, питаюсь отрадными надеждами, как это делают, я вижу, многие философы в наш век. Мое отчаяние, будучи безраздельным, неизменным и основанным на незыблемом мнении или уверенности, не оставляет во мне места для радостных снов и мечтаний о будущем и отнимает у меня отвагу предпринять что-либо для их осуществления наяву. Вам отлично известно, что человек не склонен к попыткам, которые, как он знает или полагает, не должны привести к успеху, а если даже и склонится к этому, то действует неохотно и не прилагает особых усилий; и вы знаете, что, если пинешь не так, как думаешь, или вопреки собственным мыслям, пусть и ложным, никогда не сделаешь ничего достойного внимания.

Тимандр. Но нужно изменить собственные мысли, если они, подобно вашим, не соответствуют истине.

Элеандр. Я сужу о себе, что я несчастен, и знаю, что в этом я не заблуждаюсь. Если другие не таковы, то я от всей души их поздравляю. Я уверен также, что не избавлюсь от злосчастья, пока не умру. Если у других есть надежда на что-нибудь иное, я рад за них.

Тимандр. Мы все несчастливы и всегда были несчастливы, и я думаю, вы не станете хвалиться этой вашей сентенцией как последней новинкой. Но обстоятельства человеческой жизни могут измениться к лучшему, и намного, по сравнению с нынешним временем, как они уже изменились по сравнению с прошлым. Вы, судя по всему, не помните или не хотите помнить, что человек способен совершенствоваться.

Элеандр. Что он способен совершенствоваться, я поверю вам на слово, но в то, что он совершенен — а это гораздо важнее, — я сам не знаю, когда поверю и чье слово может быть тут порукой.

Тимандр. Он не достиг совершенства по недостатку времени, но в том, что он его достигнет, сомневаться не приходится.

Элеандр. А я и не сомневаюсь в этом. Тех немногих лет, что протекли от начала мира до наших дней, ему и не могло хватить, и из этого обстоятельства нельзя делать вывод о даровании, предназначении и способностях человека, тем более что у него было полно других дел. Но теперь все только о том и думают, как бы усовершенствовать наш род.

Тимандр. Конечно, об этом думают во всем цивилизованном мире, и с величайшим рвением. И если принять во внимание обилие и могущество средств и вспомнить, в какой невероятной степени и то, и другое возросло за короткое время, можно поверить, что конечная цель на самом деле будет раньше или

позже достигнута, и от этой надежды уже есть немалый прок благодаря тем полезным деяниям и трудам, к которым она побуждает и которым способствует. И если всегда это было вредно и предосудительно, то теперь вдвойне вредно и мерзко выставлять напоказ это ваше отчаяние и вбивать людям в голову мысль о неизбежности их несчастий, о тщете жизни, о немощи и ничтожестве всего их рода, о злобности их природы; плодом этого может быть только одно: их дух будет сломлен, в них исчезнет уважение к самим себе — основа, на которой зиждется честная, полезная, достойная славы жизнь, и они будут отвращены от заботы о собственном благе.

Элеандр. Я хотел бы, чтобы вы сказали недвусмысленно: истинным или ложным кажется вам то, что я думаю и говорю о людских несчастях?

Тимандр. Вы снова хватаетесь за свое обычное оружие, и, когда я признаю, что вы говорите правду, вы считаете себя победителем. А я вам скажу, что не всякую истину можно проповедовать всем и во всякое время.

Элеандр. Ради всего святого, ответьте мне еще на один вопрос. Те истины, которые я повторяю и проповедую, — основные ли это истины философии или второстепенные?

Тимандр. Я, со своей стороны, полагаю, что в них сущность всякой философии.

Элеандр. Значит, велико заблуждение тех, кто повторяет и проповедует, что, мол, совершенство человека состоит в познании истины, а все его беды происходят от ложных мнений и невежества и что род человеческий станет наконец счастлив, когда все люди или большинство их познают истину и, сообразуясь только с нею, будут устраивать и направлять свою жизнь. Ведь так говорят чуть ли не все философы, древние и новые. А на ваш взгляд, те истины, которые составляют сущность всей философии, следует скрывать от большинства людей; я думаю, вы легко согласитесь и с тем, что все до единого должны позабыть их или ничего о них не знать, потому что, если их знают и держат в уме, они могут принести только вред. Но это все равно что сказать, что философию следует искоренить во всем мире. Мне хорошо известен конечный вывод, который можно сделать из истинной и совершенной философии: не нужно философствовать. Из чего следует, что философия, во-первых, бесполезна, ибо для того, чтобы не философствовать, незначем быть философом; во-вторых, она весьма вредна, ибо этот последний вывод можно постигнуть только ценой собственных усилий, а постигнув, нельзя применить его на деле, потому что не во власти людей позабыть познанные истины и легче отказаться от любой другой привычки, нежели от привычки философствовать. Одним словом, философия, поначалу надеясь и суля нам исцелить все наши беды, под конец приходит к тому, что желает исцелить сама себя, да и то понапрасну. Установив все это, я спрашиваю, почему следует думать, будто нынешний век ближе к совершенству и более

способен к нему, нежели прошедшие эпохи? Может быть, потому, что он лучше знает истину? Но ведь это знание, как мы видели, весьма и весьма мешает счастьем человека. Или, быть может, потому, что ныне хотя бы немногие знают, что философствовать не нужно, даже если сами и не способны от этого удержаться? Но ведь первые люди действительно не философствовали, и дикари с легкостью без этого обходятся. Какие еще новые или более сильные средства, приближающие к совершенству, есть у нас по сравнению с предками?

Тимандр. Таких средств много, и все они весьма действительны, но, чтобы рассказать о них, придется пуститься в бесконечные рассуждения.

Элеандр. Оставим их покамест. А я, возвращаясь к сказанному о себе, добавлю вот что: если в своих писаниях я вспоминаю о некоторых тягостных и печальных истинах — для того чтобы излить душу или утешить себя смехом, ни для чего другого, — я тем не менее не устаю в тех же книгах оплакивать и порицать, отвращая от него людей, то пристрастие к холодной, жалкой истине, знание которой есть источник либо небрежения и лености, либо низости души, бесчестности и несправедливости поступков, извращенности нравов; наоборот, я превозношу и восхваляю те мнения, пусть они даже ложны, которые побуждают к деяниям и мыслям благородным, доблестным, великодушным, добродетельным и полезным как для общего блага, так и для блага самого человека; те прекрасные и счастливые, хотя и пустые мечтания, которые придают цену жизни; естественные самообольщения души; и наконец, заблуждения древних, столь отличные от варварских заблуждений, которые единственно и должны были бы пасть благодаря современному просвещению и философии. Но я думаю, просвещение и философия преступили свои пределы (как это неизбежно происходит со всем человеческим) и бросили нас, едва выбравшихся из одного варварства в другое, не уступающее первому, хотя оно, порожденное разумом и знанием, а не невежеством, сказывается менее явно в теле, нежели в душе, и скорее, так сказать, прячется внутри, нежели проявляется в делах. Во всяком случае, я подозреваю или, вернее, склонен думать, что, насколько заблуждения древних необходимы для лучшего состояния просвещенных народов, настолько же невозможно их восстановить, и с каждым днем это должно делаться все более невозможно. А что касается совершенства человека, я клянусь вам, что, если бы он его достиг, я написал бы по меньшей мере целый том в похвалу роду человеческому. Но, поскольку мне не довелось это увидеть и я не надеюсь, что доведется при жизни, я готов отказать по завещанию большую часть моего добра на то, чтобы со времени, когда род человеческий станет совершенен, ему сочиняли и произносили каждый год по панегирику, или даже воздвигли ему капище либо кумир по образцу древних, или сделали все, что будет сочтено наиболее уместным.

КОПЕРНИК

(диалог)

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Первая из Ор и Солнце

Первая из Ор. Добрый день, ваше сиятельство!

Солнце. Пожалуй, лучше сказать "доброй ночи".

Ора. Лошади поданы.

Солнце. Ладно.

Ора. Утренняя звезда уже вышла.

Солнце. Ладно; пускай идет, куда ей вздумается.

Ора. Что ваше сиятельство хочет этим сказать?

Солнце. Я хочу сказать, чтобы ты оставила меня в покое.

Ора. Но, ваше сиятельство, ночь уже так затянулась, что дольше и нельзя; если мы еще замешкаемся, то смотрите, как бы не получилось какого беспорядка.

Солнце. Пусть будет что угодно, я не двинусь с места.

Ора. О, ваше сиятельство, что это значит? Уж не чувствуете ли вы себя плохо?

Солнце. Нет, нет, ничего я не чувствую, кроме полного нежелания двигаться. А ты отправляйся по своим делам.

Ора. Куда я могу отправляться, если не взойдете вы? Ведь я — первый час дня, а какой может быть день, если ваше сиятельство не соблаговолит, как заведено, выйти за ворота?

Солнце. Так будь первым часом не дневным, а ночным. Или пусть Оры ночных часов несут двойной караул, а ты отдыхай вместе с твоими подругами. Потому что я, знаешь ли, устало все время ходить кругом и светить десятку жалких тварей, живущих на комочке грязи, таком маленьком, что даже я, при моем хорошем зрении, не в силах его разглядеть. И вот нынче ночью я надумало больше не трудиться ради них, а ежели люди хотят видеть свет, пусть не гасят огней или позаботятся о себе еще как-нибудь.

Ора. Да как же, ваше сиятельство, эти бедняги обойдутся без вас, по-вашему? Ведь если им придется не гасить фонарей или припасать столько свечей, чтобы их хватило на целый день, — такой расход им будет не по карману. Если бы уже придумали, как делать этот воздух, который может гореть* и служить для освещения улиц, комнат, лавок, погребков и прочего, и все это без особых затрат, тогда бы я сказала, что беды тут большой нет. Но дело в том, что люди откроют это средство еще лет через триста без малого или, может, через триста с небольшим, а тем временем у них иссякнут и масло, и воск, и смола, и сало, так что жечь им будет нечего.

Солнце. Тогда они начнут охотиться за светлячками и за этими светящимися козявками.

Ора. А как им защищаться от холода? Ведь без помощи вашего сиятельства людям, чтобы согреться, мало будет бросить в огонь все леса. К тому же они перемрут с голоду, потому что

Земля больше не будет приносить плодов. Не пройдет и нескольких лет, как истребится само семя этих бедных тварей, которые некоторое время будут ошупью бродить по Земле в поисках пропитания и топлива для обогрева, а потом, когда съедено будет все, что можно проглотить, и погаснет последняя искра огня, перемерут все до единого, замерзнув и превратившись в подобие горного хрусталя.

С о л н ц е. А мне какое дело? Что я, нянька роду человеческому? Или нанялось им в повара, и мне положено заботиться, чтобы плоды для них поспевали вовремя и поскорее попадали к ним на стол? Почему я обязано думать о том, что несколько невидимых по своей мелкости существ в миллионах миль от меня не могут ни видеть без моего света, ни противостоять холоду? И потом, если мне нужно и впредь служить, так сказать, печью и очагом этому человеческому семейству, то разум требует, чтобы семейство, если желает обогреться, само ходило вокруг очага, а не очаг ходил вокруг дома. Раз уж Земле не обойтись без меня, пусть сама походит и потрудится ради того, чтобы я было при ней; а мне на Земле ни в чем нет нужды и искать ее незачем.

О р а. Если я правильно поняла, ваше сиятельство вот что хочет сказать: пусть ваше прежнее дело теперь возьмет на себя Земля.

С о л н ц е. Да, и теперь, и впредь, и навсегда.

О р а. Без сомнения, у вашего сиятельства есть на это веские причины помимо того, что вы вправе распоряжаться собою по собственному усмотрению. Но все же соблаговолите, ваше сиятельство, взглянуть, сколько красивых и необходимых вещей будет разорено из-за того, что вам угодно установить этот новый порядок. У дня больше не будет ни его прекрасной золоченой повозки, ни прекрасных коней, которые купались вечерами в море; и потом, не говоря уже о мелочах, мы, несчастные Оры, потеряем место на небе и из небесных служанок превратимся в земных, если, конечно, не разлетимся дымом, как я этого ожидаю. Но с этим пусть все будет, как вы пожелаете; главное — уговорить Землю, чтобы пошла вокруг вас, а это будет нелегко, потому что она двигаться не привыкла и ей покажется странным, с чего это вдруг ей надо пуститься бегом и так утомлять себя, если до сих пор она и шагу с места не делала. Ведь если ваше сиятельство теперь, кажется, начинает прислушиваться к тому, что нашептывает лень, то Земля и вовсе не склонна сейчас трудиться больше, чем раньше, как я слыхала.

С о л н ц е. При таких делах, когда нужда ее припечет, сорвется с места и будет бегать, сколько понадобится. Но как бы то ни было, сподручнее и надежнее нам отыскать какого-нибудь поэта или философа, чтобы он уговорил Землю двигаться либо погнал силой, если другим способом заставить ее не удастся. Ведь самая большая сила в таком деле — у поэтов и философов; можно даже сказать, она почти что у них в руках. Разве не поэты давным-давно, когда я по молодости прислушивалось к таким вещам, своими прекрасными песнями побудили меня по доброй воле

взвалить на плечи эту нелепую работу, словно она так занята или почетна, и бегать сломя голову — при моем росте и дородстве — вокруг какой-то песчинки? Но теперь я в зрелых годах, а потому, обратившись к философии, ищу во всем пользу, а не красоту, и от поэтических чувств мне становится если не тошно, то смешно. Теперь я ничего не желаю делать, не имея на то причины, и к тому же основательной, а так как я не вижу никакой причины предпочесть праздной и спокойной жизни жизнь деятельную, тем более что она не приносит никакого плода в награду за все труды и даже за одни только мысли (ведь в мире нет такого плода, который стоил бы хоть два гроша), я рассудило оставить другим хлопоты и тяготы, а самому жить дома на покое и без дел. Эту перемену произвели во мне помимо возраста философы, как я уже тебе сказало; этот народ нынче стал могуществен, и могущество его растет день ото дня. Так вот сейчас, когда я хочу добиться, чтобы Земля сдвинулась с места и побежала по кругу вместо меня, было бы, с одной стороны, кстати найти поэта, а не философа, потому что поэты, то одним своим вымыслом, то другим убеждая, будто все в мире ценно и значительно, отраднo и весьма прекрасно, внушают множество радостных надежд и вместе с ними нередко — желание потрудиться, а философы это желание убивают. Но, с другой стороны, философы теперь берут верх, и я сомневаюсь, чтобы Земля больше, чем я, стала слушать поэта, а даже если выслушает, это не окажет никакого действия. Так что лучше нам будет прибегнуть к помощи философа: ведь философы, хотя обыкновенно и менее способны и менее склонны побуждать других к деятельности, все же, может быть, ввиду крайнего случая сумеют сделать это вопреки своему обыкновению. Если, конечно, Земля не предпочтет лучше погибнуть, чем столько трудиться; впрочем, я и тогда не сказало бы, что она не права. Ну да ладно, посмотрим, что из этого выйдет. А ты сделай так: ступай на Землю или лучше отправь туда одну из твоих товаров, кого сама захочешь, и, если она найдет кого-нибудь из этих философов не под крышей, а на свежем воздухе, наблюдающим небо и звезды — а разум подсказывает, что такой философ должен отыскаться, ведь дольше ночи еще не бывало, — пусть не мешкая сделает его невесомым, взвалит себе на плечи и доставит сюда ко мне. А я уж позабочусь, как расположить его сделать все, что требуется. Ты меня поняла?

Ора. Поняла, ваше сиятельство. Все будет исполнено.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Коперник на террасе своего дома, лицом к востоку, смотрит в небо через свернутый в трубку лист бумаги, потому что подозрительные трубы еще не изобретены.

Коперник. До чего же она длинная! Или все часы неверны, или Солнце должно было взойти уже больше часа назад; между тем на востоке и просвета не видать, хотя ночь светлая и ясная,

как зеркало. Все звезды горят, будто в полночь. Вот и гляди теперь в Альмагест* или в Сакробоско** и требуй, чтобы тебе объяснили причину такого явления. Я не раз слышал о той ночи, которую Юпитер провел с женой Амфитриона***; и еще, помню, совсем недавно я прочел в новой книге какого-то испанца, что перуанцы рассказывают, будто однажды в старину в их краях была очень долгая ночь, которая никак не кончалась, и в конце концов Солнце взошло из некоего озера, именуемого Титикака. Но я до сих пор думал, что все это сказки, и даже был в этом уверен, как все разумные люди. И вот теперь я вижу, что разум и наука, по правде говоря, ничего не могут объяснить ни на йоту, и решаюсь думать, что и эти басни, и все остальные в таком же роде — истинная правда; я даже собираюсь обойти все озера и болота, какие смогу, — а вдруг мне случится выудить Солнце! Но что это за шорох я слышу? Как будто шорох крыльев большой птицы.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Ора последнего часа и Коперник

Ора. Коперник, я — последний час.

Коперник. Последний час? Ну что ж, тут ничего не поделаешь. Только, если можно, дай мне отсрочку, чтобы я успел до того, как умру, составить завещание и привести в порядок мои дела.

Ора. Как умрешь? Я ведь не последний час жизни.

Коперник. Так кто же ты? Последний из часов, что я читаю по Часослову?

Ора. Этот, я думаю, тебе милее всех!

Коперник. Но откуда тебе известно, что я каноник? И откуда ты вообще меня знаешь? Ведь ты назвала меня по имени.

Ора. Я все разузнала о тебе здесь внизу, у каких-то людей по дороге. А я — просто последний час дня.

Коперник. А, я понял: первый час заболел, поэтому и дня не видать еще.

Ора. Не перебивай. Дня больше вообще не будет — ни сегодня, ни завтра, ни впредь, если ты не примешь мер.

Коперник. Вот было бы дело, если бы от меня зависело наступление дня!

Ора. Я тебе скажу, какие меры. Но прежде всего тебе необходимо вместе со мной незамедлительно явиться в дом к Солнцу, моему хозяину. Остальное ты услышишь по дороге, а кое-что тебе скажет его сиятельство, когда мы прибудем к нему.

Коперник. Все это очень хорошо. Но только дорога, если я не ошибаюсь, предстоит длинная. Как я могу унести столько продовольствия, чтобы мне не умереть с голоду за несколько лет до прибытия? Да и земли его сиятельства, я полагаю, производят столько плодов, что мне и на один завтрак не хватит.

Ора. Оставь свои сомнения. Тебе недолго придется пробыть в доме у Солнца, а дорогу мы пролетим в единый миг — ведь я дух, да будет тебе известно.

Коперник. Но я-то из плоти!

Ора. Ну ладно, тебе не к лицу тратить время на такие рассуждения, ведь ты не философ-метафизик. Иди сюда, садись мне на закорки, а остальное предоставь мне.

Коперник. Ну, давай! Готово. Посмотрим, чем это неслыханное дело кончится [...]

СЦЕНА ПЯТАЯ

Коперник и Солнце

Коперник. Ваша светлость...

Солнце. Прости, Коперник, что я не приглашаю тебя сесть; здесь у нас нет кресел. Но мы быстро разделаемся с нашим делом. Ты уже слышал от моей служанки, в чем оно состоит. А я так сужу по тому, что девушка доложила мне о твоих достоинствах: ты — самый подходящий человек для того, что нам требуется.

Коперник. Сударь, я предвижу в этом предприятии множество трудностей.

Солнце. Трудности не должны пугать такого, как ты. Говорят даже, что от трудностей отвага отважного растет. Но в чем они состоят, эти трудности?

Коперник. Во-первых, хотя могущество философии велико, я не уверен, так ли оно велико, чтобы убедить Землю пуститься бегом после спокойного сидения на месте и взяться за труды после стольких веков праздности, особенно в нынешние времена, отнюдь не героические.

Солнце. Не сможешь ее убедить — заставишь силой.

Коперник. Охотно сделал бы это, ваша светлость, будь я Геркулесом или по крайней мере Роландом, а не каноником из Вармии.

Солнце. Ну и что с того? Разве не рассказывают о вашем древнем математике*, который говорил, что, если ему дадут место вне мира, он берется, находясь в этом месте, передвинуть небо и Землю? А тебе не нужно двигать небо, и ты сейчас далеко от Земли. Значит, если ты не хуже этого древнего, то не может быть, чтобы тебе оказалось не под силу заставить ее двигаться волей или неволей.

Коперник. Сударь мой, это можно бы сделать, да нужен рычаг, и такой длинный, что не только у меня, но и у вашей светлости, как бы ни были вы богаты, и вполнину не хватит средств ни на материал, ни на работу. Но еще больше другая трудность, о которой я сейчас скажу, вернее, это целый клубок трудностей. До сих пор Земле принадлежало первое место в мире, то есть срединное, где она (вы сами это знаете) пребывала

в неподвижности, и делать ей было нечего, кроме как поглядывать вокруг, а все другие тела во вселенной, самые большие и самые маленькие, испускающие свет и темные, непрестанно кружились над нею, под нею или около нее с такой поспешностью, и усердием, и пылом, что диву даешься, едва об этом подумаешь. И так как все в мире было будто бы занято у нее на службе, то и вселенная казалась подобием двора, где Земля восседает, словно на троне, а другие тела — вокруг нее, словно придворные, и телохранители, и прислужники, исполняющие каждый свою обязанность. Поэтому Земля и на самом деле всегда воображала себя повелительницей мира, и при том положении вещей, какое существовало до сих пор, поистине нельзя сказать, чтобы она рассуждала неверно: я не стал бы отрицать, что у нее есть все основания так думать. Что же вам сказать о людях? Мы мним себя (и всегда будем мнить) первейшими и главнейшими из земных тварей, и поэтому каждый из нас, даже одетый в лохмотья и не имеющий сухой корки, чтобы грызть ее, с уверенностью считает себя повелителем — не Константинополя, не Германии и не полумира, подобно императорам римским, но всей вселенной: повелителем Солнца, планет, всех видимых и невидимых звезд, а также конечной целью существования звезд, планет, вашего сиятельства и вообще всех вещей. А теперь, если мы хотим, чтобы Земля покинула это свое срединное место, если мы добьемся, чтобы она бежала, вертелась, постоянно трудилась и уставала, исполняя то, что до сего времени делали другие небесные тела, словом, чтобы она стала одной из числа планет, то вследствие этого ее величество Земля и их величества Люди должны будут убраться с престола и отказаться от власти, оставшись, однако, при своих лохмотьях и при своих бедах, — а бед немало.

Солнце. К чему ты ведешь свои рассуждения, отец Николай? Быть может, тебя грызет совесть, потому что это дело кажется тебе оскорблением величества?

Коперник. Нет, ваше сиятельство; ведь ни в кодексах, ни в дигестах*, ни в трактатах по гражданскому, или по имперскому, или по международному праву, ни в книгах о естественном праве, сколько я помню, нет ни слова о таком оскорблении величества. Но если говорить по сути, наше предприятие не просто материального свойства, как кажется на первый взгляд, и последствия его не принадлежат одной лишь физике: ведь оно опрокинет иерархию вещей и порядок всего сущего, изменит цели всего созданного и поэтому произведет величайший переворот в метафизике и вообще во всем, что относится к умозрительной стороне познания. И в итоге люди, если смогут и захотят рассуждать здраво, обнаружат, что они совсем не то, чем были или воображали себя до сих пор.

Солнце. Ну, сынок, уж эти-то вещи меня вовсе не пугают; ведь я уважаю метафизику ничуть не больше, чем физику, или даже алхимию, или, если тебе угодно, некромантию. Люди будут

тем, что есть, и этого с них довольно; а если им это придется не по душе, они начнут рассуждать наыворот, вопреки очевидности вещей, — что для них не так уж трудно, — и так по-прежнему смогут воображать себя кем захотят: баронами, или герцогами, или императорами, или кем угодно повыше. Им от этого будет утешение, а мне ни малейшей докуки не будет.

Коперник. Ну что ж, оставим людей и Землю. Но взгляните, ваше сиятельство, что должно, по всем причинам, произойти на других планетах. Когда они увидят, как Земля делает то же самое, что они, и обнаружат, что она стала одной из них, им не захочется больше оставаться просто гладкими, ничем не украшенными шарами, пустынными и унылыми, какими они всегда были; они не потерпят, чтобы у Земли у одной было столько украшений, и тоже пожелают завести свои реки и моря, свои горы и растения, и помимо всего прочего — своих животных и своих обитателей: ведь, на их взгляд, им не будет больше причины хоть в чем-нибудь отставать от Земли. Вот вам и еще один величайший переворот в мире, бесчисленное множество новых семейств, новых народов, которые — вы увидите! — в один миг вырастут повсюду, как грибы.

Солнце. Тебе-то что? Пусть вырастают, пусть множатся, сколько смогут: моего света и тепла хватит на всех, мне даже не придется увеличивать расходы, и мир достаточно изобилен, чтобы прокормить их, одеть, приютить и, не влезая в долги, щедро всем обеспечить.

Коперник. Но если ваше сиятельство задумается об этом немного поглубже, оно увидит, что возникнет еще такая смута. Звезды, увидев, что вы сидите уже не на облучке, а на престоле, и что вас окружает прекрасный двор и народ планет, захотят не только сидеть и отдыхать подобно вам, но и царствовать; а кто царствует, тому надо иметь подданных, и поэтому каждая из них пожелает завести свои собственные планеты по вашему примеру. А этим новым планетам подобает быть населенными и украшенными, как Земля. Что говорить тогда о несчастном роде человеческого, уже раньше низведенном почти до полного ничтожества перед лицом одного лишь нашего мира! До чего он опустится, когда вдруг возникнет столько тысяч других миров и не останется самой крошечной звездочки в Млечном Пути, у которой не было бы своего мира? Но даже если заботиться лишь о вашей выгоде, то я скажу вот что: до сих пор вы были если не первым во вселенной, то по крайней мере вторым после Земли и не имели себе равных, потому что звезды не осмеливались тягаться с вами; а при этих новых порядках во вселенной окажется столько же равных вам, сколько будет звезд со своими мирами. Поэтому смотрите, как бы перемена, которую мы затеяли, не нанесла ущерба вашему достоинству.

Солнце. Разве ты не помнишь, что сказал ваш Цезарь, когда, переваливая через Альпы, проходил мимо селения каких-то несчастных варваров? Он объявил, что предпочел бы быть

первым в этом селении, нежели вторым в Риме. И мне тоже больше по душе быть первым в нашем мире, чем вторым во вселенной. Но теперь я не из честолюбия стремлюсь изменить порядок в мире, а только из любви к покою или, если называть вещи своими именами, по лени. Мне мало заботы, будет у меня ровня во вселенной или не будет, на первом ли я окажусь месте или на последнем, — ведь я, в отличие от Цицерона*, больше думаю о покое, чем о достоинстве.

Коперник. Что до покоя, ваше сиятельство, то я, со своей стороны, приложу все силы, чтобы вам его добыть. Но сомневаюсь, что он будет долог, даже если это нам удастся. Во-первых, я почти уверен, что спустя немного лет и вы будете вынуждены завертеться на месте, как колодезный блок или жернов. И потом, я подозреваю, что в конце концов, по истечении более или менее долгого срока, вам придется вновь пуститься бегом. Я не говорю — бежать вокруг Земли, но ведь для вас большой разницы тут нет. Быть может, это самое ваше вращение вокруг себя и заставит вас снова выйти в путь. Но довольно, будь по-вашему, — несмотря на все неудобства и вопреки всем прочим соображениям, я постараюсь услужить вам, если вы упорствуете в своем намерении; лишь бы вы, если мне это не удастся, знали, что я не смог, и не сказали, что мне не хватило мужества.

Солнце. Ну хорошо, Коперник, пробуй!

Коперник. Остается только одно затруднение.

Солнце. Скажи, какое.

Коперник. Я не хотел бы за это дело быть сожженным живо, наподобие Феникса; ведь если это случится, мне, я уверен, не удастся воскреснуть из собственного пепла, как воскресает эта птица, а значит, и не придется впредь лицезреть вас, ваше сиятельство.

Солнце. Послушай, Коперник: ведь тебе известно, что в те времена, когда вы, философы, едва появились на свет, то есть тогда, когда верх брала поэзия, я был прорицателем**. Сейчас позволь мне предсказать в последний раз и, в память об этой моей древней силе, поверь мне. Я говорю тебе, что в будущем кому-нибудь из тех, кто одобрит сделанное тобою, может быть, и достанутся ожоги или еще что-либо в этом роде; ты же, сколько я могу знать, ничуть не пострадаешь из-за нашей затеи. А если ты хочешь быть до конца уверенным, то действуй так: книгу, которую ты напишешь, посвяти папе***. Обещаю тебе, что таким образом ты даже не потеряешь сана каноника.

РАЗГОВОР ПЛОТИНА И ПОРФИРИЯ

"Однажды, когда я, Порфирий****, вознамерился лишиться себя жизни, Плотин***** заметил это и, неожиданно придя ко мне и застав меня дома, сказал, что такое намерение может быть не плодом рассуждения здравого ума, но плодом какого-то ме-

ланхолического недуга; потом он заставил меня перебраться в другой край". (Порфирий в жизнеописании Плотина. То же самое — в жизнеописании Порфирия, составленном Евнапием*, который добавляет, что Плотин подробно изложил в книге те разговоры, которые они вели с Порфирием по этому случаю.)

Плотин. Порфирий, ты знаешь, что я тебе друг, и знаешь, как ты мне дорог; поэтому ты не должен удивляться, что я с некоторым пристрастием слежу за твоими поступками и речами и за твоим состоянием: ведь это потому, что я всем сердцем к тебе привязан. И вот уж несколько дней я замечаю, что ты печален и задумчив; у тебя и взгляд какой-то особенный, и порой у тебя вырываются какие-то особенные слова. Говоря без долгих подступов и без околичностей, мне кажется, что ты задумал что-то нехорошее.

Порфирий. Как так? Что ты имеешь в виду?

Плотин. Ты задумал учинить что-то нехорошее над самим собой. Слушай, Порфирий, не отпирайся, если это правда, не оскорбляй любви, которую мы так давно питаем друг к другу. Я знаю, тебе неприятно, что я затеял этот разговор; но в деле такой важности я не мог смолчать, да и ты должен, не досадуя, обсудить его с другом, который тебя любит, как самого себя. Поговорим спокойно и обдумаем все доводы; ты сможешь излить мне душу, пожаловаться и поплакать, ведь я этого заслужил, и потом я не буду мешать тебе сделать то, что мы оба сочтем и разумным, и полезным для тебя.

Порфирий. Я никогда не отказывал тебе ни в одной твоей просьбе, мой Плотин. И теперь я признаюсь тебе в том, что хотел было удержать в тайне и в чем ни за что на свете никому другому не признался бы. То, что ты вообразил себе относительно моих намерений, правда. Если тебе угодно, чтобы мы пустились в рассуждения об этом предмете, ладно, я согласен и тут сделать по-твоему, хотя моя душа и противится, ибо такие решения, как видно, любят полное молчание, и дух, предавшийся таким мыслям, более чем когда-либо еще желает одиночества и сосредоточения в самом себе. Я даже сам начну этот разговор и скажу тебе, что в моем намерении повинно не какое-нибудь случившееся со мной или ожидаемое несчастье, но лишь то, что жизнь мне постыла. Мое отвращение к ней так сильно, что стало подобно боли и судороге, я не только постигаю умом тщету всего, что встречается мне за день, но и вижу ее, ощущаю на вкус и на осязание, так что не только мой рассудок полон ею, но и мои чувства, даже телесные (я выражаюсь странно, но такой способ выражения лучше всего подходит к случаю). Об этом моем расположении духа ты не можешь сказать, что оно неразумно, хотя я сам легко соглашусь, что в большой своей части оно происходит от какого-то телесного недуга. Несмотря на это, оно вполне разумно, больше того, всякое другое расположение духа,

благодаря которому люди так или иначе живут и даже считают жизнь и все человеческие дела хоть мало-мальски существенными, не имеет ничего общего с разумом и зиждется на обмане чувств или воображении. Нет ничего разумнее скуки. Все наслаждения пусты. Само страдание — я имею в виду душевные страдания — тоже чаще всего пусто, потому что, если ты взглянешь на его причину и повод и хорошенько рассмотришь их, они окажутся или ничтожными, или вовсе несуществующими. То же самое можно сказать и о страхе, то же — и о надежде. Только скука, порождаемая пустотой всего сущего, сама не есть ни пустота, ни обман, потому что зиждется она не на ложной основе. Можно даже сказать так: все, сколько есть в человеческой жизни существенного и подлинного, сводится к скуке и в ней заключается, коль скоро остальное пусто и тщетно.

Плотин. Пусть будет так. Я не хочу оспаривать тебя в этой части. Но мы должны теперь обдумать замышляемое тобою дело, рассмотрев его само по себе, а не так широко. Я не стану говорить тебе о том, каково суждение Платона*, ты сам его знаешь: не дозволено человеку, на манер беглого раба, своей властью избавляться от той как бы тюрьмы, где он находится по воле богов, то есть добровольно лишать себя жизни.

Порфирий. Прошу тебя, Плотин, не будем сейчас трогать и Платона, и его учение, и его вымыслы. Одно дело — хвалить, истолковывать, отстаивать некоторые его суждения в школах и в книгах, другое — следовать им в практической жизни. В школе и в книгах пусть мне будет позволено соглашаться с чувствами Платона и руководствоваться ими, потому что так теперь принято, но в жизни я, мало сказать, не согласен с ними — они мне претят. Я знаю, как говорят обычно: Платон, мол, рассеял по своим писаниям мысли о будущей жизни с тем, чтобы люди пришли в сомнение и неуверенность насчет посмертного их удела и чтобы это неведение и страх перед будущими муками удерживали их при жизни от несправедливых и злых дел. Если бы я считал Платона виновником этих сомнений и суеверий, если бы полагал, будто он сам их придумал, я бы сказал ему: ты видишь, Платон, до чего природа, или судьба, или необходимость, или другая сила — создательница и повелительница вселенной, — была и всегда остается враждебной нашему роду. По множеству, даже по бесчисленному множеству причин можно оспаривать у нас то превосходство по всем статьям, на которое мы притязаем среди прочих живых существ, но никому не отыскать причины, по которой можно у нас отнять первенство, приписываемое нам древним Гомером**, — первенство в несчастьях. Однако природа предназначила для нас как лекарство от всех бедствий смерть, которой те, кто не слишком привык рассуждать, не так уж боятся, а иные даже и желают. В нашей жизни, полной мук, ожидание конца и мысль о нем могли бы стать для нас сладчайшим утешением. Но ты, возбужив в людских душах страшное сомнение, лишил эту мысль всякой сладости и сделал ее горше

всех остальных. По твоей вине несчастные смертные, как мы видим, больше боятся гавани, чем бури, и от своего единственного лекарства и отдохновения убегают душой к насущным горестям и мучениям жизни. Ты был к людям более жесток, нежели судьба, необходимость или природа. И так как это сомнение не может быть никоим образом разрешено, а наши души — избавлены от него, ты навсегда обрек себе подобных на то, что смерть для них полна тревоги и кажется им большим несчастьем, чем жизнь. Между тем как все животные умирают безо всякого страха, человек твоими стараниями навсегда лишен покоя и безмятежности духа в свой последний час. Только этого, о Платон, не хватало в наших несчастьях.

Я уж не говорю о том, что цель, которой ты стремился достичь, — то есть удержать людей от насилия и несправедливости, — так и осталась недостигнутой. Ведь эти сомнения и суеврия пугают людей в последние часы, когда они и так неспособны вредить; а в течение всей жизни они нередко внушают страх людям честным, которые стремятся не только не вредить, но и быть полезными другим, или ужасают робких и хилых телом, которые по самой природе своей не склонны к насилиям и злодеяниям и не имеют на них сил ни в сердце, ни в мышцах. Но люди дерзкие и сильные и те, кто не чувствителен к могуществу воображения, — словом, такие, кому нужна помимо закона еще какая-нибудь узда, — не знают подобного страха и не удерживаются им от дурных поступков: мы это видим на ежедневных примерах, и о том же ясно свидетельствует опыт многих столетий, от твоих дней вплоть до наших. Хорошие законы, а еще больше — хорошее воспитание, просвещающее нравы и умы, помогают сохранять в людском обществе справедливость и кротость, потому что души, лишённые грубости и несколько смягченные просвещением, приученные обдумывать все вокруг и прибегать к рассудку, наверняка никогда не посмеют поднять руку на жизнь сотоварищей и обогреть ее кровью, чаще всего чужды желания повредить другим и в редких случаях с трудом решаются подвергнуть себя опасностям, с которыми сопряжено нарушение закона. Это благое действие достигается уже не грозными вымыслами, не печальными предрассудками и верой в чудовищные и страшные вещи, которые, подобно тому как обыкновенно делают это многочисленность и суровость налагаемых государством наказаний, только увеличивают, с одной стороны, низость души, с другой — ее жестокость, свойства более всего враждебные и пагубные для всякого человеческого общества.

Но ты еще показал и посулил награду добрым и честным. Какую награду? Некое состояние, исполненное, как нам кажется, одной лишь скуки и еще более тягостное, чем жизнь. Каждому очевидна горечь обещанных тобою мук, но сладость обещанных тобою наград скрыта тайной и непостижима для человеческого ума. Поэтому твои награды бессильны привлечь нас на путь честности и добродетели. И поистине, если мало кто из злодеев,

убоявшись твоего ужасного Тартара, удержался от преступления, то я осмеливаюсь утверждать, что ни один порядочный человек, творя доброе дело, пусть и самое ничтожное, никогда не был подвигнут на него желанием заслужить твой Элизий. Для нашего воображения он даже сходства не имеет с тем, чего стоило бы пожелать. Но и при том, что даже верное ожидание этого блага не слишком бы нас утешало, какую надежду на него ты оставил самым добродетельным, самым справедливым, если твой Минос и твои Эак и Радамант, строгие и неумолимые судьи, не прощают даже тени, даже малейшего следа вины? Какой человек может считать себя столь чистым и незапятнанным, как ты требуешь? Так что достичь этого счастья, каково бы оно ни было само по себе, почти что невозможно, и самого твердого сознания прожитой честно и трудолюбивой жизни мало для того, чтобы в последний раз избавить смертного от неведения его будущей участи и страха перед карой. Так через твоё учение страх, одолевая надежду, становится повелителем человека, и плод твоего учения в конечном счете состоит в том, что людской род, являясь удивительный пример несчастной доли при жизни, не надеется, что и смерть положит конец его бедствиям, но ждет после смерти вящих горестей. Вот и выходит, что ты жестокостью превзошел не только природу и судьбу, но и самого свирепого тирана, самого безжалостного палача, какие были когда-либо в мире.

Но что есть бессердечнее, нежели твой указ, запрещающий человеку положить конец своим страданиям, горестям и тревогам, победив страх смерти и добровольно лишив себя жизни? Конечно, у других животных не появляется желания покончить с собою, но ведь и несчастья их не так обширны, как несчастья людей, к тому же они никогда бы не нашли в себе мужества добровольно оборвать свою жизнь. А если бы склонность к этому была заложена в природе диких животных, ничто не помешало бы им умереть, и никакой запрет, никакое сомнение не отняло бы у них способности избавиться от своих бед. Значит, и тут по твоей вине животные оказываются выше нас, и та свобода, которую имели бы дикие звери, случись им воспользоваться ею, та свобода, в которой даже природа, столь к нам скупая, не отказала нам, по твоей вине отнята у человека. И выходит, что единственный род живых существ, способный желать смерти, один в своей смерти не волен. Природа, судьба и фортуна непрестанно бичуют нас до крови, терзая невыносимой болью; ты спешишь к нам — и связываешь нас по рукам, сковываешь по ногам, так что мы не можем ни обороняться, ни уйти из-под их ударов. Поистине, когда я созерцаю огромность человеческого несчастья, я думаю, что больше всего людям следует обвинять в нем твоё учение и что они вправе сетовать на тебя горше, чем на природу. Она ведь хотя и не предназначила нас, по правде говоря, к иной жизни, кроме несчастной, но, с другой стороны, дала нам возможность оборвать ее когда угодно. Так что, во-первых, нельзя назвать нашу участь совсем уж жалкой, если

в моей воле сделать ее краткой; и, во-вторых, пусть человек на деле и не решится уйти из жизни, но сама мысль о возможности по первому желанию избавиться от жалкой участи может стать такой опорой и таким облегчением в любых бедствиях, что благодаря ей будет нетрудно их перенести. Ведь о непереносимой тяжести наших несчастий красноречивей всего прочего говорит как раз наше сомнение в том, не окажется ли, если мы самовольно оборвем свою жизнь, будущая мука сильнее нынешней. И не только сильнее, но и такой несказанно жестокой и долгой, и к тому же неведомой, — между тем как настоящее известно нам, — что страх перед этою мукой, которую нечем измерить и не с чем сравнить, непременно возьмет в нас верх над ощущением любого несчастья в этой жизни. Тебе, Платон, легко было возбудить это сомнение, — но прежде исчезнет людское племя, чем оно будет разрешено. Так что никогда не возникало и не возникнет ничего более бедственного и пагубного для рода человеческого, чем твой гений.

Так бы я сказал, если бы думал, что Платон сам создал и измыслил это учение; но мне хорошо известно, что это не так. Во всяком случае, об этом предмете сказано достаточно, и мне бы хотелось, чтобы мы оставили его.

П л о т и н. Ты сам знаешь, Порфирий, как я люблю Платона; но это не причина приводить доводом его авторитет, а тем более в разговоре с тобою и о таком деле; я хочу, чтобы мои доводы зиждились лишь на разуме. И если я мимоходом коснулся Платонова суждения, то с одной лишь целью — воспользоваться им как своего рода введением к речи. И вот, возвращаясь к доказательствам, которые я намеревался привести, скажу, что не только Платон или какой-нибудь еще философ, но сама природа, по-видимому, учит нас, что покидать мир лишь по собственной воле — дело недозволенное. Мне нет нужды долго распространяться на этот счет: ведь если ты хоть немного подумаешь, то непременно поймешь сам, что убивать себя своей рукой без необходимости противно природе. Или, лучше сказать, это самый противоестественный поступок, какой мы можем совершить. Потому что весь порядок вещей будет опрокинут, если мы начнем сами себя уничтожать. Как видно, природе претит, если кто-нибудь воспользуется жизнью для того, чтобы эту жизнь угасить, если наше бытие послужит нам для того, чтобы не быть. Кроме того, если что-нибудь приказано и заповедано нам природой, то, конечно, самая первая и строгая ее заповедь не только людям, но и всякой твари во вселенной, — заботиться о собственном сохранении и добиваться его всеми способами; а уж это ли не противоположно самоубийству? И помимо всяких доказательств разве мы не чувствуем, куда влечет нас наша склонность, заставляя нас вопреки собственной воле ненавидеть смерть и бояться ее? Следовательно, коль скоро самоубийство противно природе, — а насколько противно, мы видели сами, — я не могу счесть его дозволенным.

Порфирий. Я досконально рассмотрел и эту сторону вопроса; ведь и ты сам сказал, что невозможно душе не обратить на нее внимания, едва лишь человек задумывается об этом предмете. Мне кажется, что на твои доводы можно ответить многими другими доводами и по-разному, но я постараюсь быть кратким. Ты сомневаешься, дозволено ли нам умереть без необходимости; я тебя спрашиваю, дозволено ли нам быть несчастными? Природа запрещает убивать себя. Мне было бы странно, если бы она, не имея желаний или власти сделать меня счастливым либо освободить от бедствий, способна была обязать меня жить. Пусть природа наделила нас врожденной любовью к самосохранению и ненавистью к смерти, — но не в меньшей мере она дала нам и ненависть к несчастью и любовь к собственному благу; больше того, эти две последние склонности настолько же сильнее и важнее первых, насколько счастье есть цель каждого нашего поступка и всякой нашей любви и ненависти, и насколько ни смерти не избегают, ни жизни не любят ради них самих, но лишь в той мере, в какой любят собственное благо и ненавидят зло и ущерб. Как же может быть противоестественной попытка избежать несчастья единственным способом, который есть у людей? Способ этот — уйти из мира, потому что при жизни я не могу избавиться от несчастий. Как может быть правдой то, что природа запрещает мне избрать смерть — несомненное благо для меня — и отречься от жизни, если она для меня явное зло и ущерб, потому что не может дать мне ничего, кроме страдания, а оно дается ею с неизбежностью?

Плотин. Во всяком случае, все это меня не убедит в том, что убивать себя своею рукой не противоестественно: ведь наше чувство слишком явно чурается и страшится смерти. И потом мы видим, что звери, которые, если по принуждению человека не утратили привычного пути, во всем поступают в соответствии с природой, не только никогда не прибегают к самоубийству, но и остаются чуждыми ему даже в муках и страданиях. Так что, в конце концов, только из числа людей находятся немногие, учиняющие над собой такое, — да и то не среди народов, живущих естественной жизнью: там не отыщется ни одного, кого бы не устрасил подобный поступок, даже если бы о нем имели понятие или могли вообразить себе нечто подобное. Только среди нас, испорченных и извращенных, живущих в разладе с природой, может быть такое.

Порфирий. Ну что ж, я готов согласиться с тобою: этот поступок противоестествен, пусть так. Но какое это имеет значение, если мы — то есть люди просвещенные* — уже перестали быть естественными существами? Сравни нас — я не говорю с любым, каким угодно, родом живых тварей, но и с теми племенами, что живут в дальних краях, в Индии или в Эфиопии, и сохраняют, по слухам, первобытные дикие нравы; едва ли ты скажешь, что мы и те люди принадлежим к одному роду тварей. И я всегда был уверен, что это наше, так сказать, преображение,

эта перемена нашей жизни и особенно нашей души сделали нас неизмеримо более несчастными. Без сомнения, среди этих диких племен никто не чувствует желания покончить с собою; больше того, там даже не могут себе представить такого, чтобы смерти можно было желать, между тем как люди — скажем так — просвещенные, чьи нравы подобны нашим, желают ее очень часто, а некоторые даже и предают ей себя. Так что же, если просвещенному человеку дозволено и жить вопреки природе и вопреки природе быть несчастным, почему ему не дозволено умереть вопреки природе? Ведь от новых несчастий, протекающих из изменения нашего изначального состояния, мы не можем избавиться иначе как через смерть; что же касается возврата к прежнему состоянию, предначертанному нам природой, то такой возврат вряд ли возможен и, может быть, даже совсем невозможен и во внешней нашей жизни, а во внутренней, гораздо более важной, его и наверняка не может быть. Есть ли что менее естественное, нежели искусство врачевания, — и то, которое действует рукою, и то, которое стремится повлиять снадобьями? В них обоих и совершаемые действия, и вещества, к которым обыкновенно прибегают, и орудия, и приемы — все это по большей части очень далеко от природы, и ни животные, ни дикари их не знают. Но поскольку сами болезни, которые врачевание стремится исцелить, неестественны и обязаны мы ими лишь одной причине — просвещению, то есть порче нашего изначального состояния, постольку и искусство это, хотя и неестественное, оказывается и признается уместным и даже необходимым. Так же самоубийство, освобождающее от несчастий, на которые нас обрекла эта порча, если и противно природе, то это еще не значит, что оно достойно осуждения: от неестественного зла нужны неестественные лекарства. Было бы жестоко и несправедливо, если бы разум, — который, чтобы усугубить несчастья, от природы назначенные нам, во всем перечит этой природе, — здесь вступил с нею в союз, отнял у нас последний оставшийся выход — единственный, который указывает нам этот самый разум, — и принудил нас упорно держаться за нашу жалкую участь.

Истина такова, Плотин. Первобытная природа древних людей и диких, непросвещенных племен — это уже не наша природа; привычка и разум создали в нас другую природу, которая заменила — и уже навсегда — ту, прежнюю. Изначально для человека было неестественно предавать себя добровольной смерти, — но неестественно было и желать ее. Теперь и то, и другое стало естественным, то есть сообразным нашей новой природе, которая все еще, как и наша древняя природа, стремится и порывается к тому, что кажется наилучшим для нас, и потому нередко заставляет нас желать и искать поистине величайшего блага для человека — смерти. Тут нет ничего удивительного: ведь эта наша вторая природа руководится и направляется больше всего разумом, а он с уверенностью утверждает, что смерть есть в дейст-

вительности не зло, как это внушает нам первичное впечатление, а, наоборот, единственное действительное лекарство от всех наших зол, самое лучшее из всего, чего должен желать человек. И вот я спрашиваю: соизмеряют ли просвещенные люди свои поступки с нашей первобытной природой? Когда и какие поступки? Нет, они соизмеряют их не с первобытной, а с другой нашей природой, то есть с разумом. Почему же это единственное деяние — лишение себя жизни — должно соизмеряться не с новой природой и не с разумом, а с первобытной природой? Почему первобытная природа, давно уже не дающая законов нашей жизни, должна оставаться законодательницей смерти? Почему бы разуму не управлять смертью, если он управляет жизнью? И мы видим, что на самом деле и разум, и многие несчастья нашего нынешнего состояния не только угадают — больше всего у людей, обремененных бедами, — врожденный ужас перед смертью, о котором ты говорил, но и превращают его в любовь и желание, как я только что сказал. Когда же возникают эти любовь и желание, которые, согласно природе, не могли бы возникнуть, и когда существуют несчастья, порождаемые переменной в нас, а не природой, тогда становится ясно, каким несовместимым противоречием всему этому был бы запрет убивать себя. Мне кажется, этого достаточно, чтобы выяснить, дозволено ли самоубийство. Остается выяснить, полезно ли оно.

П л о т и н. Об этом, мой Порфирий, тебе незачем говорить со мною: ведь если такой поступок дозволен и при том, что я не допускаю мысли, будто несправедливое и незаконное может быть полезно, у меня не остается сомнений в его полезности. Говоря коротко, вопрос тут сводится к тому, что лучше: не страдать или страдать. Я отлично знаю, что почти все люди предпочли бы страдать, но при этом и наслаждаться, нежели не страдать и не наслаждаться: так сильны в душе желание и, я бы сказал, жажда наслаждений. Но выбирать приходится не между этими двумя возможностями, потому что удовольствие и наслаждение, говоря прямо и откровенно, так же недоступны, как страдание неизбежно. И страдание, говорю я, будет так же непрерывно, как непрерывны в нас желание наслаждений и потребность счастья, никогда не удовлетворяемые; при этом я оставляю в стороне неоднократные, случайные страдания, которые встречаются в жизни каждого: эти страдания тоже неизбежны, потому что чаще или реже, того или другого свойства, они не могут не постичь даже самого удачливого человека на свете. Но ведь, говоря по правде, человеку довольно знать, что, живи он дольше, его неизбежно ожидает страдание, пусть даже единственное и краткое, — и он сочтет разумным предпочесть смерть жизни: ибо, выбрав жизнь, он ничем не будет вознагражден, коль скоро в ней не может быть ни блага, ни подлинного наслаждения.

П о р ф и р и й. По-моему, одной скуки, одного отсутствия всякой надежды изменить к лучшему свое положение и свою участь достаточно, чтобы желание окончить жизнь родилось даже у че-

ловека, чье положение и участь не только не тяжелы, но, наоборот, блистательны. Я не раз удивлялся, не встречая нигде упоминаний о государях, которые захотели бы умереть от одной тоски, пресытившись собственным положением, — не в пример частным лицам, о которых мы то и дело слышим и читаем подобные вещи. Таковы были и люди, которые, услышав Гегесия*, философа киренской школы, публично рассуждавшего о том, сколь жалка человеческая жизнь, выходили после чтения и кончали с собой; по этой причине Гегесий и получил прозвище Хвалитель смерти, и говорят, как ты знаешь, что в конце концов царь Птолемей запретил ему впредь рассуждать об этом предмете. А если мы находим порой рассказы о государях, покончивших с собой, — например, о царе Митридате, о Клеопатре, о римлянине Отоне** и о некоторых других, — то всех их толкнули на это превратности и бедствия, в которых они оказались в тот миг, и желание избежать еще более тяжких зол. Мне же кажется вероятным, что государи легче всех других могут почувствовать такую ненависть к собственному сану и такое отвращение ко всему и вся, что от них хочется умереть. Ведь монархи, находясь на вершине того, что именуется человеческим счастьем, владея всеми так называемыми жизненными благами, не могут надеяться на большее счастье и большие блага (или только на очень немногие), а значит, не могут и посулить себе, что их завтрашний день будет лучше сегодняшнего. Настоящее же, каким бы оно ни было счастливым, всегда печально и не мило, ибо по душе нам только будущее. Как бы то ни было, мы можем наконец понять, что, помимо страха перед ожидающим нас в ином мире, людям мешает по доброй воле покинуть жизнь и заставляет их любить ее и предпочитать смерти только простая и очевидная ошибка в расчете и в измерении — та ошибка, которую делают, подсчитывая, измеряя и сравнивая свою выгоду и свой ущерб. Эту ошибку человек, можно сказать, совершает — иногда сознательно и намеренно, иногда просто поступая так, а не иначе, — всякий раз, когда он приемлет жизнь, то есть соглашается жить и тем довольствуется.

П л о т и н. Поистине все это так, мой милый Порфирий. И все же позволь мне дать тебе совет и терпеливо выслушай мою просьбу: в том, что ты задумал, внемли не голосу разума, а голосу природы. Я имею в виду первобытную природу — нашу родительницу и мать всего мироздания; а она, хоть и не являет себя такой уж любящей и делает нас несчастными, все же была менее враждебна нам и не принесла столько вреда, сколько мы сами нашими талантами, нашим неотступным и непомерным любопытством, нашими мудрствованиями, рассуждениями, снами, мнениями и жалкими учениями; она даже постаралась принести нам исцеление в наших несчастьях, придав им иной облик и во многом скрыв от нас их меру. И хотя наша порча велика, а власть природы в нас ослабела, все же она не исчезла совсем, да и мы изменились и обновились не настолько, чтобы в каждом

из нас не осталось большой доли древнего человека. Пусть тут виновата наша глупость, но это всегда будет так, и иначе быть не может. Возьмем хоть то, что ты называешь ошибкой в расчете; это поистине ошибка, столь же грубая, сколь очевидная, но она совершается непрестанно, и не только глупыми и слабоумными, но и одаренными, учеными и мудрыми, и будет совершаться всегда, если только природа, произведшая на свет наш род, не истребит его — сама природа, а не человеческий рассудок и руки людей. И поверь мне, никакое отвращение к жизни, никакое отчаяние, никакое чувство ничтожности всех вещей, тщетности всех забот, никакое ощущение одиночества или ненависть к миру и к себе не могут длиться долго, хотя именно такое расположение духа разумно, а противоположное ему — неразумно. При всем этом проходит немного времени, слегка меняется наше телесное состояние, — и понемногу, а иногда и вдруг, по мельчайшим, едва заметным причинам мы снова обретаем вкус к жизни, у нас появляется то одна, то другая новая надежда, а все человеческое вновь принимает такую видимость, что кажется достойным стараний — кажется не рассудку, а, если можно так сказать, чувству души. И этого бывает достаточно, чтобы человек, хорошо знающий истину и не сомневающийся в ней, вопреки разуму упорно не хотел уходить из жизни и продолжал жить, как все, потому что именно это чувство, а не рассудок направляет нас.

Пусть убивать себя разумно, а приспособливать душу к жизни противно разуму; и все же такой поступок дик и бесчеловечен. И выбирая одно из двух: быть зверем и в соответствии с разумом или человеком в согласии с природой, — нельзя предпочесть первое. А почему мы не хотим принимать в расчет друзей, и родных нам по крови — детей, и братьев, и родителей, — и жену, и наших близких и домочадцев, к которым мы привыкли после долгой совместной жизни? Почему мы не хотим вспомнить, что, умирая, мы должны покинуть их навсегда, почему не испытаем в сердце горя от такой разлуки и не подумаем о том, что будут чувствовать они, потеряв дорогого или близкого человека и потрясенные горечью случившегося? Я знаю, что душа мудреца не должна быть слишком мягкой и поддаваться жалости и скорби до такой степени, что он, потрясенный ими, упадет на землю, лишится чувств, словно трус, станет без удержу проливать слезы, короче, делать все, чего не подобает делать ясно и до конца постигнутому, что есть человеческая жизнь. Но эту твердость души следует выказывать в тех печальных случаях, которые посылает судьба и которых нельзя избежать, — не следует злоупотреблять ею для того, чтобы по доброй воле навсегда лишать дорогих нам людей нашего присутствия, нашей беседы, нашей близости. Не испытывать никакого горя, покидая или теряя родных, друзей, товарищей, и даже не быть способным горевать в таких обстоятельствах — ведь это присуще не мудрецу, а варвару. Причинить самоубийством горе друзьям и домашним и почесть это ни за что — такое свойственно лишь тому, кто

не заботится о других и слишком заботится о себе самом. А любовью, кто сам себя убивает, поистине не заботится и не думает о других и ничего, кроме собственной выгоды, не ищет; он, так сказать, отбрасывает от себя мысль о близких и обо всем роде человеческом, и поэтому в самоубийстве проявляется самое неприкрытое, самое отвратительное или, по крайней мере, самое неприглядное, самое неблагородное себялюбие, какое только можно найти в мире.

И наконец, Порфирий, пусть тяготы и бедствия жизни многочисленны и непрерывны, однако если нет чрезвычайных несчастий и невзгод (а у тебя сегодня их нет), нет острой телесной боли, — то их не так трудно переносить, особенно человеку мудрому и сильному, как ты. А сама жизнь значит так мало, что человек не должен был бы, покуда дело идет о нем самом, слишком заботиться о том, чтобы сохранить ее или покинуть. Поэтому, не стараясь все взвесить слишком тщательно, всякий, едва представится малейший повод выбрать первое, должен сделать это, не отказываясь. И если его просит об этом друг, почему бы ему не уважить такую просьбу? А сейчас я тебя прошу, мой Порфирий, в память многих лет нашей дружбы: оставь свою мысль, не причиняй такого горя твоим добрым друзьям, которые всей душой любят тебя, и мне, для которого нет человека дороже и товарища желанней. Лучше помоги нам перетерпеть жизнь, чем так, ни о чем не подумав, покидать нас. Будем жить, милый мой Порфирий, и поддерживать друг друга; не будем отказываться от нашей доли той бедственной ноши, которую судьба возложила на плечи рода человеческого. Постараемся держаться вместе, будем ободрять друг друга и протягивать друг другу руку помощи, — так мы лучше выполним трудный урок жизни. А она, без сомнения, будет короткой. Когда же придет смерть, мы не будем печалиться: даже в последние часы нас поддержат друзья и товарищи и доставит радость мысль, что потом, когда мы угаснем, они не раз о нас вспомнят и будут по-прежнему нас любить.

РАЗГОВОР ТОРГОВЦА КАЛЕНДАРЯМИ И ПРОХОЖЕГО

Торговец. Календари, новые календари! Новые месяцесловы! Не угодно ли, сударь, календарь?

Прохожий. Календари на новый год?

Торговец. Да, сударь.

Прохожий. По-вашему, этот новый год будет счастливым?

Торговец. Да, ваша милость, конечно, будет.

Прохожий. Как прошлый год?

Торговец. Нет, гораздо счастливее.

Прохожий. Значит, как нынешний?

Торговец. Нет, ваша милость, счастливее нынешнего.

Прохожий. Значит, как еще какой-нибудь год? Разве вам не хотелось бы, чтобы новый год был такой же, как один из последних?

Торговец. Нет, сударь, не хотелось бы.

Прохожий. Сколько раз наступал новый год с тех пор, как вы стали торговать календарями?

Торговец. Лет двадцать будет, ваша милость.

Прохожий. А хотелось бы вам, чтобы новый год был похож на какой-нибудь из этих двадцати? На какой же именно?

Торговец. Не знаю, право.

Прохожий. И вы не помните, чтобы один какой-нибудь год показался вам счастливым?

Торговец. По правде говоря, не помню, ваша милость.

Прохожий. И все-таки жизнь — хорошая штука, не так ли?

Торговец. Это всем известно.

Прохожий. А вы не хотели бы прожить сначала эти двадцать лет, или даже всю жизнь — с самого дня рождения?

Торговец. Эх, господин хороший, если бы Богу было угодно такое!

Прохожий. А если бы вы должны были прожить второй раз точно такую жизнь, какую прожили, со всеми радостями и горестями, которые вам достались?

Торговец. Вот этого я не хотел бы.

Прохожий. А какую жизнь вы хотели бы повторить? Жизнь, которую прожил я, или наш государь, или еще кто-нибудь? Вы думаете, что и я, и государь, и кто угодно ответит не то же самое, что вы, и захочет начать сначала, если ему придется повторить ту самую жизнь, какую он прожил?

Торговец. Думаю, не захочет.

Прохожий. И вы при таком условии не начали бы жизнь сначала, даже если бы иначе совсем лишились такой возможности?

Торговец. Нет, сударь, ни за что бы не начал.

Прохожий. А какой жизни вам хотелось бы?

Торговец. Какую Бог пошлет, но только без всяких условий.

Прохожий. Чтобы все в жизни было, как случится, а вам ничего не знать заранее, как вы не знаете ничего про новый год?

Торговец. Вот именно.

Прохожий. И я бы хотел того же, если бы должен был начать жизнь сначала, и все хотели бы. Но ведь это свидетельствует о том, что случай и в нынешнем году, и раньше плохо обходился с нами. Ясно видно: каждый уверен, что ему досталось больше плохого, чем хорошего, или что плохое перевешивает хорошее, если при условии, что жизнь его будет прежней, со всем хорошим и плохим, что в ней было, никто не хотел бы родиться заново. Хорошая штука — это не та жизнь, которую мы знаем, а та, что нам еще неизвестна; не прошлая жизнь, а будущая. С нового года случай станет лучше обращаться и с вами, и со мной, и со всеми остальными и начнется счастливая жизнь. Не так ли?

Торговец. Будем надеяться, что так.

Прохожий. Покажите мне самый красивый календарь, какой у вас есть.

Торговец. Вот, ваша милость. Цена ему тридцать сольди.

Прохожий. Вот вам тридцать сольди.

Торговец. Спасибо, ваша милость, до свидания. Календари, новые календари, новые месяцесловы!

РАЗГОВОР ТРИСТАНА И ЕГО ДРУГА

Друг. Я прочел вашу книгу. Она полна обычной меланхолии.

Тристан*. Да, моей обычной меланхолии...

Друг. Меланхолии и безутешного отчаяния. Сразу видно, что жизнь представляется вам скверной штукой.

Тристан. Что мне вам сказать? Я вбил себе в голову безумную мысль, что человеческая жизнь несчастна.

Друг. Может быть, и несчастна. Но все же в конце концов...

Тристан. Нет, она самая счастливая. Я переменял мнение. Но когда я писал мою книгу, эта безумная мысль сидела у меня в голове, как я вам уже сказал. Я был вполне убежден в ее истинности и никак не ожидал услышать о том, что всякое мое замечание на этот счет кажется сомнительным: мне думалось, что разум каждого читателя немедленно подтвердит любое из них своим свидетельством. Я воображал, что спор возникнет только о пользе или вреде таких соображений, но никак не об их истинности; я даже верил, что, коль скоро горести одинаковы для всех, мой жалобный голос отзовется в сердце каждого услышавшего. Потом, — когда я слышал, как отрицают не только отдельные положения, но все целиком и говорят, что жизнь вовсе не несчастлива, а если она кажется мне такой, то в этом повинна болезнь или какая-нибудь другая беда, касающаяся меня одного, — я сперва был ошеломлен и потрясен до того, что окаменел, и много дней мне казалось, будто я очутился в каком-то другом мире; затем, придя в себя, я немного рассердился, а под конец стал смеяться и сказал себе: люди вообще подобны мужьям. Мужья, если хотят жить спокойно, должны верить, что жены им не изменяют, и они верят, хотя бы даже всему миру было известно, что истина совсем не такова. Кто хочет или должен жить в какой-нибудь стране, тому следует считать ее одной из лучших в обитаемом мире; вот он и считает ее такой. И людям вообще, если они хотят жить, надлежит думать, будто жизнь прекрасна и драгоценна; вот они и думают так и сердятся на того, кто думает иначе. Потому что, в сущности, род человеческий верит всегда не истинному, а тому, что более удобно для него или представляется более удобным. Род человеческий, который верил и будет верить бесчисленным нелепостям, никогда не поверит тому, что он ничего не знает, ничего не значит и ни на что

не может надеяться. Никакой философ, начини он проповедовать одну из этих трех вещей, не имел бы успеха и не собрал бы последователей, особенно среди народа: ведь все три не слишком удобны для того, кто хочет жить; первые две, помимо этого, оскорбляют гордость человека, а третья, как, впрочем, и обе другие, требует от него мужества и стойкости духа, без которых им не поверишь. Люди же и трусливы, и слабы, и низки, и мелки душою; они охотно слушаются доброй надежды, потому что привыкли менять мнения о благе соответственно необходимости, управляющей их жизнью, и готовы, как говорит Петрарка*, сложить оружие перед судьбой; все они полны готовности и решимости утешиться после любого несчастья, принять что угодно в возмещение того, что им не дано или ими утрачено, приноровиться на любых условиях к самой суровой и жестокой участи; а лишенные всего, что им хотелось бы иметь, люди живут ложными верованиями, столь стойкими и неискоренимыми, словно они самые истинные и самые обоснованные на свете. Я же, подобно тому как Южная Европа смеется над мужьями, влюбленными в неверных жен, смеюсь над человеческим родом, влюбленным в жизнь, и считаю недостойным зрелых людей по доброй воле позволять себя обманывать и оболыщать, как позволяют глупцы, и, помимо всех бед, от которых мы страдаем, быть чуть ли не посмешищем для судьбы и природы. Я говорю не об обманах воображения, а об обманах рассудка. Не знаю, порождены ли эти мои чувства болезнью, знаю только, что, здоровый или больной, я презираю людскую трусость, отказываюсь от всякого утешительного обмана, годного лишь для детей, ибо у меня довольно мужества, чтобы выносить полную безнадежность, без страха взирать на пустыню жизни, ни в малой мере не скрывать от себя, как несчастливы люди, и принимать все выводы горестной, но истинной философии. Так я говорил себе, словно эту горестную философию придумал я сам; ведь я видел, что все отвергают ее, как обыкновенно отвергают все новое и никогда не слыханное. Но потом, подумав, я вспомнил, что она так же нова, как новы Соломон, и Гомер, и все самые древние поэты и философы, какие нам известны, ибо у них полным-полно уподоблений, изречений и притч, говорящих о крайней несчастливости человека. Один из них говорит**, что человек — самое жалкое из живых существ, другой говорит***, что лучше всего не родиться, а родившись, умереть в колыбели, третий**** — что любимцы богов умирают в юности, и еще бесконечное множество подобных вещей. Я вспомнил также, что вплоть до вчерашнего или позавчерашнего дня все поэты, философы и писатели повторяли и подтверждали те же идеи. Поэтому я снова начал удивляться и так, колеблясь между гневом, смехом и удивлением, провел немало времени, пока наконец, глубже изучив предмет, не постиг, что убеждение в несчастливости человека есть одна из застарелых ошибок рассудка: нет, жизнь счастлива, и открытие это есть одно из величайших открытий девятнадцатого столетия. Тогда я успокоился и теперь признаюсь, что был не прав, думая так, как раньше.

Друг. И вы переменили мнение?

Тристан. Конечно. Неужто вы хотите, чтобы я оспаривал истины, открытые девятнадцатым столетием?

Друг. И вы обо всем думаете так же, как думает наш век?

Тристан. Без сомнения. Что же тут удивительного?

Друг. Значит, вы верите, что человек способен совершенствоваться бесконечно?

Тристан. Разумеется.

Друг. И вы верите, что род людской действительно становится лучше день ото дня?

Тристан. Ну конечно. Правда, порой я думаю, что в древности один человек силою своего тела был равен четырем таким, как мы. А тело — это человек, потому что (оставляя в стороне все прочее) величие духа, храбрость, страсти, способность действовать и способность наслаждаться, все то, что делает жизнь благородной и живой, зависит от крепости мышц и без нее не может существовать. Человек слабый телом — не человек, а ребенок, он даже хуже ребенка, потому что его участь — стоять и смотреть, как другие живут, а он может, самое большее, болтать — ведь жизнь не для него. Потому-то в древности телесная слабость считалась позорной даже в самые просвещенные века. А у нас уже давным-давно воспитание не снисходит до заботы о теле, как о предмете слишком низменном и презренном, — оно думает только о духе и, как раз желая усовершенствовать дух, разрушает тело и при этом не замечает, что, разрушая тело, оно губит в свою очередь и дух. Но допустим, что воспитание в этом смысле еще можно исправить; все равно никакими средствами нельзя, не изменив коренным образом современное состояние общества, привести в порядок другие стороны частной и общественной жизни, в которой некогда все было устремлено к тому, чтобы совершенствовать или оберегать тело, теперь же — к тому, чтобы калечить его. А следствие одно: в сравнении с древними мы оказываемся не больше чем детьми, между тем как о древних можно сказать, что рядом с нами они были мужами в наивысшей мере. Я имею в виду и отдельных людей в сравнении с отдельными людьми, и массы (мне хочется употребить это прекрасное современное словечко) в сравнении с массами. И еще я добавлю, что древние были несравненно более зрелыми, чем мы, также в своих нравственных и метафизических системах. Но во всяком случае, я не позволяю таким незначительным возражением поколебать меня и стойко верую в человеческий род, идущий от завоевания к завоеванию.

Друг. И вы, разумеется, верите, что свет знания, как теперь говорят, разгорается все ярче?

Тристан. Без сомнения. Хотя я и вижу, что, чем больше возрастает желание учиться, тем слабее становится желание углубляться в науки. И нельзя не удивиться, сосчитав число ученых людей — истинно ученых, — живших одновременно пятьсот лет назад или даже позже, и убедившись, как неизмеримо оно превосходит число ученых в наши дни. Пусть мне не говорят, будто

ученых мало потому, что знания вообще больше не накапливаются отдельными людьми, но поделены между многими, чьим обилием восполняется малочисленность ученых. Знания не похожи на богатства, которые соединяются и делятся, а сумма остается все та же. Где все знают понемногу, там знают мало, потому что знания идут к знаниям, а не рассеиваются по мелочам. Поверхностное образование может быть не разделено между многими, а одинаково у многих неучей. Остальное знание принадлежит только людям ученым, причем большая его часть — самым ученым. И, не считая всяких случайностей, только самый ученый человек, именно тот, который обладает огромным капиталом знаний, способен значительно пополнить человеческие познания и продвинуть их вперед. А не кажется ли вам, что, если не считать Германии, откуда ученость еще не сумели изгнать, с каждым днем становится все труднее обнаружить новых людей, принадлежащих к этому разряду самых ученых? Я высказываю эти соображения просто так, к слову, чтобы пофилософствовать или даже помудрствовать; они вовсе не означают, что я не убежден в истинности ваших утверждений. Даже если бы я видел, что мир, с одной стороны, полон невежественных обманщиков, а с другой — самоуверенных невежд, я бы все равно верил, как верю сейчас, что свет знания разгорается все ярче.

Друг. Следовательно, вы считаете, что наш век выше всех прошедших?

Тристан. Уверен в этом. Так думали о себе все века, даже самые варварские, так думает и мой век, и я вместе с ним. Если же вы спросите, в чем он превосходит остальные века, — в том ли, что касается тела, или в том, что касается духа, — я сошлюсь на то, что говорил перед этим.

Друг. Короче говоря, чтобы свести все вопросы к двум словам, ответьте мне, думаете ли вы о природе и судьбах человека и мира (потому что сейчас мы говорим не о литературе и не о политике) то же самое, что думают газеты?

Тристан. Именно так. Я приемлю глубокую философию газет, которые убивают всякую иную литературу и всякую науку, особенно серьезную и не имеющую в виду развлекать; я верю им, наставникам и светочам нынешнего века. Не так ли?

Друг. Конечно так. Если вы говорите это искренне, а не желя подшутить надо мною, то вы стали нашим.

Тристан. Разумеется, я ваш.

Друг. Итак, что же вы сделаете с вашей книгой? Вы хотите, чтобы она дошла до потомков и донесла до них чувства, столь противоречащие вашим нынешним убеждениям?

Тристан. До потомков? Я смеюсь, потому что вы шутите; впрочем, если было бы возможно, чтобы такое говорилось не в шутку, я бы смеялся еще больше. Я скажу не о себе, а обо всех отдельных людях и стоящих особняком вещах в девятнадцатом веке: поймите, им нечего бояться потомков, потому что потомки будут знать о них не больше предков. "Отдельные личности

исчезли перед лицом масс”, как изящно выражаются современные мыслители. Это значит, что отдельной личности нет пользы утруждать себя, — ведь все равно, несмотря ни на какие заслуги, ей нечего больше ни во сне, ни наяву надеяться даже на такую жалкую награду, как слава. Предоставь все делать массам; а что такое массы, которые могут все делать без отдельных личностей, хотя сами состоят из отдельных личностей, объяснят мне, я надеюсь, знатоки личностей и масс, ныне озаряющие мир. Но вернемся к разговору о книгах и потомках. Вы сами отлично видите, что почти каждая книга теперь пишется быстрее, чем можно ее прочитать, и коль скоро она стоит столько же, сколько труда потрачено, то и живет она столько же времени, сколько стоила труда. Я, со своей стороны, полагаю, что будущий век превосходнейшим образом наплюет на необозримую библиографию девятнадцатого столетия или же скажет: “Мои библиотеки полны книг, которые стоили какая-то двадцати, какая-то тридцати лет труда, и все, даже если времени было потрачено меньше, явились плодом величайших усилий. Прочтем раньше их, потому что из них, по-видимому, можно извлечь больше смысла; а когда мне для чтения не останется книг этого рода, тогда я возьмусь за книги, написанные экспромтом”. Друг мой, нынешний век — это век детей, и немногие зрелые люди, которые еще остались, должны спрятаться со стыда, как те, кто ходит прямо, в стране хромых. Эти добрые дети хотят делать все, что в другие времена делали зрелые люди, но делать по-детски, сразу, без всяких подготовительных трудов. Они даже хотят, чтобы та ступень, которой достигло сейчас просвещение, и характер нынешнего и будущего времени навсегда избавили их самих и их преемников от необходимости долго трудиться в поте лица, чтобы стать способными что-нибудь делать. Несколько дней назад мне говорил один мой друг, человек деловой и практический, что даже посредственность стала нынче редкостью: никто почти, по своей глупости и немощи, не способен выполнять тот долг или делать то дело, к которым его предназначили необходимостью, или судьба, или выборы. В этом и состоит отчасти, на мой взгляд, отличие нашего столетия от всех других. И тогда и теперь величие было большой редкостью; но в другие века всем владела посредственность, а теперь — ничтожество. Оттого-то и происходят такой шум и сумятица, что все хотят быть всем, а из-за этого никто не обращает внимания на немногих великих, которые, я думаю, еще есть где-нибудь, но которым нет больше возможности пробиться в бесчисленной толпе соперников. И вот, между тем как все никчемные мнят себя знаменитостями, безвестность и ничтожество становятся в итоге общим уделом и никчемных, и великих. Но да здравствует статистика! Да здравствуют экономические, моральные и политические науки, карманные энциклопедии и множество других прекрасных созданий нашего века! Да здравствует и еще раз да здравствует девятнадцатый век! Быть может, он беден делами, но богат словами и весьма щедр на них, а это, вы сами знаете, добрый знак. Утешимся же тем, что в оставшиеся шестьдесят шесть

лет* этот век будет единственным, который только и делает, что говорит, и наконец выскажет свои принципы.

Друг. Мне кажется, вы говорите не без иронии. Но вы должны хотя бы вспомнить, что в конце концов нынешний век — переходный.

Тристан. И какие же вы из этого делаете выводы? Все века в большей или меньшей мере были и будут переходными, потому что человеческое общество никогда не стоит на месте и ни в каком веке не достигнет состояния, которое пребудет неизменным. Так что это прекрасное слово ничуть не может служить оправданием девятнадцатому веку — или точно так же можно оправдать каждый век. Остается только исследовать, к чему придет общество той дорогой, по которой оно теперь направляется, или, иначе говоря, совершается ли ныне переход от хорошего к лучшему или от дурного к худшему. Может быть, вы хотите мне сказать, что нынешний переход — это переход по преимуществу, то есть быстрый прыжок из одного состояния цивилизации в другое, отличное от предшествующего. В таком случае я, с вашего позволения, посмеюсь над этим быстрым прыжком и отвечу вам, что всякий переход должен быть медленным, а если он совершается сразу, то вскоре все возвращается вспять, чтобы повторить тот же переход шаг за шагом. Так бывало всегда. Причина же коренится в том, что природа не двигается прыжками, а насилуя природу, нельзя добиться продолжительных результатов. Или лучше будет сказать, что эти стремительные переходы — только кажущиеся, а не действительные.

Друг. Прошу вас, не рассуждайте так во всеуслышание, не то вы наживете себе немало врагов.

Тристан. Что с того? Теперь ни друзья, ни враги не сделают мне много зла.

Друг. Или, вероятнее, вас будут презирать за то, что вы мало что смыслите в современной философии и вам нет дела до прогресса цивилизации и знаний.

Тристан. Мне очень жаль, но что же тут поделаешь. Если меня будут презирать, я постараюсь утешиться.

Друг. Но в конце концов, переменили вы мнение или нет? И что следует делать с этой книгой?

Тристан. Лучше всего сжечь ее. А если мы не хотим ее сжигать, то сохраним ее как книгу поэтических снов, печальных вымыслов и прихотей или как излияние автора, жалующегося на свои несчастья, потому что, говоря по секрету, дорогой мой друг, я считаю счастливыми вас и всех остальных, но я сам, с вашего позволения и с позволения нашего века, очень несчастен и считаю себя несчастным, и все газеты Старого и Нового Света не убедят меня в противном.

Друг. Я не знаю, по какой причине вы чувствуете себя таким несчастным, как говорите. Но о том, счастлив ли тот или иной отдельный человек или несчастлив, может судить только он сам, и суждение его непогрешимо.

Тристан. Вы совершенно правы. И потом, скажу вам прямо, я не покоряюсь своим несчастьям, не склоняю голову перед судьбой, не иду ей на уступки, как другие люди; я осмеливаюсь желать смерти, желать ее больше всего на свете, с таким пылом и такой искренностью, с какой, я уверен, мало кто в мире желал ее. Я не говорил бы вам этого, если бы не знал твердо, что, когда придет час, дело не опровергнет моих слов. Хотя я еще не вижу, каким будет конец моих дней, но все же внутри у меня живет чувство, которое убеждает меня в том, что час этот недалек. Я слишком созрел для смерти, и если бы мне, умершему духовно, пришлось после развязки драмы моей жизни тянуть свое существование еще лет сорок или пятьдесят, которыми грозит мне природа, это показалось бы мне слишком нелепым и неправдоподобным. При одной мысли об этом я содрогаюсь. Но как бывает со всеми теми бедами, которые, так сказать, побеждает воображение, так и эта кажется мне сном и иллюзией, неспособной осуществиться. Когда кто-нибудь говорит со мной о далеком будущем так, словно оно имеет ко мне отношение, я помимо воли улыбаюсь про себя, — до такой степени я уверен, что дорога, которую мне остается пройти, не будет длинной. Только эта мысль, могу вам сказать, поддерживает меня. Книги и ученые занятия (я сам теперь удивляюсь, как мог так сильно их любить), великие замыслы, надежды на бессмертную славу — для меня прошла пора даже смеяться над всем этим. Над замыслами и надеждами этого века я не смеюсь: нет, я от души желаю, чтобы они осуществились с наибольшим успехом, я хвалю и чту добрую волю в других и восхищаюсь ею, — но все же не завидую ни потомкам, ни тем, кому предстоит долгая жизнь. В прежние времена я завидовал глупцам, и тупицам, и тем, кто много воображает о себе, и хотел бы поменяться местами с кем-нибудь из них. Теперь я не завидую ни глупым, ни мудрым, ни великим, ни ничтожным, ни немощным, ни могущественным. Я завидую умершим и только с ними поменялся бы местами. Всякая приятная фантазия, всякая мысль о будущем, которая рождается у меня порой в моем одиночестве и с которой я долго не расстаюсь, рисует мне смерть и не может от нее оторваться. И я так полон этим желанием, что ни воспоминания о мечтах ранних лет, ни мысль о напрасно прожитой жизни не волнуют меня, как бывало. Если я достигну смерти, то умру таким спокойным и довольным, словно никогда ни на что больше не надеялся и ничего другого не желал. Это — единственное благодеение, которое может примирить меня с судьбой. Если бы мне предложили на выбор участь и славу Цезаря или Александра, но ничем не запятнанную, или немедленную смерть, я бы сказал, что хочу умереть немедленно, и на то, чтобы решить, мне не понадобилось бы времени.

СРАВНЕНИЕ ПРЕДСМЕРТНЫХ ИЗРЕЧЕНИЙ БРУТА МЛАДШЕГО И ТЕОФРАСТА

Вряд ли можно отыскать во всех свидетельствах об античности высказывание более плачевное и страшное и в то же время по-человечески более верное, чем выраженное Марком Брутом* незадолго до кончины презрение к добродетели; по сообщению Кассия Диона**, вот что он сказал: "О, жалкая добродетель, ты — пустое слово, я был тебе привержен, думая, что ты — реальность, но ты зависишь от фортуны". И хотя Плутарх в жизнеописании Брута не упоминает в ясной форме этого высказывания, так что Пьер Веттори*** опасается, что приводя эту подробность, Дион являет себя более поэтом, нежели историком. Флор**** свидетельствует об обратном, утверждая, будто незадолго до кончины Брут воскликнул, что "добродетель — не реальная вещь, а одно лишь слово". Те очень многие, кто возмущается Брутом и ставит ему это изречение в вину, обнаруживают одно из двух: либо они никогда не имели ничего общего с добродетелью, либо у них нет опыта несчастий, во что за исключением случаев первого рода поверить вряд ли можно. Так или иначе, несомненно, они мало понимают и меньше ощущают злосчастность человеческого бытия или слепо удивляются тому, что христианское вероучение не исповедовалось еще до своего возникновения. Другие, те, кто искажает упомянутые слова, дабы показать, что Брут не был никогда тем праведным и благородным человеком, каким слыл при жизни, и заключает, что он, умирая, показал свое истинное лицо, сами себе противоречат, и если они полагают, что сказал он это искренне и что этими словами фактически от добродетели отрекся, пусть подумают, как можно отказаться от того, чем ты никогда не обладал. И расстаться с тем, от чего и так всегда был далек. Если же слова эти они как искренние не воспринимают и думают, что это было сказано нарочно, из фанфаронства, то, во-первых, как можно, судя по словам о делах, одновременно отбрасывать эти слова как пустые и лживые? Считать реальность ложной на основании того, что сказанные слова звучат иначе, и в то же время не признавать за словами никакого веса, полагая их притворными? Далее, пусть убедят нас, что человек, подавленный чрезмерным

и непоправимым бедствием, сокрушенный и отвергнутый жизнью и судьбой, оставив в прошлом все желания, все заблуждения и надежды, полный решимости опередить свою смертную участь, уготованную ему судьбой, и покарать себя за собственное злосчастье, — что этот человек в тот миг, когда вот-вот он навеки расстанется с людьми, гонится за призраком славы, взвешивая и подбирая слова и понятия, дабы обмануть присутствующих и вызвать уважение тех, от кого он собирается уйти, оставив их на земле, которую он ненавидит и презирает. Но довольно об этом.

В то время как означенные слова Брута, можно сказать, постоянно у нас в памяти, высказывание умирающего Теофраста*, которое я сейчас приведу, вряд ли где-либо упоминалось, кроме трудов эрудитов (как они его оценивают, впрочем, я не знаю), несмотря на то, что оно в высшей степени достойно внимания и очень схоже с изречением Брута как тем поводом, в связи с которым оно было произнесено, так и по существу. Диоген Лаэртский приводит его, позаимствовав, я думаю, у какого-нибудь более древнего и более серьезного писателя, как он обычно делает. Так вот, он пишет, что на смертном одре Теофраст на вопрос своих учеников, оставляет ли он им какое-нибудь завещание или заповедь, ответил: "Лишь вот что. Человек игнорирует и отвергает многие удовольствия ради славы. Но не успеет он начать жить, как его настигает смерть. Поэтому стремление к славе пагубней всего. Живите счастливо, оставьте свои занятия, требующие таких трудов, или посвятите себя им всецело, чтобы они вас прославили. Но все же в жизни суесть больше, чем толку. Мне уже не жить, вы же выбирайте". Сказав это, он умер.

Другие высказывания Теофраста перед смертью упоминают Цицерон и св. Иероним**, и они более известны, но к нашей теме не относятся. По тем же высказываниям, которые мы рассмотрели, можно заключить, что Теофраст в более чем столетнем возрасте, всю жизнь потратив на написание трудов и неустанное снискание славы, так что, сообщает Суида***, чересчур усердные занятия истощили его жизненные силы, окруженный двумя тысячами учеников, то есть приверженцев и проповедников его учений, почитаемый и прославляемый за мудрость всею Грецией, уходил из жизни, так сказать, раскаиваясь в славе, как позже Брут будет раскаиваться в добродетели. Два слова эти, слава и добродетель, не ныне, а у древних означали приблизительно одно и то же. Теофраст дальше не сказал, что слава сама по большей части — следствие удачи, а не истинных достоинств, что не могло быть сказано в древности так хорошо, как ныне, но если б мог это добавить Теофраст, его суждение в полной мере было бы сопоставимо с изречением Брута.

Эти отречения или, скажем так, отступничества от тех благородных заблуждений, которые украшают, а точнее, составляют нашу жизнь, то есть все то, что в ней скорей от жизни, чем от

смерти, ныне выглядят совершенно заурядными, обыденными, когда разум человеческий с течением веков не только обнажил явления, но и постиг их внутреннюю суть, когда до того дошло, что ученость, которую древние считали главным утешением в несчастье и лекарством от него, стала выявлять его и едва не выступать его залогом для тех, кто, не обладая ученостью, или не почувствовал бы нашего несчастья, или, несомненно, излечил бы это ощущение с помощью надежды. Но у древних, от природы веривших в реальность, а не призрачность явлений, и в то, что человек живет не для того, чтоб быть несчастным, подобные отступничества, вызванные не страстями или пороками, а ощущением и постижением истины, случались редко, но когда случались, это был повод для философа внимательно их рассмотреть.

И больше должно нас удивлять высказывание Теофраста, так как обстоятельства его кончины нельзя назвать несчастными и не похоже, чтобы Теофрасту было на что жаловаться, ведь он достиг славы и длительное время наслаждался ею, что составляло главное его устремление. В то время как суждение Брута было словно вздох отчаяния, который способен иногда открыть нашей душе едва ли не другой мир и живо убедить в таких вещах, что после потребуется много времени, чтоб разум сам дошел до них и раскрыл их большинству людей или хотя бы лишь философам. И в этом смысле действие отчаяния схоже с вдохновением лирических поэтов, которым одним взглядом (словно оказавшись на огромной высоте) удастся охватить такое пространство, какое не открывается философам за многие века. Почти во всех древних книгах, написанных философами, поэтами, историками и любыми другими авторами, можно встретить массу чрезвычайно горестных высказываний, так что хотя ныне это более заурядное явление, нельзя сказать, однако, что и в те времена они являлись чем-то необычным. Но подобные высказывания древних вызваны по большей части личными случайными невзгодами тех, кто запечатлел их на бумаге, или тех, кому они их приписали. А те суждения или, вообще говоря, те грусть и тоска, которые сопутствуют как видимости счастья, так и самим несчастьям и имеют отношение к природе и неизменному и универсальному порядку человеческой жизни, в памятниках древних выражаются довольно редко. Древние, когда они бывали удручены невзгодами, жаловались на них так, как будто только из-за них и лишены они были счастья, достичь которого им представлялось в высшей степени возможным, более того, они считали счастье присущим человеку, если только этому не воспрепятствует фортуна.

Желая выяснить, что же могло внушить Теофрасту сознание суетности славы и всей жизни, необычное для той эпохи и того народа, мы прежде всего обнаружим, что эрудиция этого философа не ограничивалась той или иною сферой, но простиралась чуть ли не на все доступное (в те времена) познанию, как можно заключить из указателя произведений Теофраста, большей частью до нас не дошедших. И эта всесторонняя эрудиция была

у него обусловлена не воображением, как у Платона, а только разумом и опытом, как у Аристотеля, и устремлена не к изучению и поиску прекрасного, а к абсолютной его противоположности, каковую представляет собой истина. Если учесть эти особенности, то неудивительно, что Теофраст пришел к итоговому знанию — тщеты жизни и самих знаний, так как многие открытия, совершенные в последние века философами относительно природы людей и явлений, в основном проистекают от сравнения и соотнесения разных и почти всех наук, от установления связей между ними и изучения при их посредстве взаимоотношений между весьма далекими друг от друга сферами природы. Помимо этого, из книги "Характеры"* понятно, что Теофраст так глубоко проникал в суть человеческих качеств и нравов, что в этом отношении с ним рядом можно поставить лишь весьма немногих древних авторов, разве что поэтов. Но это свойство — верный признак души, способной на многие разнообразные и сильные переживания. Поскольку, имея желание живо изобразить как нравственные качества людей, так и их чувства, можно черпать материал не столько из фактического наблюдения за делами и манерами других, сколько из собственной души, даже если те очень отличаются от свойственных писателю. Когда Массийона** спросили, как удастся ему столь естественно изображать людские нравы и чувства, бывая куда больше в одиночестве, чем среди людей, он ответил: "Я всматриваюсь сам в себя". Так поступают драматурги и прочие сочинители. Но душа, способная на многие превращения, то есть очень тонкая и живая, не может не чувствовать бессодержательности и непоправимого несчастья жизни и не испытывать склонности к унынию, если долгие занятия наукой приучили ее размышлять, в особенности если они касаются самой сущности явлений, как надлежит теоретическим наукам.

Да, Теофраст, любя учение и пуще всего славу и будучи учителем или, точнее, главою школы, и школы очень популярной, определенно заявил об открывшейся ему тщете как человеческих трудов в поте лица, так и наставлений — своих и чужих, и о том, что добродетельный совсем не обязательно бывает счастлив в жизни, что счастье и ученых, и всех остальных гораздо более зависит от удачи, чем от человеческих достоинств. И, возможно, в знании этого он превзошел всех греческих философов, в особенности тех, кто жил до Эпикура, хотя нравы и высказывания последнего немало отличались от того, какими были потом эпикурейцы. Все это можно заключить не только из вышесказанного, но и из многих ссылок на уроки Теофраста, полученные древними авторами. И он как будто бы доказывает превратностями собственной судьбы истинность своих идей. Прежде всего, современные философы не оказывают ему должного почтения по той причине, что, насколько известно, уже несколько веков назад утрачены все его нравственные сочинения, за исключением "Характеров", так же, как и политические, и юриди-

ческие, и почти вся метафизика. Кроме того, нельзя сказать, что древние философы превозносили его за то, что был он прозорливей их, — напротив, именно за это его позорили и дурно к нему относились, в особенности те, кто был настолько же менее тонок, насколько более спесив, кто находил удовольствие в упорном утверждении того, что всякий, кто учен, само собою счастлив, будто добродетели или учености довольно для блаженства*, прекрасно чувствуя и по самим себе, что не довольно, — в том случае, впрочем, если они в самом деле обладали тем или другим. От каковой фантазии философы, похоже, еще не избавились — напротив, дело стало, кажется, гораздо хуже, если предполагается, что к счастью должна привести нас нынешняя философия, которая в конечном счете не утверждает и не может утверждать ничего, кроме того, что все красивое, приятное и великое фальшиво и ничтожно. Но вернемся к Теофрасту: древние по большей части были не способны на то глубокое горестное чувство, которое его одушевляло. "Теофраста порицают в книгах и в школах всех философов за то, что он одобрил следующее изречение Каллисфена: "Хозяйка жизни — не ученость, а фортуна". По общему суждению, ни один философ никогда не изрекал ничего слабей"***. Это слова Цицерона, который в другом месте пишет, что Теофраст в книге о счастливой жизни придавал большое значение фортуне, то есть утверждал, что от нее очень зависит счастье. И вскоре после этого он добавляет: "Так или иначе, мы многое берем у Теофраста, вот только добродетели мы приписываем большую силу и весомость, чем признавал за нею он". Цицерон сам видит, какова ее значимость.

Возможно, на основании этих рассуждений кто-то заключит, что Теофраст был противником естественных заблуждений и даже наставлениями и действиями старался способствовать их устранению из личного и общественного обихода и уменьшить действие и власть воображения, расширяя пределы действия разума. На самом деле Теофраст думал и поступал прямо противоположным образом. Что до действий его, то мы читаем у Плутарха в сочинении против Колота***, что наш философ дважды освободил свою родину от тирании. Что до наставлений Теофраста, Цицерон говорит, что тот в сочинении о богатстве весьма пространно восхвалял великолепие и пышность народных праздников и полагал, что польза от них во многом происходит от их богатства. Это изречение Цицерон осуждал, считая его нелепым****. Я не стану спорить с Цицероном, хотя знаю и вижу, что он мог ошибаться и исследовать явления с помощью философских методов, не позволяющих глубоко проникнуть в суть. Но этот человек был столь щедро наделен всеми личными и гражданскими добродетелями, что у меня не хватит духу обвинить его в незнании главных стимулов и самых непоколебимых оплотов добродетели, какие существуют в этом мире, то есть явлений, способных возбуждать и потрясать людские души и развивать

воображение. Скажу лишь, что никто из древних философов и их современников, лучше знавших и сильнее и глубже ощущавших ничтожность всего сущего и действенность истины, не только не помог другим прийти к такому состоянию, но делал все, чтобы сокрыть и утаить его от самого себя, и более всего способствовал тем мнениям и впечатлениям, которые от него могут отвратить, узнав из собственного опыта, насколько делает несчастным человека полнота и высшая степень знания. В связи с этим можно было бы привести несколько весьма известных примеров, особенно из современности. В самом деле, если бы наши философы в полной мере понимали, что они стараются распространять, или (при условии, что они это понимают) если бы они чувствовали, то есть понимали практически, не только умозрительно, — тогда бы они не радовались этим знаниям, а ненавидели их и боялись и постарались бы забыть то, что знают, и не видеть того, что видят, и лучшее, что они могли бы сделать, — искать прибежища в тех благодатных заблуждениях, которые не та или иная случайность, а мировая природа вложила во все души собственной рукой; и наконец, они бы не считали мало-мальски важным убеждать других, что все на свете несущественно, даже то, что кажется великим. И если они это делают из стремления к славе, то тем самым признают, что в этой части мира мы можем жить, лишь если верим в ерунду и к ней стремимся.

Другое обстоятельство, которым случай Теофраста заметно отличается от случая Брута, связано с иным характером времен. Поскольку времена Теофраста если не были благоприятны, то по крайней мере не противоречили тем грезам и тем призракам, которые управляли мыслями и действиями древних, тогда как время Брута было, можно сказать, завершением поры воображения, после чего над оным возобладали знание и опыт реальности, распространившиеся и в народе настолько, чтобы мир состарился. В ином случае ни Бруту не пришлось бы бежать от жизни, как он это сделал, ни римская республика не умерла бы вместе с ним. Но не только она, а и вся античность — я имею в виду характер и нравы всех цивилизованных народов древности — была близка к тому, чтобы уйти в небытие вместе с теми взглядами, которые их взрастили и подпитывали. И когда жизнь эта уже утратила всякую ценность, мудрецы искали то, что им позволило бы примириться не столько с судьбой, сколько с самой жизнью, не веря, что человек может рождаться именно и только для несчастия. Поэтому они обращались к вере и к ожиданию другой жизни, ставшей основанием для добродетели и благородных дел, основанием, которое давала прежде, но больше никогда бы уже не смогла давать земная жизнь. Эти мысли порождали те благороднейшие чувства, которые Цицерон описывает во многих местах*, в частности в речи в защиту Архия.

РАЗГОВОР ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И САЛЛЮСТИЯ

Преподаватель. Детки, это место в тексте меня не устраивает, и я хочу предостеречь вас, чтоб авторитет Саллюстия* не вверг вас в заблуждение.

Саллюстий. Что это за гадости тут обо мне болтают? Знал бы я, что зависть сохранится и через тысячу девятьсот лет, я предпочел бы быть завистливым, нежели талантливым.

Преподаватель. Кто ты?

Саллюстий. Автор, который у тебя в руках.

Преподаватель. Ты хотел сказать — автор книги, которая у меня в руках, — однако ради краткости не побоялся мне отдаться в руки сам. Но как ты оказался здесь? Впрочем, неважно. Лучше помоги разрешить сомнения, вызванные у меня пассажем речи, приписанной тобою Катилине**, который собирается дать бой людям проконсула. Вот этот отрывок: "Quapropter vos moneo uti forti atque parato animo sitis; et quum proelium inibitis meminiritis vos divitas, decus, gloriam, proeterea libertatem atque patriam in dextris vestris portare"¹. Скажи, где и когда учился ты ораторскому мастерству: в школе Нигидиана, или Фаусты, или в Нумидии***, где ты благодетельствовал людей, освобождая их от их добра, или же где-нибудь еще?

Саллюстий. Там, где изучал ты этику. Что это за вопросы?

Преподаватель. Не злись, так ты не избавишься от следов бича, которым отхлестал тебя Милон за пристрастие к красоте. Скажи, пожалуйста, какую риторическую фигуру намеревался ты использовать в этом отрывке? Ту, что мне подобные называют градацией, или какую-нибудь иную?

Саллюстий. Ее, учитель.

Преподаватель. Градация может нарастать и убывать. Здесь, однако, надлежит ей нарастать, то есть из перечисленного тобой второе должно быть важнее первого, третье — важнее второго и так далее, чтобы последнее было важнее всех. Не так ли?

Саллюстий. Совершенно верно.

Преподаватель. Ты же, милый Крисп мой, устремился вспять, как рак или как осторожный человек, заведящий врага. Первым называешь ты богатство, каковое, утверждает Теогнид****, следует искать и там, где жарко, и там, где холодно, и на земле, и на воде, если потребуется, прыгая со скал, бросаясь в море и не останавливаясь ни перед какими трудностями и угрозами. Второе место у тебя занимает честь, которой придает значение немалая часть людей, но не такое, чтобы задешево ее не продать. На третьем месте — слава, которой многие были бы

¹Поэтому я вас прошу собраться с духом, быть храбрыми и помнить, отправляясь в бой, что богатство, честь, слава, свобода и родина — в ваших руках" (лат.).

рады, если бы можно было обрести ее без усилий и хлопот, но поскольку это невозможно, все живут и так. Четвертая — свобода, которой дорожить не стоит. Последняя — родина; ее больше нигде не сыщешь, кроме словаря. В общем, то, что у тебя идет последним, не только не важнее всего остального, но давно уже — ничто, из прочих каждое понятие важнее следующего, а ради первого люди готовы в любом случае отдать родину, свободу, славу, честь — другие названные тобою блага, притом все вместе, и добавить, ежели потребуется, что-нибудь еще. Так правильно ли называть его в самом начале, будто бы ты хочешь поскорей о нем забыть? Право, если Катилина использовал фигуру эту так, как ты ее приводишь, то есть задом наперед, неудивительно, что не сумел одушевить он своих слушателей, и пускай пеняет на себя, что дрались они не лучшим образом и проиграли битву*.

Саллюстий. Пожалуй, я бы мог ответить, что нынешние воззрения и нравы в отношении того, о чем ты говоришь, отличаются от тех, что были в мое время. Но, так или иначе, меня ты убедил, поэтому перечеркни этот фрагмент и напиши, как я тебе скажу.

Преподаватель. Ну, говори.

Саллюстий. "...и помнить, отправляясь в бой, что слава, честь, богатства, забавы, кутежи, плотские утехи и ваша собственная жизнь — в ваших руках".

Преподаватель. Готово. Теперь мне нравится, теперь все так, как надо. Только вот последние пять пунктов настолько убедительны, что я уж начинаю опасаться за успех сражения, если Антоний или Петрей не выступят перед своими воинами с похожими речами.

НОВЕЛЛА: КСЕНОФОНТ И НИККОЛО МАКИАВЕЛЛО

Древние не пишут, что у Плутона с Прозерпиной были дети. Однако же дошло до нас, что у них родился сын, из-за которого поднялся в преисподней тарарам. И поскольку демоны все более или менее искушены в искусстве прорицания, пошли слухи, будто этот дьяволенок, который должен был как царский сын царствовать и сам, но в аду бы никогда не смог, так как папаша ни за что не уступил бы ему адского престола, будет править на земле неведомо когда и где в человеческом обличье, станет могущественным властелином и призовет к своему двору множество других чертей также в облике людей. Говаривали, будто и другие сыновья Плутона в разные времена властвовали точно так же, почитаемые за людей (и т. д.) и в качестве людей вошли в историю (и т. д.). В общем, право стать наставником чертенка оспаривали Ксенофонт и Макиавелло, оба в жизни — знатоки искусства властвовать, писавшие о нем**. Может вызвать удив-

ление, что Ксенофонт, всегда такой скромный (и т. д.), вдруг (и т. д.). Но каждый человек может впасть в какую-нибудь слабость (и т. д.), или это он из самолюбия (и т. д.), или, наконец, по-прежнему любя всем сердцем родину и видя, что властители человеческого рода, хоть могли бы с легкостью, однако ничего ради нее не делали, предпочитая думать о совсем иных пагубных завоеваниях, поскольку, собираясь что-то предпринять, они всегда необычайно заботятся о том, чтоб начинание их пошло другому не на пользу, а во вред — возможно, видя это, он надеялся, что дьявол сможет то, чего нельзя было рассчитывать добиться от людей. Состязание. Красочное комическое описание трона, двора, прислужников (и т. д.). Плутона, его сыночка с пробивающимися рожками (и т. п.). Речь Ксенофонта. Речь Макиавелло. Хотя многие властители мой труд и запрещали, все они, однако, руководствовались им, и не бывало никогда еще таких правителей, как у Ксенофонта, а все были и есть такие, как у меня. Побеждает Макиавелло. Здесь рассказ должен был бы завершиться, но скажу еще, что Бальдассар Кастильоне* избран был главой над пажами чертенка. Как это ни удивительно, говорят, что граф, получше присмотревшись к тому, что происходит в этом мире, и справившись у мертвых, которые спустились в ад, о современном положении вещей, о людях, событиях, царских дворах, о сделках меж людьми и пр., полностью отверг то представление о современном царедворце, которое было у него при жизни. Более того, полагают, будто бы он напечатал в адской царской типографии на бумаге, сделанной из дьявольской щетины, шрифтом, нанесенным углем вместо типографской краски (и т. д.), новое издание "Придворного", исправленное и преобразованное примерно так, как Альфьери** исправил панегирик Плиния Траяну. За то и был назначен он руководить пажами при дворе юного принца. Поскольку таковы последние известия, поступившие из ада (а как — придумаю потом), посмотрим, что же будет, не появится ли в мире что-то новое, хотя не думаю, даже если сбудется предсказанное дьяволами-прорицателями.

Пусть Макиавелло говорит себе. Все знают, что тот самый Кир, которого он описал как образец, на самом деле был совсем другим — он был изрядным плутом, и тебе, Плутон, известно это лучше многих, ибо ты за это наградил его и взял к себе на должность тайного советника.

К НОВЕЛЛЕ О КСЕНОФОНТЕ И МАКИАВЕЛЛО

Макиавелло скажет: "Очень многие и до, и после меня, — и в древности, как ты, Ксенофонт, и в поздние времена, как я, — или давали ясные указания насчет того, как править на престоле, как жить при дворе и т. д., а также как жить в обществе и как вести себя по отношению к другим, или трактовали о предмете сем на все лады, не задаваясь целью превратить это в искусство (в отличие от нас с тобой), в своих книгах о морали, о политике,

о красноречии, поэзии, романах и т. д. Речь везде идет по преимуществу о том, чтоб обучить людей умению жить, поскольку в этом-то и заключается в конечном счете полезность литературы, философии, любых знаний, любой отрасли науки.

Но, безусловно, все или почти все эти люди впадали в то или иное из двух следующих заблуждений. Первое из них, главное и наиболее распространенное, — в том, что они хотели научить людей жить (как на престоле, так и в частной жизни) и управлять собой или другими согласно предписаниям так называемой морали. Ответьте: верно или нет, что добродетель — достояние олухов, что юноша, из сколь хорошей бы семьи ни происходил и сколь бы ни был благовоспитан, если обладает он хоть толикой ума, то, едва вступивши в мир, будет вынужден (если желает что-то сделать да и просто жить) отказаться от той добродетели, к которой был всегда так склонен? Верно ли, что происходит так всегда и абсолютно неизбежно и что даже самые порядочные люди, откровенно говоря, устыдились бы, коль не считали бы себя способными иметь иные мысли и усвоить иные нормы поведения, чем те, которыми они предполагали руководствоваться в юности и которые, однако, и могут быть почерпнуты только из книг? Верно или нет, что дабы выжить, дабы не стать всеобщей жертвой, попираемой, осмеиваемой и угнетаемой всегда и всеми, даже обладая незаурядными умом, силой духа, смелостью, образованием и естественной или приобретенной способностью превосходить других, абсолютно необходимо быть мерзавцем? что над юношей, пока он таковым не научился быть, все время будут издеваться и он толком ничего вовек не сделает? что искусство вести себя в обществе или на престоле, которое везде в ходу, применять которое необходимо и без которого нельзя ни жить, ни двигаться вперед, ни даже защищаться от других и которое используют на деле сами пишущие о морали авторы, — и есть то самое, которому учил я? Так почему, если искусству умения жить, или умения повелевать (что одно и то же, ибо цель любого человека в обществе — так или иначе повелевать другими, и самый хитрый постоянно управляет), — почему же, если оно таково, а не иное, и ему надобно учить, но все без исключения книги учат другому, прямо противоположному искусству? И притом такому, которое является залогом неумения и неспособности ни жить, ни управлять? Такому, что никто из описывающих это искусство с наибольшим воодушевлением не хотел бы оказаться среди тех, кто пользовался им (то есть простаком). Зачем, скажите, нужны книги, если не для обучения жизни? Зачем же говорить юноше, или мужчине, или властителю: "Делайте вот так", будучи практически уверенным, что если он поступит так, то ошибется, проявит неумение жить, никогда не сможет ничего достичь и не достигнет? Зачем же человеку читать книги, учиться по ним, что-то постигать из них, зная, что он должен будет делать прямо противоположное тому, что рекомендуют эти книги, и должен быть готовым к этому?

Моя книга превзошла в глазах людей твою, книгу Фенелона* и все политические книги именно по той причине, что я открыто говорю правду, говорю о том, что происходит, что будет и должно происходить, а другие утверждают прямо противоположное, ничуть не хуже меня зная и видя, что на самом деле все обстоит точно так, как я сказал. Поэтому их книги, подобно сочинениям софистов, содержат массу схоластических упражнений, бесполезных с точки зрения жизни и той цели, которую они перед собою ставят, — обучения жизни, — поскольку состоят они из наставлений или изречений сознательно и преднамеренно ложных, не применяемых — да это и невозможно — теми, кто их пишет, и чрезвычайно пагубных для всех, кто их применит, но на самом деле не применяемых и их читателями, если только это не неопытные юноши и не ничтожества. Моя же книга является и всегда будет Кодексом единственного истинного безошибочного и универсального образа жизни и поэтому всегда будет необычайно знаменита скорее благодаря той дерзости или, точнее, той последовательности, с которой я ее писал, чем потому, что нужно было долго думать, дабы выразить то, что все и сами знают, видят и творят.

Что осталось пожелать мне ради блага людей и истинной их пользы, в особенности молодежи, — это чтобы то, чему учил я государей, применялось также в частной жизни с требуемыми добавлениями. Так что в конце концов получился бы Кодекс умения жить, подлинный регламент поведения в обществе, весьма отличный от недавно предложенного Книжке** и столь восхваляемого немцами, из коих никто так не живет и никогда не жил.

Другая ошибка, в которую впадают авторы, — в том, что даже редкие верные рекомендации и истинные чувства выражают они языком фальшивого искусства, каковым является мораль.

Тот, кто и теперь не видит, что язык этот чисто условный, — хуже, чем слепой. К примеру, *добродетель* означает *лицемерие* или *никчемность*; *разум*, *право* и т. п. означают *силу*; *благо*, *счастье* и т. д. *подданных* означают *желание*, *каприз*, *выгоду* и пр. *властелина*. Все это столь старо и хорошо известно, что напоминать и совестно, и скучно.

Но почему-то люди, желая принести как можно больше пользы и владея ясным языком, которым пользовался я, склоняются к использованию другого, неясного, сбивающего с толку, который часто вводит в заблуждение читателя или, во всяком случае, смущает. Чего стоят все эти слова, к которым фактически сводится мораль, уже так хорошо известно, что от их использования нет ни малейшей пользы. Так почему не называть вещи настоящими их именами? Зачем истинные и т. д. рекомендации переводить на язык лжи? Современные слова заменять старинными? Почему об искусстве подлости (то есть умения жить) нужно говорить и писать, используя лексикон морали? Почему все искусства и науки должны располагать своими собственными терминами, максимально точными, за исключением важнейшего из искусств — искусства жить, которое должно заимствовать терминологию

у противоположного ему искусства — морали, то есть неумения жить?

Мне показалось, что естественнее не стыдясь и без каких-либо проблем говорить о том, что все делают без стыда, более того, никто не признается в том, что не умеет делать, а если кто и в самом деле не умеет или почему-либо не делает, весьма об этом сожалеет. Мне показалось, что пора современные явления называть своими именами и изъясняться при письме столь же ясно, насколько откровенно уже в то время — а тем более сейчас — все вели себя и насколько людям наконец стало понятно и совершенно очевидно, что необходимо делать.

Знай, что от природы в молодости я был добродетельнее многих, и всегда до глубины души любил прекрасное, возвышенное, праведное — сначала чрезвычайно, но и потом довольно сильно. И в молодости не отказывался, а, наоборот, искал возможности найти практическое применение этим своим чувствам, о чем свидетельствуют действия, предпринятые мною ради моей родины против тирании. (См. размышления мои на с. 2473*.) Но, как умный человек, я не замедлил воспользоваться обретенным опытом и, познав истинную природу общества и своего времени (которое от вашего, должно быть, отличалось), не стал вести себя, как те глупцы, которые претендуют на то, чтобы своими делами и речами перестроить мир, что всегда было невозможно, а совершил возможное — перестроил самого себя. И чем больше была склонность моя к добродетели и, стало быть, сильнее те гонения, невзгоды и урон, которые пришлось мне в связи с этим претерпеть, тем более твердым, отчужденным и необратимым было мое отступничество; и тем доблестней решался я вести с людьми борьбу без передышки и пощады (дабы побеждать их), чем больше постигал из опыта, что люди не давали бы ни передышек, ни пощады мне, останься я при прежних убеждениях. Позже, обратившись к писательству и философии, я не давал рекомендаций в области морали, фактически уже непоправимо упраздненной и разрушенной, прекрасно зная (как уже сказал я), что мир невозможно переделать, но как истинный философ учил тому порядку управления и жизни, вытеснившему навсегда мораль, который в самом деле применялся и в самом деле лишь один и мог помочь и помогал тому, кто его усвоил. И только в этом изменил я своему намерению вредить и предавать. Поскольку, будучи писателем (и, значит, человеком, учившим жить своих читателей), я не обманывал людей, которых считал своими учениками, и, обещая научить, не делал их грубее и глупей, чем прежде, не учил тому, что после им пришлось бы забывать, — в общем, как писатель-наставник, думая о пользе собственных читателей, я не давал им вредных или ложных поучений, а отчетливо и ясно растолковывал истинное и полезное искусство, учредив на основании не фактов, а наблюдения за фактами — что есть прямая обязанность философа — и учений, из него происходящих, новую школу, или философию, призванную заменить

твою сократовскую, ей противоположную, доставив (как я полагаю) гораздо больше пользы, чем она и чем любая другая, и просуществовать, возможно, до тех пор, пока люди останутся людьми, то есть дьяволами во плоти. И в то время как другие философы, не питая такой ненависти к людям, как я, но пытаясь наставлять их, в конечном счете им вредят, я реально помогал, помогаю и всегда буду помогать любому, кто захочет и сумеет применить мои наставления. Так что мизантроп, каковым я был, сделал дело (если вдуматься) более полезное для людей, чем самая изысканная благотворительность или любое человеческое достоинство, и опыт всякого, кто сможет использовать рекомендации, почерпнутые из моей книги, заслуживает полного доверия. Не мог я сделать ничего, более противоречащего моей цели, и ничего, менее ей сообразного, если бы написал наставления в духе книги, созданной тобой, слышущим филантропом. Поскольку, как я уже сказал, несмотря на мое отречение от древних принципов гуманности и добродетели, я поневоле сохранил навечно то ли преданность им, то ли внутреннюю склонность и симпатию к ним" (13 июня 1822 г.).

К НОВЕЛЛЕ О КСЕНОФОНТЕ И МАКИАВЕЛЛО

Можно будет также сказать, что рожденный женщиной дьяволенок был своего рода Гермафродитом, получеловеком-полудьяволом, поэтому и полагали, что он должен править скорее на земле, чем в аду.

ДИАЛОГ: ГРЕЧЕСКИЙ ФИЛОСОФ, МУРКО, РИМСКИЙ СЕНАТОР, РИМСКИЙ НАРОД, ЗАГОВОРЩИКИ

(Мурко означает "трус"; с другой стороны, Аппий называет некоего Мурко среди тех, кто присоединился к заговорщикам и сделал вид, будто и он участвовал в заговоре. Мурко было прозвище Стациев, консульской династии. См. Веллей* 11.69, часть 2, 72; часть 4, 77; часть 3 с примечаниями *Variogum*¹ в указанных местах и "Ист. 2 триумв.", т. 2, с. 170.)

Философ: Куда вы так спешите?

Мурко. Как, вы ничего не знаете?

Философ. О чем?

Мурко. О Цезаре.

Философ. О Боже, что-нибудь случилось? Говорите же скорее! Нужна помощь?

¹ Разное (лат.).

Мурко. Не нужна. Его убили.

Философ. Хорошо, но где, когда?

Мурко. В Сенате, целая толпа людей. К моему несчастью, там был и я, но спасся бегством.

Философ. Вот молодцы, какая радость!

Мурко. Черт побери! Ты пьян? Что за превратность?

Философ. Никакой превратности. Я думал, с ним какое-то несчастье.

Мурко. Конечно, испустить дух от кинжального удара — вовсе не несчастье.

Философ. Не несчастье то, о чем никто не плачет. Люди плачут, когда тирану плохо, и смеются, когда его больше нет.

Мурко. Даже если б он был жив, зачем ты претворялся предо мной? Ведь я твой давний друг.

Философ. Покуда деспот жив, не стоит доверяться никому. К тому же говорят, что ты был другом Цезаря.

Мурко. Как все — друзья тиранов. На самом деле на Цезаря как такового мне наплевать, распяли бы его или четвертовали — мне ни холодно ни жарко. Но мне прискорбно, что я потерял малейшую надежду на удачу, так как я не храброго десятка, в то время как другие при монархии процветают, хоть на свободе они были бы нули без палочки. И самое ужасное — меня не отпускает этот проклятый страх. Черт бы побрал душу и тело этих плутов-заговорщиков! Какое наслаждение было — райское спокойствие, и вот снова они затевают беспорядки!

Философ. Но это речи труса! Свобода, родина, добродетель (и т. д. и т. п.).

Мурко. Какое дело мне до родины, свободы (и т. д.)! Времена уже не те. Ныне всяк печется о своих делах.

Философ. Я знаю это лучше тебя, но есть вещи, о которых не кричат на площади.

Мурко. На площади, с трибуны — где угодно. Это век не добродетели, а истины. Добродетель ныне не только более не проявляют, но и не говорят о ней, поскольку никто в нее не поверит. Мир очень изменился. Просвещение пошло ему весьма на пользу.

Философ. Я вижу, он собрался давать мне уроки философии! Мурко, милый, мы все это знаем, как свои пять пальцев. Философия — не что иное, как наука о жизни души и тела, о том, как проявлять заботу о себе, как добиваться своей выгоды любыми средствами, не считаясь ни с кем и смеясь над добродетелью и прочими химерами и человеческими выдумками. Природа смела, великодушна, пылка, беспокойна, как уличный мальчишка, разум же ленив, как черепаха, и труслив, как заяц. Если бы все философствовали, не было б нигде на свете ни свободы, ни величия души, ни любви к родине, ни сильных страстей, ни прочих глупостей. О, философия, философия! Наступят времена, когда все смертные, покончив с заблуждениями, делающими их шустрыми и крепкими, лишатся

чувств и заснут на веки вечные в твоих объятиях. Тогда жизнь человеческая станет столь же приятна, как игра на монохорде. Как прекрасна голая правда! Как прекрасно спать, ничего не делать и ни о чем не беспокоиться!

Мурко. Тихо, тихо, вы на площади, а не в школе, и сейчас не время декламировать. Подумаем о нашем положении.

Народ. Да здравствует свобода! Смерть тиранам!

Мурко и философ. Да здравствует свобода! Смерть тиранам!

Мурко. Что нам делать? (Продолжают разговор.)

Народ. Смерть предателям! Да здравствует диктатура!

Мурко и философ. Смерть предателям! Да здравствует диктатура!

Мурко. Оставаться здесь нельзя, а дом мой далеко. Удалимся в Капитолий. (Войдя в Капитолий, продолжают разговор.)

Мурко. Что за суматоха?

Часть народа. Да здравствует свобода!

Другая часть. Да здравствует диктатура!

Мурко и философ. Да здравствует свобода! Да здравствует диктатура!

Философ. Впереди какой-то человек, несущий на конце пики шапку, следом — процессия людей в тогах. Они идут прямо сюда.

Мурко. О, горе! Это заговорщики! Мы попались! Мы не успеем убежать.

Философ. Они идут, подняв кинжалы.

Мурко. Вы без оружия?

Философ. У меня только перо.

Мурко. Давайте, пригодится и оно. Я проберусь в толпу и тоже сойду за заговорщика.

Философ. Потрясающе, друг Цезаря!

Мурко. Своя рубашка ближе к телу. Ты, чужестранец, не занимающий постов и не имеющий высоких званий, ничем не рискуешь.

Брут. Тиран мертв! Да здравствует римский народ! Да здравствует свобода!

Мурко и заговорщики. Да здравствует римский народ! Да здравствует свобода!

Брут. Заприте двери.

Мурко. Да, ради бога, уж как следует заприте.

Народ. Да здравствует диктатура! Смерть заговорщикам!

Мурко. Смерть заговорщикам!

Брут. Что? Где он? Кто это кричал "Смерть заговорщикам!"? Это ты?

Мурко. Простите, по ошибке: я забавы ради работаю писцом и привык, что слышу, повторять.

Брут. Но как ты оказался среди нас?

Мурко. Да разве же я не один из вас?

Брут. Не знаю. Кому нужен такой трус?

Мурко. Да ведь это я нанес ему первый удар!

К а с к а. Лжешь, это я ударил первым.
М у р к о. Да, верно, я ошибся, я хотел сказать, второй.
Заговорщик. Вторым ударил я.
М у р к о. Ну, значит, третий.
Другой заговорщик. Да нет же, я был третьим.
М у р к о. В общем, я нанес удар, а какой — не помню.
Заговорщик. И нож остался в ране?
М у р к о. Нет, я ранил его оружием, которое держу в руке.
Заговорщик. Этим? Но на нем не кровь, а воск*.
М у р к о. Я, наверно, не пронзил его одежду.
Б р у т. Присматривайте-ка за ним. Давайте готовить глади-
аторов**.

РАЗГОВОР ДВУХ ЖИВОТНЫХ, НАПРИМЕР КОНЯ И БЫКА

Б ы к. Что это за кости?

К о н ь. Не раз я слышал от наших стариков, что это кости людей.

Б ы к. А кто такие люди?

К о н ь. Был когда-то такой вид животных, он давным-давно исчез.

Б ы к. Как, целый вид животных?

К о н ь. О, в древности было множество животных, о которых ныне можно узнать только по найденным костям (и пр. Подробный рассказ о человеческом роде, который якобы в конце концов угас, о его несчастьях, о происходивших с ним событиях, его истории, его природе и т. д.). Люди жили уже не естественной жизнью, как все прочие, а кто во что горазд. Поэтому им была присуща странная особенность: они не способны были радоваться и чувствовать себя счастливыми, что непостижимо для животных, коим никогда не приходило в голову быть недовольными своей судьбой.

Б ы к. О, я не встречал быка, недовольного тем, что он бык.

К о н ь. Причины человеческого несчастья — неестественная жизнь людей, их наука, разные отрасли которой дают, должно быть, материал для бесконечных смехотворных рассуждений, их взгляды и т. д. К тому ж они считали, будто мир создан для них.

Б ы к. Вот это да! Словно не известно, что мир создан для быков.

К о н ь. Ты шутишь?

Б ы к. Как это?

К о н ь. Ты что, не знаешь, что он создан для коней?

Б ы к. И ты безумец под стать людям?

К о н ь. По-моему, безумец — ты, раз утверждаешь, будто бы мир создан для быков, тогда как всем известно: создан он для нас.

Бык. Наоборот, все знают (и т. д.). Ты что, не видишь? Для быков везде есть место, тому же, кто родился не быком, счастья в этом мире не видать.

Конь. Ну, ну, оставим эти разговоры, ты как хочешь, так и думай, а я сам знаю, чему верить. Так вот, они имели большую власть над прочими животными — над нами, над быками (и т. д.), как ныне обезьяны, которые, бывает, прыгают нам на спину и, стегая нас какою-нибудь веткой, заставляют себя везти (и т. д.). В общем, в этом Разговоре должен быть представлен широкий философско-сатирический взгляд на человеческий род, рассматриваемый на фоне природы как один из родов животных, отличающийся некоторыми любопытными особенностями; следует намекнуть на счастье, уготованное нам природой в этом мире, как и всем прочим существам, и утраченное нами в результате отдаления от природы; с удивлением, которое должно быть присуще всякому, кто сам пребывает в естественном состоянии, толковать о наших страстях, честолюбии, деньгах, войне, самоубийстве, печатных изданиях, тирании, предусмотрительности, злодействе и т. д. и т. п.).

Бык. О, безумцы! О, безумцы! Позволь мне поискать, где тень, а то уж слишком солнце припекает.

Конь. Иди, куда тебе угодно, я же побегу к реке напиться. (Уделить внимание сохранению такого впечатления, будто бы род человеческий уже погиб, исчез с лица земли и о нем лишь вспоминают, в чем и состоит оригинальность этого Разговора, отличающая его от множества других сатирических сочинений такого рода, где о нашей жизни рассуждают или чужеземцы, дикари и пр., или животные — в общем, существа, которые не относятся к нашему кругу. Можно написать еще один Разговор — между современным человеком и гигантской тенью (гигантской, потому что естественные люди были, конечно же, куда крупней и крепче нынешних, судя по тому, что нам известно о древних германцах и галлах) человека, жившего естественной жизнью до цивилизации, и описать то постоянное удивление, которое он испытывает, слушая о сильных изменениях и извращении человеческой жизни.)

РАЗГОВОР КОНЯ И БЫКА

Конь. Ты видел то животное, которое вчера вскочило на меня верхом и так вцепилось в мою гриву, что, как я ни старался, сбросить его не сумел, пока оно само не оставило меня в покое?

Бык. А что это было за животное?

Конь. Моя бабушка сказала, что это обезьяна. Сам я думал — человек, и это меня очень напугало.

Бык. Человек? Что значит "человек"?

Конь. Род животных. Ты ничего не знаешь про людей?

Бык. Я их никогда не видел (и т. д.).

К о н ь. Я тоже их не видел.

Б ы к. А где они живут?

К о н ь. Их больше нет, их род исчез с лица земли, однако мои предки рассказывают о них много разного, что они узнали от своих.

Б ы к. Но как же мог исчезнуть целый род животных?

К о н ь (и т. д. см. выше и т. д.). Это был род четвероногих, как мы все, животных, но держались они стоймя, ходили лишь на двух ногах, как птицы, а двумя другими пользовались, чтобы всех мучить. (Разговаривают о естественных следствиях такой конструкции.)

К о н ь. Они думали, что мир создан для них.

Б ы к. Как будто создан он не для быков!

К о н ь. Ты это в шутку (и т. д., как выше)? Черт возьми, кто же не знает, что он создан для коней? (и т. д.) Родись я не конем, я бы отчаялся и не захотел бы стать быком за весь овес на свете.

Б ы к. А я за все деревья и всю листву (и луга) на земле не пожелал бы быть конем (и т. д.). Родиться быком — лучший дар, какой природа может преподнести животному, а кто не бык, тому не ждать удачи в этом мире (и т. д.).

К о н ь. Ну, полно, если ты безумный, я не хочу из-за тебя сходить с ума. Да, так о чем мы говорили? Люди думали, что солнце и луна именно для них восходят и заходят, и вообще созданы для них, хотя и говорили, что солнце в несметное число раз больше не только их, людей, но и всех здешних, земных стран, и то же — звезды, но при этом думали, что звезды — нечто наподобие фонарных свечей, которые укреплены там, наверху, чтобы светить их милостям.

Б ы к. Потрясающе! А если с неба падала какая-нибудь искра, как бывает летом, то они, наверно, думали, что там наверху кто-нибудь снимает со свечей нагар, служа своим хозяевам — людям? (А сначала надобно сказать, что люди спали днем и бодрствовали ночью и светили себе, зажигая всяческие штуки, приспособленные для горения.)

К о н ь. Все может быть (и т. д.). Знали бы они, что мир остался таким же и без них! Они-то думали, что мир исчерпывается их родом, и если в их монархиях происходили какие-нибудь перемены, — убивали глав, одних властителей сменяли другие, — то эти перемены у людей именовались мировыми революциями, а рассказы о своих делах они называли мировой историей, будучи всего-то-навсего одним из множества родов животных, каковых родов наверняка было тогда и есть сейчас не меньшее количество, чем тогда насчитывалось людских особей, и были тысячи пород, каждая из которых в бесчисленное число раз многочисленнее, чем весь род этих людей, которые были мельче нас и уж куда мельче слонов, китов и множества других животных. И этих мировых революций, происшествий и событий, о которых они говорили, кроме них никто не замечал, все остальное шло

прежним чередом, всяк занимался своим делом, и мы в лесах, в полях и даже находясь среди людей понятия не имели о каких-то переменах в мире. Ну мог ли догадаться лев, пробуждаясь утром в логове и собираясь на охоту, что мир уже другой? могло ли ему быть дело до того, что в некой стране убит какой-то вождь каких-то там людей и это наделало среди них много шума и изменило положение их дел? И вот теперь, когда этих животных, о которых я тебе рассказывал, больше нет и от них остались только кости, мир этого не замечает и уже не помнит ничего о них (и т. д.).

Бык. А чем они питались?

Конь. Поедали других животных.

Бык. Как волк овец?

Конь. Однако они были страшными врагами волков и убивали их, сколько могли.

Бык. Вот молодцы, за это я их хвалю.

Конь. Глупец, они так делали отнюдь не ради овец, а для самих себя, так как потом они использовали их для своих нужд (и т. д. Постараться, чтобы в этом месте ощущался намек на старание монархов получить откормить своих подданных, чтобы после выжимать из них соки). Но затем пришла другая мода, и хозяева уже не думали о том, чтобы откормить свою скотину, а выжимали соки из тощей и поедали ее (намек на нынешние времена). А тебе подобных били меж рогов, убивали, жарили и ели и не обедали без вашего мяса.

Бык. Проклятые скоты! А быки были тогда такие недотепы, что и не сопротивлялись?

Конь. (Пусть намекнет на то, что делают сейчас народы с деспотами.) Каждый занимался своим делом и льстил себя надеждой, что его это минует (и т. д.). А боялись (и т. д.) праздные (и пр.), ленивые (и пр.). Вначале все было не так. Потом люди придумали разные уловки (современная политика): откармливали их, ласкали, а затем — по голове (и т. д. и т. п.). По поводу исчезновения животных. Люди сами довольно сильно изменились и превратились чуть ли не в других животных по сравнению с прежними, которые перевелись. Потому что прежде они были куда более сильными, крупными, дородными и дольше жили, чем потом, поскольку вследствие своих пороков они делали слабей и меньше, так же как и наши виды (коней и быков) слабели и вырождались в их руках, и они, желая иметь сильных и красивых особей, ловили их в лесах (и пр., и то же самое растения). С незапамятных времен они только и твердили: "Что за мир!", и все отцы и сыновья, молодые и старые, все время это повторяли, а мир все не улучшался.

Бык. Как? Они были недовольны этим миром?

Конь. Первые люди, наверное, были довольны, но те, которые уже не жили, как мы и предки их, естественною жизнью, стали очень недовольны: 1) потому что слишком много знали и ничто им не нравилось; 2) потому что все они были негодяи, то

есть не было такого человека, который помер бы, не причинив сознательно другим какого-нибудь зла (и т. д.).

Бык. Наверное, мыши и мухи тоже полагают, будто мир создан для них.

Конь. Не знаю, если так — что за безумцы! (Сравнить естественную врожденную свободу животных с рабством у человеческих народов.)

ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК И СВЕТ

(диалог)

За все на свете, даже за то, что возбраняется под угрозой самых страшных кар, можно никак не расплачиваться. За предательства, узурпацию, обман, скаредность, притеснения, жестокость, несправедливость, ошибки, бесчестье, убийства, тиранию (и т. д. и т. п.) весьма часто не следует никакого наказания, напротив, нередко за это получают вознаграждение или приобретают несомненную пользу. Однако неминуемо карается, не приносит ни малейшей пользы, но всегда приносит вред и никогда не избегает наказания, никогда не остается без возмездия бесхитростность (придурковатость) и порядочность, что то же самое.

Порядочный человек. Как угодно Вашему Превосходительству, чтоб я ему служил?

Свет. Кто ты?

Порядочный человек. Горемыка.

Свет. Скверное начало. Не выношу горемык.

Порядочный человек. Но Ваше Превосходительство так милосердно!

Свет. Совсем наоборот. Кто, черт возьми, тебе сказал, что в мире можно встретить сострадание?

Порядочный человек. Прошу прощения, об этом говорили романисты и поэты.

Свет. Так и знал. Ты больше слушай этих недоумков. Да, у меня всплывает в памяти, что в детстве и юности я был и в самом деле милосердным, но уже давным-давно чужие беды трогают меня не более, чем проповедников. Уже давно несчастье позволяет снискать милость, только если оно фальшивое (и т. д.), и человек несчастлив не всерьез, а в шутку. А ты, я вижу, нехорош собой.

Порядочный человек. Вы правы.

Свет. Разумеется, я всегда прав. В общем, ты несчастен и некрасив. Не думаю, сын мой, что я в силах тебе чем-нибудь помочь.

Порядочный человек. Но убедитесь, Ваше Превосходительство, что сердце у меня добрейшее, и я всегда был добродетелен.

Свет. Хуже некуда. Ты хочешь кончить свою жизнь в отчаянии, хочешь повеситься (и т. д. и т. п.)? (Говорит о том, как

вредно быть добросердечным и чувствительным.) Ты благородного происхождения?

Порядочный человек. Да, Ваше Превосходительство.

Свет. Это хорошо. Богат?

Порядочный человек. Возможно ль это, если я всегда вел себя порядочно?

Свет. Ну, ничего, станешь подлецом — разбогатеешь. Знать, юноша, — это прекрасно, и раз ты знатен, я попробую тебе помочь и возьму к себе на службу.

Порядочный человек. Приказывайте, Ваше Превосходительство, как мне поступать.

Свет. Сын мой, чтобы правильно себя вести, нужно немножко хитроумия.

Порядочный человек. Ваше Превосходительство, извольте верить, умом я не обижен, напротив, все твердят, что я весьма умен, и даже удивляются.

Свет. Это ничего не значит. (Не в этом дело.) Быть простым умным мало, нужен особый ум. Если есть он у тебя, приложи усилия, чтобы развить его, и больше ни о чем не думай. Если нет такого ума, то никакой другой, будь он даже больше, чем у Соломона и Гомера, не поможет.

Порядочный человек. Прошу прощения, Ваше Превосходительство, я слышал, что блеск истинного и большого ума пробьется сквозь любой заслон и, невзирая на любые трудности, рано или поздно победит.

Свет. Кто это тебе сказал? Какой-нибудь археолог, разбиравший надписи на камне, или книжный червь, который вычитал об этом из древних рукописей на пергаменте? Я знаю, в древности все было, как ты говоришь, однако опыт и просвещение меня переменяли. Вот, например, Данте Алигьери, Христофор Колумб, Луис Камонс, Торквато Тассо, Мигель Сервантес, Галилео Галилей, Франсиско Кеведо, Жан Расин, Франсуа Фенелон, Джеймс Томсон, Джузеппе Парини, Хуан Мелендес и еще сотни тысяч. Они хоть и прославились после смерти или еще при жизни, были в высшей степени несчастны — слава мало утешает в жизни и ничуть — посмертно. А если хочешь ты увидеть тех, кто не добился даже славы, которой так желал, взгляни на Честертона*. (См. "Ло спеттаторе ди Милано", выпуск 68, с. 276. Иностранная часть. Следует имя немецкого поэта-лирика, который подавал большие надежды и умер молодым; он жил, по-моему, при дворе Фридриха II** и был задет его остротой или чем-то, причинившим ему сильные страдания и, может быть, приведшим к его смерти; отец поэта, ненавидевший его, после кончины сына в том раскаялся и т. д. Его имя начинается как будто с Г. Мальфилатр (Шатобриан, Гений*** и пр., примеч. 3 Приложения к двухтомнику.) И множество других необычайно одаренных бесславно умерли во цвете лет, кто — от бедности, кто — от отчаяния, и теперь никто о них не помнит. А сколько прочих жили долго и написали или создали произведения, гораздо более достойные бессмертия, чем бесконечное множество других, необычайно извест-

ных и прославленных? Но поскольку ни фортуна, ни я не поспособствовали им, они и не прославились, и никогда о них не будут говорить, как будто их и не было. Как у тебя по части грамоты?

Порядочный человек. Могу сказать, Ваше Превосходительство, что, сколько я живу, я только лишь и делал что учился, так что это ослабило меня, испортило фигуру и подорвало здоровье.

С в е т. Очень скверно. Зря потратил время, усилия и средства. Все твоё учение, считай, пошло насмарку, только будешь теперь к черту отдуваться ни за что. Я не осуждаю твоего желания заниматься наукой и литературой, дабы снискать себе и честь, и славу. Так тоже можно отличиться, сподобиться почтения большинства, достигнуть многих целей. Но к этому приходят вовсе не благодаря учению, которое если и играет роль, то очень малую. Послушай, что ты сделаешь сначала. Ты должен завести знакомство и приятельство с массой образованных людей — неважно, в самом деле или только с виду, достаточно того, чтобы это были люди с именем. Кто бы из них тебе ни подвернулся, даже самый маловажный, не пренебрегай им и тотчас же сведи с ним дружбу, так как чтобы поднять шумиху, нужно множество народу. Хвали публично их произведения, чтобы они отплатили тебе тем же, в чем можешь ты не сомневаться, так как литературное сообщество устроено гораздо справедливее всех остальных сообществ и режимов на земле и управляется единственным законом вознаграждения. Вступи во столько академий, во сколько сможешь, и сначала обнародуй свои звания на титульных листах твоих книг и всюду, где ты сможешь; потом, когда все выучат их наизусть, напротив, опускай их, будто бы ты им не придаешь значения и скрываешь — все усмотрят в этом благородство. Пиши и публикуй то, что понравилось бы дамам и кавалерам, — в общем, тем, кто служит мне, и пусть написанное будет издано на лучшей из бумаг прекрасным шрифтом с выгравированными фигурками, в изящных переплетах и тому подобное. Если первое издание не разойдется, выпустишь второе и будешь говорить, что первое стало раритетом, в чем ты не солжешь, ибо и в самом деле книгу можно будет отыскать лишь у совсем немногих, то есть у книготорговцев. Можешь быть уверен, что успех этого издания будет большим. Уже известно, что вам, итальянцам, присущ французский стиль, и, к счастью, вы и не умеете писать иначе, хоть язык, которым вы пользуетесь, — чисто итальянский или скорей таким вам кажется. Договорись со всеми журналистами, по крайней мере своей нации, что ты будешь им платить в зависимости от того, как они будут тебя хвалить. Допустим, что ты опубликовал поэму, примерно равноценную книге Бертольдо*, либо канцонам аркадийцев** или же Фругони, или стихам Альгаротти, Беттинелли, Бонди*** и подобных им. Если скажут, что она не уступает "Иерусалиму", ты заплатишь столько-то. Если уподобят "Энеиде"**** — на столько-то больше; ежели оценят выше "Илиады", то на столько-то, и так далее.

Порядочный человек. Но, Ваше Превосходительство, все говорят, что к таким уловкам и обманам прибегают невежды, те, кто немногого стоит (и т. д.), что таким путем признания не достигают (и т. д.).

Свет. Ты что, не знаешь, простофиля: говорят одно, а делают другое? И давным-давно никто не помнит (и не бывало с незапамятных времен) человека, чьи слова бы соответствовали его делам? Поступай, как я сказал, и больше ни о чем не думай. Что до премий, присуждаемых академиями, расскажу тебе старинную историю. Когда Александр Македонский умирал, пришли его генералы и спросили, кому он оставляет царство. И ответил Александр: "Сильнейшему". Так поступают и все академии, и все, кто присуждает литературные премии. Так что, претендуя на какую-нибудь премию, заботься не о том, достойнее ли ты других, а о том, сильнее ли. Если не сильнее, будь ты хоть музой, не соперничай даже с лягушками — тебя непременно освищут, а лягушки будут разгуливать с медалями (или в коронах). С учетом этого веди себя и на любом другом литературном состязании. Это что касается литературы. А теперь вернемся к тому, как должен ты служить мне. Во-первых, вбей себе как следует в голову, что ты должен поступать и жить, как все.

Порядочный человек. Во всем?

Свет. Внешне — во всем. А в глубине души тем паче делай все, что можно, чтоб не только твои слова, дела и манеры, но и вкусы, взгляды и высказывания были в точности как у других. Помни, что ни от кого, кто служит мне, я ни в коем случае не желаю совершенно ничего необыкновенного, и если кто-то от природы необычен или исключителен, то если хочет быть он мне по нраву, ему следует исправиться.

Порядочный человек. Прошу прощения, Ваше Превосходительство, но какая в этом красота, какое удовольствие, если все будут одинаковы и будут говорить и делать одно и то же?

Свет. Об этом ты не думай. Никто не должен отличаться от других, все должны быть, подобно яйцам, неотличимы друг от друга. А кто позволит себе отличаться, будет поднят на смех.

Порядочный человек. Так что если б оказался я в краю, где все на один глаз слепы, я тоже должен был бы лишиться себя глаза, чтобы уподобиться другим?

Свет. Это твоя обязанность. Но что нам обсуждать воображаемые случаи?

Порядочный человек. Но ведь если бы Ваше Превосходительство пошло в кукольный театр, где все марионетки были бы и одеты в одно, и двигались бы одинаково, и все одно и то же говорили, Ваше Превосходительство впало бы в смертную тоску (и т. д. и т. п.) и потребовало, чтоб ему вернули уплаченные деньги. Нет в жизни ничего необходимее разнообразия (и т. д.), поскольку это — единственное средство от тоски, которая следует за любым из удовольствий.

Свет. Ты собираешься служить миру и боишься скуки? Ты не знаешь, что любой, кто служит мне, можно сказать, только и делает, что скучает? И что все блага, которые могу я дать, увенчиваются скукой? Поэтому, добиваясь моих милостей и получая их, ты не будешь иметь другой подруги и иного исхода. Ныне не бывает так, как прежде, когда все связанное с человеком было полно жизни, движения, разнообразия, иллюзий, так что люди не скучали. Ныне не питай иных надежд, кроме как на вечную скуку и на счастливую смерть в любой момент, поскольку жизнь мне более не дорога, я не желаю больше шума, беспорядков, перемен. Невежда и ребенок не скучают, будучи полны иллюзий, мудрец же, зная правду обо всем, испытывает только скуку.

Порядочный человек. Но если Ваше Превосходительство не терпит необычного, тогда ему будут противны почти все добрые и прекрасные деяния, и если нам всегда придется делать то, что делают другие, мы неизбежно будем действовать все время вопреки природе, не только потому, что нам придется постоянно приспосабливаться к склонностям других, а потому, что большинство людей ведет себя наперекор своей природе.

Свет. Что ты сбиваешь меня с толку? Какое отношение имеет этот мир к природе? Когда я слушаю тебя, то мне все время кажется, что воскресла моя бабушка или что я беседую со своей кормилицей. Сейчас что — эпоха Авраама, пастушьих королей или Троянской войны? Природа учила меня в детстве, но теперь, как это часто случается с учителями, она — первейший мой смертельный враг, и главная моя задача — выдворить ее из всех малейших уголков, где только она приютилась. Я к этому уже приблизился и скоро надеюсь положить конец ее присутствию среди людей, чтобы не осталось от природы и следа.

Порядочный человек. Ваше Превосходительство наворачивает — друг разума.

Свет. Да, но совсем холодного и твердокаменного, как мрамор. Он и в самом деле мил мне, этот бедный старичок, слабенький, как блошка.

Порядочный человек. Он был всегда настолько слаб или стал таким под старость?

Свет. С самого рождения. С тех пор, как у него достало сил, чтоб сделать первый вдох. И он не только сам был слаб, он истощал и ослаблял всякого, кто следовал и следует ему. По моему велению он держит лавку, где приказчиками служат множество политиков, философов и т. п. День и ночь они работают, приготовляя мне шербет и прочие ледяные напитки, которые мне чрезвычайно нравятся и очень помогают.

Порядочный человек. Горячее Вашему Превосходительству не по вкусу?

Свет. Избави меня Бог! В молодости хаживал я в лавочку природы, где бывали поэты (тогдашние поэты) и прочие благородные сочинители, которые все занимались с ней любовью, так как она всегда была необычайно хороша собой. Они давали мне

кое-какие отвары и вина, будоражившие кровь. Дело в том, что я рос мускулистым, ловким, легким, сухопарым, как чахоточный больной, не ведая покоя ишачил до седьмого пота, мечтал о массе всяких глупостей, и не случилось в моей жизни двух похожих дней. Наконец познал я истинное положение вещей и принял верное решение. Теперь я сижу сиднем и не шевельнул бы пальцем за все золото на свете; я больше ничего не делаю, целыми днями думаю и получаю массу удовольствий. И каждый день мой в точности похож на предыдущий. Поэтому у меня прекрасное здоровье, я все больше поправляюсь, у меня даже раздуваются живот и ноги. Некоторые зануды кричат мне, что я лопну, но скорей они лишатся жизни от чахотки или шпаги в сердце. Значит, первое, чего хочу я, — делай все, что делают другие. Второе — чтобы ты забыл и думать о природе. Теперь посмотрим, хорошо ли ты понял меня. Как ты собираешься вести себя по отношению к другим в том, что касается твоих достоинств или недостатков?

Порядочный человек. Скрывать достоинства, которые я знаю за собой, всегда быть скромным и признаваться в любых изъянах, телесных или умственных, так, чтобы другие мне сочувствовали, — в общем, ни на что не притязать, особенно на то, чего я явно не достоин.

С в е т. Ай да молодец! Везуч ты будешь, как утопленник. Я вижу, доступ к твоему умишку уже, чем кокеткин ротик, и, чтобы мои поучения его достигли, надо говорить яснее ясного. Так знай: когда я был уже нельзя сказать "в расцвете лет", но и не стар еще и лавочку природы с ее яствами сменил на те, которыми располагает разум, постиг меня недуг, подобный Дантовому* (и т. д.). Поскольку голова и ноги мои начали повертываться так, что там, где был затылок, сделалось лицо, а колено — там, где было l'argaletto [придуманное слово], так что перёд стал сзади, и то, что пред тобой, — не грудь и не живот, это спина и зад. Так что двигаться теперь могу я лишь назад, и кто кричит, что свет стал шиворот-навыворот в сравнении с тем, каким он должен быть, тот удивляется напрасно. С тех пор, хоть я осматривал и продумывал свой путь гораздо более, чем прежде, из-за того, что я глядел на него искоса — так, как не был приспособлен, — я спотыкался, падал, то и дело норовил пойти по ложному пути. В конце концов решил я сесть и больше никуда не двигаться (и т. д.). Знай, что я стал скопцом, хотя по-прежнему сластолюбив. С учетом всего этого суди и составляй себе верное понятие о природе, о человеческих делах и о твоих обязанностях в обществе; и в каждом случае, когда ты по неопытности будешь сомневаться, как вести себя, что тебе думать, всегда придержишься противоположного тому, что кажется естественным. Как в нашем случае. Естественно сделать так, как говоришь ты. Значит, надо поступить наоборот. Сочувствия у людей уже не встретишь, так что признавать свои изъяны, слабые стороны не стоит. Люди больше не ценят также истинных достоинств, если не поднять по их поводу шума, так что скромность может только повредить. И если тот, кто обладает ими, не демонстрирует своей глубокой в этом убежденнос-

ти, то это все равно как если б он их не имел. Первое здесь правило — запастись изрядной долей самомнения и всем показывать, что ты считаешь себя птицей высокого полета. Сперва другим будет досадно, но понемногу они к этому привыкнут и поверят, что ты прав. Каждый лезет вон из кожи, чтобы превзойти соседа. Так что соседу нужно делать то же. Если он и в самом деле хуже, пусть совершенно не надеется на деликатность в случае, ежели решит он уступить, признать, что это так. Напротив, он тем более должен стараться уравниваться с прочими, скрыть истину, заставить ценить себя, добиться того, чего он не заслуживает. И поэтому невежде следует приписывать себе ученость, плебею — знатность, бедняку — богатство, уроду — красоту, старцу — молодость, немощному — силу, болящему — здоровье и так далее. Все то, что ты уступишь, считай, потеряно совсем, и никакой тебе от этого не будет пользы. И ежели ты сам поставишь себя на полпальца ниже других в чем бы то ни было, другие тебя принизят еще на целый локоть. Дабы взять верх над людьми, нужно иметь очень сильные руки, чтобы драться, как принято в Англии, и очень мощные легкие, чтобы кричать, шуметь, ругаться, хвастаться и угрожать громче других и обуздывать людей, как обуздывают лошадей и мулов и как сделали те бедные Аббатиса и пансионерка, упомянутые Тристрамом Шенди, что, путешествуя вдвоем, сумели совладать с норовистым конем при помощи ругательства, которое, совестясь, произнесли они каждая по половинке*. К тому же нужно иметь наглость и крепкую спину, чтобы стойко выносить удары и никогда не падать духом, и ни от чего не уставать, и постараться быть, как те игрушки, что дети называют неваляшками, которые, как их ни опрокидывай, как ни укладывай и что ни делай с ними, все равно встают.

П о р я д о ч н ы й ч е л о в е к . Но как же это согласуется с советом Вашего Превосходительства во всем равняться на других?

С в е т . Во-первых, прекрасно согласуется по всем статьям. А во-вторых, разве я тебе не говорил, что теперь я могу лишь пятиться назад? Поэтому если когда-то я не терпел в своих делах противоречий, сейчас они необычайно часты, и почти все предписания мои находятся в противоречии друг с другом. Коснемся только главного. Наверное, ты знаешь, как поступают обезьяны, желая перебраться через реку (и т. д. и т. п.). Точно так же все вы, мои слуги, когда не можете достичь какой-то цели в одиночку, должны, подобно обезьянам, объединиться и образовать цепочку.

П о р я д о ч н ы й ч е л о в е к . Ваше Превосходительство имеет в виду дружбу?

С в е т . Ну вот, опять употребляешь древние, допотопные слова. Быть бы тебе старьевщиком или служителем антикварного музея! Дружбы больше нет, а ежели тебе охота употреблять это название, знай, что она похожа на те застёжки или пряжки, которые используются, когда нужно что-то соединить, а когда потребность в этом миновала, они расстегиваются и часто убираются. Вот так же нынешние дружеские связи. При необходимости они завязываются, заключаются, а когда нужда в них пропадает,

иногда они расторгаются, но окончательно не рвутся, так что при желании их можно завязать опять, в других же случаях их разрывают совсем, и каждый становится свободным и ничем не связанным, как прежде. Поэтому в то время как древние считали, что величайший человек едва может найти единственного друга, ныне, наоборот, какое-нибудь ничтожество обретает их столько, что, умея считать все остальное, чем он обладает, он не заботится лишь о том, чтобы пересчитать друзей, и не готов за это взяться. Но без этих многочисленных застёжек — никуда. Однако и сейчас бывают дружеские связи столь же тесные и вечные, как в древности, и даже более, так как сама их суть предполагает их неразрывность. Такие связи завязывают меж собою два-три человека, чтобы помогать друг другу совершать обманы, предательства и пр. — в общем, всяческие изысканные и доблестные злодейства. Такие дружбы нерушимы, так как каждый боится, что другой расскажет о его злодействах, и поневоле длятся вечно, и о сохранении их заботятся всегда не меньше, чем о сохранении жизни. Но свойственны они не простому люду, а героям нашего времени. И если бы поэты не были такими дуралеями, они бы позабыли про Патроклов, Пиладов, Нисов* и других уже оскомину набивших древних и создавали бы поэмы и трагедии об этих современных дружбах, куда более благородных и достойных, так как они способствовали добродетели, деяниям безрассудным и бесплодным, шли на пользу родине и прочим фантазиям тех времен, а эти приносят истинную и немалую жизненную пользу.

(Дальше следует короткое ироническое доказательство того, что современные события гораздо сообразнее поэзии, чем древние. Свет сожалеет, что поэты предпочитают древность, а современностью пренебрегают. Можно будет также ввести сатиру на романтиков, в которой чувствовалось бы одобрение их стремления заменить холодность, бездушность и низменность нынешних сюжетов пылом, благородством, возвышенностью и т. д. древних.)

(Дальше речь идет о кознях, о необходимости интриг, о том, что именно они и управляют светом, о бесполезности и даже вредности истинных достоинств и добродетели.)

П о р я д о ч н ы й ч е л о в е к. Теперь я понимаю, почему болшинство, да просто все, кто в молодые годы был добродетелен и пр., поступив на службу к Вашему Превосходительству, перестраиваются на ходу и вскоре становятся отъявленными негодьями и продувными бестиями. Поверьте, Ваше Превосходительство, я буду во всем им подражать, и насколько прежде был я пламенным поборником добродетели и благородства, настолько впредь не буду знать я удержу в пороке.

С в е т. Надеюсь, у тебя ума на это хватит. Но ответь в последний раз, как человек порядочный: что дала тебе и что вообще дает людям добродетель?

П о р я д о ч н ы й ч е л о в е к. То, что толком ничего не можете вы сделать. Что все вас попирают ногами, смеются вам в лицо и за спиной. Что вас оговаривают, бесчестят, оскорбляют, пре-

следуют, дают пощечины, оплевывают — в том числе и самые гнусные подонки, самый что ни на есть трусливый сброд.

Свет. Так что же лучше, обрекать себя на муки и терзания ради той, кто ничего не видит и не слышит, не благодарит тебя и не желает замечать, как сильно ты из-за нее страдаешь, или же служить тому, кто, если ты сумеешь угодить ему, непременно, не скупясь, воздаст тебе и исполнит все твои желания?

Порядочный человек. Знайте, Ваше Превосходительство, что если бы я был всегда порочен, то не смог бы вам служить так хорошо, как буду, в чем вы убедитесь. Поскольку тот, кто никогда не пробовал жить честно, не способен злодействовать с такою силой, как несчастный бедолага, который делал людям лишь одно добро и с рождения стремился всем сердцем к им любимой добродетели, но поскольку она неизменно оказывалась не только совершенно бесполезной, но и чрезвычайно вредной, в конце концов пускается во все тяжкие, чтоб отомстить людям, добродетели и самому себе. И видя, что если б захотел он сделать людям добро, то все, договорившись, сокрушили бы его, он решает, опередив их, одолеть их сам, насколько сможет.

Свет. Скажи мне свое имя, чтобы внес его я в общий список.

Порядочный человек. Аретофило Метанозто, к услугам Вашего Превосходительства. Что означает "Кающийся Праведник", то есть "раскаивающийся в праведности" или, как мы говорим, "кающийся грешник", то есть "раскаивающийся в грехе".

О САМОУБИЙСТВЕ

Что значит "человек изменился"? Если бы природа тоже старела и способна была изменяться (и т. д.). Но поскольку и предназначенное нам природой счастье, и пути его достижения неизменны и единственны, к чему нас приведет отказ от них? Что доказывают столько добровольных смертей и пр., как не то, что люди устали и отчаялись от этой жизни? В древности кончали с собой из героизма, из-за иллюзий, неистовых страстей и пр., и эти смерти были достославны (и т. д.). Но теперь, когда нет более ни героизма, ни иллюзий, а страсти так ослабли, чем объяснить подобный рост числа самоубийств, причем не только, как прежде, среди людей, известных выпавшими им огромными несчастьями или питавших слишком сильные иллюзии, а среди кого угодно, так что о смертях этих уже никто не знает? Чем объяснить, что в Англии самоубийц всегда бывало больше, чем в других краях? Тем, что в Англии больше размышляют, а везде, где размышляют, без фантазий и энтузиазма, там ненавидят жизнь; тем, что познание доводит до желания смерти (и т. д.). Лишают себя жизни ныне совершенно хладнокровно. И в самом деле, ежели не брать страх или надежду на грядущее, не так уж глуп тот человек, который сводит счеты с никчемной, мертвенной жизнью, полной скорби и безусловной, неминуемой тоски (и т. д. и т. п.).

Однако нет в природе ничего чудовищней самоубийства (и т. д. и т. п.).

Невозможно более обманываться или притворяться. Философия столь многое раскрыла нам, что это забвение нас самих, легкое когда-то, ныне невозможно. Или вновь воображение будет играть былую роль, иллюзии вновь обретут вещественность и сущность в полной энергии и движения жизни, и она опять станет живою, а не мертвой, в величии и красоте явлений снова будет видеться их суть, религия вернет свое влияние — или этот мир будет обителью страдальцев, а возможно, и пустыней. Я знаю, что это покажется несбыточными грезами, безумием, как знаю и то, что если бы кто-то тридцать лет назад предрек ту грандиозную революцию в положении дел и взглядах, зрителями и участниками каковой мы были и являемся, то не нашлось бы никого, кто снизошел бы и до осмеяния этого пророчества (и т. д.). В общем, вести и дальше эту жизнь, несчастье и никчемность коей мы познали, без живых удовольствий и без тех иллюзий, на которых от природы основывается наша жизнь, нельзя.

Политика, однако, продолжает быть почти чисто математической, вместо того чтоб быть философичной, как будто философии после того, как она все разрушила, неудобно прилагать усилия к его восстановлению (в то время как именно это и должно быть ныне, в противоположность временам невежества, ее истинной задачей), и как будто бы она так никогда и не должна принести людям большого блага, поскольку до сих пор она им доставляла только маленькие блага и огромные несчастья.

Изначальное назначение природного разнообразия и изменчивости сущего — в том, чтобы развлечь людей и не давать им долго задержаться ни на чем, даже приносящем удовольствие, которое после долгого стремления к нему оказывается подобным песку, струящемуся сквозь пальцы, и как те евреи, говорившие: "Наес ест илла Ноемис?"¹, так мы неизбежно говорим тогда: "И это — то большое удовольствие?" Весь план природы относительно человеческой жизни сопряжен с великим законом развлечения, иллюзии и забвения. Чем меньше соблюдается этот закон, тем ближе мир к гибели.

Совсем немногие согласны с тем, что в древности жизнь была действительно счастливей современной, и немногие эти полагают, что о том не стоит больше вспоминать, поскольку обстоятельства переменились. Но природа ведь не изменилась, другого счастья нет, и современной философии гордиться нечем, если она не способна привести нас к состоянию, в котором сможем мы быть счастливы. Дело не в том, что то было давно, а в том, что та жизнь была сообразна человеку, а эта — нет, и что тогда люди жили, даже умирая, а ныне умирают и живя, и что нет способов, кроме тех древних, вновь полюбить и почувствовать жизнь.

¹Это — Нозмий?* (лат.)

Великая вещь истины, но не мешает их как следует обдумать. Разум — враг величия, разум — враг природы: природа велика, а разум мал. Посему замечу: человеку тем труднее быть великим, чем он более подвластен разуму, ибо немногие способны достигать величия (в искусствах и поэзии, быть может, и никто), не находясь во власти тех или иных иллюзий. Отсюда то, что именуем мы великим, — например, деяния, — как правило, есть нарушение правил и являет собой некую неправильность, которую разум осуждает. Пример тому — кампания Александра, зиждившаяся на иллюзиях. Выходящее из ряда вон кажется нам великим, но более ли велико оно, чем заурядное, вообще говоря, — не знаю: иной раз оно может быть гораздо меньше, и необычный знаменитый человек, если сравнить его со всей строгостью с другим, обычным и незнаменитым, может уступить тому. Однако в силу своей необыкновенности он почитается великим; даже малость, коль скоро она необыкновенна, слывет и именуется величием. Всего этого разум не приемлет, а мы живем в век разума (должно быть, потому, что чем старше мир, тем он искушеннее и холодней), и в наши дни не может быть — и это так — много великих людей, особенно в искусстве. Но и те, кто подлинно велик, умеют взвешивать и признавать свое величие, умеют хладнокровно изучать свой собственный характер, давать оценку своим действиям, делать предсказания на свой счет и подробно, приводя необычайно тонкие и глубокие рассуждения, описывать свое житье; сии умения — огромные враги, ужасные препятствия величию при том, что и в иллюзиях ныне признаются самым откровенным образом и лелеют их с каким-то удовольствием [15], прекрасно сознавая, что они собою представляют. Так могут ли столь откровенные иллюзии быть *стойкими и долговременными*? Могут ли они подвигнуть на великие дела? А без иллюзий мыслимо ли величие или хотя бы надежда оного достичь? (Пример того, как разум может быть в противоречии с природой. Больной совершенно безнадежен и, вне всякого сомнения, считанные дни спустя умрет. Его родственники, чтобы питать его, как того требует в эти дни болезнь, идут на материальные затраты, ожидающие их и после его смерти, что не принесет больному ни малейшей пользы, а может быть, доставит вред, поскольку будут продлены его мучения. Что говорит

нам голый сухой разум? Ты безумец, раз ты его кормишь. Что же говорит природа? Ты будешь варваром и негодяем, если для того, чтоб поддержать его, ты не сделаешь и не вынесешь всего, что только можешь. Следует заметить: здесь религия на стороне природы.) Именно природа, таким образом, склоняет великих на великие деяния. Разум же тянет их назад, значит, разум — враг природы, но природа велика, а разум мал. Другое доказательство враждебности разума природе можно усмотреть в полезности (и для здоровья, и для всего прочего) труда, противного природе, а также в том, что ей противны множество других вещей, необходимых или в высшей степени полезных и рекомендуемых по сей причине разумом, и в том, напротив, что природа расположена ко множеству иных вещей вредных, бесполезных или запретных, не допускаемых и порицаемых разумом, и таковые склонности ее нередко бывают вредными и губительными для нее самой.

Природа, как сказал я уже, велика, а разум мал и враждебен тем исполненным величия деяниям, которые вдохновляются природой. Противоречие меж этими двумя великими первопричинами всего на свете разрешено было только религией, которая единственная, предлагая нам любить незримые проявления Бога и т. д., надеясь на вознаграждение в грядущей жизни, на удивление гармонично примирила величие, великодушие, возвышенность и видимое сумасбродство действий (к примеру, в поведении мучеников — отречения от земных благ, от родственников, родины и пр., презрение к смерти, жертвования удовольствиями и всем прочим ради любви к Богу, ради долга и т. д.) с разумом; вне религии подобная гармония возможна только на словах, поскольку если отобрать надежду на будущую жизнь, на бессмертие души, на существование добродетели и мудрости, истины и красоты, воплощенных в Боге, на заботу этого существа о нас и пр., его любовь и т. п., то, безусловно, никогда не будет героических, великодушных и возвышенных поступков, высоких замыслов и чувств, которые бы не были абсолютно иллюзорны и не обесценивались бы по мере возрастания власти разума, — как уже можно наблюдать, сколь иллюзорны те нынешние проявления величия, к каковым религия не причастна, и как по мере ослабления веры в душах идут на убыль те возвышенные деяния, на которые куда богаче были прошлые невежественные века по сравнению с нашим просвещенным. То же самое можно сказать о прелести и привлекательности множества идей и мнений, каковые без религии не что иное, как химеры, а с религией — истины, которым воспротивился бы разум, враждебный как величию, так и истинной глубинной красоте и повинный в том, что все малó, что все так безобразно и убого в этом мире.

Один из случаев, когда следовать разуму бесчеловечно, а природе — неразумно, но благочестиво, — если отец, к примеру, видит, что сын его так болен, что не может не быть решительно несчастен и терпит неизбежные страдания, терзаемый острыми болями, лишенный удовольствий, погруженный в вечную тоску, испытывая жгучий стыд из-за своих физических изъянов и т. д. Желать такому сыну смерти — пусть он болен, пусть врачи не оставляют ему никакой надежды, пусть он умирает, — и не только желать ее, но и не горевать о сыне, находить какое-нибудь утешение, горько не оплакивать его — разумно и бесчеловечно, и, будучи бесчеловечным и противоестественным, идет вразрез с религиозными устоями [37].

[39—40] Бэкон Веруламский говорит*, что все способности, когда они сводятся к искусному умению, становятся бесплодными. Я дам краткий комментарий к этому полному истины изречению, применив его, в частности, к поэзии. Становятся бесплодными способности, когда они сводятся к искусному умению, то есть люди не находят ничего, что развивало бы эти способности, как находили в то время, когда они еще не имели ни законченной формы, ни имени, ни собственных правил; мне приходят на память (слова, в таком значении употребляемые Тассо) четыре причины этому. Во-первых, почти никто не думает о том, как бы усилить еще больше свою способность, когда она уже установилась, обрела форму и упрочилась и когда сам обладатель считает ее за совершенную; потому каждый довольствуется этим и успокаивается, полагая, что дело сделано; однако это случается не раньше, чем способность становится искусным умением, ибо всякий, кому приходилось совершенствовать ее, ломал себе голову, стараясь ее обогатить, потому что никто еще не наградил ее именем искусства; когда же она получает эту награду, кажется, что к ней нечего прибавить, даже если на деле она ничуть не возросла. Во-вторых (эта причина относится особенно к поэзии), множество людей или даже почти вся толпа тех, кто занимается поэзией (то же можно сказать в соответствующей мере и о других способностях), не осмеливается нарушить ни одно из установленных правил, ни на шаг не свернет с колеи, проложенной предшественниками, педантически считая, что невозможно сложить ни одного стиха в отступление от этих правил; одним словом, вторая причина есть педантизм. Третья причина, более присущая людям разумным, рассудительным, способным и даже высокоодаренным, состоит в обычае и привычке, от которых они не могут избавиться, идет ли речь о собственных или о чужих привычках. О собственных — потому, что, привыкнув читать, слушать и писать известного рода стихотворения, трагедии и т. д., они не умеют сочинять иначе, хотя их не связывают никакие предрассудки. О чужих — потому, что не осмеливаются отступить от общепринятого обыкновения и, хотя

они не рабы предвзятых мнений, однако, собираясь сложить стихи, не решаются показаться причудливыми, замыслив нечто неслыханное; имея опубликовать драму или представить ее в зрам публики, думают, что, сочинив ее по своей прихоти, не приноравливаясь к обычным формам, заслужат только смех и всеобщее поношение; намереваясь создать эпическую поэму, полагают, и не без оснований, что, если форма ее будет отличаться от привычной всему миру, их упрекнут в злокозненной подмене имени, отказавшись принять за эпическую поэму что-либо иное, нежели общепринятую ее форму. В самом деле, если кто назовет свое произведение трагедией, публика ждет того, что она привыкла понимать под словом "трагедия", а находя нечто совершенно отличное, принимается смеяться, и не без причины. Ведь беда нашего времени состоит в том, что поэзия уже свелась к умению и искусству, так что, если хочешь быть истинно оригинальным, нужно ломать, нарушать, презирать и полностью отбрасывать обычаи, привычки и знания, касающиеся имен поэтических родов, а поскольку такие имена приняты всеми, то сделать это нелегко и даже мудрый воздерживается от этого, и вполне правильно; ведь привычки следует особенно уважать во всем, что (как, например, стихи) создается для народа, и нельзя обманывать публику ложными именами. Впрочем, столь же правильно было бы дать новое стихотворение вовсе без имени, если оно не может взять его у известных родов поэзии, но на это нужно мужество, которое нелегко найти, и еще этому мешают многие препятствия — вполне существенные, а не воображаемые и педантические. Четвертая причина — самая сильная, самая значительная — состоит в том, что, даже если настоящий поэт захотел бы отвлечься от всякой полученной извне идеи, от всякой привычной формы и принялся измышлять стихотворение только на свой лад, ни на что не оглядываясь, все равно ему едва ли удалось бы быть истинно оригинальным или по крайней мере столь же оригинальным, как древние, потому что каждый миг он незаметно для себя помимо воли, а порой даже негодуя, вновь наталкивался бы на те же формы, те же приемы, те же членения, те же средства, те же ухищрения, те же образы, те же поэтические роды и пр.; так ручеек, который бежит через местность, где протекала другая вода, как бы вы ни старались повернуть его, всегда устремится к той дороге, которую увлажнили прежние воды, и попадет на нее. Конечно, природа преподносит нам сама все новые и всегда разные идеи, и, если бы один поэт не знал другого, едва ли нашлись бы два поэта, создавших схожие произведения, потому что такое могло бы произойти только случайно, а случай не так часто приводит к подобным совпадениям, весьма редким, как воочию видит каждый. Поэтому, когда образцов было мало или вовсе не было, Эсхил, например, придумывал то один, то другой вид трагедии и, не имея ни предустановленных форм, ни обычаев и следуя своей природе, менял форму с каждым новым сочинением. Так, Гомер, когда писал свои поэмы, свободно

блуждал по полям воображения и выбирал все, что ему заблагорассудится, потому что все действительно было у него перед взором и никакие предшествующие образцы не ограничивали поля его зрения и не застили взгляда. Таким образом, древним поэтам едва ли "поневоле приходилось быть неоригинальными", — они всегда были оригинальны, и если походили друг на друга, то лишь случайно. Но теперь, когда есть столько обычаев, столько образцов, столько знаний, определений, правил, форм, когда столько читают и т. д., поэт, даже если хочет удалиться от проторенного пути, то и дело на него возвращается, между тем как природа уже не действует сама по себе и на разум поэта естественно и неизбежно оказывают влияние благоприобретенные идеи, ограничивающие силу природы и подтачивающие силу воображения, которое, будь это не так, умело бы, несмотря на множество поэтов-предшественников, естественно и без усилия (я говорю о силе воображения истинного поэта) находить все новые вещи, никем еще не затронутые или хотя бы затронутые в другой манере, и т. д.

Одно из главных доказательств бессмертия души — в том, что человек несчастен по сравнению с животными, вполне или почти счастливыми, в то время как нас предвидение бед (чего животным не дано), страсти, недовольство настоящим, невозможность удовлетворить свои желания и все прочие источники злосчастья неминуемо обрекают на страдания в силу самой сути человеческой натуры, изменениям не подверженной. В этом нужно видеть доказательство того, что наше бытие не исчерпывается данным промежутком времени, как у животных, так как нельзя было б не видеть нарушения законов, коим неизменно подчиняются творения природы, в существовании такого животного, — к тому же наиболее совершенного и даже властвующего над всеми остальными и вообще над всей землей, — которое обречено своею сущью на злосчастье, если бы оное по завершении подобного существования не награждалось соразмерным счастьем (в жизни человеку недоступным), а также не видеть явного противоречия в том, что человек, которому присуща от рождения, как и всем животным, — но в пропорционально большей мере, — жажда жизни, будучи лишен надежды на грядущее бытие, с полнейшим основанием ненавидит нынешнее, томится, мучится (что противостоит естественно) и, как мы можем наблюдать, сам кончает свою жизнь (чего у животных не бывает). В том, что человек лишает себя жизни, — доказательство его бессмертия (В[ерри], Римская ночь 5, беседа 6-я**) [40].

[41—42] Есть огромная разница между смешным у древних комиков, и греческих и римских, — Лукиана и др. — и у современных, особенно у французов. Эта разница легко распозна-

ется и сразу же бросается в глаза. Но если исследовать ее и определить, то состоит она, мне кажется, вот в чем: смешное у древних заключалось прежде всего в вещах, а у современных комиков — в словах (говоря "современные", я разумею самые современные комедии, сатиры и другие смешные сочинения, потому что у Гольдони, например, была доля древнего аттического остроумия, как и в самых старинных наших комедиях, у Берни и т. д., в отличие, я полагаю, даже от французов старых времен — например, Буало* и т. д.). Смешное у древних всегда было осязаемым, они умели выразить и явить взорам, так сказать, самую плоть смешного, а современные комики показывают только тень, призрак, легчайшее веяние, дым. Смешное у древних насыщало смехом, смешное у современников едва дает его отведавать и улыбнуться; смешное у древних было стойким, у современников оно мимолетно; у древних то была длительная причина нескончаемого смеха, у современников — все наоборот. Смешное у древних бывало заключено в образах, в уподоблениях и сравнениях, в повествовании, одним словом, в вещах, смешное у современников заключено, если говорить в общем и целом, в словах, и порождается оно из сочетания тех или иных выражений, из двусмысленности, из словесного намека, из мелочной игры словами, из одного слова, так что если вы устранили намек, рассыплете и сочетаете по-новому слова, уберете двусмысленность, замените одно слово другим, — смешное исчезнет. Напротив того, смешное у греков и римлян прочно, стойко, осязаемо, оно заключается не в таких неуловимых, пустых и воздушных вещах, — возьмем, к примеру, Лукиана, когда он в *"Зевсе уличаемом"*¹ сравнивает богов, подвешенных на нитях к веретену Парки, с рыбешками, повисшими на удочке рыбака. Греки и римляне были необычайно находчивы, остры и щедры на такого рода образы, они отыскивали такие сокровенные и в то же время такие изобильные источники смешного, что трудно поверить, — взять, к примеру, хотя бы один отрывок из Филемона Комика* «...». Новизна смешного была обычной вещью у древних комиков соразмерно комической силе каждого из них. Даже когда у них и не бывало этих образов, уподоблений и пр., все равно их злословие было более осязаемым, более телесным, более вещественным, чем в наши дни.

В несчастье нашем можно видеть доказательство нашего бессмертия, если принять в соображение, что все животные и в некотором смысле все живые существа могут быть счастливыми и в самом деле счастливы, и только мы одни не можем. Но ведь очевидно, что на свете венец творения, господин всего и, больше, — тот, ради кого, судя по тысяче бесспорных признаков, существ-

¹Цитаты и ссылки, набранные курсивом, в Дневнике приведены на языке оригинала.

увет не скажу весь мир, но уж во всяком случае земля, — не кто иной, как человек. Следовательно, нельзя не усмотреть противоречия законам, неизменно, как мы видим, соблюдаемым природой, в том, что главное из всех существ не может наслаждаться своим совершенством, в чем и заключается счастье, без которого само существование делается в тягость, в то время как нижестоящие и обладающие несомненно меньшими достоинствами все это могут и достигают этого, — о чем свидетельствует тысяча признаков, — в силу причин, изложенных в другом из моих размышлений.

Стойкость трехсот воинов при Фермопилах, в частности двоих из них, которых Леонид* хотел спасти, а они не согласились, явно желая умереть, так же, как и радость, овладевавшая обычно матерями и отцами Спарты (примечательно, что даже матерями) при известии, что сыновья их положили жизнь за родину, как нельзя более подобны, чтобы не сказать тождественны, поведению мучеников, в частности тех, кто, имея возможность избежать мученичества, нисколько не стремился к этому, наоборот, желая его, как спартанцы от души желали умереть за родину. Недавний пример мученика, каковой имел возможность избежать смерти, однако же не захотел, можно найти у Бартоли, в "Миссии к великому Моголу"**. То же самое я могу сказать о христианских отцах и матерях, которые не только радовались, слыша о мучениях своих детей, но и поощряли их, смотря на них, ведя, препровождая, отдавая их на мученичество и в страданиях убеждая не сдаваться, как это делали спартанки, — та, которая сказала, подавая сыну щит: "Или с ним, или на нем", и те, кто относились с ненавистью к сыновьям, запятнавшим себя трусостью, — так же, как христианки, и т. д. Из данного сравнения следует не принимаемое обычно во внимание сходство между этими двумя родами героизма и явствует отмеченное мною в другом месте этих размышлений: что одна лишь религия примирила героизм, величие деяний, доблесть, силу духа, смелость и т. д. с разумом и пр. и, больше того, возродила героизм, почти сошедший было на нет по мере рассеивания иллюзий; и до чего же схоже с нашими делами то, что, как считается, имеет отношение лишь к свободе, любви к родине и т. д. греков и римлян, — в общем, древних и особенно древнейших, в то время как, я повторяю, есть у нас и свежие примеры недавних наших мучеников, а не только ранние и древние [44—45].

Самое полное из удовольствий этой жизни — пустое удовольствие от иллюзий. Для меня иллюзии в определенном смысле реальны, ибо это важные элементы человеческой природы, коими природа наделила всех людей, и посему не следует относиться к ним свысока, как к чьим-то личным грезам, так как они

действительно присущи человеку и замыслены природой, и, не будь их, наша жизнь стала бы чудовищно убогой, примитивной и т. д. Таким образом, они необходимы и являются существенною частью порядка вещей [51].

Жизнь мне опостылела*, и я испытывал огромное желание покончить с нею счеты, но вдруг почувствовал какую-то тень боли и испугался — в то мгновение, когда хотел я умереть; страх этот сразу же поверг меня в смятение и тоску. Никогда с такой силой не ощущал я внутреннюю противоречивость современного человека, вынужденного опасаться за собственную жизнь и стараться сохранить ее любым путем как раз тогда, когда труднее это сделать и когда он легко бы мог решиться на то, чтобы расстаться с нею добровольно (но не под действием других причин). И понял я, сколь верно и очевидно (ежели не допустить того, что природа, во всем прочем столь разумная и столь последовательная, что аналогия является одной из основ современной философии и вообще познания и речи, оказалась совершенно безрассудною и нелогичной, создавая главное свое творение) то, что человек никоим образом не должен был заметить своей обреченности в этой жизни на одни несчастья, каковые он должен был бы полагать случайными (подобно детям и животным); то же, что он это замечает, противоестественно, противоречит основам его бытия, общим для всех живых существ (к примеру, любви к жизни), и нарушает порядок вещей (так как толкает на самоубийство, что есть самое противоестественное на свете) [66].

На свете все ничтожно, в том числе и мое отчаяние, тщету, безрассудность и надуманность которого признаёт каждый столь же рассудительный, но более спокойный человек, да и, конечно, я сам в более безмятежный час. Горе мне! Ничтожна, тщетна и эта моя боль, которая со временем пройдет бесследно, и я останусь в абсолютной пустоте, бесчувственный настолько, что даже не смогу искать сочувствия [72].

Наивысшее доступное человеку в этом мире счастье — безтревожно жить своей обычной жизнью со спокойной, исполненной уверенности надеждой на гораздо более прекрасное грядущее, так что благодаря этой уверенности и благоприятности теперешнего положения его не гложет и не будоражит нетерпеливое желание насладиться этим призрачным прекрасным будущим. Божественное это состояние испытывал я лет шестнадцати-семнадцати на протяжении нескольких месяцев с перерывами, спокойно занимаясь своим делом, не тревожась ни о чем, проникнутый уверенностью и спокойной надеждой на счастливейшее

будущее. И никогда я больше этого не испытаю, ибо подобная надежда, *единственно способная сделать человека довольным своим настоящим*, может выпасть только юноше такого возраста или, по крайней мере, опыта.

Цивилизация ввела в обыкновение тонкие работы и т. д., которые ослабляют, притупляют, истощают такие человеческие способности, как память, зрение, силы вообще и пр., и которые притом не нужны природе, и вывела из обихода те, что сохраняют их и развивают, — например, труд земледельца, охотника и пр. ремесла первобытной жизни, угодные природе и необходимые для этой жизни* [76].

Можно наблюдать, что христианство, не причиняя людям никакого вреда, в определенном смысле их действительно ухудшило. Взять хотя бы впечатление, которое производят на читателей истории нравы главных христианских злодеев по сравнению со злодеями-язычниками, как и нравы частных лиц — патриархов, епископов и греческих (см.: Монтескье. "Величие и т. д.". Амстерд., 1781, гл. 22**) или латинских монахов. Злодеяния язычников отнюдь не находились в таком противоречии с их принципами. Когда иссякает истовое благочестие, первоначально пылкое отношение к религии как к собственному мнению, как к секте, как к чему-то личному, по сей причине бывшее и более ревнивым (в том числе и потому, что исповедание ее стоило жертв), то в человеке проявляется по отношению к ему подобным злое начало, с той разницей, что древние злодеи действовали или сообразно со своими принципами, или вопреки каким-то смутным, спорным и малоизвестным правилам, а христиане нарушали правила вполне определенные, в справедливости которых были глубоко убеждены; но человек всегда тем более преступен, чем больших стоило ему усилий через что-то переступить, прежде всего в самом себе, что верно также в отношении благочестия. И действительно, со времени перерождения христианства в душах, — то есть примерно с той поры, как сделалось оно религией имперской, государственной и было принято людьми, которых вынуждали быть злодеями обстоятельства, — преступные деяния, несомненно, изменили свой характер, и нравы Константина и других злодеев-христиан — императоров, епископов и пр. — безусловно, отвратительнее, нежели Тибериев, Калигул, Марциев, Цинн и т. д.; это злодейство совсем нового, более ужасного закала. И, я полагаю, именно на его — я говорю о христианстве — счет в немалой мере следует отнести (так как испорченное христианство было частью испорченной цивилизации) новое отношение к злодейству, сложившееся в средние века, совсем иное, более ужасное, чем в древние, даже самые варварские времена, и это новое отношение более или менее сохранялось до недавних пор, когда в связи с таким распространением неверия характер

злодеяний несколько приблизился к античному, если не считать того, что развитие и широкое распространение просвещенных — ясных и определенных — норм морали, бывшей куда более мрачной и туманной даже у наиболее цивилизованных из древних, не допускает беспрепятственного совершения злодейства. <...> [81].

Пресыщенный сверх меры жизнью, находился я в своем саду у края водоема и, склонившись над водой и глядя на нее, с некоторым содроганием думал: если бы я бросился туда и, сразу выплыв на поверхность, ухватился за край бассейна, приложил усилия, чтоб выбраться наружу, и после сильного испуга от того, что мог расстаться с этой жизнью, остался невредим, то несколько мгновений я испытывал бы радость от того, что уцелел, и тягу к этой жизни, которую сейчас ни в грош не ставлю и которой тогда я стал бы больше дорожить. Может быть, предание о прыжке Левкада* основано на сходном наблюдении [82].

Стоило мне, пребывая во власти величайшей тоски и полного уныния, несколько ободриться и испытать малейшее облегчение, как принимался я оплакивать человеческий удел и убожество нашего мира. И я думал: я печалюсь потому, что мне сейчас повеселее, и, сколь ни ничтожны обстоятельства, они мне все же оставляют силы огорчаться, а когда я ощущал острее их ничтожность и был переполнен этим ощущением, сил жаловаться у меня не оставалось [84].

Когда истинно несчастный человек осознает и остро ощущает невозможность быть счастливым и неоспоримое глубочайшее злосчастье человека вообще, он сначала делается равнодушным ко всему, что его окружает, как тот, кому и не на что надеяться, и нечего терять, и чьи страдания не могут оказаться еще страшней, чем он предвидит. Но если горе достигает наивысшей степени, то он не ограничивается равнодушием и почти полностью утрачивает любовь к себе (и так уже ослабленную его безучастностью) или, скорей, меняет ее направление на противоположное и начинает ненавидеть жизнь вообще, свое существование и относиться к себе как к врагу, и тогда картины новых бед и мысли о самоубийстве вселяют в него жуткое, почти дикое веселье, в особенности если доходит до того, что кто-то не дает ему покончить счеты с жизнью; тогда приходит время той *злорадной*, горькой, иронической усмешки, похожей на улыбку мести, наконец осуществляемой жестоким человеком после длительного, сильного и обостренного стремления к ней, усмешки, которая является последним выражением крайнего отчаяния и глубочайшего несчастья. (См.: де Сталь. "Коринна", ч. 1, кн. 17, гл. 4, 5-е изд. Париж, 1812. Т. 3. С. 184—185**.) [87]

[88] Je vous ai dit souvent, la douleur me tuerait; il y a trop de lutte en moi contre elle; il faut lui céder pour ne pas en mourir¹, — говорит Коринна у де Сталь, кн. 14, гл. 3, 2. С. 361 означенного издания. Откуда следует, что древние, чьим нравам писательница пожелала уподобить склад характера Коринны, насколько это совместимо с современными обычаями и взглядами, которыми она ее щедро наделила, так бывали сломлены бедой, что выражали свое отчаяние ужаснейшими жестами и действиями, и несчастья их выводили из себя и убивали. То se réposer sur sa douleur² и даже удовольствие, которое испытывают в наше время люди от несчастья и от размышлений о своем несчастье, было незнакомо тем, кто, следуя прирожденному инстинкту, не совсем еще загубленному, стремился к счастью — не призрачному, а реальному, и находил приятность там, где это было предусмотрено природой, то есть в удаче, а не в неудаче, каковая если их и постигала, то они считали ее своей личной, а не всеобщей и неизбежной. Стремление их к счастью также не было умерено, притуплено, ослаблено никакими рассуждениями, никакой философией. Тем ужасней было действие всего того, что мешало им осуществить это желание.

"Les habitants du Midi craignant beaucoup la mort, l'on s'étonne d'y trouver des institutions qui la rappellent à ce point; mais il est dans la nature d'aimer à se livrer à l'idée même de ce qu'on redoute. Il y a comme un enivrement de tristesse qui fait à l'âme le bien de la remplir tout entière" ("Corinne" l. 10, ch. I, t. 2, p. 115)³. [89] В этой связи можно отметить то смутное, однако истинное желание, которое мы испытываем, например, когда, держа в руках нечто зловонное, улавливаем его запах. Так, если случится тебе миновать место, где кого-то подвергают наказанию, ты испытываешь отвращение к этой экзекуции, однако же, держу пари, не сможешь удержаться, не поднять глаза, чтобы взглянуть на это мельком и тотчас же отвести их в сторону. См. в этой связи примечательное место у Платона, "Opp. ed. Astii", т. 4, с. 236, строки 8—16*. То же самое касается всего, что отвратительно: так, если ты подвергся опасности, при мысли о которой у тебя сжимается от страха сердце, ты не в силах размышлять об этом мгновении, об этом случае, этой близости смерти и т. д., но не в силах также отогнать от себя эти мысли, более того, волей-неволей ты чувствуешь потребность снова взглянуть опасности в лицо. То же самое, если тебе приходит в голову какая-нибудь огорчительная

¹ Я часто говорила вам, что боль убьет меня: я слишком ей сопротивляюсь, нужно уступить ей, чтобы не умереть (фр.).

² здесь: примирение со своей болью (фр.).

³ Жители Юга очень боятся смерти, и тем более удивляют установления, беспрестанно напоминающие о ней; но человеку свойственно предаваться мыслям о том, что его страшит. Душа, преисполняясь уныния, находит в этом своего рода упоение" ("Коринна", кн. 10, гл. 12, с. 115) (фр.).

мысль, воспоминание о чем-то, заставляющем тебя стыдиться самого себя, и пр. Причина такого действия, конечно, не в упорении, о котором пишет де Сталь, и не в любопытстве, как поймет, немного поразмыслив, каждый. Скорее дело в том, что неизвестное нас мучит больше, чем известное, и если нечто нас пугает, приводит в ужас или огорчает, мы не можем пренебречь им и, несмотря на отвращение, нам все же хочется на него взглянуть, чтобы составить себе о нем какое-нибудь представление. Вероятно также, — даже наверняка, — это происходит от любви к необычайному и естественной ненависти к однообразию и скуке, от природы свойственной всем людям, и когда нам представляется явление, нарушающее однообразие, выходящее из общего ряда, то, даже если оно кажется нам куда несносней скуки, которой, может быть [90], в тот миг мы и не замечаем и совсем о ней не думаем, мы испытываем определенное удовольствие от того потрясения, того волнения, которое вызывает у нас беглый взгляд на данное явление. Такое объяснение близко к объяснению мадам де Сталь, поскольку скука есть не что иное, как пустота души, каковая заполняется такими мыслями, как говорит де Сталь, и в тот момент всецело ими занята. В конце концов, сие может происходить и, думаю, отчасти происходит именно по той причине, что мы так боимся этих мыслей, подобно тому как при всех физических и умственных занятиях слишком сильное желание справиться и страх не смочь мешают нам добиться цели, и тот, кто принимается за ту или иную ручную операцию, — к примеру, хирургическую, — с замиранием сердца, слишком опасаясь неудачи, портит этим дело, так же как в литературе и искусстве тот, кто чересчур настойчиво стремится к простоте и чересчур боится не достичь ее, не добивается успеха.

Страх и ужас перед роковой случайностью, перед судьбой чаще свойственны (и в наши дни, когда почти что не осталось места суеверию) людям сильным и великодушным, нежели посредственностям, так как их желания и цели отличаются определенностью, и преследуют они их с неизменными пылом, постоянством и решимостью. Это было более обыкновенным явлением у древних, среди которых твердость, постоянство, сила и великодушие распространены были гораздо больше, чем среди наших современников. Видя, что нередко и даже очень часто жизненные обстоятельства противодействуют желаниям человека, они испытывали ужас, поскольку были слишком непоколебимы в своих желаниях или усилиях, направленных на достижение конкретной цели, которой они, вероятно, могли бы и не достичь. [91] Действительно, при бесконечном многообразии возможностей очень маловероятно осуществление как раз той единственной, к которой ты стремишься, а не бесчисленного множества других. И ежели осуществляется иная, это результат слепой случайности, а не преследования рока. Они же смешивали, как это бывает вследствие оптической или механической иллюзии (а стойкие и пылкие натуры смешивают до сих пор), собственную непоколебимость

с постоянством обстоятельств — и, не будучи способны им следовать и применяться к ним, воображали, будто постоянство свойственно не им самим, а обстоятельствам, которые пред-
решены судьбой. В то время как посредственные умы, не облада-
ющие твердостью и целеустремленностью, имеют в силу множе-
ственности их целей большую возможность рассчитывать на
исполнение одного или же нескольких своих желаний, а в против-
ном случае без труда подчиняются развитию событий, руковод-
ствуясь им, следуя ему, сообразуясь с ним, плывя по течению.
Таким образом, они, не отличаясь сами непоколебимостью и не
испытывая особых затруднений при согласовании своих намере-
ний с обстоятельствами, мыслят более свободно и не считают,
что судьба оказывает им сильное и постоянное противодействие
(ибо на самом деле силою и постоянством отличается сопротив-
ление, которое оказывают люди большой души необычайно из-
менчивым, зависящим от случая событиям), а видят во всем
результат случайного стечения обстоятельств, как оно и есть.
Добавьте постоянство не только целей, но и средств у первых (то
есть у великодушных), не позволяющее им изменять своим прин-
ципам и согласовывать собственные действия с происходящими
событиями и заставляющее их придерживаться одних и тех же
целей и способов их достижения, в то время как вторые поступа-
ют противоположным образом. И даже независимо от целей
и намерений можно наблюдать, как твердость и постоянство
характера вводят людей в заблуждение относительно силы судь-
бы, каковая, будучи на самом деле [92] столь разнообразной,
представляется неизменной тем, кто видит только один путь,
один образ поведения, мыслей и действий, события одного лишь
рода и единственно возможный, как им кажется, их ход; подоб-
ный страх перед судьбой бывает свойствен в большей или мень-
шей мере и посредственным умам или вполне благоразумным
людям, склонным философски мыслить и т. д., когда они ис-
пытывают какое-то желание или стремятся к какой-то цели так,
что это делает их непоколебимыми. (См. у де Сталь: "Коринна",
кн. 13, гл. 4, с. 306 вышеозначенного издания.) Эту иллюзию
можно сопоставить в некотором смысле с нашим представлени-
ем о неподвижности Земли, объясняющимся тем, что неподвиж-
ны мы на ней, в то время как она вращается и летит с огромной
скоростью. И замечено уже, что у людей великодушных такая
иллюзия тем ярче и сильнее, чем более яркие, определенные,
горячие, сильные, непоколебимые и т. д. им свойственны желания
и цели, чем более даны им страстные чувства и т. д.

Говорят, чтобы добиться милостей, нужно выбрать время,
когда тот, к кому за ними обращаются, находится в хорошем
настроении. Если милость может быть оказана им сразу же или
не будет ему стоить стараний и труда, — что же, я согласен. Но
чтобы predispose кого угодно в свою пользу и заставить

его даже и в малейшей мере заниматься вашим делом, нет более неподходящего момента, чем мгновения бурной радости. Поглощенный сильным чувством человек не может думать ни о чем ином, захваченный и переполненный собственным несчастьем или счастьем, не способен озаботиться делами, бедами, желаниями других. В [98] моменты бурной радости или глубокого горя человек не в состоянии проявить ни сострадание, ни интерес к другим: в горе — потому, что собственные беды занимают его больше, в радости — поскольку, упиваясь своим благом, он не найдет в себе ни желания, ни сил заняться чем-либо иным. Сочувствие особенно несовместимо с его состоянием тогда, когда он или преисполнен жалости к себе, или чрезмерно возбужден от радости, которая рисует ему все в радужном свете и побуждает считать всякое несчастье иллюзорным, по крайней мере, относиться к нему с неприязнью, как к чему-то совершенно чуждому тому, что воодушевляет и переполняет его в тот момент. Лишь промежуточные состояния позволяют человеку относиться с участием к чужим делам, а также состояние беспричинного и бесцельного восторга, когда он рад возможности непосредственно заняться чем-то, сотворить добро, от бездействия перейти к действию, облечь в конкретную форму свои чувства и превратить в реальность тот порыв добродетельного, великодушного, благородного и т. д. воодушевления, который связан был с абстрактными и неопределенными причинами. Но когда наша душа занята уже реальностью или той видимостью, что мы принимаем за реальность, обратить ее к чему-либо иному — дело очень трудное, и менее всего подходит для попыток заинтересовать другого вашим делом то время, когда он поглощен собственным делом, от которого отвлечься ему было бы необычайно тяжело. Тем более, если человек испытывает такую радость, какая выпадает в жизни очень редко и едва не сводит нас с ума, было бы нелепо к нему подступаться и, излагая сколь угодно красноречиво собственные нужды и невзгоды, надеяться отвлечь его от мыслей, столь дорогих ему и полностью владеющих его душой, более того, рассчитывать заставить его действовать или принять какие-либо действенные решения в целях, чуждых его мыслям, на которых он сосредоточен так, что даже слушая вас, едва внимает вам, а если и внимает, то старается сократить беседу, свести ее к резюме (чтобы после совсем забыть об услышанном), и только ждет того мгновенья, когда вы закончите и позволите ему предаться размышлениям, которые владеют им, и даже заговорить на эту тему и тотчас же перевести на нее [99] ваш разговор.

Часто слышишь: для того чтобы тебе сочувствовали или проявляли к тебе интерес, нужно обращаться к тем, кто пережил такие же несчастья или побывал в таком же положении, как и ты. Если речь идет о прошлом, вероятно, это так. Но нет человека,

от которого возможно ожидать меньшего, чем от того, кто в это время находится в подобной же беде или в таких же обстоятельствах. Интерес, который он испытывает к самому себе, всецело заглушает тот, который мог бы вызвать у него твой случай. Любое обстоятельство, любую подробность твоего рассказа он переносит на себя, рассматривает их применительно к своей персоне. Наблюдая его волнение, ты решишь, что ему жаль тебя, но на самом деле он жалеет только самого себя. Он постоянно будет прерывать тебя словами: "Точно, точно, вот и я так", "Совершенно верно, ты не представляешь, что я чувствую", "Да, это именно мой случай". (Тут уместно вспомнить Ахилла, оплакивающего собственные утраты, в то время как у ног его — Приам*.) Он даже станет преуменьшать твое несчастье, твою нужду и обоснованность твоих желаний, дабы оттенить свои: "Что ж, потерпи, ты можешь хоть утешиться тем-то и тем-то, а вот я, напротив..." — и так далее. Короче, совершенно невозможно сделать так, чтобы со столь живым и напряженным интересом, какой испытывает человек к себе, воспринял он дела других (сие относится — с необходимыми поправками — также к сердечным и отзывчивым натурам), и человека, всецело поглощенного собственным несчастьем (или радостью — каким угодно сильным чувством), заставить интересоваться чужим, *особенно* того же рода. Эгоизм вовеки не поддастся лобовой атаке, если, даже действуя окольными путями, растрогать его так непросто. Особенно не стоит ожидать поступков от молодого человека, которому, как и тебе, наскучила жизнь дома, и он, как и ты, испытывает потребность в средствах для того, чтобы положить ей конец, от военного, который столь же неудачлив, как и ты, или который так же жаждет и усердно добивается знаков отличия, от больного, всецело поглощенного измучившим его недугом, подобным твоему, и т. д. и т. п. (8 января 1820 г.)

Кажется нелепостью, однако это абсолютно верно, что, поскольку все реальное ничтожно, нет ничего реального и ничего существенного в мире, кроме иллюзий. (8 января 1820 г.)

Печальным следствием развития человеческого общества и цивилизации является и то, что мы определенно знаем и свой возраст, и возраст своих близких, точно знаем, что по прошествии стольких-то лет неминуемо закончится моя или их молодость и т. д., что и меня, и всех их неизбежно ожидает старость, как непременно суждено и мне, и им уснуть навеки, ибо не может человеческая жизнь продлиться долее определенного срока; и точно зная их возраст или свой, я прекрасно понимаю: через то или иное время все мы не сможем больше жить, не сможем наслаждаться молодостью и т. д. и т. п. Представим, будто бы нам неизвестно, сколько именно нам лет, что естественно и до сих пор часто бывает с деревенскими людьми, и мы увидим,

насколько избавляет от всех обычных непременных зол, которые привносит в нашу жизнь время, невозможность точного предвидения, которое определяет зло и намного его предваряет, предупреждая нас о том, когда, вне всякого сомнения, должны закончиться те или иные преимущества такого-то периода, которыми я наслаждаюсь, и т. д. Если же мы не знаем своего возраста, то одно лишь смутное представление о нашем неизбежном упадке и конце не в состоянии ни сильно нас огорчить, ни развеять иллюзии, которыми мы утешаемся на разных жизненных этапах. Заметим, как ужасно, к примеру, восьмидесятилетнему старику определено знать, что не позднее чем десять лет спустя он обязательно угаснет. Это сближает его положение с положением осужденного и бесконечно уменьшает дарованное нам природой благо неведения часа нашей смерти, зная мы с точностью который, этого достало бы, чтоб, одурманенные страхом, пребывали мы всю жизнь в унынии [102].

Есть три способа смотреть на вещи. Один, самый благодатный, свойствен тем, кто видит во всем прежде всего сущность и лишь потом вещественность — я говорю о [103] людях одаренных и чувствительных, чьи воображение и душу трогает любое явление, которые везде находят повод для того, чтобы устремиться ввысь, чтобы чувствовать и жить, которые обнаруживают постоянную взаимосвязь явлений с бесконечностью и с человеком и воспринимают жизнь как нечто невыразимое, туманное — в общем, тем, кто все рассматривает с точки зрения бесконечности и соотносит с устремлениями собственной души. Другой, наиболее распространенный, способ свойствен тем, кто все явления воспринимает прежде всего как вещественные, не особенно вникая в сущность, — я говорю о людях тривиальных (в отношении воображения и чувства, но не в остальном — не в том, к примеру, что касается науки, политики и пр.), которые, не видя ничего возвышенного, во всем усматривают некую реальность, воспринимают все таким, как оно представляется и как его обычно принято расценивать, и соответственно себя ведут. Это естественный и обеспечивающий наиболее долгое благополучие способ, каковой, не позволяя достичь каких-либо высот и остроенно ощутить свое существование, однако заполняет жизнь и придает ей неощутимую, но неизменно одинаковую, единообразную полноту и проводит человека по проторенной дорожке прямиком, сообразуясь с обстоятельствами, от рождения до могилы. Последний из трех способов — единственный пагубный и несчастный, но единственно при этом истинный — свойствен тем, для кого явления не сущностны и не вещественны, а все без исключения пусты и бессодержательны; это философы и люди, живущие по большей части чувствами, приобрета печальный опыт познания явлений, они от первого из способов, минуя второй, тотчас же переходят к третьему и всюду обнаруживают и ощущают ничтожность, пустоту и суетность человеческих уси-

лий, желаний, надежд и всех иллюзий, неотъемлемо присущих жизни. И здесь мне хочется отметить, насколько разум человеческий, которым так кичимся мы перед прочими животными, считая его способность совершенствоваться исключительной особенностью человека, убог и не способен сделать нас не только счастливыми, а менее несчастными и даже просто здравомыслящими существами, что предполагает лишь использование в полной мере разума. Поскольку тот, кто сосредоточился бы на постоянном обдумывании и ощущении действительной и совершенно несомненной ничтожности вещей настолько, что [104] чередование и разнообразие объектов и случаев не могло бы отвлечь его от этой мысли, был бы лишь поэтому уже совершенно ненормальным, ибо всякому понятно, что стал бы он делать, пожелай он руководствоваться этим неопровержимым принципом. Ведь очевидно: все, что делаем мы в жизни, делается нами в силу наших рассеянности и забывчивости, прямо противоположных разуму. Но хоть это было бы доподлинным безумием, однако же разумнейшим безумием на свете, более того, единственно разумным явлением, единственным совершенным и *постоянным* благоразумием, в то время как иные проявления его периодичны. Отсюда видно, что благоразумие в обычном понимании, идущее на пользу в этой жизни, находится между природою и разумом и ближе к первой, хоть обычно его связывают только с разумом, и что чистый разум по своей природе является непосредственным источником неизбежного абсолютного безумия.

После того как в мире не осталось героизма и, наоборот, повсюду распространился эгоизм, истинная дружба, способная заставить человека пойти на жертвы ради друга, среди людей, еще имеющих интересы и желания, крайне маловероятна. Поэтому хотя всегда и говорилось, что равенство принадлежит к числу условий, наиболее способствующих дружбе, однако дружба между двумя юношами кажется мне теперь менее правдоподобной, чем между юношей и тем, кто разочаровался в мире и уже утратил надежду стать счастливым. Такой лишенный уже сильных желаний человек гораздо более, чем юноша, способен объединиться с тем, кто их еще имеет, и проникнуться живым и действенным интересом к нему, так что если у того, другого, хватит духу отвечать ему взаимностью, они и в самом деле смогут крепко подружиться. Такое сочетание мне кажется гораздо более благоприятствующим дружбе, чем если оба одинаково разочарованы, ибо если из двоих ни у кого не остается ни желаний, ни интересов, то не будет основания для дружбы, и она сведется лишь к словам и чувствам и останется бездейственной. Примените это наблюдение ко мне и моему прекрасному удивительному другу* и к тому, что я другого такого не нашел, хотя знакомился с талантливыми и великодушными людьми, которых я любил и был ими любим. (20 января 1820 г.)

Является ли одной из основных причин изменения природы страданий в наше время по сравнению с древностью христианство, которое торжественно провозгласило, установило и ввело, так сказать, в обиход принцип безусловного злосчастья и ничтожности человеческой жизни, тогда как древние, должно быть, не считали это поводом для беспокойства, если сами боги, судя по их мифам, столь живо интересовались жизнью человеческой как таковой (а не в связи с грядущим), что жили теми же страстями, что и мы, посвящая себя, в частности, тем же искусствам (музыке, поэзии и т. д.), — в общем, занимались абсолютно тем же, что и мы? Я, однако, не считаю христианство главной причиной этой перемены, — более того, возможно, оно само отчасти явилось ее следствием (как полагает Бенжамен Констан в статье об Отцах Церкви, приводимой в "Спеттаторе"*), — а лишь основным проводником подобного переворота в душах.

Но если упоение страданием утешает в наши дни в несчастье, нельзя считать, что в древности незнание такого наслаждения умаляло счастье.

Как в надежде или любом другом расположении нашей души далекое благо кажется всегда превосходящим нынешнее, так обыкновенно в страхе кажется ужаснее далекое зло [105].

Для великих деяний, каковые большей частью суть следствия иллюзий, обычно не достаточно обмана воображения, что случается порой с каким-нибудь философом и характерно для иллюзий наших дней, столь бедных на значительные события, а требуется заблуждение разума, как у древних. И знаменательным примером этого является происходящее сейчас в Германии, где если кто-то жертвует собой ради свободы (как Занд — убийца Коцебу), то совершает это под действием не просто древней иллюзии свободы, любви к родине, величия деяний, как могло бы показаться, а мистического вздора, каковым забиты головы этих немецких студентов и загроможден их разум, как следует из газет последних дней, где даже приводятся их письма, полные странных и смешных воззрений, превращающих свободолюбие в новую религию с массой новых таинств. (26 марта 1820 г., см. "Гадз. ди Мил." начала этого месяца**.)

Когда я был ребенком, то порою говорил кому-нибудь из своих братишек: "Ты будешь моей лошадкой". И, привязав к нему веревочку, я вел его как будто под уздцы, касаясь его хлыстиком. И они мне с удовольствием это позволяли, будучи моими братьями и никем иным. Я часто вспоминаю это, видя человека (часто ничего собой не представляющего), которому и тот, и этот почтительно прислуживают в сотне мелочей, каковые он мог бы

сделать сам и точно так же мог бы делать их для тех людей, которые его обслуживают и, быть может, испытывают в этом большую нужду по сравнению с ним, возможно, более здоровым и крепким, чем те, кто его окружает. И я говорю себе: ведь братья мои тоже были не лошадьми, они были такими же людьми, как и я, как вот эти слуги — такие же люди, как их хозяин, и во всем ему подобны; однако те мне позволяли управлять собою, хотя были не в большей мере лошадьми, чем я, а эти позволяют собой распоряжаться; и между этими и теми я не вижу разницы. (26 марта 1820 г.) [106]

Заметьте, сколь располагает к себе в этом мире слабость. При виде беспомощного малыша, бредущего, покачиваясь, тебе навстречу, ты ощущаешь к нему нежность и любовь. При виде красивой женщины, которая больна и ослабела, или, наблюдая напрасные усилия какой угодно женщины сделать то, что в силу женской слабости ей недоступно, ты будешь растроган и способен преклониться перед этой слабостью, признать ее господство над тобой и твоей силой, подчиниться ей и посвятить всего себя тому, чтоб защищать ее и любить. Причина этого — сочувствие, по-моему, единственное человеческое качество и чувство, никак не связанное с себялюбием. Единственное, так как даже принесение себя в жертву ради героизма, родины, доблести или любимого создания и всякое иное самое героическое и бескорыстное деяние (и любое самое чистое чувство) всегда обусловлено тем, что наш разум находит эту жертву более приемлемой, чем любую возможную в этом случае выгоду. И всякое движение нашей души — безусловное и неперенное следствие эгоизма, сколь бы ни была она чиста и ни казалась чуждой ему. Но сочувствие, которое рождается у нас в душе при виде того, кто страдает, — чудо природы, возбуждающей в тот миг в нас чувство, никак не связанное с нашей пользой или удовольствием, полностью направленное на другого и нисколько не касающееся нас самих. Именно поэтому отзывчивые люди встречаются так редко, и сострадание, в особенности в наше время, считается одним из наиболее достойных уважения качеств, отличающих чувствительных и добродетельных людей [109]. Если только не происходит оно из боязни испытать подобные невзгоды и нам самим. (Поскольку себялюбие — вещь настолько тонкая, что проникает всюду и таится в самых сокровенных уголках нашей души, для чувства этого как будто совершенно недоступных). Но вникнув, ты увидишь, что бывает безотчетное сострадание, ничуть не связанное с такой боязнью и всецело обращенное к несчастному. (30 апреля 1820 г.)

Что анархия ведет прямой дорогой к деспотизму, а свобода обуславливается гармонией отдельных элементов и постоянным действием законов и республиканских институтов, столь же вер-

но, как и то, что никогда Рим не был так свободен в общепринятом значении слова, как в период, непосредственно предшествовавший тирании. См. положение при Клавдии, а также у Монтескье (цит. соч., с. 115, посл. строка, и с. 116, 1-я и 5-я строки гл. II*. (6 июня 1820 г.) То же самое можно сказать о Франции, перескочившей от неистовой свободы к деспотизму Бонапарта.

Цивилизация народов состоит в умеривании природы посредством разума при главенстве первой, то есть природы. Рассмотрим все древние нации — персидскую во времена Кира, греческую, римскую. Римляне никогда не были настолько склонны к философии, как в то время, когда они склонялись к варварству, то есть в период тирании. И [115] равным образом в предшествовавшие ей годы римляне необычайно продвинулись вперед в философии и в познании явлений, что прежде не было им свойственно. Отсюда можно сделать следующий вывод: залог свободы наций — не философия, не разум, в которых ныне усматривают основу возрождения общества, а добродетели, иллюзии, одушевление — то есть природа, от которой мы необычайно далеки. Народ же, состоящий из философов, был бы ничтожнейшим, трусливейшим народом в мире. По сей причине дать начало нашему возрождению могла бы, скажем так, сверхфилософия, которая, познавая явления в их совокупности и их глубинной сущности, приблизила бы нас к природе. Вот к чему должна была бы привести необычайная просвещенность нашего века. (7 июня 1820 г.)

Варварство состоит прежде всего не в недостатке разума, а в недостатке естества.

[116] Превосходство природы над разумом проявляется и в том, что никогда не делается с жаром то, что обусловлено рассудком, а не страстью, и сама христианская религия, кажется, и в самом деле совершенно чуждая страстей, тем не менее, поскольку ко всему примешивается человеческое, находила подлинно заинтересованных приверженцев и поборников лишь в лице тех, кто был движим пристрастием, одушевлением и т. д. И ныне верующие тоже ведут себя как некое сословие, как класс, интерес которого к религии обусловлен лишь сословным духом, и, следовательно, их злобное отношение к неверующим или нерелигиозным людям, ненависть к ним и насмешки — проявления не божественные, не сознательные, спокойные и хладнокровные, а человеческие, вызванные страстью.

Философия, не связанная с религией, по сути дела, есть не что иное, как учение о сознательном злодействе; я утверждаю это не как христианин, не так, как это говорили все поборники религии,

а с нравственных позиций. Ибо поскольку все прекрасное и доброе на свете абсолютно иллюзорно, а добродетель, справедливость, благородство и т. д. — чистейшие миражи, плоды воображения, то если та наука, которая раскроет эти истины, хранившиеся природой в глубочайшей тайне, не найдет замены разоблаченным ею химерам, она вынуждена будет заключить, что верный выбор в этом мире — быть законченными эгоистами и делать только то, что для нас всего удобнее или приятнее. (16 июня 1820 г.) [125]

Разнообразие, приданное природой явлениям и человеческим умам, столь велико, что даже среди философов, ищущих, казалось бы, одну и ту же истину, в силу чрезвычайного многообразия точек зрения по любому поводу, свойственных разным умам, каждый отличался бы оригинальностью, не читай они других философов и не смотри они [129] на вещи чужими глазами. И нетрудно обнаружить, что истины, изрекаемые в наши дни писателями, которые слывут оригинальными, по большей части, хоть и принимаются за новые, на самом деле новы лишь по форме и как-либо иначе высказаны уже были. (18 июня 1820 г.) И вы видите, что все писатели неевропейцы, например восточные — Конфуций и др., — хоть говорят они примерно то же, что и наши, всегда кажутся оригинальными, поскольку, не читавши наших европейских философов, не могли им подражать или следовать и невольно сообразовываться с ними, как это случается со всеми нами. (21 июня 1820 г.)

[136] Меланхолическая и сентиментальная поэзия есть вздох души. Угнетенность сердца, происходит ли она от какой-либо страсти, или от потери мужества в жизни, или от глубокого ощущения ничтожества всего сущего, замыкает его совсем и не оставляет места для такого вздоха. Другие роды поэзии еще меньше совместимы с таким состоянием. Я полагаю, непрерывные несчастья Тассо и были той причиной, по которой он в части оригинальности и изобретательности остался ниже трех других великих итальянских поэтов, хотя его душа своими чувствами, страстями, величием, нежностью и т. д., без сомнения, была равна их душам, если не превосходила их, как это явствует из его писем и других сочинений в прозе. Но, хотя не испытывший несчастья ничего не знает, все же, бесспорно, ни воображение, ни даже меланхолическая чувствительность не имеют силы, если нет хотя бы веяния счастья и той крепости духа, которая невозможна без брезжущего луча или проблеска радости. (24 июня 1820 г.)

[144—147]. Уже не раз было замечено, что если научные академии, быть может, и принесли пользу наукам, способствовали новым открытиям и облегчили их, то литературные академии, скорее, нанесли литературе вред. Действительно, научные акаде-

мии почти никогда не придерживались какой-либо одной системы философии, но оставляли свободное поле для отыскания истины, какая бы система этому ни способствовала; особенно трудно было бы придерживаться одной системы в исследовании природы, поскольку здесь нужно помогать открытиям, которые могут проистекать только из подлинной действительности, и невозможно предвидеть, что они обнаружат и с какой системой их можно будет согласовать. Придерживаясь одной системы, академии принесли бы вред наукам, как литературные академии — литературе. Неоспоримо то, что литература, хотя имеет свои правила, все же никогда не получала пользы, если эти правила четко определялись, провозглашались обязательными и превращались в свод законов. Все великие греческие поэты жили до Аристотеля, все великие поэты Рима — до Горация или одновременно с ним. Но разве нет пользы в том, что хорошему вкусу оказывают поддержку, распространяют его, делают нормой для литературных произведений? Конечно, хороший вкус нужен народу, но им должен обладать каждый человек в отдельности и весь народ в целом, а не какое-либо законодательствующее и захватившее диктатуру объединение педантов.

Прежде всего, нелегко способствовать созданию гениальных творений. Почести, слава, рукоплескания и выгоды суть могучие средства, способствующие их появлению, — но не те почести и не та слава, которые воздаются рукоплесканиями какой-нибудь академии. У древних греков и даже римлян были публичные литературные состязания, и Геродот писал свою историю, чтобы прочесть ее народу. Такие вещи побуждают куда сильнее, нежели мысль о маленьком обществе, сплошь состоящем из самых образованных и начитанных особ, где невозможно произвести того впечатления, какое производят на народ; к тому же для удовольствия критиков пишут: 1) со страхом, а это пагубно; 2) стараясь найти побольше необычного, утонченного, остроумного, словом — тысячи пустяков. Только когда слушателем будет народ, это может способствовать оригинальности, величию и естественности сочинения. Во-вторых, если помогать гению бесполезно, если шпоры ничего не дают ему, то узда его убивает, — я имею в виду узду, налагаемую чужим, а не его собственным суждением. Если же нет гения, то тут бесполезны любые лекарства; литературному же наставничеству никто никогда не был обязан литературными достоинствами, если нет добрых обычаев (я разумею верное суждение и хороший вкус). Однако, если вкус извращен, разве не принесет пользы попытка восстановить его, распространить хороший вкус и т. д.? Принесет, — но лишь в том, что благодаря усилиям академий перестанут писать плохо; а чтобы стали писать хорошо, — этого им не добиться. "Аркадия"* была учреждена ради того, чтобы изгнать манеру семнадцатого столетия. Та была изгнана, но "аркадский стиль" стал насмешливой кличкой, в Италии ее дают стихам, про которые можно сказать "ни рыба ни мясо". Какое же средство против дурного вкуса найдете вы

теперь? Я повторяю то, что сказал в начале моих размышлений. Все просвещенные народы после золотого века пережили век извращенности и затем оправились после него; но с той поры число подлинно великих писателей, сравнимых с прежними (я имею в виду литературу, а не мысль, философию и т. д.) — одним словом, примеров вновь наступившего золотого века я еще ни разу не видел. В лучшие века великие писатели имели перед собой образцы того хорошего, чему они должны были следовать, а не того дурного, чего им надобно было избегать. Образцы первого рода могут принести пользу, вторые лишь вредят. Я имею в виду вот что: если и были плохие писатели, они не составляли целого разряда и о них известно было — приблизительно и в общих чертах — то обстоятельство, что они никому не нравятся, а не причины, почему они не нравятся. Представление об их пороках не было уточнено, их недостатки — досконально не разобраны, хотя в действительности мы видим, что даже величайшие писатели порой делали детские ошибки. Одним словом, учение о том, что хорошо и что плохо, еще не составилось и не было разработано до мелочей. Его место занимал природный вкус. После века извращенности писатели поднимаются в полной растерянности. Появляются сомнения, страхи, мелочность. Все взвешивается, зрение становится искусственным, потому что никто не верит, что довольно и естественного вкуса, искусство и критика поднимаются все выше, природа утрачивается (быть может, она сохраняет больше силы в век порчи, нежели в следующий за ним), возникают произведения совершенные, но не прекрасные. (2 июля 1820 г.)

[152—153]. Сила и плодovitость воображения — вещи разные, и одна вполне может существовать без другой. Сильным было воображение у Гомера и Данте, плодovитым — у Овидия и Аристо. Это различие следует всегда иметь в виду, когда поэта или кого угодно хвалят за его воображение. Сильное воображение приносит человеку несчастье, делая глубокими все его чувствования; плодovитое воображение, напротив того, радует его своим разнообразием и той легкостью, с какой оно и останавливается на любом предмете и покидает его, — то есть обилием развлечений. Отсюда возникает и разница характеров. Характер первого — суровый, страстный, обычно (в наше время) меланхолический, с глубокими чувствами и страстями, склонный переносить жизнь как тяжкое страдание. Характер второго — шутиливый, легкий, подвижный, непостоянный в любви, приверженный острословию, не способный на сильную и длительную страсть или душевную скорбь, легко утешающийся даже в самых больших несчастьях и т. д. Узнайте в этих двух характерах правдивые портреты Данте и Овидия — и вы увидите, что разница их поэзии точь-в-точь отвечает разнице их жизни. Заметьте также, сколь по-разному Данте и Овидий чувствовали и переносили свое изгнание*. Так одна и та же способность человеческой души порождает проти-

воположные страсти в зависимости от свойств, которые и ее самое чуть ли не превращают в две разные способности. Глубокое воображение, по-моему, не очень-то сочетается с храбростью, потому что оно показывает нам опасность, боль и пр. с большой живостью — куда большей, нежели размышление, потому что второе рассказывает, между тем как первое живописует. По-моему, воображение людей отважных (они не должны быть лишены его, потому что воодушевление всегда сопутствует воображению и проистекает из него), скорее, принадлежит ко второму роду (5 июля 1820 г.).

Если допустить, что философия подготовила Французскую революцию, осуществила ее не она, поскольку философия, в особенности современная, сама по себе сделать ничего не может. Но даже если бы философия была способна осуществить революцию, она бы не смогла сохранить ее плоды. Поистине можно только пожалеть французских законодателей-республиканцев, полагавших, что они поддерживают революцию, обеспечивая ее долговечность и следуют ее развитию, природе, цели, сводя все к чистому разуму и впервые *ab orbe condito*¹ претендуя на придание всей жизни геометрически четких форм. Что не только — если бы удалось — было бы в любом случае прискорбно, и потому нелепо этого желать, но и не могло бы удалиться даже в наши математически точные времена, так как находится в прямом противоречии с человеческой и мировой природой. *Le Comité d'instruction publique reçut ordre de présenter un projet tendant à substituer un culte raisonnable au culte catholique*². (Леди Морган, Франция, [161] кн. 8, 3-е франц. издание. Париж, 1818, т. 2, стр. 284, примечание автора*) [161]. И они не видели, что власть чистого разума есть деспотическая власть по множеству статей! Скажу здесь вкратце об одной. Чистый разум рассеивает иллюзии и приводит к эгоизму. Свободный от иллюзий эгоизм подавляет национальный дух, доблесть и т. д. и разделяет нации по головам, то есть на столько частей, сколько человек они насчитывают. *Divide et impera*³. Подобное деление массы людей, особенно такого рода, по такой причине — даже не источник рабства, а скорее его близнец. Что может в наше время, в отличие от древности, быть существенной причиной всеобщего долговременного рабства? Смотрите, что случилось с римлянами, когда в жизнь их вторглась философия и патриотизм сменился эгоизмом. И столь сильным, что после смерти Цезаря, когда, казалось, в римлянах естественнейшим образом должны были бы снова пробудиться древние идеи, жалко видеть их такими вя-

¹с сотворения мира (лат.).

²Комитет народного образования получил распоряжение представить план замены католической религии культом разума (фр.).

³Разделяй и властвуй (лат.).

лыми, такими безучастными, такими черепашными, такими хладнодушными к общественным делам. И посмотрите, проповедует ли Цицерон в своих филиппиках, великой целью коих было сделать смерть Цезаря бесполезной, разум и философию, или, напротив, чистые иллюзии и всяческую суету, обусловившие становление и сохранение величия римлян*. (8 июля 1820 г.)

Цель просвещения в наше время должна была бы заключаться в том, чтобы вернуть нас приблизительно на уровень античной цивилизации, омраченной и заглушенной варварством прошедших с той поры времен. Но чем более мы будем изучать античную цивилизацию и сравнивать ее с современной, тем неизбежнее придется нам признать, что она была почти совсем такой, какой нужно быть, чтобы, находясь посередине между двумя крайностями, только и можно было обеспечить человеку в обществе определенное благополучие. Варварство поздних времен являлось не первобытной грубостью, а результатом разложения блага и потому было необычайно пагубным и роковым. Цель просвещения должна была бы заключаться в том, чтобы снять ржавчину с некогда прекрасного меча и лишь немного навести на него блеск. Но мы пошли настолько далеко, желая утончить его и заострить, что он вот-вот сломается. И заметьте, просвещение сохранило в подавляющем большинстве людей свойственные им пороки, характерные для поздних времен, лишив при этом их всего того, что в силу большей близости сохранялось еще [163] в них хорошего с античности (с которой мы теперь расправились целиком и полностью), как то: образ жизни и несомненная жизненная сила всего народа и отдельных индивидов, национальный дух, физические упражнения, оригинальность и разнообразие характеров, обычаев, нравов и т. д. Просвещение, ослабив тиранию поздних времен, однако же увековечило ее, меж тем как она долго не продлилась бы и вследствие злоупотреблений, и по вышеупомянутым причинам. Гася гражданские волнения и смуты вместо того, чтоб их лишь сдерживать, к чему стремились древние (Монтескье все время повторяет, что раздоры необходимы для сохранения республик, что в ходе их не должно нарушаться равновесие сил и пр., что в хорошо организованных республиках они не противоречат порядку, ибо таковой есть результат гармонии элементов, а не их покоя и недвижности или чрезмерного, гнетущего давления каких-то элементов на другие, и что обычно там, где все спокойно, нет свободы), просвещение обеспечило не порядок, а увековечение, спокойное существование и неизменность беспорядка и ничтожность человеческой жизни. В общем, современная цивилизация увлекла нас в сторону, противоположную той, куда вела античная, и непонятно, как явления, противоположные друг другу, могут быть едины, то есть как и то и это может быть цивилизацией. Речь идет здесь не о неболь-

ших различиях, а о существенных противоречиях: или древние не были людьми цивилизованными, или мы не таковы. (10 июля 1820 г.)

[269] Чистая красота, порожденная правильным и неукоснительным соотношением, редко пробуждает сильную страсть (как говорит Монтескье*, по той же причине, почему разум действует бесконечно слабее, нежели природа). Такая красота подобна разуму, она не предполагает ни жизни, ни тепла и в самой себе, и в созерцающем ее. Наоборот, лицо, не лишенное изъянов, но живое, прелестное и пр., или человек, наделенный прихотливой, чувствительной душою, заставит врасплох, распялет того, кто на него смотрит, вызывает в нем ответную прихоть — без всяких правил, без неукоснительности, без разумных причин и т. д. Так сильные страсти рождаются чаще всего от прихотливого, от необычайного, и никакой разумной причиной их оправдать невозможно. (10 октября 1820 г.)

[276—277] Сообразность, из которой рождается красота, распространяется не только на части всякой вещи. Многие вещи столь просты, что не имеют частей. И нравственная красота, как и всякая красота, не постигаемая чувствами, не имеет частей. Сообразие должно соблюдаться и в отношениях всей вещи в целом или ее частей с тем, что вне ее: с ее назначением, ее целью, пользой, с местом, временем и всякого рода обстоятельствами, с действием, которое она производит или должна производить, и т. д. Шпага с драгоценным камнем на острие, даже если этот камень превосходно гармонирует с прочими ее украшениями, с ее размерами, с формой, с материалом, из которого она сделана, все равно была бы уродлива. Это уродство заключалось бы не в несоразмерности и несообразности частей и не в том, что они не гармонировали бы друг с другом, но в том, что одна из частей не отвечала бы назначению и цели предмета. Такого же рода бывают в бесчисленном множестве случаев красота или безобразие, воспринимаемые как чувствами, так и рассудком, — нравственные, литературные и пр. (14 октября 1820 г.)

[285—287] К поэзии (и к другим вещам, прикосновенным или близким к ней) можно применить слова, сказанные мною в другом месте: для великих деяний необходимо смешение убежденности и страсти или иллюзии. Поэзия тоже, чтобы внушить удивление или всякое другое чувство или побуждение, нуждается в некоторой доле лжи, которая, однако, могла бы убеждать, и не по обычным правилам правдоподобия, но и каким-то особым образом, заставляя нас верить, что дело обстоит или могло бы обстоять действительно так. Поэтому древняя мифология или

другой схожий с нею поэтический вымысел наделены всем необходимым, чтобы внушать страсти, иллюзии и т. д., но убедительности им не хватает. Почему мифология и не может больше произвести прежнего действия, — особенно в вещах современного содержания? Потому что там, где содержание заимствовано из древности, наша привычка придает ей некую убедительность, особенно если и сам поэт будет древним; ведь само представление о деяниях древних, об их временах, их поэзии неразрывно связано для нас с этими вымыслами, которые кажутся нам естественными и чуть ли не убеждают нас — в силу привычки, мешающей нам отделить их от поэтов, времен и событий, — и мы машинально позволяем убедить себя, что дело обстоит именно так, убедить настолько, насколько это нужно, чтобы поэзия оказала свое действие. Но попробуйте заново применить эти или подобные вымыслы либо к другим взятым из древности предметам, либо, в еще большей степени, к предметам более поздним или современным, — и мы всегда найдем нечто сухое и лживое, из-за отсутствия той самой особой убедительности ясно ощущаемое, несмотря на то, что по части прекрасного, воображаемого, удивительного и т. д. все может быть совершенно. По части убедительности даже Тассо никогда не произведет того же действия, что древние поэты, хотя все сказочное и чудесное у него заимствовано из христианской религии. Но теперь, когда повсюду так возросло и распространилось просвещение, никакой новый или вновь примененный вымысел не найдет пути к нашему разуму за отсутствием той привычки, что заменяет все остальное, когда дело идет о древних поэтах. В этом и состоит главная причина, по которой поэзия наших дней не может произвести такого сильного действия — ни удивить или доставить наслаждение, ни зажечь душу, пробудить страсть и т. д., ни подвигнуть на великие дела и т. д. Тем более что и христианская религия не так подходит для убедительного вымысла, как языческая. Во всяком случае, из предшествующих наблюдений бесспорно следует, что, коль скоро языческая религия не может произвести в наши дни прежнего действия, поэт должен основываться на религии христианской, которая, если взяться за нее с умением и разумным выбором, может и по части удивления, и по части внушаемых чувств произвести достаточное и даже немалое впечатление. (19 октября 1820 г.)

Я прежде говорил: если вы попросите кого-то об услуге, которую он не сможет оказать вам, не вызвав ненависти другого... и т. д. Причина в том, что ненависть есть проявление страсти, а благодарность — проявление разума и чувства долга, за исключением тех случаев, когда благодеяние порождает в ответ страстную любовь, поскольку, без сомнения, она часто бывает действеннее и активнее ненависти и всех иных страстей. Просто благодарность вся относится к другому существу, меж

тем как страстная любовь, хотя и кажется направленной всецело на другого, в действительности целиком основана на себялюбии, ибо предмет нашей любви интересуется нас, нравится нам, и наша личность сопричастна чувству этому в значительнейшей мере. Разум же не может быть настолько действенным, как страсть. Послушайте, что говорят философы. Нужно сделать так, чтобы человек был движим разумом не в меньшей, а даже в большей степени, чем страстью, и даже чтобы он был движим только разумом и чувством долга. Ерунда. Человеческая природа и природа вещей вполне может [294] быть ухудшена, но не улучшена. И предоставь мы все природе, дела бы шли прекрасно, невзирая на означенное превосходство страсти над разумом. Надобно не заглушать страсть разумом, а преобразовывать разум в страсть, надобно добиться, чтобы чувство долга, добродетель, героизм и пр. превратились в страсти. Таковы они по своей природе. Таковы были они у древних, и дела шли куда лучше. Но когда единственная страсть на свете — эгоизм, тогда вполне прав тот, кто выступает против страсти. Возможно ли заглушить эгоизм посредством разума, если тот, наоборот, подпитывает его, развивая иллюзии? А если этого не сделать, человек, лишенный всех иных страстей, не будет движим ими, но не будет и разумом, ибо раз и навсегда устроено все так, что разум не является ни воодушевляющей, ни двигательной силой, и человек лишь сделается ленивым, бездейственным, оцепенелым, безразличным, не-радывым, каким он в основном и стал. (22 октября 1820 г.)

Явный вкус нашего века к политическим вопросам есть просто непосредственное естественное следствие распространения просвещения и отмирания предрассудков. Ибо когда, с одной стороны, люди больше не живут чужим умом и взгляды их уже не обуславливаются традицией [310], а с другой стороны, знания перестали быть привилегией лишь немногих, которые не могли бы сформировать общий вкус, тогда в центре внимания неизбежно оказывается то, к чему испытываем мы более непосредственный, упорный, разносторонний интерес. Человек предубежденный или же нерассудительный следует привычке и не вмешивается в ход вещей, и поскольку все идет именно так, и прежде так шло, не думает, что все могло бы идти лучше. Но как может человек непредубежденный и привыкший рассуждать, когда политика находится в постоянной связи с его жизнью, не сделать ее основным предметом своих размышлений и, значит, не приобрести к ней вкуса? В прошлые века — к примеру, во времена Людовика XIV — даже толковые люди, не будучи свободны от предубеждений и не имея привычки рассуждать, сохраняли о политике странное представление — мол, как идет все, так и ладно, а думать надлежит об этом лишь тому, кто сам вершит делами. Позднее люди непредубежденные встречались, но их было мало: они думали и говорили о политике, но всеобщим вкус к политике

не мог быть. Добавьте к этому, что люди образованные и ученые живут по большей части достаточно уединенно; поэтому политика не затрагивала ученых так близко, не разворачивалась перед ними, не была столь тесно связана [311] с их жизнью, как сейчас, когда все стали учены и все классы обладают знаниями. Впрочем, хотя этика сама по себе важнее и имеет большее отношение ко всем людям, чем политика, однако, если вдуматься, этика — учение чисто умозрительное, поскольку она отделена от политики: существование, воздействие, практическое применение этики зависит от характера общественного устройства и от способа управления данной нацией; это мертвое учение, если при содействии политики оно не правит нацией. Говорите сколько вам угодно о морали народу, которым плохо управляют, мораль — слова, политика — дела: формы семейной жизни, частной компании, любого человеческого дела определяются общим характером общественного устройства нации. Это можно видеть на примере различий между практической моралью древних и наших современников, управление которыми столь различается. (9 ноября 1820 г.). Кроме того, хоть большинство составляют в наши дни люди просвещенные и склонные к размышлениям, эти размышления не отличаются глубиной, и хотя политика, возможно, требует более глубоких знаний и размышлений, чем мораль, при всем при том ее внешняя сторона предоставляет больше пищи для простого ума, и вообще политика более подходит для [312] иллюзий, химер и всякого ребячества. В конце концов простой народ предпочитает великолепное и многостороннее серьезному и полезному, но в определенном смысле более ограниченному и менее высокому, ибо мораль имеет отношение к отдельным индивидам, а политика — к нации и миру. И для человеческого самолюбия лестно говорить и спорить об общественных интересах, обсуждать и критиковать тех, кто правит, и т. д., и простые люди, говоря о методах управления, считают, что сами они управлять способны и достойны. (10 ноября 1820 г.)

Апологеты религии часто повторяют, что мир был на грани гибели, когда впервые появилось христианство, оживившее его, что — говорят они — казалось невозможным. Отсюда [335] они заключают, что это не иначе как следствие Господня всемогущества, что это ясное доказательство истинности христианства, что заблуждения губили мир, а истина его спасла. Опять же вздор. Губило мир отсутствие иллюзий. Христианство спасло его не как истина, а как новая иллюзия. И следствия христианства — воодушевление, фанатизм, благородные жертвы, героизм — обычные следствия великих иллюзий. Сейчас речь не о том, истинно оно или ложно, а лишь о том, что это может свидетельствовать в его пользу. Как же утвердилось христианство вопреки стольким препятствиям, противореча всем страстям, противостоя правительствам и пр.? Как будто бы впервые фанатичное увлечение

великой иллюзией возоблададо надо всем! Совсем не понимает человеческого сердца тот, кто не знает, на какие оно способно иллюзии, даже когда они противоречат его интересам, и как часто оно стремится именно к тому, что явно наносит ему вред. Каких только телесных мук ни сносят из-за своих ложных взглядов индийские жрецы и множество других! А секта флагеллантов*, возникшая на основе христианских принципов, — что за иллюзия это была? А бесчисленные жертвы, приносившиеся древними философами, скажем, киниками, каковые, исповедуя свое учение, отказывались от всех материальных благ и пр.? А самопожертвование трех сотен воинов при Фермопилах? Но как [336] преодолело христианство философское спокойствие, апатию, которая заглушила все былые заблуждения? Знания в те времена не были 1) ни основательными, точными и прочными, 2) ни обширными и широко распространенными, 3) ни глубокими, как ныне вследствие возросшего опыта, развития печати и мировой торговли, географических открытий, более не оставляющих возможности ни для каких заблуждений воображения, а также вследствие развития наук, которые взаимодействуют друг с другом так, что можно утверждать, что каждая открытая вновь истина любого рода влияет на человеческие умы. Тогдашних знаний доставало, чтобы заглушить грубые заблуждения древних верований, тонкие же заблуждения они не только допускали, но даже им способствовали. И в то время именно благодаря тогдашним знаниям мысль тяготела к метафизике, к абстракции, к мистике, поэтому в те времена торжествовал Платон. См. Плотина, Порфирия, Ямвлиха и последователей Пифагора, тоже абстрактного и метафизического мыслителя. А Восток не только в те времена, но и в гораздо более давние стремился к тонкости, а также к глубине и истинности в морали и всем прочем. Египтяне, китайцы, Ветхий Завет и т. д. и т. п. Чтобы опровергнуть более [337] тонкое заблуждение, требовались куда более глубокие, тонкие и разносторонние знания, чем были тогда. Таковы теперешние, столь совершенные, что исключают заблуждения полностью, в отличие от древних знаний, не порождая даже тонкие, которые, однако, привнесли бы в мир некоторое оживление. От зол современной философии нет иного средства, кроме забвения и жизни иллюзиями.

Впрочем, христианство действительно вдохнуло жизнь в ослабленный знаниями мир, но поскольку, если даже рассматривать его как заблуждение, это было заблуждение, рожденное именно просвещением, а не невежеством и не природой, поэтому та жизненная сила, которую оно вдохнуло в мир, была подобна силе, которую слабое и больное тело черпает в крепких алкогольных напитках, — силе не только кратковременной, но и вредной, ведущей к еще большей слабости. Примените это замечание: 1) к непродолжительности истинной первобытной силы христиан-

ства во всех отношениях по сравнению с бесконечно долгим воздействием силы древних институтов и верований, например, у римлян; 2) к характеру воздействия этой силы — мрачной, тоскливой и т. д. в сравнении со свежестью, красотой, весельем, разнообразием и т. д. древней жизни, что естественно проистекает из [338] различия догматов; 3) к той мрачности, которой стали характеризоваться как пороки, так и добродетели после полного распространения христианства, то есть когда угас тот первый лихорадочный огонь нового учения (я уже об этом говорил). Так что можно утверждать, что мир (в том, что касается жизни и прекрасного) бесконечно изменился к худшему, если не под действием христианства, то, во всяком случае, в связи с тенденцией, которая должна была привести и привела к появлению христианства, — после его появления, поскольку прежде, несмотря на философию, оставалось еще много заблуждений более естественных и, значит, более живучих и способных служить пищей. (17 ноября 1820 г.)

Утверждают как неоспоримую истину, что человек способен к совершенствованию, то есть, что он может совершенствовать сам себя, творение природы. Рассмотрите материальное устройство мира и в мелочах, и в крупном, и в едва заметной твари, и в расположении светил, и вы повсюду обнаружите такие искусство, мудрость, мастерство, что поймете: не только ничего нельзя усовершенствовать из сотворенного природой, не только невозможно ничего добавить и отнять или изменить как-либо, не испортив, но даже если бы мы обладали такой же творческой мощью, как природа, не существует таланта настолько тонкого, глубокого и возвышенного, чтобы он был в состоянии не то что завершить, но и замыслить столь искусный, столь подробный, столь хорошо увязанный и согласованный, столь совершенный в каждой из малейших своих деталей план, как тот, который — видим мы — исполнила природа. Поэтому я говорю тому, [372] кто утверждает, что он может стать совершеннее и способен и даже должен совершенствовать себя сам: усовершенствуй свое тело, свою анатомию, строение собственного организма или хоть какой-то его части, а не можешь — хоть придумай план более совершенный, более полный, более правильный, более подходящий, более точный, более изысканный, чем план природы в отношении устройства твоего тела. В ответ собеседник со смехом признается, что не только ничего нет совершенней его тела, но и, как он ни старался, в полной мере совершенства этого понять еще не смог и ежедневно обнаруживает еще что-нибудь достойное восхищения и изумляется все больше. Так как же, если ты не можешь усовершенствовать и собственное тело, более того, не можешь даже осознать всю меру его естественного совершенства, ты предполагаешь совершенствовать настолько более благородное, загадочное и сложное явление, как дух? Как же природа,

столь искусная мастерица, столь аккуратная и точная, столь безупречная и цельная при создании всего иного, в частности, твоего тела, оказалась такой глупой, несостоятельной и неумелой, сотворяя самую значительную часть тебя, ту, от которой зависело применение твоего столь совершенного тела и которая должна была оказывать немалое влияние на другие виды существ? Как могла она оставить для тебя столько работы в той части, которой она придавала, должно быть, большее значение, не оставив ничего в другой, не настолько важной для нее и подчиненной первой? И главное: как же ты предполагаешь совершенствовать не только дух свой, [373] но и широчайший круг земных явлений, находящихся в тесной связи и взаимном соответствии с развитием и состоянием твоего вида? (2 декабря 1820 г.)

Заметьте, что моя система единственно способна дать Книге Бытия объяснение столь же новое, сколь и буквальное, доступное, естественное; более того, любое другое или неверно истолковывало бы ее текст, или расценивало его как нелепицу. Действительно, теологам, которые считают развитие разума и учености абсолютным благом для людей, а разумное начало в человеке — абсолютно и существенно главным (не случайным, не результатом порчи), — так вот, теологам яснейшая по смыслу Книга Бытия представляется совсем бессмысленной, поскольку она полагает развитие разума и приобретение знаний определенным и непосредственным следствием греха. В то время как моя система, утверждающая, что истинное сущностное совершенство было присуще человеку в его первобытном состоянии, то есть в [436] том, в котором он был создан и вышел непосредственно из рук Господних, а превосходство разума и учености есть следствие его порчи, полагает буквальный и неоспоримый смысл Книги Бытия глубочайшим и сообразным самой возвышенной и современной философии. (19 декабря 1820 г.)

Впрочем, я тоже утверждаю, — более того, существенную часть моей системы составляет утверждение, что Адам обладал знанием по наитию, но следующим образом. Любое существо, которое способно сделать выбор, более того, не может заставить себя совершить какое-либо действие (включая и необходимые для самосохранения, кроме действий, называемых *hominis*¹, если только таковые и в самом деле бывают) — и, следовательно, не может жить, — если это действие не является результатом его выбора, его волеизъявлением, испытывает потребность в вере, то есть должно верить, что сущее хорошо или плохо, что данное конкретное явление хорошо или же плохо, иначе его воля будет лишена мотивов, позволяющих принять решение: предпочесть ли

¹человеческими, присущими человеку (лат.).

нечто или уклониться, делать это или же не делать, склониться к положительному или отрицательному выбору.(...)

Я говорю, однако, "в вере", а не "в знании". Объект познания — истина, объект же веры — достоверное утверждение, и, говоря о достоверности, я имею в виду общие или индивидуальные, существенные или случайные свойства тех, кто верит, поскольку всякое явление может быть для одного вида или рода достоверным, а для другого — нет, для одного из индивидов некоего вида или рода — да, а для другого — нет, для одного и того же индивида сегодня — да, а завтра — нет.

Таким образом, сейчас речь не об истине, а лишь о том, какие решения уверовать в нечто могут привести к решению действовать, благотворному (*поистине*) для мыслящего существа, то есть какие решения уверовать или какая вера могут принести ему благополучие.

Итак, я утверждаю, что всякая вера, побуждающая человека к верному решению (то есть соответствующему его собственной конкретной сущности) и потому ведущая [439] к благополучию, является (как и у других животных) врожденной, первобытной и естественной.

Таким образом, я утверждаю, что Адам обладал не знанием по наитию, а верой по наитию, не знанием истины, ему безразличной, а представлениями, в истинность которых он истинно верил, представлениями, что вера его истинна (без чего нет веры), представлениями, истинно соответствующими его природе и его благополучию и, стало быть, ведущими к совершенству. У Адама они обязательно должны были иметься, как у всех живых существ, так как не могут жить без веры те, чьи действия зависят от решений, обусловленных их волей, как я доказал. (22 декабря 1820 г.)

Тысячу раз отмечалось, что людям свойственна естественная склонность мерить других по себе, то есть считать абсолютной истиной то, что истинно лишь в отношении их самих. Более того, человеку очень трудно ясно вообразить другого человека с иным характером и темпераментом, иначе думающего, поступающего и т. д. В лучшем случае, глядя на другого человека, постигнет он лишь то, что тот — иной, но не каков тот именно, не каково выраженное конкретное устройство другого человека, отличающееся от его собственного, даже если расхождения в устройстве очень мелкие, случайные, повседневные и привычные. Но ежели это свойственно индивидам, то сколь более свойственно одним видам и родам по отношению к другим! А ежели это свойственно разным видам и родам одного класса, то насколько более — всему этому классу по отношению к другому классу, сущему или возможному! [452] Сие не подлежит сомнению и неопровержимо. Истинность того, что одно хорошо, а другое плохо, то есть одно — благо, а другое — зло, естественно считается абсолютной,

будучи лишь относительной. Это неисчерпаемый источник заблуждений, и обыденных, и философских. Это многократнейше отмеченное явление опровергает бесчисленные философские системы и т. д., сглаживает и устраняет бесчисленные противоречия и трудности при общем рассмотрении явлений и их взаимосвязей. Едва ли есть какая-то иная абсолютная истина, кроме той, что *все на свете относительно*. Она должна лежать в основе всякой метафизики. (22 декабря 1820 г.)

Природа, вообще говоря, несовершенна, но лишь природа велика и является источником величия. Поэтому все, что совершенно или близко к совершенству, на наш отвлеченный взгляд, не является великим. Вы можете наблюдать это во всем: в инженерных сооружениях, в поэзии, в изобразительных искусствах и т. д., в поступках, характерах, обычаях, народах, правительствах и т. д. Совершенный человек великим не бывает. Великий не бывает совершенным. [471] Героизм и совершенство несовместны. Любой герой несовершенен. Такими были античные герои (среди наших современников героев нет), такими их описывают древние поэты и пр., так представлявшие себе героический характер в противоположность Вергилию, Тассо и т. п., тем менее совершенным, чем совершеннее герои их и их поэм. (3 января 1821 г.)

Наслаждение для человека (как, вероятно, и для всякого иного живого существа в известном нам порядке вещей), можно сказать, всегда в будущем, не может быть иным, кроме как будущим, основано только на будущем. Сам акт наслаждения неуловим. Я надеюсь насладиться, и эту надежду очень часто именуют наслаждением. Мне случилось испытать наслаждение: это приятно только потому, что внушает нам хорошие мысли о будущем, позволяет нам надеяться на какое-нибудь большее или меньшее наслаждение, открывает новую возможность для надежд, убеждает, что мы можем наслаждаться, дает понять, что есть возможность достигнуть исполнения тех или иных желаний, ставит нас [533] в лучшие условия *на будущее* как самим фактом наслаждения и реальностью, так и внушая нам мнение и убеждение, что после этого опыта, после этой пробы нас ждут успехи и благополучие, и т. д. Я наслаждаюсь — как это происходит? Каждое отдельное мгновение акта наслаждения связано с последующими и доставляет удовольствие лишь благодаря его соотнесению с дальнейшими мгновениями, то есть с будущим. В данный миг то наслаждение, которое я испытываю, меня не удовлетворяет, и поскольку оно не утоляет моего желания, стало быть, это еще не наслаждение, но вот сейчас я его непременно испытаю, и тогда мое наслаждение возрастет, и я буду полностью удовлетворен. Пойдем дальше: я пока что не испытываю истинного удовольст-

вия, и вот сейчас (кто в этом сомневается?) я испытаю его. Вот что говорит себе, какой проделывает путь, чем занимается, как действует, что чувствует душа в процессе любого наслаждения. Пережив его последнее мгновение и завершив этот процесс, человек еще не испытал наслаждения и, значит, остается либо недоволен, либо удовлетворяется слабым, ложным, малоубедительным, даже совсем не убедительным мнением, [534] будто бы он испытал его, и он смакует собственные представления о пережитых ощущениях, при этом вновь испытывая наслаждение, предмет которого, конечно, уже в прошлом, но не само это наслаждение (ибо как могло остаться в прошлом то, чего так никогда и не было, что неизменно в будущем?); и процесс этого нового наслаждения состоит из череды мгновений той же самой природы, что и тот процесс, и, значит, оно также в будущем, — или, наконец, этот человек испытывает определенное удовольствие, радуется, ибо хотя удовольствие его не может больше относиться к последующим мгновениям заверщенного уже процесса, оно относится к другим процессам: представление о якобы испытанном им наслаждении дает ему представление о тех, которые он полагает испытать в дальнейшем, он видит будущее в лучшем свете, строит планы, проникается надеждой и решимостью или обеспечить себе другие наслаждения, или какой-либо иной. Так он испытывает наслаждение, но все равно оно всегда будущее. Так бывает, например, если тебя похвалили или тебе довелось блеснуть, прославиться и т. д. Процесс этого наслаждения был таким, как я описывал, но после завершения его ты принимаешь вновь смаковать его в воспоминаниях, и начинается новый процесс наслаждения, устроенный таким же образом и основывающийся либо просто на склонности к [535] воспоминаниям, либо на связи этого предполагаемого наслаждения с будущим, с теми наслаждениями или благами, которые (как ты полагаешь) ты можешь и должен испытать, на связи его с представлениями о жизни в будущем, которые оно рождает у тебя, с твоими планами, с твоим мнением о себе самом, о своих силах и т. д., с надеждами — или реальными, или рожденными сложившимся у тебя мнением и твоим воображением, — короче говоря, все есть будущее относительно как процесса нового, нынешнего наслаждения, так и его объектов. Таким образом, наслаждение не бывает прошлым или настоящим, а всегда лишь будущим. Причина в том, что нет истинного наслаждения для живого существа, если это наслаждение не бесконечно (в каждое мгновение, то есть в нынешний момент), а бесконечным оно быть не может, хотя каждый смутно верит в то, что может и именно таким и будет, или, даже будучи небесконечным, будет наслаждением, и эта вера (естественнейшая, существенная для любого человека и угодная природе) есть то, что именуют наслаждением, в ней — все возможное наслаждение. Стало быть, возможное наслаждение не может быть иным, кроме как будущим, или относиться к будущему и быть полностью основано на будущем. (20 января 1821 г.)

Очевидно и постоянно можно наблюдать, что людям наиболее талантливым труднее всего решиться как уверовать во что-то, так и действовать; они — наиболее неуверенные, колеблющиеся и склонные выжидать, измученные своей излишней нерешительностью, более всех расположенные и привыкшие все оставлять как есть; они соглашаются что-либо изменить с большим трудом, самыми последними, даже зная, как это полезно и необходимо. И чем более они привыкли размышлять, чем глубже они по натуре, тем большие затруднения и беспокойство они испытывают при принятии решения. (21 января 1821 г.)

Из этого не следует, однако, что обыкновение всегда и сразу принимать решение не верить (и не делать) свидетельствует о больших способностях. Как раз напротив, это признак небольшого ума. Неверие есть следствие принятого решения, а люди истинно разумные, глубокие и опытные знают, что на свете чего только не бывает, знают, сколь непросто отвергать, сколь верно то, что в неопределенных и неясных ситуациях, когда трудно утверждать, бывает так же трудно отрицать, то есть утверждать, что нечто не имеет места, а это есть также в некотором роде утверждение. Поэтому за исключением тех случаев, когда явление не нуждается в доказательствах вообще или в доказательствах, способных рассеять подозрения, или, наоборот, когда оно совсем слепо или когда сам он явно обнаруживает на практике либо понимает разумом его ошибочность, [540] истинный мудрец, философ и знаток явлений (в той мере, в какой возможно их познание), ἐπεὶ καὶ διασκέπτεται¹, и воздерживается как от согласия, так и от возражения. А люди небольшого ума, привыкшие, однако, привлекать к себе внимание или стремящиеся к этому, полагают, что выказывают способности, когда, столкнувшись с необычным суждением или явлением или с таким, в которое поверить нелегко (либо несообразным их воззрениям и принципам, либо недостаточно доказанным или обоснованным), тотчас принимают решение не верить. И сами радуются этому и считают себя сильными духом оттого, что сразу могут проявить готовность и решимость не верить, когда в действительности все наоборот. И хоть нередко в этом есть нечто показное, нельзя сказать, однако, что обычно делают они это недобросовестно, неискренне, и внутреннее их ощущение не соответствует словам. Им действительно *легко решиться на неверие*, именно поскольку они далеки от истинной, совершенной мудрости и знания явлений. (22 января 1821 г.)

Из всего сказанного выше* вы не можете не сделать следующий вывод. Человек от природы изначально [580] в силу своей сущности свободен, независим, равен другим людям, и эти свойства неотъемлемо присущи представлению о природе и содержательной сущности человека, равно как и других животных.

¹ не спешит с суждением и размышляет (греч.).

Точно так же обществу изначально и по существу свойственны зависимость и неравенство, и без этих качеств общество несовершенно, более того, оно — не настоящее общество. Поэтому в обществе человек неизбежно должен отвергнуть и утратить свои существенные, естественные, врожденные, содержательные и неотъемлемые качества. Он и в самом деле может их утратить, но фактически, а не по сути, ибо что представляет собой существо, лишенное внутренне присущего ему содержательного качества, нисколько не зависящего от внешних или случайных обстоятельств и сил, поскольку, являясь изначально и естественным, оно необходимо и по сути наличествует, пока живо то создание, которое им обладает и им определяется? Это все равно, что говорить о человеке, лишенном мыслительных способностей, каковые точно так же не зависят от случайностей. Тогда это уже будет другое [581] существо, но не человек. Поэтому человек, лишенный свободы и равенства по сути, утратил бы свою человеческую сущность и перестал быть человеком, чего не может быть. Так же он не может и сам себя обречь на действительную и полную утрату этого качества, даже добровольно, и никакие обещания и договоры, как и его собственная вольная воля, не могут никогда и ни в коей мере отнять у него право поступать всегда и во всем согласно своей воле — сегодня так, а завтра этак, и как мог сейчас он добровольно подчиниться и обещать всегда повиноваться, так в следующий миг по праву может выйти из повиновения и не может не смочь этого сделать. (См. стр. 452, 1-й абзац. *) Значит, общество, фактически лишаящее человека некоторых его существенных естественных качеств, есть образование, не подходящее человеку, не соответствующее его природе, стало быть, по существу своему изначально несовершенно и, следовательно, чуждое его благополучию и противоречащее порядку вещей.

Впрочем, все, что говорю я о необходимости единства и, следовательно, зависимости, [582] подчинения и неравенства в обществе, не касается и не имеет силы в отношении того действительно первобытного общества, которое отвечает сущности, характеру и природе человеческого вида и видов животных, — общества несовершенного как общества и совершенного в том, что касается истинной изначальной сущности человека и животных и порядка вещей, где ничего нет абсолютно совершенного, все — только относительно. Если мы уточним понятие общества, то из него прямо следует вышеозначенное, то есть необходимость единства и, стало быть, монархии и т. д. Но эти уточнения, эти ограничения, эта тщательность, эти строгости и тонкости, эта диалектика, эта математика не имеют отношения к природе и не должны учитываться при рассмотрении естественного порядка, так как природа в действительности им не следовала. И не только не является несовершенным то, что в точности не соответствует означенным понятиям, будучи естественным, но, более того, все, что приводится к этим понятиям и соотнобразуется с ними,

совершенным быть не может, так как тогда оно не сообразно своему [583] существенному и изначальному состоянию. И везде, где наблюдается математическое совершенство, имеет место подлинное несовершенство (даже если оно позволяет избежать других, более серьезных трудностей и нарушений), то есть несоответствие природе и изначальному порядку вещей, который был иным и за пределами которого нет совершенства, хоть он всегда не абсолютен, а лишь относителен. Строгая четкость — понятие, имеющее отношение к сфере разума и являющееся его порождением, но в замысел природы она не входила никогда и потому в природе не встречалась. Она необходима в наше время, когда порядок вещей извращен, и невозможно не отметить уже многократно отмечавшееся очевиднейшее обстоятельство: строгая четкость законов, институтов, статуты, правительств и т. д., — короче говоря, устройства дел — неизменно возрастала пропорционально изменению людей и времен к худшему и достигла ныне наивысшей степени, поскольку и испорченность чрезмерна и превосходит все пределы. *"Приблизительно", "возможно"* и тому подобные понятия не соответствуют нынешним порядкам, где нет ничего того, чего может не быть; они прекрасно соответствуют [584] природе, где было бесконечное множество того, чего могло не быть, но природа проявила достаточную заботу о том, чтобы их не было, и их действительно не стало. Иначе как могли природа и порядок вещей ухудшиться настолько, как мы это наблюдаем? Не признать такого ухудшения нельзя. Но этого не могло бы произойти, если бы все, что было, не могло не быть, или быть не таким, как есть, или идти иначе. Это положение является целью разума и нынешних порядков, всегда направленных на то, чтобы сделать невозможным обратное положение вещей, если речь идет о практической системе, и доказать его невозможность, если это умозрительная система.

Это источник многих заблуждений философов, в особенности современных, которые, привыкнув к математической четкости и строгости, столь обыкновенным и модным в наши дни, подходят с этими же мерками к природе, полагают, что ее устройство должно соответствовать этим же правилам, и считают неестественным все то, чему не свойственны строгость и математическая четкость, в то время как, напротив, даже [585] можно утверждать, что все строгое не естественно и, безусловно, отличительной чертой всего естественного является его нестрогость. Но вышеупомянутое заблуждение сродни предположению наличия в мире истины, красоты, добра и абсолютного совершенства.

В природе и в порядке вещей нужно видеть изначальное предрасположение, замысел, то, как шли дела вначале, как природе было бы угодно, чтобы они шли, и как они должны были бы идти, а не неизбежность, не то, как не могли бы они не идти.

И, безусловно, хотя порядок вещей естественно складывался наилучшим возможным образом и чрезвычайно правильно, при всем при том он складывался *как придется*, и соответствие большей части следствий причинам было достаточным (что требуется для достижения нужного результата), но не необходимым. И так не только у людей, но и у животных, и во всех иных порядках вещей. И именно поэтому в мире постоянно происходит столько осложнений, отклонений, частных происшествий, противоречащих общему порядку. Я имею в виду уже не только те, которые вызваны нами, а совершенно не зависящие [586] от нашей деятельности и нашего порядка. Такие происшествия, именуемые бедствиями, катастрофами и т. д., доставляют множество хлопот философам, не понимающим, как может все это происходить с творением природы, и некоторые были настолько безрассудны, что — поскольку разум в своих малых творениях старается исключить возможность любого частного происшествия, противоречащего такому общему порядку, — полагали, что если бы деятельностью природы управлял человеческий разум, то подобных происшествий не случилось бы. Но упомянутые случайные несовершенства не входят в план природы (хотя и этого мы утверждать не можем, не зная, как устроены порядок и гармония вещей в целом), однако же с математической строгостью, категорически, она их и не исключает и почти что допускает — таким же образом, каким, по мнению теологов, Всевышний допускает грех, являющийся наивысшим злом и несовершенством, но случайным; и в любом случае план, система, механизм природы устроены и организованы иначе, чем план, система, механизм разума, и лишены математической точности.

[587] Таким образом, общество действительно первобытное и естественное для человеческого рода, как и для животных, без преимуществ, без зависимости, без неравенства, чинов и правил, могло бы прекрасно соответствовать цели, заключающейся в общем благе, как соответствует ей муравьиное сообщество, но более строгое и более зрелое общество, при этом недостаточно единое, никогда бы не могло. Однако это самое раннее общество развивалось как придется и как придется следовало замыслу природы и собственному назначению. Для этого не было необходимости противиться природе и создавать противоречие между фактическим положением и правом, противоречия в человеческом порядке вещей, вводить отношения, противоречащие врожденным и существенным качествам человека, — зависимость и неравенство, противоположные естественным свободе и равенству.

То, что у пчел имеется глава и, значит, подчинение и неравенство — отнюдь не аргумент. Поскольку все на свете относительно, природа, сотворившая людей свободными и равными, как и бесчисленные виды иных живых существ, могла сделать пчел (и другие подобные им виды, если таковые есть) неравными и подчиненными. И поскольку она так и поступила, дав *врожденное естественное* превосходство некоторым особям данного вида

над другими особями, то, значит, как положение человека и других животных не может быть совершенным без свободы и равенства, поскольку оные для них естественны, так, напротив, положение пчел несовершенно без зависимости и неравенства, поскольку этот вид природой так сотворен и так организован, — а совершенно лишь естественное состояние.

У людей же нет ничего подобного, и нельзя делать о них какие-либо выводы по примеру пчел. Поскольку небольшое (безусловно, небольшое по сравнению с неравенством у пчел) неравенство или превосходство в силе, росте, уме и пр., которое встречается у людей, — случайное неравенство или превосходство, истекающее от второстепенных причин, как случайна та неполноценность, которая есть следствие болезней, падений, всевозможных несчастных случаев и т. д. Так вот, это превосходство или же неполноценность случайны, то есть нерегулярны и не имеют отношения к изначальному, постоянному и неизменному порядку, [588] существенному для вида, как неравенство у пчел. Ибо если бы такое превосходство давало его обладателям *право* управлять другими и требовать от них подчинения, то: 1) там, где многие бы обладали этим правом в равной мере, или непонятно было бы, кому же подчиняться, или все обладающие превосходством должны были бы управлять, и стремление к единству обратилось бы в ничто; 2) там, где не было бы никакого неравенства, было бы неестественным чье-либо первенство, естественное только при наличии неравенства; 3) к тому же, в связи с тем, что неравенство может возникнуть по воле случая в любое время, в одном и том же обществе, даже в одном и том же поколении людей, сегодня чье-то первенство естественным бы не было, а завтра — да; 4) ребенок, которому, возможно, суждено стать сильнее других и пр., поскольку он пока еще не стал таким и, может быть, не станет, что будет зависеть от совершенно случайных и непредсказуемых причин, не имел бы ни малейшего права управлять, которым позже он будет обладать вполне *естественно*; 5) это право, полагаемое естественным, однако не должно было бы сохраняться дольше, чем превосходство его обладателей, так, чтобы они, утратив силу тела, ума или духа, доблесть, мужество и т. д. в связи с болезнями, несчастиями, обстоятельствами, изменением и развращением [590] взглядов, нравов и т. д. вследствие злоупотребления телом или неизбежного старения, утратили бы в сущности не только фактическую возможность, но и право управления, которое считалось им естественно присущим. «...» В общем, когда речь идет об изначальном устойчивом порядке и природе всякого явления, случайности никоим образом учитываться не должны. (29—31 января 1821 г.)

Впрочем, сколь понятна, очевидна и проста мысль, что любому обществу, едва оно сформировалось и миновало самую раннюю свою стадию, можно сказать, одинаковую для всех живых

существ, необходимо единство, иначе говоря, глава и обязательно единственный, то есть обладающий абсолютной властью, — о том свидетельствуют и историческое развитие всех народов, и все виды сообществ — государственные, частные и пр., вооруженные силы, общества охотников или любая компания, которая имеет общую цель и совместное предназначение. Мне случилось слышать, как человек, то ли совсем необразованный, то ли от природы лишенный остроты ума, давал такой совет компании коммерсантов, собиравшихся отправиться по свету [591], дабы, используя неделимый общий капитал (то есть "общий план"* обогатиться): "Выберите и признайте одного из вас главой и подчиняйтесь ему во всем. (Что это, как не выражение идеи необходимости абсолютной монархии?) Иначе каждый, добиваясь своей выгоды больше, чем чужой, что прямо противоречит общим выгоде и цели, будет наносить ущерб другому и всему вашему делу, так что все вы будете заранее обречены на неудачу, и разлад (то есть противоположность единства) помешает вам достичь того, к чему вы все стремитесь". (31 января 1821 г.) («...»

[1100] Даже к добродетели человека может побудить лишь себялюбие в разных его проявлениях. Но в наше время почти никакая разновидность себялюбия к добродетели не побуждает. Так что человек не может быть добродетелен по своей природе. И получается: всеобщий эгоизм, который делает любого рода добродетель для человека во всех смыслах бесполезной и даже вредной, вкуче с отсутствием иллюзий и явлений, могущих их заронить, поддерживать и воплощать, неизбежно порождают индивидуальный эгоизм, в том числе и в человеке, склонном по натуре к более сильным, истинным и ярким проявлениям добродетели. Ибо человек никак не может выбрать то, что явно *во всех отношениях* противоречит его себялюбию. Поэтому ему не остается ничего, кроме эгоизма, то есть наихудшей разновидности себялюбия, в наибольшей мере исключаящей любого рода добродетель. (28 мая 1821 г.)

Либеральные принципы называют новыми и с возмущением и смехом говорят, что только ныне мир приходит к истине. Однако они стары, как Адам, и действовали, более или менее господствуя, в разной форме до начавшейся примерно полтора века назад единственной в истории поры подлинного совершенства деспотизма, каковое состоит по большей части в определенной его умеренности, обеспечивающей деспотизму всесторонность [1100], полноту и долговременность. Значит, деспотические принципы — их подлинное всеохватное господство над народами (если говорить вообще, а не об отдельных личностях) — утвердились самое раннее в середине XVII века. Поэтому прошедшее с тех пор до революции время было поистине периодом наибольшего варварства в истории цивилизованной Европы со времен

восстановления цивилизации. Варварства, неизбежно приходящего на смену цивилизованным эпохам и принимающего разные формы в зависимости от природы той цивилизации, от которой оно происходит и которую сменяет, и от характера эпох и наций. Например, варварство Рима, сменившее его цивилизацию и свободу, было более жестоким и активным, варварство же персов своей вялостью, пассивностью, оцепенелостью было подобно нашему. Поэтому нынешние времена можно считать периодом нового (хотя и слабого) возрождения цивилизации. Следовательно, можно говорить о восстановлении либеральных принципов (во всяком случае, их всеохватности и их господства), но не о том, что они выработаны в наше время. Более того, они по сути и характеру — античные, и это, может быть, единственное, чем нынешнее время похоже на античность. Смотри в этой связи письмо Джордани, адресованное Монти* в Предложении и т. д., т. 1 ч. 2, раздел "Effemeride", где Джордани говорит о восстановлении в наши дни античного варварства. (28 мая 1821 г.)

Я многократно говорил, что французская литература — это именно современная литература, что равнозначно утверждению: это не литература. Поскольку, присмотревшись, мы увидим, что в наше время есть философия, теории, всевозможные науки, но нет собственно литературы, а ежели и есть, она не современна, ей свойственны античные черты, и выглядит она как бы прививкой античного на современное. Воображение, которое является основой литературы в строгом смысле слова — [1175] как поэзии, так и прозы, — для нынешнего времени не характерно, более того, не сообразно с ним и если свойственно отдельным людям и сегодня, то не современно, потому что не только не проистекает из природы нынешних времен, но их природа ему совершенно противоположна, более того, враждебна и губительна для него. И действительно, вы видите: французская литература, возникшая и сформировавшаяся в наше время, менее образна в сравнении не только с древними, но и со всеми современными литературами. И именно поэтому она — вполне современная литература, то есть в высшей степени фальшивая, поскольку нынешнее превосходство разума насколько способствует наукам и обретению всевозможных истин и так называемой пользы, настолько вредит литературе и всем искусствам, изображающим прекрасное и возвышенное, основой, источником, кормилицей которых является одна природа, — правда, нуждающаяся в посредничестве разума, но всемерно избегающая его господства, каковое ее губит, что мы, к сожалению, наблюдаем на примере наших нравов и в современной жизни вообще. (16 июня 1821 г.)

Чем обширнее становится мир по сравнению с человеком, тем меньше делается человек. Давние наши предки, зная об очень малой части мира и поддерживая связи с еще гораздо меньшей

его частью, а совсем нередко лишь с одной своею родиной, были значительными величинами. Мы же, знающие весь мир и связанные со всем миром, ничтожно малы. Примените эту мысль к самым разным точкам зрения, дающим подтверждение того, что в результате увеличения мира человек стал мельче и физически, и нравственно, и вы увидите, сколь верно во всех смыслах то, что человек и его способности уменьшаются по мере расширения мира по сравнению с ним. (16 июня 1821 г.) [1176]

Мы сами, исходя из наших самых неглубоких повседневных размышлений, знаем и чувствуем, что (к примеру) добродетель — нечто призрачное, и что нет оснований видеть добродетель в том, что не полезно, и порок в том — что не вредно, а поскольку одно и то же то идет на пользу, то — во вред, одному приносит пользу, а другому — нет, одного рода людям — да, другого рода — нет, и т. д. и т. п., приходится признать, что добродетель и порок, плохое и хорошее — понятия относительные. В [1462] существующем миропорядке мы не находим оснований, вследствие которых то, что полезно (даже очень) для меня и вредит (даже чуть-чуть) другим, не следовало бы делать и было бы грешно; оснований для того, чтобы поступок, не полезный и не вредный ни для меня, ни для других и совершенный втайне ото всех, был добродетельным или порочным, чтобы, к примеру, ложь, которая не наносит никакого вреда и даже не подает дурной пример, так как никто о ней не знает, ложь, которая приносит чрезвычайную пользу другим или мне самому и никому при этом не вредит, была злом и грехом. Приходится признать, что основания для таких суждений определяет Верховное Существо, которое является для нас олицетворением блага, добродетели, истины, справедливости и пр. и которое мы в силу абсолютной необходимости считаем абсолютно безупречным, ибо если бы мы так не поступали, то даже в нем бы не нашли предела всему сущему и основания для того, чтобы считать то или иное абсолютно хорошим или же плохим. Таким образом, мы полагаем это Существо критерием, в соответствии с которым следует судить о добре, красоте и пр., об уродстве или вредности явлений (вот вам *ἰδέαι*¹ Платона). То, что [1463] похоже на него или ему нравится, таким образом, есть абсолютное изначальное всестороннее неперменное благо, и наоборот. Прекрасно, вот еще одна причина невозможности существования абсолютного блага и пр.; и, как я в другом месте говорил, если отказаться от идей Платона, никакого абсолюта не останется. Но почему это существо должно быть таким, как мы его воображаем, а не каким-либо иным? Откуда нам известно, что ему присущи качества, которые мы ему приписываем? — Они хорошие, и, следовательно, они ему присущи, и оно именно такое, а не иное, по необходимости. — Но

¹ идеи (греч.).

необходимо ль хороши они? Абсолютно ль хороши? Изначально ли? Всесторонне ли? Какие мы имеем основания так считать, если, как я только что сказал, мы не находим в этом мире никаких, во всяком случае, доступных нашему познанию оснований, более того, если наблюдения, сделанные нами в земной жизни, в пределах этого порядка вещей, свидетельствуют об обратном? — Такое основание — Всевышний. — Значит, мы доказываем идею абсолюта идеей Бога, а идею Бога — идеей абсолюта. Бог — единственное доказательство наших идей, а наши идеи — единственное доказательство Бога. [1464] Все это подтверждает уже сказанное мною прежде, что первопричина всего сущего — ничто. (7 августа 1821 г.)

Человек устроен так, что он испытывает куда большую приятность от небольшого удовольствия, от мысли о несильном ощущении, пределов какихых, однако, он не знает, чем от большого удовольствия, ежели он видит или чувствует его пределы. Надежда на маленькое благо доставляет, безусловно, больше удовольствия, чем обладание большим, уже испробованным прежде благом (ибо если оно прежде не испробовано, то всегда испытываешь надежду). Наука лишает нашу душу главных удовольствий, так как она определяет явления и демонстрирует нам их пределы, несмотря на то что в очень многих случаях она весьма существенно материально изменила наши представления о них в сторону увеличения. Я говорю "материально", а не "духовно", так как, например, расстояние от Солнца до Земли казалось человеку куда большим, когда думали, что составляет оно считанные мили, и не знали, сколько именно, нежели сейчас, когда известно, что до Солнца ровно столько-то тысяч миль. Таким образом, наука — враг масштабных представлений, хотя она и привела к [1465] огромным изменениям естественных воззрений в сторону увеличения, но результат подобного увеличения — ясные представления, а самое *смутное представление* о чем-то небольшом всегда значительнее совершенно *ясного* представления о чем-нибудь весьма большом. Неуверенность в том, есть ли нечто или его нет совсем, придает представлениям масштабность, которая сводится на нет уверенностью в том, что это нечто в самом деле существует. Сколь значительнее было представление об Антиподах, когда Петрарка говорил, что они, *возможно*, существуют, чем когда существование их стало очевидным*. Сказанное мною о науке касается и практики, и т. д. и т. п. Наибольшее и даже единственное величие, способное доставить человеку смутное удовольствие, — неопределенное, как следует из моей теории наслаждения. (7 августа 1821 г.) Поэтому неведение, единственно способное скрывать пределы явлений, — основной источник неопределенных представлений и пр. Следовательно, оно — главный источник счастья, вот почему детство — самая счастливая пора в жизни человека, когда он наиболее доволен собой и наине-

нее подвержен тоске. Опыт неизбежно демонстрирует пределы явлений даже естественному и необщительному человеку.

Добродетель, героизм, великодушие могут проявляться с блеском, в высокой степени и так, чтобы это шло на пользу обществу, лишь в народном государстве или там, где в управлении участвует народ. Вот что я об этом думаю. Все в мире — себялюбие. Не может быть ни сильной, ни великой, ни стойкой, ни распространенной в народе добродетели, ежели она как таковая не приносит пользы тому, кто ее проявляет. Но главные выгоды, которых может человек желать и добиваться, достигаются через посредство сильных мира сего, то есть тех, в чьих руках добро и зло, имущество, почести и все, что надлежит иметь народу. Поэтому понравиться им, как-либо — вблизи или издалека, добиться их расположения стремятся в большей или меньшей мере, вообще говоря, люди каждой нации. И тысячу раз уже замечено, что власть имущие запечатлевают свой характер, склонности и пр. в подвластных им народах. [1564] Значит, для того, чтобы добродетель, героизм, великодушие и пр. проявлялись всем народом в целом и в изрядной мере, нужно, чтобы это было ему полезно, а поскольку польза проистекает в основном от власти, нужно, чтобы все это было угодно и т. д. власть предержавшим и, следовательно, позволяло разбогатеть при них, то есть стать богатым членом общества.

Но человек, особенно могущественный, не бывает добродетельным. Я имею в виду и властителя, и управителей его, которые при деспотическом правлении непременно деспотичны, давят на своих подчиненных, те же — на своих и т. д., что является всеобщим неминуемым следствием деспотического правления одной личности; то есть правительство состоит из многих деспотов, поскольку деспотическое правление не может осуществлять один монарх, и каждый из его управителей, непосредственно ему подчиненных или нет, чья власть воспринимается с определенным страхом, с благоговением и т. д. (как можно видеть на примере бывшего правительства Испании) и, следовательно, весьма существенно влияет [1565] на всю нацию и определяет ее характер, является деспотичным (хоть и зависимым) распорядителем того, что составляет благо и несчастье этой нации.

Так вот, могущественная личность (или личности) так же, как и прочие — не добродетельны и таковыми быть не могут, кроме как случайно, то есть либо если добродетель им на пользу (что бывает редко, так как владеющему чужим добром пристало пользоваться этим, а не воздерживаться, и т. д. и т. п.), либо если их побуждают к этому необычайные свойства характера, особенности воспитания и т. д., множество примеров чего являет история разных стран, в особенности современная.

Отдельный человек не добродетелен, а людская масса — да, притом всегда, по тем причинам и в том смысле, о которых говорил я в другом месте. Поэтому в том государстве, где власть частично или полностью находится в руках народа, добродетель и т. д. приносит пользу, так как народу (который держит власть в своих руках) она угодна, и, поскольку от нее есть польза, ее проявляют в большей или меньшей мере, смотря по обстоятельствам, но всегда гораздо чаще и большее число людей, чем в государстве деспотическом. Добродетель неизбежно идет обществу на пользу, поэтому общество неизбежно добродетельно или склонно к добродетели, поскольку неизбежно себя любит и, стало быть, желает себе пользы. Но отдельным людям добродетель полезна не всегда. Значит, человек добродетелен не всегда и не обязательно. Не говоря о том, что ошибается отдельный человек насчет того, что для него действительно полезно, куда легче и гораздо чаще по сравнению с людской массой. Но, так или иначе, человек стремится к своему благу, общество — к своему (истинному или ложному, приемлемыми или неприемлемыми средствами): последнее всегда, во всяком случае, — добродетель, первое же — эгоизм, порок. Я имею в виду прежде всего общественные добродетели, то есть те существенные добродетели, [1566] следствия — или примеры — которых, как бы то ни было, имеют широкое распространение. Но я не собираюсь исключать даже частные, домашние добродетели — о том, сколь им благоприятствует (в особенности стойким и благородным добродетелям) народное государство и сколь препятствует деспотическое, пусть скажет за меня древняя и современная история разных стран, в том числе история монархической Франции и Франции республиканской, пусть расскажет Англия, и пр.

Раз полезно только то, что по нраву людям (люди же не добродетельны и почти не могут таковыми быть или бывают лишь недолго, или этот — да, тот — нет и еще сотня прочих — нет), короче, раз полезность добродетелей зависит от характеров, от склонностей, желаний и намерений отдельных людей и, следовательно, добродетель, даже если иногда она приносит пользу, то не постоянную и существенную, а только обусловленную случайными обстоятельствами, — невозможно, чтобы такой народ был обыкновенно большей частью добродетелен и чтобы представители его воспитывались в духе добродетели, которая в любой момент может сделаться для них не только бесполезной, но и очень вредной. В таком случае добродетель, [1567] существующая лишь по видимости, когда в этом есть необходимость, — не добродетель, а расчет, притворство и, следовательно, порок. И у подданных она не может не быть во всех случаях притворной, так как даже если сегодня она им полезна, они не могут знать, полезна ли она им будет завтра, так как полезность этой добродетели зависит не от ее природы и не от существенных обстоятельств, обусловленных устойчивыми причинами, а от того, по душе ли она людям, большинству из которых она не по

душе или, во всяком случае, сегодня — да, а завтра — нет, кому-то по душе, другому — или же его преемнику, — напротив, ненавистна, и т. д. и т. п.

Кроме того, те качества, которые проявляют, чтобы нравиться весьма обширному сообществу, к примеру нации, почти неотделимы (даже если они притворны, в каком-то случае они не приносят постоянной пользы) от определенного великодушия, и это обстоятельство способствует тому, чтобы люди становились добродетельными и т. д. — истинно добродетельными. И само обхаживание нации с целью добиться ее благосклонности возвышает душу и совместимо с добродетелью. В подчинении человека нации проявляется скорее великодушие, чем низость. В то время как обхаживание отдельного человека, дабы снискать его расположение, подчинение человеку такому же, как вы, при том, что вы не видите серьезных и возвышенных оснований его превосходства, никаких [1568] прекрасных иллюзий, которые облагородили бы ваше подчиненное положение (как происходит в случае с нацией, массовость которой как бы отдаляет зрителя на некоторое расстояние, и это расстояние придает всему достоинство, с нацией, которая, как всегда предполагается, в своей массе обладает выдающимися качествами), — так вот, все это умалывает, подавляет, принижает, оскорбляет душу и дает ей ясно почувствовать ее унижение и потому несовместимо с добродетелью, поскольку тот, кто в силах это вынести, утрачивает самоуважение, которое является источником, гарантом и подпиткой добродетели, а тот, кто самоуважение утратил, кто на это согласился, не раскаивается и не старается вновь обрести его и т. д., и тот, кто никогда его и не испытывал и не заботился о нем, быть добродетелен никак не может. (26 августа 1821 г.)

То, что говорил я в другом месте о грязном и чистом, можно равным образом сказать о мерзком и т. д. и т. п. и добавить, что не только у различных видов животных, но у одного и того же вида, у одной и той же особи, в особенности человеческой, представление о грязном и чистом изменяется в зависимости от привычек, так что невозможно свести его к определенной универсальной форме. (27 августа 1821 г.)

Приспособляемость, однако, — совсем иное, нежели способность к совершенствованию. Этого, как правило, не понимают философы, которые полагают, будто доказали, что человек способен совершенствоваться, доказав, что он в состоянии приспособляться. Но доказывает это как раз обратное — что разные свойства и способности, изначально человеку не присущие и развивающиеся в нем благодаря просвещению и пр., не предрешены природой, а случайны и порождаются обстоятельствами, как болезни, приводящие к изъятиям в наших органах, и т. д. и т. п. (27 августа 1821 г.) [1569]

Не думаю, что замечания мои о ложности любого абсолюта опровергают представление о Боге. Раз явления существуют, они должны, наверное, иметь достаточные основания для того, чтобы существовать и быть именно такими, какие они есть, по той самой причине, что они могли бы не быть вообще или же быть совсем иными, и их существование вовсе не является необходимым. *Ego sum qui sum*¹, то есть во мне самом заключена причина моего существования, — великие, достойные внимания слова! Вот как понимаю я идею Бога. В нем может заключаться общая причина всего сущего и возможного и способов его существования. — Но какова причина сей причины? Ведь, как вы доказали, Бог не может быть необходимым. — Действительно, ничто не предсуществует явлениям. Стало быть, им не предсуществует их необходимость. Возможность же предсуществует. Все, что выходит за пределы материи, для нас непостижимо. Значит, *от-себя-бытие* мы отрицать не можем, хотя необходимость бытия и отрицаем. В пределах материи и ведомого нам порядка вещей, [1620] нам кажется, ничто не может происходить без достаточной на то причины, и, однако, если существо в самом себе не содержит никакой причины и, значит, никакой абсолютной необходимости существования, то она должна иметься за его пределами. Таким образом, мы отрицаем, что мир может существовать и быть таким, как есть, если нет на то причины вне его пределов. До сей поры речь шла лишь о материи. За пределы же материи возможности разума не простираются. Мы только видим, что ничего нет абсолютного и, следовательно, необходимого. Но именно поскольку ничто не абсолютно, кто сказал, что за пределами материи ничто не может существовать без достаточной на то причины? И что, следовательно, Всемогущее Существо не могло наличествовать само извечно и создать все сущее, вообще говоря, не будучи само необходимым? Именно поскольку нет ничего ни абсолютно истинного, ни абсолютно ложного, не означает ли сие, что все возможно, как мы указали в другом месте?

Таким образом, я считаю Бога не лучшим из всех возможных существ, поскольку нет ни абсолютно лучшего, ни абсолютно худшего, а, так сказать, содержащим в себе все возможности и существующим всеми возможными способами. Такое [1621] возможно. Отношение его к людям и к известным созданиям абсолютно *сообразно* им и, значит, оно абсолютно хорошо и лучше отношения к другим существам — не вообще, а потому, что отношение его к тем существам менее абсолютно *сообразно*. Это нисколько не идет вразрез с религией, и бесконечное совершенство Бога, отрицаемое как абсолютное, утверждается как относительное и как совершенство в известном нам порядке вещей, в котором качества, проявляемые Богом к миру, относительно сего порядка хороши и совершенны. И таковы они по отношению

¹ Я есть, потому что есть (лат.).

как к нашему всеобщему порядку вещей, так и к заключенным в нем частным порядкам в соответствии с их различиями, обусловленными природой. Тогда вопрос только в словах.

К другому же порядку вещей Бог может иметь совсем иное, даже противоположное отношение, но абсолютно хорошее относительно этих других порядков, так как Бог существует всеми возможными образами и, значит, абсолютно сообразуется со всеми образами бытия и, следовательно, в сущности абсолютно хорош по отношению ко всем порядкам "хорошести", даже если таковые находятся между собой в противоречии, ибо то, что хорошо при одном образе бытия, может быть плохо при другом.

[1622] Это не только не портит и не изменяет наше представление о Боге, но, напротив, это представление, если как следует задуматься, обязательно включает вышесказанное. Как может быть Он бесконечным, если не содержит всех возможностей? Как может быть Он бесконечно совершенным, даже просто совершенным, если совершенен Он лишь так, как представляем себе совершенство мы? Возможны или нет иные бесконечные порядки вещей, иные способы существования? Значит, ежели Он бесконечен, то существует всеми возможными способами. Зависело от воли Его или нет сделать нас совсем иными? А то, что Он сделал нас такими, как мы есть? Значит, Он мог и может создавать другие, совершенно отличные порядки вещей и иметь с ними отношения, такого рода, какого Ему угодно. Иначе Он не был бы творцом природы, и мы *поневоле возвратились бы к грезе Платона, который допускает идеи и архетипы явлений, существующие вне Бога и независимые от Него*. Если они существуют в Боге, как говорит Бл. Августин (см. с. 1616)*, и если Бог их сотворил, не означает ли сие, что Он содержит в себе не только формы, в соответствии с которыми Он сотворил известные нам явления, но все возможные формы, содержит все возможности вообще и может сотворять явления [1623] *любой природы*, какой ему угодно, и иметь с ними *любые* отношения, какие ему угодно, в том числе и никакие, и т. д.

Бесконечность возможностей, составляющая сущность Бога, является необходимой. Раз явления существуют, то возможность их необходима. (Малейшего ныне сущего явления достаточно для доказательства необходимости и вечности возможности.) Если никакое утверждение или отрицание не является абсолютно истинным, значит, все явления, все утверждения и пр. абсолютно возможны. Значит, бесконечность возможностей одна только и абсолютна. Она необходима и предсуществует явлениям. Так существует она только в Боге. Последнюю мысль следует развить. См. с. 1645, 1-й абзац. (3 сентября 1821 г.)

Мы приписываем Богу только один образ бытия и лишь один вид совершенства. Но раз никакое совершенство не абсолютно, значит, Он не может быть совершенен, если Ему свойствен один

лишь этот вид. Единственное абсолютное совершенство — в том, чтобы существовать всеми возможными образами и всегда быть во всех них совершенным, то есть совершенно сообразным природе [1626] и особенностям соответствующего образа бытия. Абсолютное совершенство включает в себе все возможные качества, даже противоположные, поскольку не бывает абсолютной противоположности, а только относительная, и ежели возможен образ бытия, являющийся противоположностью тому, который мы усматриваем в Боге и в известных нам явлениях (что, конечно же, возможно, так как нет абсолютной независимой причины, которая бы этого не допускала), то Бог был бы не то что бесконечным и совершенным, а, напротив, в высшей степени несовершенным, если б не существовал Он также и тем образом и в полной мере не соотносился бы и не сообразовывался с ним. Стало быть, мы знаем только часть Господней сущности, одну из бесконечного множества частей, иначе говоря, одну из неисчислимых Его сущностей. Он обладает именно теми совершенствами, которыми мы Его наделяем, Он существует по отношению к нам тем образом, какому нас учит религия; отношение Его к нам абсолютно таково, каким оно должно быть и какого требует природа мира, нам известного. Но у Него имеется еще бесчисленное множество иных образов бытия, бесчисленное множество других частей, которые никак не можем мы помыслить, кроме как представляя тот самый образ. Значит, христианская религия совершенно верна, и утверждения мои нисколько не противоречат ее догматам, а даже подкрепляют их. [1627] (4 сентября 1821 г.)

Христианская религия на самом деле раскрывает многие атрибуты Бога, которые совсем не соответствуют и противоречат нашим представлениям о пределах возможного. Господу было угодно открыть их нам, чтобы покорить наш разум и т. д., и он открыл нам из бесчисленного множества лишь эти. Они (такие, как таинства Троицы, Причастия) противоположны даже так называемому принципу противоречия, который представляется нам основным принципом здравого смысла. Сверхъестественное оказывается по сути дела противостоящим здравомыслию. Означенные таинства прямо противоречат нашему образу понимания и рассуждений. Что, однако, доказывает не их ложность, а то, что этот наш образ верен только относительно, то есть в пределах данного конкретного порядка вещей. (4 сентября 1821 г.)

Ум человеческий обладает огромными возможностями. Он возвышается до Бога и оказывается некоторым образом способен Его познать, хоть и не может определить Его. Ощущение, которое испытывает ум при созерцании Бога и размышлении о Нем, не есть собственно утрата надежды на познание. Ум

только понимает, что сам он не Бог, и сознает различие [1628] между Его и собственными сущностью и существованием, так же, как между собственными — и других созданий. Более того, ум чувствует себя более подобным Богу, более способным представить и постичь образ бытия Его, нежели других созданий. Да не покажутся такие слова дерзостью. Религия учит, что человек — зеркало Божества, *quasi unus ex nobis*¹. (4 сентября 1821 г.)

Отчаяние, представляя собой отсутствие надежды или, точнее, упадок сил и невосприимчивость к надежде, есть само по себе наслаждение, поскольку человек, не ощущая надежды, едва ощущает жизнь, и душа его как бы замирает, хотя тело может быть весьма активным и нередко в подобных обстоятельствах таким бывает. Все это следует из моей теории наслаждения. (4 сентября 1821 г.)

Так как явления существуют, их возможность изначально необходима и не зависит от чего бы то ни было. Поскольку никакие истинность и ложность, никакие отрицание и утверждение, как я доказываю, не абсолютны, значит, все возможно, и, следовательно, беспредельные возможности являются необходимостью и всему предсуществуют. Но таковых не может быть без силы, способной привести к тому, чтобы явления существовали и любым возможным образом. Если существуют беспредельные возможности, то существует беспредельное могущество, поскольку, если такового нет, возможности не беспредельны. [1646] И наоборот, не может быть беспредельного могущества, если не беспредельны возможности. По сути дела, это одно и то же. Значит, если всему необходимо предсуществуют беспредельные возможности, не зависящие ни от каких явлений, понятий и т. д. (и в самом деле, если нет возможных оснований для невозможности чего-то, притом вполне конкретной невозможности, то беспредельные возможности существуют с абсолютной необходимостью), то всему необходимо предсуществует и всемогущество. Вот Бог, Его необходимость, выводимая из существования, и Его сущность, заключающаяся в беспредельности возможностей и, значит, состоящая из всех возможных свойств, и т. д. Эта идея лишь намечена. (7 сентября 1821 г.)

[1648] Хоть это кажется нелепым, но на самом деле, пожалуй, наиболее склонны впадать в равнодушие и бесчувственность (и, значит, в озлобление, происходящее от хладнодушия) люди чувствительные, полные одушевления и внутренней энергии, притом

¹ словно он — один из нас (лат.).

тем более, чем они чувствительней и пр.¹ В особенности если такому человеку не везет, а также в те времена, когда внешняя сторона жизни не соответствует жизни внутренней и не дает для нее ни пищи, ни какого-либо предмета, когда исчезают доблесть и геройство, когда тех, кто наделен чувствительностью и воображением и полон воодушевления, сразу постигает разочарование. Внешняя жизнь древних была такой, что, вовлекая в свой водоворот большие умы, скорее затопляла их, чем иссякала. А ныне человек такого рода, как я описал, именно вследствие своей необычайной чувствительности истощает жизнь мгновенно. После чего чувствует себя опустошенным, глубоко и основательно разочарованным, — поскольку он все испытывал глубоко и живо, не задерживался на поверхности, не погружался постепенно, а сразу устремился вглубь, он все объял и все отверг как поистине недостойное и пустое, и больше ему не на что смотреть, [1649] нечего испытывать и не на что надеяться. Поэтому, как можно видеть, посредственные, а также отдельные до некоторой степени чувствительные и живые умы долгое время или даже навсегда сохраняют свою чувствительность, способность к любви, заботе и самопожертвованию ради других, недовольство миром, но при том надежду, что когда-нибудь они будут довольны им, сохраняют восприимчивость к идее добродетели и склонность по-прежнему придавать ей важное значение и т. д. (Они еще не перестали надеяться на счастье.) Между тем те благородные умы, о коих вел я речь, с молодых лет впадают в безразличие, томление, холодность, необратимую смертельную бесчувственность, которая приводит к беззаботному эгоизму, полной неспособности любить и пр. Чувствительность и пылкость души обладают таким свойством, что если они не находят пищи в окружающих явлениях, то разъедают сами себя и скоро иссякают и утрачиваются, так что в результате человек настолько же уступает в благородстве большинству, насколько прежде он его превосходил. В то же время заурядная чувствительность сохраняется, поскольку не нуждается в большой подпитке. Следовательно, *большие* добродетели — не по нашим временам. [1650] (7 сентября 1821 г.)

[1819—1822] То, что при деспотическом правлении никогда не бывает великих талантов; что другие общественные условия способствуют их рождению; что революция или благотворительный просвещенный государь властны вызвать их к жизни непосредственно и в изобилии, как это уже не раз было испытано на деле; что великие таланты обыкновенно возникают и расцветают все одновременно; что один какой-либо век порождает больше великих талантов в какой-либо одной области, нежели все остальные,

¹Это в каком-то смысле подтверждает сказанное Пико тем стариком о глупости старых людей, которые были в детстве чрезвычайно остроумными* (*примеч. автора*).

по прошествии же такого плодоносного круга лет уже не отыщешь в этой области таланта, достойного памяти или сравнения с вышеперечисленными (смотри "Опыт" Альгаротти* и конец первой книги Веллея), — что все это доказывает, кроме одного: талант есть целиком и полностью детище обстоятельств, как талант вообще, так и тот или иной талант. Что значит "развивать" уже наличествующую в полной мере способность? Быть может, найти ей применение, сделать ее *éveruñ*, то есть деятельной? Нет, сударь мой: ведь этого нельзя сделать, прежде чем душа не приобретет навык в известного рода действиях. Развиваются органы, и вместе с ними задатки человека, то есть присущие этим органам свойства, — это я понимаю. Но что способность, которая без соответствующих обстоятельств, без привычки и упражнения остается ничем и не может быть воспринята ни одним из человеческих чувств, развивается, а не создается обстоятельствами и что мы так и должны думать и говорить о ней, — этого я не понимаю. Что такое способность? В чем состоит ее сущность? Как она может быть врожденной у того, кто не обладает ею, откуда обстоятельства и привычка не привьют ему эту способность? Задатки бывают врожденными или же приобретаются благодаря развитию, то есть совершенствованию тех органов, в которых эти задатки заложены как свойства, подобно тому как в бумаге заложены задатки для того, чтобы быть исписанной или принять ту или другую форму. Но можно ли поэтому утверждать, что бумага сама по себе обладает способностью говорить душе читающего и что пишущий на ней развивает эту ее способность, а не дает ее бумаге? Конечно, бумага может быть подходящей для той или иной формы, для тех или иных чернил и т. д. Так и задатки, и свойства могут быть неодинаковыми у отдельных особей одного и того же вида: у одной больше, у другой меньше или у одной вовсе отсутствовать, у другой наличествовать. Только эта разница между человеческими талантами может быть врожденной или развитой, это касается и различия между отдельными людьми, различия между человеком и другими видами животных. Разница только в задатках, но никак не в способности. Эту разницу, как и отсутствие задатков, их скудость, превосходство задатков одного над задатками другого, не могут устранить ни один государь, никакие обстоятельства (кроме чисто телесных), между тем как со способностями все обстоит совершенно противоположным образом. Ибо они порождаются обстоятельствами, они целиком зависят от государей, от воспитания и пр., между тем как задатки от этого не зависят. (9 октября 1821 г.)

[1833—1840] Кто не обладает и никогда не обладал воображением и чувством, кто неспособен к воодушевлению, героическому порыву, к живым и величавым иллюзиям, к сильным и разнообразным страстям, кому неведома необъятная система прекрас-

ного, кто не читает и не чувствует, и никогда не читал и не чувствовал поэтов, — тот, безусловно, не может быть великим, истинным и совершенным философом и навсегда останется философом односторонним, близоруким, почти лишенным проницательности и неспособным к глубоким прозрениям, даже если он будет прилежен и терпелив, будет тонким диалектиком и математиком; он никогда не познаёт истины, он убедит себя в вещах ложных и с достаточной наглядностью будет их доказывать и т. д. и т. д. Не только потому, что сердце и воображение часто говорят больше правды, чем холодный разум, как это утверждают, — я же не хочу вдаваться в рассуждения об этом, — но потому, что даже самый холодный разум должен знать все это, если он хочет проникнуть в систему природы и развить ее. Анализ идей человека и всеобъемлющей системы сущего должен как наибольшую и главную свою часть включать воображение, естественные иллюзии, прекрасное, страсти, — словом, все то поэтическое, что есть в целостной системе природы. Эта часть природы не только полезна, но и необходима для познания другой ее части, более того, в философическом размышлении одна часть не может быть отделена от другой, потому что так создана сама природа. Упомянутый анализ в той мере, в какой он принадлежит философии, должен производиться не воображением или сердцем, но холодным разумом, который проникает в глубочайшие тайны того и другого. Но как может произвести подобный анализ тот, кто не знает в совершенстве всех названных вещей по собственному опыту и тем более тот, кто почти ничего о них не знает? Сам холодный разум, этот смертельный враг природы, не имеет ни другого основания, ни другого истока, ни другого предмета своих размышлений, умозрений и действий, кроме природы. Кто не знает природы, не знает ничего и не может рассуждать, каким бы он ни обладал рассудком. А тот, кто не знает поэтической стороны природы, не знает огромной части природы и даже не знает природы совсем, потому что ему неведома форма ее бытия.

Такова была большая часть философов, начиная с XVII столетия, преимущественно английских и немецких. Привыкнув ничего не читать, ни о чем не думать, ни на что не смотреть, ничего не изучать, кроме философии, диалектики, метафизики, аналитики, математики, отвернувшись от всего поэтического, лишив всякой поэзии свой дух, приобретя обыкновение полностью отвлекаться от системы прекрасного, рассматривать и полагать свою науку отстоящей на тысячи миль от всего причастного воображению и чувствам, утратив всякую привычку к прекрасному и пылкому и неотъемлемо усвоив привычку к чистому рассуждению, к холоду и пр., не подозревая, что в природе существует нечто еще, помимо разумного, поддающегося расчету, чуждого всякой страсти, иллюзии и чувству, — они заблуждаются и на каждом шагу, и в целом, хотя рассуждают с самой безукоризненной точностью. Нет сомнения, что они не знали и не

знают большей части природы — тех самых вещей, которые они трактуют, как бы ни были эти вещи далеки от поэзии (ведь в подлинной системе природы поэтическое связано со всем без исключения), не знают большей части той самой истины, которой они единственно и посвятили себя.

Наука о природе есть только наука о связях. Все успехи человеческого духа состоят в открытии связей. Но ведь и помимо того, что воображение — это самый плодотворный и удивительный открыватель самых скрытых связей и гармоний (как я уже говорил в другом месте), ясно, что не знающий большой доли или, вернее, одного из свойств природы или одной из ее сторон, связанной со всем, что может стать предметом мысли, не знает и бесчисленного множества связей, а потому не может не рассуждать плохо, не смотреть на все ложно, не делать неполноценных открытий, не упускать из виду самых важных, самых необходимых и даже самых очевидных вещей. Разберите сложный механизм, изымите из него большую часть его колес и отложите их в сторону, чтобы уже не думать о них; потом соберите механизм и начинайте размышлять о его свойствах, о его действиях и о соотношении деталей, посредством которых они производятся: все ваши рассуждения будут ложны, и механизм, и его действия будут уже не такими, какими они должны быть, ибо соотношение деталей изменилось, стало слабым и бесполезным; вы же фантазируете по поводу этого устройства, пытаетесь объяснить действие разделенного надвое механизма, словно он цел, тщательно рассматриваете колеса, из которых он теперь состоит, и приписываете то одному, то другому из них действие, которого машина лишилась, хотя прежде производила его у вас на глазах благодаря изъятым вами колесам, и т. д. То же происходит, когда из системы природы изымается и полностью от нее отделяется механизм прекрасного, который неразрывно и прочно сложен со всеми другими частями системы и с каждой из них в отдельности.

В другом месте я сказал, что истину знают в совершенстве только тогда, когда в совершенстве знают ее связи со всеми остальными истинами и со всей системой вещей. Так какую же истину познают те философы, которые постоянно отвлекаются от существеннейшей части природы?

Разум и человек познают что-либо только через опыт. Если разум хочет думать и действовать самостоятельно и при этом делать открытия и преуспевать, то ему надлежит все знать по собственному опыту; а чужой опыт, касающийся основных сторон природы, послужит ему лишь для повторения действий, уже проделанных другими.

Из сказанного ясно, как трудно найти истинного и совершенного философа. Можно даже сказать, что это самая редкая и необычайная способность из всех, какие можно себе представить, и что такой философ вряд ли рождается раз в десять

столетий, если только он вообще когда-нибудь родился. (Поразмыслите здесь, насколько ли сама система вещей способствует провозглашаемому некоторыми совершенствованию человека посредством совершенствования разума и философии.) К тому же необходимо, чтобы такой человек был великим и совершенным поэтом, — не для того, чтобы мыслить, как мыслят поэты, но чтобы холодной мыслью и расчетом исследовать то, что только самый пылкий поэт может познать. Философ несовершенен, если он только философ, если он посвящает себя и свою жизнь лишь совершенствованию своей философии, своего разума, одному только отысканию истины, — что, впрочем, остается единственной целью совершенного философа. Разум нуждается в воображении и в иллюзиях, которые сам же разрушает; истина нуждается во лжи; сущность — в видимости; самая полная бесчувственность — в самой живой чувствительности; лед — в пламени; терпение — в нетерпеливости; бессилие — в величайшей силе; самое малое — в самом великом; геометрия и алгебра — в поэзии.

Всем этим подтверждается сказанное мною в другом месте о необходимости воображения для великого философа. (4 октября 1821 г.)

[1882] Любовь к Богу в том состоянии, которое христианство называет абсолютно совершенным, не является и быть не может ничем иным, кроме как любовью к самому себе, служащей лишь собственному благу, а не благу себе подобных. Именно это и называется эгоизмом. (9 октября 1821 г.)

Сколь способствует ощущению прелести, например стихотворения или картины и т. д., знание, что они известны и ценимы или сотворены известным и ценимым автором! Я утверждаю, что человек, наделенный самым лучшим вкусом, читая, например, классическое стихотворение и ничего не зная о его известности (что, вероятно, часто происходит с современными вещами, которые или пока что неизвестны, или об их известности не все еще узнали), сколь бы внимательно его он ни читал, не обнаружил бы в нем, не почувствовал бы, не признал бы в нем и трети тех красот, не испытал бы даже трети того наслаждения, которое испытывает тот, кто читает его как классическое произведение, и которое сможет испытать он сам, когда будет перечитывать его, об этом зная. Я утверждаю, что сегодня мы не получали бы такого наслаждения от Ариосто, если бы "Неистовый Роланд" был написан и увидел свет в этом году. Отсюда следует, что наслаждение поэзией, [1884] изящными искусствами, красноречием и прочими художествами возрастает соразмерно протекающему времени и их известности и всегда (если не вмешиваются другие обстоятельства) бывает меньше у того, кто наслаждается

ими первым или же одним из первых, то есть у современников и пр., чем у того, кто это делает по прошествии времени. Хотя повсеместная и длительная слава непременно основывается на подлинных достоинствах, тем не менее, уже возникнув на их основе благодаря удачному стечению обстоятельств, она способствует их увеличению, и преимущества произведения и наслаждение им, возможно, большей частью обуславливаются уже не его достоинствами, а его известностью и мнением о нем других. Нам требуется прежде найти себе основание для наслаждения, чтоб испытать его. Прекрасное большей частью таково лишь потому, что таковым считается. Поэтому заметьте, сколь влияет удачное стечение обстоятельств на судьбы человеческих творений и на известность или безызвестность людей. Ибо нет сомнения в том, что если бы сегодня появилось поэтическое творение, по своим достоинствам равное "Илиаде" или превосходящее ее, то, ежели не принимать во внимание [1885] зависть, интриги, предубеждения, — различие неизбежное, поскольку Гомер жил на столько столетий раньше нас, — привело бы к тому, что наделенный самым лучшим вкусом и самый беспристрастный читатель безусловно испытал бы несравненно большее наслаждение и ощущение прекрасного, читая "Илиаду", нежели читая современную поэму. В столь малой степени прекрасное заключено в явлениях и качествах, неотъемлемо присущих самому предмету, не зависящих ни от каких условий и неизменных, и столь малая часть наслаждения, доставляемого прекрасным, проистекает из постоянных свойств, существенных для данного предмета и общих для всех предметов той же природы и для всех людей любых времен, которые могут им наслаждаться. (10 октября 1821 г.)

Древнее и столь известное представление о золотом веке, об утраченном блаженстве тех времен, когда нравы были чрезвычайно просты и грубы, но люди были очень счастливы, времен, когда питались лишь дарами природы — желудями и т. д. и т. п., — представление это, столь распространенное среди поэтов древности и современности, а также за пределами поэзии, не может ли служить прекрасным подтверждением [2251] моей теории, доказательством древнейшей традиции вырождения человека, утраты родом человеческим блаженства, состоящего не в чем ином, как в естественном состоянии, подобном состоянию животных, которым люди наслаждались только в первобытные времена, во времена, предшествовавшие зарождению цивилизации и даже первым изменениям человеческой природы, сопряженным с появлением общества? (13 декабря 1821 г.) См. в этой связи "Жизнь в древности" Вергилия, где говорит он о своих "Буколиках", гл. 21 и начало 22-й*.

Мир осмеивает тех, кто верно и искренне исполняет свой долг или действительно испытывает чувства, диктуемые природой и моралью, и, однако, выражает возмущение и осуждение, если кто-нибудь открыто пренебрегает этим долгом, демонстрирует к нему презрение, не выполняет его в полной мере на глазах у всех, пусть даже у него есть самые веские причины в нарушение *обычая* этого не делать. Женщину высмеивают, если она искренне оплакивает своего недавно умершего мужа, если тем, кто с ней общается, она выказывает признаки сильной неподдельной скорби в связи со своей утратой; но если она, хоть и под влиянием неодолимых обстоятельств, пренебрежет малейшей из обязанностей, исполнения которых требует в подобных случаях *обычай*, если она на день раньше, нежели положено, покажется на люди, ежели — пускай с единственной целью как-то облегчить свои неподдельные страдания — она позволит себе прежде времени какую-то прогулку или развлечение, мир судит ее чрезвычайно строго и беспощадно осуждает, невзирая на сколь угодно убедительные доводы, не допуская и ничтожнейшего нарушения внешней стороны *обычаев*, но рад при этом осмеять того, кто честно соблюдает их, и пр. (10 января 1822 г.) [2342]

Утверждают, что природа специально подарила человеку способность к самосовершенствованию, желая, чтоб он пользовался ею, и не обеспечила его так, как других животных, всем необходимым, более того, лишила его главного. Поскольку человек наделен такой способностью, хотят, чтоб он считался высшим, наиболее совершенным существом. Хорошенькая милость! Дать возможность людям совершенствовать себя, то есть достигать благополучия, свойственного их природе, и при этом — так как совершенства можно достичь лишь через очень продолжительное время в результате бесконечного количества усилий, [2393] обречь — намеренно, без колебаний — на несчастье много поколений, которым суждено жить прежде, чем это совершенство, свойственное им и посему не кажущееся столь труднодостижимым и далеким, станет явью, чего утверждать пока нельзя. И по той причине, что природа подарила человеческому роду эту самую способность к самосовершенствованию, величайшую эту привилегию, лишить его необходимого, когда было очевидно, что способность эта не настолько действенна и сможет возместить нам предполагаемую задолженность природы лишь через очень длительное время, после того, как много поколений людей в отличие от всех иных существ вынуждено будет ощущать эту ущербность и томиться оттого, что их состояние не отвечает их природе! Будь так на самом деле, в этом проявилось бы особенное отношение к нам природы и значительное наше превосходство над другими существами. Поскольку совершенство есть не что иное, [2394] как соответствие своей природе, все животные и предметы, соответствуя ей, каждый в своем роде совершенны и,

значит, совершенны вообще, так как говорить о совершенстве можно лишь в отношении того или иного рода. Стало быть, природа (поскольку все животные и предметы этого совершенства сами не достигали и во всем лишь следуют природе) сотворила и животных, и предметы совершенными. И только человека она создала, по-вашему, способным совершенствоваться? Ну и превосходство, ну и привилегия! Другим дать цель, вам — средство ее достижения. Вдобавок или же недейственное, почти иллюзорное, или настолько малодейственное, что, преодолев бесчисленные препятствия на протяжении огромного промежутка времени, которое должно было пройти, чтоб мы достигли нынешнего состояния, мы были бы не в меру дерзкими и глупыми, считая себя совершенными (что означало бы: мы счастливы, в то время как в действительности дело обстоит наоборот); мы и не знаем, когда сможем таковыми быть, и не имеем, более того, понятия, в чем будет заключаться наше [2395] совершенство, если мы когда-нибудь его достигнем; наконец, уж если говорить серьезно, теперь мы убеждены, во всяком случае пора нам убедиться в том, что означенное совершенство, как бы мы его себе ни представляли, никогда достигнуто не будет и счастливее мы никогда не станем. Животные же счастливы с тех пор, как существует мир, при том, что природа их ни к чему не побуждает. Вот чем оборачивается естественное превосходство над всеми существами, состоящее в предположении, что мы способны совершенствоваться. (5 марта 1822 г.)

Никогда не следует кичиться собственным несчастьем. Только счастье украшает нас в глазах людей, беда же никогда к нам не располагает; нельзя торговать несчастьем и извлекать из него пользу, если это настоящее несчастье. Никто еще никогда не становился более ценным людьми и приятен им оттого, что он несчастнее других. Напротив, несчастливцу, ежели желает он быть лучше принят, желает [2402] пользоваться уважением, снизить расположение, не только следует скрывать свои несчастья, но и притворяться, будто он принадлежит к числу счастливых, претендовать на это звание, опровергать молву и утверждения тех, кто таковым его не признает, и прилагать все силы для введения в заблуждение других. (23 апреля 1822 г.)

Природой запрещается самоубийство. Какой природой? Нашей нынешней? Наша природа в корне изменилась по сравнению с тем, какой она была когда-то. Сопоставим себя с первобытными народами — и увидим, можно ли причислить этих людей к той же породе, что и мы. Сравним себя с детьми — и мы получим тот же результат. Привычка — вторая натура, в особенности столь закоренелая, столь длительная и приобретенная в столь нежном возрасте, как та (составленная из бесконечного

числа разнообразнейших привычек), которая так отличает нас от первобытных людей, то есть от соответствующих изначальной природе человека и вообще природе всех живущих на земле существ. [2403] Достаточно сказать, что как бы ни старались мы вернуться в первобытное состояние, это невозможно ни физически — наш организм не выдержал бы этого, ни — если допустить, что мы смогли бы так перемениться физически и внешне, — внутренне, морально, что в конце концов одно и то же, так как мы не сможем больше наслаждаться счастьем, уготованным природой человеку, так как никакая причина, никакое умение не сможет снова сделать нашу душу, главную нашу часть, такой, какой она была. Так при чем тут — если обсуждать проблему самоубийства и всякую иную, относящуюся к нам, — законы или склонности природы, которая не только не является нашей, но, как бы мы ни захотели и ни стали к этому стремиться, не могла бы нашей стать? Выходит, вопрос в том, каковы стремления и склонности другой природы, в самом деле нашей, нынешней. А она вместо того, чтобы противиться самоубийству, не может не подталкивать к нему и всеми силами его не жаждать, так как для нее невыносимее всего несчастье, и, чувствуя, что избежать его позволит ей лишь смерть, она не хочет, чтобы та медлила и продлевала ее муки. [2404] То есть наша настоящая натура, не имеющая ничего общего с людьми времен Адама, допускает самоубийство и даже требует его. Если бы мы по натуре были схожи с первыми людьми, мы, неизбежно и непоправимо будучи несчастливы, не желали бы смерти, а, наоборот, испытывали ужас перед нею. (29 апреля 1822 г.) Нынешняя же наша натура очень тяготеет к разуму, которому несчастье тоже ненавистно. И не найдется довода, который бы не побуждал к самоубийству, то есть к тому, чтобы предпочесть не жить, чем жить в несчастье. И мы, во всем обычно следуя разуму, склонны думать, что, ведя себя иначе, поступаем вопреки своему долгу.

Прожив очень долго в маленьком городке среди людей, весьма далеких от того, что именуют светским духом и хорошим тоном, я, хоть и не имея большого опыта светского общения, как мне кажется, [2406] располагаю достаточным количеством примеров, чтобы утверждать, что в небольших местечках, среди людей с нешироким кругозором и в их сообществах, о человеческой натуре — и о ее характере вообще, и о характерах отдельных лиц — можно узнать гораздо больше, чем в крупных городах, в изысканном собрании. Кроме того, что жители большого города всегда как будто в масках и показной их облик далеко не соответствует их сущности и индивидуальному характеру; кроме того, что эти люди гораздо дальше от природы и от истинной общечеловеческой природы — и не только вследствие притворства, но и в силу приобретенного характера; главное — что все они похожи друг на друга, и индивиды, и сообщества. Поэтому,

увидев и узнав кого-нибудь из них, можно утверждать, что ты в известной степени знаком со всеми. Совсем иное дело в маленьких городах, где нет человека, глядя на которого не делаешь какое-нибудь новое открытие об особенностях человеческой натуры. Среди таких людей встречается большее разнообразие, чем в деревнях (или среди дикарей, людей малокультурных и т. п.), [2407] поскольку там совсем или почти совсем необразованные люди достаточно близки к природе (что всех их отличает и объединяет в один тип) и в силу этого похожи друг на друга. Они схожи между собой так же, как в совершенстве или почти в совершенстве образованные, можно сказать, одинаковы благодаря культуре, ведущей, в сущности, к однообразию. Промежуточное сословие — самое разнообразное, самое восприимчивое к разным качествам, оно лучше всех способно приспосабливаться к окружающим и индивидуальным обстоятельствам. Эти замечания справедливы для различных категорий. Гораздо лучше, например, узнаешь человеческую природу и ее способность выступать в различных формах, наблюдая простолюдина, нежели ученого, философа, человека, искушенного в делах, вращавшегося в свете и т. д., изучая малое сообщество, а не большое, не самую культурную из наций, а невысокоцивилизованную (например, испанцев, а не немцев, итальянцев и французов), дух высокоцивилизованной нации или ее частей — подальше от столицы или центра [2408] национального сообщества, а не в столице, и т. д. То же самое можно сказать по поводу национального характера, который, если говорить, к примеру, о французах, узнаешь гораздо лучше, изучая общество Бретани или Прованса, нежели Парижа. (30 апреля 1822 г.)

Из моей теории наслаждений следует, что в силу естественной и неизменной сущности вещей чем больше и живее сила, острота, воздействие и внутренняя энергия любви к себе, тем непременно человек несчастнее и тем труднее ему достигнуть счастья. Но острота и сила себялюбия тем больше, чем больше жизненная сила [2411], или жизнелюбие, человека, в особенности — чем значительнее внутренняя жизнь, чем деятельнее душа, то есть чувствующая и мыслящая сущность. Так как любовь к себе и жизненная сила — почти одно и то же, жизнелюбие (то, что подразумевается под жизненной силой) неотделимо от любви живущего к себе, и второе не может оказаться больше первого, но первое всегда точно измеряется вторым. И сколько человек живет на свете, столько он себя и любит, и все чувства его подчиняются любви к себе, связаны с ней или порождаются и т. д. этим чувством — всеобъемлющим, охватывающим все бытие, — и все другие чувства человека (если он действительно испытывает и другие) есть лишь варианты, элементы, следствия и пр. себялюбия, совпадающего с ощущением жизни или составляющего основную его часть.

Отсюда следует, что человек, обладая по своей природе и по внешнему и внутреннему своему устройству большей жизненной силой, способностью к более разностороннему и многообразному восприятию, короче, большей восприимчивостью или чувствительностью, чем все [2412] прочие живые существа, непременно должен отличаться также более сильным, более живым, активным и всепоглощающим себялюбием, чем всякий иной род живых существ. Значит, человек в силу своей неотъемлемой сущности с самого рождения более несчастен или менее способен к счастью, чем любое другое существо.

Это относится к естественному человеку. Но поскольку такие емкость, напряженность, сила и активность восприятия, какими наделен он от природы больше всякого иного животного, делают его дух все более гибким, более восприимчивым, все более утонченным, то есть способным к восприятию все более живому и многообразному, более того, поскольку способность эта есть не что иное, как готовность к новому восприятию и новым изменениям души, то человек, так сказать, совершенствуясь, то есть увеличивая силу, многообразие и глубину своего восприятия, так что дух, то есть восприимчивая его часть, [2413] все более преобладает в нем над телом — над пассивной его частью, — неминуемо становится с течением времени все более и с большей неизбежностью несчастным. Отсюда следует, что человек, как принято считать, приблизившийся к совершенству, в силу человеческой сущности и общего порядка вещей в природе более несчастлив, чем человек естественный, причем тем более, чем он ближе к совершенству. То есть несчастье человека всегда находится в прямой зависимости от развития его духа, — от цивилизованности, состоящей в развитии человеческого духа, при том что *вряд ли кто-то может утверждать, что вследствие развития духа усовершенствовалось человеческое тело. Напротив, оно явно деградировало по сравнению с тем, какое было у естественных людей*, у которых превосходство тела, или материи, умеряло силу и живость чувств, а значит, себялюбие и, следовательно, несчастье.

Так как в одно и то же время живут люди более и менее тонкие, [2414] из вышесказанного вытекает, что одни должны быть непременно более несчастливы, другие — менее, и человек невежественный, грубый, деревенский менее несчастлив, чем человек ученый, утонченный, горожанин и т. д.

Поскольку независимо от уровня культуры одни люди от рождения наделены большими чувствительностью, живостью ума, его гибкостью и восприимчивостью (как пишет Каза в "Галатее", нач. гл. 26*), а другие — меньшими, из прежде сказанного ясно, почему, чем человек чувствительнее, тем более непоправимо он несчастен, почему природа говорит великим людям: "Soyez grand et malheureux"¹ (Д'Аламбер). Потому, что эта большая

¹ "Будьте великим и несчастным" (фр.)**.

чувствительность — не что иное, как большие живость, глубина, активность себялюбия, во всяком случае, она не может обойтись без них, так как себялюбие включает в себя все мыслимые чувства живых существ, порождает их и находится с ними в существенной связи и непосредственной зависимости. (2 мая 1822 г.)

Сильный и благородный дух способен противостоять неизбежности, но не способен — времени, единственному истинному победителю всего земного. Глубочайшая и неизбывнейшая скорбь, которая с презрением отвергала банальные утешения [2420] в несчастье, — оно, мол, было неизбежно, происшедшее непоправимо, все равно придется утешиться, — которая возрождалась каждый день, порою с большей силою, чем прежде, которая необычайно долго была безудержной, неуголимой и с каждым днем, казалось, не ослабевала, а, напротив, возрастала, — как бы она ни отвергала, ни отказывалась допустить возможность утешения временем и насаждаемой им подспудно и неощутимо привычкой, не может быть того, чтоб эта скорбь в конце концов после упорнейшей борьбы не была побеждена и изжита и суровый этот дух не смирился и не приспособился сносить свою беду без гнева, не имея сил роптать. И как бы долго ни противился он, отвергая утешение временем, в конце концов он неминуемо ему поддается. (5 мая 1822 г.) Можно отринуть утешение неизбежностью несчастья, но не утешение временем.

Что такое "дело чести" (как выражаются испанцы), в равной степени было известно в древности и продолжает быть известным в наше время всем обществам, сколь мало ни [2421] цивилизованны они, в любые времена — и дикарям, и мексиканцам, что естественно для человека, связанного отношениями с себе подобными. Однако древние в этом вопросе бесконечно отличаются от наших современников, а дикари — от людей цивилизованных, и польза от понятия чести, высочайшая у древних и у дикарей, у современных и цивилизованных людей совсем или почти отсутствует, а иногда это понятие даже приносит вред. Причины таковы.

Понятие чести — одна из множества иллюзий общественного человека и всецело связано с бытующими представлениями. А эти представления (не имеющие никакого отношения к сути дела) могут быть более или менее полезны или бесполезны в зависимости прежде всего от того, с чем связывают понятие чести (что уже говорит о многом), от внутреннего содержания понятия чести, ее большего или меньшего величия, ее удельного веса вне зависимости от того, что является причиной и предметом дела чести.

Сравним же древних с современными людьми, считая древних [2422] дикарями, а наших современников — людьми цивилизо-

ванными. Двое сородичей или друзей Леонида при Фермопилах (вспомните историю) сочли делом чести отказаться выступить его посланниками и, ответив, что они там для того, чтобы сражаться, а не носить послания, остались погибать вместе с товарищами, защищая родину, уже твердо зная, что погибнут, ежели останутся*. Для современного молодого человека, публично оскорбленного другим, было делом чести заставить того драться с ним на пшпагах, рискуя своей жизнью и жизнью закадычного приятеля, оскорбившего его нечаянно или в порыве чувств.

Здесь следует учесть три вещи. 1. Значимость понятия чести и обусловленную им необходимость соответствующих действий. Она в обоих случаях одинакова, так как бесчестие (согласно представлению о таковом — единственному основанию в вопросах чести) было бы мучением и для тех двух греков, и для этого юноши, если бы они нарушили законы чести. Так что значимость понятия чести (хорошо заметьте!) [2423] с древнейших пор до наших дней нисколько не уменьшилась — возможно, стала меньше широта его распространения, так как ныне это понятие значимо для меньшего числа людей. Но у тех, для кого значимо, оно в такой же цене, что и прежде.

2. Полезность чувства чести в каждом случае. Ясно: в первом случае она чрезвычайно высока, а во втором ничтожна; это чувство просто совершенно бесполезно и даже вредно.

3. Величие и достоинство этой чести, или природа человеческого представления о ней. Вспомним, что наградой двум грекам за соблюдение законов чести были уважение и зависть их сограждан к их родным, публичное их погребение, возданные им скорее праздничные, чем скорбные почести, песнопения и гимны, слагавшиеся поэтами и музыкантами всей Греции и, следовательно, ставшие затем известными всем цивилизованным народам, немеркнущая память, сохраненная отечественной и мировой историей, — короче говоря, бессмертие в глазах не только греков, но и всех других цивилизованных народов и поныне. Награда молодому дуэлянту — уважение нескольких таких, как он, юнцов, честной компании, [2424] в лучшем случае — лоботрясов той провинции, а очень часто за такое следует тюрьма или добровольное изгнание, конфискация имущества и пр.

В общем, поразмыслив, понимаешь, что у древних честь, в том числе и как предмет дела чести, не отличалась от славы — славы, признаваемой за таковую всеми; честь же современная во многих случаях у большей и (как правило) лучшей части общества неотличима от бесчестия. Вот в этом наиболее заметное и важное отличие древней чести от нынешней: та была слава, эта, мягко говоря, — ничто.

Подобное различие налицо в таких делах, где и в наше время было бы полезным понимание чести, совпадающее с древним. Какую славу и какое бессмертие завоевывает себе, чем воодушевляется офицер, который считает делом чести держать оборону

опаснейшего места или принять там смерть? В самом деле, можно утверждать, что в наше время честь — одно лишь представление, и в большей степени, чем в древности. Поскольку в наше время честь, хотя она и признается многими, вся заключается во мнении [2425] человека о самом себе, и, соблюдая законы чести, даже ценой наивысшей жертвы, он не удостоится никакой чести даже во мнении других. Как те тайные проявления доблести, как те благие помыслы, которые в нашем мире оцениваются по заслугам только собственной совестью. У древних все было наоборот.

У спартанских воинов считалось делом чести, чтобы каждый возвращался со своим щитом. Это вещественное обстоятельство приносило чрезвычайную нравственную пользу, так как невозможно было уберечь огромный щит (на котором мог бы разместиться распростертый человек), не имея мужества противостоять врагу и никогда не обращаться в бегство, немыслимое с таким щитом. (6 мая 1822 г.)

[2429] Желаящий сподобиться похвалы или уважения других непременно должен громко петь им прямо в уши одну и ту же песню: "Я стою куда больше вас", — чтобы те сказали: "Он стоит чуть-чуть больше или столько же, сколько и мы". Любого рода слава любого человека в прямом или, по крайней мере, в переносном смысле начинается всегда с его же слов. Если ты в присутствии любого количества людей совершишь какой-нибудь поступок или создашь что-нибудь весьма достойное и похвальное, не думай, будто оттого, что твой поступок и т. д. был совершен при всех и, безусловно, достоин похвалы, другие сразу же разинут рты и примутся тебя хвалить. Они будут смотреть и молчать до бесконечности, если ты сам это молчание не нарушишь, не сумеешь или не посмеешь сделать это первым. В особенности в наше время чистейшего, законченного эгоизма. Кто хочет жить, пускай забудет о скромности. (7 мая 1822 г.)

Какая компания, какая дружба, какое общение могло бы сложиться у тебя с тем, кто слеп и глух, как и у него с тобой? [2430] Ведь ни жестами, ни словами ты не мог бы выразить ему никакие свои чувства, как и он тебе свои! И, значит, о какой душевной общности, то есть о схожем понимании и чувствовании жизни, может идти речь? Как ты думаешь, какое чувство ты бы вызвал или мог бы вызвать в его душе? И тем не менее тебе известно, что он живет, и к тому же человеческою жизнью того же рода, что и ты, и, может быть, он мог бы как-то сообщить тебе, что ему нужно, и, приняв от тебя какую-нибудь помощь или испытав иное воздействие, он мог бы ощутить твое существование и составить о тебе какое-нибудь представление; более того, наверняка он счел бы тебя себе подобным, и не оттого, что у него

имелись бы неоспоримые доказательства тому, — как раз наоборот, ввиду недостаточности его представлений, как поступают дети, склонные все полагать живым и в каком-то смысле им подобным, не зная иной формы *бытия*, отличной от их собственной, и не будучи способными хоть как-нибудь ее вообразить, несмотря на то что они видят отличия в облике и внешних качествах.

[2431] Но если ты считаешь, что с подобным человеком никак или почти никак общаться невозможно и общение с ним не принесло бы тебе никакого удовольствия, то что же говорить тогда об общении между человеком и остальной природой, которое, по мнению немецких философов-романтиков, должен предполагать и даже допускать и воспроизводить поэт? И ведь они хотят, чтобы это было живое общение, но не такое, как между людьми, и, более того, с каждым видом разное. Разве это не хуже, не ничтожней, чем общение с тем, кто слеп и глух? Ведь он в конечном счете — человек. А тут, хоть ты и веришь в жизнь вещей и воссоздаешь ее поэтическим воображением, не предполагая, что эта жизнь имеет что-то общее с твоей, какое представление об их жизни надеешься ты получить, будучи не в состоянии вообще представить какую-либо форму *жизни*, отличную от своей? Что толку твоему воображению, твоей чувствительности представлять природу живой? Какие отношения [2432] с такой природой может выдумать твоя фантазия? Она слепа и глуха по отношению к тебе, а ты — к ней. Для сознания и врожденного стремления к себе *подобным* почти всех живых существ мало просто представлять, что вещи живые, необходимо, чтобы они вели жизнь, *подобную* по своей природе собственной их жизни. А иначе общение между живыми существами невозможно, как невозможно единение между несходными созданиями, тем более между теми, которые никак не могут понять друг друга, поделиться чувствами, подать друг другу знак о себе и даже просто постичь или хоть как-нибудь представить образ жизни друг друга. Между человеком и животными — совсем не так, поэтому какое-то общение между ними и возможно, и случается, притом оно тем больше, чем более их жизнь и дух подобны нашим и чем более они проявляют понимание нашей жизни, а мы — их; этому способствует и то, что наше воображение (а может быть, их тоже) играет в этих отношениях свою роль, рисуя нам их куда более похожими на нас, нежели они, возможно, есть на самом деле, равно как и им нас. [2433] Несомненно, между нашей жизнью и жизнью животных, между нашими и их страстями есть огромное сродство и сходство. Сходство и сродство, которых нет — или они не выявляются — между существованием людей и неживых предметов, которые воображение древних, детей и, в определенной мере, людей всех времен, хоть и не обнаруживая их, допускает и воссоздает, и, не желая допускать которых,

славные немцы хотят, однако, чтобы взаимное общение между неодушевленными предметами и человеком продолжалось в человеческом воображении. (8 мая 1822 г.)

Так как живое существо едва ли что-то любит больше жизни, неудивительно, что вряд ли ему что-то ненавистно больше, чем страдания — противоположность живой жизни (как пишет Цицерон в "Лелии"*). Между тем оно не столько больше всего ненавидит муки, сколько иногда больше всего не любит жизнь, — например, когда чрезмерная физическая боль заставляет его так же естественно стремиться к смерти, предпочитая ее этой боли. Иначе говоря, [2434] когда жизнь более противоречит его любви к себе, чем смерть, и лишь по той причине он предпочитает муки боли, то есть потому не выбирает смерть, что надеется избавиться от боли, и желание жить поддерживается в нем одной надеждой.

Впрочем, ненависть к страданиям — одно из многих следствий любви к жизни (элементарной и главной страсти всякого живого существа), которые я в этих размышлениях перечислял не раз. И ненавидит человек мучения по той причине, по какой он ненавидит смерть, то есть небытие. Но эта ненависть к страданиям сама порождает множество различных следствий и является источником разнообразнейших страстей или их разновидностей, о которых я тоже неоднократно говорил. (8 мая 1822 г.)

Что страсти древних были несравнимо сильнее современных, а их последствия более громки, зримы, ощутимы [2435] и неистовы, поэтому при их изображении следует использовать гораздо более яркие краски и черты, — уже известно и об этом неоднократно говорилось. Но, полагаю, нужно проводить значительное различие между разными страстями как раз в том, что касается их силы проявления у древних и у наших современников; если разделить все страсти на два главных вида, я (так же, как и все) считаю несомненным, что в древние времена скорбь была гораздо более сильной, безудержной, открытой, нестерпимой и ужасной (хотя, возможно, в силу этих же причин и более непродолжительной), чем ныне. Что до радости, я склонен усомниться и считаю, что — по крайней мере, во многих случаях, — она могла бы быть у наших современников более неистойой и бурной по сравнению с древними лишь потому уже, что в наши дни она бывает реже и короче, чем когда-либо в былые времена, — примерно, как у древних скорбь. Это замечание, возможно, пригодится трагику, художнику и прочим имитаторам страстей. Верно, что у ребенка проявления и радости, и горя одинаково неистовы и длятся меньше, чем у взрослого. И так же верно то, что в наше время люди приобрели привычку таить в душе, обдумывая про себя и совсем или почти не выражая, даже самые сильные впечат-

ления и чувства. Однако полагаю, высказанное замечание следует учитывать — особенно в отношении людей не очень или не вполне культурных и дисциплинированных — как в обычной жизни, так и в доктринах и науке о явлениях и человеке, а также в отношении тех, кто опытом и практикой повседневной жизни и общения с людьми в должной мере не приучен сообразовываться с большинством и не приобрел привычки к безразличию, бездумности и пр., что отличает наше время. (9 мая 1822 г.)

Мир, или человеческое общество, пронизанное эгоизмом (то есть одним из видов так называемого себялюбия), как наше нынешнее общество, напоминает систему, где столбы воздуха (как их именуют физики) давят друг на друга каждый во все стороны и во всю силу. Но поскольку силы давления равны и действие каждого из столбов одинаково, они уравнивают друг друга, и система пребывает в одном и том же состоянии благодаря как будто бы разрушительному закону, закону взаимного противодействия каждого столба всем прочим и всех их — каждому.

То же характерно и для нынешней общественной системы, где не каждое сообщество, сословие или нация (как в древности), а каждый индивид постоянно давит что есть силы во все стороны на ближних, а через них — на тех, кто дальше, те же, в свою очередь, таким же образом оказывают давление на него.

Следовательно, равновесие есть результат действия губительных страстей взаимной ненависти, зависти и неприязни каждого из людей ко всем и всех их к каждому и постоянного упражнения в этих страстях [2438] (в конечном счете, в чистом себялюбии) в ущерб другим.

Этим объясняется один своеобразный феномен. Состояние чистого эгоизма и, значит, чистой ненависти к другому (которое, по сути, вытекает из него) — естественное состояние человека. Но это и неудивительно, поскольку объясняется — и по-другому быть не может — неприятием якобы естественной предрасположенности человека к строго общественному бытию (то есть отличному от свойственного почти всем животным, особенно самыммышленым), каковому способу существования противоречат в силу их природы упомянутые в высшей степени естественные чисто человеческие качества (что можно наблюдать и у детей и пр.). Удивительно другое: несмотря на то, что человек вернулся в этом отношении в естественное состояние (покончив с давними воззрениями и заблуждениями — плодами первых обществ и сложившихся между людьми взаимоотношений), общество не развалилось вовсе и продолжает существовать, несмотря на разрушительную природу его устоев, [2439] объяснением чему может служить вышеприведенное сравнение. Такое равновесие (конечно, не естественное, а искусственное), то есть такое равенство и такая всеобщность действия и противодействия,

сохраняет человеческое общество едва ли не вопреки его желанию, вопреки намерениям и действиям каждого из его членов, явно или тайно *всегда* стремящихся его разрушить.

Приведенное сравнение позволяет сделать также неизбежный вывод нравственного свойства. Если какой-нибудь воздушный столб делается менее плотным или давит меньше, чем другие, и почему-либо оказывает меньшее противодействие, каждый ближний к нему столб и каждый из соседствующих с ближними в то же мгновение спешат на его место и, только он перестает оказывать достаточное сопротивление, его захватывают. Так воздушный колокол разлетелся бы на мельчайшие кусочки из-за недостаточного сопротивления заключенного в нем воздуха, если бы не форма [2440] колокола. Совершенно то же самое бывает и с людьми каждый раз, когда сопротивление и противодействие с чьей-то стороны отсутствует или ослабевает — от бессилия, по недосмотру, в результате умысла или по неопытности. Так что тех, кто в жизни делает первые шаги, следует предостеречь: ежели они хотят, чтобы другие сразу же не заняли их место, не разорвали их, не раздавили, пусть запасутся как можно большей дозой эгоизма, чтобы их противодействие превышало действие на них других или по крайней мере было ему равным. Это действие — желают они или нет, верят или не верят — неизбежно будут оказывать на них все, и друзья, и враги, насколько только смогут. Так как если поневоле, то есть по причине своего бессилия (любого рода) уступать позорно, то поддаваться добровольно, то есть из-за недостатка эгоизма, в этой системе общего давления смешно и глупо, и поступают так одни неопытные и легкомысленные люди. И [2441] достоверно можно утверждать, что самопожертвование (любого рода, в любой области), которое всегда являлось проявлением — наивысшим проявлением — благородства, в наше время почитается за трусость, недостаток смелости или энергии, то есть за лень, неспособность или слабоумие, притом это не просто мнение людей, а справедливое суждение при существующих порядках и реальном характере нынешнего общества. (10 мая 1822 г.)

Никакое прозвище человека, имеющего общепризнанный физический или моральный недостаток, не произносят с большею охотой и охотнее не слышат, чем прозвище, которое отражает его изъян: глухой, хромой, горбатый, сумасшедший... Более того, таких людей обычно именуют только этими прозвищами, а если в их отсутствие и назовут по имени, почти всегда добавляют прозвище. Называя так их или слыша, как их называют, люди думают, что сами они выше их и, наслаждаясь зрелищем их недостатков, чувствуют и отмечают про себя собственное превосходство, льстящее их самолюбию и приносящее им удовлетворение. Добавьте к этому извечную естественную неприязнь человека к другим людям, которая питается [2442] и тешится постыд-

ными прозвищами, как в отношении друзей, так и тех, кто безразличен. Эти естественные причины ведут к тому, что человек, имеющий изъян, как уже сказано, едва ли не меняет свое имя на название этого изъяна, а другие, те, кто называет его так, хотят и в глубине души стремятся исключить его из числа себе подобных, поставить ниже себя — стремление, присущее (а что касается сообществ, — главное и сильнейшее) любому общественному человеку. Мне случилось наблюдать, как человек с изъяном, из простонародья, играл с людьми своего круга, которые не называли его иначе как по наименованию его изъяна, так что я ни разу не услышал его подлинного имени. Пусть я не знаток человеческой души, но поверьте мне, я ясно чувствовал, что каждый из них всякий раз, с презрением называя беднягу его кличкой, втайне ощущал радость и злорадное довольство от собственного превосходства над себе подобным, и не столько оттого, что сам лишен был этого изъяна, сколько оттого, что видел его у другого и, будучи его лишенным, мог осмеивать его и попрекать им горемыку. И хотя это прозвище раздавалось часто из их уст, я чувствовал, я знал, что всякий раз звучат в нем приговор, триумф и удовольствие. (13 мая 1822 г.)

[2453] Рождаются ли люди для того, чтобы размышлять и действовать, или на самом деле лучшее употребление жизни, как утверждает кое-кто, — в том, чтобы заниматься философией и литературой (как будто бы предметом и материалом оных может быть что-то иное, кроме человеческих проблем жизни и ее устройства, и будто средство предпочтительнее цели¹), видно в том числе из следующего. Никогда не достигал и не достигнет многого в философии или в литературе тот, кто не рожден, чтобы работать больше и делать больше, чем другие, кто не обладает большей жизненной силой и большей жадой жизни по сравнению с обычными людьми и вследствие *простоты* своей природы и наклонностей не расположен к более активному и продуктивному существованию, нежели обыкновенный человек. Де Сталь думает так об Альфьери ("Коринна", т. I, посл. кн.) и даже говорит, что он был рожден не для того, чтобы писать, а чтобы действовать, если бы дало ему подобную возможность его (и наше) время*. Именно поэтому и был он истинным писателем, в отличие от почти всех итальянских литераторов или ученых своего и нынешнего времени, среди которых нет или почти нет рожденных для того, чтобы делать что-либо иное, кроме глупостей, нет или почти не сыщешь [2454] истинных философов и литераторов, чего-то стоящих. В противоположность иностранцам,

¹Цель литературы по преимуществу — в устройстве жизни нелитераторов, ведь литература существует для их пользы, и они должны ею пользоваться. Но я никогда не слышал, чтобы положение того, кого обслуживают, было хуже положения обслуживающих (*примеч. автора*).

прежде всего англичанам и французам, которые (ввиду характера правительств и условий этих стран) действительны и рождены, чтобы сделать более других. И чем больше они делают или склонны делать от природы, тем лучше, возвышенней и незаурядней они думают и пишут. (30 мая 1822 г.)

Христианство — единственная среди всех религий, как древних, так и современных, которая тайно или явно, но, безусловно в силу своей сущности, устройства, характера и духа считает и велит считать благом то, что по своей природе всегда было, есть и будет злом (и для живых существ), злом же неизменно почитает все противоположное, — к примеру, красоту, молодость, богатство и т. д. вплоть до благоденствия и счастья, о которых мечтают и всегда будут мечтать все до единого живые существа. Она действительно их почитает злом, поскольку невозможно отрицать, что все это весьма опасно для души, а противоположные свойства (например, уродство и т. д.) избавляют от бесчисленных возможностей грешить. По сей причине те, кто полагают себя благочестивыми, считают безобразных и т. д. счастливыми, а безобразие и т. д. для человека — благом, а для общества — удачей и [2457] в высшей степени желательным условием, качеством, уделом в этой жизни. То же самое можно сказать о процветании, вызывающем естественную гордость и уверенность в себе и собственных делах и, следовательно, ведущем к рассеянности и отсутствию привычки размышлять (совершенно обязательной для тех, кто озабочен вечным благоденствием) и весьма привязывающем ко всему земному. И, значит, мнение, будто бы несчастья (или, как их именуют, муки) — это проявления Божьей милости и знаки Божьего благоволения, — мнение необычайно странное и совершенно новое, неслыханное в древности и чуждое всем прочим современным верованиям (которые, напротив, все считали лишь счастливого любимцем Господа, отчего у древних слова *"блаженный"*, μακάριος ὁλβιος и т. д. были званиями, выражавшими почтение и похвалу, наподобие sanctus¹, vir iustus² и т. д. Этимологически εὐδαίμων — *"любимец Богов"*, или *"имеющий хорошего Бога"*, то есть Бога благосклонного. Наоборот, δυσδαίμων — *несчастливец*, тот, у кого плохие Боги. См. Лексиконы: и у христиан сначала прозывались *блаженными* еще при жизни наиболее отличавшиеся добродетелью или достоинством, как ныне Папа носит титул Beatitudine)³; такое мнение не разделяет ни один из нецивилизованных народов, и не знаю, существует ли другое представление, более противоречащее всеобщей природе вещей и всему реальному устройству бытия. (4 июня 1822 г.)

¹ святой (лат.).

² праведник (лат.).

³ Преосвященство (итал.).

[2468—2470] В примечаниях к моим "Канцонам"* (канцона VI, строфа 3, стих 1) я сказал и показал, что метафора удваивает смысл и умножает идеи, вызываемые в нас словом. Это — одна из основных причин, почему фигура метафоры так прекрасна, так свойственна поэзии и считается у великих наставников самой главной частью и первейшим орудием поэтического слога, а также возвышенного и украшенного прозаического слога. Я хочу сказать, что она являет нам несколько идей одновременно (в отличие от термина). Вот отчего поэту тем более нужна (ибо она есть важнейшее проявление и признак его поэтического дара, воодушевления, его поэтической природы, его изобретательности и творческой способности) новизна метафор. Так как огромная, неизмеримо большая часть нашей речи метафорична, те метафоры, из которых она обыкновенно состоит, уже не пробуждают в нас ничего, кроме одной простой идеи. Дело в том, что первоначальное значение этих применяемых в переносном смысле слов уже давно поглощено их метафорическим значением, которое только одно и остается в силе, как я говорил в указанном месте. Это бывает даже тогда, когда само слово ничуть не утратило своего прямого значения, но сохранило его и на своем месте его носит. Например, слово "зажечь" имеет свой прямой смысл. Но когда я говорю "зажечь душу гневом", то эта метафора пробуждает только одну, метафорическую, идею, потому что от долгого употребления в подобных метафорах уже не чувствуется прямое значение слова "зажечь", но только его переносное значение. Таким образом, подобные слова в конце концов получают несколько значений, почти совсем отделившихся одно от другого, почти совсем простых, которые все в равной мере могут быть названы прямыми. Этого не может произойти с новыми метафорами, где множественность идей остается, и мы чувствуем все наслаждение, какое только может доставить метафора, особенно если она смелая, то есть взята не так близко, чтобы идеи, хотя и различные, почти сливались вместе и разуму читателя или слушателя не приходилось совершать более энергических, нежели обычно, действий в поисках соотношения, связи, родства и соответствия этих идей в стремлении быстро и как бы за один миг пробежать расстояние, отделяющее одну идею от другой, — в чем и состоит удовольствие, доставляемое их множественностью. Напротив того, слишком далекие метафоры утомляют, читатель либо не в силах охватить пространство, отделяющее одну являемую метафорой идею от другой, либо охватывает его не в один миг, а лишь спустя некоторое время, из-за чего исчезает одновременность множества идей, а в ней-то и состоит все удовольствие. (10 июня 1822 г.)

На счет неоднократно мной отмеченной и объясненной склонности людей разделять с другими радости и беды и любые сколько-нибудь необычные чувства нужно отнести отчасти также

неумение хранить секреты, что, как полагают не без оснований, характерно для женщин и детей, но свойственно и всякому, кто или от природы, или вследствие привычки не вполне способен противостоять своим наклонностям, преодолевать и подавлять их. В том числе совсем нередко — людям осмотрительным, умеющим владеть собой, которым, однако же, бывает трудно-вато хранить тайну и хочется открыть ее (пускай себе во вред), доверившись другому, или просто в ходе общения, беседы, [2472] болтовни. Так же происходит и в тех случаях, когда тайна не чужая, а наша собственная, и мы, зная, что раскрытие ее пойдет во вред лишь только — или преимущественно — нам самим, и собираясь обойти ее молчанием, все же проговариваемся.

Но что и эта склонность не естественна и не исконна (как это кажется), а представляет собой следствие привычек и общественного навыка, приобретенного людьми, живущими среди людей, чувствую теперь и я. И насколько прежде был расположен поделиться всяким своим необычным ощущением (внутренним и внешним), настолько ныне избегаю и не выношу не только разговора, но и вообще присутствия других, когда испытываю ощущения такого рода. Причина в том, что я привык почти все время находиться сам с собой, почти не раскрывая рта, и жить среди людей, как если бы я жил затворником. Должно быть, то же происходит с настоящими отшельниками, с дикарями, с теми, кто не имеет общества или располагает обществом малочисленным, притом нечасто, — в общем, с "естественными людьми", лишенными языка или использующими его мало, с немymi, с теми, кто волею какого-либо случая вынужден был долго жить вдали от человеческого общества, — как потерпевшие кораблекрушение, паломники, попавшие в места, где говорят на языке, им незнакомом, заключенные и пр., монахи, давшие обет молчания, и пр. (11 июня 1822 г.)

[2473] К приведенным уже мной причинам, по которым юноша, от природы тонко чувствующий, благородный, добродетельный, набираясь жизненного опыта, быстрее, чем другие, становится неизменной и бесповоротней, хладнокровней и упорней, в общем более доблестно порочным, следует добавить и еще одну: юноша с такими качествами и привычками, вступая в мир, должен и быстрее, и сильнее других испытать людскую злобу и пагубность добродетели и очень скоро убедиться более, чем кто-либо другой, в необходимости быть самому злодеем и в том, что в этой жизни, в этом обществе поистине добродетельному человеку неизбежно уготовано наивысшее несчастье. Ибо другие, не добродетельные, — не настолько, во всяком случае, как он, — не испытывают на себе так сильно и так скоро ни злобности людей, ни их ненависти и гонений на все хорошее, ни бед, проистекающих от добродетелей, которыми они не обладают. И даже если им приходится терпеть притеснения и произвол со

стороны других, они не оказываются столь беззащитными и не способными вести борьбу с насилием и оказать ему отпор, как тот, кто добродетелен. [2474] В общем, не особенно достойный юноша не может вспылать столь сильной ненавистью к людям, — и так быстро, — какая поневоле возникает у молодого человека с благородною душой. Потому что люди так не ополчаются против него, менее способны навредить ему и менее от него отличны. В силу этого, не испытывая столь сильной ненависти к людям — как правило, рожденной, подтвержденной и прочно закрепленной опытом, — он так легко и не доходит до столь доблестного злодейства — холодного, уверенного, сознательного и продуманного, беспощадного, неисправимого и вечного, к которому не может не прийти (и скоро) человек талантливый и от природы добродетельный. (13 июня 1822 г.)

[2479] Насколько в человеке материя преобладает над духом, видно также из сопоставления страданий. Ибо душевные с физическими, разнзначными по силе, невозможно и сравнить. И хоть нередко человеку, измученному тяжкими душевными терзаниями, кажется, что легче было бы ему терпеть физические муки той же силы, сравнение опыта тех и других легко уверит каждого умеющего размышлять, что душевные и телесные страдания одной и той же силы несопоставимы. Те можно превозмочь при помощи величия и силы духа, мудрости и пр. (дождавшись, пока время залечит раны), эти же способны сокрушить и превозмочь любую стойкость. (15 июня 1822 г.)

Я говорил уже о той жестокости, какую вызывает в человеке добродетельном, в юноше и т. д. решимость впервые совершить сознательное [2482] преступление. Я также рассуждал о том вреде, который невольно нанесло христианство утверждением и улучшением морали, так как люди (неизменно злые), поступая ныне более решительно и явно против совести, ведут себя хуже древних и, попирая страх пред карами, ожидающими их на том свете, делаются более жестоки и безжалостны в своих злодействах как люди обреченные, отчаявшиеся и пр. Добавлю к этому, что человеку, в первый раз осмелившемуся пойти на преступление, трудно и мучительно далось преодоление и совести своей, и собственных привычек, так что в этот миг он ощущает себя победителем. И оттого ведет себя особенно жестоко, как лев или подобный дикий зверь, который разъяряется и делается более ужасен, чем когда-либо, отведав или же увидев кровь другого животного, поскольку человек в тот миг бывает словно забрызган и запятнан кровью, как убийца своей совести. [2483] А исполнение всякого намерения, как правило, тем более плодотворно, энергично, пылко, опрометчиво и быстро, чем трудней и тяжелей далось принятие решения, чем больших мук и большей внутрен-

ней борьбы стоило его принять. И человек, боясь раскаяться, спешит осуществить задуманное, будто в страхе старается спастись от собственных раздумий, каковы, дай он волю им, могли бы его разубедить или снова ввергнуть в нерешительность, которой человек от природы не выносит и боится и которая является одним из основных источников его душевных мук. В особенности, если следствие его решения (будь то наслаждение или выгода, месть или удовлетворение любой из человеческих страстей) прельщает и настойчиво влечет его, и он боится, как бы размышления не отвлекли его от цели и не помешали бы ее достигнуть, и старается что было сил не упустить возможность, не лишиться желаемого по своей вине. (17 июня 1822 г.)

Все люди и животные любят себя в точном соответствии с мерой и силой своей жизнеспособности. Поэтому я больше не считаю верным сказанное мною прежде, будто бы величина любви к себе у всех живых существ совершенно одинакова. Поскольку разные их виды, разные особи одного вида, одна и та же особь в разные времена и при различных обстоятельствах [2489] обладают соответственно различной жизненной силой. Так же как одни из видов более умны, другие — менее. И всех умнее люди. Но и среди них одни умнее, другие глупее, и естественно, что кто-то от рождения более талантлив, кто-то менее.

Притом, поскольку себялюбие — одно из свойств живого существа, а эти свойства, как я показал уже, являя собой склонности, способные сообразовываться с обстоятельствами, могут приносить плоды и порождать иные свойства, что характерно прежде всего для людей, — себялюбие, в особенности человеческое, может изменяться сообразно обстоятельствам и развиваться так же, как и другие свойства. Тем более что оно затрагивает все стороны души живого существа. Таким образом, и себялюбие, подобно человеческому уму, подвержено развитию и сильнее не только у тех видов и тех особей, которые живее и чувствительнее от природы, но также и у образованного человека по сравнению с неученым, в просвещенную эпоху по сравнению [2490] с менее просвещенной, у цивилизованных народов по сравнению с дикими, а у одного и того же индивида оно становится сильнее, чем прежде, в результате развития свойств или предрасположений его чувств, восприимчивости, жизненной силы и ума.

И так как я показывал, что несчастье всякого живого существа всегда находится в прямой зависимости от силы его себялюбия, вполне естественно, что человек менее счастлив по сравнению с прочими животными, и ясно, что чем он становится цивилизованнее, чем сильнее его себялюбие, тем он неизбежно делается с каждым днем все более несчастным, словно подчиняясь строгому закону.

Что себялюбие может изменяться сообразно обстоятельствам, развиваться, возрастать, быть более или менее активным

и действительным, станет ясно, если рассматривать его как страсть. И в самом деле, это страсть, более того, любая страсть есть себялюбие, все страсти — его следствия, [2491] неотличимые от причины и не существующие вне ее, способной проявлять себя в виде спеси или гнева, но на самом деле это все одна и та же страсть, простая и главная. Так что страсти суть скорее проявления, чем следствия себялюбия, и не следует в них видеть порождения его, живущие или способные жить своей отдельной жизнью.

Разве, к примеру, проявления гнева или несдержанного отношения к своей беде не бывают весьма несхожи не только у различных видов или индивидов, но и у одного и того же, в зависимости от условий? Ввергните его в невзгоды и приучите к ним. Сколь бы ни был он несдержан от природы, постепенно, привыкая, станет очень терпеливым. (Я могу удостоверить каждое из этих утверждений.) Устройте так, чтоб никогда он не переживал несчастий, приучите снова к благоденствию или представьте в подобной ситуации другого индивида, по натуре очень мягкого. Малейшая горечь будет выводить его из себя. Мыслимо ли более реальное проявление себялюбия, чем раздражение по поводу напасти, постигнувшей любимого *себя*? Однако это [2492] раздражение бывает большим или меньшим в зависимости от натуры индивида, от обстоятельств и привычек отдельных индивидов. И так же — себялюбие, следствием которого оно является. (22 июня 1822 г.)

Ни званием философа, ни любым другим ему подобным не следует гордиться даже про себя. Единственное подобающее человеку звание, коим может он гордиться, — звание человека. Чтоб быть достойным его, нужно быть настоящим человеком, то есть соответствующим замыслу природы. В таком случае и в самом деле можно гордиться этим званием, ибо человек есть главное творение земной природы, природы всей нашей планеты и т. д. (24 июня, день Иоанна Крестителя, 1822 г.)

Сколь верно то, что себялюбие является причиной несчастья и что чем больше и сильнее оно, тем больше и несчастье, доказывает повседневный опыт. Поскольку в молодости человек не только склонен ко множеству душевных мук, но и не способен еще наслаждаться наибольшими из существующих на свете благ, наслаждаться и *desfrutarlos*¹, сколько только можно и как можно лучше — до тех пор, пока себялюбие его не будет подавлено страданиями, не закоснеет, не оцепенеет. Лишь тогда обретает человек способность к наслаждению. Это замечено. Очень часто отмечалось также, что человек тем более несчастлив, чем больше у него желаний и чем они сильнее, а искусство быть счастливым

¹ пользоваться ими (исп.).

состоит в том, чтобы желать немногого, не слишком сильно и т. д. (Это и является как раз причиной того, что юноша в описанном мной состоянии, с [2496] его неимоверным устремлением к счастью, обладая наибольшей силой, позволяющей вкушать и выносить удовольствия и даже их придумывать и обеспечивать себе своими силами и пр., в том возрасте, когда все нравится и все почти само собою доставляет наслаждения при том, что юноша, лишенный разочарований, все видит в наилучшем свете и в силу молодости и неопытности в наслаждениях от пресыщения еще далек и защищен и способен придавать значение любому удовольствию, — так вот, он никогда ничем не наслаждается, страдает более, чем кто-либо другой, скорее пресыщается, притом тем более, чем более живой (как часто отмечает Каза*), чувствительной и пр. натурой наделен и, стало быть, чем больше себя любит.) Мера желаний, их обилие, их сила и т. д. всегда находятся в прямой зависимости от меры, силы, энергии, активности себялюбия. Поскольку всякое желание есть желание удовольствия, стремление к счастью есть стремление к удовольствию, а стремление к счастью — не что иное, как себялюбие. (24 июня 1822 г.)

Я говорил уже, что страх — эгоистичнейшая из страстей и естественного, и цивилизованного человека. Равно как и других живых существ. И это совершенно справедливо, ибо то, чего живое существо боится, обрекает на опасности (истинные или мнимые) существование или благополучие его собственного Я, любимого им в силу его сущности [2498] более всего на свете. Чувствительнейший от природы и благороднейший по своим навыкам, самый ласковый и добродетельный, исполненный нежнейшей и сильнейшей любви человек, если он подвержен бурным страхам, чувствуя серьезную опасность (истинную или мнимую), бросает объект своей любви, предпочитая (и в душе, и на деле) собственное спасение спасению этого объекта, и способен даже, если угрожает ему крайняя опасность, пожертвовать этим объектом ради своего благополучия, если эта жертва (какого угодно рода) поможет ему — или так ему покажется — избежать опасности. Страх способен разорвать любые узы, связывающие живое существо с другими подобными или отличными от него объектами. (26 июня 1822 г.)

Молодой человек, постигавший жизнь по книгам, от других людей или из разговоров, прежде чем набраться собственного опыта, не только всегда неизбежно обольщается, [2524] считая, будто мир и жизнь должны для него состоять из исключений из правил: жизнь — из сплошного счастья и удовольствий, мир — из добродетелей, благих чувств и восторгов, — но на самом деле больше верит (по крайней мере подсознательно, не признаваясь в этом даже самому себе), что все, что ему говорится и предсказывается, то есть несчастье, жизненные невзгоды, постигаю-

щие добродетельных и чувствительных, пороки, злодейство, равнодушие людей, их эгоизм, пренебрежительное отношение к другим, ненависть и зависть к достоинствам и добродетелям других, презрение к сильным страстям и ярким, благородным, нежным и т. д. чувствам — лишь исключения, а правило — их противоположность, то есть то представление, которое он создает себе о жизни и о людях сам, независимо от того, чему его учили, которое формирует его собственный характер и является объектом его склонностей, желаний и надежд, пищей и продуктом его воображения. (29 июня, день св. Петра, 1822 г.)

О жизни и положении Гомера не известно ничего. Однако, при всеобщей неосведомленности, с незапамятных времен повсюду распространено предание, без колебаний повторяемое всеми больше ничего о нем не ведающими, будто он был бедным и убогим. Стало быть, молва не пожелала, чтобы люди лишь предполагали, не будучи уверены, что у первого и величайшего [2545] поэта была такая же судьба, как у его последователей. Подтвердив примером ἀρχυός¹, этого несчастного племени, что всякий наделенный глубоко и истинно поэтической душой (я подразумеваю любого человека с живым воображением и развитыми чувствами, неважно, пишет ли он прозу или стихи) родится неизбежно обреченным на несчастье. (4 июля 1822 г.)

Простые и естественные люди полагают гораздо более достойным наслаждения и прелестным несущее печать культуры, придуманное, даже вычурное, нежели простое и естественное. Для людей же просвещенных и культурных нет, напротив, ничего прелестней именно естественного и простого, каковые определения на наших языках и в наших разговорах очень часто выступают как синонимы прелестного и смешиваются с этим словом, так, как прелесть смешиваем мы с естественностью и простотой, считая, будто в сущности и по своей природе, и сами по себе [2546] эти качества прелестны. Но тут мы заблуждаемся. Прельщает только то, что необычно и в необычности своей представляется красивым. То, что слишком просто, не прельщает. Слишком простое может впечатлять французов, но не нас. То есть оно может нравиться и нам, однако это будет еще по сю сторону естественности. (Природа нам кажется тем необычней, чем мы дальше от нее.) То же самое скажу об отношении дикарей, естественных, некультурных и т. д. людей к цивилизации. Впрочем, видно и по нашим крестьянкам, сколь мало привлекает их все простое и естественное, во всяком случае, искусственный наш мир так же манит их, как нас — их естественность, подлинная или изображенная в поэмах, и т. д. (4 июля 1822 г.)

¹ основоположника, основателя (греч.).

Вопрос о том, следует ли человеку совершать самоубийство (то есть разумно ли и предпочтительно ли это), сводится по сути к следующему. Что лучше — страдать или не страдать? Если говорить о наслаждении, то нет сомнения [2550] в том, что человек ни при каких условиях, включая, так сказать, счастливейшие мгновения жизни, испытать его не может, ибо, как я прежде показал, наслаждение всегда в грядущем и невозможно в настоящем. И как, следовательно, каждый человек практически не должен сомневаться, что никогда не испытает в жизни наслаждения, так он должен быть уверен, что ни дня не проведет без страданий, и большинство людей убеждено, что каждый день их ожидает много тяжких мук, а есть такие, кто уверен в том, что муки предстоят им бесконечные и тягчайшие (это так называемые убогие — нищие, неизлечимые больные и т. д. и т. п.). Так вот, я спрашиваю, что же лучше: страдать или не страдать? Конечно, наслаждаться — вероятно даже, и наслаждаться, и страдать — было бы лучше, чем просто не страдать (так как естество и себялюбие побуждают и влекут нас к наслаждению, ибо приятней наслаждаться и страдать, чем не страдать, не живя, и в силу этого не мочь и наслаждаться), но ввиду того, что наслаждение для человека невозможно, оно так или иначе обсуждению не подлежит. Стало быть, поскольку человеку лучше не испытывать страданий, нежели страдать, а жизнь без страданий невозможна, то с точки зрения логики бесспорно, что абсолютное небытие для человека лучше бытия. И что жизнь для него определенно пагубна. Поэтому живущий (если не брать в соображение религию) живет лишь потому, что ошибается в расчетах относительно того, насколько целесообразна жизнь. Просчет сей следует умножить на число мгновений в нашей жизни, *в каждое из которых мы предпочитаем бытие небытию*. А предпочитаем мы его не только в своих помыслах, в своих раздумьях — полуявных-полутайных, но не в меньшей степени на деле. Это следствие обманутого себялюбия подобно многим другим случаям неправильного выбора, который делает живущий, рассматривая эти случаи с точки зрения наивысшего блага, какового в тех обстоятельствах способен он достичь.

[2552] Насчет того, что каждый должен быть уверен: он не проведет ни дня без мук, что может показаться недостаточно доказанным мной в этих рассуждениях, то если и не брать случайные несчастья и печали, неизбежно выпадающие *всем*, это следует из утверждения, что человек не должен сомневаться в том, что он не испытает в жизни ни малейшей радости. Поэтому отсутствие, недостаток, отрицание наслаждения, к которому живое существо стремится как к единственной, как к наивысшей цели постоянно, каждое мгновение от природы, в силу своей сути, из-за себялюбия — неотъемлемой его черты, — так вот, отсутствие удовольствия, без которого жизнь неполна, означает не одно лишь то, что человек не будет наслаждаться, а что будет он страдать (как я показывал в теории наслаждения): поэтому

человек, как и [2553] любое другое живое существо, не может быть лишен полноты жизни и, значит, счастья без того, чтобы страдать и быть несчастным. А промежуточного состояния между счастьем и несчастьем нет. Счастье — непременная, постоянная и вечная цель всех внутренних порывов, внешних действий и всей жизни живого существа. Не достигая ее, оно бывает несчастливо в каждое из тех мгновений, когда, желая достижения этой цели, то есть счастья, — *как всегда, желая бесконечно*, — оно не достигает ее и живет, как всегда, без счастья. Так что человек должен быть практически уверен, что не проживет не то что дня, а и мгновенья, не страдая. И действительно, вся жизнь, природа коей неизменна, есть сплетение неизбежных мук, и каждое из составляющих ее мгновений — мұка.

К тому же человек не должен сомневаться, что испытает в жизни больше или меньше бóльших [2554] или меньших, но безусловно тяжких и немалочисленных случайных мук, которые именуются невзгодами, напастями и неудачами, или страданий, проистекающих от тех или иных желаний человека, и т. д. И если бы даже в совокупности они не составляли немалой части его жизни (а они, бесспорно, составляют большую), при том, что человек вполне уверен — он ни разу за всю жизнь не испытает наслаждения, попробуем ответить на исходный наш вопрос: посколькy лучше не переносить страданий, чем страдать, а жизнь без страданий невозможна, то что лучше: жить или не жить? Одного-единственного, даже самого ничтожного страдания, неизбежного, как было признано, и не уравновешенного ни малейшим наслаждением, довольно, чтобы жизнь была для человека пагубна и чтобы предпочесть небытие.

Поскольку сказанное применимо ко [2555] всем видам живых существ в любом их состоянии (из которых ни одно не может быть счастливым и, следовательно, не быть несчастным и не страдать) и к тому же основано на нормах и началах сколь глубоких, столь и несомненных и неколебимых, и поскольку последовательность проведенных рассуждений безупречна с точки зрения логики, это доказывает пагубность природы обыкновенного здравого смысла, метафизики и диалектики, следуя которым все живые существа должны были бы добровольно кончать с собою вскоре после своего рождения. (5 июля 1822 г.)

Пока молодой человек сохраняет *нежность* к самому себе, то есть любит себя той *живой, чувствительнейшей, откровеннейшей* любовью, которой наделен он *от природы*, пока он не окунется в мир и не начнет воспринимать себя едва ли не как другого человека, он может лишь страдать и ни мгновения не наслаждается обычными и исключительными благами и удовольствиями *общественной жизни*. (6 июля 1822 г.) Чтобы наслаждаться жизнью, нужно быть в отчаянии.

Человек не может совершенствоваться, он может только портиться. Он не более способен к совершенствованию, чем прочие живые существа, но портиться способен больше. Смешно и тем не менее естественно, что нашу способность портиться, вырождаться, развращаться [2564] величайшие, тончайшие, благороднейшие и проницательнейшие умы и философы как принимали, так и продолжают принимать, разинув рты, за способность совершенствоваться. (10 июля 1822 г.)

[2566] Может ли быть в *смерти* что-нибудь *живое*? Более того, возможно ли, чтобы по своей природе она была чем-то живым? Как можно думать, будто смерть причиняет и не может не причинять острейшую боль, будто смерть сама есть боль? Когда не только все жизненно важные чувства, которые лишь и способны на страдание и наслаждение, притуплены, словно во сне, при удушье и т. д. (так уколы, банки и т. п. не причиняют боли или причиняют ее меньше, чем обычно, сообразно мере отупения — глубине, к примеру, сна, которая бывает большей или меньшей, — наиболее глубокий сон пьяного), но и наименее важные, наименее восприимчивые и слабейшие из чувств в миг смерти навеки угасают и перестают быть чувствами. Может ли мгновение, когда способность ощущать страдания совершенно пропадает, быть мгновением сильнейшего страдания? В этот миг страдание просто невозможно, так как его нельзя представить иначе как живым — как все живое неотделимо от страдания, — поскольку это возбуждение, *aigrissement*¹, *разгорание* чувств невозможно в тот момент, когда, напротив, они *угасают* навсегда. И не нужно думать, что физическое наслаждение, которое, как я утверждаю, доставляет смерть, — наслаждение сильное, нет, оно очень слабое. Наслаждение, в отличие от страдания, не сильно действует на чувства, более того, заметьте, что физическое наслаждение большей частью представляет собой некоего рода истому, а томление чувств само есть наслаждение. Поэтому чувства способны доставлять его, даже угасая, именно потому, что угасают. (16 июля 1822 г.)

Тонкий механизм (то есть более тщательно и совершенно организованный) легче вывести из строя, нежели грубый, но это не [2568] значит, что он не является более совершенным и что при нормальном ходе вещей он не будет работать лучше грубого, если речь идет об однородных механизмах, например о двух часах. Так, человек гораздо тоньше всех остальных живых существ в том, что касается и внешнего строения, и умственного развития. Поэтому он, несомненно, самый совершенный в *иерархии* живых существ. Но это не означает, что он более других способен к совершенствованию, скорее, напротив, в силу своей тонкости он легче портится. Однако это не мешает ему быть действительно совершеннейшим из всех земных созданий, о чем свидетельствует все вокруг. (18 июля 1822 г.)

¹ обострение (*фр.*).

[2568—2572]. Все есть искусство, все у людей достигается искусством. Обхождение с женщинами и в обществе, попечение о собственных и о чужих делах, государственная карьера, политическая деятельность, внешняя и внутренняя, литература — в этом и во всем вообще больше преуспеет тот, кто лучше владеет искусством и чаще пускает его в ход. В литературе (если оставить в стороне все, что относится к литературной политике, к манере вести себя в литературном мире) тот, кто с большим искусством письменно излагает свои мысли, всегда восторжествует и легче достигнет бессмертия, даже если его мысли ничего не стоят, между тем как мысли другого, не владеющего в достаточной мере искусством писать, могут быть очень важны и оригинальны, — и все равно ему не удастся снискать себе имя, заставить с удовольствием читать себя или по крайней мере оценить и принять в соображение свои мысли. Природа тут имеет, конечно, свою долю и не лишена силы, но о том, какова доля и сила природы по сравнению с долей искусства, можно, по-моему, после всех великих споров, которые велись об этом, сказать так и точно выразить все в таких терминах. Представим себе двоих, равно владеющих искусством; тот из них, кто выше по природе, без сомнения, предстает в своих начинаниях лучшим из двух. Дайте мне двух человек, которые одинаково умеют писать. Тот из них, кто наделен большим дарованием, наверняка восторжествует в глазах потомков и истины. Дайте мне двух дамских угодников, одинаково ловких в своем ремесле. Тот из них, кто более красив (при равенстве всех прочих обстоятельств — таких, как богатство, всякого рода удачи, удобные случаи и т. д.), возьмет верх над другим. Но представьте себе красавца, который неискусен в обхождении с женщинами; великий талант, лишенный умения писать и опыта в этом деле; с другой стороны, урод, понаторевший и опытный в обращении с дамами, и человека холодного, но хорошо образованного и успешного приобрести немалое умение излагать свои мысли; вторые наслаются женщинами и славой, первые, без сомнения, будут стоять и смотреть на них. Из этого можно сделать вывод, что в конечном счете сила искусства в человеческой жизни выше силы природы. Лукан* был, возможно, одареннее Вергилия, но это не значит, что он был большим поэтом и лучше преуспел в своем начинании, — многие даже считают, что он не идет ни в какое сравнение с Вергилием.

Эти соображения должны, на мой взгляд, определить, какую долю природа имеет в том, что называется талантом, то есть много ли есть природного и врожденного в духовных способностях каждого человека. Хотя талант считается природным и только, на самом деле это далеко не так; я показал это в другом месте. Но неверно и то, что он целиком есть следствие обстоятельств и приобретенных привычек; это доказывается вышеприведенными примерами и сравнениями. Однако нет сомнения и в том, что если один из двух от природы равных талантов

усовершенствован образованием, а другой не усовершенствован, то лишь первый из них имеет право называться талантом, а второй нельзя даже назвать так, не то что сравнить с первым. Из чего опять-таки можно сделать вывод, что большая часть таланта и духовных способностей человека есть плод привычек, а не природы, и является благоприобретенной, а не врожденной; хотя их нельзя было бы приобрести в такой степени, не обладая изначально остающейся меньшей частью, то есть естественными задатками, легкостью приобретения привычек, восприимчивостью, податливостью. (19 июля 1822 г.).

Нет добродетели в народе, который не питает любви к родине, как я уже доказывал. Говорят, залог ее — религия. Однако же и в варварские, и в более поздние времена люди были религиозны до предрассудков, но где там добродетель? Если под религией понимают церковные обряды, то выходит, что нет добродетели без благочестия. Кто исполняет религиозные обряды, тот добродетелен. Если имеются в виду теория, надежда или страх, внушаемые потусторонним миром, то опыт всех времен доказывает: одно лишь это не способно сделать народ по сути и на деле добродетельным. Человек, тем более [2575] такое множество людей не способны пребывать все время в размышлениях. А то, что далеко, не видно, то, что наступит после смерти, которая — естественно, считает каждый, — когда еще придет, может сильно, постоянно, плодотворно влиять на действия и жизнь лишь того, кто постоянно размышляет. Только человек вступает в мир, более того, едва он выходит за пределы собственного внутреннего мира (для большинства людей — уж так они устроены — вообще закрытого), как на него оказывает влияние то, что рядом, что осязаемо, или как-то связанные с ним представления, а не нечто отдаленное, относящееся к состоянию природы, не похожему на окружающее нас, то есть к тому, что ждет нас после смерти; поскольку мы живем в материальном мире, [2576] среди реально существующей природы, нам очень нелегко представить реально существующим состояние, не имеющее ничего общего с тем, в существовании чего мы постоянно убеждаемся на опыте, с чем соприкасаемся, что ощущаем и т. д. Отсюда следует, что если отнять у добродетели реальное или близкое и осязаемое основание, которое все время перед нами, — если отнять у добродетели такое основание (которым, как я показал, может быть одна только любовь к отчизне), то не станет и добродетели; повторяю, того, что далеко, неосязаемо и, главное, совершенно чуждо природе этой жизни, никогда не может быть довольно для практической, реальной добродетельности человека, а тем более множества людей — разве что, возможно, в первые годы, пока все еще увлечены новыми воззрениями, как в *первом* веке христианства (во *втором* уже испорченного. [2577] См. у Св. Отцов). (21 июля 1822 г.)

Я говорил уже о том, что чуть ли не все главные открытия, необходимые для цивилизованной жизни, совершены были случайно, и сделал выводы. Теперь же я хотел бы объяснить это и подтвердить примером. Мог ли человек овладеть искусством изготавливать стекло, постичь идею его изготовления и вообще сообразить, что его можно изготовить (а это очень древнее искусство), [2603] в результате рассуждений? Кто, если не элементарнейший чистейший случай или несколько случайностей, мог впервые обучить людей получению прозрачного плавкого вещества, которому можно придать любую форму, и т. д. и т. п. из золы и прочих материалов, которые *toto coelo*¹ далеки по качеству и виду от стекла (см. "Стекольное дело" Антонио Нери*)? А какую роль играет применение стекла в обычной жизни, для изготовления необходимых в цивилизованном быту предметов, сколь способствовало стекло развитию естественных наук, какие безмерные, беспредельные открытия разнообразнейшего свойства были сделаны с помощью стекол, превращенных в линзы и т. д. и т. п., сколь многим обязаны стеклу астрономия, анатомия, судовождение (которому так помогло и столь продвинуло его открытие спутников Юпитера, сделанное при помощи телескопа, и т. п.) — обо всем этом довольно лишь упомянуть. Но упоминаю я об этом для того, чтобы стало видно: хотя последующие открытия, усовершенствования и т. д., имеющие отношение к стеклу или же сделанные с его помощью, и были не случайны, а продуманны (случайно, говорят, изобрели только очки и подзорную трубу), однако если уж быть точными, то все они должны быть признаны [2604] случайными, так как случайна их первопричина, то есть открытие стекла, без которого бы не было и ничего из упомянутого выше. И, значит, вся эта (немалая) часть знаний, удобств и человеческой культуры, зависящая, происшедшая и пр. от изобретения стекла и без него бы не существовавшая, действительно возникла по воле случая, в результате чистой случайности.

Что эти и другие бесчисленные открытия совершены были совсем случайно, можно заключить и по тому, что есть множество народов, которые от природы по нраву своему и пр. и прежде были, и сейчас во всем подобны нам, но поскольку им не помогли такие случаи, какие выдались у нас, то у них не было или нет тех или иных изобретений и всех произошедших от них достижений человеческого ума, хотя народы эти были многочисленны и совершили множество других открытий, — как в Америке, к примеру, мексиканцы, в большинстве своем цивилизованный народ, у которого, однако же, стекла как раз и не было.

[2605] К тому же следует заметить, что, хоть химия добилась в наши дни таких успехов и основы ее столь доступны и ясны, что кажется: она могла бы и должна дарить нам великие открытия, которые уже нельзя было бы приписать случайности,

¹здесь: как небо от земли (лат.).

а лишь работе мысли, однако же не сделано ни одного открытия, которое сравнялось бы по важности и оказало бы такое же воздействие, как те, что достались нам от древних и были совершены во времена невежества, без знания научных основ или при знании совсем немногих плохо усвоенных и понятых законов смежных наук (открытие пороха, стекла и пр.). Все, чего достигли в химии, — усовершенствовали древние открытия или сделали аналогичные (к примеру, был изобретен детонирующий порох), чего бы не могло быть без открытий древних. И то, что я здесь говорю о химии, можно также отнести к другим наукам. Из сказанного я заключаю, что эти главные открытия, которые или сразу, или по мере их усовершенствования, развития и применения во многом определяли и определяют, стимулировали и стимулируют достижения человеческого ума, по своему происхождению не являлись результатами ни научных опытов, [2606] ни рассуждений, а являлись чистыми случайностями, так как были сделаны во времена невежества, в то время как позднее, несмотря на применение всех научных знаний, ничего подобного достичь не удалось. И что, следовательно, вся та часть науки и культуры, все так называемое совершенствование человека и общества, которые так или иначе связаны с означенными открытиями (весьма большая часть и даже бóльшая) не были ни предопределены природой, ни угодны ей, поскольку тот, кто не предопределял и не желал причин и первых обязательных первоначал (которые, я повторяю, были совершенно случайными), не мог желать и предрешить их последствий. (10 августа, день св. Лаврентия, 1822 г.)

То, что сказал я о стекле, касается и многих тысяч других важнейших изобретений, никогда бы не состоявшихся без минимальных знаний, подсказок и т. п., которые мог предоставить только случай, и, стало быть, случайных, как бы их потом ни применяли, ни развивали, ни усовершенствовали, изменяя до неузнаваемости по сравнению с тем, чем они были [2607] изначально, так что невозможно даже выяснить их происхождение, исходный вид, природу и т. д. и т. п. (10 августа 1822 г.)

Если рождается ребенок, нужно, чтобы мать, которая произвела его на свет, утешила его, успокоила, чтоб он не плакал, облегчила тяжесть жизни, которую она ему дает. И одна из основных обязанностей хороших родителей в пору детства и ранней юности своих детей — утешать их, ободрять, готовя к жизни, так как страдания и беды в этом возрасте воспринимаются гораздо тяжелее, чем взрослыми людьми, которые, имея долгий опыт страданий или просто оттого, что дольше прожили, к страданиям уже привыкли. Действительно, необходимо, чтобы хоро-

шие отец и мать, стараясь утешить своих деток, как могли восполняли и облегчали им тот вред, который нанесли, произведя на свет. Боже мой! Зачем человек рождается? Зачем рождает он детей? Чтобы после утешать рожденных им в том, что они были рождены? (13 августа 1822 г.)

Ни одно из ощущений, как физических, так и главным образом моральных, которые может испытывать человек, не приносит истинного наслаждения и либо безразлично, либо мучительно. При безразличных ощущениях чувствительность оказывается бесполезной. Остаются одни мучительные. Таким образом, чувствительность, хотя [2630] вообще она предполагает восприимчивость к каким угодно ощущениям, по сути оборачивается просто большей способностью к страданиям. По сей причине человек чувствительный, то есть чувствующий острее других, притом, что остро человек способен чувствовать лишь боль, — неизбежно окажется несчастнее других. Он более других способен быть несчастным, а эта человеческая возможность не может не осуществиться. (5 октября 1822 г.)

[2643] Любовь к жизни возрастает почти как любовь к деньгам и, подобно ей, тем больше, чем меньше остается жить. Ибо молодые ничуть не ценят и расточают свою жизнь, которая так хороша и впереди у них в избытке, и не боятся смерти, а старики ее боятся чрезвычайно и дрожат над своей жизнью, в высшей степени убогой, которой так или иначе им не много удалось бы сохранить. И вот юноша транжирит свою жизнь, как будто через считанные дни ему конец, старик же копит, бережет и экономит силы, будто запасая их на долгую-долгую жизнь. (24 октября 1822 г.)

Человек неизбежно ненавидит от природы всякого другого человека и, значит, от природы так же, как и прочие живые существа, настроен против общественного устройства. Поскольку же природа неодолима, очевидно, что никакая республика, никакой институт или форма правления, никакое законодательство, никакой порядок, никакое нравственное, политическое или философское средство, никакие мнения, силы, обстоятельства, климат и т. д. никогда не могли, не могут и не смогут стать причиной, достаточной для того, чтобы общество развивалось так, как нам хотелось бы, и чтобы взаимоотношения людей складывались сообразно нормам так называемого общественного права и обязанностям каждого человека по отношению к другому. (2 ноября, день Усопших, 1822 г.)

Если бы меня спросили, насколько, в какой мере философия должна заниматься человеческими делами и упорядочением духа, страстей, воззрений, нравов — всей жизни человеческой, то я ответил бы: настолько, в такой мере, как правительства — национальными промышленностью и торговлей, ежели хотят их процветания, то есть насколько. И с этой точки зрения философия действительно сравнима в полной мере с экономикой. Каковая лучшее, что может сделать, — уяснить, что вмешиваться нет нужды, что чем свободнее торговля (внутренняя и внешняя) и промышленность, тем лучше они развиваются и тем успешнее идут дела у нации, а чем их больше регулируют, тем сильнее они разлагаются, иссякают, что экономика в общем не нужна, поскольку лучше всего, чтобы дела шли так, как будто этой науки и не существует, как идут они везде, где она и те, кто управляет, не вмешиваются в торговлю и промышленность; и лучшее, что может [2669] она сделать, — запретить любые действия, понять, какой она сама наносит вред, и наконец-то ничего не делать; тогда политэкономия сделалась бы людям просто не нужна, и без нее дела бы точно шли не хуже, а только лучше. То же самое касается и философии, разума, рассуждений и т. д., и то же надлежит им, как я уже ранее говорил. (2—3 февраля 1823 г.)

Все империи, все нации, добившиеся господства над другими, сперва вели борьбу с чужими, с соседями, с врагами; потом, избавившись от страха перед внешним миром, удовлетворив стремление и жажду властвовать над чужеземцами и обладать чужим добром и утолив вражду к другим народам, обычно обращали оружие [2678] против самих себя и в результате гражданских войн, как правило, теряли те власть, богатство и т. д., которые они приобрели в итоге внешних войн. Это хорошо известно, и об этом многократно говорили все философы, историки, политики и пр. Поэтому римские политики и до, и после разрушения Карфагена твердили о необходимости его сохранения, о чем говаривают и сейчас, и пр. Национальный эгоизм превращается тогда в индивидуальный, поскольку человек в силу своей природы, в силу себялюбия является врагом других живущих на земле и любящих себя, так что если с кем-нибудь он и объединяется, то поступает так из ненависти к другим и страха перед ними, а если не испытывает этих чувств к чужим, то обращает их на своих товарищей и ближних. То же самое, что с нациями, случалось и с городами, корпорациями, известными семействами и пр., которые были едины в борьбе против чужих, пока не побеждали их, после чего раскалывались, расходились, преисполнялись зависти друг к другу и т. д. Так бывало с каждой городской группой после того, как она одерживала верх над противостоящей или противостоящими. (См. вступление к кн. 7 "Истор." Макиавелло*.) И здесь уместно привести отрывок из Плутарха, из конца книги *"Как можно получать пользу от*

врагов" (Moralia. Плут. перев. Марчелло Адриани Младшим. Соч. 14. Флор. 1819, т. I. с. 394): "Это, похоже, понял [2679] мудрый государственный деятель по имени Демос, который во время гражданских волнений на острове Кю, оказавшись на превосходящей стороне, советовал своим товарищам не изгонять из города всех противников, но нескольких оставить, дабы (сказал он) не начали мы ссориться с друзьями, полностью избавившись от врагов: тогда эти наши чувства (добавляет Плутарх, то есть соперничество, ревность и зависть), изливаясь на врагов, меньше будут беспокоить друзей"*.

См. также "Гражданские наставления" Плутарха, где в цит. перев. на с. 434 вместо "Демос" значится "Ономадемос": Ὀνομαδεμος.

То же самое, что с семьями, корпорациями, городами, нациями и империями, произошло и с родом человеческим. Естественными врагами людей были дикие звери, стихии и т. д.; первые вызывали страх и ненависть, вторые — один лишь страх (если только тем, первым людям стихии не рисовались в воображении живыми). Пока эти страхи сохранялись, человек не обаграл себя кровью других людей, напротив, он любил бывать с себе подобными, искал их общества, поддержки, не испытывая никакой вражды, зависти и подозрения, как не подозревает лев другого льва. Это был поистине золотой век, и человек среди людей находился в безопасности по той самой причине, что как он, так и другие люди испытывали по отношению к животным и объектам, [2680] чуждым человеческому роду, ненависть и страх, и эти чувства не оставляли места для ненависти, зависти и страха в отношении им подобных: так, именно ненависть к персам и страх перед ними предотвращали или заглушали раздоры в Греции до тех пор, пока персов ненавидели и боялись. Это был, так сказать, *человеческий* эгоизм (сменившийся потом национальным), который вполне мог совмещаться с индивидуальным эгоизмом в силу упомянутых мной обстоятельств. Но когда люди нашли или вырыли пещеры для спасения от дикого зверья и от стихий, нашли оружие и научились защищаться, построили города, где вместе жили, не опасаясь нападения зверей, поскольку некоторых приручили, других обезвредили, всех подчинили себе и со многих стали что-то получать, когда стихии не пугали уже людей так, как прежде, и не наносили им такой урон, то человеческий, так сказать, народ, одолев почти что всех своих врагов, испорченный благополучием, обратил свое оружие против самого себя, с какого времени и начинаются истории разных народов; на мой взгляд, это эпоха серебряного века, золотым же был ему предшествующий, мной описанный**, доисторический, отображенный лишь в легендах. (4 марта 1823 г.)

Сравнивая древнюю философию с современной, мы обнаружим, что та намного лучше этой прежде всего потому, что все древние философы стремились вразумлять и создавать, а современная философия обычно лишь разочаровывает и сокрушает. Если древние порой это и делали, то всегда считали своим долгом и важным для себя что-либо предложить взамен. Так поступали и Декарт, и Ньютон, когда впервые стала возрождаться философия. Но современные философы, [2710] всегда лишь отнимая, не дают замены. И это — подлинное философствование, не потому что, так сказать, бессилие нашего ума мешает нам найти истинно положительное, а потому, что познание истины на самом деле есть не что иное, как избавление от заблуждений, и мудрость проявляется в умении увидеть все таким, как оно есть, не приписывая явлениям тех свойств, которыми они не обладают. Природа вся раскрыта перед нами, обнажена и откровенна. Чтобы познать ее, нет необходимости приподнимать какие-то покровы — нужно только устранить помехи и искажения, мешающие правильному видению и осмыслению, в чем виноваты мы сами и наш здравый смысл. Поэтому самые простые люди обладают большим знанием. Простота, как говорит один немецкий философ (Виланд)*, весьма тонка, дети и самые первобытные дикари превосходят мудростью самых больших ученых, то есть людей, прибавивших к своему уму больше всего чужеродных элементов. [2711] Здесь находит подтверждение моя идея, что верх философской мудрости — в осознании собственной ненужности, и люди были бы уже необычайно мудры, не будь на свете философии, и самая большая мыслимая польза от нее, во всяком случае, ее первая, присущая ей цель, — в том, чтобы (если возможно) вернуть человеческий разум примерно в то же состояние, в котором находился он до ее появления. То, что я здесь говорю о разуме, я говорил уже в других местах и повторяю здесь из уважения к жизни и всему связанному с человеком и имеющему то или иное отношение к мудрости. (21 мая 1823 г.)

Древние философы опирались на созерцание, воображение и здравый смысл. Современные — на наблюдение и опыт. (И в этом главное отличие древней философии от современной.) Но чем больше они наблюдают, тем больше обнаруживают человеческих ошибок, более или менее древних, более или менее общих, свойственных народу, философам или и тем, и этим. Так, по мере развития человеческого ума все открытия, основанные исключительно на наблюдении за явлениями, [2712] почти только убеждают нас в наших заблуждениях и в ложности воззрений, усвоенных нами и порожденных нашим разумом — природным, развитым или, что называется, просвещенным. Но дальше дело не заходит. Каждый шаг современной философии искореняет заблуждения, но не сеет истины (если не считать того, что к таковым постоянно причисляются утверждения, догмы, построения, по существу сво-

ему негативные). Значит, если бы человек не заблуждался, он был бы уже чрезвычайно мудрым и достиг той цели, к которой современная философия движется с таким усилием и трудностью. Не заблуждается, однако, тот лишь, кто не размышляет. Значит, кто не размышляет или, как французы говорят, не мыслит, — самый умный. Таким образом, всего умнее люди были до возникновения философии, когда они еще не рассуждали ни о чем; умнее всех — ребенок и дикарь из Калифорнии, который не умеет *мыслить*. (21 мая 1823 г.)

Среди философов, в особенности древних, в большом ходу было суждение, что благоразумный человек не должен придавать значения наличию или отсутствию того, что так или иначе зависит от удачи или от какой-то из внешних сил, расценивая это как несчастье или благо, играющее решающую роль, и должен рассчитывать на то лишь, что будет полностью всегда зависеть только от него*. Из чего [2801] выводят, что мудрец, который, как предполагается, должен пребывать в определенном состоянии духа, ничуть фортуны не подвластен. Но это состояние духа, даже если счесть его более укоренившимся, привычным, постоянным, цельным, совершенным и реальным, чем оно когда-либо бывало у философов, — так вот, это расположение духа, уже давно и полностью достигнутое, — разве оно не зависит только от везения? Разве не бывало никогда, что старики снова становятся по уму подобными детям от недуга или по иным причинам, действию которых они были не в силах помешать или избежать их? Разве память, разум, все возможности нашего духа не зависят от удачи, как всё в нашей жизни? Разве она не властна изменять их, ослаблять, искажать и подавлять? Разве сам наш разум не зависит от фортуны? Разве кто-то может быть уверен и хвалиться, [2802] что никогда ему не изменит разум — ни навеки, ни на время вследствие расстройства мозга, от прилива к голове крови либо жидкостей, или от слишком сильной лихорадки, или от необычайного изнеможения тела, вызывающего бесконечный бред? Разве не бессчетны непредвиденные или неизбежные внешние влияния на возможности нашей души и тела? И одни из них случаются и действуют мгновенно или быстро, как удар по голове, внезапный ужас, острый приступ болезни, а другие постепенно, медленно — как старость, наступление телесной слабости и все долгие и подготовленные природой или издавна текущие болезни и пр. Разве потеря или ослабление памяти не означает уменьшения или утраты учености и, стало быть, возможности с пользой ее применять и, значит, того состояния духа, которое есть ее плод и о котором была речь? А какое свойство человеческого ума более ненадежно, [2803] легче ухудшается, с большей вероятностью со временем ослабнет или же угаснет, более постоянно, неизбежно и заметно портится у всех людей, чем память? В общем, если наше тело целиком зависит от фортуны и подвер-

жено всестороннему воздействию внешних сил, то утверждать, что дух, который всегда полностью подвластен телу, от этих сил и от фортуны может не зависеть, — дерзость. Я заключаю, что тот самый совершенный мудрец, какого так хотелось видеть древним и какого не существовало нигде, кроме как в их воображении, — такой мудрец был бы полностью зависим от фортуны, поскольку от нее зависел бы всецело тот самый разум, который он считал бы основанием своей независимости от фортуны. (21 июня 1823 г.)

Я сейчас испытываю наслаждение и хотел бы всю жизнь, вечно пребывать в таком же состоянии, как сейчас. Вот то, чего никто никогда не говорит и не может искренне подумать даже на одно мгновение, даже в момент наивысшего мыслимого наслаждения. Но если бы он в тот миг действительно испытывал настоящее, совершенное наслаждение (а ежели оно несовершенно, что это за наслаждение?), то было бы естественно, чтоб он желал испытывать его всегда, поскольку цель человека — наслаждение, и, значит, желал, чтобы вся жизнь его была такой, как в тот момент, притом желал жить вечно, чтобы вечно наслаждаться. Но [2884] ни один человек, безусловно, не ощущал и не выражал такого желания даже в счастливейшее мгновение своей жизни, даже в течение этого единственного мгновения и, безусловно, не имел подобного желания, и никогда ни на одно мгновение не возьмется его даже тот, кто испытал или испытает наивысшее из мыслимых для человека наслаждений. Ибо и в такое мгновение никто не был совершенно удовлетворен и не оставлял даже на время желания и надежды изведать большее, гораздо большее наслаждение, что означает: истинного, настоящего наслаждения в тот момент он не испытывал. Но после того человек нередко хочет, чтоб вся жизнь его была подобна этому мгновению, и выражает это желание совершенно искренне себе и другим. Однако он напрасно это делает, поскольку, если бы его желание исполнилось, он передумал бы и пр. (3 июля 1823 г.)

Главный недостаток разума не в его, как говорят, бессилии. На самом деле разум может очень многое, и, чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить дух и ум крупного философа с духом и умом дикаря, ребенка или самого философа до того, как стал он философствовать, то есть сопоставить нынешний цивилизованный мир — и материальный, и духовный — с миром современных дикарей и еще больше с первобытным. Что не подвластно человеческому разуму? Разве он не постигает самой сути всего сущего и самого себя? Не возносится к самому Господню трону и не [2942] способен до известной степени анализировать природу Верховного Существа? (См. прежде сказанное мной об этом.) То есть разум как таковой не слаб и не бессилен,

напротив, он предоставляет человеку огромные возможности, но он губителен: того, кто пользуется им, он лишает силы, и чем больше тот применяет его, тем больше, и по мере возрастания силы разума убывает сила того, кто наделен и пользуется им, и чем совершенней делается разум, тем несовершеннее разумное существо — разум делает ничтожным, мелким и презренным все, чего касается, уничтожает все великое, прекрасное и, можно сказать, саму жизнь, он превращает все в ничто, и чем он больше, тем все меньше, чем напряженнее и всеохватней его бытие, тем бедней и ограниченнее бытие явлений, сходящее на нет. Нельзя сказать, что разум видит мало. На самом деле поле его зрения почти не ограничено, и он очень остро видит каждый из объектов, но взгляд его обладает следующим свойством: чем он дальше простирается, [2943] чем лучше и острее видит, тем меньшими кажутся ему пространство и объекты. Так что разум видит все же мало, в конечном счете не видит ничего — не потому, что туп и близорук, а потому, что чем больше поле его зрения и чем внимательней обзирает он объект, тем больше ему нужно таковых. То есть причина того, что разум видит мало или не видит ничего, — в объектах, а не в разуме (хотя объекты есть, и с прочих точек зрения они вовсе не малы). Так что разум вообще способен видеть очень много, но фактически чем этого больше, тем меньше он видит. Но все, что видимо, он видит постольку, поскольку оно есть и открывается любому взгляду. (11 июля 1823 г.)

[2944—2946] Кричат, что наша поэзия должна быть современной*, то есть должна пользоваться языком и идеями наших дней, живописать современные нравы и, быть может, даже современные происшествия. Потому и осуждают обращение к древним вымыслам, мнениям, нравам, событиям. «...»

Но я утверждаю, что и в нашем нынешнем веке может быть современным все что угодно, только не поэзия. Как может поэт пользоваться языком, следовать за идеями и изображать нравы поколения, для которого слава — это призрак, свобода, отчизна и любовь к ней — не существуют, истинная любовь — это ребячество; поколения, у которого все иллюзии исчезли, а страсти — и не только сильные, благородные и прекрасные, но и все вообще — угасли? Как тут можно, повторяю, быть поэтом? Поэт и поэзия без иллюзий, без страсти — разве это не логическое противоречие? Разве поэт, будучи поэтом, может быть эгоистом и метафизиком? И разве наш век не таков по своему характеру? Так как же может поэт, оставаясь поэтом, быть по своему характеру современным?

Заметьте себе, что древние слагали стихи для народа или по крайней мере для людей в большей своей части необразованных, непричастных философии. Современные поэты, напротив того, не имеют других читателей, кроме людей просвещенных и образованных; и вот, говоря, что поэт должен быть современным,

требуют, чтобы он приноравливался к языку и идеям этих людей, а не к языку и идеям современных народов, которые ничего не знают ни о древней, ни о нынешней поэзии и ничуть к ней не причастны.

Но сегодня каждый просвещенный и образованный человек — непременно эгоист и философ, лишенный сколько-нибудь примечательных иллюзий, не знающий живых страстей; и такова же всякая женщина. Как может поэт, оставаясь поэтом, быть по характеру и по духу современником и подобием таких людей? Много ли поэтического в их языке, мыслях, мнениях, склонностях, привязанностях, нравах, привычках и делах? Что общего имела, имеет и может иметь со всем этим поэзия?

Поэтому я прощаю современного поэта, если он следует во всем за древними, если он пользуется старинным языком, слогом и манерой, если он обращается даже к древним сказаниям, если он, не скрывая этого, примыкает к мнениям древних, если он предпочитает древние нравы, привычки, события, если на его стихах отпечатлелся характер иного века, одним словом, если он старается по духу и свойствам быть и казаться древним. Я прощаю и поэта, и современную поэзию, если они не современные и не желают показать себя таковыми, потому что быть современным нынешнему веку — это значит не быть поэтом, не быть поэзией. А поэт не может одновременно и быть, и не быть поэтом. (11 июля 1823 г.) И не подобает философам и веку философов требовать вещей, по природе своей невозможных и содержащих логическое противоречие в своих определениях. (12 июля 1823 г.)

[3206—3208] Доказав, что в представлении о прекрасном не сходятся между собою ни естественные люди, ни простые неиспорченные души, как, например, дети, и что, следовательно, в самой природе не существует идеи прекрасного; что, с другой стороны, люди просвещенные, мудрые, искушенные, глубокие, сами художники и поэты и т. д. не согласны между собой даже в самом главном из того, что касается прекрасного, и несогласие их более или менее соответствует различиям между народами, климатами, мнениями, привычками, обычаями, образами жизни, веками; что они несогласны даже в том, в чем сами считают себя согласными (потому что не понимают друг друга); что они расходятся не только между собою, но и с детьми и с людьми естественными или невежественными; что такое же расхождение в представлениях о прекрасном может быть и между отдельными людьми из одного и того же народа, и у одного человека в разные годы его жизни и при разных обстоятельствах, и между двумя народами, двумя климатами, двумя веками, между цивилизованными и дикарями (это бывает постоянно); что расхождения могут быть и у варваров между собой, и у ученых — между собой, у невежд — между собой, и у дикарей — между собой, и у образованных — между собой, и между более дикими и менее дикими, и между более просвещенными и менее просвещенными,

и у детей — между собой, и у взрослых — между собой, и у знатоков, и у художников, и у созерцателей, и у философов; доказав, повторяю, все это, как я сделал во многих местах, можно считать доказанным, что идеальная, единственная, вечная, неизменная и всеобъемлющая красота есть химера, потому что ни природа не научает нас ей и не показывает нам ее, ни философы и художники не открыли ее и не открывают посредством наблюдения или познания, как они открыли и открывают стойкие и неизменные идеи в науках, имеющих своим предметом истину, и т. д. (20 августа 1823 г.)

[3237—3245] Кто испытует природу вещей одним только разумом, без помощи воображения и чувства, не уделяя им никакого места, — а именно так поступают многие немцы¹ в философии, и метафизической, и политической, — тот превосходно сумеет сделать то, что именуется словом "анализировать" — то есть расчленив и разъяв природу; однако он никогда не сможет вновь собрать ее, я хочу сказать, не сможет ни извлечь из своих наблюдений и своего анализа никакого значительного общего вывода, ни обобщить и привести свои наблюдения к значительному итогу, а если он это и сделает (все делают это непременно), то впадет в заблуждение, как и случается на самом деле. Я готов даже допустить, что они дойдут в своем анализе до того, что разложат и расчленият природу на ее последние, мельчайшие составные элементы и познают каждую из частей природы в отдельности. Но ее совокупность, цель и связи этих частей между собою и каждой из них с целым, назначение этого целого, истинные и глубочайшие намерения природы, ее предопределения, причина (оставим в стороне движущую силу), конечная причина ее бытия, и именно такого ее бытия, причина, по которой она так устроила и такими создала все свои части, — а в познании всех этих вещей должна состоять цель философа, ибо к ним относятся все самые значительные и важные общие истины, — все это, повторяю, невозможно найти и понять тому, кто анализирует и испытует природу с помощью одного только разума. Разъятая таким образом природа ничем не отличается от мертвого тела. Вообразим теперь себя живыми существами другого вида и даже отличными по природе от всех живых существ, какие мы знаем, но тем не менее наделенными рассудком. Если бы нам, не видевшим ни человека, ни прочих действительно существующих живых тварей и ничего о них не знающим, принесли мертвое человеческое тело и мы, анатомируя его, узнали бы одну за другой все мельчайшие его части, а потом, химически разложив его, открыли в нем все вплоть до последнего элемента, — разве могли

¹ А также и некоторые англичане и вообще те, кто в занятиях своих не привык ни к чему иному и не ведает ничего, кроме вещей точных. Но, без сомнения, таких философов, метафизиков, политиков, математиков — одним словом, сухарей — больше можно найти среди немцев и потом среди англичан, нежели в других местах, например во Франции и в Италии (*примеч. автора*).

бы мы при этом узнать, понять, обнаружить, постигнуть, каковы назначение, действия, обязанности, свойства и силы всех частей этого тела как самих по себе, так и по отношению друг к другу и к целому, каковы цель и смысл расположения и порядка этих частей, хоть мы сами заметили их, рассмотрели собственными глазами и, быть может, ощупали собственными руками; каковы частные следствия и общее следствие этого порядка и всей совокупности частей этого тела; какова цель этой совокупности; одним словом, что такое жизнь этого тела? Разве постигли бы мы, жило ли оно когда-нибудь и могло ли жить? Разве — если мы не сможем сделать вывод, исходя из собственной жизни, и если никому, кроме живых, нет возможности постигнуть жизнь, — наше полное, совершенное, аналитическое и глубокое знание этого мертвого тела поможет нам составить понятие и представление о том, что такое жизнь? Или даже только представление об этом теле при его жизни? Разве мы постигнем, каким был живой человек, кем он был, внешнюю и внутреннюю формы его жизни? Я думаю, всякий ответит мне: ничего этого мы не поймем, а если начнем строить предположения, то на тысячи миль удалимся от истины, и можно побиться об заклад на миллион против одного, что, даже построив миллион предположений, мы все равно ничего не угадаем и даже, вероятнее всего, изучив и узнав мертвое тело, остановимся на этом знании, так что у нас и подозрения не возникнет, что оно когда-либо было иным и предназначено быть иным, а не таким, каким мы его видим, и в голове у нас не зародится никакая догадка о его прошедшей жизни и о живом человеке вообще.

Приложив эту притчу к предмету моего рассуждения, я скажу, что нельзя открыть и понять, какова живая природа, каковы форма жизни природы и всех вещей, их причины и следствия, их ход и движение, их цель или цели, их намерения и судьбы, каково истинное назначение их бытия, каков, одним словом, дух природы; нельзя, повторяю, ничего открыть и понять, познав, так сказать, одно лишь ее тело, проделав самый точный и пристальный материальный анализ также и нравственных ее сторон; с помощью только этих средств нельзя сделать ни одной правильной и даже вероятной догадки. Можно с уверенностью утверждать, что природа, или, иначе говоря, совокупность всех вещей, составлена, устроена и уряжена так, чтобы производить поэтическое действие, или, иначе говоря, что ее устройство и порядок предназначены для того, чтобы она производила всеобщее поэтическое действие своей целокупностью и особые поэтические действия — каждой из своих частей. Но ни в одной из ее частей нельзя заметить ничего поэтического, если отделить их друг от друга и рассмотреть поодиночке при свете одного лишь точного геометрического разума; ничего поэтического нельзя обнаружить ни в орудиях природы, ни в ее силах, ни в ее внешних и внутренних пружинах, ни в том, что в ней совершается, если все это будет рассмотрено в отрыве одного от другого; ничего поэтического нельзя обнаружить в природе разъятой и расчлененной, холодной, мертвой, бескровной, лежащей, так сказать, под ножом

анатома или заключенной в химический горн метафизика, который в своих умозрениях, в своих изысканиях и исследованиях, в своих манипуляциях и, можно сказать, научных опытах пользуется только одним средством, одним орудием, одной силой — чистым холодным разумом. Ничего поэтического не могли и не могут открыть чистый разум и математика. Потому что все поэтическое скорее можно почувствовать, чем познать или постигнуть, или, иначе говоря, его познают и постигают, почувствовав, а иначе, как почувствовав, его нельзя ни познать, ни открыть, ни постичь. Но чистый разум и математика неспособны чувствовать. Открыть и понять все вышеперечисленные вещи — дело воображения и чувствительности, и они в силах это совершить, потому что мы, носители этих способностей, составляем часть той природы и той целокупности, которую испытываем, и только эти наши способности, а никак не разум, пребывают в гармонии с тем поэтическим, что есть в природе, и потому им более под силу и под стать разгадать природу, нежели разуму — открыть ее. А коль скоро чувствовать и через это познавать все поэтическое есть дело лишь воображения и сердца, значит, только им и возможно, и надлежит проникать в глубь великих тайн жизни, судеб, общих и частных намерений природы. Только они могут менее несовершенно созерцать, познать, объять и понять целокупность природы, постичь форму ее бытия, ее действий, ее жизни, ее всеобщие и великие явления, ее цели. Они, высказываясь обо всех этих вещах и строя о них догадки, менее подвержены ошибкам и способны иногда основываться на истине или приблизиться к ней. Они одни способны замыслить, создать, разработать и усовершенствовать философическую, метафизическую и политическую системы, в которых будет насколько возможно мало ложного или по крайней мере насколько возможно много правдоподобного и мало нелепого, невероятного и странного. Благодаря им люди чаще приходят к согласию в умозрительных предметах, гораздо чаще, чем благодаря разуму, вопреки тому, что могло бы и должно было бы быть, потому что, без всякого сомнения, люди, рассуждая и строя догадки с помощью одного только разума, большей частью бесконечно далеко расходятся друг с другом, оказываются за сотни тысяч миль друг от друга, избирают разные тропинки и идут по ним все дальше; между тем, рассуждая с помощью чувства и воображения, люди самых разных сословий, разных народов и в разные века очень часто и даже постоянно сходятся между собой во всем, как мы можем видеть на примере многочисленнейших положений (систем) и даже чистых предположений, найденных и созданных воображением и сердцем и основывающихся только на них, но тем не менее принятых и принимаемых всеми или почти всеми народами во все времена и почитаемых даже в наши дни всеми людьми за неоспоримые истины, а мудрецами — по крайней мере за самые правдоподобные и заслуживающие большей веры, чем все остальное сказанное по тому же поводу. Ничего такого, пожалуй, не увидишь, когда дело касается любой гипотезы (общей или частной, то есть составляющей систему или

нет), продиктованной чистым разумом и его рассуждением. Наконец, только воображение, сердце и даже страсти или же разум не иначе как при их усиленном вмешательстве открыли, показали и подтвердили самые великие, самые общие, самые глубокие, возвышенные, самые основные и важные из достигнутых нами философических истин, открыли и осветили самые большие, глубокие и сокровенные из познанных нами тайн природы и всех вещей — как это пространно изложено в другом месте. (22 августа 1823 г.)

В подтверждение вышесказанного следует заметить, что самые глубокие философы, самые проникательные исследователи истины и люди с наиболее широким кругозором явно выделялись и отличались от других также способностями своего воображения и сердца, выдавались определенно поэтическими дарованием и вкусом, ярким свидетельством чему явились их сочинения, поступки или жизненные страдания, происходившие от воображения и чувствительности, или все это вместе. Среди древних таким поэтом по своему стилю, по своим идеям был, как всем известно, Платон, самый глубокий, самый разносторонний, самый возвышенный из всех философов античности, дерзнувший построить систему, объемлющую все бытие и раскрывающую первопричину всего естества. См. il Fabric у Платона*. Среди современных — Декарт, Паскаль, под конец жизни силой своей фантазии едва не сведенный с ума, Руссо, мадам де Сталь и пр. (23 августа, после известия о кончине Папы Пия VII, последовавшей 20-го числа этого месяца 1823 г.)

[3269—3271] Лирический поэт — в миг вдохновения, философ — в миг возвышающего душу созерцания, человек, обладающий воображением и чувством, — в минуты восторга, всякий человек — в порыве сильной страсти, в воодушевлении плача и еще, осмелюсь сказать, разогретый вином, но не слишком, — всякий из них смотрит на мир и видит его как бы сверху, с некоего более высокого места, нежели то, на котором человеческий дух привык останавливаться в обычное время. Поэтому, открывая сразу намного больше вещей, чем он привык замечать одновременно, и одним взглядом различая множество предметов, которые он по отдельности видел уже не раз, но никогда еще не видал вместе (или разве что в подобных же случаях), он оказывается в силах заметить и их взаимные связи; к тому же новизна этого множества предметов, впервые представших перед ним вместе, влечет его рассмотреть их, пусть и очень быстро, но лучше, чем до сих пор и чем он привык их рассматривать, а также увидеть и разглядеть названные связи. Так и получается, что в этот миг он и обладает необычайной способностью обобщать (необычайной для себя и для обычного состояния своей души), и применяет ее на деле; а применяя ее, он открывает те подлинно великие и важные общие истины, которые в другой миг, без этого вдохновения,

этой почти что *равда*¹, этого философического, или страстного, или поэтического иступления понапрасну старались бы открыть, понять и объяснить с помощью самых долгих, терпеливых и тщательных исследований, опытов, сравнений, изучений, рассуждений, размышлений, ценой напряжения ума и таланта и всех способностей думать, размышлять, наблюдать и рассуждать, старались бы, повторяю, не только один такой человек, или философ, или поэт, но и любой поэт, любой гений, любой, даже самый тонкий и проницательный философ, даже множество стремящихся к одному и тому же философов, и во все века, на протяжении которых шел бы вперед, совершенствуясь, человеческий дух, — между тем как охваченный вдохновением и делает это с легкостью, безупречно и полно, сперва — в самый миг вдохновения — для самого себя, а потом и для себя, и для других, коль скоро он способен хорошо выразить свои воззрения и продолжает отчетливо и ясно видеть перед собою все, что постиг и почувствовал в тот миг. (26 августа 1823 г.)

Как я прежде говорил, монархия — наиболее и даже единственно совершенное состояние общества, так как единственно естественное, первичное, одинаковое с животными, имеющими некое подобие общества, единственно присущее всем нациям в начале их развития. (Как монархия возникла, смотри в начале *Рер. Аристотеля**, прекрасно объясняющего это, так как [3412] нации или народности, конечно, никогда открыто не договаривались кому-то подчиняться и никогда единогласно не избирали монарха, который в результате этих выборов получал бы право ими управлять.) Из сказанного им следует, что каждая республика, каждое свободное государство, сколь угодно древнее, на сколько бы ни предшествовавшее формированию цивилизации, подобной разложению, неважно, идет ли речь о диких или о героических, доблестных и благородных временах и народах — если в этом государстве общество уже сложилось, уже заслуживает этого названия (будь то древнее или современное, цивилизованное или дикое), — безусловно означает разложение этого общества и само есть результат разложения управления, которое — известно это из истории или нет — непременно прежде было монархическим, и, значит, это свободное государство в данном обществе является, вне сомнения, не первичной, а вторичной формой управления, сменившей первичную в результате ее разложения, то есть, конечно, разложения соответствующего общества. (11 сентября 1823 г.)

По множеству причин, включая несущественные, человек бросается навстречу опасности, и в том числе смертельной; при этом он решительно жертвует [3433] собой, своими деньгами, добром,

¹ безумие (*греч.*).

удобствами, надеждами и пр. Но немного находится таких, кто даже в силу существенных причин, даже движимый сильными страстями, пылкой любовью и т. д., идет или действительно готов пойти на то, чтоб испытать физическую боль, даже несильную. Люди, часто и легко по доброй воле глядящие в глаза смертельной опасности, не способны добровольно, сознательно пойти на верную физическую боль. (15 сентября 1823 г.)

[3435—3439] Воображение и величавые иллюзии, которыми руководствовались древние, и обуревавшая их жажда славы заставляли их все время иметь в виду потомков и вечность, стараться увековечить всякое свое деяние и обеспечить бессмертие себе и своим творениям. Желая оказать почести усопшему, они воздвигали ему памятник, способный противостоять векам и сохраняющийся, быть может, и сейчас, спустя тысячелетия. Мы при подобных обстоятельствах тратим, быть может, не меньше средств на погребальное убранство, которое день спустя после церемонии разрушается без следа. Чудовищная прочность древних построек всякого рода, построек, существующих и поныне, — между тем как наших зданий, даже общественных, не увидят и не столь уж далекие потомки; пирамиды, обелиски, триумфальные арки, чрезвычайно глубокая чеканка древних монет и медалей, которые, пройдя через столько рук, через столько превратностей, столько столетий спустя выглядят красивыми и такими новыми, что на них все можно прочесть, между тем как чеканка на наших монетах стирается спустя сто лет; и еще множество подобных вещей — все это порождения и следствия древних иллюзий, признаки могущества и власти воображения у древних. Если они из тщеславия воздвигали памятники, то эти памятники тщеславия должны были стоять вечно; гордыня древних не довольствовалась восхищением одного столетия — все столетия до скончания века должны были стать свидетелями их могущества и воздать свою дань их тщеславию. Если что-либо воздвигалось ради удовольствия, ради красоты, украшения и т. д., — то слава об этом должна была впредь распространяться вечно; если ради пользы, — то все будущие поколения должны были получать эту пользу; кто бы ни строил — государь, община, частные лица; ради чего бы ни строили — ради удобства, ради почестей, ради собственной или общей выгоды; с тем ли, чтобы увековечить достопамятные успехи, частные или общественные; с тем ли, чтобы вознаградить за добродетель, за подвиги, за благодеяния, оказанные частным лицам или обществу; с тем ли, чтобы почтить общество или частное лицо, живого или усопшего; с тем ли, чтобы дать свидетельство своей любви и т. д. — какую бы цель перед собой ни ставили, для чего бы ни было предназначено создаваемое творение, — оно должно было пребывать вечно, существовать во все грядущие времена, не иметь конца. Великие иллюзии, одушевлявшие древних, не позволяли им довольст-

воваться слабым и преходящим воздействием и даже помыслить о таком воздействии, которое было бы недолгим, нестойким и кратким, удовлетворяться мыслью о том, что почти не выходит за их поле зрения. Воображение всегда толкает к тому, что находится вне досягаемости наших внешних чувств. А значит, к будущему, к потомкам, потому что настоящее ограничено и не может его удовлетворить, оно ничтожно и сухо, — потому воображение питается надеждами и живет, вечно суля что-нибудь самому себе. Но для самого сильного воображения будущее не должно иметь предела, ибо иное будущее его не удовлетворит. Поэтому такое воображение смотрит в вечность и тянется к ней.

Отличительным признаком ручных изделий у древних были долговечность и прочность, отличительный признак изделий нынешних — быстрое обветшание и краткость срока их жизни. И это естественно для века-себялюбца. Себялюбив же он потому, что разочарован. И подобно тому как человек под действием разочарования думает только о самом себе, наш век думает лишь о настоящем, а до того, что будет потом, ему нет ни малейшего дела. Кроме своего себялюбия он еще и низок — и по причине этого себялюбия, и по другим причинам. Да и как не быть отвратительным нынешнему веку — веку спокойного, не залитого кровью, усовершенствованного деспотизма? Низкая же душа не умеет ни взлетать ввысь, ни ставить себе благородных целей; идея вечности не вмещается в столь узких умах, а гнусный человек не способен увидеть свое счастье в исполнении возвышенных намерений.

Во времена, промежуточные между древними и нынешними, при созерцании оставшихся от них вещественных памятников ясно видны признаки и древних иллюзий, и наступающего разочарования. Если во многих варварских постройках времен упадка (даже частных, и по большей части именно в них) еще можно видеть величайшую прочность, то лишь по сравнению с постройками современными. И кто может сравнить прочность этих последних с прочностью общественных и частных сооружений XVI столетия, особенно в Италии? В Риме, где есть памятники всех времен, от египетских до нынешних, по ним можно видеть и вершину, и упадок, и разрушение человеческого воображения и иллюзий, и даже несколько их вершин, за которыми следовал упадок, и т. д.; можно видеть разные эпохи, которые пережило воображение, и т. д., историю не только народов, но и человеческого духа вообще, рассматриваемого с духовной стороны, несмотря на материальность предметов. Можно начать с обелиска на пятацци дель Пополо и закончить неподалеку от него, у еще строящегося дворца Лучернари. "Те деньги, что мы тратим на табакерки и шкатулки, древние тратили на бюсты и статуи, и меж тем как мы по случаю победы устраиваем фейерверк, они складывали из камня триумфальную арку" (Альгаротти, "Мысли", мысль 13*).

Эти же соображения можно применить и к литературе. В древности не были в ходу ни "brochures", ни летучие листки

— никакие писания, обреченные умереть день спустя после рождения. Даже то, что писалось по определенному поводу, чтобы послужить сегодняшней надобности, писалось так, словно могло и должно было жить вечно.

Цицерон, подав сенату или народу совет лишь для того, чтобы им воспользовались сегодня же, закончив речь и завершив тяжбу, даже если она шла о крошечном наследстве, садился за столик, брал бесформенные заметки, служившие ему при выступлении, составлял по ним, шлифуя и совершенствуя, речь по всем правилам и вечным образцам самого изощренного искусства и в таком виде вручал ее вечности. Так же делали аттические ораторы, так же делал Демосфен, от которого сохранилась и читается до сих пор речь по делу о трех овцах; между тем как речи, произнесенные сегодня в парламентах, или никем не читаются, или забываются через два дня — и по заслугам, потому что и произносящий их не притязал на то, чтобы они прожили дольше, не желал этого и об этом не заботился. (15 сентября 1823 г.)¹

Твердость характера и способность к обобщению формируют тех, кого называют лучшими людьми: они умеют думать и умеют действовать [3447], пишет М. Сэй в "Заметках о людях и обществе"*. Но эта твердость бывает двух родов и происходит от совершенно противоположных начал: в одном случае — от силы духа, остроты ума и т. д., в другом — от глупости, неспособности рассуждать, понимать и пр. и, значит, изменять свое мнение, от скудости ума, тупоумия, тугодумства и т. д. А как это бывает, понять нетрудно, и т. д. (16 сентября 1823 г.)

Люди необыкновенные весьма нередко, а возможно, большей частью таковы не благодаря абсолютной величине того или иного качества по сравнению с тем, насколько оно развито у большинства людей, в общем, необыкновенны они не в силу того, что обладают каким-то необычным (не встречающимся у большинства людей) или необычайно развитым, совершенным и т. д. качеством, а только по причине несоответствия между присущими им качествами, то есть потому, что одно или более из них, не будучи ни необычным, ни чрезмерно развитым, преобладает над другими и поэтому выделяется и бросается в глаза. В то время как многие люди, [3448] у которых все качества (включая необычные) сильно развиты, но хорошо уравновешены, сбалансированы и скомпенсированы, так что ни одно не превосходит другое, не воспринимаются как необычные, поскольку качества их затмевают друг друга, и их трудно оценить. Часто именно обладание пусть не всеми, но многими или несколькими

¹То, что сказано о долговечности, может быть сказано и о величии, о великолепии и т. д. (примеч. автора).

сильно развитыми качествами (в том числе и необыкновенными), создавая определенное равновесие и противовесы, так что одно из качеств делает другое менее заметным, является причиною того, что человек не кажется необыкновенным. И напротив, обладание немногими качествами или всего одним, которое или необыкновенно развито, или необычно, вызывая нарушение равновесия, несбалансированность, не только не мешает репутации необыкновенного человека, не умаляет ее, а, наоборот, способствует ее созданию и возрастанию. (16 сентября 1823 г.)

Трагедии или драмы со счастливым концом в результате оставляют чувства зрителя в совершенном равновесии, то есть воздействие их нулевое. Цель драм не состоит и не может состоять в том, чтобы вызвать страх перед преступлением, то есть добиться того, чтобы люди боялись грешить. Тогда уж лучше было бы произносить со сцены проповеди об аде или о чистилище, а еще лучше [3449] — читать уголовный кодекс. Цель драм — внушить ненависть к преступлению. Вот то, на что законы не способны. Тогда как вселять страх — прямая их обязанность, одни они это и могут, во всяком случае, больше и лучше, чем все прочее, за исключением, вероятно, живых примеров наказаний, то есть претворения в жизнь законов уголовного кодекса. Но наказание за совершенное преступление не способствует ненависти к нему. Оно, напротив, умеряет ее, так как к ненависти примешивается сочувствие. Более того, оно сводит ее на нет, так как возмездие гасит любую ненависть. Оно приводит даже к противоположному результату, ведь сочувствие противоположно ненависти; и часто так бывает, что при виде наказания за преступление сочувствие превосходит и заглушает всякое иное чувство, и нередко справедливое и сообразное возмездие кажется более тяжким, чем преступление, и очень часто это возмездие бывает отвратительно — частично из-за жалости, частично оттого, что некоторые от малодушия и недостатка самоуважения, а другие в силу знания людей чувствуют себя более или менее способными вот-вот или когда-нибудь впасть в грех, и никто не любит быть наказанным, а все, напротив, не выносят наказаний. Счастливо завершившаяся драма [3450] воздействием одной своей части сглаживает действие другой. Я имею в виду сочувствие. (О ненависти к проступку, которая гасится развязкой драмы, я уже сказал.) Праведнику и т. д., ставшему счастливым, уже не сострадают в связи с его бывлым несчастьем. Словно каждый был бы рад прийти тем же путем к обретению той же доли. Отмщенного обиженного не жалеют. Но в высшей степени нелепо возбуждать в ходе драмы и пр. чувство, которое сама же драма должна и заглушить, и от которого не случайно, а согласно авторскому замыслу и характеру произведения по окончании представления или чтения не должно остаться никаких следов, чувство, которое не должно

быть длительным, так как тогда оно противостояло бы воздействию,сообразному желанию и стремлениям автора и роду драмы. И коль скоро возбуждение этого чувства — например, сочувствия к незаслуженно несчастным — есть главная цель автора и драмы (как это обычно и бывает), сделать это чувство кратким, притупить его вышеозначенным путем — значит породить сплошные противоречия: [3451] главное — и краткое, главное — и подлежащее намеренному, умышленному сведению на нет самую драмой, главное — и не вытекающее из всей драмы, главное — и вместе с тем оно не должно сохраниться до самого конца и после окончания, не должно быть вызвано всей драмой в целом; воздействие, которое должна произвести вся драма в целом, — иное, даже противоположное тому, которое она выдвигает своей главной целью. Естественности и правдоподобия гораздо больше в драмах с печальным концом, нежели с веселым, ибо так устроен мир — порок и злодеяние торжествуют, хороших притесняют, а счастье и несчастье выпадают тем, кто не заслуживает их. Но в обществе счастливые по большей части считаются хорошими, и наоборот. Драма называет добро и зло своими именами и отображает нравы и нравственность счастливых и несчастных, каковы они на самом деле. Потому-то от нее такая польза, потому она рождает ненависть и презрение к злодеям, хоть они и счастливы, и наоборот. А не оттого, что драма изменяет естество и истинную суть вещей, — к несчастью, и для добродетели, и для порока. [3452] Это весьма большая нравственная польза, очень редкая, и этого вполне достаточно, чтобы вызвать ненависть и возмущение, чтобы представить истинные нравственные качества и истинные достоинства счастливых и несчастных. Ненависть, презрение, позор, бесчестье, возмущение, жалость, уважение, одобрение — немалые и, безусловно, единственные наказания и награды, предназначенные в этом мире пороку и добродетели. Это немало — сделать так, чтобы и порок, и добродетель получили их, чтобы первый был наказан, а вторая вознаграждена, как это может быть, чтобы все происходило в соответствии с природою вещей, чтобы соблюдался установленный порядок вещей и закон природы. А порядок этот и закон таковы: злодеи должны быть счастливы и посрамлены, а хорошие — несчастливы и вызывать при этом восхищение или сочувствие. Порядок этот часто нарушается, закон то и дело преступается — в том, что касается не счастья и несчастья, а порицания и похвалы, ненависти, любви и сострадания. Зритель, видящий порок и злодеяние, изображенные в драме яркими и отвратительными красками, жаждет, чтоб они были наказаны. Видя же, напротив, [3453] угнетенными, несчастными достоинство и добродетель, благодаря прекрасному живому изображению и мастерству поэта ставшие ему милыми и дорогими, он испытывает сильное желание увидеть их отмщенными и вознагражденными. Но если сама драма не делает ни того, ни другого, то есть оставляет порок не только не наказанным, но и вознагра-

жденным, добродетель же — не только не вознагражденной, а, наоборот, наказанной и несчастной, то она оказывает великолепное двойное воздействие, моральное и поэтическое. Во-первых, зритель вследствие исхода драмы, неблагоприятного для добродетели и, напротив, благоприятного — для порока, ощущает своим долгом изменить, насколько от него зависит, судьбы злодеев и добродетельных героев, одних наказав со всей возможной ненавистью и гневом, а других вознаградив с самой большой любовью, сочувствием и похвалой. И в таком расположении духа, полный отвращения и ненависти к злодеям, а с другой стороны, нежности и жалости к хорошим людям, он уходит после окончания спектакля. Не очевидно ли, сколь нравственно, сколь благотворно и желательно вызвать подобное расположение? И это [3454] в самом деле единственно возможный способ сделать так, чтобы из зала выходил пламенный поборник добродетели и непримиримый враг порока, единственно возможный способ превратить любовь к одной и ненависть к другому в страсть, чего совсем непросто достичь сегодня в ком угодно и всегда бывало нелегко добиться от грубоватых душ простонародного большинства, однако ничего не может быть полезней, поскольку ни любовь эта, ни эта ненависть никогда не смогут и не могли воздействовать на человека, оставаясь головными, не превратившись в страсть, что было в древности явлением нередким. А поэтическое воздействие проявляется в том, что подобным образом построенная драма оставляет в сердцах зрителей сильное чувство, так что они уходят со взволнованной и потрясенной душой, именно взволнованной и потрясенной, а не сначала потрясенной, а после успокоенной, сначала восплававшей, а затем погашенной холодной водой, как происходит, ежели конец счастливый; короче говоря, такая драма оказывает большое и сильное воздействие, производит впечатление и возбуждает страстное чувство, и не только возбуждает, но и оставляет его в душах, чего не делает счастливо завершившаяся драма, и воздействие это длительно и стойко. [3455] А что еще требуется в целом от поэзии, в чем должно заключаться ее поэтическое действие, кроме как в том, чтоб вызвать и оставить сильное и продолжительное чувство? Даже если б оно не было полезным и нравственным, как в нашем случае. Конечно, очень мало поэтических произведений достигает этой цели, а те весьма немногие, что достигают, — великие, выдающиеся, знаменитые, истинные образцы поэзии. Сделайте, однако, так, чтоб драма, сначала вызвав у вас ненависть к злодею, после отдала его, так сказать, вам в руки — связанного, наказанного, казненного. Вы уйдете со спектакля с совершенно спокойною душой. А как иначе? Какое чувство превосходит в вас все прочие? Разве все они не в абсолютном равновесии? А можно ли поэзию, оставляющую чувства читателей и зрителей в полнейшем равновесии, назвать поэзией? Разве она производит поэтическое воздействие? Что может значить "находиться в полном равновесии" если не "быть спо-

койным, не ощущать смятения, волнения"? И каковы назначение и цель поэзии, если не волновать, — так или иначе, но [3456] непременно приводить в волнение чувства? А что до равновесия, смотрите: с одной стороны, ненависть и гнев, которых вы исполнились, с другой — возмездие, которое утоляет их, дает им выход; здесь — желание, там — желанная цель, то есть наказание злодея. Счет равный, дело сделано, сделка состоялась, все при своих интересах, вы закрываете расчетную книгу и забываете об этом. В самом деле, зритель уходит после драмы со счастливым концом как тот, кто, подвергшись оскорблению и преспокойно в полной мере отомстив, испытывает совершенное удовлетворение, кто возвращается домой и ложится спать так безмятежно, с такою умиротворенною душой, как будто бы ему не наносили никакого оскорбления и он о нем совсем не думает. Прекрасное воздействие драмы, представления, поэзии — оставить в душах зрителей, слушателей или читателей такой след, как будто бы они ее не видели, не слышали и не читали! Тогда уж лучше побывать на выступлениях атлетов, на каких-нибудь там играх или скачках, которые хоть оставляют [3457] след в душе — удивление, удовольствие или что-нибудь еще. Но в той части души, на которую должны воздействовать драма и поэзия, счастливо завершающаяся драма не оставляет и малейшего следа. В другой же части ежели и оставляет, то воздействие это или чуждо поэзии, или вторично, или поверхностно, малосущественно, случайно, частично — то есть осуществляется не всем произведением в целом, а, возможно, оформлением, действием и т. д. спектакля более, чем самой драмой, непозтичной и т. д. Что до поэтического воздействия драмы со счастливым концом, оно такое, как мы видели, то есть его нет, оно никакое, и вся счастливо завершившаяся драма в целом никакого поэтического воздействия не производит. Что же касается морального воздействия, то какие ненависть и гнев по отношению к пороку могут сохраняться в том, кто видел, как порок этот был совершенно сокрушен, сломлен, унижен и наказан? О наказании, которое зритель мог бы осуществить в своей душе, позаботился поэт, он сделал все, и зрителю больше ничего не остается, и он ничего не делает. Ту страсть, которой мог бы воспылать зритель, излил сам поэт, лишив такой возможности [3458] другого. Гнев и ненависть, которые мог бы унести с собою зритель, утолил поэт. А утоленные гнев, ненависть, любая страсть проходят без следа. (Я имею в виду отношение к данному действию, единственный хозяин которого — поэт, а не вообще способность чувствовать.) Итак, уходит зритель с драмы, не питая ни ненависти, ни гнева, ни какой-либо еще страсти против злодеев, порока, преступления. Весь этот разговор о том, какую роль должны играть в драме злодеи, можно повернуть иначе: какую роль должны играть положительные герои? Закончу эти замечания фактическим примером, рассказанным мне очевидцем. Несколько лет назад в Бонне играли "Агамемнона" Альфьери*. Драма вызвала у зри-

телей живейший интерес и, между прочим, такую ненависть к Эгисфу, что, когда Клитемнестра выходила из комнаты супруга с окровавленным кинжалом и видела Эгисфа, зрители кричали в исступлении актрисе, чтоб она его убила. Но поскольку в этой трагедии для Эгисфа все кончается благополучно, а невинные остаются притесненными, стало очевидно, что могут сотворить с душами зрителей истинные трагедии, когда они кончаются [3459] печально. Так как, услышав от актеров, что следующим вечером они будут представлять "Ореста" того же Альфьери, где зрители увидят смерть Эгисфа, люди выходили из театра, трепеща, поскольку преступление осталось безнаказанным, говоря, что за любые деньги обязательно придут завтра вечером увидеть, как будет покаран этот негодяй. И на следующий день еще до наступления вечера театр уже набит был до отказа. Расценивая с нравственной ли, с поэтической ли точек зрения такую ненависть к мерзавцу, жившему три тысячи лет назад, столь горячие чувства и столь сильное впечатление, произведенное и оставленное этой трагедией, так или иначе можно заключить о пользе и об удовольствии от трагедий со счастливым концом. Не нужно обладать незаурядной наблюдательностью, чтобы, сравнивая действие этой драмы с действием драмы об Оресте, которое, конечно, было куда меньшим и менее живым (хотя и эта вторая трагедия прекрасна), заметить, что же предпочтительнее — драма с печальным или со счастливым концом*, [3460] какая из них обладает большей властью над человеческими душами, производит большее воздействие как театральное и поэтическое произведение и приносит большую нравственную пользу. Все приведенные рассуждения — с необходимыми изменениями — можно применить к тем драмам, где злоключения хороших или не заслуживающих несчастья происходят не по вине плохих, не вследствие пороков или грехов других людей, а обусловлены судьбой и обстоятельствами, как в "Царе Эдипе" Софокла, "Софонисбе" Альфьери и множестве других трагедий, созданных в разные времена на разных языках, и во многих современных сентиментальных драмах разных народов. Также все это касается тех драм, где несчастье происходит по вине самих несчастных, но их вина невольна или достойна сострадания и т. д., что как раз относится к царю Эдипу, Федре и многим драмам, преимущественно современным, или трагедиям и пр. Из вышеприведенных замечаний можно уяснить, что лучше: чтобы развязка таких драм была счастливой или нет, чтобы судьба главных героев изменялась или оставалась прежней, чтобы из счастливой она стала несчастливой или же наоборот, и пр. (16—18 сентября 1823 г.)

[3482—3485] У греческих трагиков (то же самое и у других древних поэтов и писателей) не встретишь тех мелочей, того подробного описания и постепенного развития страстей и характеров, которые свойственны современным драмам (и также поэмам и другим сочинениям), не только потому, что древние

намного уступали современным людям в знании человеческого сердца, как это известно всякому, но и потому, что древние не слишком ценили подробности и не заботились о них, а, скорее, даже презирали их и избегали, и точность и мелочность были столь же чужды древним, сколь они свойственны и неотъемлемо присущи современным авторам.

Кроме того, современные драматические авторы хотят завоевать участие читателя или слушателя, сделав действующих лиц драмы близкими ему, заставляя читателей узнавать и созерцать самих себя, собственное сердце, собственные чувства, собственные мысли, собственные несчастья, собственные превратности, собственные обстоятельства, собственные переживания в действующих лицах драмы, в их сердце, чувствах, превратностях и т. д., словно в самом надежном зеркале. Можно не сомневаться, что намерения греческих трагиков, особенно древнейших из них, были совсем иными и в известном смысле противоположными. Такое воздействие слишком слабо, мягко, глубоко, скрыто и тонко, чтобы древнейшие поэты могли стремиться к нему, а их слушатели — почувствовать его или, почувствовав, испытать волнение. Как это естественно для народов и веков менее просвещенных, зрители искали, а поэты добивались в драмах воздействия более сильного, резкого, "éclatant"¹, чувств куда более неистовых, более напряженных, более пронопсées², впечатлений куда более величественных и в то же время менее внутренних и духовных и более вещественных и внешних. Греческие трагики искали в несчастьях и страстях необычайного и удивительного, почти так же как нынче это делает лорд Байрон* (но только с гораздо большим знанием тех и других), тогда как желающим сделать их сходными со страстями и несчастьями слушателей и потому близкими и понятными для последних требуется нечто совершенно противоположное... Ужасные и странные несчастья и превратности, жестокие преступления, неповторимые характеры, противоестественные страсти были излюбленными сюжетами греческих трагиков. Таково наверняка было их намерение, хотя выбор, вымыслы и находки не всегда отвечали задуманному, верней, отвечали ему когда больше, когда меньше, у кого больше, у кого меньше. Но если говорить вообще, и прежде всего, повторяю, о самых древних из греческих трагиков, то они предпочтительно искали сверхчеловеческих пороков и добродетелей, преступлений и подвигов, несчастий и удач и особенно любили их, в противоположность трагикам современным, которые ищут самых человеческих пороков, добродетелей и т. д., какие только можно найти. Потому они обращались по большей части к баснословному, потому у них были соответствующая сцена и соответствующие актеры; потому не только сюжет, но и способ его разрабатывать, вести действие драмы, запутывать

¹ "поражающего" (фр.).

² явственных (фр.).

узел и потом развязывать его должны были соответствовать цели поэта и его слушателей, которая у слушателей состояла в том, чтобы испытать, а у поэта в том, чтобы заставить их испытать наиболее живое, наиболее поэтическое чувство и т. д.; поэтому и каждый эпизод должен был соответствовать природе такой цели и такой драмы; потому Эсхил вывел в театре фурий (в "Эвменидах"), при виде которых женщины скинули, а дети оледенели от ужаса (см. Фабрициус, Бартеlemi* и др.); потому столь далекими от зрителя и по месту, и по времени, и по изображенным нравам бывали сюжеты, хотя сама история, и не только всего народа, но и родного города, и не только родного города, но и своего времени, давала греческим трагикам так много поэтических сюжетов и т. д.; поэтому и всяческие нарушения правдоподобия, скачки, неожиданности (правда, все это сделано с меньшим искусством, разнообразием и пр., чем сделали бы в наши дни и особенно в нынешних драмах и романах интриги), частые вмешательства богов и полубогов и т. д. "...»

Многие из робких в то же время очень смелы. Я хочу сказать, что многие из тех, кто чувствует себя в обществе смущенно, не избегают, не боятся опасностей, [3489] потерь, тяжелого труда, страданий и т. д. и даже добровольно идут им навстречу и при этом не выдерживают взглядов или слов — дружелюбных или равнодушных — тех, чьего угрожающего вида и враждебного оружия в битве или на дуэли они ничуть не убоялись бы. Робость, если можно так сказать, относится к слабостям духа, смелость же — к слабостям тела. Одна боится внутреннего урона и страданий, другая пренебрегает внешними. Одна касается духовного, другая — материального. И робость смелости не только не исключает, а, напротив, ей благоприятствует, и, видя робость, можно сделать достоверный вывод, что страдающий ею смел. Робость есть привычка бояться позора, которым очень легко и часто покрывает себя тот, кто, страшась опасностей, их избегает. Вот почему боязнь позора, являющаяся, так сказать, внутренней слабостью, слабостью духа, — ибо ничто не вредит ни телу, ни чему-то внешнему и действует только на мысли, не тревожа чувств, — ведет к тому, что человек не боится внешнего ущерба, не избегает опасности и при необходимости идет на заведомые муки, предпочитая внешние и материальные невзгоды и опасность для себя за лучшее испытывать чувственные, материальные и т. д. страдания, нежели духовные, и скорее умереть, чем переживать муки стыда. Ибо в этом, а не в чем-либо ином и заключаются та смелость, что происходит от чувства чести, и ее следствия. Эта смелость имеет первопричину и основание, более того, она сама есть в некотором роде робость или, во всяком случае, качество, противоположное нахальству, наглости, бесстыдству. (21 сентября, Праздник Блаженнейшей Пресвятой Девы Марии, 1823 г.)

Обычно говорят, что древние придавали богам человеческие качества потому, что у них было слишком низменное представление о божественности. Что это представление у них было не столь высоким, как [3495] у нас, оспаривать не стану, но богам они приписывали человеческие качества во многом потому, что у них было куда более высокое представление о людях, человеческих делах и земной жизни, чем у нас. Добавлю, что, очеловечивая богов, они хотели не столько принизить их, сколько воздать должное людям, возвысить людей, и что на самом деле они не больше очеловечивали божественную природу, чем обожествляли человеческую как в собственном воображении и в выражении народного почтения, так и в отображении и т. д. той и другой в легендах, фантазиях, поэмах, обычаях, ритуалах, апофеозах, религиозных догмах и религиозной дисциплине и т. д. (22 сентября 1823 г.) Столь высоким было представление древних о человеке и всем, что с ним связано, столь малым расстоянием отделяли они его от божества, все человеческое — от божественного (не для того, чтобы принизить одно, а для того, чтобы возвысить другое, не из неуважения к одному, а в силу высочайшего мнения о другом), что древние считали, будто божественное и человеческое могут слиться в одном субъекте, образовав единое существо. Поэтому они вообразили целую породу, причастную [3496] и к человеческому, и к божественному, — что казалось им вполне естественным, — и это были полубоги. Точно так же фавнов, пánов, нимф и им подобные божества и даже полубожества — земные, водные, воздушные — в общем, подлунные, считавшиеся смертными¹, можно отнести к этой породе *причастных* (см. у Форчеллини в "Нимфе"): хотя они и были ниже таких полубогов, как Геркулес (см. у Лукиана "Диалог Геркулеса и Диогена", который вспомнить здесь весьма уместно)**, то есть, вероятно, причастны в меньшей мере к божественной природе и в большей — к человеческой, или смертной, так же как герои, пока они смертны, могут представляться существами более низкого порядка, чем паны, нимфы и т. д., то есть менее божественными. (См. у Форчеллини в "Heros, Indigetes, Semideus"² и у Платона в "Пире", изд. Астии, т. 3. 498. Д-500. Е***, что здесь также весьма уместно помянуть.) Древним было не труднее совместить в одном субъекте человеческую и божественную природы, чем сочетать два человеческих пола, мужской и женский, в воображаемых гермафродитах, как будто человеческое и божественное, так же как мужское и женское, — два, так сказать, различных вида одного и того же рода, и между первыми не бóльшая разница, расстояние [3497] или природное различие, чем между женским и мужским. (22 сентября 1823 г.)

¹ δαιμόνες, духи, лары, пенаты, маны и пр. См. все эти слова у Форчеллини* (примеч. автора).

² "Герои, индигеты, полубоги" (лат.).

Надежды, подаваемые человеку христианством, слишком мало способны утешить того, кто несчастлив и измучен этим миром, даровать покой душе того, чьим желаниям на этом свете не дают осуществиться, кого отвергает мир, преследуют или презирают люди, кому закрывают доступ к удовольствиям, удобствам, пользе, мирским почестям, кому фортуна не благоволит. Обещание и ожидание величайшего, наивысшего и полного счастья — да, но: 1) такого, природу которого никоим образом даже приблизительно не может человек понять, представить, постигнуть или угадать; 2) о котором он точно знает, что никогда не сможет ни постигнуть его, ни вообразить, ни составить о нем какое-либо представление, пока будет длиться его жизнь; 3) о котором он определенно знает, что оно совсем другой природы, совершенно чуждой тому счастью, какого он желает в этом мире и какое здесь ему заказано, тому счастью, жажда и отсутствие которого составляют предмет и причину его несчастья, — стало быть, такое обещание и такое [3498] ожидание очень мало способны в этой жизни утешить несчастливую и неудачливую, утолить и подавить его желания, возместить ему на этом свете то, чего он здесь лишен. Счастье, коего желает от природы человек, — это счастье временное, материальное, которое изведали бы наши чувства или наша душа, какая она в настоящем и какой мы ее чувствуем, в общем, счастье этой жизни, этого бытия, а не другого, о котором нам известно, что оно должно быть в корне от этого отлично, но какого рода оно будет, мы понять никак не можем. Счастье — это совершенство и цель бытия. Раз мы живем, то мы хотим быть счастливы. То же самое — любой живущий. И ясно, что хотим мы не какого угодно счастья, а сообразного нашей реальной жизни¹. Ясно, что наша жизнь стремится к совершенству и достижению своей цели, а не цели иного бытия, для нее непостижимого. То есть наша жизнь желает счастья, свойственного ей, так как, желая счастья, присущего иному бытию, пускай даже потом оно должно было бы превратиться в человеческое счастье, она желала бы, можно сказать, не своего, а чужого счастья [3499] и имела бы своей истинной конечной целью не самое себя, а нечто иное, что по сути своей невозможно ни для какого существа независимо от его действий, склонностей, мыслей и т. п. По сей причине счастье, которого желает человек, — непременно соответствующее и свойственное его нынешнему образу жизни и возможное при нынешнем его

¹ Человек желает не счастья вообще, а человеческого счастья (как и все живые существа), не какого угодно, а определенного, хотя определению не поддающегося. Он желает счастья наивысшего и беспредельного, но соответствующего его виду, не в том смысле беспредельного, что оно включает счастье быка, растения, Ангела и все виды счастья, какие только есть. В действительности беспредельно только счастье Господа. Что до беспредельности, то в этом отношении человек желает такого счастья, как у Господа, но что касается других черт и характера этого счастья, то действительно такого, как у Господа, человек уже не мог бы пожелать. Человек, завидующий одежде, еде, жилищу своих ближних, никогда не сможет испытать ни зависти, ни стремления к беспредельному и полному Господню счастью, разве что к его беспредельности, полноте и совершенству (примеч. автора).

существовании, и ни по какой причине он никогда не может перестать желать этого счастья, как ни по какой причине не может пожелать иного. Чтобы смертный человек и вправду захотел счастья Блаженных, не более возможно, чем чтобы лошадь пожелала счастья человека или растение — счастья животного, чем чтобы травоядное позавидовало природе хищника или мясу, которым тот питается, или удовольствию, которое испытывает человек от своих занятий и познаний, так как животное не может и вообразить ни этого удовольствия, ни того, что это может вообще доставить удовольствие, ни каким образом, ни что это за удовольствие, и т. д. Очень верно, что ни человек, ни, вероятно, животное, ни какое-либо иное живое существо не может точно определить ни самому себе, ни другим, в чем заключается вообще то счастье, которого он желает, потому что [3500] никто, возможно, никогда не испытывал его и не испытает, и потому, что еще множеству наших понятий, вполне обыкновенных, будничных, мы не можем дать определения. В особенности тем, в которых больше ощущения, чем мысли, которые обусловлены скорее склонностью, желанием, чем интеллектом, разумом, наукой, которые более материальны, чем духовны. Идеи в большинстве своем определению поддаются, а чувства — почти никогда; идеи можно хорошо, ясно и отчетливо постичь, объять и уточнить посредством мысли, чувства же — довольно редко или никогда. Но несмотря на это, и животное, и человек хорошо знают и понимают или по крайней мере чувствуют, что желают они именно земного счастья. Та самая беспредельность, к которой тяготеет наш дух (каким образом и почему, об этом уже говорилось), — это земная беспредельность, хотя в этой жизни она может иметь место только в смутных представлениях и мыслях или просто в желаниях и стремлениях живых существ. Кроме этого, нет никого, кто жил бы без всякого конкретного, ясного и легко определимого негативного или позитивного желания или желаний, с исполнением [3501] которых он всегда связывает — ясно или смутно, и всегда ошибочно, — свои счастье и благополучие. Жить на свете без каких-либо желаний, кроме желания неведомо чего, быть несчастным, не испытывая недостатка ни в каком благе и не страдая абсолютно ни от каких невзгод, невозможно; и если Август говорил, что он живет именно так*, ему могло это казаться, но он обманывал себя; и никто никогда не оказывался на самом деле в подобной ситуации и не окажется, поскольку никогда никто не испытывал и не испытает недостатка в поводе для какого-нибудь более или менее сильного конкретного желания, направленного на то, чего нам не хватает, или что, напротив, присуще нам, и мы об этом сожалеем. Более того, у всех всегда будут иметься поводы для множества желаний такого рода, сильных и конкретных. Но все эти конкретные желания, которые у нас есть и всегда будут и которые, оставаясь неудовлетворенными, нас делают несчастными, — это желания чего-либо земного. Сулить человеку, сулить несчастному блаженство на небесах, пусть абсолютное и беспредельное и несоизмери-

мо превосходящее земное счастье и те скромные блага, которых он желает, — все равно что умирающему с голоду, лишенному куска хлеба, постелить мягчайшую постель и обещать изысканнейшие, прекраснейшие ароматы. С той разницей, что голодный все же мог бы вообразить то наслаждение, которое испытало бы его обоняние, [3502] и это наслаждение было бы такой же природы, что и то, которого желал он и не получил, такое же материальное и осязаемое, как и то. Этого нельзя сказать о райских наслаждениях, обещанных тому, кто жаждет и не получает земных, в каком-то положении человек естественно и неизбежно находится всегда, а несчастливый человек — особенно, хоть по большому счету все несчастливы, а несчастливы все именно по той причине, что всегда находятся в подобном положении. Райские же наслаждения, в противоположность вышеупомянутому, по своей природе совсем иные, чем те, которых мы желаем и не получаем и от этого несчастливы, и представить их природу мы никоим образом не можем. Откуда следует, что надежда на них не приносит никакого утешения, так как человеку, желающему одного, сулят другое, в корне от него отличное; тому, кто чувствует себя несчастным из-за своего неутоленного желания, обещают удовлетворить другое, которого он не испытывает и не может по своей природе испытать; тому, кто жаждет известного наслаждения и жалуется на известную беду, обещают наслаждение и благо, которого он не знает и не может знать, не видит и не может видеть, что же в нем хорошего и чем оно так ему нравится; [3503] тому, кто не имеет счастья в этой жизни, непременно в этой жизни, и желает его обрести, а иного бытия и счастья в нем вообразить не может, сулят блаженство в совершенно иной жизни, ином бытии, говоря ему лишь только, что то бытие чрезвычайно совершенно, что оно более, чем сможет он себе представить, отличается от его нынешнего, и он никоим образом не может его себе вообразить. Как не может человек благодаря уму, воображению, еще какой-либо способности или каким-либо идеям ни на йоту выйти за пределы материи, а если думает, что вышел и получил какое-то представление о нематериальном, то пребывает в глубоком заблуждении, — как он не может силой своего желания ни на йоту выйти за пределы материи, так же не может он желать какого-либо блага не из этой жизни, не имеющего отношения к тому существованию, которое он ведет, и ежели он думает, что хочется ему чего-либо иной природы, то ошибается, — он этого не хочет, ему так только кажется. Как он, стало быть, не может желать какого-либо блага иной природы, так обещание и надежда на такие блага никак не в состоянии реально [3504] утешить его ни в несчастьях этой жизни, ни в том, что он лишен ее благ, ни (если б не был он несчастлив) порадовать, доставить наслаждение, увлечь приятной перспективой, занять его, способствовать его довольству в этой жизни. Однако человек поистине питается, поддерживает себя, живет огромную часть своей жизни, даже всю свою жизнь, надеждой, пусть далекой, в которой он находит удовольствие, но как и поче-

му? Потому что многократно представляет и предвкушает про себя то наслаждение, которого он ожидает или на которое надеется, и испытывает удовольствие, обдумывая и воображая, как именно он будет наслаждаться, условия и обстоятельства будущего наслаждения, тысячу раз предвосхищая и даже поистине смакуя его в воображении. Но это обдумывание, представление, предвосхищение, это вкушение или смакование, это видение или бред, благодаря которому будущее удовольствие нам кажется и в самом деле для нас становится реальным, — даже более, чем когда оно и впрямь будет реальным (если это когда-нибудь произойдет), — как все это возможно в отношении удовольствия, которое немислимо вообразить не только более или менее конкретно, но и вообще, так что наши представления совершенно не способны обязать его или приблизиться к нему даже в малейшей мере? Как может любой бред, любое усилие воображения или ума представить нам как настоящее [3505] то, к чему воображение и ум ничуть не в состоянии приблизиться, то, что не создано для этого воображения, для этого ума, что по своей природе совершенно отлично от всего, что в силах постичь или предположить воображение и ум, то, что не было бы тем, что есть, если бы мы могли его представить, природа чего несопоставима с нашей нынешней? Как можем мы так или иначе, пусть частично, постичь совсем иную природу?

Конечно, человек всегда будет желать освободиться от страданий и несчастий, которые он реально испытывает, и достичь того, что он считает благом в этой жизни, — стать счастливым в этом мире, в котором он живет. И поскольку он не может перестать этого желать, хоть и достичь не может, и христианская религия не удовлетворяет этого его *единственного и вечного* желания и никогда никоим образом не обещает его удовлетворить, более того, не оставляет ему никакой надежды, следовательно, христианские надежды не способны по-настоящему утешить [3506] смертного, умерить его несчастья и его желания. А счастье, обещаемое христианством, может привлечь смертных только беспредельностью и еще больше — совершенством (несовершенное, хотя и беспредельное, их не устроило бы) и как счастье вообще, но не как именно такое, такой природы. И смею утверждать, что счастье, сулимое язычеством (как и другими религиями) при всей его убогости и скудности должно было казаться куда более желанным, в особенности человеку совсем несчастному и злополучному, и надежда на него, должно быть, была куда более способна успокоить и утешить, так как речь шла о понятном и материальном счастье той природы, какого хочет всякий живущий на земле.

Заметьте, что из двух грядущих жизней — той, которую христианство обещает, и той, которой оно угрожает, — вторая впечатляет смертного гораздо больше первой. Почему? Да потому, что нам внушают, что в аду (как и в чистилище) страдать будут наши *чувства*. Из чего становится понятным в целом, хоть и непонятным в частностях, какие муки могут иметь место в жизни, бытии, для нас не менее непостижимом, чем бытие

блаженных в раю. И хоть мы не понимаем, как именно страдают чувства в другой жизни, где остаются только души, нам говорится, что это происходит *miris sed veris modis*¹ (Бл. Августин)*, но что муки эти именно осязаемые, физические, так что мы, не зная и не представляя, как все происходит, хорошо знаем и понимаем, какого рода эти муки.

Поэтому можно достоверно утверждать, что христианство более способно утратить, нежели утешить, обрадовать, доставить удовольствие, вселить надежду*. И нет сомнения, что оно всегда влияло и влияет на действия людей в гораздо большей мере как религия угрожающая, чем сулящая, что побуждало оно к добру, отвращало от зла и приносило пользу обществу и нравственности куда более вселяя страх, нежели надежду, что христиане соблюдали и соблюдают заповеди своей религии больше из почтения к аду и чистилищу, чем к раю. И Данте, сумевшему напугать адом, не удастся — я имею здесь в виду и поэтическую силу — вызвать никакого стремления в рай, [3508] и не из-за недостатка мастерства, фантазии и пр. (наоборот, и то, и это проявил он в высочайшей мере и т. д.), а в силу характера сюжетов и героев. (Примерно то же можно соответственно сказать об Элизии и об аде древних — последний куда более ужасен, чем первый привлекателен; о положении грешников и счастье добродетельных у Платона и т. д.).

Нет сомнения также, что как христианство без ада и чистилища, с одним лишь раем, не оказывало бы ни прежде, ни сейчас такого влияния на поведение людей и их привычки, равным образом оно не влияло бы на них или влияло бы гораздо меньше, если б угрожало в аду и в чистилище непонятными страданиями, непостижимыми и по природе своей отличными от страданий этого мира, хоть и не настолько, как райское блаженство от земного, ибо мы все же представляем по опыту, насколько могут сделать нас несчастными неимение и жажда ни разу не испытанных, неведомых и не поддающихся определению благ, смутные желания и т. д. Поэтому даже не представляя райского блаженства, мы способны каким-то образом постичь, насколько непоправимо его отсутствие, а постоянное и вечное стремление к нему может делать людей несчастными — в особенности тех, кто знает, что их желание никогда не сможет быть удовлетворено, [3509] однако все равно желает и знает, что всегда будет желать, кто уверен, что всегда будет так же страдать, всегда будет непоправимо несчастен и не испытает никакого облегчения, и т. д. Мы вполне можем понять как бы отраженно, как все это может быть причиной глубочайшего несчастья, хоть и не в состоянии непосредственно постичь качество блаженства, которого желают в аду и пр., отсутствие и желание которого делает людей несчастными грешниками, осужденными на муки ада и т. д. (23 сентября 1823 г.)

¹ удивительным, но действительным образом (лат.).

Превосходство природы над разумом, привычки (второй природы) над рассуждением. — Мой панический страх перед любого рода грохотом, не только опасным (как раскаты грома и т. п.), но и без тени опасности (как праздничные фейерверки и т. п.), страх, который странным образом неодолимо [3519] владел мной не только в детстве, но и в отрочестве, когда я уже вполне был в состоянии размышлять и рассуждать и в самом деле так и делал, чтобы избавиться от этого страха, но напрасно, хотя все рассуждения доказывали мне, что он совершенно безрассуден. Я не думал, что мне грозит опасность, я знал, что там ее нет и нечего бояться, но страшился я не меньше, чем если б мои знания, мысли и суждения были противоположны. Ни разум, ни любые рассуждения не могли меня избавить от этого безрассуднейшего страха, поскольку он внушен был мне природой. Я, конечно, не принадлежал к самым глупым и нерассудительным, к тем, кто не часто следует своему разуму, не очень ощущает его силу, не имеет привычки рассуждать и скорее слепо следует инстинкту или естественным наклонностям. Но то, что никоим образом не могли со мною сделать вопреки природе ни разум, ни рассуждения, смогла сама природа с помощью привычки, и смогла это вопреки самому разуму и рассуждениям. Поскольку с течением времени, довольно скоро, вследствие того что мне в определенной ситуации приходилось слышать такой грохот довольно близко и часто, я настолько утратил тот упорнейший врожденный страх, что не только находил удовольствие в том, [3520] чего я прежде совсем не выносил и безрассудно боялся, но и перестал бояться и даже полюбил то, чего, по здравом размышлении, мне следовало бы бояться, и разум или рассуждения, которые прежде не могли освободить меня от природного страха, после не смогли и до сих пор не могут заставить меня опасаться или просто не любить того, что от природы или вследствие привычки, безрассудно, я люблю и чего не боюсь. Как я уже сказал, я не из самых нерассудительных, и продолжаю рассуждать при случае на эту тему, но страх, который сам собою меня больше не одолевает, от этого во мне не зарождается. Сказанное здесь мною о себе, я точно знаю, случалось и случается ежедневно с тысячами других людей — или первое, или и то, и это. То, чего никоим образом не могут рассуждения, может и совершает безрассудство. (25 сентября 1823 г.)

...Человек, который намерен побороть опасность, а на самом деле с нею борется лишь внешне, можно сказать, об опасности не думает, хотя вполне ее осознает. Эти старания, эта внешняя и внутренняя деятельность — своего рода очень мощное действенное и полное развлечение, отвлекающее воображение [3539] и ум от размышлений, рассуждений, созерцания, так сказать, и от картины той самой опасности, на защите от которой эта деятельность сосредоточена и на которую она лишь и направлена. Эта

забота о принятии необходимых мер против опасности занимает всю душу и не оставляет ей возможности просто рассмотреть саму опасность. Для человека или для иного живого существа почти невозможно оказаться в большой опасности, зная о ней и расценивая ее как таковую, мысленно сосредоточившись на ней и ни на что не отвлекаясь, в полной мере осознав ее для себя и обдумывая, и стараясь вообразить при помощи фантазии или просто, пользуясь смекалкой и здравым смыслом, характер и масштаб урона в случае плачевного исхода и рассматривая это как действительно большой урон, — и при всем при этом не бояться и оставаться совершенно равнодушным и спокойным внутренне и внешне...

Вышесказанное относится к опасностям (или уронам и т. п.), неизбежным и не зависящим от воли соответствующих людей. Смелость противостоять опасностям или искать их добровольно, когда есть возможность избежать их, происходит большей частью и в первую очередь от склонности натуры или привычки поступать бездумно или размышлять неглубоко, или от беспечного отношения к опасности, то есть оттого, что люди не считают злом или считают малым злом, которым можно пренебречь, возможный урон (даже если он расценивается обычно как огромный или величайший), то есть опасность не рассматривают как опасность или не верят, что этот урон может или должен легко или как бы то ни было явиться ее следствием, что то же самое. Такая смелость не имеет отношения к предложенной нами идее совершенной смелости, которая не позволяет бояться опасности или урона, 1) рассматриваемых как реальные, 2) хорошо известных, сознаваемых и принимаемых в расчет. Это главные условия совершенной смелости, смелости в полном смысле слова, а та, которая не отвечает им, или не смелость в полном смысле слова, или несовершенна и т. д. (26—27 сентября 1823 г.)

Самое решительное воздействие и в некотором смысле результат воздействий, оказываемых на человека редкостного и благородного ума его познанием людей и опытом общения с ними, — в том, что он делается крайне снисходительным к любой большой, даже чрезмерной слабости, мелочности, глупости, невежеству, тупости, коварству, недостаткам и порокам других людей, врожденным или приобретенным, к которым прежде он относился очень строго. В том, что он становится необычайно склонен ценить и отмечать малейшие добродетели и незначительнейшие достоинства, которыми он до приобретения означенного опыта имел обыкновение пренебрегать, не принимать их во внимание, считать их недостойными похвал, едва не смешивать их с недостатками или не отличать от [3546] них, — в общем, в том, что он приобретает склонность и привыкает давать высокие оценки и, напротив, отвыкает и почти перестает проявлять презрение и небрежение, в противоположность

тому, каким был прежде. Так мало сто́ят люди. И отсюда можно сделать вывод и составить точное суждение о том, какова истинная доблесть и истинная добродетельность людей. (28 сентября 1823 г.)

В маленьком городке, особенно там, где мало светского общения и не оформился стиль общества (и даже стиль этого города как такового, что, вероятно, неизбежно для маленького городка, если, как мы видим, и в больших всегда наблюдаются весьма заметные *puances*¹ свойственного им стиля, отличного от характерных стилей прочих городов той нации), каждому человеку присущ свой стиль, и к его манере, какой бы она ни была, относятся терпимо и считают ее подходящей и приличной случаю. То же соответственно касается страны, в которой нет или очень мало светского общения, как в Италии. Общественного стиля у этой нации не существует; у каждого итальянца — свой. В самом деле, нет такого стиля общества, который мог бы называться итальянским. У каждого итальянца своя манера общения — естественная, перенятая у иностранцев или же приобретенная как-то еще. В то время как у наций более общительных и соответственно в крупных городах не только не ценят, но и не выносят тех, кто не [3547] приспосабливается к общей манере поведения и своим стилем отличается от прочих, поскольку эта общая манера существует, стиль всего общества определен более или менее четко и всякий отступивший от него непременно будет объявлен обществом и т. д. вне закона и воспринят как уступающий другим в силу того, что он отличен от других, от большинства. (28 сентября 1823 г.)

Наслаждение — это то, что всегда в прошлом или в будущем и не бывает в настоящем, и, стало быть, ни одного мгновения человек не испытывает истинного наслаждения, даже если ему кажется, что испытывает. Точно так же нет и не может быть ни одного мгновения без подлинного страдания, хотя может показаться, что бывает (ибо поскольку страдания бесконечны, живое существо привыкает к ним с первых же мгновений жизни, и ему кажется, будто оно не чувствует их и не замечает). [3551] Более того, второе утверждение неизбежно следует из первого, это почти что то же самое, изложенное по-другому. Поскольку там, где нет наслаждения, там страдание, так как не удовлетворяется желание наслаждения, а неудовлетворенное желание есть страдание. И между страданием и наслаждением — вопреки тому, что полагают, — нет промежуточного состояния, поскольку живое существо, в силу своей природы постоянно желая наслаждения и желая его именно поскольку оно живое, всегда, когда не наслаждается, страдает. А так как оно не наслаждается никогда, — просто не может, — то выходит, что оно, пока живет, всегда страдает, ибо чувствует жизнь; когда оно ее не чувствует, то не

¹ пуансы (*фр.*).

страдает — как во сне, летаргии и пр. Но в этих случаях оно не страдает потому, что не ощущает жизни и в каком-то смысле не живет. Оно не может перестать вообще или на время страдать, иначе как действительно перестав жить или не чувствуя жизни, а это почти то же самое, что приостановить жизнь, перестать на некоторое время быть живым. Тогда только живое существо может не страдать. А живя и чувствуя себя живым, никак не может — в силу своей сущности и сути жизни, [3552] именно поскольку оно — живое существо и, будучи таковым, как сказано в моей теории наслаждения, и т. д. (29 сентября, День св. Михаила Архангела, 1823 г.)

Считается, что по своей натуре человек — наиболее общественное из всех живых существ. Я же утверждаю, что наименее, поскольку, обладая большей жизненной силой, он наделен и большей к себе любовью, и, значит, неизбежно каждый индивид с большей силой ненавидит других индивидов как собственного, так и прочих видов, в соответствии с принципами, много раз изложенными мною прежде. Но какие же качества более антиобщественны и более несовместны по своей природе с общественным духом, чем крайнее себялюбие, крайнее желание все забрать себе и крайняя ненависть ко всем остальным? Все эти крайности присущи человеку. Этими качествами человек от природы наделен в гораздо большей степени, чем все иные существа. По этим показателям он занимает среди земной природы наивысшую ступень, как и в целом стоит выше всех земных существ.

Следующий факт — в противоположность тому, как истолковывают его другие, — доказывает, что по натуре человек — самое антиобщественное из всех живых существ, которые в силу своей природы объединяются в сообщества. С тех пор как человечество нарушило определенные для него природой условия существования того отнюдь не жесткого и открытого общества — менее строгого и более открытого, чем [3774] то, которое она определила и воплотила в жизнь для многих других видов животных, философы, политики и масса всяких прочих деятелей постоянно занимались поисками формы совершенного общества. Но после стольких поисков и стольких опытов проблема остается в том же состоянии. Бесчисленные формы человеческого общества сменялись по бесчисленным причинам в бесконечно разных обстоятельствах. И все оказывались плохи, как плохи и все нынешние. Философы это признают, и следовало бы им понять, что все светочи столь утонченной ныне философии как по сю пору не смогли, так никогда и не смогут найти форму общества не то что совершенную, но хотя бы сносную. Тем не менее они продолжают утверждать, что человек — самое общественное из всех живых существ. Под совершенным обществом я понимаю не что иное, как такую его форму, при которой составляющие его индивиды в силу самого его существования не вредят друг другу, а если это происходит, то случайно, а не постоянно, такое общество, члены которого не стараются всегда

и неизбежно причинить друг другу зло. Так ведут себя, как можно видеть, пчелы, муравьи, [3775] бобры, журавли и пр., чьи сообщества естественны и мера их сплоченности определена природой. Все их члены всегда способствуют общественному благу и помогают друг другу, в чем и состоит единственная цель, единственная причина их объединения в общество, а если кто и навредит другому, то нечаянно, а не потому, что замысел и цель каждого из них — всенепременно и постоянно подавлять другого или каким-то образом ему вредить. Случается, одни из них причиняют зло кому-то из других или все вместе одному или немногим исключительно ради общего блага или блага большинства, как бывает, когда пчелы наказывают ленивых. Они поступают так не ради блага кого-то одного. И тот, кто исполняет наказание, делает это не только ради собственного блага, а и ради блага наказуемого. И такое причинение одному из них зла есть содействие общему благу. Но в человеческих сообществах последнего не бывало никогда, а первое — всегда. Законы, наказания, награды, обычаи, мнения, религии, догмы, заветы, культура, увещевания, угрозы, обещания, надежды и страхи, связанные с другой жизнью, — ничто так и не смогло и никогда не сможет, что ни делай, привести к тому, чтобы член любого человеческого общества, как бы ни было оно устроено, не то что помогал другому, а хотя бы воздерживался от злоупотреблений, то есть от того, чтобы использовать любое свое преимущество, стараясь сделать себе хорошо за счет другого, от стремления получать больше, чем другие, подавлять других — короче, обращать, насколько можно, все общество на достижение лишь своей пользы или удовольствия, что невозможно без ущерба для других и их неудовольствия. Каких только ни бывало нравов, воззрений, организаций и правительств, каких только философы всех цивилизованных народов ни придумывали и ни придумывают во все века законов, так и не проведенных в жизнь, но всегда происходило и, конечно, будет впредь происходить одно и то же. Каких только средств, каких уловок не выдумывали и не применяли, чтоб это предотвратить! К каким исследованиям, доктринам, опытам, усилиям, хитростям не прибегали! Какие величайшие таланты не бились над решением проблемы! Но абсолютно тщетно, и всякий обладающий хотя бы толикой благоразумия должен признать без возражений, что все равно всегда все так и будет, какие бы совершенно новые и необычные ни возникали обстоятельства, какие бы ни были открыты ухищрения и пути. Из чего можно заключить, что совершенное общество, совершенство какового состоять должно лишь в том, о чем сказал я выше и отсутствие чего противоречит самой идее общества, — так вот, совершенное человеческое общество и даже просто подлинное общество невозможно... (25—30 октября 1823 г.)

... "Amongst unequals no society", — говорит Мильтон, — то есть неравные не составляют общества*, и т. д. и т. п. Но то, что говорят обычно о дружбе и вторичных сообществах людей,

я полагаю справедливым и в отношении человеческого общества [3807] как такового. Из всех видов животных (и других существ) особи человеческого рода не случайно, а естественно, постоянно и неизбежно бывают наиболее различны между собой. Поскольку человек наделен гораздо большей приспособляемостью, чем любое другое животное, и, значит, более подвержен изменениям, то малейшего обстоятельства, незначительного случая (затрагивающих как индивида, так и нацию и пр. как в физическом, так и в моральном и т. д. плане) довольно, чтобы между одним человеком и другим (и точно так же между одной нацией и другой) возникли весьма существенные различия. И как абсолютно неизбежна хотя бы минимальная разница даже между малейшими обстоятельствами и случаями, так неизбежна связанная с нею разница между отдельными людьми. И та, и эта неизбежны в отношении всех видов животных, но вторая разница у людей гораздо больше, поскольку даже небольшие различия в обстоятельствах ведут к огромным различиям между людьми в силу многообразнейшей и величайшей изменчивости человека и высочайшей чуткости и, значит, восприимчивости его натуры по сравнению с другими животными, как уже было сказано. Поэтому человечество благодаря своей приспособляемости стало больше отличаться от всех других видов животных и от каждого из них, чем любой из этих видов от любого другого, и при этом человек в разном возрасте и в разные времена больше отличается сам от себя, чем всякое иное животное, юноша от самого себя в детстве — больше, чем любое дряхлое животное от самого себя сразу же после рождения, так что в человеке в разном его возрасте и в разных обстоятельствах — естественных или случайных, локальных, физических, моральных и т. д., климатических и т. д., связанных с происхождением и т. д. или привходящих и т. д., добровольных или нет и пр. — едва можно признать одного и того же [3808] человека, а в человечестве, каким оно бывало в разные времена или в различных естественных или случайных, локальных и т. д. обстоятельствах, едва можно признать один и тот же род; точно так же представители нашего вида в силу его природы гораздо более различаются между собой, чем представители любого другого. Это неизбежно и естественно происходит и с "естественным" человеком, с дикарем и пр. Поэтому, если рассматривать природного человека, можно также заключить, что этот вид меньше всякого иного предрасположен к общественному бытию, поскольку состоит из индивидов, от природы более различных меж собой, чем особи любого другого вида. Но когда общество порождает и доводит до предела неравенство между людьми с различным сословным и имущественным положением, людьми разных профессий и т. д., тогда оно необычайно углубляет, неизбежно стимулирует и доводит в силу своей природы до предела физические и нравственные различия между способностями, склонностями, характерами, силами, телами и т. д. и т. п., свойственными разным индивидам, нациям, временам, разным возрастным этапам индивида и т. д. и т. п. Оно усиливает естественные врожденные

различия между людьми, а другие, бесчисленные и огромные, которых не предполагает естественное состояние человека, вследствие своей природы неизбежно обуславливают и порождает. Оно уничтожает множество естественных соответствий и подобий, существующих между людьми. Природа — главный и неизменный канон, независимый от произвола, мало зависящий от [3809] происшествий (по сравнению с тем, насколько зависимы от обстоятельств и случайностей творения людей и пр.), она везде едина, всегда одна и та же для любого вида, зиждется на неоспоримых и вечных законах и т. д. Общество, творение человека, зависящее от воли, — не подчиняющейся никакому определенному закону, иначе это не была бы воля, — произвольное, непостоянное, меняющееся в зависимости от случайностей и обстоятельств времени и места, от разных волей, от тысячи вещей, которые его обуславливают и определяют его форму и способ бытия, — не едино, так как неизбежно имело и имеет бесчисленные формы, всегда изменчивые и разнообразные; оно также не едино ни в одной из своих форм, ибо каждой форме присуща масса свойств, которые неизбежно отличают его составные элементы друг от друга: командующего — от того, кто подчиняется, советчика — от того, кому советуют, и т. д. и т. п. В обществе человек утрачивает, насколько только можно, печать природы. После утраты этого следа — единственного, что устойчиво на свете, единственной универсальной или общей приметы рода или вида, — не остается больше нормы, нити, канона, типа, формы, — того стабильного и общего, в равнении на что все индивиды были бы подобны друг другу, и т. д. и т. п. Общество делает людей не различными и не равными, каковы они в своем природном состоянии, а несхожими между собой. В том числе и отсюда можно заключить, что сущность и природа общества, в особенности человеческого, противоречива, поскольку человеческое общество в силу своей природы уничтожает самый необходимый фактор, [3810] условие существования, связующую основу общества — равенство и равноценность индивидов, которые должны это общество составить; говоря иначе, в силу своих свойств оно усугубляет естественное неравенство своих субъектов и притом настолько, что совсем лишает их способности быть членами общества, того самого, которое их сделало такими разными, и, более того, любого общества, в том числе предопределенного их природой и отвечающего ей, короче, — возвратимся к началу разговора, — общество делает своих субъектов такими, каковы те, кто не может составлять society по своей природе, и даже более того, ибо если Мильтон говорил, что общество не может состоять из неравных, оно их делает к тому же и несхожими. И в самом деле, нет животного, которое имело бы меньше по сравнению с человеком оснований называть себе подобными особей своего вида, и больше оснований относиться к ним как к существам несходным с ним, как к особям другого вида. Что он и делает. И то, что он ведет себя так, как он обыкновенно это делает, в особенности в обществе, вполне доказывает вышесказанное, и т. д. и т. п. (25—30 октября 1823 г.)

Без сомнения, цивилизация, развитие человеческого духа и пр. необычайно увеличили количественно, по масштабу и по широте человеческие способности и в целом силы человека, каковой, став ныне — в противоположность тому, каким он был вначале, — существом более духовным, чем телесным, действительно, как я уже говорил, может, в том числе в материальной сфере, несоизмеримо больше, чем тогда. Вопрос, однако, в том, соответствуют ли эти новые возможности, это приращение сил и пр. природе, были ли они предопределены как вообще природой, [3974] так и природой человеческого рода, в частности, способствуют они или вредят человеческому счастью, так как ежели вредят, то, значит, они безусловно не соответствуют природе, и т. д. Какие невероятные умения наблюдаем мы у множества животных (вплоть до блох, которых выдрессировали тянуть золотую каретку), и наблюдали древние, которые рассказывают о не меньших чудесах, порой же и о больших, так как древние были искуснее нас в этом, как и во многом другом — в ремеслах, в создании произведений искусства и т. д. Тот, кто не слышал об этих чудесах от заслуживающих доверия свидетелей или не видел их собственными глазами и не слышал собственными ушами, не смог бы даже этого себе представить, вообразить, что это могут, способны и физически предрасположены делать животные этих видов, — например, слоны, собаки, медведи, кошки, мыши (в самом деле!) и т. д. и т. п., в том числе весьма свирепые и с виду совершенно не способные к дисциплине, к изменению своих привычек и т. д., к тому, чтоб подчиняться людям, позволять им приручать себя и т. д. Но кто скажет, что такие умения, увеличивающие способности этих животных и т. д., предопределены или природою вообще, или природой этих видов и т. д., способствуют их счастью и т. д., и что эти виды были бы более совершенны или менее несовершенны, будь такие умения свойственны большему числу или всем особям данного вида, и т. д.? И чтобы не ходить слишком далеко: каких только умений, качеств и т. д., весьма далеких от первозданного состояния, постоянно не приобретают на глазах у нас и не развивают упряжные, верховые и пр. лошади — качеств и умений, которые нисколько нас уже не удивляют, так как мы их часто наблюдаем и привыкли к ним, так же, как давно уже считается совершенно заурядным и нетрудным делом умение учить таким вещам, хотя от этого ни первое, ни второе не менее достойно удивления. [3975] При этом и при том, что количество выдрессированных так особей столь велико и непрерывно пополняется и т. д., кто скажет, что — см. выше — ? Кроме тех, кто полагает, будто бы весь мир и, в частности, род лошадей создан природой для служения человеку, стремится к этому, без этого не совершенен и, значит, обречен и от природы расположен приобрести те свойства и те качества, которые требуются или подходят для подобной службы или ей способствуют, так что лошадь не вполне и лошадь, если и пока она не научилась носить на спине человека и подчиняться его знакам, предупреждать их, угадывать и т. д. и т. п., и притом все это делать в совершенстве. (11 декабря 1823 г.)

Жизнь людей Востока и тех, кто проживает в достаточно теплых странах, короче жизни народов, обитающих в холодном или умеренном климате. Но тем не менее жизнь первых в совокупности не только равна жизни вторых, но и превосходит ее. Более того, жизнь людей восточных потому и короче, что она гораздо напряженней, так что за одинаковые промежутки времени прожитое восточными людьми больше прожитого [4063] прочими народами. Вообще в природе выявляется такая зависимость: продолжительность жизни (и животных, и растений) обратно пропорциональна ее напряженности и активности. Черепаха, слон и прочие весьма медлительные животные живут на свете очень долго. В то же время самые быстрые и активные, будучи сильнее, чем другие (к примеру, лошадь по сравнению с человеком), живут, однако, меньше. Что вполне естественно, поскольку напряженность и активность жизни ведут к тому, что протекает она быстрее и, стало быть, быстрее клонится к закату. Действительно, развитие как людей, так и животных, и растений в достаточно жарких странах происходит куда быстрее, чем в других. Поэтому, рассматривая физические условия жизни в сопоставлении с моральной стороной, можно не без оснований утверждать, что судьба живущих в жарких странах счастливей участи других народов. Прежде всего, жизнь их в совокупности, хоть она и менее продолжительна, превосходит жизнь других народов, если брать и ту, и эту в целом. Во-вторых, даже если допустить, что обе жизни равны, по-моему, гораздо лучше израсходовать весь запас жизненных сил, например, за сорок лет, нежели за восемьдесят. Сорок-то они заполнят, а если их растягивать на восемьдесят, результатом будет масса пауз, изрядная опустошенность, холодность и слабость. В жизни нет абсолютно ничего столь желанного, чтобы хотеть ее продлить. Предпочтительнее менее несчастная, а менее несчастная — более яркая. И жизнь людей Востока продолжительностью, скажем, сорок лет ощущается гораздо более насыщенной, чем у других, допустим, восьмидесятилетняя, даже если совокупная насыщенность обеих жизней одинакова. Сказанное о разном климате [4064] применимо и к различным временам, и, заменив народы, живущие в жарком климате, древними людьми, а обитающие в холодном — современниками, я утверждаю, что хотя жизнь древних обычно, наверное, бывала более короткой, чем у наших современников, из-за общественных волнений и опасностей, постоянно угрожавших древним государствам, но поскольку она была гораздо напряженней, я предпочел бы именно такую жизнь, содержащую при меньшей продолжительности большую совокупность жизни по сравнению с нынешней, или даже равную. О чем, без вышеприведенного примера, я подробно говорил в другом из своих размышлений. (8 апреля 1824 г.)

Люди, которыми публично или в частном порядке руководят другие, в особенности те, с кем обращаются строго (дети, молодежь и пр.), всегда винят или стремятся обвинить в собственных бедах или в неимении желанных благ, в своих неприятностях и недовольстве тех, кто ими управляет, в том числе и в случаях, когда совершенно очевидна их невиновность и их неспособность предотвратить беду или помочь в ней, или обеспечить эти блага, и полное отсутствие связи между ними и этими вещами. Причина в том, что человек, будучи всегда несчастлив, всегда естественно стремится возложить вину за это не на природу вещей и человеческую природу, — а воздерживается он от обвинений очень редко, — но непременно на какого-нибудь человека или на что-нибудь конкретное, дабы излить на него горечь, вызванную собственными бедами, и сделать объектом ненависти и жалоб, которые для страждущего были бы гораздо менее приятны, не обрушивая он их на того, кто представляется ему повинным в его собственных страданиях. Эта естественная склонность ведет к тому, что несчастный в самом деле убеждает себя в том, что он вообразил, и почти желает, чтобы это было правдой. Так он вообразил, придумав им названия, столь долго обвинявшиеся в человеческих невзгодах и вызывавшие столь искреннюю ненависть у древних несчастливцев фортуна и рок, на которых и поныне в отсутствие других объектов мы всерьез обращаем нашу ненависть и жалобы на собственные беды. Но куда приятней было древним, а ныне нашим современникам возлагать вину на нечто осязаемое, в особенности на какого-то другого человека — не только ради большего правдоподобия и, стало быть, возможности легко нас убедить в его вине, в чем мы нуждаемся, — но еще больше потому, что ненависть и жалобы приятней, когда их объект реален и может быть их очевидцем и стать жертвой мести, каковой мы, с этой нашей напрасной ненавистью и пустыми жалобами, желаем их подвергнуть. Особенно приятны ненависть и жалобы, когда они обращены на нам подобных, в том числе и потому, что виноваты на самом деле могут быть лишь те, кто наделен умом. Руководящих нами, ежели их больше не в чем обвинить, мы с легкостью избираем на роль виновников наших несчастий и делаем объектом и целью пустой мести, от которой получаем такое удовольствие. В подобных случаях они действительно подходят больше всех на эту роль, и именно на них мы можем с наибольшей достоверностью жаловаться вслух и про себя. Поэтому руководитель всегда является предметом ненависти и жалоб руководимых им. *Люди всегда недовольны, потому что всегда несчастливы.* Поэтому они бывают недовольны своим положением, поэтому же — теми, кто ими управляет. (Они чувствуют и прекрасно знают, что несчастливы, что страдают, что не наслаждаются, и не обманываются в этом. Они считают, что имеют право быть счастливыми, наслаждаться, а не страдать, и тут их нельзя было бы обвинить в неправоте, не будь на самом деле то, на что они претендуют, невозможным.) [4072]

И поскольку нельзя сделать так, чтоб люди были счастливы, хоть есть такие, кто доволен, то ни один руководитель, управляет ли он массами или отдельными людьми, как бы ни любил он своих подчиненных, как бы ни пекся об их благе, какие бы старания избавить их от бед или облегчить их страдания ни проявлял — каких бы он, короче, перед ними ни имел заслуг, было бы неразумно с его стороны питать надежду, что они не будут его ненавидеть и жаловаться на него — даже разумнейшие из них, так как жаловаться на кого-то человеку свойственно почти в такой же мере, что и быть несчастным, и обыкновенно, вполне естественно, этот "кто-то" — тот, кто ими управляет. Поэтому в том, что касается управления, есть, к сожалению, только два истинно мудрых пути: или воздерживаться от управления как массами, так и отдельными людьми, или управлять, как выгодно лишь самому себе, а не управляемым. (17 апреля, Святая Суббота, 1824 г.)

Те, кто не имеет ни в чем нужды, нуждаются, как правило, гораздо в большем по сравнению с теми, кто ее имеет. Одна из самых больших и главных потребностей человека — в том, чтобы занять собственную жизнь. Это настолько же реальная потребность, как любая из тех, об удовлетворении которых он заботится, заполняя этим свою жизнь, и даже более реальная и гораздо более важная, поскольку утоление этой потребности — единственное или главное средство сделать жизнь как можно менее несчастливой, в то время как удовлетворение любой из других — лишь средство поддержания жизни, которая как таковая совершенно не важна. Важно счастье, то есть, в применении к жизни, важно проводить ее как можно менее несчастливо. Но упомянутую мною главную потребность человеческой жизни, постоянную и неотъемлемую, те, кто лишены потребностей или, точнее, не вынуждены сами заботиться о собственных потребностях, удовлетворяют с гораздо большей трудностью, [4076] и притом это удается им реже и, как правило, в течение гораздо более краткого периода их жизни и обычно куда более неполно, чем тем, кто должен сам заботиться о собственных естественных и жизненных потребностях. (20 апреля, Пасхальный Вторник, 1824 г.)

В "Разговоре Природы и Души"* я рассматривал, как мышление, воображение и в целом умственные способности, каковыми человек превосходит всякое иное живое существо, являются причиной того, что он никогда или почти никогда — во всяком случае, это маловероятно — не может применять все данные ему природой силы, что ежедневно [4080] без каких-либо проблем делают все прочие животные. Хочу добавить. Говорят, безумцы обладают необыкновенной силой, противостоять которой невозможно, в особенности, оказавшись с ними с глазу на глаз.

Считают, что дает им эту силу сам недуг, в противоположность всем иным болезням. Разве не ясно: это происходит оттого, что никакие внутренние препятствия не мешают им использовать все данные природой силы, что сумасшедшие сильнее других лишь потому, что пускают в ход все или большую часть тех сил, которые у них есть, в отличие от других людей, — точно так, как это делают животные. Из этого я заключаю: сколько животных, о которых утверждают, что они физически сильнее человека, на самом деле не сильнее его! Скольких сил, должно быть, лишился человек вследствие развития своего ума, одни — утратив полностью, другие — не используя в силу внутренних препятствий! Насколько же сильнее человек, даже испорченный и ослабленный, чем он считает! Сумасшедшие доказывают это, зачастую превосходя физической силой гораздо более крепких людей и тех животных, которые считаются обычно сильнее человека. Опыение увеличивает силы не только сами по себе, но также вследствие того, что парализует или нарушает работу разума. Если разум не прекращает действовать частично или полностью, ни один человек, даже самый безрассудный, даже ребенок, дикарь или утративший последнюю надежду (а как из опыта известно, все они куда сильнее или, скорее, кажутся сильнее своих противоположностей), не использует ни при какой необходимости, ни при какой опасности полностью все свои силы всех родов. Не так животные: во всяком случае, они тратят несравнимо большую часть [4081] сил даже при незначительной опасности, потребности, желании, цели, чем человек, даже совсем отчаявшийся и т. д., при больших. (23 апреля 1824 г.) Сказанное о безумцах соответственно относится к отчаявшимся.

Невозможно лучше объяснить ужасную загадку всего сущего и жизни мира (см. мой "Разговор Природы с Исландцем"*, особенно в конце), кроме как назвав недостаточными и даже ложными не только широту, проницательность и силу, но и сами основополагающие принципы нашего здравого смысла. К примеру, принцип, в случае исключения которого все наши построения, все рассуждения и утверждения рухнули бы, и всерьез о чем-то рассуждать сделалось бы невозможно, — так вот, принцип "не может нечто одновременно быть и не быть" представляется совершенно ложным, если учитывать имеющиеся в природе явные противоречия. Фактическое бытие и невозможность, врожденная и неотъемлемая от жизни неспособность быть никоим образом счастливым, даже просто невозможность не быть несчастным — вот две истины, настолько очевидные и безусловные в отношении человека и всякого иного живого существа, насколько только может истина быть таковой согласно нашим принципам и опыту. Но бытие, сопряженное с несчастьем, — сопряженное неизбежно в силу своей сути, — есть нечто прямо противоречащее самому себе, противоречащее совершенству и цели бытия

как такового, состоящей только в счастье, есть нечто пагубное для самого же бытия, ему враждебное. Значит, бытие живых существ находится с самим собой в естественном противоречии, существенном и неизбежном. [4100] Каковое противоречие также проявляется в существенном несовершенстве жизни (выражающемся в неизбежности несчастья и заключенном в ней), то есть в бытии, и бытии неизбежно несовершенном, не являющемся жизнью в полном смысле слова. К тому же как может такое бытие заключать в себе неизбежную причину и основу злосчастья, если зло противоречит по своей природе бытию явлений, вследствие чего оно и есть зло? Если несчастливое бытие не есть злосчастье, стало быть, несчастье для испытывающего его — не зло и не противоречит, не враждебно своему субъекту, а, наоборот, есть благо для него, поскольку все, что составляет собственную сущность и природу того или иного существа, должно быть благом для него. Но не противоестественно ли это? Однако неизбежность несчастья всех живых существ неоспорима. Поэтому согласно всем принципам нашего здравого смысла и опыта небытие для живых существ безусловно лучше бытия. Как же это понимать? Ничто, то, чего нет, — лучше, чем нечто? Себялюбие несовместимо со счастьем и неизбежно является причиной несчастья; не будь себялюбия, не было бы и несчастья, а с другой стороны, как я прежде доказал, без себялюбия счастье невозможно, и понятие счастья предполагает понятие и существование себялюбия.

Впрочем, нет сомнения, что вообще в природе вещей можно обнаружить множество противоречий разнообразнейшего рода и самых разных свойств, не кажущихся, а доказанных при помощи точнейших метафизических и логических построений, столь же очевидных для нас, как истинность утверждения: "Не может нечто одновременно быть и не быть". Значит, нам следует отказаться либо от веры в это утверждение, либо от признания противоречий. И в обоих случаях это будет отказ от нашего здравого смысла. (2 июня 1824 г.)

Кто-то сказал, что, приходя в эту жизнь, мы уподобляемся тому, кто ложится в жесткую и неудобную постель* и, чувствуя себя неудобно, не может там лежать спокойно и сотню раз ворочается с боку на бок, так и сяк стараясь разровнять, умягчить и т. д. постель, стремясь и не теряя надежды отдохнуть, заснуть, и тщетно делает все это до тех пор, пока не настает время вставать. Таковы и вызванные подобными причинами и наше жизненное беспокойство, естественное и справедливое недовольство всяким положением, всевозможные старания, попытки и т. д. расположиться поудобней и немножечко смягчить эту постель, надежда на счастье или хотя бы на покой и смерть, которая приходит прежде, чем надежда сбудется. (25 июня 1824 г.)

Очевидно и известно, что понятие и слово "дух" в конечном счете невозможно определить иначе как "*субстанция, не являющаяся материей*", поскольку никакого положительного его качества мы не можем знать, назвать [4207] и даже вообразить. Но слово и понятие "материя", тоже абстрактное, то есть собирательное, выражающее бесчисленное множество предметов, на самом деле совершенно разных (и потом, мы ведь не знаем, однородна ли материя, то есть состоит ли она вся из одинаковой субстанции или складывается из разных элементов и, значит, из стольких же субстанций, по своей природе и сущности весьма различных меж собой, так как материя имеет множество разнообразных форм), — так вот, понятие и слово "материя" включает все, что доступно или может быть доступно нашим чувствам, все, что мы знаем и что можем познать и постичь, и на самом деле данное понятие и слово только так определить и можно, во всяком случае, такое определение подходит ему больше, чем другое, выводимое из перечисления некоторых общих качеств материи, как-то: делимость, ширина, длина, глубина и пр. Поэтому назвать дух *субстанцией, которая не есть материя*, — абсолютно то же, что назвать его *субстанцией не из тех, которые мы знаем или можем познать или постичь*, и только это мы говорим и думаем каждый раз, как произносим слово "дух" или размышляем об этом понятии, которое, как я уже сказал, нельзя определить иначе. Между тем многие века считалось, что дух объемлет все реальные явления, а материя, то есть то, что мы знаем и понимаем, что способны познать и понять, считалась только видимостью, грезой, суетой в сравнении с духом. Подобный бред не может не вызвать сожаления о скудости человеческого ума. Но если мы подумаем о том, что ныне весь этот бред возобновляется, что в XIX веке повсюду возрождается и упорно восстанавливается спиритуализм, возможно, еще более спиритуальный, так сказать, чем прежде, что самые просвещенные философы наипросвещеннейшей из современных наций выражают удовлетворение в связи с тем, что этот век признан *éminentment* [4208] *religieux*¹, то есть спиритуалистическим, что же остается мудрецу, кроме как, вовсе потеряв надежду на *просвещение* человеческих умов, вскричать: "О истина, ты навсегда исчезла с лица земли как раз тогда, когда люди принимают за поиски тебя!" Ибо очевидно, что это и ему подобные бесчисленные безумия, от которых, видно, уже невозможно, нет надежды излечить умы людей, суть порождения не невежественности, а исключительно науки. Химерическому понятию духа нет места в головах ни ребенка, ни совершенного дикаря. Они не спиритуалисты, так как совсем невежественны. И, следовательно, дети, совершенные дикари и абсолютные невежды в тысячу раз мудрее самых образованных людей этого просвещенного века, как по крайней мере во сто раз умнее были древние, поскольку они были невеже-

¹ в высшей степени религиозным (фр.).

ственной наших современников, и чем древнее, тем невежественнее и, значит, тем умнее. (Болонья, 26 сентября 1826 г.)

[4289] Различие между древними и более новыми, первыми и самыми поздними мифологиями. Изобретатели первых мифологий (отдельные лица или народы) вовсе не искали темного во всем, даже в самом ясном, наоборот, они искали ясного в темном; они хотели объяснять, а не окутывать тайной, хотели открывать, стремились сделать вещи, недоступные чувствам, понятными с помощью вещей чувственных, на свой лад и как можно лучше оправдать существование тех вещей, которые человек не в силах понять или которых тогда еще не понимали. Изобретатели поздних мифологий, платоники и особенно люди первых веков нашей эры решительным образом искали темного в ясном, хотели объяснить вещи чувственные и понятные с помощью вещей, недоступных чувствам и пониманию, умилялись потемкам, искали оправдания вещам ясным и очевидным в тайнах и загадках. В первых мифологиях не было тайн, напротив, они были придуманы с тем, чтобы растолковать и сделать ясными для всех тайны природы; поздние были придуманы затем, чтобы заставить нас поверить в таинственность и недоступность для нашего рассудка того, в чем мы иначе не заподозрили бы никакой тайны. Отсюда и различие характеров двух видов мифологий, соответствующее различию характеров эпох, в которые они родились, их духа, целей и устремлений, ради которых они были созданы. Первые — веселые, вторые — мрачные и т. д. (Реканати, 29 декабря 1826 г.)

Замечено, что большое горе (как всякое сильное чувство) не имеет внешнего языка. Я добавлю: и внутреннего тоже. То есть в сильном горе человек не способен описать, определить для самого себя никакое представление, никакое чувство, связанное с предметом его страданий, которые бы он мог выразить себе и как-то осмыслить свое горе. Он находится во власти уймы чувств, уймы перемешанных представлений или, точнее, одного лишь чувства, одного обширнейшего представления, захватившего все его чувства и мысли, и не в силах ни объять это представление целиком, ни разделить его на части и определить какую-то из них. Поэтому он ни о чем, по существу, не думает и даже не знает точно, отчего горюет, он пребывает в каком-то полусне и если плачет (я замечал это за самим собой), то будто бы случайно, просто так, и сам себе не может объяснить, из-за чего. Тем драматургам и т. п., которые вводят при изображении сильных чувств внутренние монологи, основываясь на условности, позволяющей их персонажам говорить вслух то, что, будь они реальными людьми, они бы сказали про себя, нелишне знать,

что при подобных обстоятельствах человек про себя ничего не говорит, он даже совсем не говорит с самим собой. А среди поступающих так драматургов есть и величайшие (сам Шекспир*), если не все они такие. (Реканати, 30 ноября 1828 г.)

Когда я в одиночестве гуляю по городу, у меня обычно вызывает приятнейшее ощущения и прекраснейшие представления вид интерьеров комнат, на которые смотрю я снизу, с улицы в открытые окна. Эти комнаты оставили бы меня равнодушным, если б я осматривал их, находясь внутри. Не напоминает ли это человеческую жизнь, ее состояния, ее блага и удовольствия? (Реканати, 1 декабря 1828 г.)

Лишение иноземцев и обитателей колоний прав (даже естественных и самых простых), присущих гражданину и главенствующей нации, характерное для всех законодательств древности и всех полудивилизованных обществ, — лишение, внутренне основанное на мнении, будто люди иных пород от природы ниже, [4424] чем главенствующая нация или граждане, и внешне опирающееся на этот принцип и, насколько известно, впервые получившее теоретическое обоснование в виде научной и философской доктрины (как и многие другие мнения и знания того времени) в "Политике" Аристотеля (этот труд Нибур** часто цитирует в "Римской истории" как подлинный труд Аристотеля), — так вот, подобное лишение бросается в глаза во всех законодательствах поздних времен, где благосклонность закона в отношении защиты собственности или личности и все прочие права распространяются почти исключительно на людей высокородных. Во Франции наказание человека родовитого, убившего безродного, заключалось только в том, что он был должен бросить пять сольдо на его могилу, — так велел закон (Курье)***. То же было и со всеми прочими правами. И хорошо известно, что современные законодательства не вполне еще очистились от этой изначальной дурной привычки разделять людей на две породы — родовитых и неродовитых и т. д. Ныне родовитые, как отмечают юрисконсульты и историки, по большей части, да почти всегда в этих полуварварских законодательствах — синоним людей свободных, вольных, граждан, бюргеров в Германии (Нибур, Рим. ист., с. 283), представителей главенствующей нации, для которой и писаны законы, а неродовитые происходят исключительно от чужеземцев, жителей колоний, рабов, людей, принадлежащих к побежденной и покоренной нации. Все достойные сожаления суровости законодательств поздних времен и современности, имеющие отношение к родовитости (синоним свободы и принадлежности к главенствующей нации), проистекают из того принципа наделения различными правами граждан и иноземцев, который часто наблюдаем мы у самых древних народов.

Сюда же относятся турецкие законы о рабах, иначе говоря, о побежденных и покоренных греках, считавшихся людьми, отличными от турок. (4 декабря 1828 г.)

[4428] Философия моя не только не ведет, — как может представляться, если на нее смотреть поверхностно, — к мизантропии, в чем обвиняют ее многие, но по своей природе мизантропию исключает; наоборот, она стремится устранить, умерить то дурное настроение, ту ненависть — не злостную, но искреннюю ненависть, которую столь многие из тех, кто не является философом и не хотел бы, чтобы его называли и считали мизантропом, однако же испытывают в отношении себе подобных и вообще, и по конкретным поводам из-за того, что им, как и всем прочим, справедливо или нет причиняют зло другие люди. Моя философия обвиняет во всем природу и, полностью оправдывая людей, обращает ненависть или, во всяком случае, жалобу к более высокому началу, к истинной первопричине бед живых существ. И т. д. и т. п. (Реканати, 2 января 1829 г.)

[4475—4477] ...Это очень верное замечание*, как и другое, подобное ему, касательно драмы. «...» Но такие воспоминания, легенды и песни можно найти только у народов, у которых до сих пор есть национальная жизнь и национальные интересы, то есть жизнь и интересы, носителями которых был бы сам народ; потому их можно найти только там, где есть демократия, либо народная или полународная монархия (как монархии древние и средневековые), либо национальная борьба с иностранцами, ненавистными всему народу (как во времена Сиды** у испанцев с арабами), либо деспотизм, свергаемый изнутри (как в современной Греции и во многих провинциях и колониях Древней Греции в разные эпохи). Но в том состоянии, до которого народы Европы были низведены с конца XV столетия, при спокойной абсолютной монархии, народы (кроме греческого) не могли и не могут иметь таких преданий и таких поэм. Ни одна страна не имеет героев, а если б и имела, до них не было бы дела народу, те же древние герои, какие были, забыты народами, с тех пор как они стали чужды общественным делам, а через это — и собственной истории. Если только можно назвать их собственной историей не народов, а государей. Действительно, ни у одного народа современной Европы нет ни героических воспоминаний, ни привязанностей, повсюду — полное неведение отечественной истории, как древней, так и недавней.

При таком положении дел героями народных легенд бывают только святые или влюбленные — а это предмет, самое большее, для новеллы, но ни в коем случае не для героических поэм и песен или героических трагедий.

Отсюда явствует, что ни эпической поэмы, ни даже национальной героической драмы любого свойства, классической или романтической, в современных литературах почти что не может быть. Порок, отмеченный Нибуром в "Энеиде", присущ всем современным эпическим поэмам, и "Готфриду"* в особенности. Несколько лучше, с этой стороны, "Лузиады"**: описанные в них деяния, хоть и относятся к недавнему времени, изобиловали чертами, свойственными народной поэзии, — благодаря тому, что совершались они далеко, — а это почти то же, что и деяния старины, — и к тому же в краях неведомых и весьма непохожих на наши. Еще лучше — "Генриада"***, главное лицо которой живет в памяти народа, пусть и не как герой, но как народный государь.

Кроме того, я сомневаюсь, чтобы предания, о каких говорит Нибур, могли существовать иначе как во времена не слишком просвещенные (как времена гомеровские, эпоха царей у римлян, эпоха бардов, средние века), когда верят рассказам о чудесах, дошедшим издревле, и все современное становится древним в очень короткий срок. Но когда просвещение сделало столько успехов, как в дни Вергилия или в наши, древнее, наоборот, делается подобным современному; даже среди простого народа нет в ходу никаких легенд, кроме тех, какие рассказывают детям, — у взрослых же легенд нет, и не только героических, но вообще никаких; и нет никаких поэм, основанных на народных рассказах, кроме поэм вроде "Мальмантиля"**** (29 марта 1829 г.)

Из этих наблюдений можно заключить, что из трех главных родов поэзии на долю наших дней поистине остается только лирика (и, быть может, дела и опыт современных поэтов докажут то же самое) — род и самый древний по времени, и вечный, и всеобщий, то есть присущий человеку всегда и во все времена, в любом месте, как сама поэзия, на первых порах не знавшая ничего, кроме этого рода, в котором и поныне прежде всего заключается ее сущность, так что этот род почти тождествен ей, ибо он самый поэтический во всей поэзии, и стихи бывают поэтическими лишь настолько, насколько они принадлежат к лирике. (29 марта 1829 г.) Так же и тем обстоятельством, что у него нет никакой поэзии, кроме лирической, наш век приближается к первобытному. Впрочем, сказанное об эпической и драматической поэзии может быть сказано и об истории. Какое дело было бы народу Милана, Флоренции или Рима, какое впечатление, какое действие произвело бы на него, если бы какой-нибудь новый Геродот явился и стал читать ему историю Италии? (30 марта 1829 г.)

...Нам легче постичь зло случайное, чем упорядоченное и заурядное. Если бы мир был *неупорядочен*, если бы зло было случайным, *исключительным*, то мы сказали бы: творение природы несовершенно, как и творения человека, но мы бы не сказали, что оно негодно. Творцами мира мы сочли бы *ограниченные*

разум и силу, что было бы ничуть не удивительно, так как сам мир (считая который следствием, мы делаем вывод о существовании причины) во всех смыслах ограничен. Но какие же эпитеты пристали тем разуму и силе, которые включает зло в порядок, которые основывают порядок на зле? Беспорядок куда лучше: он разнообразен, он изменчив; если сегодня — зло, возможно, завтра будет благо и все будет хорошо. Но на что надеяться, когда зло *в порядке вещей*? При таком порядке, когда зло *существенно*?* (17 мая 1829 г.)

Любопытно, что людей весьма достойных неизменно отличают простые манеры и что их простые манеры неизменно принимаются за признак небольших достоинств. (Флоренция, 31 мая 1831 г.)

Две истины, в которые люди большей частью поверить не способны: что они не знают ничего и что они ничтожества. Добавь и третью, тесно связанную со второй: что им не на что надеяться после смерти. (16 сентября 1832 г.)

[4525—4526] Самое неожиданное, что может произойти с тем, кто вступает в общество и приобщается к его жизни, а часто и с теми, кто в нем состарился, — это, если он найдет свет таким, каким его описывали и каким он его полагает и знает в теории. Человек останавливается, пораженный тем, что в его особом случае подтвердилось общее правило. (Флоренция, 4 декабря 1832)**

I

Я долго отказывался верить в то, о чем собираюсь далее говорить, потому что не только по самой природе своей я был весьма далек от всего этого (а человек ведь всегда стремится судить о других по себе); но, сверх того, я никогда не был склонен ненавидеть людей, а скорее любил их. В конце концов житейский опыт едва ли не силой убедил меня в моих выводах: и теперь мне кажется, что те читатели, которые часто так или иначе общались с людьми, признают истинным все, о чем здесь говорится; ну, а другие пусть считают это за преувеличение, пока их собственный опыт, если только когда-нибудь у них появится возможность действительно на опыте узнать человеческое общество, не убедит их наглядно в моей правоте. Я говорю, что мир — это союз мошенников против людей порядочных, союз людей пошлых против людей благородных. Когда двое или более мошенников встречаются в первый раз, они легко, по каким-то таинственным признакам, узнают друг друга и сразу же приходят к согласию; если же их интересы не допускают такого согласия, они все равно чувствуют расположение друг к другу и взаимно проникаются чувством глубокого уважения. Если мошенник вступает в сделку и ведет дела с другими мошенниками, то весьма часто случается, что он исполняет обязательства добросовестно и не обманывает компаньонов; если же он ведет дела с людьми порядочными, то почти невозможно, чтобы он не обманул их доверия и не постарался разорить их ради своей выгоды, хотя бы это были люди смелые и способные отомстить за себя; при этом он питает надежду, которая почти всегда и оправдывается, что сумеет одержать верх над ними с помощью хитрости. Я много раз видел, как очень трусливые люди, столкнувшись с мошенником еще более робким, чем они, и с человеком порядочным и смелым, из страха становились на сторону мошенника; так бывает каждый раз с заурядными людьми, ведь приемы человека смелого и порядочного просты и заранее известны, а выдумки негодяя непредсказуемы и бесконечно разнообразны. Но каждый знает, что неизвестное всегда внушает более страха, чем то, что известно; да и от мщения людей благородных всякому легко уберечься — здесь защитой ему послужат его же низость и страх; но никакой страх и никакая низость не смогут спасти от тайного преследования, от коварства и тем более от явных ударов, кото-

рые идут от недруга-негодяя. Вообще говоря, в обычной жизни меньше всего боятся истинной смелости, — главным образом потому, что она всегда чужда притворства, чужда того хитроумия, которое может внушить страх; такого человека часто и не считают смелым, зато мошенников боятся, ибо благодаря притворству они легко сходят за смельчаков.

Среди мошенников редко случаются бедняки; помимо всего прочего, если впадает в бедность человек порядочный, ему никто не поможет и многие даже порадуются этому; но если негодяй становится бедным, весь город поднимается на ноги, чтобы помочь ему. Причину этого понять легко: ведь вполне естественно, что нас особенно трогают несчастья того, кого мы считаем своим товарищем и соратником, так как нам очевидно, что эти же несчастья угрожают и нам; и, если можем, мы охотно оказываем в этом случае свое содействие, ибо если мы этого не сделаем, то этим самым ясно покажем, что в подобных случаях точно так же можно поступить и с нами. А мошенники, которые в обществе составляют огромное большинство и располагают большими возможностями, считают всех других мошенников своими единомышленниками и товарищами, даже не зная их в лицо, и в случае беды полагают своим долгом помогать им во имя того, что их связывает. Им кажется настоящим скандалом, если человек, признанный за мошенника, впадет в нищету; ибо в мире, который на словах превозносит добродетель, многие с готовностью называют нищету наказанием, а людьми подобного сорта такое наказание воспринимается как позор и урон их чести. Вот почему они делают все, чтобы избежать этого скандала, причем действуют так умело, что, за исключением совсем уж никому не известных лиц, редко встретишь среди негодяев такого, кто, впад в нищету, не сумел бы более или менее сносно поправить свои дела.

Напротив, люди честные и великодушные, будучи выше общего уровня, в глазах большинства являются как бы представителями другой породы; а раз так, то у них не только не может быть товарищей или единомышленников, но за ними не признают даже их социальных прав и, как мы постоянно видим, преследуют их тем упорнее, чем явственнее печать подлости и злодейства на времени и на народе, среди которого приходится жить; ибо как живой организм естественно постарается очистить себя от жидкостей и веществ, чуждых природе данного организма, так и из людского сообщества — усилием той же самой природы будет устранен всякий, кто значительно отличается от общего уровня, а особенно тот, кто своей непохожестью вызывает неудовольствие остальных. Сильнее всего ненавидят добрых и благородных, потому что они обычно прямодушны и привыкли называть вещи своими именами. А это вина непростительная в глазах человеческого рода, который не так ненавидит того, кто делает зло, и не так самое зло, как того, кто называет это зло по имени. Таким образом, часто бывает, что тот, кто творит зло, приоб-

ретаеа богатства, почести и власть, а тот, кто называет это злом, обречен на муки; ибо люди готовы терпеть и от судьбы, и от других людей многое, лишь бы только их щадили на словах.

II

Посмотришь биографии знаменитых людей, и главным образом тех, кто прославился не литературными сочинениями, а делами, и едва ли найдешь среди них действительно великих людей, которые не лишились бы отца в детстве. Что касается живущих на ренту, то, допустим, при жизни отца никто из них обыкновенно не имеет средств и, значит, ничего не может сделать сам по себе; к тому же они богаты ожиданиями и поэтому отнюдь не заботятся о том, как создать себе положение своими собственными силами, а ведь это могло бы подтолкнуть их к великим делам; но так бывает редко, к сожалению, и обычно те, которые совершили великие дела, были с самого начала или богаты, или достаточно обеспечены благами фортуны. Но, сверх того, отметим, что отцовская власть почти у всех народов, у которых есть законы, создает что-то вроде рабства для детей; хотя оно ограничено стенами дома, оно гораздо чувствительнее и гораздо строже гражданского рабства. Даже если оно умеряется или самим законом, или нравами общества, или какими-нибудь личными качествами, все-таки оно всегда оказывает в высшей степени вредное действие: это прежде всего то чувство, которое человек, пока его отец жив, постоянно носит в себе и которое усиливается под влиянием неизбежного и вполне очевидного общего мнения толпы. Я говорю о чувстве подчинения и зависимости, о сознании, что ты не свободный хозяин самого себя и даже, так сказать, не личность в полном смысле слова, а только часть, отдельный орган этой личности, и что даже самое имя твое принадлежит не тебе, а кому-то другому. Это чувство бывает особенно глубоким у тех, кто более других способен к деятельности, кто отличается особой впечатлительностью и наделен обостренной чувствительностью и зоркостью, чтобы разглядеть истинную суть своего положения; и поэтому едва ли возможно, чтобы у таких людей это чувство зависимости могло уживаться не то что с высокими деяниями, но даже и с высокими замыслами. Так и проходит их молодость, и вот человек в 40—50 лет впервые чувствует, что над ним нет уже чужой власти, но излишне говорить, что в эти годы у него нет уже ни влечения, ни сил, ни времени для великих дел. Этим лишний раз подтверждается то обстоятельство, что всякое добро в жизни идет рука об руку с меньшим злом: ведь за неопределимую пользу, которую, конечно же, приносит человеку возможность пользоваться в молодости советами опытного и любящего человека, каким не может быть никто, кроме отца, приходится расплачиваться собственной бесполезностью как в молодости, так и вообще в жизни.

III

Об экономической мудрости этого века можно судить по тому распространению, какое получили так называемые компактные издания, которые изводят мало бумаги, но сильно портят зрение. К тому же экономить бумагу побуждает и обычай нашего века много печатать и ничего не читать. Сюда же надо отнести и то, что в настоящее время не в ходу тот круглый шрифт, которым в прежние века все пользовались в Европе, а теперь заменили на удлинённые буквы и при этом стали ещё применять гляцевую бумагу; все это настолько же приятно на вид, насколько вредно для глаз читающего; но настолько же и благоразумно для нашего времени, когда книги печатаются не для чтения, а для того, чтобы иметь их перед глазами.

IV

Далее следует не мысль, но маленький рассказ для развлечения читателя. Один мой друг, а скорее даже спутник всей моей жизни, Антонио Раньери* — молодой человек, одно имя которого уже при его жизни станет знаменитым, если только ему не помешают с пользой приложить способности, данные природой, — в 1831 году жил со мной во Флоренции. Однажды летним вечером, проходя по Виа Буйя**, на углу у Соборной площади, под нижним окном того дворца, который теперь называется дворцом Риккарди, он увидел большую толпу, кричавшую в ужасе: "Ой, привидение!" Заглянув через окно в комнату, где не было другого света, кроме того, который отбрасывал туда один из городских фонарей, он и сам заметил там как будто бы тень женщины, которая размахивала руками, хотя сама оставалась неподвижною. Поскольку в эти минуты он был занят мыслями о другом, он ушел и ни в этот вечер, ни во весь следующий день ни разу не вспомнил об этом событии. Следующим вечером, в тот же самый час ему случилось проходить около того же самого места. Он увидел там толпу, которая была больше вчерашней, и услышал, что она с тем же ужасом повторяет: "Ой, привидение!" Он снова заглянул через это же окно и увидел ту же тень, которая махала руками, не двигаясь с места. Окно находилось от земли не выше, чем на рост человека; и вот один из толпы, с виду рыцарик, сказал: "Ежели бы кто-нибудь подставил плечи***, я бы влез посмотреть, что там делается". "Если вы меня поддержите, — сказал Раньери, — я влезу". "Взбирайтесь", — сказал этот человек, и Раньери взобрался на его плечи и нашел возле оконной решетки на спинке стула черный фартук, который ветер раскачивал в разные стороны так, словно двигались руки, а над стулом виднелась прятка, прислоненная к той же спинке, она-то и казалась как бы головою тени. Раньери взял эту прятку в руки и показал собравшейся толпе, которая с громким смехом тут же и разошлась.

К чему этот маленький рассказ? Для забавы читателей, как я уже сказал, и кроме того, я подозреваю, что даже с точки зрения исторической критики и философии бесполезно узнать, что в XIX веке в центре Флоренции — а это самый культурный город Италии, где народ более чем где-либо еще просвещен и образован, — появляются привидения, и их принимают за духов, хотя это всего только прялки. Иностранцы тут, конечно, улыбнутся, как они всегда охотно делают, узнавая о наших привычках, а между тем всем слишком хорошо известно, что каждая из трех великих наций, о которых газеты твердят как о тех, кто *marchent á la tête de la civilisation*¹, верят в духов ничуть не меньше, чем итальянцы.

V

В делах запутанных проницательнее бывает меньшинство, в делах простых — большинство. В вопросах метафизики нелепо ссылаться на то, что называется общим мнением; это общее мнение не имеет никакого авторитета в том, что касается физических явлений и доступно ощущениям; например, в вопросе о движении Земли, да и в тысяче других. Напротив, было бы безрассудно, опасно и в конечном счете бесполезно противостоять мнению большинства в делах общественных.

VI

Смерть не есть зло, так как она освобождает человека от всех зол и вместе с благами жизни уносит и желание их. Старость же — величайшее зло, так как она лишает человека всех наслаждений, оставляя ему желание их, и приносит с собой еще и всевозможные страдания. Тем не менее люди смерти боятся, а старости жаждут.

VII

Бывают, как ни странно, такое презрение к смерти и такая смелость, которые пагубнее и подлее страха. Это — смелость торговцев и денежных воротил, которые часто ради самой ничтожной прибыли или самой жалкой экономии упрямо отказываются от необходимых мер для собственного самосохранения и подвергаются величайшим опасностям, из-за которых эти недостойные герои нередко и гибнут позорною смертью. Яркие примеры такой сомнительной смелости, а также пагубные ее последствия для ни в чем не повинных народов видели мы во время чумы, называемой обыкновенно *cholera morbus*², которая бичевала человеческий род в последние годы*.

¹ идут впереди прогресса (*фр.*).

² эпидемия холеры (*лат.*).

Одно из самых тяжких заблуждений, в которые что ни день впадают люди, состоит в убеждении, будто их секреты являются тайной для других. Не остается секретом не только то, что они открывают другому по доверчивости, но даже то, что без их ведома и вопреки их воле стало известно другим, хотя им хотелось бы сохранить это в тайне. И я утверждаю, что мы заблуждаемся всякий раз, когда, зная, что нечто известно кому-либо, кроме нас, еще сомневаемся относительно того, стало ли это достоянием решительно всех; независимо от того, постыдно или пагубно для тебя это разглашение твоей тайны, она, конечно, тебе уже не принадлежит. Даже когда сохранение тайны в их интересах, люди с трудом удерживаются от того, чтобы ее не разгласить. И уж никто не станет молчать, когда дело касается другого. Если хочешь убедиться в этом, проверь самого себя и посмотри, так ли уж часто от разглашения того, что ты знаешь о ком-нибудь другом, тебя удерживала мысль, что этим ты его или обидишь, или опозоришь, или нанесешь ему какой-либо другой ущерб. И неважно, раскрыл ли ты чужой секрет только одному или двум твоим приятелям или же многим. Когда живешь в обществе, нет потребности настоятельной, чем потребность поболтать; это самое главное средство убить время, что и является одною из первых потребностей нашей жизни. Редко встречается такой предмет для разговора, который возбуждал бы любопытство и разгонял скуку: лучше всего это делают новости и секреты. Посему твердо держись следующего правила: если хочешь, чтобы не знали того, что ты сделал, не только не говори об этом, но даже и не делай задуманного. А если не можешь не сделать или, если дело уже сделано, будь уверен, что секрет твой уже всем известен, хотя ты сам, может статься, об этом и не догадываешься.

IX

Кто, вопреки мнению других, предсказал ход дела именно так, как оно произошло в действительности, тот не должен думать, будто такое предвидение заставит его противников отдать ему дань справедливости и назвать его более мудрым и более рассудительным, чем они. Нет, они будут отрицать или факты, или предсказание, либо же станут утверждать, что этот факт или это предсказание противоречат таким-то и таким-то обстоятельствам, или же каким-либо иным образом попытаются убедить и себя, и других, что справедливо было как раз их собственное мнение, а противоположное ему было ложным.

Х

Нам доподлинно известно, что большинство лиц, которым мы доверяем воспитание наших детей, сами не получили воспитания. И мы не сомневаемся, что они не могут дать детям то, чего не получили сами, да только другим способом этого приобрести никак нельзя.

ХI

Бывают эпохи, которые претендуют на то, чтобы в науке и искусстве все переделать, ибо ничего нового создать не способны.

ХII

Когда кто-то с большими усилиями и лишениями или, может быть, только после долгого ожидания достигает какого-нибудь блага и видит, что другому то же самое досталось легко и скоро, это, в сущности, не отнимает у него достигнутого; и тем не менее это, конечно, для него крайне досадно, так как в его воображении обретенное им самим благо сильно обесценивается, если некто того же добился без затрат и усилий. Поэтому работник в евангельской притче скорбит, будто от личной обиды, когда другому, кто работал меньше его, дают ту же самую плату*. И братья некоторых монашеских орденов обыкновенно очень сурово относятся к новичатам из опасения, как бы они без труда не достигли того же положения, какого они сами с таким трудом добивались.

ХIII

Прекрасна и мила душе иллюзия, будто даты годовщины какого-нибудь события (которое, в сущности, с этими датами имеет так же мало общего, как и со всяким другим днем в году) особым образом связаны именно с этим событием; нам кажется, будто тень прошлого пробуждается и вновь в этот день является нам; это отчасти излечивает нас от печальной мысли об утрате былого и облегчает скорбь по поводу многих потерь, потому что кажется, будто благодаря этим ежегодным праздникам не утрачено и не исчезло навсегда то, что прошло. Точно так же, когда мы бываем там, где случилось что-нибудь достопамятное, и когда мы говорим: здесь произошло то-то и то-то, — мы, так сказать, считаем себя гораздо ближе к этому событию, чем в том случае, когда находимся где-нибудь в другом месте; и когда мы говорим: сегодня прошел год или столько-то лет после того или

другого события, — нам кажется, что в этот день оно, так сказать, ближе к настоящему, чем к прошлому. Это представление до такой степени глубоко коренится в человеке, что едва ли он может поверить, будто день годовщины события так же далек от самого события, как и всякий другой день; поэтому всем народам, у которых есть или были воспоминания и календарь, свойственно ежегодно праздновать годовщины значительных событий, как религиозных, так и гражданских, как общественных, так и частных, как дни рождения, так и дни смерти близких людей, и многое другое.

Из того, что мне по этому вопросу не раз говорили, я вывожу, что люди чувствительные, привычные к одиночеству или замкнутые обыкновенно ревностнее других чтут всякие годовщины и живут, так сказать, воспоминаниями, причем до такой степени, что всегда оглядываются назад и говорят себе: в такой же день, как сегодня, в тот год случилось со мною то-то и то-то.

XIV

Немалым несчастьем было бы для воспитателей и особенно для родителей, если бы они представили — хотя это и истинная правда, — что их дети, независимо от способностей, труда, усердия и расходов на воспитание, впоследствии, вступив в жизнь, почти несомненно станут злодеями, если только не умрут преждевременно. Может быть, подобное соображение было бы серьезнее и разумнее, чем ответ Фалеса; тот на вопрос Солона, почему он не женится, указал на тревоги родителей из-за неудач и опасностей, которым подвергаются их дети*. Было бы правильнее и гораздо разумнее, говорю я, если бы он объяснил свой отказ тем, что не хочет увеличивать количество злодеев.

XV

Хилон, один из семи мудрецов Греции, учил, что человеку, сильному телом, пристало быть ласковым в обращении с людьми, чтобы, как он говорил, внушать другим больше уважения, чем страха. Никогда не бывает излишней мягкость, ласковость манер и некое смирение в тех, кто явно выше общего уровня по красоте, по уму или по другим качествам, которые так ценят в обществе; слишком велика и так та вина, за которую им приходится молить прощения, слишком суров и опасен тот враг, которого им надо умиловить; ибо вина их — превосходство, а враг их — зависть. Древние люди даже думали, что, когда человек достигает величия и благополучия, ему следует усмирять зависть богов всевозможными унижениями, дарами и добровольными лишениями, чтобы загладить почти непростительный грех своего счастья или своего совершенства.

XVI

Если виновному и невиновному, как говорил, согласно Тациту, император Оттон*, равно предуготовлен один конец, то все-таки более согласна с природой человеческой гибель заслуженная. Полагаю, что примерно так же думают и те, кто, придя в мир с душою доблестной и возвышенной и столкнувшись с неблагодарностью, несправедливостью и подлой враждой, какими люди встречают людей достойных, сами избрали для себя путь злодейства; они это делают не от испорченности и не под влиянием примера, как это бывает со слабыми духом; и даже не ради выгоды или ничтожных, пошлых человеческих благ; и в конце концов, даже не из стремления уберечь себя от всеобщего зла; нет, это их свободный выбор, их желание отомстить людям, отплатить им, разя людей их же оружием. У такого рода лиц зло коренится особенно глубоко, потому что его породил в них опыт собственной добродетели; и зло это гораздо чудовищнее, когда сочетается с величием и силой духа, причем такое сочетание есть явление незаурядное, это особого рода героизм.

XVII

Как тюрьмы и галеры полны людьми, которые, по их словам, ни в чем не виноваты, так и общественные должности и почетные места заняты теми, кто, если их послушать, вынуждены были принять эти посты против их воли. Пожалуй, не найдешь никого, кто сознался бы, что он заслужил постигшее его наказание или что он желал и домогался достигнутых им почестей. На самом же деле, думается, последнее менее реально, чем первое.

XVIII

Во Флоренции я видел одного человека, который по обычаю этого города был запряжен, как вьючное животное, в тележку с кладью, и с величайшим высокомерием тащил свою поклажу, покрикивая на толпу, чтобы ему дали дорогу. Он показался мне символом многих надменных людей, которые оскорбляют других по той же причине, что и тот флорентинец, то есть только потому, что они тянут свой воз.

XIX

В мире есть много людей, которым общение с другими никогда не приносит успеха, — и не потому, что они неопытны или недостаточно разбираются в общественной жизни, а потому, что из-за своей собственной неизменной природы они не могут от-

делаться от простых манер и не умеют хитрить или прибегать к притворству и лжи, тогда как все другие, даже дураки, и будто не замечая этого, — всегда пользуются такими средствами, причем у них в высшей степени трудно отличить притворство от естественности. И поскольку эти люди, о которых я говорю, удивительно не похожи на других, их считают не способными к житейским делам, их презирают и оскорбляют даже те, которые стоят ниже; их не слушают, им не повинуются даже те, кто от них зависит; все считают их ниже себя и смотрят на них с презрением. Каждый, кто имеет с ними дело, старается обмануть и использовать их ради собственной выгоды, рассчитывая на то, что это останется безнаказанным; словом, со всех сторон их обманывают, всячески пытаются провести и отказывают в справедливом и должном. В любом деле их обходят даже те, кто уступает им не только в способностях или в каких-либо внутренних качествах, но даже в том, что мир ценит выше всего, то есть в красоте, молодости, силе, смелости и богатстве. Наконец, каково бы ни было их положение в обществе, они никогда не могут достигнуть хотя бы той степени уважения, какою пользуются зеленщики и носильщики. И это до известной степени справедливо — нельзя же считать незначительным недостатком или природным изъяном неспособность усвоить то единственное искусство, которое вполне легко усваивается и дураками и благодаря которому даже младенцы могут сойти за взрослых (я говорю о невозможности усвоить это искусство, несмотря на все прилагаемые усилия). И пусть эти люди по натуре своей склонны к добру, пусть они знают жизнь и людей лучше других, но они, вопреки видимости, вовсе не добрее, чем допускается принятой нормой, превышение которой стоит человеку унижительного прозвища "добряка". Они лишены светских манер не по причине доброго нрава и не по собственному выбору, но только потому, что все их усилия усвоить эти манеры ни к чему не привели. Поэтому им ничего не остается другого, кроме как примириться с собственной участью и стараться изо всех сил не скрывать и не маскировать честность и естественность, им свойственные, — ибо никогда не бывают они более неуклюжими и смешными, чем когда подражают обычному притворству других.

XX

Если бы у меня был гений Сервантеса, я написал бы книгу, и подобно тому, как он с ее помощью избавил Испанию от подражания странствующим рыцарям, я избавил бы Италию и даже весь цивилизованный мир от одного порока, который, учитывая смягчение современных нравов или глядя с более общей точки зрения, представляется не менее жестоким и не менее варварским, чем некоторые остатки средневековой жестокости, какие бичевал Сервантес. Я имею в виду один порочный обычай

читать или декламировать собственные произведения перед другими: это порок очень древний, но в прошлые века он еще представлял собой терпимое зло, так как обнаруживался сравнительно редко. А в настоящее время, когда все пишут и когда в высшей степени трудно найти человека, который не был бы автором чего-нибудь, порок этот стал бичом, массовым бедствием и новой напастью, угрожающей человеческой жизни. И вовсе не шутка, а чистая правда, что из-за этого порока знакомства стали настораживать, а дружба сделалась опасной. В настоящее время нет такого часа дня или ночи, нет такого места, где бы ни в чем не повинный человек не имел оснований остерегаться, как бы на него не напали и не увлекли куда-нибудь, чтобы подвергнуть пытке бесконечной прозой или тысячами стихотворных строф, — и уже не под тем предлогом, будто бы хотят узнать мнение слушателя, чем так долго в прошлое время оправдывали подобные декламации: теперь это делается исключительно для того, чтобы доставить автору удовольствие фактом слушания или необходимыми по окончании чтения похвалами. У меня есть все основания думать, что мало в чем столь же ярко проявляется, с одной стороны, ребячество человеческой природы и та крайняя степень слепоты и даже глупости, до которой человека доводит самолюбие, а с другой стороны, степень заблуждения нашего духа. Именно об этом и ни о чем другом свидетельствует эта манера читать перед другими свои произведения. Ведь автор по собственному опыту знает, до какой степени тяжело и скучно слушать чужие произведения, автор видит, как бледнеют и доходят чуть ли не до обморока гости, приглашенные слушать его творения, как легко они прибегают к всевозможным отговоркам, лишь бы под любым предлогом отделаться, сбежать и скрыться. И тем не менее меднолобый, удивительно настойчивый автор рыщет, как голодный медведь, по всему городу в поисках добычи и, настигнув, тащит ее на муку. А во время чтения, заметив, что слушатели зевают, потягиваются, вертятся на месте, и поняв по тысяче других знаков, что несчастные испытывают убийственную тоску, автор все-таки не останавливается, не дает отдыха своим жертвам. Мало того, он с еще большей яростью и упрямством продолжает завывать и кричать, и так часами, а иногда даже целые дни и ночи, пока совсем не осипнет и пока собственные силы не откажутся ему служить, — и хотя слушатели к этому моменту уже давным-давно дойдут до полного изнеможения, самому автору все еще будет мало. Во время этого истязания, которому один человек подвергает своих ближних, он, несомненно, испытывает нечеловеческое, просто райское блаженство. Мы видим это уже по тому, что ради этого люди отказываются от всяких других удовольствий, забывают о сне и пище и для них меркнет весь белый свет. Это удовольствие объясняется твердой уверенностью автора в том, что он вызывает восхищение и доставляет удовольствие слушающему, ибо иначе ему было бы безразлично, читать ли свои вещи в пустыне или в обществе. Но,

как я уже сказал, какое удовольствие испытывает тот, кто слышит такое чтение (я обдуманно говорю: слышит, а не слушает), каждый знает по своему опыту, да и автор это сам видит. И я знаю, что многие подобному удовольствию предпочли бы какое-нибудь тяжкое телесное наказание. Даже произведения действительно прекрасные и исполненные самых высочайших достоинств способны измучить смертной скукой всякого, если эти произведения читает сам автор. По этому поводу один филолог, мой приятель, говорил, что если верно, будто бы Октавия* упала в обморок, когда слушала чтение Вергилием шестой песни "Энеиды", то это было вызвано не столько воспоминанием о ее сыне Марцелле**, как уверяют, сколько величайшей скукой, навеянной этим чтением.

Таков человек. И этот порок, говорю я, такой варварский, такой смешной, такой несовместимый со здравым смыслом разумного существа, стал поистине чумой человеческого рода, ибо нет настолько культурного народа, нет таких условий жизни и людей, такого века, которые не знали бы этой заразы. Итальянцы, французы, англичане, немцы, поседевшие мужи, полные мудрости, во всем другом полные таланта и силы духа, на опыте изучившие общественную жизнь, большие мастера подмечать глупости и высмеивать их, — все становятся по-детски жестокими, когда им представляется случай читать свои произведения. Таков этот порок в наш век, но таков же был он и во времена Горация, и уже для него он был невыносим; порок этот был и во времена Марциала***, который на вопрос одного знакомого, почему он не читает ему своих стихотворений, ответил: "Чтобы не слушать твоих". Он существовал и в лучшие времена Греции, когда, как рассказывают, циник Диоген, находясь в обществе, где все умирали от скуки на таком литературном чтении, заметил по свитку в руках автора, что в конце книги показалась чистая страница, и закричал: "Бодритесь, друзья: вижу берег!"****

Но в настоящее время дошло до того, что слушатели, хотя и подневольные, уже не могут удовлетворять нужд авторов. И вот некоторые из моих знакомых — люди все изобретательные в этом деле, — убедившись, что читать свои произведения есть одна из потребностей человеческой натуры, подумались, как облегчить это испытание и в то же время извлечь из него личную выгоду, какая обыкновенно извлекается из всех общественных нужд. Для этой цели в самое ближайшее время намерены открыть школу, или академию, или литературный салон, где в каждый час дня и ночи они сами или люди, нанятые ими, будут за определенную цену слушать каждого, кто пожелает им читать: за прозу в первый час каждому из слушателей причитается один скудо, за второй — 2, за третий — 4, за четвертый — 8 и т. д. в арифметической прогрессии. За поэзию плата двойная. За каждый уже прочитанный отрывок, если автор пожелает прочитать его снова, как это иногда и бывает, — по лире за стих. Если же слушатель уснет, третья часть установленной платы полагается

чтецу. На случай конвульсий, обмороков и всяких легких или тяжелых недомоганий, которые могут с той или другой стороны обнаружиться во время чтения, в аудиторию доставят капли и таблетки, которые станут раздавать даром. Таким образом предмет, который до сих пор не приносил никакой прибыли, то есть уши, сделается источником дохода, и этим будет проложен новый путь к производству благ, что, конечно, в свою очередь, увеличит всеобщее благосостояние.

XXI

При разговоре не бывает более живого и более продолжительного удовольствия, как в том случае, если нам представляется возможность говорить о самих себе, или о том, чем мы в настоящее время заняты, или же о том, что так или иначе касается нас. Всякий другой разговор скоро приедается, а то, что приятно нам, возбуждает смертельную скуку в том, кто нас слушает. Нельзя приобрести репутацию любезного человека иначе как толькой ценой страданий. Человека называют приятным, если он тешит самолюбие других и, прежде всего, умеет слушать и умеет молчать, что в высшей степени тяжело; затем он должен терпеливо выносить, когда другие говорят о себе и о своих делах, пока им не наскучит. Мало того, он сам наводит их на подобные рассуждения и сам высказывается в этом же роде; так продолжается, пока к моменту прощания первые не будут вполне довольны собою, а его самого не одолеет скука. В общем, получается, что лучшее общество есть то, из которого мы уходим наиболее довольными собою, а это значит, что именно лучшему обществу мы больше всего и надоедаем. Вывод отсюда тот, что при общем разговоре и при любой беседе, где вся цель — просто по очереди обмениваться словами, почти неизбежно удовольствие одних достигается за счет скуки других, и, следовательно, приходится или скучать, или самому наводить скуку. И если удается то и другое уравновесить, то это большая удача.

XXII

Слишком трудно, как мне кажется, решить вопрос, что больше противоречит элементарным требованиям приличия: всегда и подолгу говорить о себе или же полное (что бывает, впрочем, не часто) отсутствие этого недостатка.

XXIII

Обыкновенно говорят, что жизнь есть сценическое представление, — а подтверждается это главным образом тем, что люди с чрезвычайным упорством говорят одно, а делают с тем же

упорством другое. В этой комедии сегодня являются актерами все, ибо все говорят одинаково и при этом посторонних зрителей нет, так как лицемерный язык общества никого не обманывает, кроме дураков и детей; из этого следует, что игра эта стала для нас в высшей степени ненужным, мучительным и бесполезным занятием. Однако можно было бы признать достойным начинанием нашего века попытку сделать в конце концов жизнь не притворным, но истинным действием и раз и навсегда устранить из нее пресловутый разлад между словом и делом. А поскольку, как свидетельствует опыт, этот разлад есть неизменный факт и поскольку вряд ли люди будут стремиться к невозможному, то, как нам кажется, его можно устранить одним единственным и в то же время легким, хотя до настоящего времени еще и неиспробованным способом: изменить язык наших речей и называть с этих пор вещи их настоящими именами.

XXIV

Или я очень ошибаюсь, или действительно редко встретишь в нашем столетии человека, которого хвалили бы не с его собственных слов. Эгоизм, зависть и ненависть людей друг к другу дошли до такой степени, что тому, кто хочет создать себе имя, уже недостаточно совершить похвальный поступок, а надо самому же и хвалить его, или, что то же самое, найти кого-нибудь, кто вместо него будет публично превозносить и постоянно громогласно расхваливать совершенное им, чтобы своим примером, своим усердием и настойчивостью склонить и других к тому, чтобы повторять все эти похвалы. Не надейся, что люди добровольно скажут о тебе хоть одно слово, как бы ни были велики те достоинства, которыми ты обладаешь, как бы ни было прекрасно то, что ты делаешь. Они видят, но вечно молчат, а если могут, то и охотно мешают другому заметить это. Тот, кто хочет возвыситься, пусть даже благодаря самой истинной добродетели, должен проститься со скромностью. Даже и в этом отношении общество похоже на женщин: правдивостью и сдержанностью от него ничего не добьешься.

XXV

Никто не бывает настолько разочарован в обществе, никто не знает его настолько глубоко и никто до такой степени не зол на него, чтобы не испытать некоторого удовлетворения от жизни, если общество вдруг станет к нему благосклонней. И нет человека, которого мы считали бы до такой степени дурным, чтобы он не показался нам менее дурным, чем прежде, если он вежливо поклонится нам. Это наблюдение имеет в виду показать слабость человека, а не оправдать злых людей или общество.

XXVI

Когда, будучи неопытным, а, может быть, даже и вполне опытным в жизни, некто внезапно узнает о постигшем его несчастье, тем более если это несчастье случилось не по его собственной вине, то он обыкновенно не ожидает от друзей, от близких и вообще от людей ничего, кроме сострадания и поддержки и, не говоря уже о помощи, надеется найти в них еще больше любви и внимания, чем прежде; и едва ли ему тогда придет на ум, что постигшее его несчастье в известной мере уронило его во мнении общества, сделало его едва ли не повинным в каком-то проступке и навлекло немилость друзей, так что друзья и знакомые готовы бежать от него врассыльную и издали злорадствовать и осыпать его насмешками. Точно так же, едва на его долю выпадет какой-нибудь успех, одною из первых является у него мысль разделить свою радость с друзьями, и он даже думает, что это доставит им больше удовольствия, чем ему самому; и ему не приходит в голову, что при первом известии о его удаче лица его друзей исказятся и потемнеют, а на некоторых мелькнет испуг; многие сначала попробуют не поверить его счастью, потом постараются умалить его в глазах как других, так и в своих собственных; у некоторых после этого дружба охладает, у иных она превратится в ненависть; наконец, немало будет и таких, кто пустит в ход все, что в их силах, дабы так или иначе отнять у счастливицы его успех. То есть воображение человека, его представления и его мышление изначально далеки от жизненной реальности и всегда противны ей.

XXVII

Нет лучшего признака того, что человек не философ и не мудрец, как то обстоятельство, что он хочет всю свою жизнь сделать мудрой и философской.

XXVIII

Человеческий род в целом, как и самая малая его часть, за исключением разве что отдельного индивида, делится на две части: одни повелевают, другие подчиняются. Ни законы, ни сила, ни прогресс философии или культуры не могут помешать тому, чтобы всякий, кто появился на свет или еще должен родиться, попал в ту или другую категорию, как не могут и побудить к выбору того, кто может выбирать. Но правда и то, что не все и не всегда это могут.

XXIX

Нет дела до такой степени бесполезного, как литературный труд. И тем не менее обман имеет такое значение в жизни, что с помощью его даже литературные произведения становятся источником дохода. Обман — это, так сказать, душа обществен-

ной жизни, это то искусство, без которого никакое другое искусство, никакая другая способность поистине не может быть совершенной, если принять во внимание их влияние на людские души. Стоит тебе внимательно рассмотреть жребий двух людей, из которых один имеет действительные достоинства, а другой только мнимые, и ты найдешь, что последний всегда удачливее первого и в большинстве случаев последний почти всегда достигает цели, а первый — нет. Притворство имеет значение и ведет к цели даже без истинного достоинства, а все истинное без притворства обыкновенно ничего не стоит. И так происходит, я думаю, не из-за дурных наклонностей нашей природы, но только потому, что истинное само по себе чересчур скромно и немошно. А поэтому, чтобы увлечь человека и возбудить его, в каждом деле необходима некая иллюзия, некое чудо, обещание чего-то большего и лучшего, чем то, что возможно. Сама природа по отношению к человеку является обманщицей, раз она делает для него жизнь приятною и сносною не иначе, как прибегая к помощи воображения и обмана.

XXX

Как человеческий род вообще, порицая настоящее, хвалит минувшее, так в большинстве случаев путешественник, пока путешествует, любит свою родину и в некоем раздражении отдает ей предпочтение перед тем, что видит вокруг себя. А дома с тем же раздражением будет ставить свою родину ниже всех других мест, где побывал.

XXXI

В каждой стране пороки и беды, общие для людей и человеческого общества в целом, считаются свойственными только этому месту. Где бы я ни бывал, я везде слышал: здесь женщины суетны и непостоянны, мало читают, малообразованны; здесь люди слишком интересуются чужими делами, много болтают, много злословят; здесь деньги, подлости всеильны; здесь царствует зависть и нет искренней дружбы. И так далее, как будто в других местах дело идет иначе. Люди везде обречены быть ничтожными, но им хочется думать, что в их ничтожестве повинен случай.

XXXII

По мере того как человек на опыте познает жизнь, он с каждым днем утрачивает ту суровость, из-за которой молодые, увлеченные поисками совершенства и желанием все, что ни есть в мире, сверять лишь со своим представлением о нем, столь неохотно прощают недостатки и снисходят к несовершенным

достоинствам и непрочным добродетелям людей. Только позднее, увидев, как все несовершенно, и убедившись, что в мире не бывает ничего лучше тех сомнительных достоинств, которыми они пренебрегали, и что по-настоящему почитать в жизни некого и нечего, они мало-помалу меняют свою мерку и, сверяя все, с чем они в жизни сталкиваются, уже не с совершенным образом, а с правдой, привыкают с легкостью прощать и уважать любую, даже самую ничтожную добродетель, даже тень достоинства, даже заурядное дарование; и в конце концов им начинает казаться похвальным многое из того, с чем поначалу они едва мирились. Доходит до того, что если вначале они не были склонны уважать что бы то ни было, то со временем у них почти исчезает способность что-либо презирать; и чем они умнее, тем быстрее это происходит. Действительно, все презирать и оставаться всегда недовольным, когда юность уже позади, — это нехороший признак: он означает, что то ли по недостатку ума, то ли из-за отсутствия опыта такие люди не поняли жизни; либо они из числа тех глупцов, что других презирают потому лишь, что себя самих ставят очень высоко. В конце концов, однако, каким бы маловероятным это нам ни представлялось, когда говорят, что умение жить есть скорее умение уважать, нежели презирать, то говорят истинную правду, и свидетельствует она только об одном — о чрезвычайном ничтожестве людском.

XXXIII

Неопытные обманщики, и в особенности женщины, всегда думают, что их обман удался и люди не заметили подвоха, но более опытные всегда сомневаются в этом, ибо, с одной стороны, лучше знают трудности притворства, а с другой — представляют себе силу его действия. Они знают, что того же, чего желают они сами, то есть обмануть другого, хочет всякий; поэтому часто бывает, что сам обманщик бывает обманутым. А кроме того, опытные обманщики вовсе не считают других простаками, как это обыкновенно думают те, кто мало разбирается в жизни.

XXXIV

Молодые обыкновенно стараются показаться интересными, представляясь меланхоликами. И действительно, меланхолия, если она напускная, некоторое время может нравиться, особенно женщинам. Но истинной меланхолии весь человеческий род сторонится; по правде говоря, ничто так не нравится людям и ничто не приносит им такой удачи в делах, как веселость: ведь в конце концов, что бы там ни думали молодые, но люди любят не плакать, а смеяться, и в этом отношении они правы.

В некоторых полукультурных и полуварварских местностях, как, например, в Неаполе, заметнее, чем где бы то ни было, одно явление, которое так или иначе обнаруживается повсюду, а именно: человека, у которого, как предполагают, нет денег, почти не считают за человека; тот же, кого считают денежным, непременно должен опасаться за свою жизнь. Ввиду этого в подобных местностях необходимо, как там и принято, держать свои денежные дела в полной тайне, так, чтобы посторонние не знали наверняка, как им с тобой поступать: покрыть тебя презрением или попросту прикончить. Будь поэтому таким же, как все, — наполовину презираемым, наполовину уважаемым, и тогда тебе изредка будут вредить, а иногда — оставлять в покое.

XXXVI

Многие не только хотят сделать тебе подлость, но еще и желают к тому же, чтобы ты, боясь их ненависти, был, с одной стороны, настолько осторожен, чтобы не помешать этой их низости, а, с другой стороны, вел себя так, чтобы не дать им понять, будто ты считаешь их подлецами.

XXXVII

Нет в обычной жизни ничего более нетерпимого, и ничто на самом деле не терпят люди так неохотно, как нетерпимость.

XXXVIII

Владение шпагой бесполезно для двух равно искусных бойцов, ибо у каждого в этом случае не больше преимуществ перед соперником, чем когда сражаются двое одинаково неопытных; и столь же часто оказываются бессмысленными притворство и злодейство, когда встретятся два достойных друг друга лицемера или злодея, ибо в этом случае результат получается точно таким же, каким он мог быть и при встрече двух честных и благородных партнеров. Нет сомнения, что в конечном счете злодейство и двуличие полезны только тогда, когда они сочетаются с силой, а также когда им противостоят меньшее зло, или меньшая хитрость, или доброта. Последнее встречается редко; второе, то есть злодейство, борющееся со злодейством, тоже необычно, ибо люди в своей злобе, как правило, более или менее одинаковы. Однако не сосчитать, насколько чаще, будучи добрыми друг к другу, люди могли бы добиваться того же, чего они с помощью зла достигают с огромным трудом или даже не достигают вовсе.

Бальдассар Кастильоне в своем "Придворном"* очень верно указал причину, по которой старики ругают настоящее и хвалят времена своей молодости. "Причину же, — говорит он, — этого ошибочного мнения стариков вижу я в том, что бег лет уносит многое из того, к чему мы привыкли, и вместе с прочим отнимает у нашей крови большую часть ее жизненной силы, из-за чего изменяется телосложение и слабеют органы, через которые душа проявляет свои свойства. И подобно тому, как осенью листья с деревьев облетают, так и в сердцах наших опадают чудесные цветы удовольствия, и вместо ясных и чистых дум приходит к нам туманная, сумрачная тоска, а следом за нею и неисчислимые страдания; от этого заболевает не только тело, но и душа, и остается одно лишь стойкое воспоминание о прежних наслаждениях, одни лишь образы тех чудесных дней истекшей молодости, когда небо, земля и все вокруг нас радовалось и смеялось, и в наших мыслях, как в чудесном, прелестном саду, расцветала нежная и веселая весна. И нам, наверно, пошло бы на пользу, если бы с приходом холодной осени, когда солнце жизни склонится к закату и отнимет эти радости, мы теряли бы заодно и память о них и овладевали бы, как сказано у Фемистокла, искусством забывать; ведь физические ощущения настолько обманчивы, что зачастую даже вводят в заблуждение рассудок. Вот почему мне кажется, что со стариками происходит то же, что и со всяким, кто, отправляясь в плавание, не отрывает глаз от земли; при этом кажется, что корабль стоит на месте, а берег удаляется, хотя на самом деле происходит обратное, и гавань, подобно молодости и ее удовольствиям, пребывает на месте, мы же на своем корабле смертных пролетаем мимо по бурному морю, которое все втягивает в себя и поглощает; и никогда уже нам не удастся снова ступить на землю; гонимый разными ветрами, наш корабль в конце концов разбивается о скалу. Так и старческой душе, неумеренно жаждущей удовольствий, уже не дано вкусить их; и подобно тому, как у больных лихорадкой зараженное дыхание искажает вкус, так что самое тонкое и дорогое вино кажется им горьким, так и старикам по причине их немощи наслаждения уже кажутся пресными и холодными — словом, вовсе не такими, какими они сохранились в воспоминаниях их молодости, а между тем сами по себе наслаждения эти вовсе не изменились. Однако, лишившись их, старики жалуются и порицают настоящее, видя в нем зло и не замечая, что перемена совершилась в них самих, а вовсе не во временах. И наоборот, припоминая прошлые свои удовольствия, они как бы вновь живут в том времени, когда те были им доступны; и потому они превозносят его как лучшее: ведь им представляется, что на них вновь повеяло тем ароматом, который опьянял их, когда прошлое было для них настоящим. Ибо в душе мы и в самом деле ненавидим все то, что заставляет нас страдать, и любим то, что несет нам удовольствие".

Так Кастильоне излагает свою мысль в выражениях в равной мере прекрасных и звучных, как это в обычае у итальянских прозаиков, — и мысль эта в высшей степени верная. В подтверждение ее можно заметить, что старики ставят старое выше нынешнего, оценивая не только то, что зависит от человека, но и то, что от него не зависит, и полагают, что теперь стало хуже не только то, что касается их непосредственно, а вообще испортилась сама суть вещей. Я думаю, каждый, как и я, слышал от своих стариков, что лето сделалось холоднее, а зима длиннее, чем прежде; что к Пасхе в их годы уже снимали зимнюю одежду и одевались в летнюю; теперь же это, по их словам, можно себе позволить не раньше мая, а то и в июне. Некоторые физики даже недавно всерьез искали причину этого мнимого похолодания, причем одни связывали его с тем, что горы лишились лесов, а другие указывали на что-то еще, стремясь объяснить то, чего на самом деле и не было вовсе: ведь все обстояло как раз наоборот — например, различные древние авторы свидетельствовали, что в Италии во времена римлян было, по-видимому, гораздо холоднее, чем теперь. Это в высшей степени вероятно, тем более что, как о том говорят нам и собственный опыт, и знание природы, развитие цивилизации вызывает постепенное смягчение климата в обитаемых местах: так получилось в Америке, где это теперь особенно заметно и где, так сказать, на нашей памяти зрелая цивилизация сменила эпоху варварства и мрачного безлюдья. Но старики, которые в свои годы чувствуют холод острее, чем в молодости, полагают, что все вокруг переменялось так же, как изменилось их собственное самочувствие, и что тепло, покинув их плоть, покинуло и воздух, и землю. Это ложное представление засело так глубоко, что то же самое, о чем толкуют старые люди в наши дни, они говорили, к примеру, и полтора-два столетия тому назад, во времена Магалотти*, который в письмах к своим близким утверждал: "Несомненно, что прежний порядок смены времен года меняется на противоположный. Здесь в Италии повсюду только и судачат, что межсезонья уже исчезли, а раз границ между временами года не стало, то очевидно, что холода стали продолжительнее. Я слышал от отца, что во времена его юности в Риме на Пасху с самого утра все одевались по-летнему. Теперь же тот, кто не носит под рубахой фуфайку, должен остерегаться выходить в этот день без зимнего платья".

Это писал Магалотти в 1683 г. Если бы с того года до настоящего времени Италия постоянно охлаждалась в той пропорции, какую тогда указывали, она теперь должна была быть холоднее Гренландии. И почти излишне прибавлять, что постоянное охлаждение, которое будто бы вызвано внутренними процессами в земной массе, не имеет никакого отношения к тому, о чем мы здесь рассуждали, так как, развиваясь медленно, оно не может стать заметным даже за десятки веков, а не то что за несколько лет.

XL

Самое отвратительное дело — много говорить о себе. Но молодые люди тем реже умеют уберечься от этого недостатка, чем живее их характер, а ум много выше посредственного: они говорят о своих делах с величайшим простодушием, в полной уверенности, что всем, кто их слушает, известно о них гораздо меньше, чем им самим. И в этом отношении их можно извинить, приняв во внимание не только их неопытность, но и ввиду явной их потребности в посторонней помощи, в совете и в том, чтобы излить в словах те страсти, которые бушуют в их возрасте. И кроме того, вообще принято думать, что молодым людям принадлежит как бы некое право желать, чтобы их мысли интересовали других.

XLI

Редко человек имеет основание считать себя оскорбленным тем, что сказано не в его присутствии и так, что это не достигло его ушей. Ведь если он вспомнит самого себя и тщательно проверит собственные привычки, он не найдет такого близкого друга и вообще такого человека, которого он почитал бы настолько, чтобы ни разу не доставить ему величайшего неудовольствия услышать многое из того, что он позволял себе за глаза высказывать на его счет. С одной стороны, самолюбие наше так чрезмерно ранимо и щепетильно, что почти невозможно себе представить, чтобы сказанное у нас за спиною и затем переданное нам во всех подробностях мы бы не расценили как оскорбительное и задевающее наше достоинство; с другой стороны, излишне говорить, насколько эта причуда нашего самолюбия противоречит правилу не делать другому того, чего не желаешь себе, и насколько невинною почитается у нас привычка свободно судачить о других.

XLII

Необычное чувство испытывает человек лет примерно в двадцать пять, когда он вдруг поймет, что многие его приятели считают его опытнее себя, а, приглядевшись, он к тому же заметит, что вокруг него и в самом деле уже немало таких, кто моложе, хотя сам он привык считать именно себя самым юным и никогда прежде у него не возникало сомнений в этом; а если ему и приходило в голову, что он, быть может, в чем-то и уступает другим, то все же он пребывал в полной уверенности, что он моложе всех и что младше его только совсем зеленые юнцы, которые не годятся ему в товарищи, а значит, их не стоит и принимать в расчет. И вот к нему приходит сознание, что вовсе не навсегда, а только на короткое время была подарена ему эта молодость, которую он дотоле считал своей неотъемлемой сущ-

ностью так уверенно, что даже и представить себе едва ли мог, что когда-нибудь придется с нею проститься. И тогда-то он и начнет дорожить этим даром — дорожить своей молодостью как таковой, а также мнением о ней других людей. Конечно, о всяком, кто перешагнул двадцатипятилетний рубеж, когда уже увядают цветы молодости, можно сказать с полной уверенностью — если только это не круглый дурак, — что он уже познакомился со страданием. Ведь если даже допустить, что судьба была к нему необыкновенно благосклонна, то все равно к этому времени он уже поймет, что самое тяжкое и горькое несчастье его уже постигло, и, пожалуй, оно покажется ему тем тяжелее и горше, чем меньше ему довелось страдать ранее; и это будет сознание того, что ушла, закончилась любезная ему пора молодости.

XLIII

Людьми безупречно честными являются в этом мире те, от которых ты не можешь ждать услуги, но зато можешь не опасаться и вреда.

XLIV

Если спросить подчиненных какого-нибудь чиновника либо министра, что он за человек и каков он на службе, то, даже если отвечающие будут ссылаться на одни и те же факты, будет заметна большая разница в их толковании; и даже если толкования фактов более или менее совпадут, то уж оценки их будут в высшей степени разными: то, что одни осудят, другие превознесут до небес. Спроси у двоих, не посягает ли этот чиновник на чужую или общественную собственность, и, даже признав этот факт, оба разойдутся между собой в его объяснении или в его оценке; однако в один голос они будут и хвалить своего начальника за бескорыстие, и порицать его в противном случае. Видимо, хорошего начальника от плохого можно отличить только по его отношению к деньгам; и можно подумать, будто хороший не алчен, а плохой — всегда взяточник. И пусть чиновник распоряжается, как ему заблагорассудится, жизнью, честью и всем благополучием сограждан, — любой его приказ стерпят, да еще и похвалят, если только он не касается денег. Должно быть, людей, которые разнятся друг от друга во всем, объединяет лишь бережное отношение к деньгам; а может быть, как раз деньги, и ничто иное, и составляют сущность человека: как можно заключить по тысяче признаков, это сделалось у людей бесспорно аксиомой, особенно в наше время. В связи с этим один французский философ прошлого века* говорил: прежние политики твердили о нравственности да о добродетели, нынешние же не говорят ни о чем, кроме торговли да финансов. И правильно — присовокупит какой-нибудь студент-политэконом, питомец газетных философов: добродетели и добрые нравы не имеют-де опоры, кроме

промышленности, ибо, удовлетворяя насущные нужды, обеспечивая и поддерживая жизнь всех слоев общества, она укрепляет добродетели и прививает их всему роду человеческому. Очень хорошо. Однако вместе с промышленностью крепнут и укореняются низость духа, ранодушие, эгоизм, алчность, притворство, бессовестное торгашество, — словом, все наиболее губительные, недостойные культурного человека качества и страсти; добродетелей же как не было, так и нет.

XLV

Время — хорошее лекарство от злословия, как и от душевной скорби. Если люди осудили какое-то наше желание или поступок, неважно, плох ли он или же хорош, — надо всего лишь набраться терпения. Пройдет время, злопыхателям надоест, и они отступятся, чтобы поискать для себя предмет поновее. И чем спокойнее и увереннее мы будем презирать молву, тем скорее то, что поначалу осуждалось ею или было признано странным, она же назовет правильным и разумным: ведь упрямец никогда не слышит неправым, и люди в конце концов всегда соглашаются с ним и признают неправыми себя, а не его. Получается то, что хорошо всем известно: слабые духом живут чужим умом, а сильные — всегда своим собственным.

XLVI

Не к чести людей, а, пожалуй, и не к чести добродетели то обстоятельство, что во всех культурных языках, как древних, так и новых, одним и тем же словом названы доброта и простота, человек честный и человек недалекий. Такие слова, как итальянское *dabbeneppigine*¹ или греческие *εὐημεῖς*, *εὐημεῖα*, лишились своего первоначального смысла, утраченного, по-видимому, за ненадобностью, и сохраняют теперь один второй смысл, хотя, возможно, именно он и был у них первоначальным. Вольно или невольно, но во всякое время так именно и ценила толпа доброту, и это сказалось в языке. Твердое убеждение толпы, которое она постоянно маскирует и на словах опровергает, состоит в том, что, если есть возможность выбирать, никто для себя стези добряка не выберет: добрыми пристало быть одним дуракам, ведь ничего другого они не умеют.

XLVII

Человек осужден или бесцельно прожигать молодые годы — единственное время, когда можно позаботиться о будущем и обеспечить собственное существование — или же растратить эту молодость, откладывая наслаждения на ту часть жизни, когда уже не будет способности наслаждаться.

¹ простодушие и добросердечие, простоватость и ограниченность (итал.).

Насколько велика та любовь к нам подобным, которою природа нас наделила, можно уразуметь, видя, как некоторые животные и маленькие дети колотят свое собственное изображение, когда вдруг его замечают в зеркале. Думая, что это существо, подобное им, они приходят в бешенство и ярость и всеми средствами хотят причинить ему вред и убить его. Домашние птички, кроткие как по природе, так и по нраву, отчаянно налетают на зеркало, кричат и бьются в него — и крыльями, и открытым клювом; обезьяна бросает зеркало на землю и, если может, топчет его ногами.

XLIX

Для животных естественно ненавидеть себе подобных и, когда этого требуют их интересы, обижать их. По этой же причине нельзя избежать ненависти и проклятий со стороны людей; но презрения в большинстве случаев избежать можно. Поэтому очень часто бывают нехоти те любезности, которые люди молодые или непривычные к обществу расточают всякому, кто им подвернется, причем они делают это не по низости характера и не из какой-либо выгоды, но только по доброму намерению избежать вражды и расположить к себе. Из этого желания ничего не выходит, и оно даже вредит их оценке в обществе. В том, кому предназначается любезность, высокое мнение о себе самом возрастает, а в том, кто их расточает, — уменьшается. Тот, кто не ждет от людей пользы или популярности, не должен также ждать и любви, которой добиться нельзя. И если он хочет послушаться моего совета, то пусть сохраняет свое собственное достоинство, воздавая каждому лишь должное. Ненавидеть и преследовать его в этом случае будут не меньше, чем всегда, а презирать больше не станут.

L

В одной еврейской книге*, где собраны мысли и различные изречения, переведенные, как говорят, с арабского или, что по мнению других гораздо вернее, составленной самими евреями, между многими незначительными замечками есть, между прочим, и вот что. Один какой-то мудрец, когда некто ему сказал: "Желаю тебе добра", — ответил: "А почему бы и нет? Ведь мы с тобой не одной религии, ты мне не родственник, не сосед, не мой покровитель". Ненавидя себе подобных, мы особенно сильно ненавидим тех, кто более всего схож с нами. Молодые люди по тысячам причин более способны на дружбу, чем все другие. И тем не менее почти невозможно предположить дружбу между

двумя молодыми людьми, чья юность протекает одинаково. Я имею в виду то, что мы сейчас называем юностью, то есть время, посвящаемое главным образом женщинам. Между прочим, в юности такое менее возможно, чем когда-либо, как из-за накала страстей, так и из-за любовного соперничества и ревности, которые неизбежно должны возникнуть между ними, потому что чужие успехи у женщин, по замечанию мадам де Сталь*, всегда возбуждают неудовольствие даже в лучшем друге счастливица. За исключением денег, женщины — это именно то, из-за чего мужчины менее всего терпимы и сговорчивы и что изменяет привычки и характер знакомых, друзей, братьев. Ведь мужчины бывают друзьями, родственниками, даже могут быть человечными и порядочными перед алтарями, как справедливо говорит старинная пословица, но не перед деньгами и женщинами; ибо тут они становятся животными и дикарями. Во всем, что касается женщин, может быть, бесчеловечности и меньше, но зато и зависти гораздо больше, чем в денежных делах. Женщины больше всего задевают наше тщеславие или, лучше сказать, самолюбие, которое людям особенно дорого и особенно уязвимо. И, хотя каждый в подобных случаях сделал бы то же, тем не менее всякий раз, увидев, как некто улыбается женщине или говорит ей комплименты, все тотчас же начинают скрытно или явно над ним зло насмехаться. Поэтому, хотя половина наслаждения при успехах этого рода, как и при большинстве других успехов, состоит в возможности рассказать о них, — во всяком случае бывает неуместно, когда молодые люди разглашают свои любовные победы, особенно перед другими молодыми людьми. Ни о каком другом разговоре они не пожалуют затем более, чем об этом. И, в довершение всего, эти рассказы часто встречают издевками, хотя бы в них все было правдой.

LI

Если обратить внимание, как редко люди в своей деятельности руководствуются правильным представлением о том, что может им повредить или что может принести пользу, то станет очевидным, как легко может обмануться тот, кто, имея в виду угадать чье-нибудь решение, будет тщательно изучать, чем такое решение окажется выгодным ему или тем, от кого его ожидают.

Гвиччардини** в начале 17-й главы заметил по поводу предположений о том, что предпримет Франциск I***, король французский, после своего освобождения из крепости в Мадриде: может быть, говорившие более приняли во внимание то, что для него было всего разумнее, нежели природу и нравы французов — ошибка, в которую часто впадают люди, когда думают и судят о том, чего хотят или что сделают другие. Гвиччардини, может быть, единственный среди всех историков, кто хорошо знал людей и философствовал, опираясь на знание человеческой природы, а не некой политической науки, обособленной от позна-

ния человека и в большинстве случаев химерической, каковой обыкновенно и пользуются другие историки, особенно заморские и заальпийские, когда берутся рассуждать о фактах, а не просто пересказывать их один за другим без всякой мысли.

LI

Никого нельзя считать подготовленным к жизни, если он не научился считать за пустой звук любые обещания, от кого бы они ни исходили и как бы чистосердечны, торжественны и настоятельны они ни были. И не только обещания, но и те нескончаемые и живейшие настояния, с помощью которых многие стараются убедить нас в своих возможностях; при этом они еще и входят во все подробности и обстоятельства дела и в своих доводах отменяют любые трудности. Но если в конце концов, устав от назойливых увещаний, дав себя убедить или еще почему-либо ты позволишь себе признаться кому-нибудь, в чем ты нуждаешься, ты тотчас увидишь, как этот человек сразу побледнеет, а потом, переведя разговор на другое или отделавшись ничем не значащим замечанием, так и оставит тебя без определенного ответа. И еще долго после этого ты сможешь считать за большую удачу, если тебе посчастливится добиться встречи с ним или, если он вдруг ответит на твое письмо. Люди не хотят делать другим добро, так как это само по себе нелегко, да и нужды и несчастья знакомых почти каждому доставляют некоторое удовольствие, но они любят, чтобы их считали благодетелями, — любят, чтобы их благодарили, любят то чувство собственного превосходства, каковое рождается в них после благодеяния. Поэтому они предлагают то, чего не хотят дать, и чем более ты горд, тем настойчивее их предложения: во-первых, чтобы унижить тебя и вогнать в краску, а во-вторых, потому, что они меньше всего боятся, что ты примешь их предложение. Поэтому они с величайшею смелостью идут до самой последней крайности, презирая очевидную опасность оказаться обманщиками и надеясь, что за их предложением не последует ничего, кроме нашей благодарности; но первый же наш намек на просьбу обращает их в бегство.

LII

Бион*, античный философ, говаривал: хочешь угодить толпе, стань пирогом или сладким вином. Однако пока люди остаются людьми, этого-то несбыточного они как раз и будут добиваться всегда, причем как те, кто только говорит, так и те, кто уже даже верит, будто вовсе этого не добивается; и точно так же, покуда существует наш род, тот, кто лучше других познал человеческий удел, будет до самой смерти упорно стремиться к счастью и обещать себе его добиться.

Следует признать за несомненную аксиому, что, невзирая на полную очевидность и справедливость противоположного, человек никогда, разве только на самое короткое время, не перестанет в глубине души и даже втайне от всех считать истинным то, во что ему необходимо верить для спокойствия духа и, так сказать, для самой возможности жить. Старик, особенно если он возвращается в обществе, до последней минуты не перестает в тайниках своей души верить, а на словах опровергать свою веру в то, будто он является каким-то удивительным исключением из общего правила и необъяснимым образом сохранил еще некоторую способность производить впечатление на женщин: в самом деле, удел его был бы слишком жалок, позволь он полностью убедить себя в том, что навсегда лишился того блага, которое для человека из общества в конце концов, по зрелом рассуждении, и составляет главную цель жизни. Распутница, ежедневно по тысяче признаков догадываясь о том, какого о ней мнения в обществе, все же упрямо думает, будто все считают ее порядочной и будто только небольшое число посвященных (говорю — небольшое, из уважения к публике), как старых, так и новых, знает правду и скрывает ее решительно от всех и каждого. Человек низкий, и ввиду этой низости и трусости заискивающий перед чужим мнением, убежден, что его поступки объясняются в самую лучшую сторону и что их истинные мотивы никому не доступны. Точно так же в делах материальных, по наблюдению Бюффона*, больной пред ликом смерти не верит уже ни доктору, ни друзьям, но верит только своей последней надежде, которая сулит ему избавление от реальной опасности. Не говорю уже о поразительной доверчивости и недоверчивости мужей по отношению к своим женам, что дают пищу новеллам, комедиям, шуткам и постоянному смеху среди тех народов, у которых брак нерасторжим. Словом, в мире нет такой нелепицы или фальши, какой не приняли бы на веру даже очень умные люди, и так бывает всякий раз, когда душа не может примириться с тем, что ей противно, и в этом обрести покой. Не скрою, старики менее, чем молодые люди, склонны отказываться от веры в приятное и признавать справедливым оскорбительное; тогда как у молодых больше смелости, чтобы смотреть прямо в глаза злу, и больше готовности или смириться с ним, или погибнуть.

Над женщиной смеются, если она от чистого сердца оплакивает покойного мужа, но ее же будут сурово порицать, если она по необходимости или по какой-нибудь серьезной причине явится в общество или снимет траур на день раньше, чем принято.

Избитая, но неполная истина: общество довольствуется видимостью. Чтобы истина эта стала полной, следует присовокупить, что людей правда никогда не удовлетворяет, редко заботит, а нередко и возмущает. В древности человек стремился быть честным, а не казаться таковым; нынче же общество предписывает ему лишь казаться, а не быть порядочным.

LVІ

Откровенность тогда полезна, когда она преднамеренна или же когда ей отказываются верить, как чему-то диковинному.

LVІІ

Люди стыдятся не тех обид, которые они причиняют другим, а тех, которым они подвергаются сами: по этой причине нет иного способа пристыдить обидчика, кроме как отплатить ему его же монетой.

LVІІІ

У людей робких самолюбия не меньше, чем у дерзких; или, лучше сказать, его у них больше, и оно гораздо чувствительнее — отсюда и их робость; а задевать других такие люди остерегаются не потому, чтобы они уважали их больше, чем какой-нибудь наглец или невежа, а дабы самим не оказаться задетыми — настолько болезненна для них любая обида.

LIX

Уже не раз говорено, что чем меньше в обществе истинной добродетели, тем больше добродетели мнимой. Представляется, что той же судьбе подлежит и литература, когда видишь, насколько в наше время убывает если не потребность, то сама память о достоинствах стиля, и при этом в той же мере возрастает четкость типографской печати. Ни одно классическое произведение в прежние времена не печаталось так красиво, как ныне печатают газеты и всякие политические пустяки, которым жить-то не более дня; искусство же писать теперь уже неизвестно и даже название его почти забыто, и я думаю, что, принимаясь за чтение современной книги, любой порядочный человек пожалеет бумагу и изящные четкие литеры, какими набраны столь ужасные слова и столь по большей части пустые мысли.

LX

Лабрюйер* говорит совершенную правду, что уже добившийся славы автор скорее наделает шума посредственной книгой, чем прекрасная книга прославит безвестного автора. К сему можно присовокупить, что, пожалуй, самая прямая дорога к известности — это упорно и уверенно, изо всех сил создавать мнение, будто эта известность уже достигнута.

LXI

Простившись с молодостью, человек лишается способности самим своим присутствием влиять и, скажем так, вдохновлять других; а утратив это свойство молодости воздействовать на окружающих, которое притягивает и неизменно рождает особое расположение к нему, человек не без нового для себя чувства горечи осознает, что теперь, оказавшись в обществе, он как бы чем-то отделен от всех, а чувствительные души относятся к нему почти с тем же безразличием, каким они одевают людей бестолковых.

LXII

Первое условие готовности потратить свои силы именно тогда, когда нужно, — это очень дорожить самим собой.

LXIII

То представление, которое художник имеет о своем искусстве или ученый — о своей науке, обычно обратно пропорционально их понятию о собственном мастерстве.

LXIV

Тот художник, или ученый, или вообще ревнитель какого-либо дела, который привык соизмерять свой труд не с тем, что сделали другие, а с самим предметом своих занятий, тем ниже ценит себя, чем больших высот мастерства он достиг: ибо лучше познавая его глубины, он все менее остается доволен результатами такого сравнения. Посему-то почти все великие люди скромны: ибо они ведь непременно соизмеряют себя не с другими, но с тою идеей совершенства, которая владеет ими, будучи для них бесконечно яснее и величественнее, чем для толпы; при этом они всегда видят, насколько далеки от того, чтобы ее достигнуть. А заурядные люди обыкновенно, хоть иногда, может

быть, и справедливо, склонны верить, что они не только сравнялись с той идеей совершенства, какая доступна их душе, но уже превзошли ее.

LXV

Никакое общество не может нравиться долго, если только это не общество людей, чье уважение нам нужно или приятно. Поэтому, если женщины не хотят, чтобы их общество быстро перестало нам нравиться, они должны стараться стать такими, чтобы их уважение долго оставалось для нас желанным.

LXVI

В наш век полагают, что чернокожие своей расой и происхождением полностью отличаются от белых, но обладают вполне равными с ними человеческими правами. А в XVI в., когда верили, что чернокожие и белые происходят от одного корня и составляют единую семью, испанские богословы прежде всего настаивали на том, будто бы черным самой природой и Божьим соизволением уготовано гораздо меньше прав, чем нам. Но как тогда чернокожих продавали, покупали и заставляли в цепях гнуть спину под ударами бича, так и теперь делают то же. Вот какова она, наша этика; и вот как нравственные понятия претворяются в дела.

LXVII

Не совсем верно говорится, будто скука есть всеобщее зло*. Всеобщим злом является не скука, а бездеятельность или, лучше сказать, праздность. Скуке же подвержены только те, кто сохранил жизнь духа. Чем активнее этот дух, тем чаще посещает его скука, тем она тягостнее и страшнее. Люди по большей части могут довольствоваться чем угодно и получать удовольствие от любого нелепого занятия, и даже полная праздность может не очень тяготить их. Это объясняет, почему люди с чувствительной скукающей душой так редко находят понимание и почему они так смешат и изумляют толпу, когда жалуются на скуку и говорят о ней с той серьезностью, с какой пристало рассуждать о самом страшном и неизбежном из жизненных зол.

LXVIII

Скука — это едва ли не самое возвышенное из человеческих чувств. Не то чтобы я думал, будто, изучая это чувство, можно прийти к тем выводам, которые извлекли из него многие фило-

софы; и однако эта неспособность удовлетворяться чем бы то ни было земным и даже, так сказать, самой жизнью на земле, это умение охватить взглядом необозримое пространство космоса и сказочное множество миров и найти все это бесконечно малым по сравнению с необъятностью собственной души, этот дар воображения, позволяющий представить себе бесконечность мироздания и при этом ощущать, что наш дух и наши желания еще неизмеримей, чем вселенная, эти постоянные жалобы на пошлость и ничтожество и страдание от чувства пустоты — одним словом, такая скука кажется мне высшим проявлением величия и благородства, на какое только способна человеческая природа. Вот почему чувство скуки едва ли доступно людям ничтожным, другим же животным оно и вовсе неизвестно.

LXIX

Из знаменитого письма Цицерона, где он уговаривает Лукция* написать историю заговора Катилины, а также из другого, менее известного, но не менее любопытного письма, в котором император Вер** просит своего наставника Фронтонa описать, что этот последний и сделал, как сам Вер командовал важными действиями против парфян, — кстати, эти письма чрезвычайно похожи на обращения нынешних деятелей к журналистам с той лишь разницей, что ныне от них требуют газетных статей, а в древности упрашивали написать книги, — для нас явствует, насколько можно верить истории, даже когда ее пишут те, кто в свое время пользовался полным доверием.

LXX

Если вдуматься, то так называемые ребяческие заблуждения, кои присущи неопытной молодежи и тем, кто самой природой приговорен оставаться вечными детьми хоть в молодости, хоть в старости, по большей части состоят всего лишь вот в чем: все вышеназванные думают и поступают так, как если бы другие вокруг них не сохранили в себе ничего детского. В самом деле, когда хорошо воспитанные юноши только вступают в свет, их поражает прежде всего пустота повседневного времяпрепровождения, занятий, разговоров, интересов и стремлений взрослых: к пустоте этой они мало-помалу приспособляются, хотя и не без труда, поскольку им поначалу кажется, будто они вынуждены снова вернуться в детство. Да так оно и есть на самом деле: ведь едва молодой человек с хорошими задатками и образованием начинает, как говорится, жить, ему приходится, вопреки желанию, отступить назад и, так сказать, снова сделаться ребенком; и тут обнаруживается, что он жестоко ошибался, думая, будто

отныне ему надлежит насовсем распроститься с детством и быть во всем взрослым. Дело же все в том, что, напротив, люди вообще с годами никогда не избавляются полностью от ребячества.

LXXI

Из изложенного выше представления, которое складывается у молодого человека о людях взрослых, то есть из его убеждения, будто бы эти последние более зрелы, чем это есть на самом деле, проистекает тот испуг, какой возникает у юноши при всяком промахе, когда им овладевает уверенность, будто он навсегда утратил уважение тех, кто при этом присутствовал. Потом понемногу он успокаивается, не без удивления видя, что отношение к нему не изменилось. Но люди зрелые не так уж склонны отказывать другим в уважении, иначе им пришлось бы делать это на каждом шагу; к тому же они забывают чужие промахи, ибо слишком часто их наблюдают, да и сами постоянно совершают их немало. Кроме того, не настолько они последовательны, чтобы не восхищаться сегодня тем, что вчера сами же осмеивали. Ведь известно, насколько часто сами мы высмеиваем или порицаем кого-нибудь за глаза, притом подчас даже и в весьма резких выражениях, однако этот человек вовсе не теряет при этом нашего уважения, и в его присутствии мы обходимся с ним по-прежнему вполне учтиво.

LXXII

Если юношей легко завладевает ложный страх потерять уважение, то столь же легко поддается ложной надежде тот, кто действительно утратил его и при этом пытался поправить дело, расточая услуги и угождая тому, в чьих глазах он пал. Уважение же не есть плата за угождение: больше того, оно, равно как и дружба, подобно цветку, который никогда уже не оживет, если его засушить или раздавить ногою. Поэтому все эти, так сказать, униженные попытки приводят всего лишь к еще большей потере уважения. Правда, сносить чье бы то ни было пренебрежение, особенно незаслуженное, нам бывает настолько тягостно, что очень немного найдется таких людей, в ком достанет силы удержаться от разнообразных и по большей части вполне бесполезных попыток так или иначе избавиться от этой тяжести. А у людей ничтожных как раз есть это обыкновение высокомерно и презрительно обходиться с теми, кто не выказывает к ним интереса или чересчур предупредителен в обращении с ними, и, наоборот, заискивать и унижаться неподобающим образом при первом же знаке пренебрежения к их особе. Но это лишь еще одна причина, почему на чье бы то ни было презрение следует отвечать таким же или даже еще более сильным презрением: ибо совершенно очевидно, что тогда тот, кто вел себя надменно, прямо

у тебя на глазах превратится в смиренника. И уж, во всяком случае, он не преминет испытать в душе столь сильную обиду и одновременно столь сильное уважение к тебе, что это станет для него достойным наказанием.

LXXIII

Почти всех женщин, да и большую часть мужчин, а в особенности самых гордецов, легко завоевать и удержать в плену, пустив в ход равнодушие или презрение и даже, если необходимо, просто сделав вид, будто они нам безразличны или не заслуживают нашего внимания. Дело в том, что та же самая гордость, из-за которой очень многие обходятся высокомерно с теми, кто скромнен или оказывает им знаки внимания, как раз и заставляет их жадно искать уважения и благосклонности у тех, кто к ним безразличен или притворяется таковым. Из-за этого нередко, а скорее даже часто, и причем не только в любви, люди забавно меняются местами, и тогда то один, то другой попеременно сегодня пребывает в небрежении, а завтра он снова предмет заботы и внимания. Можно даже сказать, что подобная игра и перемена ролей так или иначе свойственны всякому человеческому обществу, так что во всякий момент нашей жизни вокруг нас полно людей, кои не отвечают взглядом на взгляд и приветствием на приветствие, и бегут от того, кто готов следовать за ними; но стоит повернуться к ним спиной или сделать недовольную мину, как они тут же оборачиваются, кланяются и мчатся за тобой следом.

LXXIV

К великим людям, и в особенности к тем, кто выказал свою необычайную мужественность, общество относится так же, как женщина. Оно ими не просто восхищается, оно их любит: это влюбленность, внушенная их пресловутой силой. Зачастую, как и у женщин, любовь к таким людям возрастает тем сильнее, чем больше они презирают окружающих, чем хуже они к ним относятся и чем глубже страх, который они внушают. Так, Наполеон пользовался во Франции безграничной любовью и стал для солдат своего рода объектом культа, хотя он называл их пушечным мясом и обращался с ними соответственно. И многих полководцев, чье мнение о людях и обращение с ними были такими же, при жизни обожали солдаты, а ныне ими восхищаются читатели исторических трудов. Некоторая грубость и странности поведения тоже в немалой степени притягивают многих, совсем как женщин влечет к тем, в кого они влюблены. Ахилл, к примеру, всем несомненно симпатичен, тогда как доброта и мудрость Энея и Готфрида, а заодно и Улисса*, способны породить едва ли не ненависть.

Да и во многих других отношениях женщина являет собой как бы воплощение всего общества в целом, ибо слабость есть свойство большинства людей; и это она заставляет многих относиться к тем немногим, кто наделен силой души, ума или тела, точно так же, как женщины относятся к мужчинам. Вот почему, чтобы покорить женщину и весь род человеческий, требуются одни и те же средства: соединяя в себе дерзость и нежность, мирясь со своеволием, бесстыдно и твердо стоя на своем, можно справиться и с женщинами, и с богатыми, и с наделенными властью, и так обстоит дело с большинством людей независимо от нации и столетия. Имея дело с женщиной, надо устранить соперников и близко никого не подпускать, и точно так же в обществе необходимо сразить и товарищей, и противников и подняться вверх по их телам; победить же их можно одним и тем же оружием, а именно клеветой и смехом. Но никогда не добьется успеха ни у женщин, ни у мужчин тот несчастный, кто любит их непритворно и горячо и кто их интересам приносит в жертву свои собственные. Мир, как и женщин, подчиняет себе тот, кто умеет соблазнить, наслаждаться и затем растоптать.

LXXVI

В мире нет ничего более редкого, чем человек, общение с которым, став привычным, не сделалось бы для нас невыносимым.

LXXVII

Всегда и везде на здоровье смотрят как на последнее из благ, и мало совершается в жизни поступков и важных дел, в которых соображения здоровья не рассматривались бы в самую последнюю очередь. Объяснить это, хотя бы отчасти, можно тем, что жизнь в принципе принадлежит здоровым людям, которые, как это обычно случается, пренебрегают тем, что имеют, или не верят в возможность его потерять. Вот только один пример из тысячи: самые разные причины определяют выбор места при закладке города и побуждают увеличивать его население; но при этом, пожалуй, никогда не принимается в расчет, насколько здорова выбранная местность. Напротив, на земле нет местности столь нездоровой или унылой, где бы люди из тех или других соображений не согласились добровольно поселиться. Часто самое здоровое, но не заселенное место соседствует с зараженным, но перенаселенным, и жители сплошь и рядом покидают вполне здоровые города и районы, чтобы перебраться под неприветливые небеса, подчас в пагубные для здоровья и даже чуть ли не зараженные места, куда их манят соображения удобства. Лондон,

Мадрид и другие подобные им города являются наихудшими в смысле здоровья, потому что, будучи столицами, они ежедневно увеличиваются за счет людей, покинувших свое вполне здоровое жилье в провинции. Да и в наших краях, в Тоскане, город Ливорно, сделавшись торговым, непрерывно рос и продолжает расти, тогда как расположенная рядом с Ливорно Пиза — место здоровое, знаменитое своим мягким, необычайно приятным климатом и очень многолюдное прежде, когда город был могущественным и обладал флотом, — теперь сделалась почти пустынной и с каждым днем теряет своих жителей.

LXXVIII

Когда в общественном месте или вообще в каком бы то ни было собрании двое или больше людей начинают смеяться, да так, что другие это замечают, хотя и не знают, в чем там дело, это вызывает у присутствующих такое беспокойство, что все, кто занят беседой, принимают серьезный вид, многие замолкают, кое-кто выходит из комнаты, а самые смелые придвигаются к смеющимся, чтобы самим посмеяться в их компании. Получается, как если бы в темноте люди внезапно услышали рядом с собой артиллерийский залп: если орудие заряжено ядрами, то все начинают метаться, не зная, куда будут направлены удары. Смех делает посторонних почтительными, он привлекает внимание всех окружающих и дает смеющимся известное превосходство над ними; если, как это бывает, тебе случится оказаться там, где на тебя не обращают внимания или обходятся с тобой невежливо и высокомерно, то выбери себе из присутствующих кого-то одного и с ним вместе посмейся над чем-нибудь уверенно и открыто, показывая всем своим видом, что смеешься ты от души; а если к тому же там есть такие, кто над тобой самым насмехался, то тебе следует посмеяться еще громче и дольше, чем они. Надо быть уж очень невезучим, чтобы, услышав твой смех, самые высокомерные и наглые из их компании, и все те, кто отворачивался от тебя, очень скоро не обратились бы в бегство или не запросили бы мира, не ловили бы каждое твое слово и не набивались бы тебе в друзья. Велика и страшна власть смеха над людьми — против нее каждый чувствует себя уязвимым. Кто не боится смеяться, тот и господин в обществе, и в этом он почти равен тому, кто не боится смерти.

LXXIX

Юноша никогда не научится искусству жить, не обретет прочного успеха в обществе и не получит от него никакого удовольствия, пока им будут владеть страсти. Чем холоднее делается его душа, тем более умело управляет он людьми и самим собою.

Природа проявила свою извечную мнимую доброту, устроив так, чтобы человек овладевал искусством жить лишь по мере того, как одна за другой исчезнут причины, которые и влекут его к жизни; природа положила, чтобы путь к своим целям он научился находить только после того, как они перестанут казаться ему блаженством небесным, и не раньше, чем достижение желаемого обернется для него более чем жалким удовольствием; она захотела, чтобы он не знал радости до тех пор, пока не утратит способность радоваться в полную силу. Ко многим это приходит, пока они еще достаточно молоды; и нередко у них все складывается удачно оттого, что они не имеют сильных желаний, ибо ум и опыт заранее помогли им обрести зрелость души. Другие же всю жизнь не могут достичь этого состояния: это как раз те немногие, в ком сила чувств изначально столь велика, что годы не властны ее ослабить; вот кто мог бы полнее других насладиться жизнью, если бы только природа предназначила эту жизнь для наслаждения. Вместо этого они-то и есть самые несчастные люди, и до самой смерти они по-детски неопытны и не могут научиться пользоваться жизнью.

LXXX

Когда по прошествии многих лет мне случалось встретить человека, которого я знал еще молодым, мне с первой же минуты казалось, будто бы передо мною некто, переживший страшное несчастье. Радостный и доверчивый вид бывает только в ранней юности: но чувство, что с каждым днем что-то уходит, а телесные недуги все усиливаются, кладет траурную печать на лица самых беспечных, жизнерадостных и счастливых, придает всему их виду то, что называют суровостью, но что при сравнении с обликом детства или юности выглядит как неподдельная печаль.

LXXXI

Во время беседы случается то же, что бывает с писателями: вначале многие из них нам необычайно нравятся тем, что мы находим у них новые мысли, особую манеру; потом, вчитавшись, мы впадаем в тоску, потому что все их писания суть повторения одного и того же. Так и нового участника разговора собеседники нередко принимают благосклонно и восторгаются его манерой говорить и смыслом им сказанного; но при долгом общении та же манера и те же речи наводят скуку и сильно теряют в наших глазах: дело тут в том, что все люди — одни больше, другие меньше — непременно повторяются, если не просто повторяют других. Вот почему люди путешествующие, в особенности если они наделены умом и владеют искусством вести беседу, легко

оставляют о себе там, где они побывали, мнение весьма лестное и далекое от истины, поскольку у них есть счастливая возможность скрыть обычный порок острых умов — их бедность. Ибо та часть самих себя, какую эти люди приоткрывают на миг или на несколько мгновений, когда говорят главным образом о близких им предметах, — а ведь только такого разговора ждут от них любезные и любопытные собеседники, — создает у слушателей уверенность, будто бы это еще не все их внутреннее богатство в его полном объеме, но только самая малая его часть, своего рода карманные деньги на каждый день, а не все состояние и даже не наибольшая его доля, как это чаще всего, пожалуй, и бывает на самом деле. И такая уверенность остается незыблемой, поскольку возможность ее развеять уже не представится. По той же самой причине и сами путешествующие тоже частенько впадают в подобное заблуждение, слишком высоко судя о более или менее одаренных людях, с которыми они сталкиваются во время своих странствий.

LXXXII

Никто не становится зрелым человеком, не пройдя через долгий период познания самого себя, ибо только такое знание может открыть человеку его Я, определить его мнение о себе и тем самым так или иначе предрешить его судьбу и место в жизни. Чтобы обрести это великое знание, без которого всякий беспомощен, как ребенок, образ жизни древних предоставлял огромные и бесконечные возможности; ныне же жизнь отдельного индивида так бедна событиями, да и в целом она такова, что большинство людей умирает до срока, так и не найдя возможности для познания самих себя и не расставшись с детским неведением. Другие же идут к знанию и обретению себя через лишения и горести или через великую, сильную страсть; чаще всего это любовь, но это должна быть великая, страстная любовь, а она бывает таковою далеко не у всех, кто любит. Но если такая любовь приходит, — в начале ли жизни, как это бывает у некоторых, или позднее, уже после других менее серьезных увлечений, что, по-видимому, случается чаще всего, — то переживший великую страстную любовь уже кое-что знает о себе подобных, с которыми ему довелось общаться и делиться своими жгучими, никогда прежде не испытанными желаниями и непреодолимыми стремлениями; он уже по опыту знает природу страстей, ведь одна из них уже пылает в нем, распалая своим огнем и все остальные; он уже познал свой собственный характер и свой темперамент; он знает меру своим способностям и силам; отныне он умеет уже распознать, насколько оправданны его надежды на себя и его разочарования, и, заглядывая в будущее, понять, какое место ему уготовано в этом мире. В конечном счете сама жизнь обретает в его глазах другие очертания, ведь для него она уже не

то, что он знал понаслышке или представлял в воображении, он видел ее своими глазами и испытал в действительности; он уже погрузился в нее и если не ощущает себя от этого более счастливым, то все-таки у него есть теперь больше сил и больше власти над собой и над другими.

LXXXIII

Если бы немногие истинно достойные люди, мечтающие о славе, близко узнали бы каждого из той самой публики, ради благосклонности которой они принимают столь тяжкие муки, то, можете мне поверить, они бы далеко не столь пылко стремились к цели, а возможно, и вовсе отказались бы от нее. Но, правда, душа наша не в силах вырваться из-под той власти, с какой давит на нее представление о большом количестве людей: не раз уж обнаруживалось, что мы готовы ценить и даже чтить волю не то что толпы, но хотя бы десятка лиц, собравшихся вместе, в то время как каждое из этих лиц само по себе мы ни во что не ставим.

LXXXIV

Иисус Христос первым четко указал людям, кто наставляет и поощряет нас в наших мнимых добродетелях, и хулит, и преследует истинные достоинства; кто враг всего, что есть в человеке благородного; кто насмехается над любым возвышенным чувством, если только не сочтет его за фальшивое, над любой нежной привязанностью, если поверит, что она коренится в самой душе; Иисус Христос указал нам на этого раба сильных, тирана над слабыми, ненавистника всех несчастных и дал ему имя "мир", которое вплоть до сего времени сохранили все культурные языки. Это общее понятие, полное глубокой истины, всегда было и будет в ходу, но я не думаю, чтобы оно возникло до Него или принадлежало кому-то, кроме Него, во всяком случае не припомню, чтобы у языческих философов оно было столь точным и обозначалось одним словом. Видимо, в их времена низость и обман еще не достигли степени зрелости и культура еще не добралась до той черты, за которой ее уже почти не отличишь от разложения.

Таков, в общих чертах, пресловутый культурный человек; таким он видится мне и таким предстал он Иисусу Христу: этого человека не понять ни разумом, ни инстинктом, не объяснить ни книгам, ни наставникам, для природы он остается чем-то из ряда вон выходящим, и только жизненный опыт позволяет узнать его и убедиться в его существовании. Стоит отметить, что, несмотря на отвлеченный характер такого понятия человека, оно полностью применимо к бесчисленному множеству отдельных индивидов.

В сочинениях язычников общность культурных людей, которую мы называем обществом, или миром, никогда не рассматривается ни как нечто враждебное добродетели, ни как растлитель добрых нравов и разрушитель прочных основ души. Мир как враг добра — это понятие получило всеобщую известность благодаря Евангелию и современным писателям, в том числе и светским, тогда как древним оно было совершенно незнакомо. И это не покажется удивительным, если принять во внимание довольно простой и очевидный факт, который может послужить как бы зеркалом для всякого, кто захотел бы сравнить в нравственном отношении древние и современные государства: дело в том, что если современные воспитатели нравов боятся всего общественного, то древних именно оно-то и привлекало; и если наши современники стараются оградить молодежь от чумы светских нравов картинами домашнего полумрака, отшельничества и уединения, то заботой древних было отвлечь молодых от одиночества, пусть даже прибегая для этого к силе, и воспитание, и жизнь молодежи происходили на глазах общества, а жизнь общества разворачивалась на глазах молодых, ибо в ней им виделась скорее полезная наука, нежели развращающий пример.

LXXXVI

Самое верное средство скрыть от других пределы собственных знаний — никогда этих пределов не нарушать.

LXXXVII

Тот, кто много путешествует, имеет перед остальными то преимущество, что предметы своих воспоминаний он быстро оставляет далеко позади себя, и они легко приобретают те неясные поэтические очертания, которые обычно им может придать только время. Тот же, кто никогда не путешествует, испытывает неудобство оттого, что его воспоминания связаны с предметами, которые всегда рядом, как и сами места, неотделимые от этих воспоминаний.

LXXXVIII

Нередко бывает, что люди тщеславные и преисполненные самомнения вопреки ожиданиям оказываются не черствыми душой себялюбцами, но кроткими, добрыми, компанейскими и даже весьма услужливыми друзьями. Думая, что все ими восхищаются, они испытывают вполне понятную любовь к тем, кого

считают своими поклонниками, они помогают им как могут, полагая, что именно к этому их обязывает авторитет, которым их наградила, по их мнению, судьба. Они охотно заговаривают с людьми, так как думают, что их собственное имя у всех в мире на устах; они любезны, так как в душе превозносят собственную обходительность и умение снизойти с высот своего величия к тому, что принято у людей маленьких. И еще я заметил, что с ростом их самомнения растет и их снисходительность к другим. В конце концов убежденность в собственной значимости и в том, что в ней уверен также и весь род человеческий, вытесняет из их манер какую бы то ни было резкость — вот почему никогда тот, кто доволен собой и людьми, не бывает резок или груб; по этой же причине они держатся настолько спокойно, что подчас вполне могут сойти за скромных людей.

LXXXIX

Кто мало общается с людьми, тот редко бывает мизантропом. Истинным мизантропом становятся не в уединении, а в обществе: ведь именно жизненная практика, а не философия заставляет ненавидеть людей. А если некто, будучи мизантропом, покинет общество ради уединения, то и мизантропия его покинет.

XC

Знавал я одного мальчишку, который всякий раз, как мать ему возразит, тотчас ей в ответ: "А, вот оно что, понятно, понятно: злая мама!" Не более логичны и суждения большинства людей о своих ближних, хотя мнения свои они не всегда высказывают столь же непосредственно.

XCI

Если некто взялся ходатайствовать за тебя и хочет, чтобы его рекомендация имела успех, пусть оставит в стороне самые существенные внутренние твои достоинства и говорит только о внешнем и малозначительном. Если ты признан и известен, пусть он скажет о твоём влиянии и известности; если богат, пусть говорит о богатстве; если у тебя нет ничего, кроме благородного происхождения, пусть говорит о благородстве, но ни о щедрости, ни о добродетели, ни о порядочности, ни о радушии и ни о чем подобном говорить не надо, разве только вскользь, хоть у тебя всех этих качеств было бы в избытке и притом самой высокой пробы. А если уж ты литератор, да к тому же кое-где уже получил известность, то сказать надо как раз об известности, а не о том,

какой ты глубокий, талантливый, опытный и крупный писатель; ведь, как я уже сказал в другом месте, мир ценит успех, а не достоинство.

ХСII

Жан Жак Руссо говорит, что настоящая вежливость состоит в привычке быть доброжелательным*. Может быть, такая вежливость и убережет тебя от ненависти, но любви ты с ее помощью не обретишь, разве только среди тех немногих, кого чужая благожелательность побуждает ответить тем же. Тот же, кто захочет с помощью приятного обхождения снискать себе дружбу и тем более любовь людей, должен показать, что он их уважает. Насколько презрение оскорбляет и отталкивает людей сильнее, чем ненависть, настолько же уважение им приятнее, чем доброжелательность; да и вообще люди обычно более озабочены тем, насколько их ценят, нежели тем, любимы ли они. На знаки уважения, как истинного, так и притворного (а те, кому они предназначены, всегда готовы им поверить), обычно отвечают благодарностью, и многие, кто не пошевелил бы и пальцем ради по-настоящему любящего их человека, готовы броситься в огонь ради всякого, кто только выкажет им свое уважение. Проявления уважения также в высшей степени действенны, когда надо загладить оскорбление, потому что, по-видимому, сама природа не велит нам ненавидеть тех, кто выразил нам свое уважение. А между тем мы знаем, что не только возможны, но и чрезвычайно часты случаи, когда люди начинают ненавидеть и избегать тех, кто их любит или делает им добро. Коль скоро искусство пленять души собеседников состоит в том, чтобы после разговора с нами они уходили более довольными собой, чем прежде, то вполне понятно, что знаки уважения более, чем наша благожелательность, способны расположить к нам людей. И чем менее это уважение будет заслуженно, тем неотразимее окажется его действие. Владеющего навыком такой вежливости всюду и всегда готовы носить на руках; люди, как мухи на мед, устремляются к нему, дабы испытать удовольствие от уверенности, будто он к ним относится с уважением. Более того, такого человека всегда превозносят до небес, ибо те похвалы, какие он в обществе расточает другим, порождают целый хор ответных похвал в его собственный адрес, вызванных отчасти благодарностью, а отчасти тем обстоятельством, что нам выгодно хвалить и почитать тех, кто нас самих почтил своим вниманием. Таким-то образом люди, вовсе не замечая того и даже, может быть, против своей воли, единодушно поют дифирамбы таким личностям, превозносят их в обществе и ставят гораздо выше самих себя, отвечая таким способом на их показную скромность.

XCIII

Многие, а может быть, даже и все, кто себе и знакомым своим кажутся людьми уважаемыми, на деле признаны и ценимы в том именно кругу, в той группе, в том классе людей, к которым они принадлежат и среди которых живут. Литератор, полагающий, будто он знаменит и почитаем во всем свете, обречен на пренебрежение или насмешки, если ему случится попасть в компанию людей легкомысленных, каковые и составляют три четверти общества. Молодой щеголь, любимец женщин и кумир своих сверстников, не вызовет интереса и окажется беспомощным среди деловых людей. Царедворца, с которым равные ему по положению или зависимые от него люди будут предупредительны сверх всякой меры, засмеют и оставят без внимания в компании бездельников. Отсюда я заключаю, что, строго говоря, человек может надеяться и должен стремиться завоевать уважение не так называемого общества, а только лишь небольшого круга людей; что до остальных, то ему надлежит смириться как с полной своей безвестностью, так и с более или менее выраженным равнодушием; иной же участи никому не дано.

XCIV

Кто никогда не выезжал из маленького городка, где царят мелкое честолюбие и грубая алчность вкупе с неугасимой ненавистью каждого ко всем, тому большие пороки, так же как и искренние, прочные общественные добродетели, представляются выдумкой, особенно дружба, ибо такой человек полагает, что она бывает в поэмах и рассказах, но никак не в жизни. Однако он ошибается. Я говорю не о Пиладах и Пирифоях*, а о сердечных и добрых друзьях, а таковые действительно встречаются в этом мире, и притом нередко. Прося таких друзей об услуге (а я говорю именно о тех, с кем мы на самом деле сталкиваемся в нашей жизни), можно рассчитывать на помощь словами, и зачастую она бывает в высшей степени нам полезна, а иногда и на помощь делами; материальная же помощь с их стороны крайне редка, а умному и осмотрительному человеку и не подобает просить о подобного рода услугах. Скорее уж найдешь человека, который ради постороннего рискнет жизнью, чем такого, кто согласится не то что потратиться, но даже рискнуть хоть одним грошом ради друга.

XCV

Но нельзя и не извинить людей за это: ведь редко у кого действительно есть что-то сверх того, в чем он нуждается, поскольку потребности почти исключительно зависят от привычек, а траты к тому же пропорциональны средствам, а частенько даже

и превышают их. Те же немногие, кто копит деньги, не тратя их, делают это из-за потребности копить, или чтобы осуществить свои планы, или чтобы избежать в будущем пугающей их нужды. Не имеет значения, что это потребности мнимые, — ведь очень мало в жизни такого, что полностью или частично не было бы мнимым.

ХСVI

С течением времени человек порядочный становится равнодушным к почестям и похвалам, но только, полагая, не к хуле и не к презрению. Более того, даже похвала и признание многих выдающихся людей не могли бы перевесить ту боль, которую причиняет ему презрительное слово или жест какого-нибудь ничтожества. Наверно, у мошенников все как раз наоборот: свыкнувшись с осуждением и будучи непривычными к похвале, они, видимо, останутся равнодушными к первому, но будут чутки ко второй, если вдруг таковую им доведется услышать.

ХСVII

Факт, который нам кажется парадоксальным, хотя жизненный опыт заставляет убедиться в его полнейшей достоверности: люди, которых французы называют оригиналами, — явление не только не редкое, но, напротив, настолько обычное, что, я бы сказал, самая большая редкость — это встретить в обществе человека, который действительно не был бы, что называется, оригиналом. Я говорю не о мелких различиях между людьми; я говорю о свойствах и поведении, которые у каждого отдельного человека особые, но всем остальным кажутся странными, нелепыми, абсурдными; и я скажу еще, что редко случается нам долго общаться с самой культурной личностью и не найти в ней и в ее поведении столько поразительных странностей, нелепостей и несообразностей, что впору диву даваться. Обнаружить их легко у всех, за исключением французов, и притом легче у людей зрелых и старых, нежели у молодых, ибо эти последние, как правило, претендуют на то, чтобы быть как все, и к тому же если они получили хорошее воспитание, то крепче держат себя в узде. Но рано или поздно то, о чем я говорю, обнаруживается у подавляющего большинства тех, с кем приходится общаться. Насколько же многообразна природа, и насколько бессильна перед нею культура в своем стремлении сделать людей одинаковыми, победив их естество!

ХСVIII

С изложенным мною выше наблюдением сходно следующее, а именно — что всякий, кто когда-либо имел дело с людьми, вспомнит, если постарается, как часто он бывал свидетелем,

а может быть, и участником сцен, которые при всей своей, так сказать, реальности ничем не отличаются от таких, каковы, будь они поставлены на театре в комедиях или описаны в романах, показались бы ненатуральными и придуманными ради художественного эффекта. Это означает всего лишь, что злодейство, глупость, всевозможные пороки, смешные свойства и действия людей суть вещи настолько более привычные, чем мы полагаем, что мы склонны считать неправдоподобным и чрезмерным только то, что выходит за эти привычные для нас рамки.

XCIX

Люди становятся смешными, как только им захочется казаться или быть не теми, кем они на самом деле являются. Бедняк, невежда, неотесанный мужлан, больной, старик не будут смешны, пока они остаются самими собой и пребывают в рамках этих своих качеств, но совсем иное дело, если старик пожелает сойти за молодого, больной — за здорового, бедняк — за богача, невежда — за ученого, неотесанный — за человека светского. Телесные недостатки сами по себе, какими бы тяжкими они ни были, не могли бы рассмешить по-настоящему, если бы страдающий ими не пытался их скрыть, то есть не старался бы показаться, так сказать, не таким, каков он в действительности. Если хорошо приглядеться, то можно заметить, что наши недостатки и неблагоприятные черты характера не смешны сами по себе, смешны же лишь те ухищрения, на какие мы пускаемся для их маскировки, да еще наше желание сделать вид, как будто у нас их никогда и не было.

Большую ошибку совершает тот, кто, ища расположения людей, силится создать видимость моральных качеств, которыми он не обладает. Усилия, которые вскоре невозможно будет не заметить, и постоянно проступающее несоответствие истинных и притворных качеств характера сделают такого человека гораздо более неприятным и оттолкнут окружающих сильнее, чем если бы он свободно и смело выказал свою сущность. В любом, даже самом плохом, характере есть неплохая сторона, которая проявится при благоприятных обстоятельствах и понравится гораздо больше, чем самая прекрасная, но притворная черта.

И вообще желание быть не тем, что ты есть на самом деле, вредит всему на свете: из-за него мы не терпим очень многих лиц, которые нам чрезвычайно понравились бы, согласись они остаться самими собой. И не только отдельных лиц, но и целые общества и даже целые народы: я даже знаю некоторые процветающие и культурные городки в провинции, где было бы очень приятно жить, если бы не их мерзкие потуги подражать столицам, то есть если б не их желание сделаться столицами, а не остаться провинциальными городками.

Возвращаясь к недостаткам и неблагоприятным чертам характера, которые могут быть у всякого, я не стану отрицать, что мир зачастую относится к ним подобно тем судьям, которым закон запрещает выносить приговор даже вполне уличенному преступнику, пока он сам полностью не сознается в преступлении. По правде говоря, хотя и смешны все наши явные усилия скрыть собственные недостатки, я бы не одобрил того, кто сразу добровольно стал бы признаваться в них; а еще менее достойно похвалы, когда кто-то чересчур усердно внушает окружающим, будто недостатки делают его гораздо презреннее и хуже, чем другие. Это все равно что добиваться вынесения самому себе окончательного приговора, который мир никогда не осмелился бы вынести, пока ты ходишь с гордо поднятой головой. В той борьбе каждого против всех и всех против каждого, которая — будем называть вещи своими именами — и составляет суть общественной жизни, поскольку возможность затоптать своего собрата тут предоставлена всякому, очень неправильно поведет себя тот, кто будет унижаться, падать на колени или добровольно склонит голову перед другими: вне всякого сомнения (если только все это не делается притворно из соображений стратегии), его тотчас подомнут под себя и схватят за горло его же ближние, начисто забыв о жалости и милосердии. В такую ошибку почти всегда впадают молодые люди, в особенности благородного нрава: дело в том, что они по любому поводу, без всякой необходимости и не к месту признаются в своих неудачах и промахах; отчасти их подталкивает к этому присущее их возрасту чистосердечие, от которого и проистекают их ненависть к притворству и удовольствие от того, что даже в ущерб себе они не отступили от истины; отчасти же, сами будучи великодушными, они верят, что и мир будет к ним милосерден и простит им их неудачи. И настолько эта золотая пора нашей жизни заблуждается относительно истинного положения человеческих дел, что даже и горести свои она готова выставить напоказ, полагая, будто этим можно обрести людское расположение и сочувствие. По правде говоря, думать так в высшей степени безрассудно, но только после долгих непрерывных испытаний эти благородные души смогут удостовериться в том, что мир скорее простит все что угодно, нежели неудачу; что не горестям, а удачам обязаны они своим успехом и потому не первое, а второе следует выставлять напоказ всегда и всюду, где только возможно, пусть даже и вопреки правде: признание же в своих бедах вызывает не жалость, а удовольствие, не сочувствие, а радость, причем не у одних только врагов, а у всякого, кто бы это признание ни услышал, — ведь таким признанием мы почти доказываем собственную нашу неполноценность и превосходство других людей над нами. Поскольку человеку на земле приходится рассчитывать только на собственные силы, никогда нельзя сдаваться или усту-

пать в чем бы то ни было, и еще менее того пристало ему полагаться на чужую милость; напротив, следует сопротивляться, обороняться до последнего и упорно удерживать, а то и отворачивать у судьбы то, чего никогда не уступит ему ни щедрость ближнего, ни его человеколюбие. Я со своей стороны думаю, что никто не должен допускать, чтобы его в глаза называли неудачником или несчастным: эти слова почти во всех языках всегда были и остаются синонимами неблагоприятного поведения, в какой-то мере из-за старинного поверья, будто бы несчастье посылается в наказание за подлые поступки; и правда, во всех языках эти слова навечно сделались обидными, так что всякий, кто их произносит, независимо от первоначального намерения, ощущает себя выше того, в чей адрес они произнесены, и точно так же воспринимает их всякий, при ком они говорят.

CI

Признаваясь в собственных, пусть даже очевидных, недостатках, человек гораздо больше вредит уважению и привязанности самых дорогих ему людей: значит, еще и поэтому необходимо твердо поддерживать свое положение и вопреки любой беде решительно и уверенно выказывать на людях веру в себя, своим примером внушая окружающим уважение к собственному достоинству. Ибо если уважение к личности не исходит от самой этой личности, то трудно себе представить, откуда еще оно может исходить; и если человек не находит твердой опоры в самом себе, то трудно себе представить, как он будет стоять на ногах. Человеческое общество подобно жидкостям: в них каждая молекула или пузырек давят на соседние, находящиеся снизу, сверху и со всех сторон, а эти, в свою очередь, давят на более дальние и сами испытывают такое же давление; но если в каком-либо месте сопротивление и давление ослабевают, в тот же миг туда яростно устремляется вся масса жидкости, и это место заполняется новыми пузырьками.

CII

В памяти каждого годы детства сохраняются как некое сказочное время его жизни; также и в памяти народов сказочные времена — это время их детства.

CIII

Расточаемые нам похвалы способны вернуть в наших глазах ценность тем качествам и свойствам, которые мы прежде в себе презирали, — достаточно только кому-нибудь похвалить нас за них.

Воспитание, которое получили, в частности, в Италии благонамеренные люди (а таких, по правде говоря, немного), есть настоящий вероломный удар, который слабость направляет против силы, старость — против молодости. Старики говорят молодым: избегайте удовольствий, свойственных вашему возрасту, ибо они опасны и противны добрым нравам, поскольку-де мы сами, смолоду вкусив их сполна и даже теперь будучи не прочь им предаться, уже сделались на это неспособными из-за преклонных годов. Не стремитесь жить настоящим; будьте покорны, терпите и трудитесь как можно больше, чтобы жить потом, когда у вас уже не останется для этого времени. Мудрость и честь требуют от юноши, чтобы он, насколько это возможно, не пользовался своей молодостью и нарушал это воздержание только для того, чтобы превзойти других в трудолюбии. Заботиться же о вашей судьбе и о всех других важных делах предоставьте нам, а уж мы все устроим к вашему же благу. Каждый из нас в ваши годы поступал как раз наоборот и готов был бы снова повторить то же самое, если бы молодость вернулась: но вы слушайте наши речи и не обращайтесь внимания на прошлые наши дела и намерения. Поступая так, верьте, что именно мы сведущи и опытни в делах житейских, и будьте счастливы. Не знаю, в чем еще состоят ложь и обман, если не в подобном обещании счастья несмышленным юнцам на таких условиях.

Нужды всеобщего общественного и частного спокойствия противоречат удовольствиям и порывам юности; поэтому и хорошее воспитание или то, что обычно под этим имеют в виду, заключается преимущественно в том, чтобы обманывать питомцев, дабы они подчиняли собственные нужды интересам других. Но помимо этого старики и по самой природе своей стремятся победить, изгнать из жизни юность, вид которой для них отвратителен. Во все времена старость плела заговоры против молодости, потому что во все времена людьми руководило низкое стремление осудить и наказать других за те преимущества, которыми им самим хотелось бы обладать. Но нельзя оставить без внимания тот факт, что среди воспитателей, которые клянутся как никто другой в мире заботиться о благе ближнего, имеется множество таких, кто старается лишить своих питомцев самого ценного в их жизни — юности. Еще более достойно нашего внимания то, что никто — ни мать, ни отец, ни кто-либо из наставников — никогда не испытывает угрызений совести из-за того, что они дали своим детям воспитание, основанное на столь вредном принципе. Мы, конечно, удивлялись бы этому гораздо больше, если бы издавна по самым разным причинам усмирение молодых не считалось похвальным делом.

Плодом такой злонамеренной заботы, направленной во благо пестуну и во вред питомцу, является то, что ученики, по-стариковски прожившие свои самые цветущие годы, оказываются

смешными и жалкими к старости, когда ими овладевает желание пожить так, как пристало лишь юношам; или, что случается чаще, победа остается за природою, и юноши, живя по-своему вопреки воспитанию, бунтуют против наставников, тогда как если бы эти последние поощряли юношеские склонности и удовольствия, они были бы в состоянии давать им нужное направление, пользуясь тем самым доверием, в котором их ученики никогда бы им не отказали.

CV

Изворотливость, присущая уму, весьма часто помогает восполнять недостаток этого самого ума и одерживать верх над его избытком у других.

CVI

Над тем, чем следовало бы восхищаться, мир смеется, а то, чему завидует, он осуждает, подобно Эзоповой лисице*. Великая любовная страсть, это великое утешение в великих горестях, повсюду вызывает зависть — вот почему ее так горячо осуждают. Благородным обычаем, геройским поступком следовало бы восторгаться, но если бы люди восторгались этим в себе подобных, то они чувствовали бы себя униженными, и потому вместо восторга они предаются смеху. И дело дошло до того, что в повседневной жизни стало обязательным с превеликим усердием скрывать не низкие, а благородные деяния, ибо низость присуща всем, и потому ее хотя бы прощают, а благородство — вещь непривычная и оттого притязает на похвалу, но ни публика, ни тем более близкие знакомые искренне не любят ее расточать.

CVII

Много глупостей говорится в компании только из желания поболтать. Но если уважающий себя молодой человек впервые появляется в обществе, он легко впадает в ошибку совсем иного рода: прежде чем заговорить, он ждет, пока ему в голову придет что-нибудь необычайно важное и красивое. И может случиться, что, прождав этого, он вообще не раскроет рта. Самый умный и самый живой разговор складывается преимущественно из легковесных и избитых высказываний, цель которых только в том и состоит, чтобы убить время за разговором. Каждому, следовательно, необходимо, набравшись духу, говорить в основном заурядные вещи, чтобы суметь сказать и что-нибудь исключительное.

CVIII

Пока человек еще не повзрослел, его главная забота — это выглядеть зрелым, а как только он станет таковым — казаться еще не повзрослевшим. Оливер Голдсмит*, автор романа "Векфилдский священник", в возрасте сорока лет вычеркнул из своего домашнего адреса титул доктора, настолько опостылело ему это доказательство собственной значительности, прежде весьма ему льстившее.

CIX

Человек бывает злодеем почти всегда ровно настолько, насколько это ему нужно. Если он ведет себя безупречно, то, значит, ему просто нет необходимости прибегать к злодеяниям. Я видел, как милейшие и безобиднейшие люди совершали самые чудовищные дела, дабы избежать некой губительной угрозы, которую не было возможности предотвратить иным способом.

CX

Забавно, что почти у всех весьма достойных людей манеры просты; при этом простые манеры почти всегда считаются признаком недостатка достоинства.

CXI

Обычай молчать, когда все беседуют, нравится и приветствуется лишь в том случае, если известно, что лицо, хранящее молчание, обладает в полной мере и смелостью, и умением, необходимыми для участия в разговоре.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Всегда был мил мне этот холм пустынный
И изгородь, отнявшая у взгляда
Большую часть по краю горизонта.
Но, сидя здесь и глядя вдаль, пространства
Бескрайние за ними, и молчанье
Неведомое, и покой глубокий
Я представляю в мыслях; оттого
Почти в испуге сердце. И когда
Услышу ветерка в деревьях шелест,
Я с этим шумом сравниваю то
Молчанье бесконечное: и вечность,
И умершие года времена,
И нынешнее, звучащее, живое,
Приходят мне на ум. И среди этой
Безмерности все мысли исчезают,
И сладостно тонуть мне в этом море.

ВЕЧЕР ПРАЗДНИЧНОГО ДНЯ

Безветренная, сладостная ночь,
Среди садов, над кровлями, безмолвно
Лежит луна, из мрака вырывая
Вершины ближних гор. Ты спишь, подруга,
И все тропинки спят, и на балконах
Лишь изредка блеснет ночной светильник;
Ты спишь, тебя объял отрадный сон
В притихшем доме; не томит тебя
Невольная тревога; знать не знаешь,
Какую ты мне рану нанесла.
Ты спишь; а я, чтоб этим небесам,
На вид столь благосклонным, и могучей
Природе древней, мне одну лишь муку
Пославшей, — чтобы им привет послать,
Гляжу в окно. "Отказываю даже
Тебе в надежде я, — она сказала, —
Пусть лишь от слез блеснут твои глаза".
День праздничный прошел, и от забав

Теперь ты отдыхаешь, вспоминая
Во сне о том, быть может, скольких ты
Пленила нынче, сколькими пленилась:
Не я — хоть я на то и не надеюсь —
Тебе являюсь в мыслях. Между тем
Я вопрошаю, сколько жить осталось,
И на землю бросаюсь с криком, с дрожью.
О, как ужасны дни среди цветенья
Такого лета! Но не вдалеке
С дороги песенка слышна простая
Ремесленника, поздней ночью — после
Вечернего веселья — в бедный домик
Идущего; и горечь полнит сердце
При мысли, что на свете все проходит,
Следа не оставляя. Пролетел
И праздник, а за праздником вослед —
Дни будние, и все, что ни случится
С людьми, уносит время. Где теперь
Народов древних голоса? Где слава
Могучих наших предков? Где великий
Рим и победный звон его оружия,
Что раздавался на земле и в море?
Все неподвижно, тихо все, весь мир
Покоится, о них забыв и думать.
В дни юности моей, когда я ждал
Так жадно праздничного дня, — и после,
Когда он угасал, — без сна, печальный,
Я крылья опускал; и поздно ночью,
Когда с тропинки раздавалась песня
И замирала где-то вдалеке, —
Сжималось сердце, так же, как теперь.

СОН

Настало утро. Из прикрытых ставен
Сквозь сумрак темной спальни пробирались
С балкона солнца первые лучи;
В тот час, когда особенно легко
И сладостно смежает веки сон,
Приблизилась и мне в лицо взглянула
Тень той, которая любовь впервые
Внушила мне, в слезах оставив после.
Казалась мне не мертвой, но печальной,
Как все несчастные; и, на чело
Мне руку положив, она спросила:
"Ты жив? Скажи, хоть тень воспоминанья
О нас хранишь?" — "Откуда, — я ответил, —
Ты появилась, милая? О, сколько

Я по тебе грустил; и я не верил,
Что можешь ты об этом догадаться,
И безутешна скорбь моя была.
Ужель ты здесь, чтоб вновь меня покинуть?
Мне страшно это! Что с тобою случилось?
Такая ль ты, как прежде? Иль твоя
Душа страдает?" — "Омрачен забвеньем
Твой ум, его окутывает сон, —
Она сказала. — Я мертва, ты видел
Меня в последний раз давно". Сдавила
Боль страшная мне сердце, как услышал
Я эту речь. Она же продолжала:
"Угасла я во цвете лет, когда
Особенно желанна жизнь и сердце
Еще не знает, сколь надежды тщетны.
И слишком мало удрученный смертный
Прошел, чтобы стремиться к той, чья власть
Освободит его от всякой муки;
И безутешной смерть приходит к юным;
И участь тяжела надежды той,
Что гаснет под землею. Тщетно знать
То, что таит природа от людей,
Не искушенных в жизни, и гораздо
Сильнее, чем их несозревший разум,
Слепая боль". — "О милая, — сказал я, —
Несчастливая, молчи, терзает сердце
Мне эта речь. Ты, значит, умерла,
Моя любовь, а я, я жив, и было
Предсказано судьбой, что смертный пот
Прекрасное чело твое омочит,
А у меня нетронутой пребудет
Вот эта оболочка? Сколько раз
Я думал, что тебя нет больше в мире
И что тебя не встречу никогда,
Но был не в силах этому поверить.
Что смертью именуется? Сегодня
На опыте узнать бы мог я это
И беззащитное чело избавить
От беспощадной ненависти рока.
Я молод, но, как старость, увядает
И гибнет эта юность. Жизни цвет
Похож на старость, что страшит меня
И все же далека еще. В слезах, —
Сказал я, — родились мы оба, счастье
Не улыбнулось нам, и небеса
Страданьем нашим насладились жадно;
Но козь слезой ресницы увлажнялись,
И бледность покрывала мне лицо
Из-за ухода твоего, и муку

Терплю досель, скажи мне, ты любви
Иль жалости к влюбленному несчастно
Хоть каплю выпила, когда жила?
Тогда влачил печально дни и ночи,
Да и сейчас в сомнениях напрасных
Рассудок гибнет. Если раз хотя бы
Боль за меня тебе сдавила сердце,
Не утай того, молю тебя,
Мне будет легче примириться с мыслью,
Что будущее отнято у нас".
Она в ответ: "Несчастный, ободрись,
Скупой на жалость не была тогда я,
Да и теперь ее не прячу — я
Сама была несчастна. Не рыдай
Над этой бедной девушкой отныне".
"Во имя всех несчастий и любви,
Терзающей меня, — воскликнул я, —
Во имя нашей юности и тщетных
Надежд позволь, о милая моя,
Твоей руки коснуться". И она
Печально, нежно протянула руку.
Я целовал ее и от блаженства
Томительного трепетал, к груди
Я, задыхаясь, прижимал ее.
Лицо мое покрылось потом, голос
Пресекся, день померк в моих глазах.
Тогда она, так ласково взглянув
В лицо мое, сказала мне: "О милый,
Ты забываешь, что красы своей
Лишилась я; и ты горишь любовью
Напрасно, друг несчастный, и трепещешь.
Теперь прощай! Отныне в разлученье
Пребудут наши души и тела,
Несчастные навеки. Для меня
Ты не живешь и больше жить не будешь;
Рок разорвал твои былые клятвы".
Тогда, от муки застонав, в слезах
Рыданий безутешных, ото сна
Освободился я. Но все в очах
Она стояла, и в луче неверном
Казалось мне, что видел я ее.

НОЧНАЯ ПЕСНЬ ПАСТУХА, КОЧУЮЩЕГО В АЗИИ

Что делаешь на небе ты, Луна?
Безмолвная, ответь.
Восходишь вечером, бредешь одна,

Пустыни созерцая, — и заходишь.
Ужель ты не пресытилась опять
Извечною тропой
Идти и вновь долины узнавать
Все те же под собой?
Не так ли пастуха
Жизнь тянется, как эта?
Встает он с первым проблеском рассвета,
Скотину гонит, видит
Стада, ключи и травы;
Потом, устав, во тьме смыкает вежды,
И ни на что другое нет надежды.
Ужели не гнетет
Жизнь эта — пастуха,
А жизнь твоя — тебя? Куда стремится
Путь краткий мой и твой извечный ход?
Старик седой и слабый,
Босой, полуодетый,
С вязанкой дров тяжелой за спиной,
Под ветром, под дождем, в полдневный зной,
По кручам, по долинам,
По камню, по песку, через кусты,
По леденящему покрову снега
Бежит и задыхается от бега;
Пересекает и поток, и топь;
Упав, встает; спешит все больше, больше,
Не смея отдохнуть;
В крови, изранен; наконец приходит.
Сюда его вели
Дорога и старанья:
Огромный, страшный перед ним обрыв.
Он низвергается, все вмиг забыв.
Гляди, Луна невиннейшая, вот
Как смертный человек внизу живет.

В мученьях он рождается,
В самом рожденье — сразу смерть таится.
Боль и страданье — первое, что он
Испытывает. С самого начала
Отец и мать его хотят утешить
В том, что родился он;
Потом он вырастает —
Они его лелеют; и потом
Словами и делами много лет
Приятное ему стремятся сделать,
Смысл бытия открыв, утешив этим:
По отношению к детям
Любовней долга нет.
Но для чего тогда рождать на свет

И для чего поддерживать жизнь в том,
Кто просит утешенья?
Коль жизнь людей несет несчастье им,
Зачем ее мы длим?
Светило целомудренное, вот
Как человек живет;
Но не из смертных ты,
И речь моя вотще к тебе плывет.
Но, странница извечная, одна,
Задумчивая, ты, быть может, знаешь,
Что есть земная жизнь,
Страданье наше, наши воздыханья;
И что есть смерть — что означает бледность
Последняя в лице,
И гибель всей земли, исчезновенье
Привычного, возлюбленного круга.
Конечно, понимаешь
Ты суть вещей и что земле несет
Закат или восход,
Бег времени безмолвный, бесконечный.
И знаешь ты, какой своей любви
Весна улыбку дарит;
Кто зная ждет и для кого зима —
Что темная тюрьма.
Тебе открыты тысячи вещей,
От пастуха простого скрытых тайной.
Порой, когда гляжу я на тебя,
Как ты безмолвно светишь на равнину,
У горизонта слившуюся с небом,
Или бредешь со стадом,
Как я, дорогой длинной;
Когда гляжу, как небосвод обилён
Созвездьями, и мыслю:
Зачем такое множество светил?
И беспредельность воздуха? и глубь
И ясность неба без конца? что значит
Огромная пустыня? что я сам? —
Так рассуждаю про себя: о зданье
Безмерном, горделивом
И о семье бесчисленной; потом
О стольких муках, о движеньях стольких
И на земле и в небе всяких тел —
Вращенью их отыщется ль предел?
Откуда двинулись — туда вернулись;
Разгадки не добиться,
Что пользы в том и где плоды. Но ты,
Ты знаешь все, бессмертная юница.
Мне ж — смысл один лишь ведом,
Что сей круговорот,

Что бренное мое существованье
Других, быть может, к благу и победам,
Меня же — лишь к несчастью приведет.

Ты счастливо, о дремлющее стадо,
Скрыт от тебя твой жалкий жребий. Как
Завидую тебе я!

Не потому лишь, что тебе не надо
Страдать; что все лишенья,
Страх, тяготы ты тотчас забываешь;
Но потому, что скуки отвращенья
К бегущим дням не знаешь никогда.

Ты на траве в тени —
Спокойно и довольно;
И большую часть года,
Не зная скуки, так проводишь ты.
Я ж на траву сажусь, укрытый тенью,
Но дух мой предается отвращенью,
Как бы ужален шпорой:

И мечется душа моя, которой
Покоя нет и места не найти.
А я ведь не желаю ничего,
И не было еще причин для слез.
Ты счастливо. Ответить мне на вопрос:
Чем счастливо и как? — мне не дано.
Я ж мало наслаждений знал еще,
О стадо, но не только это больно.
Когда б могло ты говорить, то я
Спросил бы лишь одно:

Скажи мне, почему
В благополучной праздности — довольство
Находят все наперечет,
А я — лишь отвращение и гнет.

Вот если б я в заоблачный полет
На крыльях мог умчаться,
Чтоб бездна звезд мне вся была видна,
Чтоб я, как гром, бродил в горах — я был бы
Счастливее, о сладостное стадо,
Счастливей, о безгрешная Луна!
Иль, может быть, не прав, когда гляжу я
На чью-то жизнь чужую;
Все так ли будет иль наоборот,
Родившимся — несчастья груз сполна
Их первый день несет.

ПОКОЙ ПОСЛЕ БУРИ

Вот миновала буря;
Я слышу, как ликуют птицы; снова
Выходит курица во дворик, повторяя
Стишок свой. И небес
Голубизна над той горой на юге
Растет; все очищается в округе,
И светлой кажется река в долине.
В сердцах опять веселье; там и тут
Шум слышен снова; все
Взялись за прежний труд.
Ремесленник с работою в руках
У двери появляется — взглянуть
На небо; погода
Выходит женщина с ведром к потоку
Недавнего дождя.
Торговец травами — переходя
С тропинки на соседнюю — опять,
Как прежде, принимается кричать.
Вернувшегося солнца луч принес
Холмам улыбку и усадьбам. Окна
И двери можно в доме распахнуть:
Я издали услышал
Звон бубенцов с дороги, скрип колес
Повозки, что опять пустилась в путь.
В сердцах веселье вновь.
В какое из мгновений
Бывает жизнь отрадней, вдохновенней?
Когда еще такая же любовь
К трудам своим людьми овладевает?
Толкает к новым? К прежним возвращает?
Когда еще их беды не тревожат?
Дитя боязни — радость;
Веселье тщетное —
Плод страха миновавшего, когда
Смерть угрожала тем,
Кому ужасна жизнь;
Когда, безмерно мучим,
Оборван, бледен, нем,
Перед препятствием могучим
Людской сдавался род
На милость молниям, ветрам и тучам.
О благосклонная природа, вот
Дары и наслажденья,
Что ты готовишь смертным,
Нам наслажденье нынче —
Преодолеть мученье;

Ты щедро сеешь муки, а страданье
Само восходит. Радость,
Из ужаса родившаяся чудом, —
Уже большая прибыль. Род людской,
Любезный тем, для коих смерти нет!
Ты счастлив даже лишку,
Коль дали передышку
Средь горя; и блажен,
Коль смерть тебя от всех врачует бед.

К СЕБЕ САМОМУ

Теперь ты умолкнешь навеки,
Усталое сердце. Исчез тот последний обман,
Что мнилсЯ мне вечным. Исчез. Я в раздумиях ясных
Постиг, что погасла не только
Надежда, но даже желанье обманов прекрасных.
Умолкни навеки. Довольно
Ты билось. Порывы твои
Напрасны. Земля недостойна
И вздоха. Вся жизнь —
Лишь горечь и скука. Трясина — весь мир.
Отныне наступит покой. Пусть тебя наполняют
Мученья последние. Нашему роду
Судьба умереть лишь дает. Презираю отныне,
Природа, тебя — торжество
Таинственных сил, что лишь гибель всему предлагают,
И вечную тщетность всего.

К ДРЕВНЕМУ НАДГРОБЬЮ, НА КОТОРОМ УСОПШАЯ ДЕВУШКА ИЗОБРАЖЕНА УХОДЯЩЕЙ В ОКРУЖЕНИИ БЛИЗКИХ

Куда идешь? Чей зов
Уводит вдаль тебя,
Прекраснейшая дева?
Для странствий кров отеческий одна
Ты вовремя ль покинула? Сюда
Вернешься ли? Украсишь ли досуг
Тех, что сейчас в слезах стоят вокруг?

Твои ресницы сухи, жесты живы,
Но ты грустна. Приятна ли дорога
Иль неприятна; мрачен ли приют,

К которому идешь ты, или мил —
 Ответа не дают
 Суровые черты.
Немилость ли небес снискала ты,
Любовь ли; счастлива ты иль несчастна —
Ни мне и никому, быть может, в мире,
 Увы, теперь не ясно.
То смерти зов; в самом рожденье дня —
Его последний миг. В гнездо свое
 Ты не вернешься. Вид
 Своих родных навеки
 Ты позабудешь. Место,
Куда ты направляешься, — Аид.
Там вечное пристанище найдешь ты.
Быть может, этот жребий и не плох,
Но всех, кто рядом, слышен скорбный вздох.

 Не видеть света вовсе,
Наверно, было б лучше. Но едва
Дожить до дней, когда лишь расцвела
 Девичья красота
 И облика, и стана,
 И то, что было далью,
 Вплотную подошло;
В огнях надежд, задолго до того, как
Явь бросила на светлое чело
 Тень мрачную свою, —
Как пар, который облачком несло,
Трепещущим у неба на краю,
Рассеяться, едва успев возникнуть,
Сменить на мрак могильный навсегда
 Грядущие года, —
Быть может, разум в этом видит счастье,
Но все же чувства жалости высокой
И скорби — избежать не в нашей власти.

О мать, внушающая страх и слезы
Извечно существам одушевленным,
Ты чудом (понапрасну восхваленным)
 Считаешься, природа,
Рождаешь ты и кормишь, чтоб убить;
 Но зло — уйти до срока,
За что на смерть ты обрекаешь тех,
Кому неведом ни единый грех?
 Что ж мучишь безутешным
 Страданьем и тоской
И тех, кто покидает мир до срока,
И тех, кто будет плакать одиноко?

Куда ни обратиться, везде несчастно
Потомство на земле!
Тебе угодно было,
Чтоб обманула жизнь
Надежду юную, чтоб скорбью полны
Катились волны лет и чтоб защитой
Была лишь смерть; неотвратимым знаком,
Законом непреложным
Поставила ее ты на пути.
Зачем хоть цель в конце столь тяжких странствий
Не сделала ты радостной? И то,
Что носим мы в душе,
В грядущее готовясь,
То, в чем единственная наша сила
Копилась к горьким дням,
Ты трауром увила
И окружила тучею ненастной —
И более ужасной,
Чем бури все, открыла гавань нам?
Коль уж и то несчастье,
Что смерти отдаешь ты
Всех нас, кого безвинно, против воли,
На жизнь ты обрекла, —
То впрямь умерших доле
Завидует оставшийся в живых,
Чтоб видеть близких смерть. И если правда —
А я уверен в этом, —
Что эта жизнь — несчастье,
А в смерти — благодать, то кто бы мог
Желать, чтоб наступил последний срок
Для близких (как судьбой предрешено);
Остаться, словно тело лишено
Себя же самого,
Глядеть, как от порога
Уносят человека
Любимого, с которым много лет
Провел; сказать "прощай" ему, хоть нет
Надежды никакой
На встречу в этой жизни;
Потом покинутым и одиноким
Вновь спутника бывшего вспоминать
В привычный час, в родном краю, в отчизне?
Как сердцу твоему, скажи, природа,
Хватает сил, чтоб вырвать
Из рук у друга — друга,
Из рук у брата — брата,
Детей — у их отцов,
У любящих — любимых, сохраняя
Жизнь одному, когда другой угас?

Зачем ввергаешь неизбежно нас
В такое горе — пережить, любя,
Велишь ты смертным смертных? Но природе
Приятно знать о чем-нибудь другом,
А не о нашем благе иль невзгоде.

ПАЛИНОДИЯ

Маркизу Джино Каппони

И в воздыханье вечном нет спасенья

Петрарка

Я заблуждался, добрый Джино; я
Давно и тяжко заблуждался. Жалкой
И суетной мне жизнь казалась, век же
Наш мнился мне особенно нелепым...
Невыносимой речь моя была
Ушам блаженных смертных, если можно
И следует звать человека смертным.
Но из благоухающего рая
Стал слышен изумленный, возмущенный
Смех племени иного. И они
Сказали, что, неловкий неудачник,
Неопытный в усядах, не способный
К веселью, я считаю жребий свой
Единственный — уделом всех, что все
Несчастливы, точно я. И вот, средь дыма
Сигар, хрустения бисквитов, крика
Разносчиков напитков и сластей,
Средь движущихся чашек, среди ложек
Мелькающих, блеснул моим глазам
Недолговечный свет газеты. Тотчас
Мне стало ясно общее довольство
И радость жизни смертного. Я понял
Смысл высший и значение земных
Вещей, узнал, что путь людей усеян
Цветами, что ничто не досаждают
Нам и ничто не огорчает нас
Здесь, на земле. Познал я также разум
И добродетель века моего,
Его науки и труды, его
Высокую ученость. Я увидел,
Как от Марокко до стены Китайской,
От Полюса до Нила, от Бостона
До Гоа все державы, королевства,
Все герцогства бегут не чуя ног
За счастьем и уже его схватили
За гриву дикую или за кончик

Хвоста. Все это видя, размышляя
И о себе, и о своей огромной
Ошибке давней, устыдился я.

Век золотой сейчас прядут, о Джино,
Трех парок веретена. Обещают
Его единодушно все газеты,
Везде, на разных языках. Любовь
Всеобщая, железные дороги,
Торговля, пар, холера, тиф прекрасно
Соединят различные народы
И климаты; никто не удивится,
Когда сосна иль дуб вдруг источат
Мед иль закружатся под звуки вальса.
Так возросла, а в будущем сильнее
Мощь кубов перегонных возрастет,
Реторт, машин, пославших вызов небу,
Что внуки Сима, Хама и Яфета
Уже сейчас летают так свободно
И будут все свободнее летать.

Нет, желудей никто не будет есть,
Коль голод не понудит; но оружие
Не будет праздным. И земля с презреньем
И золото, и серебро отвергнет,
Прельстившись векселями. И, как прежде,
Счастливое людское племя будет
Кровь ближних проливать своих: Европа
И дальний брег Атлантики — приют
Цивилизации последний — будут
Являть собой кровавые поля
Сражений всякий раз, как роковая
Причина — в виде перца, иль корицы,
Иль сахарного тростника, иль вещи
Любой другой, стать золотом способной, —
Устроит столкновение мирных толп.
И при любом общественном устройстве
Всегда пребудут истинная ценность
И добродетель, вера, справедливость
Общественным удачам чужды, вечно
Посрамлены, побеждены пребудут —
Уж такова природа их: всегда
На заднем плане прятаться. А наглость,
Посредственность, мошенничество будут
Господствовать, всплывая на поверхность,
Могущество и власть (сосредоточить
Или рассеять их) — всегда во зло
Владеющий распорядится ими,
Любое дав тому название. Этот

Закон первейший выведен природой
И роком на алмазе, и его
Своими молниями не сотрут
Ни Вольта, ни Британия с ее
Машинами, ни Дэви, ни наш век,
Струящий Ганг из новых манифестов.
Вовеки добрым людям будет плохо,
А негодяям — хорошо; и будет
Мир ополчаться против благородных
Людей; вовеки клевета и зависть
Тиранить будут истинную честь.
И будет сильный слабыми питаться,
Голодный нищий будет у богатых
Слугою и работником; в любой
Общественной формации, везде —
Где полюс иль экватор — вечно будет
Так до поры, пока земли приюта
И света солнца люди не лишатся.

И зарождающийся золотой
Век должен на себе нести печать
Веков прошедших, потому что сотни
Начал враждебных, несогласий прячет
Сама природа общества людского,
И примирить их было не дано
Ни мощи человека, ни уму,
С тех пор как славный род наш появился
На свет; и будут перед ними так же
Бессильны все умы, все начинанья
И все газеты наших дней. А что
Касается важнейшего, то счастье
Живущих будет полным и доселе
Невиданным. Одежда — шерстяная
Иль шелковая — с каждым днем все мягче
И мягче будет. Сбросив мешковину,
Свое обветренное тело в хлопок
И фетр крестьяне облекут. И лучше
По качествам, изящнее на вид
Ковры и покрывала станут, стулья,
Столы, кровати, скамьи и диваны,
Своей недолговечной красотой
Людские радуя жилища. Кухню
Займет посуда небывалых форм.
Проезд, верней, полет Париж — Кале,
Оттуда — в Лондон, Лондон — Ливерпуль
Так будет скор, что нам и не представить;
А под широким ложем Темзы будет
Прорыт тоннель — проект бессмертный, дерзкий,
Волнующий умы уж столько лет.

Зажгутся фонари, но безопасность
Останется такою же, как нынче,
На улицах безлюдных и на главных
Проспектах городов больших. И эта
Блаженная судьба, и эта радость —
Дар неба поколениям грядущим.

Тот счастлив, кто, покуда я пишу,
Кричит в руках у бабки повивальной!
Они застанут долгожданный день,
Когда определит научный опыт —
И каждая малютка с молоком
Кормилицы узнает это, — сколько
Круп, мяса, соли поглощает город
За месяц; сколько умерших и сколько
Родившихся записывает старый
Священник; и когда газеты — жизнь
Вселенной и душа ее, источник
Единственный познания всех эпох, —
Размножившись при помощи машин
Миллионным тиражом, собой покроют
Долины, горы и простор безбрежный
Морей, подобно стаям журавлиным,
Летающим над широкими полями.

Как мальчик, мастерящий со стараньем
Дворец, и храм, и башню из листочков
И щепок, завершив едва постройку,
Все тотчас рушит, потому что эти
Листочки, щепки для работы новой
Нужны, так и природа, доведя
До совершенства всякое свое,
Искусное подчас, сооруженье,
Вмиг начинает разрушать его,
Швыряя вокруг разрозненные части,
И тщетно было бы оберегать
Себя или другого от игры
Ужасной этой, смысл которой скрыт
От нас навеки; люди, изощряясь
На тысячи ладов, рукой умелой
Деянья доблестные совершают;
Но всяческим усилям вопреки
Жестокая природа, сей ребенок
Непобедимый, следует капризу
Любому своему и разрушенье
Все время чередует с созиданьем.
И сонм разнообразных, бесконечных,
Мучительных недугов и несчастий
Над смертным тяготеет, ждущим тупо

Неотвратимой гибели. Внутри,
Снаружи злая сила разрушенья
Настойчиво преследует его
И, будучи сама неутомимой,
Его терзает до поры, пока
Не упадет он бездыханный наземь,
Сраженный матерью своей жестокой.
А худшие несчастья человека,
О благородный друг мой, — смерть и старость,
Которые рождаются в тот миг,
Когда губами нежного соска,
Питающего жизнь, дитя коснется.
Мне кажется, что это изменить
Век девятнадцатый (и те, что следом
Идут) едва ли более способны,
Чем век десятый иль девятый. Если
Возможно именем своим назвать
Мне истину хоть иногда, — скажу,
Что человек несчастен был и будет
Во все века, и не из-за формаций
Общественных и установок, но
По непреодолимой сути жизни,
В согласье с мировым законом, общим
Земле и небу. Лучшие умы
Столетия моего нашли иное,
Почти что совершенное решение:
Сил не имея сделать одного
Счастливым, им они пренебрегли
И стали счастья искать для всех;
И, обрета его легко, они
Хотят из множества несчастных, злых
Людей — довольный и счастливый сделать
Народ; и это чудо, до сих пор
Газетой, и журналом, и памфлетом
Не объясненное никак, приводит
В восторг цивилизованное стадо.
О, разум, о, умы, о, выше сил
Дар нынешнего века проничать!
Какой урок познания, как обширны
Исследования в областях высоких
И в областях интимных, нашим веком
Разведанные для веков грядущих,
О Джино! С верностью какой во прах
Он в обожанье падает пред теми,
Кого вчера осмеивал, а завтра
Растопчет, чтоб еще чрез день собрать
Осколки, окурив их фимиамом!
Какое уважение и доверье
Должно внушать единодушье чувств

Столетия этого, вернее, года!
Как тщательно нам надобно следить,
Чтоб наша мысль ни в чем не отклонилась
От моды года этого, которой
Придет пора смениться через год!
Какой рывок свершила наша мысль
В самопознание, если современность
Античности в пример готовы ставить!

Один твой друг, о досточтимый Джино,
Маэстро опытный стихосложения,
Знаток наук, искусства критик тонкий,
Талант, да и мыслитель из таких,
Что были, есть и будут, мне сказал:
"Забудь о чувстве. Никому в наш век,
Который интерес нашел лишь в том,
Что обществу полезно, и который
Лишь экономикой серьезно занят,
До чувства нету дела. Так зачем
Исследовать сердца свои? Не надо
В себе самом искать для песен тему!
Пой о заботах века своего
И о надежде зрелой!" Наставленье,
Столь памятное мне! Я засмеялся,
Когда комичный чем-то голос этот
Сказал мне слово странное "надежда" —
Похожее на звуки языка,
Забытого в младенчестве. Сейчас
Я возвращаюсь вспять, иду к былому
Иным путем — согласен я с суждением,
Что, если хочешь заслужить у века
Хвалу и славу — не противоречь
Ему, с ним не борись, а повинуйся,
Заискивая: так легко и просто
Окажешься средь звезд. И все же я,
Стремящийся со страстью к звездам, делать
Предметом песнопений нужды века
Не стану — ведь о них и так все больше
Заботятся заводы. Но сказать
Хочу я о надежде, той надежде,
Залог которой очевидный боги
Уже нам даровали: новым счастьем
Сияют губы юношей и щеки,
Покрытые густыми волосами.

Привет тебе, привет, о первый луч
Грядущего во славе века. Видишь,
Как радуются небо и земля,
Сверкают взоры женские, летает

По балам и пирам героев слава.
Расти, расти для родины, о племя
Могучее. В тени твоих бород
Италия заблещет и Европа
И наконец весь мир вздохнет спокойно,
И вы, смеясь, привет пошлете, дети,
Родителям колючим, и не бойтесь
Слегка при этом поцарапать щеки.
Ликуйте, милые потомки, — вам
Заветный уготован плод — о нем
Давно мечтали: суждено увидеть
Вам, как повсюду воцарится радость,
Как старость будет юности счастливей,
Как в локоны завьется борода,
Которая сейчас короче ногтя.

ДРОК, ИЛИ ЦВЕТOK ПУСТЫНИ

И возлюбилша человецы паче тьму неже свет.

(Иоанн, 3: 19).

Здесь, на хребте Везувия бесплодном,
В сухой степи, где взор не веселят
Ни блеск цветов, ни бархат трав зеленых,
Где песни птиц веселых не звучат, —
Душистый дрок, один ты льнешь порою
К нагой земле невзрачною листвою...
О, верный друг покинутых полей,
Ты мне знаком: тобой я любовался
Среди равнин забытых и пустых,
Близ города, что некогда считался
Владыкою земли; о, сколько раз
Вид этих мест печальных в поздний час
В душе моей будил воспоминанья
О днях былых, о невозвратных днях
Погибшего могущества и славы!
И вот, опять в безжизненных песках,
Средь звонких плит окаменевшей лавы,
Где ползает в полдневный зной змея,
И кролик от нее спасается пугливый, —
Тебя я вижу вновь, и снова чую я
Твой аромат над стенью молчаливой.
И будишь ты опять в душе моей
Забытую печаль минувших дней...
Увы, здесь был когда-то край счастливый:
Колосья сочные качались на полях,
Паслись стада на пастбищах привольных,

В тени садов, во мраморных дворцах
Богач имел приют гостеприимный;
Здесь, на ковре невянувших лугов,
В венке из роз и гроздий винограда
Покоились жилища городов, —
Что сожжены со всем живым созданием
Везувия расплавленным дыханием.
Приди сюда, взгляни на этот прах,
Величия людей певец неутомимый,
И на седых, безжизненных камнях
Пропой свой гимн обычный и любимый:
Приди сюда, — здесь рок запечатлел
Величие и славу наших дел!

Да, пусть идет сюда, кто любит восхищаться
Тобой, о век кичливый и пустой!
Оставив путь великий и прямой,
Что мысль воскресшая тебе предначертала,
Ты воротился вспять; слепец, назад глядишь,
Но жалкой спеси полн, "вперед иду" кричишь!
О, пусть твои сыны, покорствуя судьбе
И над тобой смеясь, бесстыдно льстят тебе:
Пусть знаю я, что скорое забвеньё
Удел того, кто, сердца не щадя,
Клеймит свой век заслуженным укором,
Но я, я не мирюсь с тем, что зовут позором,
И прямо говорю — глубокое презреньё
К тебе, мой век, в душе питаю я!
Что сделал ты? мечтая о свободе,
Ты мысль поработил — залог ее святой!
Ты цепь сковал тому, что вопреки природе
Одно могло спасти мой край родной
Из мрака варварства и рабского косненья,
Одно могло поспорить с этой тьмой,
И нам блеснуть зарею обновления!
Суровой истины, что жребий твой убог,
Как жалкий трус, ты вынести не мог:
От веры ты бежал и трусом называешь
Того, кто служит ей, не слушая тебя,
И только одного великим считаешь, —
Того, кто, не щадя ни ближних, ни себя,
И всех и все равно насмешкою поносит,
Но жалкий жребий свой до неба превозносит!

Больной бедняк, но с честною душой!
Себя ты не зовешь ни сильным, ни богатым, —
Но нищий силою и доблестью святой
Открыто кажет нам убогий образ свой

И срама своего не только не стыдится,
Но даже им кичится...
Нет, не велик, но глуп в моих глазах,
Кто жизнь свою ходя на помочах,
Рожденный в немощи и вскормленный бедою,
Кричит, что избран он для счастья судьбою,
И счастье то сулит таким же, как и сам,
Униженным, бессильным беднякам,
Которых бурный вздох разгневанного моря,
Ток воздуха, отравленный чумой,
Иль глубины подземной содроганье
Могли б стереть, как прах, с коры земной,
Не сохранив от них воспоминанья!
О, нет, в ничтожестве земного бытия
Великого иным воображаю я...
В лицо судьбы вперив бестрепетное око
И презирая ложь, он правды не таит:
Открыто признает он смысл ее жестокий,
О мире зла свободно говорит.
В страданье тверд, взаимною враждою
С людьми не множит он своих скорбей;
Он не винит людей
В страданиях своих, как братьев по страданью,
Но верный своему высокому призванью
И полн любви, на помощь к ним идет
В борьбе за бытие, в борьбе с природой дикой...
Когда же ты придешь, воистину великий?

Я иногда брожу по этим берегам
Ночной порой, печальной думы полный,
И вдаль гляжу: как черной пеленой
Последнею широкою волной
Прилив их окаймил, и спят и дышат волны...
А надо мной, в прозрачной глубине,
Мирьяды звезд горят, и свет их льется в море;
Как в зеркале живом, в его просторе
Своей красой любятися они...
Горят... горят, — и нет конца их свету,
И силы нет их взорами обнять,
И нет ума их таинства понять!
И выше, выше все, от ярких и блестящих,
До светочей едва-едва светящих;
От них — туда, в мерцающий простор,
В надзвездный мир спешит мой жадный взор,—
Но тонет в облаках лучистого тумана,
Как слабый челн в пучине океана!
И мнится мне: что значишь ты, Земля,
И ты, наш мир, что мы зовем вселенной,

С твоей луной, со звездами, с твоим
Блистающим светилом золотым,
Пред кашлею единой океана —
Пред искрою лучистого тумана!
А ты, мой брат? А гордый гений твой?
Твои мечты бессмертья и свободы?
Твои дела? О, бедный царь природы,
Смеяться мне иль плакать над тобой?

Как с яблони осеннею порою,
Под тяжестью собственных соков,
Созревший плод, сорвавшись сам собою,
Случайно падает на гнезда муравьев
И губит их, мгновенно сокрушая
Их жизнь, добро, спокойный их приют
И все, что дал им неусыпный труд, —
Так из жерла гремящего вулкана,
Взрывая прах к далеким небесам,
Ночь ужаса, со стоном урагана,
Как фурия, внезапно поднялась
И, страшная — на землю пролилась
Кипящими и мутными ручьями,
Потоками огня, горячими песками,
И погребла под тяжестью своей
Сады и города, и пашни, и людей!
Века прошли с тех пор, как бедные селенья,
Погибшие в ту ночь, и города,
И тысячи людей исчезли без следа,
И преданы, как старый сон, забвенью...
Забутые могилы их давно
Убежищем для новой жизни стали,
И новые селенья возникали,
Как гнезда муравьев, у моря, под горой.
Прошли века, но все еще порой
Бледнеет и дрожит крестьянин бедный,
Подняв глаза к вершине роковой...
Как часто по ночам, сон чуткий прерывая,
Испуганный, с постели он встает
И слушает, сдержав свое дыханье...
И если ветерок до слуха донесет
Зловещее, глухое клочкотанье,
Иль вдруг вода в колодце закипит, —
Он вне себя от ужаса кричит,
Зовет жену, и, захватив с собою
Пожитки бедные, испуганных детей,
Бежит, как тать, с своих родных полей!
И часто, обратясь, с тоской неизъяснимой,
Несчастный, долго он следит издалека,

Как, медленно катясь, горящая река
И топит, и палит волной неукротимой
И сад его, и кров его родимый!

Прошли века. Из недр земли на свет
Вернулась вновь усопшая Помпея,
Как бы землей извергнутый скелет...
На улицах ее народ, теснясь толпою,
Пленяется ее могильной красотой:
Безмолвьем гробовым широких площадей,
Колоннами дворцов, резьбою галерей,
Театров и домов безжизненной громадой,
И форума разрушенной аркадой...
Но отчего ж порой, как будто чем смущен,
Стоит турист под этой колоннадой,
Взор устремив на дальний небосклон?
Там на него, сквозь длинный ряд колонн,
Дымясь, глядит, как призрак исполина,
Везувия двурога вершина...
Ужасный зев по-прежнему раскрыт,
Еще кипят в жерле потоки лавы, —
Безжизненным обломкам древней славы
Чудовище по-прежнему грозит!
И в поздний час, когда его дыханье
Во тьме ночной задышет вдруг огнем,
И отблески его разносятся кругом,
Как факелов зловещее мерцанье, —
В извилинах аркад и галерей
Змеится свет блуждающих огней...
Таков закон таинственной природы:
Медлительной, суровой чередой
Идут века, за ними вслед толпой
Изменчивых теней — и царства, и народы:
Но перемен не знает лишь она,
Бесстрастная, всегда себе верна!

И ты, мой дрок, пустыни гость отрадный, —
Придет пора, — погибнешь здесь и ты:
Подземный жар спалит твои листья,
И огненный поток поглотит жадно
Последнюю красу нагих степей...
Но все же ты счастливее людей:
Униженный, с трусливою мольбою,
Пред будущим, как раб, ты не стоял,
Ты с гордостью безумной не мечтал
Парить орлом под небом над землею,
И о бессмертии своем не помышлял.

НОВЫЕ ВЕРУЮЩИЕ

Мой друг Раньери! От моих писаний,
В которых я привык, как Соломон,
Жизнь называть исполненной страданий,
Сант-Эльмо в гнев пришел и Кьятамон,
И в Лавинайо их не одобряют,
И на Толедо множество персон.

Те, кто мощну на Рынке набивают,
И кто в кафе "Италия" весь год
За чашкой кофе чинно восседают,
И те, кого ослы почти что влет
В Сант-Эльмо вносят на крутые склоны —
В негодовании сошлись. И вот

Грозит войной Неаполь возмущенный
И жаждет макароны защитить:
Пуста ли жизнь, когда есть макароны?

Ах, этот вкус! Ну с чем его сравнить?
Лишь он один, без маковой росинки,
Насытит мир (коль правильно сварить).

Скажу ли о султанке и сардинке?
Вернее счастье можно ли сыскать,
Чем с устричной дружиной поединки
В кругу друзей? Чуть ночь — за ратью рать
Стекается к Святой Лючии, чтобы,
Заняв столы, при свете звезд опять
Дарами моря набивать утробы.
В защиту этих радостей земных
Заметнее исполненные злобой

Тех голоса, кто ведает о них
Не понаслышке, и без перерыва
Готов везде им научать других.

Со лба откинув купленную гриву,
Дыша зловонием на всех подряд,
Себя по ляжке хлопая спесиво,

С высокими словами, что летят
Из уст его каленою стрелою,
Стоит храбрец Эльпидий. Он богат
Любовью нимфы, что дарит красою
Полвека нас; найдя свой идеал,
Он будет счастлив вечно с ней одною!

Французам вслед он небо презирал,
Когда ж узнал, что стал иным обычай,
Как флюгер, вмиг благочестивым стал,
Зло распознал под тысячью обличий,
И воспылал усердьем и зовет
Меня "погибшим" и "врагом приличий".

Беседует с старухами, поет
Дев и Писанье, и за твердость в вере

Он, мнит, достоин рая. Смотрит в рот

Ему, как ученик, добряк Галерий,
Оборотясь мордою своею
(Козлиной, волей неба, в полной мере).

Он убежден, что смысл земных скорбей —
Быть нам во благо; и, к тому же, роком
Отставлен от Венериных затей,

Навек отставлен; к мыслям о высоком
Он, просветленный, обращен вполне:
О жребии людском, что взыскан оком

Господним, и об осиянном дне
Поет себе на радость: всюду с нами
Его труды, нас мучая вдвойне!

И вот, идя наставника стопами,
Он поразить бы молнией хотел
Меня, вооружась его словами.

"Прекрасен мир, Италия, удел
Земной блажен! — гнусавит он без ладу,
Словно во сне, — как ты роптать посмел?!"

В него давно проникла ртуть, в награду
К дурной болезни, что он подцепил,
И будет ползать, уподобясь гаду.

Еще вчера врагом Христа он слыл,
Теперь — его и прочих оскорбляет
То, что я горькой жизнь провозгласил.

И на того, кто только защищает
Иова с Соломоном, всех святых
С их житиями вместе напускает.

Спокойствие, о други! Вам до сих
Людских несчастий дела вовсе нету:
Несчастных не сыскать среди пустых

Голов. Слова за чистую монету
Не принимайте, ведь за них порой
Мой стих, не мысль, звать надобно к ответу.

Так объяснюсь же: не всегда людской
Печали есть небесная причина,
Ее ищите на земле самой!

Идут страданья, как тропой ослиной,
От колыбели, подле нас сам-друг,
Куда бы ни бросала нас судьбина!

И если к вам беда приходит вдруг,
Не слышать и не знать — для вас спасенье,
Защита верная от лишних мук.

Таким, как вы, неведомо сомненье —
Разбивший столько лучших душ утес.
Но, впрочем, у меня обыкновенья

Нет говорить впустую; вам принес
Тот промысел, барон в котором — Вито,
И тот, что столько женщин вверх вознес,

Все, чего ищут ваши аппетиты.
Но Бесконечности и Красоте
Дорога к сердцу вашему закрыта.

Вы — доблестные, сильные, вы — те,
Кто жизнью дорожит; мы — малодушны,
Горька нам жизнь, торопим смерть в мечте.

Вы — мудрецы, счастливчики, послушно
Все в мире вам одним. Смотря на вас,
Природа видит: вышло то, что нужно!

У неба и людей вы всякий раз
И ласку, и внимание найдете:

Невежество и глупость, как сейчас,

Вас сберегут, покуда вы живете.

НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ

Публикуются по изданию: *Леопарди Дж.* Этика и эстетика. М., 1978. С. 44—230. Перевод С. А. Ошерова.

"Нравственные очерки" создавались Леопарди с 1824 по 1832 г. Первые публикации отдельных диалогов относятся к январю, затем — к марту и апрелю 1826 г.: в журналах "Антолоджиа" и "Нуово ракольторе" напечатаны "Разговор Тимандра и Элеандра", "Разговор Христофора Колумба и Педро Гутьереса" и "Разговор Торквато Тассо и его демона". Первое издание "Очерков" вышло в 1827 г. в Милане у издателя Стеллы и включало первые двадцать произведений. Второе издание, появившееся во Флоренции у издателя Гульельмо Пьятти, относится к 1834 г.; в этом издании к опубликованным ранее произведениям добавлены "Разговор торговца календарями и прохожего" и "Разговор Тристана и его друга". В посмертное издание сочинений Леопарди, вышедшее в 1845 г. во Флоренции в издательстве Ле Монье, друг и душеприказчик Леопарди писатель Антонио Раньери, подготавливавший это издание, прибавил "Апокрифический фрагмент из Стратона Лампсакского", "Коперник" и "Разговор Плотина и Порфирия" и, выполняя волю поэта, снял диалог "Разговор читателя классических авторов и Саллюстия". Этот состав "Нравственных очерков" признается каноническим. В основу настоящего перевода положен текст итальянского издания: *Opere di Giacomo Leopardi. A cura di Giovanni Getto. Ugo Mursia ed. Milano, 1966.*

История рода человеческого

Написано в Реканати между 19 января и 7 февраля 1824 г. Впервые напечатано в издании Стеллы (1827).

С. 22. *Младенец Зевес (Зевс), спрятанный от Кроноса на Крите, был вскормлен молоком божественной козы Амалфеи.

С. 23. *Перифраза слов Лукреция:

...отвращеньем полны и к жизни и к свету дневному,
От безысходной тоски они сами себя убивают.

("О природе вещей", III, 79—81. *Перев. Ф. Петровского.*)

****Жажда бесконечности, присущая человеку, — одно из основных положений этики Леопарди:** "Наша тяга к бесконечному, непонятная для нас самих, проистекает, быть может, от весьма простой причины, скорее материальной, чем духовной. Человеческая душа... всегда желает прежде всего и стремится единственно к удовольствию (хотя и в тысяче разных видов) или же к счастью, которое, если присмотреться как следует, тождественно удовольствию. Это желание и это стремление не имеют пределов, поскольку они врождены нам и неотделимы от нашего существования и поэтому не могут окончиться на том или ином удовольствии, которое не может быть бесконечным, а оканчиваются лишь вместе с жизнью" (Дневник размышлений, 165).

С. 24. *Рассказ об *Атлантиде* почерпнут Леопарди у Платона. В "Опыте о народных заблуждениях древних" поэт писал: "Немало говорилось и о знаменитой Атлантиде, упомянутой Платоном и расположенной, как он писал, против Геркулесовых столпов, размерами превышавшей Азию и Африку, взятые вместе, и поглощенной страшным землетрясением и дождем, лившим без перерыва день и ночь (Платон в "Критии" и в "Тимее")".

****В примечании к этому месту Леопарди ссылается на античных авторов:** Геродота, Страбона и других. Однако источником для самого Леопарди послужило выписанное им в Дневник место из книги французского знатока древностей Жана Жака Бартеlemi (1716—1795) "Путешествие юного Анахарсиса" — своеобразного путеводителя по Древней Элладe (Дневник размышлений, 2671).

*****Скрытая полемика с христианским учением о грехопадении и первородном грехе.**

******Миф о потопе, которым Зевс наказал смертных, и о Девкалионе и Пирре, спасшихся от потопа и вновь заселивших землю людьми, родившимися от бросаемых ими за спину камней, Леопарди почерпнул из "Метаморфоз" Овидия (I, 244—415).**

С. 26. ****Племя калифорнийцев, судя по тому, что сообщают о нем путешественники, живет жизнью более естественной, чем то кажется — не скажу даже вероятным, но возможным среди рода человеческого. Многие стараются принудить это племя жить общественной жизнью, и нет сомнения, что по прошествии времени их предприятие увенчается успехом; однако пока что твердо известно, что ни одно племя не выказало меньшего желанья чему-либо учиться в школе европейцев"** (примеч. Леопарди).

****Слово "демон" употреблено здесь в платоновском смысле. У Платона демоны — "истолкователи и посредники между людьми и богами", они передают "богам молитвы и жертвы людей, а людям наказы богов и награждения за жертвы" ("Пир", 202 е).**

С. 31. * Еще одна деталь платоновского мифа, разработанного в "Пире": "...коль скоро Афродиты две, то и Эротов должно быть два. А этих богинь, конечно же, две: старшая, что без матери, дочь Урана, которую мы и называем поэтому небесной, и младшая, дочь Дионы и Зевса, которую мы именуем пошлой. Но из этого следует, что и Эроты, сопутствующих обеим Афродитам, надо именовать соответственно небесным и пошлым" ("Пир", 180 d—e).

С. 32. *В флорентийском издании 1834 г. после текста шло примечание автора, объясняющееся, вероятно, требованиями цензуры: "Автор предупреждает, что ни в этой притче, ни в следующих за ней он нигде не намекает ни на Моисееву историю, ни на евангельскую историю, ни на одно из преданий и учений христианства".

Разговор Геркулеса и Атланта

Написано в Реканати между 10 и 13 февраля 1824 г. Впервые напечатано в издании Стеллы (1827). В этом диалоге наиболее явственно проявилось влияние Лукиана, отмечаемое и самим Leopardi (см. Дневник размышлений, 1394).

С. 32. ***Атлант* — один из титанов, восставших против Зевса; в наказание должен был держать на плечах небосвод. "Хотя об Атланте чаще всего говорят, что он держит небо, тем не менее из первой песни "Одиссеи", ст. 52 и далее, и из "Прометея" Эсхила, ст. 347 и далее, можно видеть, что древние воображали себе, будто он держит и землю" (примеч. Leopardi).

***Геркулес явился к Атланту и взял на себя его ношу в то время, когда совершал свой одиннадцатый подвиг — добывал золотые яблоки из садов Гесперид, дочерей Атланта.

****Намек на открытие сплюснутости Земли у полюсов, подтвержденное градусными измерениями, которые были проведены в 1735—1736 гг. экспедициями, снаряженными Французской академией в Северное и Южное полушария.

С. 33. **Эпименид* — полумифический критский жрец, прорицатель и поэт (VII в. до н. э.), якобы проспавший пять лет в зачарованной пещере. В примечании к его имени Leopardi ссылается на Плиния Старшего, Диогена Лаэртца, Плутарха.

***Гермотим* — греческий философ (VI—V вв. до н. э.); приводимый Leopardi легендарный рассказ о нем излагается у Лукиана ("Похвала мухе", 7), Плиния Старшего ("Естественная история", VII, 52) и у других авторов.

***Имеются в виду специальные перчатки для игры в мяч — с продолжавшими пальцы планками и натянутыми между ними перепонками; такие перчатки использовались как ракетки.

****Сын Аполлона *Фазтон*, вызвавшийся управлять колесницей отца и чуть было не спаливший весь мир, был низвергнут молнией Зевса в мифическую речку Эридан, позднее отождествленную с Падом (ныне По) в Италии.

С. 34. **Оры (Горы)* — богини часов и времен года, запрягавшие колесницу Солнца.

***Андромеда, Каллисто* — мифические героини, превращенные в созвездия; Андромеда до сих пор сохраняет свое название, Каллисто была превращена в Большую Медведицу.

***Намек на обычай вечерних катаний на Корсо в Италии, во время которых сидящие в экипажах перебрасывались букетиками цветов и конфетти.

**** Древние географы приписывали происхождение Мессинского (между Италией и Сицилией) и Гибралтарского (между Испанией и Африкой) проливов геологическим катастрофам.

***** *Стикс* — река в подземном царстве, водами которой клялись боги.

***** *Август* (63 до н. э. — 14 н. э.) — первый римский император, друг и покровитель Горация, Вергилия и других поэтов. Его обожествление действительно имело в виду политические цели.

С. 35. *Гораций, Оды, III, 3:

Пускай весь мир, распавшись, рухнет —
Чуждого страха сразят обломки.

(Перев. Н. Гинцбурга)

** *Атлант* говорит здесь о себе как о горé, в которую он был превращен, согласно некоторым мифам (Атласские горы). Зевс, метнув молнию, превратил его в огненную гору, подобную Этне.

Разговор Моды и Смерти

Написано между 15 и 18 февраля 1824 г. Впервые напечатано в издании Стеллы (1827).

С. 35. *** Цитата из канцоны Петрарки "Прекрасный дух, живящий это тело" ("Книга песен", LIII, 77).

**** Намек на поэму Петрарки "Триумф смерти".

С. 36. * Имеется в виду, что смерть бесчувственна, а значит, глуха и слепа.

** "По поводу этого обычая, равно присущего многим диким народам, силой изменять форму головы, примечательно одно место у Гиппократ из "De aëre, aquis et locis" ("О воздухе, водах и местностях"), где говорится об одном из племен Понта, именуемом макроцефалами, то есть длинноголовыми; в племени был обычай перевязывать головки младенцев таким образом, что они получались длинными насколько возможно; потом, когда это было оставлено, младенцы по-прежнему рождались с длинными головами, потому что, как говорит Гиппократ, таковы были их родители" (примеч. Леопарди).

*** Так поступали китайки в старом Китае; об этом обычае Леопарди говорит в Дневнике, 1405.

С. 37. * Намек на слова Горация в его знаменитой оде III, 30 ("Создал памятник я"):

Нет, не весь я умру, лучшая часть меня
Избежит похорон.

(Перев. С. Шервинского)

Награды, предложенные Академией силлографов

Написано в Реканати между 22 и 26 февраля 1824 г. Впервые напечатано в издании Стеллы (1827).

С. 38. **Силлогграфы* — сочинители памфлетов (греч.).

**Цитата из поэмы итальянского поэта-сатирика Джованни Баттисты Касты (1724—1803) "Говорящие животные".

С. 39. *Перифраза строк Горация:

Тот, кто на друга возводит поклеп; кто слышит о друге
Злые слова и не хочет промолвить ни слова в защиту;
Тот, кто для славы забавника выдумать рад небылицу
Или для смеха готов расславить приятеля тайну.

(Сатиры, I, IV, 81—84. Перев. М. Дмитриева)

**Имеются в виду трактат Цицерона "Лелий, или О дружбе", где доказывается, что она возможна лишь между людьми достойными, и "Трактат о дружбе" французской писательницы Анны де Ламбер (1647—1733).

****Реджомонтано* (наст. имя и фам. — Иоганн Мюллер, 1436—1476) — немецкий астроном и математик, изобретатель астрономических и навигационных приборов. *Вокансон Жак* (1709—1782) — французский механик, создатель автоматов, из которых наибольшей известностью пользовались "Играющий на флейте" и "Утка".

*****Пифийские оды*, VIII, 136.

******Альберт Великий* (ок. 1193—1280) — знаменитый философ и теолог, занимавшийся также механикой, астрономией, медициной и химией. Его учеником был величайший представитель схоластической науки *Фома Аквинский* (1225—1274).

*****Намек на поэму Луи Грессе (1709—1777) "Вервер" о попугае, жившем в женском монастыре и случайно обучившемся непристойным ругательствам.

С. 40. **Пилад* и *Орест* — мифические герои, чьи имена стали символами верной дружбы. Орест, сын Агамемнона, убивший свою мать Клитемнестру, был преследуем Эриниями; Пилад сопровождал его во всех скитаниях и делил с ним все тяготы.

***Бальдассар Кастильоне* (1478—1529) — итальянский писатель, прославившийся своим трактатом "Придворный" (1528), в котором нарисован образ придворного, отвечающий ренессансному идеалу универсального человека. Четвертая книга трактата посвящена описанию идеальной придворной дамы.

****Пигмалион* — мифический скульптор, влюбившийся в одну из изваянных им статуй, которую затем боги оживили по его мольбе.

*****Метастазио* (Пьетро Трапасси, 1698—1782) — итальянский драматург, прославившийся своими оперными либретто. Леопарди намекает на слова из его драмы "Деметрий": "О верность влюбленных, ты как феникс арабский: все твердят, что ты есть, только где — неизвестно".

*****Имеются в виду знаменитый роман *Апулея* (ок. 125—180), его перевод, сделанный тосканским новеллистом *Фиренцуолой* (1493—1543), и поэма Никколо *Макиавелли* (1469—1527).

Разговор сиффа и гнома

Написано в Реканати 2—6 марта 1824 г. Впервые напечатано в издании Стеллы (1827).

С. 41. **Сабазий* — фракийское божество, позже отождествленное с Дионисом и Юпитером; чтился также как одно из божеств подземного царства.

***Законы Ликурга* — древнейшие спартанские законы, по которым предписывалось чеканить тяжелую железную монету, чтобы никто не мог накопить много денег.

***Имеется в виду "архисверхтрагическая трагедия" венецианского поэта Заккариа Валарессо (конец XVII в. — 1769) "Руцванскад Младший" (1724), пародия на некоторых поэтов, пытавшихся ввести в Италии трагедию в духе классицизма.

С. 43. **Хрисипп* (ок. 281—208 до н. э.) — греческий философ, один из родоначальников стоицизма. Леопарди в примечании к этому месту приводит следующую цитату из Цицерона: "Но что же есть свинья, как не еда, в которую, как говорит Хрисипп, вместо соли вложена душа, чтобы мясо не протухло" ("О природе богов", II, 64).

С. 44. *См. "Георгики", I, 466—467:

В час, когда Цезарь угас, над Римом сжалилось солнце,
Скрыло сверкающий лик в тумане темно-багровом.

**У подножия этой статуи был заколот Цезарь.

Разговор Маламбруно и Фарфарелло

Написано в Реканати 1—3 апреля 1824 г. Впервые напечатано в издании Стеллы (1827).

С. 44. **Атриды* — род микенских царей, родоначальником которого был Пелоп; к нему принадлежали Агамемнон и Менелай.

***Город Маноа* — "сказочный город, иначе именуемый Эльдорадо; его придумали испанцы и полагали, будто он находится в Южной Америке между реками Ориноко и Амазонкой" (примеч. Леопарди).

С. 45. **Джудекка* — четвертый пояс круга девятого в Дантовом аде; *Злые Щели* — восьмой круг ада.

Разговор Природы и Души

Написано в Реканати между 9 и 14 апреля 1824 г. Впервые напечатано в издании Стеллы (1827).

С. 46. *Ср. Дневник, 649 (запись 12 февраля 1821): "Будь великим и несчастным — эти слова Д'Аламбера, "Похвальное слово Французской Академии"... — природа обращает к великим людям, к людям чувствительным, страстным и т. д.; они особенно живо чувствуют жажду счастья и мучаются от этого". В действительности слова Д'Аламбера взяты не из "Похвального слова Французской Академии", а из "По-

хвального слова Саси", где сказано: "Он не стер того блистательного, но жестокого клейма, которое природа, рождая необыкновенного человека, как кажется, запечатлевает... на его челе: будь великим человеком и будь несчастен".

Разговор Земли и Луны

Написано в Реканати 24—28 апреля 1824 г. Впервые напечатано в издании Стеллы (1827).

С. 49. *Намек на мифических детей Геи-Земли: титанов, циклопов, сторуких, Понта, Неря и других.

**Намек на слова Вергилия из II книги "Энеиды", переведенной Леопарди: "сквозь дружелюбное безмолвие молчаливой луны" (ст. 255).

С. 50. *Сведения относительно учения Пифагора о "музыке сфер" и мировой гармонии сохранились у многих античных авторов. Леопарди в примечании к этому месту приводит следующую цитату из Цицерона ("О государстве", VI, XVIII, 18, "Сон Сципиона"): "А что это за звук, такой громкий и такой приятный, который наполняет мои уши?" — "Звук этот... разделенный промежутками неравными, но все же разумно расположенными в определенных соотношениях, возникает от стремительного движения самих кругов и, смешивая высокое с низким, создает различные уравновешенные созвучия. Ведь в безмолвии такие движения возбуждаться не могут, и природа делает так, что все, находящееся в крайних точках, дает на одной стороне низкие, на другой — высокие звуки. По этой причине вон тот наивысший небесный круг, несущий на себе звезды и вращающийся быстрее, движется, издавая высокий и резкий звук; с самым низким звуком движется этот вот лунный и низкий круг; ведь Земля, девятая по счету, всегда находится на одном и том же месте, держась посреди мира. Но восемь путей, два из которых обладают одинаковой силой, издают семь звуков, разделенных промежутками, каковое число, можно сказать, есть узел всех вещей".

**Леопарди в "Истории астрономии" пишет: "Полагают, что Орфей был первым, кто счел небесные тела обитаемыми, наподобие нашей Земли... Прокл (На "Тимея", IV) сохранил несколько орфических стихов, в которых сообщается, что Луна населена". *Прокл* (412—485) — греческий философ-неоплатоник, автор комментария к "Тимею" Платона. *Делаланд Жозеф Жером де Франсе* (1732—1807) — французский астроном, автор "Трактата об астрономии".

****Фабриций Давид* (1564—1617) — немецкий теолог и астроном; в "Истории астрономии" Леопарди пишет, что Фабриций утверждал, "будто собственными глазами видел лунных жителей". *Линкей* — один из аргонавтов, обладавший таким острым зрением, что видел сквозь землю.

С. 51. *В примечании к этому месту Леопарди ссылается на статью в "Гадзетта универсале", в которой сообщалось, что некий профессор Грейтхойзен из Мюнхена увидел на Луне в телескоп огромную крепость.

**Жители Аркадии — области в центре Пелопоннеса — считались "автохтонными", коренными обитателями своей страны и говорили о себе, что они рождены раньше Дианы — луны.

***В примечании к этому месту Леопарди называет Антонио ди Уллоа (1716—1795), испанского генерала и ученого-картографа, участника экспедиции Французской академии в Перу.

****"That the moon is made of green cheese" ("Луна сделана из свежего сыра"). Поговорка о тех, кто утверждает невероятные вещи" (примеч. Леопарди).

С. 52. *Имеются в виду лунные затмения.

**Имеется в виду так называемый "пепельный свет" — слабое свечение неосвещенной Солнцем части Луны, отражающей свет Земли.

***"Неистовый Роланд", песнь XXXIV, 73—81.

Прометеев спор

Написано в Реканати между 30 апреля и 8 мая 1824 г. Впервые напечатано в издании Стеллы (1827). Общее содержание диалога заимствовано из сочинения Лукиана "Гермотим".

С. 54. * *Заоблачье*. — Леопарди дает городу богов греческое имя "Гипернефела", представляющее собой второе название диалога Лукиана "Икароменипп" (традиционный русский перевод — "Заоблачный полет").

**Соответствующее суждение Пифагора приводит в "Жизнеописаниях философов" (I, 12) Диоген Лаэртский. У Платона в "Федре" (278d) говорится, что лишь богам пристало именоваться мудрыми.

С. 55. ***"Илиада"*, V, 743—744.

**В жизнеописании римского императора Тиберия (42 до н. э. — 37 н. э.) Светоний пишет: "Грома он боялся безмерно и, когда собирались тучи, всякий раз надевал на голову лавровый венок, так как считается, что этих листьев молния не поражает" (Тиберий, 69).

****Синезий* (ок. 370 — ок. 414) — христианский ритор, философ и поэт; среди его сочинений дошло шуточное "Похвальное слово плещи".

****Светоний пишет: "Безобразившая его (Юлия Цезаря) лысина была ему несносна... поэтому он с наибольшим удовольствием принял и воспользовался правом постоянно носить лавровый венок" (Божественный Юлий, 45).

******Мом* — бог насмешки.

******Страна Попайан* — область в Колумбии.

С. 56. **Пасифая* — царица Крита; родила от противоестественного союза с быком чудовище Минотавра — человека с бычьей головой.

С. 57. **Гарпии* — чудовищные птицы с девическими лицами. Леопарди имеет в виду эпизод из III книги "Энеиды" Вергилия (217, 225—228):

Все оскверняют они изверженьями мерзкими чрева...

К ужасу нашему тут внезапно с гор налетают

Гарпии, воздух вокруг наполняя хлопаньем крыльев.

С гнусным воплем напад, расхищают чудовища яства,

Страшно смердя, оскверняют столы касаньем нечистым.

***Агра* — город в Индии.

****Лукреция* — жена римского патриция Коллатина, обещанная царским сыном Секстом Тарквинием, покончила с собой. *Виргиния*

— молодая римлянка, которую убил ее отец, чтобы не дать ее обесчестить. *Дочь Эректа, Ифигения, Кодр, Менекей* — мифические герои, добровольно принешие себя в жертву богам, чтобы обеспечить победу своей отчизне. *Курции* и *Деции* — римские роды, имена которых стали у древних авторов символами самоотверженной любви к родине.

**** *Альцеста* (правильно — *Алкестида*) — жена царя Адмета, добровольно согласившаяся умереть вместо мужа.

С. 60. ** "Это — подлинное событие" (*примеч. Леопарди*).

Разговор физика и метафизика

Написано в Реканати 14 — 19 мая 1824 г. Впервые напечатано в издании Стеллы (1827).

С. 61. * *Калиостро* (Джузеппе Бальзамо, 1743—1795) — знаменитый авантюрист, объявлявший себя бессмертным.

** В примечании к рассказу о гипербореях Леопарди ссылается на Пиндара, Страбона, Плиния Старшего.

С. 62. * Рассказ о *Битоне* и *Клеобисе*, сохраненный Геродотом (I, 31), впоследствии был неоднократно повторен многими авторами.

** Рассказ о них в той версии, в которой его передает Леопарди, дошел до нас в одном из фрагментов Пиндара, а также у Плутарха.

*** Плиний Старший ("Естественная история", VI, 30; VII, 2).

С. 63. * *Левенгук Антон* (1632—1723) — голландский натуралист, изобретатель микроскопа.

** *Мопертюи Пьер-Луи Моро* (1698—1759) — знаменитый французский математик. В примечании к этому месту Леопарди ссылается на его "Философические письма", письмо 11.

С. 64. * *Пиррон* (365—275 до н. э.) — греческий философ, основатель скептицизма. Полагал высшим благом жизни "атараксию" — невозмутимое спокойствие.

Разговор Торквато Тассо и его демона

Написано в Реканати между 1 и 10 июня 1824 г. Впервые напечатано в журнале "Антолоджиа" в январе 1826 г. *Торквато Тассо* (1544—1595) — великий итальянский поэт, более всего известный своей поэмой "Освобожденный Иерусалим". Больной манией преследования, Тассо был на семь лет (с 1579 по 1586 год) заточен в госпиталь св. Анны в Ферраре. "У Торквато Тассо в пору его душевного недуга появилось мнение, подобное знаменитому мнению Сократа, то есть ему казалось, что он время от времени видит доброго и дружелюбного духа и подолгу с ним беседует о многих вещах. Так мы читаем в жизнеописании Тассо, составленном Мансо, который сам присутствовал при одном из таких диалогов или, если угодно, монологов" (*примеч. Леопарди*). По свидетельству учеников Сократа, их учитель называл своим демоном внутренний голос, удерживавший его от неразумных и несправедливых поступков.

С. 64. **Леонора* — Элеонора д'Эсте, сестра феррарского герцога Альфонсо II, которую, по преданию, любил Тассо.

С. 66. *Запрещение есть бобы, приписываемое Пифагору, вызывало недоумение и насмешку уже у античных авторов, например у Лукиана. Леопарди в своем трактате "О народных заблуждениях у древних" приводит цитаты из грамматики Аполлония Дискола, Плиния Старшего и Цицерона, дающих этому запрету приведенное здесь объяснение.

Разговор Природы с Исландцем

Написано в Реканати между 21 и 30 мая 1824 г. Впервые напечатано в издании Стеллы (1827).

С. 70. *Леопарди пересказывает эпизод из пятой песни поэмы великого португальского поэта Луиса Камознса (ок. 1524—1580) "Лузиады".

**О знаменитых статуях острова Пасхи Леопарди узнал из книги мореплавателя Лаперуза (1741—1788). Гермами он называет их по аналогии с греческими гермами — колоннами, увенчанными головой Гермеса.

С. 71. **Гекла* — вулкан в Исландии.

С. 72. *Сенека ("Изыскания о природе", VI, II: "Если вы хотите ничего не бояться, думайте о том, что бояться следует всего").

Парини, или О славе

Написано между 6 июля и 13 августа 1824 г. в Реканати. Впервые напечатано в издании Стеллы (1827).

С. 74. **Парини Джузеппе* (1729—1799) — итальянский поэт, критик и публицист; долгие годы преподавал красноречие в учебных заведениях Милана.

С. 75. **Альфьери Витторио* (1749—1803) — знаменитый итальянский драматург, автор трагедий, проникнутых духом ненависти к тирании и способствовавших политическому пробуждению Италии.

***Телесилла* (VI в. до н. э.) — поэтесса из города Аргос; по рассказу Геродота, возглавила ополчение аргосских женщин и отбила нападение спартанского царя Клеомена на оставшийся без мужчин город. Сведения о ее статое сохранились в "Описании Эллады" Павсания (II в. н. э.); Леопарди, судя по Дневнику, познакомился с рассказом по "Путешествию юного Анахарсиса" Бартелеми.

С. 77. *См. примечание к с. 40. Цитируется кн. I, гл. XI, XV трактата.

С. 79. **Лукан* (39—65) — римский поэт-эпик, автор поэмы "Фарсалия, или О гражданской войне".

**Имеется в виду Фридрих II Прусский (1712—1786) и его "Похвальное слово Вольтеру".

***"*Генриада*" — эпическая поэма Вольтера (1723), героем которой является будущий король Генрих IV.

С. 85. *Речь идет о Монтескье. Приведенная цитата заимствована из его "Опыта о вкусе" (глава "О чувствительности"). "Опыт о вкусе" оказал большое влияние на развитие эстетических идей Леопарди, как это явствует и из Дневника.

С. 86. **"Илиада"*, XIII, 636—637.

С. 89. *Имеется в виду эпоха Возрождения.

С. 92. **Босизио* — деревня на севере Италии, родина Парини.

С. 93. * "Книга песен", сонет VII.

**В диалоге Цицерона "О старости" (XXIII, 82), откуда взяты процитированные слова, их произносит Катон Старший, выдающийся римский политический деятель II в. до н. э.

С. 94. **Симонид* (правильно — Семонид Аморгский, VII в. до н. э.) — греческий поэт-ямбограф, автор поучительных и сатирических стихотворений, одно из которых переведено Леопарди и включено в основное собрание его стихов "Песни". Фрагмент из этого перевода и цитируется здесь. Приводим тот же фрагмент в переводе с оригинала:

Но легковверная надежда всех живит,
Напрасно преданных несбыточной мечте.
Один считает дни: "Вот, вот...", другой — года.
"Едва минует год, — мнит каждый, — и ко мне
Богатства притекут и прочие дары".

(Перев. Я. Голосовкера)

***Плутос* — бог богатства у древних греков.

****"О государстве", VI, XXI—XXII ("Сон Сципиона"): "Какое имеет значение, если имеющие родиться будут о тебе говорить, между тем как родившиеся прежде тебя о тебе ничего не сказали? А ведь их не меньше, и были они, конечно, лучшими мужами".

Разговор Фредерика Рейша и его мумий

Написано в Реканати 16—23 августа 1824 г. Впервые напечатано в издании Стеллы (1827). Замысел очерка внушен словами Сенеки в "Письмах к Луцилию" (XXX, 9): "Больше веры у тебя заслужил бы тот, кто ожил и, зная на опыте, сказал бы, что в смерти нет никакого зла".

С. 97. **Рейш Фредерик* (1638—1731) — голландский естествоиспытатель и анатом. Мумиями Леопарди называет то, "что на языке науки именовалось бы анатомическими препаратами", как пишет сам поэт в примечании.

С. 98. **"Кабинет Рейша дважды посетил царь Петр Первый, который затем купил его и препроводил в Петербург" (примеч. Леопарди). Петр посетил Рейша в 1698 и в 1717 г. Анатомические препараты Рейша до наших дней находятся в экспозиции Летнего дворца.

***"Способ, употреблявшийся Рейшем для сохранения трупов, состоял во впрыскивании им некоего вещества, производившего чудесное действие" (примеч. Леопарди).

С. 99. **По представлению пифагорейцев, платоников и некоторых других школ древности, Великий год — срок в десять тысяч лет, в течение которого все светила возвращались к некоему исходному положению по отношению друг к другу.

**Цитата взята из поэмы тосканского поэта Франческо Берни (ок. 1497—1535) "Влюбленный Роланд" (переделка одноименной поэмы М. Боярдо), песнь 53, строфа 69.

**Диалог Леопарди по теме и аргументации близко смыкается с I книгой "Тускуланских бесед" Цицерона. В ней римский философ, излагая мнения разных школ о природе души, говорит об эпикурейцах (IX, 18): "Есть и такие, кто утверждают, что душа вовсе не отделяется от тела, а гибнет заодно с ним или угасает в теле".

С. 101. *"О старости", VII, 24.

Достопамятные речи Филиппо Оттоньери

Написано 29 августа — 26 сентября 1824 г. в Реканати. Впервые напечатано в издании Стеллы (1827). Герой произведения — лицо вымышленное; многие его речи — дословно переданные записи из Дневника. По жанру "Достопамятные речи" примыкают к "Жизнеописанию Демонакта" Лукиана и к некоторым образцам ренессансной новеллистики.

С. 103. *Это утверждение Леопарди ошибочно. Сократ в Афинах избирался пританом (членом коллегии лиц, попеременно председательствовавших в Совете и в народном собрании) и в этой должности мужественно противился несправедливому приговору афинского суда по делу командиров кораблей, победивших спартанский флот при Аргенусских островах.

**Леопарди имеет в виду нравственный идеал древних греков, означавшийся словом "χαλοχάραξις" (от χαλός красивый и χάρις добрый). В Дневнике Леопарди отмечает, что в этом слове проявляется "характер того благородного и прекрасного народа, который всякого честного и порядочного человека (даже если он и не был красив, потому что и это прилагательное и образованное от него отвлеченное имя "калокагатия" употреблялись для обозначения совершенной честности и неиспорченности, в ком бы ни обнаруживались эти свойства) называл красивым и добрым, настолько ценя красоту, что не желал отделять похвалу добродетели от похвалы красоте..." (64—65).

***"Тускуланские беседы", V, IV, 10: "Сократ первым призвал философию с неба в города и даже ввел ее в дома, заставив исследовать жизнь и нравы, хорошие и дурные поступки".

С. 104. *Имеются в виду диалоги Платона и сочинения Ксенофонта (ок. 430—355 до н. э.) "Воспоминания о Сократе", "Апология".

С. 105. *Сатиры, I, I, 1—3:

Что за причина тому, Меценат, что, какую бы долю
Нам ни послала судьба и какую б ни выбрали сами,
Редкий доволен, и всякий завидует доле другого?

(Перев. М. Дмитриева)

С. 106. **Ксенофонт*. "Домострой", 20, 23: "Обработанная [земля], — говорил он, — и стоит дорого, и улучшать ее нельзя; а если нельзя ее улучшать, она и не доставляет столько удовольствия; напротив, каждая вещь и скотина, которая идет к улучшению, очень радует хозяина".

С. 109. ***"Илиада"*, XXIV, 468—476. Это место в "Илиаде" Леопарди, по собственному признанию, любил больше всего.

С. 111. **Донат Элий* (IV в. н. э.) — латинский грамматик; его жизнеописание Вергилия написано на основе не дошедшего до нас жизнеописания, составленного Светонием. *Мелисс*, вольноотпущенник *Мецената* (69—8 до н. э.), сподвижника Августа и проводника его литературной политики, друга Горация и Вергилия, не был грамматиком; ему принадлежали комедии и, вероятно, записи анекдотов.

**Пусть же мне будут милы ручьи в долинах и нивы,
Пусть, возлюбив лишь леса и реки, я славы не знаю!

(II, 485—486)

С. 115. **Хилон* (VI в. до н. э.) — спартанец, один из легендарных семи мудрецов Греции. Рассказ о нем у Диогена Лаэртского — I, 69.

***Гегесий* из Кирены (IV в. до н. э.) — греческий философ, проповедовавший равнодушие к жизни. Рассказ о нем у Диогена Лаэртского — II, 95.

****Бион Борисфениат* (IV в. до н. э.) — греческий писатель и моралист, по убеждениям близкий к киникам; его диатрибы (полемические сочинения) славилась в древности за их остроумие. Рассказ о нем у Диогена Лаэртского — IV, 48.

****Из сочинения "Политические наставления".

С. 106. ***"Освобожденный Иерусалим"*, песнь I, строфа 3.

**В сочинении "Парадоксы стоиков", I, III, 15.

****Арриан Флавий* (ок. 95—175) — греческий писатель и историк; основное из дошедших до нас его исторических сочинений — "Поход Александра". В битве при Иссе в Киликии (Малая Азия) Александр наголову разбил персидского царя Дария. Леопарди хочет сказать следующее: самодержец персов больше полагается на наемников, чем на отечественное войско, что свидетельствует о слабости этого войска; Александр же больше полагается на своих македонцев.

С. 117. **Речь "О венке"*... — самое выдающееся произведение великого афинского оратора Демосфена (384—322 до н. э.). В ней он защищает оратора Ктесифонта, подвергнувшегося обвинению, и оправдывает всю свою политическую деятельность, основной целью которой была борьба против Македонии за свободу Афин.

***"В защиту Милона"* — одна из лучших речей Цицерона, произнесенная по делу об убийстве политического авантюриста Клодия, врага Цицерона, другом оратора Милоном.

****Боссюз Жак Бенинь* (1627—1704) — французский теолог и проповедник. Леопарди имеет в виду его надгробное слово полководцу Луи де Конде (1621—1686).

*****"Мисопогон"* ("Брадоненавистник") — памфлет императора Юлиана Отступника (331—363) против жителей Антиохии, издевавшихся над ним за то, что он на манер философов носил бороду. "*Цезари*" (точнее, "Пир, или Сатурналии") — сатира на римских императоров, начиная с Юлия Цезаря, — написана в подражание "Совету богов" Лукиана.

******Лоренцино деи Медичи* (1514—1547) — один из представителей знаменитой семьи правителей Флоренции. Подослал убийцу к своему двоюродному брату Алессандро, тиранически правившему во Флоренции, и после убийства вынужден был бежать в Венецию, где и написал в свою защиту "Апологию".

С. 118. *Имеются в виду строки Горация:

А кто воистину преступен,
Тех не упустит хромая Кара.

(Оды, III, 2. Перев. А. Семенова-Тян-Шанского)

***Триклиний* — столовая в римском доме.

Разговор Христофора Колумба и Педро Гутьереса

Написано в Реканати 19—26 октября 1824 г. Впервые напечатано в журнале "Антолоджиа" в январе 1826 г.

С. 119. **Педро Гутьерес* (ум. 1493) — постельничий короля Фердинанда, добровольно отправившийся с Колумбом в первое плавание и погибший в числе его спутников, оставленных на острове Эспаньола.

***Гомера* — один из Канарских островов.

С. 120. **Ганнон* (V в. до н. э.) — карфагенский мореплаватель; до нас дошло в греческом переводе его сочинение о плавании вдоль западного берега Африки.

С. 121. **Санта-Маура* (в древности Левкада) — остров в Адриатическом море близ западного берега Греции, известный своим мысом с белыми скалами. Предание, которое излагает Леопарди, восходит к Овидию ("Героиды", 15, 165—172).

Похвальное слово птицам

Написано с 29 октября по 5 ноября 1824 г. в Реканати. Впервые напечатано в издании Стеллы (1827). В произведении явно ощущается влияние "Похвалы мухе" Лукиана и других античных шуточных "похвальных слов".

С. 122. **Амелий* — имя, означающее по-гречески "беззаботный".

***"О псовой охоте", 5.

С. 124. ***"Буколики"*, эклога IV, 60—63:

Мальчик, мать узнавать начни и встречать ее смехом...
Мальчик, начни, ведь того, кто не слышал родителей смеха,
Не удостоит ни трапезы бог, ни ложа богиня.

Песнь дикого петеля

Написано в Реканати с 10 по 16 ноября 1824 г. Впервые напечатано в издании Стеллы (1827).

С. 128. **Таргум* — общее название халдейских и арамейских переводов Ветхого Завета, в большинстве своем вольных. *Каббала* — средневековое мистическое учение евреев; основной памятник каббалистики — книга "Зохар" ("Сияние").

С. 129. *Псалом XVIII, 6: Солнце "радуется, как исполин, пробежать поприще".

Апокрифический фрагмент из Стратона Лампсакского

Написано в 1825 г., очевидно осенью, в Болонье. Впервые напечатано в посмертном флорентийском издании Ле Монье (1845). *Стратон* из Лампсака — лицо историческое, сведения, сообщаемые о нем Леопарди, точны. Леопарди приписал свое рассуждение именно этому философу потому, что тот прославился своим опровержением учения о бессмертии, изложенного в "Федоне" Платона.

С. 133. *Христиан Гюйгенс, уроженец Гааги в Голландии, 14 апреля года 1629 принялся наблюдать планету Сатурн и открыл вокруг него плоское тело в форме кольца... Мнения ученых относительно происхождения этого кольца различны. Мопертун предполагает, что оно образовалось из хвоста кометы... Бюффон — что оно некогда представляло собой часть планеты, отделившуюся по причине чрезмерной центробежной силы; Коссини (итальянский астроном, работавший в Париже; 1625—1712. — С. О.) высказал догадку, что кольцо Сатурна есть скопище спутников, расположенных очень близко друг к другу примерно в одной плоскости и столь мелких, что нет возможности разглядеть каждый в отдельности" (*Леопарди*. История астрономии).

С. 134. *Имеются в виду стойки, учившие, что мир погибнет в пламени.

Разговор Тимандра и Элеандра

Написано в Реканати 14—24 июня 1824 г. Впервые напечатано в журнале "Антолоджиа" в январе 1826 г. Как видно из письма Леопарди к издателю Стелле от 16 июня 1826 г., диалог этот должен был служить введением ко всему сборнику "Нравственных очерков", однако позже автор отказался от этой мысли и в издании Стеллы поместил диалог последним, так как считал его "апологией произведения от современных философов". Имена Тимандр и Элеандр по-гречески значат соответственно "почитающий людей" и "сострадающий людям".

С. 135. *Платон. Пир, 202 с.

С. 136. *Тимон — легендарный афинянин, чье имя стало уже в древности нарицательным для мизантропа. Впервые упоминается у Аристофана, наиболее широкую известность его имя приобрело благодаря одноименному произведению Лукиана, а в новое время — драме Шекспира.

Коперник (Диалог)

Написано в 1827 г. Впервые напечатано в посмертном издании Ле Монье (1845).

С. 142. *Имеется в виду — светильный газ.

С. 145. * "*Альмагест*" — основное произведение великого астронома и математика древности Клавдия Птолемея (138—180), дошедшее до нас в арабском переводе и под арабским названием.

***Сакробоско* (Джон Холивуд, XIII в.) — английский астроном, живший в Испании; его произведение "Сфера мира" пользовалось большим авторитетом в средние века.

***Ночь, которую Юпитер провел с Алкменой, женой Амфитриона, и в которую зачал с нею Геркулеса, бог продлил, запретив солнцу всходить. См. Плавт, "Амфитрион".

С. 146. *Речь идет об Архимеде.

С. 147. **Дигесты* — одна из частей "Корпуса гражданского права" Юстиниана.

С. 149. *Намек на слова Цицерона из речи в защиту Публия Сестия: "Ведь людям не подобает... ценить высоко какой бы то ни было покой, если он несовместим с достоинством" (XLV, 98).

**Намек на оракула Аполлона в Дельфах.

***Коперник действительно посвятил свой труд "Об обращениях небесных сфер" папе Павлу III.

Разговор Плотина и Порфирия

Написано в 1827 г. Впервые напечатано в посмертном издании Ле Монье (1845).

С. 149. *****Порфирий* (233—304) — видный представитель неоплатонизма, ученик и друг Плотина. Один из первых критиков христианства. Его "Жизнеописание Плотина" дошло до нас; цитата, приводимая Леопарди, — подлинная.

******Плотин* (204—270) — греческий философ, преподававший в Риме, крупнейший представитель неоплатонизма.

С. 150. **Евнаний* (IV в. н. э.) — философ-неоплатоник, автор "Жизнеописаний софистов", среди которых сохранилась биография Порфирия.

С. 151. **Сокровенное учение гласит, что мы, люди, находимся как бы под стражей и что не следует ни извлекаться от нее своими силами, ни бежать, — величественное, на мой взгляд, учение и очень глубокое" (*Платон*. Федон, 62b). Без сомнения, следующий далее страстный спор Порфирия с Платоном есть спор самого Леопарди с христианской церковью, запрещающей самоубийство. В Дневнике (3497—3510) Леопарди прямо полемизирует с христианским учением о загробной жизни, говоря, что счастье, которого жаждет человек, есть счастье земное и материальное и поэтому "сулить человеку, сулить несчастному небесное блаженство, пусть даже совершенное и бесконечное, неизмеримо превосходящее всякое земное счастье, все мелкие блага, каких

он желает, — это все равно что умирающему от голода, который не может получить куска хлеба, приготовить самое мягкое ложе или обещать ему изысканнейшие и приятнейшие ароматы". По мнению Леопарди, христианство больше действует на душу смертных страхом ада, где ее каким-то непонятным образом ожидают материальные муки.

***"Илиада", XVII, 446—447:

Ибо из тварей, которые дышат и ползают в прахе,
Истинно в целой вселенной несчастнее нет человека.

(Перев. Н. Гнедича)

С. 155. **Мнения девятнадцатого века относительно естественного состояния и цивилизации намного отличаются от мнений Порфирия. Но в том, что касается доводов Порфирия в пользу добровольной смерти, это различие если и может повести к спору, то только в словах. Если мы назовем улучшением, или совершенствованием, или прогрессом то, что Порфирий называет порчей, и улучшенной и усовершенствованной природой — то, что он называет второй природой, то сила его аргументов не убавится и на малую долю" (примеч. Леопарди).

С. 158. *См. примечание к с. 115. Леопарди ссылается на следующие слова Цицерона: "Смерть уводит нас от бед, а не от благ, если мы разберемся как следует. Об этом-то и рассуждал киренаик Гегесий, и так красноречиво, что говорят, будто царь Птолемей запретил ему рассуждать об этом публично, ибо многие, выслушав его речи, налагали на себя руки" ("Тускуланские беседы", I, XXXIV, 83).

***Митридат* (132—63 до н. э.) — царь Понта, злейший враг Рима, трижды воевавший с ним. Разбитый в войне, под угрозой римского плена пытался отравиться, но не смог, так как приучил себя к ядам, и приказал своему слуге заколоть себя. *Клеопатра* покончила с собой после самоубийства Антония, разбитого Августом в битве при Акции. *Отон Сальвий* (32—69) — римский император, правивший три месяца и покончивший с собой, после того как был побежден другим претендентом на престол.

Разговор торговца календарями и прохожего

Написано в 1832 г. Впервые напечатано во флорентийском издании Пьятти (1834).

Разговор Тристана и его друга

Написано в 1832 г. Впервые напечатано в издании Пьятти (1834).

С. 162. **Тристан*. В рукописи этот персонаж диалога был прямо назван "Автор". Затем Леопарди заменил имя, выбрав имя Тристан по созвучию со словом "triste" — "грустный".

С. 163. *Слова из канцоны "Я удалялся от потока жизни / Моей не раз" ("Книга песен", CCCXXI):

Сложив оружие, поднимаю руки
И в плен сдаюсь моей судьбе жестокой.

****Гомер в стихах, упомянутых в "Разговоре Плотина и Порфирия".**

*****Софокл. Эдип в Колоне, 1279 слл.:**

Не родиться совсем — удел
Лучший. Если ж родился ты,
В край, откуда явился, вновь
Возвратиться скорее.

(Перев. С. Шервинского)

******Менандр в изречении, сохраненном византийским компилятором Стобеем и использованном Леопарди в качестве эпиграфа к стихотворению "Любовь и смерть".**

С. 167. *В рукописи, написанной в 1832 г., стояло "шестьдесят восемь", в издании 1834 г. эта цифра исправлена на "шестьдесят шесть".

Составитель примечаний С. А. Ошеров

ПРИЛОЖЕНИЕ К "НРАВСТВЕННЫМ ОЧЕРКАМ"

В этом разделе впервые на русском языке публикуются фрагменты, которые тематически и проблемно (а в ряде случаев и в жанровом плане) связаны с "Нравственными очерками", хотя сам Леопарди изначально не предполагал помещать их в этот цикл или исключил их из него по тем или иным причинам. Перевод Н. А. Ставровской.

Сравнение предсмертных изречений Брута Младшего и Теофраста

При жизни Леопарди печаталось лишь однажды в качестве предисловия к канцоне "Брут Младший" в болонском издании "Песен" 1824 г.

С. 170. **Марк Юний Брут* (Брут Младший) (85—42 до н. э.), покончил с собой после убийства Цезаря и военного поражения в Македонии.

****Кассий Дион** — римский философ II в., автор многотомной "Истории Рима".

*****Веттори Пьер** — флорентийский филолог XVI в. Рассуждения относительно точности изложения исторических фактов у Диона содержатся в XXIII книге его сочинения "Разнообразное чтение".

******Флор**, римский историк II в. Приводя слова Брута, употребляет латинское слово "re" (сущность, реальная вещь).

С. 171. **Теофраст* — греческий философ и моралист IV в. до н. э. по имени Тиртам, автор "Этических характеров" и "Истории растений". Имя Теофраст ("божественный оратор") получил от своего учителя

Аристотеля, от которого к нему перешло и руководство Афинской школой философов.

****Римский философ и политик Цицерон** говорит о Теофрасте в "Тускуланских беседах" (кн. III, 28), а учитель римской церкви Иероним Блаженный (IV в.) — в "Послании к потомку".

*****Суида** — средневековый лексикограф X в.; пишет о Теофрасте в своем греческом труде "Лексика".

С. 173. *Имеется в виду дошедшее до нас сочинение Теофраста "Этические характеры", которое в 1688 г. вдохновило французского моралиста Ж. де Лабрюйера на перевод этого произведения ("Характеры Теофраста, переведенные с греческого") и на издание в качестве приложения к нему собственного знаменитого сочинения, озаглавленного "Характеры или нравы этого века". Это произведение Лабрюйера оказало немалое влияние на "Мысли" Леопарди.

****Массийон Жан Батист** (1663—1742) — французский священник и оратор.

С. 174. *Тезис философов-стоиков Зенона и Хрисиппа, а также Цицерона в кн. V "Тускуланских бесед".

****Цицерон** "Тускуланские беседы", V, 9, 25. Следующая цитата — из сочинения Цицерона "О пределах".

*****Книга Плутарха** против Колота входит в его сочинение "Moralia" ("Нравственные сочинения").

******См. Цицерон** "Об обязанностях", 1, 2, 16.

С. 175. *Например, в "Тускуланских беседах", в речи "В защиту Архия" (XI, 29), "О старости".

Разговор преподавателя гуманитарных наук и Саллюстия

Написан в 1824 г., впервые напечатан в миланском издании "Нравственных очерков" (1827), где помещался перед "Разговором сальфа и гнома". Из издания 1835 г. этот диалог был исключен самим Леопарди и с тех пор обычно печатался в приложениях к "Нравственным очеркам".

С. 176. *Саллюстий Гай Крисп — римский историк I в. до н. э. По замыслу автора, он появляется перед преподавателем в тот момент, когда тот разъяснял школьникам эпизод из книги Саллюстия "Заговор Катилины", а именно речь Катилины перед солдатами (гл. LVIII). Построив ее согласно принципу риторики, называемому "градацией" (восхождение от менее значимого ко все более значительному), Катилина сначала напомнил солдатам о богатстве, затем о почестях, славе, свободе и, наконец, о родине. Леопарди в "Дневнике размышлений" записал 4 февраля 1821 г., что для его современников ценностный ряд будет прямо противоположным: для них родина — лишь пустой звук, а вот богатство — единственное и непреходящее благо.

****Патриций Луций Сергий Катилина** (I в. до н. э.) организовал заговор с целью свержения олигархической республики (63 до н. э.). Благодаря действиям консула Цицерона в сенате заговор провалился.

Катилина пытался убить Цицерона, но вынужден был бежать в Этрурию и там собрал войско для боя с римской армией.

***Леопарди, видимо, повторяет слова, приписываемые Цицерону, который якобы в апокрифической инвективе против Саллюстия упрекнул историка в том, что он разделял богохульные идеи некоего Нигидиана. *Фауста* — жена недруга Саллюстия Анния Милона и, видимо, его возлюбленная Саллюстия. После побед, одержанных Цезарем в Африке, Саллюстий был назначен проконсулом в *Нумидии*, из которой вывез в Рим огромные богатства, позволившие ему прослыть *благодетелем людей* и построить близ столицы роскошные дворцы и виллы.

*****Теогнид* — греческий поэт-лирик IV в. до н. э.

С. 177. *Имеется в виду битва при Пистории, где погиб Катилина (62 до н. э.). Войском римлян командовали Гай Антоний и Марк Петрей.

Новелла: Ксенофонт и Никколо Макиавелло

Вероятно, эта новелла (а точнее, набросок новеллы) написана в 1820 г. При жизни автора не печаталась, хотя имеются рукописные свидетельства того, что Леопарди, по крайней мере дважды, возвращался к работе над этим сюжетом: к 1822 г. относится первый фрагмент "К новелле о Ксенофонте и Макиавелло", второе короткое добавление Леопарди сделал, по-видимому, в свой неаполитанский период. Впервые новелла напечатана в 1906 г. в изданном во Флоренции сборнике "Различные неизданные сочинения".

С. 177. **Историк и писатель *Ксенофонт Афинский* (ок. 430—после 355 до н. э.) писал в "Киропедии" ("Воспитании Кира") о персидском царе Кире как об умелом и мудром, идеальном государственном деятеле, умевшем сочетать справедливость с безжалостностью. Флорентийский писатель и историк *Никколо Макиавелли* (1469—1527; в транскрипции Леопарди — *Макиавелло*) в знаменитом трактате "Государь" (1513) создал образ идеального монарха, который, по убеждению автора, должен сочетать высокую мудрость с гибкостью политика и ум военного стратега с коварством и хитростью, чтобы освободить раздираемую феодальными распрями Италию от завоевателей и сделать ее единым государством.

С. 178. *См. примечание к с. 40.

***Альфьери Витторио* (1749—1803) — итальянский драматург; его трактат "Панегирик Плиния Траяну" (1785) обращен к французскому королю Людовику XVI. Устами древнего историка Плиния в нем излагаются представления Альфьери об обязанности мудрого короля возрождать, а не подавлять в своей монархии политическую свободу.

С. 180. *Имеется в виду книга французского писателя Ф. Фенелона (1651—1715) "Приключения Телемака" (1699), содержавшая критические намеки на двор Людовика XIV и ставшая причиной опалы ее автора.

***Книгге Адольф Франц* — немецкий историк и философ.

С. 181. *Леопарди говорит о фрагменте "Дневника размышлений".

**Диалог: греческий философ, Мурко, римский сенатор,
римский народ, заговорщики**

Точная датировка отсутствует (но скорее всего — между 1820 и 1822 гг.). Впервые напечатан в 1906 г. во флорентийском издании "Различные неизданные сочинения".

С. 182. *Имеется в виду труд римского историка I в. Патеркула Веллея "Краткая история Рима".

С. 185. *Речь идет о "стиле" — острой бронзовой палочке, которой римляне пользовались для письма на восковых дощечках.

**Брут имеет в виду, что для умирения народа следует поскорее устроить в цирке любимое народом "зрелище".

Диалог двух животных, например коня и быка

Точная датировка отсутствует (возможно, 1820). Разговор (а точнее, его набросок) напечатан впервые в упомянутом выше флорентийском сборнике 1906 г.

К основному тезису Диалога коня и быка — о том, что в древности люди были несравненно крупнее и крепче современных, поскольку жили естественной жизнью, — Леопарди сделал пространный комментарий со ссылками на труды Веллея, Флора, на индийский эпос "Рамаяна", на исландские саги, "Хронику Перу" Педро Леона, книгу Антуана Ива Гоге и роман Фенелона о приключениях Телемака, статьи историков и свидетельства путешественников тех лет по местам древних цивилизаций (со многими из этих источников Леопарди был знаком по переложениям и рецензиям в итальянских журналах начала XIX в. — "Библиотека итальяна", "Раккольторе ди Милано", "Аннали ди шиенце э леттере").

Порядочный человек и свет (диалог)

Предположительная дата написания — 1821 г. Напечатан впервые в названном выше сборнике неизданного (Флоренция, 1906).

В заглавии и затем в тексте этого весьма язвительного диалога фигурирует понятие "mondo" (обычно переводится как "свет", "мир") — одно из ключевых негативно окрашенных понятий пессимистического мировоззрения Леопарди. При этом в философии Леопарди равно "задействованы" все значения этого понятия — от всеобъемлющего ("все-ленная", "этот мир", "земля", "все окружающее") до ограниченного кругом человеческих отношений и более социально окрашенного ("человеческое общество", "люди", "среда", "свет").

С. 120. *Честертон, возможно, Леопарди имеет в виду Филипа Честерфилда (1694—1773), друга Монтескье, государственного деятеля Англии; литературную славу его составили "Письма к сыну".

**Леопарди, вероятно, подразумевает двор германского императора Фридриха II в Палермо (XIII в.), где сформировался интернациональ-

ный по составу кружок поэтов так называемой сицилийской школы, подражавшей в стихосложении трубадурам Прованса.

****Мальфилатр Жак Шарль Луи* (1732—1767) — французский поэт, умерший рано в нищете, оставив после себя сборник стихов "Нарцисс". Имеется в виду книга "Гений христианства" (1802), в которой французский писатель-романтик Ф. Р. Шатобриан обосновывает превосходство христианской веры ее поэтичностью и красотой.

С. 191. *Имеется в виду изданная в XVI в. сказка о пройдохе Бертольдо, пересказанная стихами болонским кантасторием Дж. Ч. Кроче; но, возможно, речь идет о комической поэме "История Бертольдо, Бертольдино и Какасенно" (1736), которую сочинили "для смеха" коллективно двадцать болонских поэтов — членов поэтической академии "Аркадия".

**Члены поэтической академии "Аркадия", созданной в Италии в XVII в.

***Итальянские литераторы XVIII в., принадлежавшие к академии "Аркадия"; их поэтическое творчество малозначительно.

****Речь идет о поэме Т. Тассо "Освобожденный Иерусалим", выдающемся поэтическом памятнике итальянского Возрождения. "Энеида" — эпическая поэма римского поэта Вергилия.

С. 194. *Недуг, которым в "Божественной Комедии" Данте наказаны прорицатели и ворожеи (Ад, песнь XX).

С. 195. *Персонажи романа английского писателя XVIII в. Лоуренса Стерна "Тристрам Шенди" (кн. VII, гл. 25).

С. 196. **Патрокл* — друг Ахилла, убитый под Троей Гектором. *Пилад* — друг Ореста. *Нис* — персонаж 9-й книги "Энеиды" Вергилия — троянский юноша, друг Эвриала.

О самоубийстве

Предположительно датируется 1820 г.

С. 198. **Ноеминь*, свекровь Руфи Моавитянки, прародительницы Давида (Библия, кн. Руфь).

ИЗ "ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ"

После смерти Леопарди все его рукописи остались в доме у писателя Антонио Раньери, и только после кончины последнего к ним получила доступ специальная комиссия во главе с выдающимся поэтом Джозуэ Кардуччи, готовившая в 90-е гг. прошлого века юбилейное издание наследия Леопарди к столетию со дня его рождения. Впервые "Дневник" был напечатан в шести томах во Флоренции в 1898—1900 гг. под заголовком "Мысли Джакомо Леопарди по различным вопросам философии и изящной словесности".

После судебного процесса с наследниками Раньери рукопись "Дневника" стала собственностью государства и была передана в Неаполитанскую Национальную библиотеку. Отдельные части "Дневника", переписанные по распоряжению Леопарди для его швейцарского друга Л. де Зиннера, хранятся в Национальной библиотеке Флоренции.

Исписанные чернилами разноформатные листки "Дневника" переплетены в шесть томов общим объемом 4526 страниц. Датировка некоторых из них составляла проблему для первых исследователей рукописного наследия Леопарди, так как в первые годы ведения дневника Леопарди не обозначал даты записей. Но начиная с 20-х гг. в большинстве случаев записи датированы самим поэтом. Известно, что он редактировал и правил "Дневник" в разные годы и даже составил к нему в 1827 г. Предметный указатель. Эта работа была выполнена Леопарди в связи с проектом издания "Философского словаря", задуманного издателем А. Ф. Стеллой.

Что касается заглавия, которое Леопарди дал своему дневнику — "Zibaldone", — то следует заметить, что русское слово "дневник" не является его полным эквивалентом. Известное в Италии еще в средние века, слово "дзибальдоне" обозначало тетрадку для записей самого разного рода, лишенных системы или тематического единства. В XVII в. актер комедии дель арте, как правило, заводил себе "дзибальдоне", чтобы записывать афоризмы, шутки, анекдоты, острые словечки и каламбуры, которые могли бы ему пригодиться по ходу представления в процессе импровизации, типичной для комедии масок. Исначальный смысл слова "дзибальдоне", таким образом, предполагает беспорядочную смесь записанных "про запас" фактов, сведений и высказываний на всевозможные темы. Но, как и все у Леопарди, этот первоначальный смысл оказывается в его дневниковых записях парадоксально перевернутым. Во-первых, поскольку в них проставлены даты, это все-таки дневник — но не событий жизни, а скорее "событий души и мысли", настроений, внезапно возникших идей или длительных раздумий. Записи возникали спонтанно, нередко под влиянием только что прочитанных трудов или после чтения предыдущих страниц "Дневника". Заметки лингвистического и эстетического характера произвольно чередуются с размышлениями на философско-нравственные темы, причем круг их с самого начала очерчен весьма четко: это темы природы-мачехи, счастья и несчастья, удовольствия и страдания, истинного и иллюзорного, эгоистичности разума и спонтанности "великих деяний", относительности правил морали. Тот факт, что Леопарди нередко ссылается на собственные более ранние записи или делает к ним добавления, лишний раз свидетельствует о том, что он старался систематизировать свой дневник, придать ему концептуальную цельность, сохраняя при этом принципиальную фрагментарность и бессистемность дневниковой структуры. Возможно, впрочем, что стремление к систематизации, особенно заметное после 1827 г., было связано с проектом издания "Философского словаря", который, однако, так и не был реализован.

После первого, флорентийского, издания 1898—1900 гг. "Дневник размышлений" печатался дважды (в 1937 г. в Милане под ред. Ф. Флора и в 1969 г. во Флоренции под ред. В. Бинни и Э. Гидетти). В 1991 г. миланское издательство "Гардзанти" предприняло новое критическое издание "Дневника размышлений" в трех томах под ред. Дж. Пачеллы (*Giacomo Leopardi. Zibaldone di pensieri. Edizione critica e annotata a cura di Giuseppe Pacella. In 3 vol. Milano, Garzanti, 1991*).

В России полного издания "Дневника" пока не существует, хотя отдельные фрагменты его издавались неоднократно. В 1978 г. в сборнике "Джакомо Леопарди. Этика и эстетика" были опубликованы обширные выдержки из "Дневника" в переводе С. А. Ошерова. Некоторые из них (а именно следующие страницы рукописи Леопарди: 39—40, 41—42, 136, 144—147, 152—153, 269, 276—277, 285—287, 1819—1822, 1833—1840, 2468—2470, 2568—2572, 2944—2946, 3206—3208, 3237—3245, 3269—3271, 3435—3439, 3482—3485, 4289, 4475—4477, 4525—4526) вошли в настоящее издание. Перевод Н. А. Ставровской сделан специально для данной книги по указанному выше миланскому изданию 1991 г. Как и в этом издании, встречающиеся в русском тексте цифры в прямых скобках обозначают номер страницы рукописного оригинала "Дневника". Сноски под страницей, обозначенные цифрой, являются примечаниями переводчика. Примечания самого Леопарди специально оговорены. Комментарий к русскому переводу опирается на комментарии Дж. Пачеллы.

С. 202. *В данном фрагменте фраза Фрэнсиса Бэкона Веруламского (1561—1626) взята из трактата "О трагедии" итальянского писателя начала XVIII в. Джана Винченцо Гравини.

С. 204. **Гольдони Карло* (1707—1793) — венецианский комедиограф, создатель комедий просветительского толка. *Берни Франческо* (1498—1535) — флорентийский комический поэт, автор шутливых сонетов, апологий ("Капитоли"), фарсов. *Буало-Депрео Никола* (1636—1711) — французский поэт и критик, автор поэтических "Сатир" и комедии "Налой".

С. 205. **Филемон* (IV—III вв. до н. э.) — греческий комедиограф "новой аттической школы", сочинявший, как и Менандр, бытовые комедии (его произведения сохранились лишь в отдельных фрагментах и в переработках Плавта).

**Ссылка на роман итальянского писателя конца XVIII в. Алессандро Верри (1741—1816) "Римские ночи у могилы Сципионов" (1804), построенный как цикл ночных бесед на политико-философские темы.

С. 206. **Леонид* — царь Спарты, командовавший союзным войском в битве греков с персами при Фермопилах, где принял героическую смерть, не пожелав отступить вместе с войском, которому он же сам отдал приказ об отступлении.

**Имеется в виду книга итальянского писателя и историка XVII в. падре Даниелло Бартоли (1608—1685) "Миссия падре Ридольфо Аквививы, иезуита, к Великому Моголу", составляющая часть его обширной истории ордена иезуитов (Леопарди пользовался изданием 1714 г.).

С. 207. *В оригинале вместо этого выражения употреблено другое: *io mi trovava orribilmente annoiato*; *annoiato* — производное от *la noia* (скука, тоска), одного из ключевых понятий философии бытия у Леопарди. Запись относится к лету 1819 г.

С. 208. *Мысль навеяна "Рассуждением о происхождении и основании неравенства между людьми" (1755) Ж. Ж. Руссо.

**Пример беглых отсылок "по памяти", типичных для Леопарди: имеется в виду труд Ш. Монтескье "Рассуждения о причинах величия и падения римлян" (1734, в библиотеке Леопарди издание 1781 г.), где в главе 22 говорится о "слабых сторонах Восточной империи".

С. 209. *Остров в Ионическом море, который древние греки называли Левкадом, был знаменит высокой скалой, с которой сбрасывали приговоренных к смерти. Отсюда и пошло выражение "прыжок Левкада".

**Ссылка на роман французской писательницы Ж. де Сталь "Корина, или Италия" (1807). В Реканати было его 5-е издание.

С. 210. *В сочинении Платона "Государство" (Леопарди имеет в виду имевшееся у него неполное лейпцигское издание сочинений Платона на латинском языке под ред. Ф. Аста, 1819—1829) говорится о противоречивых ощущениях некоего Леонция при виде трупов, оставленных на месте казни (Государство, 439).

С. 214. *См. "Илиада", XXIV, 477 и далее.

С. 216. *Имеется в виду известный филолог и критик Пьетро Джордани (1774—1848), с которым Леопарди находился в многолетней переписке.

С. 217. *В журнале "Спектаторе странiero" от 1817 г. (т. IX) была перепечатана статья французского писателя Бенжамена Констана "Отцы Церкви", ранее появившаяся в журнале "Меркюр де Франс".

**В "Гадзетта ди Милано" от 4 апреля 1819 г. рассказывалось об убийстве немецкого драматурга Августа Фридриха Коцебу (1761—1819) немецким студентом-либералом Карлом Зандом. В двух мартовских номерах этой же миланской газеты от 1820 г. были напечатаны письма немецких студентов, "полные мистического вздора", о котором Леопарди говорит ниже.

С. 219. *Монтескье III. Рассуждения о причинах величия и падения римлян.

С. 221. *Имеется в виду поэтическая академия, основанная в 1690 г. в Риме 14-ю поэтами, приближенными ко двору королевы Кристины Шведской; это поэтическое объединение ставило цель противопоставить вычурности и риторике поэзии XVII в. (барокко) классическую естественность и простоту, образцом которой служили греческие лирики, Петрарка, поэты XV в.

С. 222. *Римский поэт (I в. до н. э.) Публий Овидий Назон умер в ссылке в г. Томы на Черном море, где он написал 5 книг "Скорбных элегий" и 4 книги "Писем с Понта", где оплакивал свою судьбу и прежнюю изнеженную столичную жизнь и умолял Августа смягчить его участь. Флорентинец Данте Алигьери, тоже умерший изгнанником, в ссылке активно искал тех, кто изгнал бы из его города враждебную ему политическую партию, а также писал свою "Божественную Комедию", где гневно заклеил "предательницу"-Флоренцию и папскую курию и в аллегорической форме рассказал о пути поэта к постижению Бога.

С. 223. *Речь идет о переведенной на французский язык английской книге, в которой описаны нравы и обычаи французов: "Франция, сочинение леди Морган, в девичестве мисс Оуэнсон", в 2-х т., Париж и Лондон, 1818.

С. 224. *Леопарди имеет в виду сочинение Цицерона "О государстве", которое было помещено как приложение в имевшейся у него книге филолога Б. Г. Нибура "Conspectus orthographiae" (Рим, 1822).

С. 225. *Имеется в виду сочинение Монтескье "Опыт о вкусе".

С. 229. *Секта религиозных фанатиков XIII—XIV вв.

С. 235. *Этот отрывок продолжает относящиеся к 29 января 1821 г. рассуждения Леопарди о свободе человека при разных типах государственного правления. Отсылки в тексте отрывка (см. с. 452, 1-й абзац) относятся к книге, вызвавшей поэта на размышления: речь идет о луккском издании 1761 г. труда Антуана Ива Гоге "О происхождении законов, искусств и наук, а также об их прогрессе у древних народов".

С. 236. *См. предыдущее примечание.

С. 240. *Леопарди употребил здесь слово "rapogata", близкое по смыслу слову "vista", которое в провинции Марке служило для обозначения объемов капитала, имущества и пр.

С. 241. *Имеется в виду большой лингвистический труд знаменитого итальянского поэта Винченцо Монти (1754—1828) "Предложения относительно некоторых поправок и добавлений к Словарю Академии Круска" (1817—1826), в котором Монти спорит со многими своими современниками (и с Джордани, чье письмо Леопарди прочитал в труде Монти) о прогрессе литературного языка в Италии.

С. 243. *Франческо Петрарка говорит о них в "Стихах", L, 2.

С. 248. *На листке за № 1616 Леопарди ссылался на мысль Августина о врожденных идеях, высказанную в его кн. 83 "Энхиридион к Лаврентию, или О Вере, Надежде и Любви".

С. 251. *Речь идет о некоем старике, разговаривавшем о людской глупости с философом XVI в. Пико делла Мирандола, автором "Речи о достоинстве человека".

С. 252. *Имеется в виду один из многочисленных трактатов (в данном случае неустановленный) венецианского критика-просветителя Франческо Альгаротти, писавшего "опыты" о различных видах искусства — музыке, поэзии, живописи. О *Веллее* — см. примечание к с. 182.

С. 256. *"*Жизнь в древности*" *Вергилия*... — римский поэт Вергилий говорит об изображении "золотой" эпохи человечества в своих "Буколиках".

С. 261. *Моралист XVI в. *Джованни Делла Каза* (1503—1556) — автор "Галатея", трактата на тему общественной морали (имеется в виду венецианское издание 1752 г.).

**Цитата из "Похвалы Французской Академии" философа-просветителя Жана Д'Аламбера.

С. 263. *Леопарди напоминает историю, описанную французским писателем Ж. Ж. Бартеlemi в романе "Путешествие молодого Анахарсиса по Греции" (1789): это пересказ эпизода сражения греков с персами при Фермопилах под предводительством спартанского царя Леонида. См. также примечание к с. 206.

С. 266. *Имеется в виду трактат Цицерона назидательного плана "Лелий".

С. 269. *В кн. 7 романа "Коринна, или Италия" (гл. 2) Ж. де Сталь пишет об итальянском драматурге и поэте Витторио Альфьери (1749—1803), что, "рожденный действовать", он словно по воле случая был обречен жить не в древние времена, а в эпоху, когда единственно возможным действием была литература.

С. 271. *Имеются в виду примечания к болонскому изданию "Песен" 1824 г., а именно примечание к "Бруту Младшему" (строфа 3).

С. 276. *Комментатор "Дневника" Дж. Пачелла находит, что Леопарди здесь по ошибке написал "Каза" вместо "Каро". Аннибале Каро (1507—1566) — итальянский поэт и переводчик "Энеиды", а также автор переложения "Риторики" Аристотеля на итальянский язык; в последнем произведении Каро Леопарди и нашел рассуждение о быстроте пресыщения у юношества.

С. 281. *См. примечание к с. 79.

С. 283. *В библиотеке Реканати имелась книга француза А. Боме "Химия в опытах и объяснениях" (Венеция, 1781), где был помещен трактат падре Антонио Нери по стеклянному делу, изданный в Венеции в 1663 г. В нем, ссылаясь на "Естественную историю" римского ученого I в. Плиния Старшего, Нери рассказал, в частности, как благодаря случаю было изобретено стекло и какую роль сыграло это изобретение в человеческой культуре.

С. 286. *Имеется в виду "История Флоренции", один из главных трудов флорентийского писателя и историка Никколо Макиавелли (1469—1527).

С. 287. *Здесь Леопарди ссылается на "Нравственные сочинения" ("Moralia") Плутарха в переводе и переложении Марчелло Адриани-младшего (в 6 т., Флоренция, 1819).

**О золотом веке культуры Леопарди писал в своей ранней работе "Рассуждение одного итальянца о романтической поэзии".

С. 288. **Виланд Кристоф Мартин* (1733—1813) — немецкий писатель, своим остроумием заслуживший славу "немецкого Вольтера".

С. 289. *Имеется в виду философия стоиков.

С. 291. *Леопарди имеет в виду один из тезисов, провозглашенных в начале XIX в. сторонниками романтизма. Полемику с романтиками Леопарди начал еще в 1816 г. своим "Рассуждением одного итальянца о романтической поэзии".

С. 296. *Платон в своих многочисленных диалогах построил идеальную модель мироздания, в которой космология, политика, этика и эстетика гармонично взаимодействуют и находятся в утопическом равновесии. Леопарди имеет в виду диалог Платона "Фабр".

С. 297. *То есть в сочинении Аристотеля "Политика", 1252.

С. 299. **Альгаротти Франческо* (1712—1764), итальянский поэт и критик, друг Вольтера. См. также примечание к с. 252.

С. 300. **Сэй Жан Батист* (1767—1832) — известный французский экономист; Леопарди читал, по-видимому, лишь рецензии на его парижские лекции и на "Маленький том заметок о людях и обществе", появившиеся в журналах "Спеттаторе итальяно" (т. 9, 1817) и "Спеттаторе странiero" (т. 5, 1816), так как высказывание Сэя им передано лишь приблизительно.

С. 304. *Здесь и далее идет речь о персонажах трагедии Витторио Альфьери "Агамемнон", написанной на один из сюжетов мифа о проклятии "дома Атридов" — а именно об убийстве царя Агамемнона, вождя греков в Троянской войне, его женой Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом.

С. 305. *Героем трагедии Альфьери "Орест", в основе которой лежит второй миф о проклятии "дома Атридов", является сын Агамемнона Орест, мстящий Эгисфу и матери за убийство отца. Однако Леопарди

слишком категорично называет конец этой трагедии "счастливым": Орест случайно, в пылу ослепившей его ярости сделался матереубийцей и наказан за это безумием и вечными терзаниями.

С. 306. *Возможно, Леопарди имеет в виду драматические по форме сочинения Байрона: драматическую поэму "Манфред", мистерию "Кайн", исторические трагедии "Марино Фальеро" и "Сарданапал".

С. 307. **Фабрициус Иоганн Альберт* (1668—1736) — немецкий философ и библиограф-эрудит, автор фундаментальных трудов по античности — "Латинская библиотека, или Сведения о древних латинских авторах" и "Греческая библиотека, или Сведения о древнегреческих писателях". В данном случае Леопарди говорит о факте, рассказанном в "Греческой библиотеке" (т. 1, с. 608). *Бартелеми Жан Жак* — французский писатель, автор многотомного "археологического" романа "Путешествие юного Анахарсиса по Греции" в итальянском переводе 1791—1793 гг. (т. 10, гл. 69).

С. 308. *Леопарди ссылается на статью "Нимфа" в латинском лексиконе античности, составленном Эджидио Форчеллини и озаглавленном "Totius Latinitatis Lexicon, consilio et cura Jacobi Facciolati" (4 vol., Patavil, 1805).

**В книге "Разговоры в царстве мертвых" греческого писателя II в. Лукиана Диоген насмехается над Геркулесом, называя его "наполовину мертвецом" и "наполовину богом".

***В диалоге Платона "Пир" Эрот назван великим демоном, то есть существом, промежуточным между смертными и бессмертными.

С. 310. *Об этой неудовлетворенности римского императора Августа говорил Сенека в сочинении "О краткости жизни", и это высказывание цитировано римским историком Гаем Транквиллом Светонием в его "Сочинениях" (изд. 1690 г., т. 1, с. 313).

С. 313. *Приведенное выражение Августина встречается в его трактате "О граде Божьем", XXI, 10.

**Изложенные в этом фрагменте соображения пронизаны антиспиритуалистическим духом и являются одним из свидетельств влияния на Леопарди философии французского философа-материалиста П.-А. Гольбаха (1723—1789), критиковавшего религиозную мистику с позиций "здорового смысла". В библиотеке отца Леопарди был анонимный перевод книги Гольбаха "Система природы, или О законах мира физического и духовного" (1770), озаглавленный "Философия здравого смысла, или Естественные понятия, противоположные сверхъестественным" (1808).

С. 318. **Мильтон Джон* (1608—1674) — английский поэт, автор поэмы "Потерянный рай", где близкая по смыслу сентенция имеется в кн. 8; 383—384.

С. 324. *См. наст. изд., с. 46.

С. 325. *См. наст. изд., с. 69.

С. 326. *Такое высказывание имеется у Сенеки ("О спокойствии духа", 2, 6, 12), у Данте ("Чистилище", 6, 149—151) и у Ж. де Сталь ("О влиянии страстей на счастье людей").

С. 329. *Это одно из редких у Леопарди упоминаний великого английского драматурга, о котором Вольтер, оказавший влияние на многие суждения автора "Дневника", судил весьма сдержанно и со многими оговорками.

****Нибур Бертольд Георг (1776—1831)** — друг Леопарди, известный немецкий историк и критик, автор "Истории Рима" и других работ, из которых поэт делал выписки, в частности, касающиеся поэтических жанров в древних литературах.

*****Курье Поль Луи (1772—1825)** — французский памфлетист и писатель. Леопарди ссылается на "Первое письмо редактора цензору" из "Полного собрания политических памфлетов" Курье.

С. 330. *Имеется в виду замечание Б. Г. Нибура относительно обязательности общенационального героического содержания в эпических поэмах греков (и отсутствии такового в поэме Вергилия "Энеида").

****То есть в средние века, в данном случае в XI—XII вв., когда в Испании создавались эпические циклы, посвященные подвигам Сиды — Родриго Диаса — героя войны с арабами.**

С. 331. *Леопарди назвал здесь поэму Тассо "Освобожденный Иерусалим" по имени ее главного героя — крестоносца Готфрида Бульонского (1060—1100).

*****"Луизады" (1572)** — поэма португальского поэта Л. Камозенса о путешествии Васко да Гама в Индию.

*****См. примечание к с. 79.**

******Поэма "Отвоеванный Мальмантиль" флорентийского живописца и поэта Лоренцо Липпи (1600—1665).**

С. 332. *Леопарди, который признает зло сущностью природного порядка, больше приближается в такой концепции к отечественному философу XVIII в. Альгаротти, чем к Ж. Ж. Руссо, согласно которому зло создается самим человеком.

****Запись, которой заканчивается "Дневник размышлений".**

МЫСЛИ

Идея опубликовать отдельным томом свои "Мысли о характерах людей и об их поведении в обществе" возникла у Леопарди незадолго до смерти (как об этом свидетельствует его письмо Л. де Зиннеру из Неаполя от 2 марта 1837 г.). Осуществил эту идею друг и душеприказчик поэта писатель А. Раньери лишь в 1845 г., когда флорентийское издательство Ле Монье предприняло издание сочинений Леопарди.

Поэт работал над "Мыслями" в последние, неаполитанские семь лет своей жизни. Значительная их часть развивает или формулирует в сжатой форме те же горестные раздумья о недостижимой в современном ему обществе цельности и естественности человеческого поведения, которыми пронизаны парадоксы "Нравственных очерков", наброски незаконченных диалогов и страницы "Дневника размышлений" (Леопарди прервал ведение "Дневника" 4 декабря 1832 г.). Согласно утверждению Раньери, Леопарди сам отобрал из своих записей 111 заметок и сентенций нравственного порядка и подготовил их для печати.

Подобно диалогу и иным "малым" сочинениям на моральные темы, жанр мыслей и наблюдений философско-нравственного характера восходит к античности. Теофраст создал книгу "Характеров", император Марк Аврелий оставил 12 книг своих мыслей. Монтень, Ларошфуко, Лабрюйер, Паскаль, Ж. Ж. Руссо, Ф. Альгаротти, Джузеппе Парини

— далеко не полный перечень имен классиков этого жанра. Во времена Леопарди в Европе сохранялась также мода на составление в просветительных целях подборок мыслей, извлеченных из сочинений прославленных философов и переведенных с древних языков на европейские языки (Платона, Цицерона). Известно, что Леопарди имел намерение (впрочем, оставшееся нереализованным) составить и перевести на итальянский язык сборник мыслей Платона, а также издать подборку философских высказываний Галилея.

"Мысли" Леопарди и по жанру, и по содержанию близки "Максимумам" Ларошфуко и "Характерам" Лабрюйера, также отличающимся весьма пессимистическими представлениями о человеке и обществе. Автор "Мыслей" продолжил обвинение испорченной человеческой природе, которое начали его предшественники, в частности французские скептики XVII в., но напитал его собственной желчью и мукой. Читая "Мысли", трудно отделаться от ощущения, что Леопарди стремился передать и даже усилить субъективный "тембр" своих рассуждений: они лишь иногда отливаются в лапидарный, категорически-непримиримый афоризм, но чаще подчинены горячечному, сбивчивому ритму рождающейся прямо на бумаге мысли, которая в равной степени и претендует на всеобщность, и словно бы чуждается доктринерского тона, пытается смягчить его то усложненной, "невнятной" конструкцией фразы, то ограничениями лексического плана (словами "нередко", "иногда", "часто", "видимо" и т. п.). Значительная часть фрагментов, вошедших в сборник "Мысли", сохранила черты спонтанного, неотделанного наброска, в строках которого отчетливо проступает личность их автора, его эрудиция и сарказм, его раздражение, растерянность и обида. В мозаике "Мыслей" четко просматривается контур той безрадостной картины мира, которая создана в лирике, "Дневнике" и "Нравственных очерках" Леопарди. В полной мере проявились и присущие Леопарди парадоксальный тип рассуждения, его любовь к неожиданно "вывернутым" сочленениям аргументов и выводов, к игре преувеличениями, противоречиями, гротескными несоответствиями между шаткостью или скудостью аргументации и всеобщностью извлекаемой из нее истины.

На русском языке "Мысли" были напечатаны в 1908 г. в переводе Н. М. Соколова в изданном в Санкт-Петербурге сборнике: *Джакомо Леопарди. Диалоги и мысли*. Ввиду содержащихся в этом переводе неточностей перед публикацией в настоящем издании его пришлось сверить и отредактировать. Эта работа проведена Е. Ю. Сапрыкиной.

С. 337. **Раньери Антонио* (1806—1888) — неаполитанский писатель, автор повестей о жизни простого народа и труда "История Италии с V по IX вв." В его доме Леопарди провел последние семь лет жизни и умер, оставив Раньери своим душеприказчиком.

***Виа Буйя* — то есть "Темная улица", старое название улицы Ориуоло в центре Флоренции.

***Желая точнее воспроизвести уличную сценку, Леопарди здесь вкладывает в уста своего персонажа фразу на флорентийском диалекте, к сожалению, не передаваемую в русском переводе.

С. 338. *Эпидемия холеры в 1830-х гг. прокатилась по Франции, Италии и другим странам Европы.

С. 340. *Мф., 20:1—16.

С. 341. *На вопрос греческого политического деятеля VI в. до н. э. Солона философ Фалес Милетский ответил, что хочет избежать тревог и горестей, которые претерпевает отец при виде несчастий своих детей (Диоген Лаэртций. Жизнеописания. I, 1).

С. 342. *См. Тацит. История, кн. 1, гл. 21. Сальвий Оттон Марк — римский император с 15. 01. по 16. 04. 69 г.

С. 345. *Октавия — сестра римского императора Августа.

**Марцелл Клавдий — племянник императора Августа; о ранней смерти сына Октавии Вергилий пишет в конце 6 кн. поэмы "Энеида".

***Марциал Марк Валерий (40—102) — римский сатирик-эпиграмматист. Ответ Марциала на вопрос, почему он не читает своих стихов, см. в "Эпиграммах", кн. I, 63.

***Анекдот из жизни греческого философа-киника Диогена приведен в книге Диогена Лаэртция "Жизнеописания", кн. 6, 2.

С. 352. *См. примечание к с. 40. Отрывок, который ниже приводит Леопарди, является не точной цитатой, но вольным пересказом рассуждения Кастильоне во 2-й кн. его сочинения.

С. 353. *Магалотти Лоренцо (1637—1712) — итальянский ученый и писатель, член флорентийской Академии Круска, редактор "Очерков", которые издавала Научная академия Чименто. Леопарди цитирует одно из его "Писем родным" (от 9 февраля 1683 г.), опубликованное в шеститомном собрании "Писем родным" в Венеции в 1762 г.

С. 355. *Речь идет о Ш. Монтескье. В трактате "О духе законов" (кн. 3, гл. 3) он противопоставляет политиков Древней Греции, которые лишь благодаря добродетели удерживались у власти, современным политикам, у которых мораль заменили деньги и роскошь.

С. 357. *Как явствует из "Дневника размышлений" (запись от 4 апреля 1829 г.), Леопарди почерпнул эти сведения из двухтомного "Сборника древних нравственных изречений греческих, римских и латинских авторов", составленного Иоганном Конрадом Орелли на латинском языке (изд. Лейпциг, 1819—1821).

С. 358. *См. роман Ж. де Сталь "Коринна, или Италия", кн. X, гл. 6.

**Гвиччардини Франческо (1482—1540) — флорентийский историк эпохи Возрождения, автор сочинения "История Италии", 17-я книга которого, повествующая о событиях первой половины XVI в., и имеется в виду.

***Французский король Франциск I (1494—1547) был освобожден из мадридского плена (в результате неудачной военной кампании против императора Карла V) в 1526 г.

С. 359. *Бион — греческий поэт и философ.

С. 360. *Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707—1778) — французский ученый и писатель, автор цитируемой здесь "Естественной истории человека".

С. 362. *Лабрюйер Жан (1645—1696) — французский писатель-моралист, автор перевода "Характеров" Теофраста и единственного собственного сочинения "Характеры, или Нравы этого века" (1688). Леопарди имеет в виду суждение 4 из кн. 1 "О творениях духа".

С. 363. *Высказанные здесь Леопарди мысли о благотворности скуки вписываются в романтическое представление о неутолимой духовной

жажде, которой подвержена творческая душа, стремящаяся к бесконечному и неизъяснимому (ср. Ж. де Сталь "Размышления о самоубийстве", письма У. Фосколо). Некоторые моралисты эпохи Просвещения связывали скуку с праздностью (Дж. Парини в "Основных принципах изящной словесности", Д'Аламбер в "Размышлениях об истории"), другие (Альгаротти в "Мыслях"), соглашаясь с ними в том, что скука есть зло, приписывали ей роль изначально сопровождающей человеческий род помехи всякому счастью, спокойствию и благополучию.

С. 364. *Имеется в виду письмо Цицерона Луцию (или Лукцию), сыну Квинта, от июня 53 г. (Письма к друзьям, V, 13).

***Вер Луций Аврелий* — римский император, соправитель Марка Аврелия (130—169). Письмо Вера его воспитателю Марку Корнелию Фронтому содержится в кн. 2 "Эпистол", 3.

С. 366. **Ахилл* — герой поэмы Гомера "Илиада". *Эней* — герой поэмы Вергилия "Энеида". *Готфрид* — герой поэмы Т. Тассо "Освобожденный Иерусалим". *Улисс* — герой поэмы Гомера "Одиссея".

С. 374. *Имеется в виду мысль французского философа, высказанная им в воспитательном романе "Эмил" (кн. 4) и вошедшая в его книгу "Мысли", 11, 222, 224.

С. 375. **Пилад* — друг Ореста. *Пирифой* — сын Зевса, царь лапифов. Помогал другу Тезею в похищении Елены, вместе с ним спускался в подземное царство, где и остался навечно.

С. 381. *Описанная греческим баснописцем Эзопом Лисица, которая не может достать виноград и говорит, что он зелен.

С. 382. **Оливер Голдсмит* (1728—1774) — английский писатель, учившийся медицине в Италии.

ИЗ ЛИРИКИ

В сборнике лирических произведений, который Леопарди в 1831 г. озаглавил "Песни" ("Canti"), всего 36 стихотворений. В настоящем издании читателю предлагается несколько "песен", проблематика которых отчетливо перекликается с сочинениями философско-нравственного плана. В комментариях использованы сведения, содержащиеся в обширных примечаниях Ф. Гавацzeni и М. М. Ломбарди к изданию: *Giacomo Leopardi. Canti. Introduzione di Franco Gavazzeni. Note di Franco Gavazzeni e Maria Maddalena Lombardi. Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1998.*

Бесконечность. Так называемая "малая идиллия", написанная в 1819 г. в Реканати, где и расположен "холм пустынный", получивший ныне поэтическое имя Холм Бесконечности. Стихотворение точно передает присущее поэту-романтику "расширяющее" восприятие привычных вещей окружающего мира: конкретный пейзаж как бы выводит внутренний взор поэтической души к неведомым просторам бесконечности и растворяет ее в воображаемом пространстве. Перевод А. Ахматовой.

Вечер праздничного дня. Стихотворение относится к 1820 г. Перевод А. Ахматовой.

Сон. Написано в январе 1821 г. Перевод А. Ахматовой.

Ночная песнь пастуха, кочующего в Азии. Леопарди работал над этой канцонной с октября 1829 по апрель 1830. А за год до начала этой работы, в октябре 1828 г., он прочитал во французском научном журнале ("Журналь де саван" за сентябрь 1827 г.) рецензию на французское издание книги русского путешественника А. К. Мейендорфа "Путешествие из Оренбурга в Бухару в 1820 г." (книга вышла в Париже в 1826 г.). Из этой рецензии поэт сделал в "Дневнике" выписки относительно обычая киргизов импровизировать сказания и песни. Замысел канцоны возник, по-видимому, под влиянием этой информации. Перевод *А. Ахматовой*.

В мученьях он родится... — весь этот фрагмент канцоны навеян стихами 222—230 из 5-й кн. сочинения римского поэта Лукреция "О природе вещей". В строке Леопарди "Nasce l'uomo a fatica" последнее слово "a fatica" означает "тяжко", "в муках" (таким образом создается перекличка с библейским "Человек рождается на страдание", см. Иов, 5:7).

Вот если б я в заоблачный полет... — в рецензии на книгу А. К. Мейендорфа Леопарди прочитал, что киргизские кочевники считают себя счастливыми и вольными, как птицы. Герой его канцоны тоже воображает себя счастливой птицей (ср. "Похвала птицам" в "Нравственных очерках"), однако в финале побеждает тема всеобщего несчастья.

Покой после бури. Написано в сентябре 1829 г. Перевод *А. Ахматовой*.

К себе самому. Элегия написана в 1832—1833 гг. Последняя строка перекликается с известной формулой Екклезиаста "Суета сует, — все суета!" (1, 2). Перевод *А. Ахматовой*.

К древнему надгробью, на котором усопшая девушка изображена уходящей в окружении близких. Канцона написана, скорее всего, в Неаполе между 1834 и 1835 гг. В 1824—1825 гг. римский скульптор Пьетро Тенерани, ученик знаменитого Торвальдсена, работал по заказу адвоката Дж. Северини над мраморным надгробием для могилы его юной дочери Клелии. Для этого надгробия скульптор высек мраморный рельеф, на котором девушка была изображена прощающейся с родными (рельеф остался незаконченным). Леопарди в октябре 1831 г. вместе с А. Раньери посетил мастерскую Тенерани и нашел изображение на барельефе "полным печали и возвышенной сдержанности". И хотя в канцоне надгробие названо "древним", исследователи склонны считать, что именно работа Тенерани вдохновила автора канцоны. Перевод *А. Ахматовой*.

Палинодия. Стихотворение написано в Неаполе в 1835 г. Греческое слово "палинодия" означает "отказ от первоначального отказа": Леопарди вначале отказывается от своих прежних негативных суждений о современном ему мире ("я давно и тяжело заблуждался"), но лишь для того, чтобы затем признать заблуждением отказ от них и с тем большей убедительностью доказать их истинность. Прием "двойного отказа", таким образом, имеет в этой канцоне сатирическую функцию, так как позволяет развенчать оптимистические иллюзии "века прогресса".

Канцона посвящена маркизу Джино Каппони (1792—1876) — видному флорентийскому общественному деятелю либерального толка, исто-

рику и педагогу, с которым Леопарди познакомился в "тосканский" период своей жизни, когда сотрудничал в журнале "Нуова Антолоджиа" — одном из органов флорентийской либеральной прессы в 1830-е гг. Перевод А. Ахматовой

Внуки Сима, Хама и Яфета — то есть потомки трех сыновей Ноя, от которых пошли различные расы людей.

Вольта Алессандро (1745—1827) — итальянский физик, изобретатель аккумуляторной батареи.

Дэви Хемфри (1778—1829) — английский физик и химик, изобретатель вольтовой дуги.

А под широким ложем Темзы... — работы по осуществлению проекта железнодорожного туннеля под Темзой начались в 1804 г. и с перерывами продолжались до 1842 г.

Один твой друг... маэстро опытный стихосложенья... Леопарди имеет в виду известного поэта и журналиста Никколо Томмазо (1802—1874), который активно сотрудничал в "Нуова Антолоджиа", исповедуя либерально-прогрессистские убеждения. Томмазо питал к Леопарди откровенную неприязнь (впрочем, она была вполне взаимной). В своем труде "О воспитании" (1834) он ополчился на современных ему поэтов, чья поэзия, как он утверждал, пронизана "индивидуализмом" и представляет собой "плач над личными страданиями, как правило, преувеличенными ввиду слабости таланта".

В тени твоих бород... — во времена Леопарди борода и усы были в моде у прогрессивно настроенной молодежи, а в обществе считались признаком принадлежности к тайной патриотической организации карбонариев.

Дрок, или Цветок пустыни. Канцона написана в 1836 г. на вилле близ Неаполя. Опубликована во флорентийском издании "Песен" в 1845 г. Это последнее из написанных Леопарди стихотворений — своего рода завещание поэта-философа, итог его раздумий. В поэтическом обращении к ароматному горному цветку дроку, расцветающему каждый год на склоне вулкана, Леопарди вновь возвращается к мысли, еще в 1829 г. записанной в "Дневнике": "Философия моя не только не ведет, как может представляться, если на нее смотреть поверхностно, к мизантропии, в чем обвиняют ее многие, но, по своей природе, мизантропию исключает: наоборот, она стремится устранить, умерить то дурное настроение, ту ненависть... которую многие... испытывают в отношении себе подобных и вообще, и по конкретным поводам из-за того, что им, как и всем прочим, справедливо или нет причиняют зло другие люди. Моя философия обвиняет во всем природу и, полностью оправдывая людей, обращает ненависть или, во всяком случае, жалобу к более высокому началу, к истинной первопричине бед живых существ" (Дневник, 4428, наст. изд. с. 330).

Перевод, помещенный в данной книге, сделан в 1871 г. и принадлежит перу А. Орлова. Он был опубликован в журнале "Вестник Европы" (1874, № 11, с. 254—259).

Цветок пустыни — эта метафора, возможно, имеет испанские корни: у испанского поэта начала XIX в. Н. А. де Сьенфуэгоса (1764—1809) есть стихотворение "Роза пустыни", которое было переведено на итальянский

и напечатано в поэтической антологии "Рапсодия" в 1821 г. (правда, сведений о знакомстве Леопарди с этим стихотворением нет).

Но жалкий жребий свой до неба превозносит! — ироническая реминисценция из предисловия поэта Теренцио Мамиани к собственной книге "Священных гимнов", выпшедшей в 1832 г.: рассуждая о христианском братстве людей, Мамиани без всякой иронии апеллирует в этом предисловии к "прекрасным и прогрессивным судьбам человечества".

Новые верующие. Сатирическое стихотворение 1835 г., в сборник "Песни" не входило. Обращено к неаполитанскому другу Леопарди писателю Антонио Раньери (1806—1888). На русский язык переведено впервые *М. Визелем*.

Сант-Эльмо, Кьятамон, Лавинайо, Толедо — различные кварталы и улицы Неаполя.

Кафе "Италия" — кафе артистической и литературной богемы в неаполитанском квартале Карита.

Ослы... в Сант-Эльмо вносят на крутые склоны — чтобы не одолевая пешком подъем в квартал Сант-Эльмо, можно было нанять осла с погонщиком-мальчишкой.

Откинув купленную гриву — то есть парик.

Дыша зловонием на всех подряд — подразумевается "аромат" съеденного героем чесночного соуса, характерного для неаполитанской кухни.

Элпидий — комментаторы указывают на возможный прототип этого героя: Саверио Бальдакини (1800—1879), сотрудник авторитетного неаполитанского журнала "Прогресс".

Он богат любовью нимфы... — то есть он любовник пятидесятилетней богатой дамы.

Французам вслед он небо презирал — то есть был атеистом, когда моду и убеждения диктовала революционная Франция.

Добряк Галерий — видимо, этот оптимист списан Леопарди с другого сотрудника "Прогресса" — некоего Э. Каппелли.

Отставлен от Венериных затей... *В него давно проникла ртуть,* *в награду к дурной болезни* — намек на венерическую болезнь, которую в те времена лечили ртутью.

И будет ползать, уподобясь гаду — другой намек на дурную болезнь Галерия; последствием ее будет распад хрящевых тканей и, как результат, уродливая развинченная походка.

И на того, кто... защищает Иова с Соломоном — то есть на самого автора, который отстаивает пусть безрадостную, но зато мудрую истину.

Идут страданья, как тропой ослиной — то есть не нуждаясь в проворенной дороге, невзирая на преграды.

Вито — известный в те времена неаполитанцам разбогатевший продавец напитков, который купил себе баронский титул и стал именоваться "дон Вито".

И тот, что столькож женщин вверх вознес — то есть имеется в виду "промысел" содержанки или проститутки.

Составитель примечаний *Е. Ю. Сапрыкина*

- Август* — 34, 310
Августин Аврелий — 248, 313
Адриани Марчелло Младший — 115, 287
Александр Македонский (Александр Великий) — 116, 168, 192, 200
Алкивиад — 137
Альберт Великий (Альберт фон Больштедт) — 39, 40
Альгаротти Франческо — 252, 299
Альфьери Витторио — 75, 178, 269, 304, 305
Анакреонт — 127
Антоний Гай — 177
Апулей — 41
Ариосто Лудовико — 52, 222, 255
Аристотель — 173, 221, 297, 329
Арриан Флавий — 116

Байрон Джордж Ноэл Гордон — 306
Бартелеми Жан Жак — 307
Бартоли Даниелло — 206
Берни Франческо — 204
Бион Борисфениит — 115, 359
Боссюэ Жак Бенинь — 117
Брут Марк Юний (Брут Младший) — 170—172, 175, 184
Буало Никола — 204
Бэкон Фрэнсис — 96, 202
Буффон Жорж Луи Леклерк — 360

Васко да Гама — см. Гама
Веллей Патеркул — 182, 252
Вер Луций Аврелий — 364
Вергилий Марон Публий — 40, 44, 78, 79, 111, 124, 233, 256, 281, 331, 345
Верри Алессандро — 205
Веттори Пьер — 170
Вико Джамбаттиста — 87
Виланд Кристоф Мартин — 288
Виргиния — 57
Вокансон Жак — 39

Галилей Галилео — 87, 96, 190
Гама (Васко да Гама) — 70
Ганнон — 120
Гвиччардини Франческо — 358
Гегесий из Кирены — 115, 158
Гермотим — 33
Геродот — 221, 331
Голдсмит Оливер — 382
Гольдони Карло — 204
Гомер — 55, 80, 86, 87, 92, 151, 163, 190, 203, 222, 256, 277
Гораций Квинт Флакк — 34, 105, 221, 345
Гутьерес Педро — 119—122

Д'Аламбер Жан Лерон — 261
Данте Алигьери — 87, 126, 190, 222, 313
Дарий I — 116
Дедаланд Жозеф Жером — 50
Декарт Рене — 87, 89, 288, 296
Делла Каза Джованни — 261
Демокрит — 102
Демосфен — 117, 300
Джордани Пьетро — 216, 241
Диоген Лаэртский (Диоген Лаэртский) — 115, 171
Диоген Синопский — 345
Дион Кассий — 170
Донат Элий — 111

Евнатий — 150

Занд Карл — 217

Иероним — 171

Калигула Гай Цезарь Германик — 208
Калиостро (Джузеппе Бальзамо) — 61
Каллисфен — 174
Камознс Лунс — 48, 190
Карл V — 44

- Кастильоне* Бальдассар — 40, 77, 178, 352, 353
Катилина Луций Сергей — 176, 177, 364
Кеведо Франсиско — 190
Кир II Великий — 178, 219
Клавдий Нерон Друз Германик — 219
Клеопатра VII — 158
Книгге Адольф Франц — 180
Колот — 174
Колумб Христофор — 119—121, 190
Конде Луи де — 117
Констан Бенжамен — 217
Константин Великий — 208
Конфуций (Кун-цзы) — 220
Коперник Николай — 142, 144—149
Коцебу Август Фридрих Фердинанд — 217
Ксенофонт — 106, 122, 177, 178
Курье Поль Луи — 329

Лабрюйер Жан — 362
Ламбер Анна де — 39
Левенгук Антон — 63
Лейбниц Готфрид Вильгельм — 59, 87
Леонид — 206, 263
Ликург — 41
Локк Джон — 96
Лукан — 79, 281
Лукиан — 117, 204, 205, 308
Лукреция — 57
Лукцей (Луций) — 364
Людовик XIV — 227

Магалоцци Лоренцо — 353
Магомет (Мухаммед) — 51
Макиавелли Никколо — 41, 177, 178, 286
Мальбрани Никола — 96
Мальфилатр Жак Шарль Луи — 190
Марцелл Клавдий — 342
Марциал Марк Валерий — 345
Марций Кориолан — 280
Массийон Жан Батист — 173
Медичи Лоренцино деи — 117
Мелендес Хуан — 190
Мелисс — 111
Метастазии (собств. Пьетро Трапас-си) — 40
Меценат — 111
Милон Анний — 117, 176
Мильтон Джон — 48, 318, 320
Митридат VI Евпатор — 158
Монтескье Шарль — 208, 219, 224, 255

Монти Винченцо — 241
Мопертио Пьер Луи Моро — 63
Морган (урожд. Оуэнсон) — 223

Наполеон I Бонапарт — 219, 366
Нибур Бертольд Георг — 329, 331
Нигидиан — 176
Нери Антонио — 283
Ньютон Исаак — 87, 89, 288

Овидий Публий Назон — 222
Октавия — 345
Оттон Сальвий Марк — 158, 342

Парини Джузеппе — 74, 75, 190
Паскаль Блез — 296
Петрарка Франческа — 35, 80, 93, 163, 243
Петрей Марк — 177
Пий VII (Бабаба Чароманти) — 296
Пико делла Мирандола Джованни — 251
Пиндар — 39
Пиррон — 64
Пифагор — 50, 54, 66, 229
Платон — 54, 115, 151, 152, 154, 155, 173, 210, 229, 242, 248, 296, 308, 313
Плиний Младший — 178
Плотин — 59, 149—151, 154, 156—158, 229
Плутарх — 115, 170, 174, 286, 287
Помпей Великий Гней — 44
Понтий Пилат — 65
Порфирий — 149—151, 154, 155, 157, 158, 160, 229
Птолемей I Сотер — 158

Раньери Антонио — 337
Расин Жан — 190
Реджомонтано (собств. Иоганн Мюллер) — 39
Рейш Фредерик — 97—101
Руссо Жан Жак — 102, 111, 296, 374

Сакробоско (собств. Джон Холивуд) — 145
Саллюстий Гай Крисп — 176
Сервантес Сааведра Мигель де — 190, 343
Симонид (Семонид Аморгский) — 94
Синезий — 55
Сократ — 103, 104, 115, 135
Соломон — 163, 190
Солон — 341

Софокл — 305
Сталь Анна Луиза Жермена де — 209—212, 269, 296, 358
Стратокл — 115
Стратон из Лампсака — 130, 131
Суида — 171
Сэй Жан Батист — 300
Тассо Торквато — 64—69, 116, 117, 126, 190, 202, 220, 226, 233
Тацит — 342
Телесилла — 75
Теогнид — 176
Теофраст (Феофраст, собств. Тиртам) — 170—175
Тиберий Клавдий Нерон — 54, 208
Томсон Джеймс — 190
Траян Марк Ульпий — 178
Фабриций Давид — 50
Фабрициус Иоганн Альберт — 307
Фалес Милетский — 341
Фемистокл — 152
Фенелон Франсуа — 180, 190
Филемон — 205
Фиренцуола — 41

Флор — 170
Фома Аквинский — 39
Форчеллини Эджидио — 308
Франциск I — 358
Фронтон Марк Корнелий — 364

Хилон — 115, 341
Хрисипп — 43

Цезарь Гай Юлий — 44, 55, 148, 168, 182—184, 223, 224
Цинна Луций Корнелий — 208
Цицерон Марк Туллий — 39, 75, 80, 93, 94, 101, 103, 116, 117, 149, 171, 174, 175, 224, 266, 300, 364
Шатобриан Франсуа Рене — 190
Шекспир Уильям — 87, 329

Эпикур — 102, 173
Эпименид — 33
Эсте Леонора (Элеонора) д' — 64
Эсхил — 203, 307

Юлиан Отступник — 117

Ямвлих — 229

СОДЕРЖАНИЕ

Парадоксы Леопарди об истинах и химерах. <i>Е. Ю. Сапрыкина</i>	5
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ (пер. <i>С. А. Ошерова</i>)	21
История рода человеческого	22
Разговор Геркулеса и Атланта	32
Разговор Моды и Смерти	35
Награды, предложенные Академией силлографов	38
Разговор сальфа и гнома	41
Разговор Маламбруно и Фарфарелло	44
Разговор Природы и Души	46
Разговор Земли и Луны	49
Прометеев спор	54
Разговор физика и метафизика	60
Разговор Торквато Тассо и его демона	64
Разговор Природы с Исландцем	69
Парини, или О славе	74
Разговор Фредерика Рейна и его мумий	97
Достопамятные речи Филиппо Отгоньери	102
Разговор Христофора Колумба и Педро Гутьереса	119
Похвальное слово птицам	122
Песнь дикого петела	127
Апокрифический фрагмент из Стратона Лампсакского	130
Предупреждение	—
О возникновении мира	131
О конце мира	132
Разговор Тимандра и Элеандра	134
Коперник (диалог)	142
Разговор Плотина и Порфирия	149
Разговор торговца календарями и прохожего	160
Разговор Тристана и его друга	162
ПРИЛОЖЕНИЕ К "НРАВСТВЕННЫМ ОЧЕРКАМ" (пер. <i>Н. А. Ставров-ской</i>)	169
Сравнение предсмертных изречений Брута Младшего и Теофраста	170
Разговор преподавателя гуманитарных наук и Саллюстия	176
Новелла: Ксенофонт и Никколо Макиавелло	177
К новелле о Ксенофонте и Макиавелло	178
К новелле о Ксенофонте и Макиавелло	182
Диалог: греческий философ, Мурко, римский сенатор, римский народ, заговорщики	—
Разговор двух животных, например коня и быка	185
Разговор коня и быка	186
Порядочный человек и свет (диалог)	189
О самоубийстве	197

ИЗ "ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ" (пер. <i>Н. А. Ставровской</i> и <i>С. А. Ошерова</i>)	199
•	
МЫСЛИ (пер. <i>Н. М. Соколова</i>)	333
ИЗ ЛИРИКИ	383
Бесконечность (пер. <i>А. Ахматовой</i>)	384
Вечер праздничного дня (пер. <i>А. Ахматовой</i>)	—
Сон (пер. <i>А. Ахматовой</i>)	385
Ночная песнь пастуха, кочующего в Азии (пер. <i>А. Ахматовой</i>)	387
Покой после бури (пер. <i>А. Ахматовой</i>)	391
К себе самому (пер. <i>А. Ахматовой</i>)	392
К древнему надгробью, на котором усопшая девушка изображена уходя- щей в окружении близких (пер. <i>А. Ахматовой</i>)	—
Палинодия (пер. <i>А. Ахматовой</i>)	395
Дрок, или Цветок пустыни (пер. <i>А. Орлова</i>)	401
Новые верующие (пер. <i>М. Визеля</i>)	406
Примечания	409
Указатель имен	444

ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ

НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ.

ДНЕВНИК РАЗМЫШЛЕНИЙ. МЫСЛИ

На переплете помещена репродукция
фрагмента надгробного барельефа
(работа Пьетро Тенерани, 1825 г.).

Заведующий редакцией *М. М. Беляев*
Ведущий редактор *Р. К. Медведева*
Редакторы *Т. В. Исакова, Ж. П. Крючкова*
Оформление художника *Т. С. Грудиной*
Художественный редактор *О. Н. Зайцева*
Технический редактор *Т. Н. Новикова*

ЛР № 010273 от 10.12.97.

Сдано в набор 19.06.00. Подписано в печать 14.07.00. Формат 60х90^{1/16}.
Бумага офсетная № 1. Гарнитура "Таймс". Печать офсетная. Усл. печ. л. 28.
Уч.-изд. л. 30,33. Тираж 4000 экз. Заказ № 2222.

Электронный оригинал-макет подготовлен в издательстве.

Издательство "Республика"
Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.
Полиграфическая фирма "Красный пролетарий".
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.